Владимир

НАБОКОВ

В. СИРИНЪ

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
▪
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

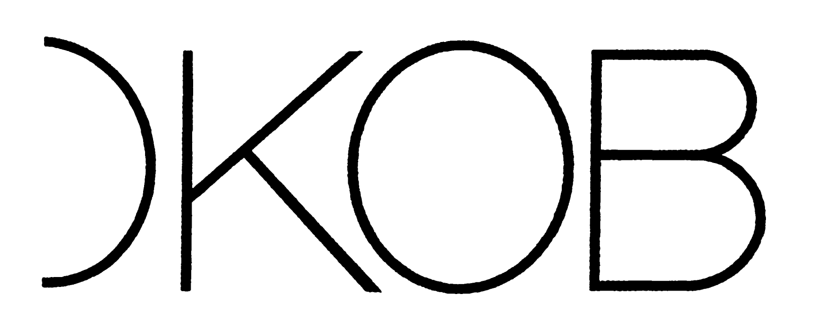


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



Vladimir Nabokov
COLLECTED
RUSSIAN LANGUAGE
WORKS
In Five Volumes

Volume Five

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov

В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В
(В. Сиринъ)

1938-1977

Волшебник
Solus Rex
Другие берега
Рассказы
Стихотворения

Драматические произведения
Эссе. Рецензии

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2008

ББК 84 Р
Н14

*Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»*

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Предисловие
А. А. Долинина

Примечания
*Ю. Левинга, А. А. Долинина, М. Э. Маликовой,
О. Ю. Сконечной, А. А. Бабикова, Г. Б. Глушанок*

Художник
М. Г. Занько

Редактор тома
М. В. Козикова

Издательство выражает признательность Д. В. Набокову, N. Smith, D. Barton Johnson, С. Б. Ильину, Е. Б. Белодубровскому, Е. Б. Шиховцеву, И. С. Зверевой, Г. Б. Глушанок, С. Гренье, А. В. Глебовской и С. Р. Федякину за их помощь и содействие в процессе подготовки этого издания.

ISBN 978-5-89091-381-4
ISBN 978-5-89091-382-1 (Т.5)

От Издательства

Этот том собрания сочинений В. В. Набокова-Сирина (1899–1977) русского периода включает в себя автобиографию «Другие берега» (1954), два фрагмента незавершенного романа: «Solus Rex» (1940) и «Ultima Thule» (1942), — повесть «Волшебник» (1939), многочисленные стихотворения и рассказы, а также драматические произведения «Событие» (1938) и «Изобретение Вальса» (1938), отражающие многогранность таланта писателя в период 1938–1977 гг.

В данном томе, продолжая следовать хронологическому принципу, мы располагаем рассказы, позднее объединенные автором в сборник «Весна в Фиальте» (1956), в порядке их первых публикаций в периодической печати, дабы ознакомить читателя с жанровой и творческой эволюцией В. Набокова.

В настоящем собрании впервые републикуются заметки «Протест против вторжения в Финляндию» (1939), «От В. Набокова-Сирина» (1956), «Письмо в Редакцию» (1963) и предисловия к изданиям «Н. В. Гоголь. Повести» (1952), «Письма Д. В. Набокова из Крестов к жене» (1965), а также интервью В. Набокова «Встреча с автором “Лолиты”» (1961).

Приводя тексты в соответствие с современными нормами правописания, мы бережно сохраняем авторскую пунктуацию (в том числе и в способе оформления прямой речи) и некоторые особенности орфографии того времени (в основном это касается заимствованных слов, имен собственных и заглавий литературных произведений).

Во всех возможных случаях тексты сверяются с первыми публикациями, расхождения с последующими изданиями отражаются в примечаниях.

Собрание сочинений публикуется по согласованию с The Estate of Vladimir Nabokov, с разрешения сына писателя, Дмитрия Владимировича Набокова.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ СИРИНА: ПОСЛЕ «ДАРА»

После завершения «Дара» русскому писателю Сирину оставалось два с половиной года жизни. В этот заключительный период он писал, пожалуй, не меньше (и не хуже), чем раньше, но ровный творческий ритм, выработанный за предшествующее десятилетие, стал давать перебои. Вопреки обыкновению, Набоков долго не принимался за очередной роман, а потом, вместо очередной вещи Сирина, сочинил по-английски «Истинную жизнь Себастьяна Найта», где, словно бы предвосхищая свою судьбу, сделал рассказчиком начинающего литератора, вдохновляемого книгами своего умершего брата. Впервые с середины 1920-х годов он обращается к драматургии, снова используя ее как удобную репетиционную площадку для будущей прозы; впервые пишет экспериментальную повесть, не предназначенную для печати («Волшебник»); впервые не завершает начатый роман («Solus Rex»). Создается впечатление, что в это время Набоков находится если не в кризисе, то на распутье, и перебирает целый ряд новых — жанровых, тематических, стилистических — возможностей.

Художественные поиски «позднего Сирина», конечно же, были связаны с глубокими сдвигами в его умонастроении, происшедшими под влиянием как внутренних, так и внешних обстоятельств. По слову самого писателя, «тень, бросаемая дурой-историей», стала тогда «показываться даже на солнечных часах», и ее зловещая чернота не могла не затронуть основы набоковского «солнечного» стоицизма. Смятение Набокова перед лицом разбушевавшейся дуры-истории сопоставимо с тем, что испытывал в период франко-прусской войны и Парижской коммуны его любимый учитель Флобер, тоже проповедовавший героический стоицизм художника как род спасительной гигиены. «Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости, — писал он Тургеневу, — но окружающее ее море дерьма поднимается все выше, волны бьют об ее стены с такой силой, что она вот-вот

рухнет»[1]. Как представляется, для Набокова в конце 1930-х годов наступил тот критический момент, когда он почувствовал, что и его выстроенная с таким тщанием хрупкая башенка может рухнуть от «половодья кретинизма». Почти во всем, что Набоков написал после «Дара», на первый план выходят темы страшного, демонического мира, который, по сравнению с бутафорским балаганом «Приглашения на казнь», все более уплотняется и все менее поддается колдовским чарам творческого сознания. Выдуманный Набоковым поэт-эмигрант Шишков (под чьим именем он опубликовал в «Современных записках» два стихотворения) мучается мыслью о том, «сколько всюду страдания, кретинизма, мерзости», и пытается издавать «Обзор страдания и пошлости», состоящий из «газетных мелочей соответствующего рода» (своеобразный гибрид флоберовского «Лексикона прописных истин» и той хроники происшествий за год, которую в «Бесах» Достоевского предлолагает составлять Лизавета Николаевна). Герой рассказа «Истребление тиранов» одержим испепеляющей ненавистью к тупому диктатору, олицетворяющему «зло крепчайшей силы, без примеси» и заразившему всю страну своей бесчеловечностью, бездарностью и скукой. «Как мне избавиться от него? — восклицает он. — Я не могу больше. Все полно им, все, что я люблю, оплевано...» В рассказе «Лик» воплощением зла оказывается материализованный кошмар, демон из прошлого, гимназический мучитель с мутными глазами, который в юности отравлял существование беззащитного героя и теперь снова вторгается в его жизнь, вызывая из самых «судорожных, обезумевших глубин» его несильной души все тот же дикий ужас; в набросках второй части «Дара» — это русский фашист Кострицкий, объясняющий Зине, что «без стальной поруки, без огня и меча... мы, в данную эпоху, обречены на скотскую смерть»; в начале романа «Solus Rex» — развращенные циники и фанатичные убийцы, равно отвратительные одинокому и несчастному королю. Исполняя «поручения чужого безумия», герой рассказа «Посещение музея» на собственном опыте испытывает, какие жуткие значения таит в себе внешне безобидное название картины «Возвращение стада». Из уютного французского городка он при жизни попадает прямо в ад — не в пустую баньку Свидригайлова, а в необъятный лабиринт омертвевших вещей и явлений, травестию всей западной культуры, где куролесит стадо вполне современных демонов советско-германского образца, «поющих молодых людей с какими-то праздничными эмблемами в петличках», и откуда един-

[1] Г. Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2. М., 1984. С. 115.

ственный выход в конце концов выводит его на улицы Ленинграда, в «безнадежно рабскую» Советскую Россию.

Страшный мир обстает героев «позднего Сирина», причиняет им невыносимые страдания, просачивается сквозь воздвигнутые ими стены, искушая их своими соблазнами или переполняя ненавистью, отчаянием и страхом, отнимает у них то, что они любят: художник Трощейкин и его жена в пьесе «Событие» теряют двухлетнего сына; у художника Синеусова в «Ultima Thule» умирает жена, и та же участь должна постигнуть короля в «Solus Rex»; согласно плану продолжения «Дара», Зина погибает под колесами автомобиля после того, как Федор изменил ей с вульгарной парижской проституткой. Как повествователь «Посещения музея», они пытаются «что-то делать, куда-то идти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою беззаконную жизнь», но спасение от «страдания, кретинизма, мерзости» оказывается неимоверно трудным, почти недостижимым. Так, Трощейкин не справляется со своими страхами и превращается в одного из тех «крашеных призраков», от которых он хотел убежать в свое творчество, а герой-рассказчик «Истребления тиранов» думает о том, что единственный способ убить омерзительного диктатора — это убить себя, «ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти». Своею смертью он надеется уничтожить весь страшный мир, «всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания, все сокровища, собранные мною».

Эту метафору смерти как единственного способа «убить» зло Набоков реализует в рассказе «Лик», заглавное слово которого — театральный псевдоним его героя, русского актера во французской труппе, — едва ли случайно, прочитанное справа налево, дает английский глагол kill (убивать). По общему замыслу и сюжетостроению этот рассказ напоминает более раннее «Совершенство». В обоих текстах герой, одинокий молодой эмигрант, страдающий тяжелой сердечной болезнью, претерпевает физическую смерть на морском побережье, но умирает не весь — сознание мертвого не только не меркнет, но обретает (процитируем финал «Приглашения на казнь») «невиданную дотоле ясность». Однако если Иванов в «Совершенстве» движим благодарной любовью к миру и после смерти вступает в «совершенное соприкосновение» с ним, то Лик несет в себе неизбывный страх перед злом мира, воплотившийся для него в образе «чудовищной фигуры, заполнившей собой его память», и потому, выйдя из земной оболочки, возвращается к своему мучителю, разыгрывая свои «ночные мысли о том, как наконец он Колдунова убьет».

Сам момент физической смерти героя в «Лике» остается скрытым как от него самого, так и от читателя. Пытаясь угадать свою судьбу, Лик «почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным, лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса». Его пророчество оказывается исполненным, но не полностью: он действительно не замечает смерти, хотя на самом деле умирает не на сцене (как, впрочем, и упомянутый им Мольер), а на берегу моря, и переходит не в жизнь случайной пьесы, а в освобождающий финал своего кошмара. Поездка на такси к Колдунову за оставленными у него новыми белыми туфлями (похоронный атрибут, по аналогии с провербиальными белыми тапочками) происходит за пределами реальности, на что указывает ее невозможная топография. Как мы знаем, дом Колдунова находится в конце узкого прохода, «последнего предела мрачности, грязи, тесноты», «на углу кривобокой площадки» (внимание к этой ключевой детали привлекает анаграмматическая роспись Набокова), которая в финальной сцене рассказа превращается в просторную площадь с фонтаном, куда въезжает автомобиль. Здесь-то перед глазам Лика возникает труп покончившего с собой Колдунова, надевшего перед самоубийством белые туфли ускользнувшей от него жертвы. Герой и его истязатель после смерти как бы меняются ролями — уход из жизни одного оборачивается муками и казнью другого.

Другое средство против «тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека», к которому прибегают герои «позднего Сирина», — это заклятие смехом. В финале «Истребления тиранов» рассказчик начинает пародировать раболепную риторику тоталитарного образца и, расхохотавшись, исцеляется от ненависти и отчаяния. «Перечитывая свои записи, — пишет он, — я вижу, что, стараясь изобразить [тирана] страшным, я лишь сделал его смешным, — и казнил его именно этим — старым испытанным способом». Тот же мотив намечен и в набросках ко второй части «Дара», где Федор Годунов-Чердынцев, увлеченный парижской проституткой и мечтающий о новой встрече с ней, одергивает себя, переводя свои чувства на язык пародирования банальных литературных разработок темы «дна» и «панели»: «Русская словесность, о русская словесность, ты опять спасаешь меня. Я отвел наваждения лубочной жизни посредством благородной пародии слова». Сам Набоков прибегнул к этому «старому испытанному

способу» в своих пьесах, где «страшный мир» представлен в гротескно-игровых, откровенно пародийных формах.

Две пьесы, написанные Набоковым в конце 1930-х годов, нисколько не скрывают, а, наоборот, всячески подчеркивают свою игровую, театральную природу. Открытая игра начинается в них уже с самих заглавий: в пьесе, названной «Событие», все действующие лица на протяжении трех актов ожидают «страшного события», которое так и не происходит, и пистолет, приобретенный потенциальным убийцей, не выстреливает; в «Изобретении Вальса», вопреки читательским ожиданиям, Вальс — это не танец, а псевдоним главного героя, чье изобретение — некое сверхоружие, напоминающее гиперболоид инженера Гарина, — в конце концов оказывается бредом безумца. Многие действующие (а также недействующие) лица «События» носят провоцирующе литературные или театральные имена: героя зовут Алексей Максимович, как Горького, и он мечтает уехать на Капри, где провел многие годы основоположник социалистического реализма; его тещу-писательницу — Антонина Павловна, как Чехова, переведенного в женский род; любовника жены — Ревшин (анаграмматический намек на Вершинина, героя чеховских «Трех сестер»); одного из гостей — Осип Мешаев (контаминация гоголевских персонажей — слуги Осипа из «Ревизора» и Межуева из «Мертвых душ»); в разговорах упоминают каких-то Станиславских, однофамильцев прославленного режиссера, и какого-то Вишневского, однофамильца известного советского драматурга. Диалоги пестрят всяческими театральными отсылками, параллелями, сравнениями, и в них прямо называются основные подтексты пьесы: «Ревизор» Гоголя, с которым сразу же сопоставила «Событие» текущая критика[1], и «Три сестры» Чехова. Очень часто персонажи «События» начинают изъясняться чужим, заемным слогом, пародирующим то Чехова, то Горького, то Блока, то Маяковского, и этот нестройный хор диссонирующих литературно-театральных штампов достигает апогея в третьем действии, в бессмысленных тирадах детектива Барбошина, представляющих собой кошмарное цитатное месиво из Достоевского, приправленного Чеховым и символистскими клише.

Фальши обессмысленного, мертвого «чужого слова» соответствует в «Событии» фальшь столь же бессмысленных, пошлых,

---

[1] См., например, рецензию В. Ходасевича, писавшего, что «с целым рядом оговорок и поправок в миросозерцаниях Гоголя и Сирина, "Событие" все же можно бы рассматривать как вариант к "Ревизору"» (цит. по: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М., 2000. С. 171).

отыгранных драматических ситуаций, которыми упиваются почти все его персонажи, представленные Набоковым, говоря словами самой пьесы, как «замерзшие маски второстепенной комедии». Подобно тюремщикам в «Приглашении на казнь», они воплощают «банальность зла» или, что для Набокова, в сущности, то же самое, «зло банальности», превращающей жизнь в «фантастический фарс», в торжество абсурда. «Крашеным призракам», от которых «нельзя ждать ни спасения, ни сочувствия», противопоставлены в пьесе только портретист Трощейкин и его жена Любовь, переживающие подлинную драму — потерю единственного ребенка, угасание любви, измену, одиночество, взаимное отчуждение, отчаяние перед лицом «темной глубины» небытия. Выпущенный на свободу психопат Барбашин, который, как убеждены действующие лица пьесы, должен застрелить Трощейкина, — это лишь один из «крашеных призраков», банальнейший «мрачный прохвост», но его внезапное появление (как появление Колдунова в «Лике») разрывает защитную оболочку бытовой инерции и заставляет героев посмотреть на самих себя и других без иллюзий и сделать окончательный выбор между героическим противостоянием страшному миру и капитуляцией перед ним. Под влиянием ужаса, как заметил В. Ходасевич, действительность для них одновременно помрачается и проясняется: «помрачается — потому что в их глазах люди утрачивают свой реальный облик, и проясняется — потому что сама эта реальность оказывается мнимой, и из-за нее начинает сквозить другая, еще более реальная, более подлинная»[1].

Уже сама фамилия героя «События», образованная от глагола «трощить» — то есть свивать, двоить, сдваивать, а также описание серии его «двойных портретов» указывают на изначальную двойственность его характера. С одной стороны, он — мелочный, черствый, суетливый эгоист, думающий только о собственном благополучии, жалкий трус, теряющий чувство собственного достоинства в критических ситуациях и склонный ради денег писать льстивые портреты на потребу публике (отсюда, вероятно, его соотнесенность с Горьким, пошедшим в услужение к советскому режиму). Но в то же время Трощейкин — художник, наделенный истинным талантом и пониманием того, что «искусство движется всегда против солнца», и потому способен на прозрение — способен подняться на «мгновенную высоту» и отбросить «театральную ветошь всей нашей жизни». К такому прорыву стремится и его жена, которая одарена не художественным трансвидением, но трансвидением любви, и в кульминационной сцене пьесы, в их

[1] Цит. по: Классик без ретуши. С. 171–172.

воображаемом диалоге на освещенной авансцене, им удается на миг прорваться друг к другу и вместе преодолеть одиночество и ужас. Однако если в прозе Набокова искусство и любовь, воображение и сочувствие, соединившись, спасают героя-художника, которому удается, хотя бы и ценой жизни, невозможный переход в иное измерение или состояние, то герои «События» не удерживаются «на мгновенной высоте» и возвращаются в «фантастический фарс». Подобно трагедии Пушкина о гибели Дон Гуана, проваливающегося в ад, воображаемый диалог Трощейкина и Любы заканчивается криком героя: «Все кончено!» — побежденные страхом и себялюбием, они капитулируют перед страшным миром и в третьем акте пьесы предают друг друга и то «главное, неприкосновенное» в самих себе, что оставляло им надежду на спасение. Люба отрицает «чудный, яркий, драгоценный талант» мужа и хочет идти к Барбашину, чтобы признаться ему в любви и «бежать с ним на край света», а Трощейкин пытается за деньги отослать ее к любовнику и нанимает «сыщика с надрывом» Альфреда Барбошина, не понимая, что он ищет защиты у двойника своего убийцы. И хотя в финале пьесы выясняется, что страхи героев были напрасны и убийство — главное событие ожидаемой всеми пошлой мелодрамы — не состоится, в некоем высшем смысле оно, как мы понимаем, уже произошло: ни талант Трощейкина, ни любовь его жены не выдержали испытания страхом.

Еще один вариант сюжета о грехопадении художника Набоков разыграл в «Изобретении Вальса». Хотя эта пьеса, в еще большей степени, чем «Событие», строится на гротескно-комических ситуациях, пародийных отголосках и изощренной парономазии, автор недаром назвал ее не комедией, а драмой. За фантасмагорической историей новоявленного властелина мира, который, устрашая всех неким аппаратом, производящим взрывы невероятной силы на любом расстоянии (расхожая тема научной фантастики 1920—1930-х годов), пытается облагодетельствовать человечество и навязать ему «новые правила игры», просматриваются смутные очертания куда более будничной реальности грезящего о мировом господстве героя — обиженного жизнью «нищего мечтателя», непризнанного поэта Турвальского. Главная тема двух его стихотворений, звучащих в пьесе, — разлучение сознания с душой, отказ следовать ее путем в «неведомый дом» и, как следствие, потеря творческой свободы. Пользуясь одной из набоковских окулярных метафор (восходящих в данном случае к зачину «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсена), можно сказать, что у Вальса засоряется внутреннее зрение, и он, вместо преодоления и преображения мира, начинает мечтать о контроле

над ним. Его инфантильная фантазия ищет такой магический ключик, который позволил бы ему играть живыми людьми, государствами, социальными институтами, как он играл в детстве заводной машиной, — не случайно навязчивый образ красного игрушечного автомобиля постоянно преследует его и даже побуждает распорядиться о закрытии всех магазинов игрушек. Подобно множеству современников Набокова, Вальс предает творческий сон поэзии, «Санта-Моргану» бытия, ради морока политической утопии (ср. словесную игру на «мир», «мер», «мор», проходящую через всю пьесу); он воображает себя всемогущим «царем мира», полновластным хозяином «всех стран земных» и пятистопными ямбами исторической драмы возвещает начало «новой жизни» без войн и нищеты, где народы «навек сольются в дружную семью» и каждый человек сможет «свободно предаваться труду, игре, поэзии, науке».

Однако, по убеждению Набокова, всякая попытка навязать саморазвивающейся жизни свою волю и превратить ее в податливый материал для осуществления своих «проектов» — будь то жизнетворчество символистов и футуристов, стремящихся театрализовать жизнь (как свою, так и чужую), или всевозможные революционные акции в социально-политической сфере, ставящие своей целью достижение полного счастья (как своего, так и чужого), — есть род безумия, маниакально-агрессивный психоз творчески неполноценного сознания, реванш злобной посредственности, мстящей миру за собственную незначимость с точки зрения вневременных категорий «высокой» культуры. Подобные попытки заведомо обречены на провал и, в конечном счете, приводят к гибели святотатца, смешивающего жизнь и искусство. Так, утопический сон Вальса с неизбежностью повторяет порочный круг всех безумных фантазий сходного типа: разрушение «старого мира» не приносит счастья, а только множит страдания и зло; попечение о «благе человечества» быстро вырождается в ублажение собственных прихотей и в заботу о сохранении власти; благородные цели в процессе осуществления деформируются и превращаются в свою противоположность; воспламененный любовью к человечеству диктатор уничтожает прекрасные города и намеревается начать «террор, казни». В итоге взрывается не мир, а сама бредовая фантазия героя — вместо волшебного острова он попадает в сумасшедший дом, а жизнь как ни в чем не бывало возвращается «на круги своя» — к своему давным-давно изобретенному, вечному вальсу.

Исследование больного сознания, одержимого жаждой «магического» контроля над жизнью, Набоков продолжил — но уже не в гротескно-условном, а в психологическом плане — повестью

«Волшебник», которая была написана в 1939 году, а впервые опубликована только полвека спустя. Здесь инфантильное стремление к жизненному воплощению фантазии и к обладанию миром представлено в форме сексуальной мании педофила, как и в прославленной «Лолите». На мысль использовать запретную страсть зрелого мужчины к несовершеннолетней девочке-«нимфетке» в качестве психологической мотивировки искаженной, ущербной и в то же время эстетически заостренной точки зрения, скорее всего, Набокова навел опубликованный в эмигрантском альманахе «Числа» графоманский рассказ некоего Самсонова «Сказочная принцесса», где герой-педофил похищает двенадцатилетнюю Ирочку, но в решающий момент сдерживает свою похоть и вознаграждается за это несколькими неделями целомудренного счастья вдвоем с прекрасной пленницей, которая к тому же успевает полюбить своего благородного тюремщика[1]. Обращаясь к столь рискованному сюжету, Набоков, конечно же, вступал в спор и с его сентиментально-моралистической трактовкой у Достоевского, которую вспоминал в «Даре» пошляк Щеголев, когда делился с Федором Годуновым-Чердынцевым своими житейскими и творческими тайнами:

«Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал... Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, не долго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем — просчет. Время бежит-летит, он стареет, она расцветает, — и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского?»

«Волшебник» и первая часть «Лолиты» сначала точно следуют за сценарием Щеголева и описывают «соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду» героя, женившегося на вдовице, чтобы овладеть ее несовершеннолетней дочкой, а затем исполняют его мечту — в обоих случаях рок (или МакФатум, как его именует Гумберт Гумберт в «Лолите») услужливо убирает со сцены главное препятствие, отправляя мать девочки на тот свет и помещая отчима в один гостиничный номер со спящей полуобнаженной падчерицей. И хотя действие «Волшебника» заканчивается первым

[1] См. об этом: A. Dolinin. Nabokov and «Third-Rate Literature» (On a Source of *Lolita*) // Elementa. 1993. Vol. 1. № 2.

же сеансом сексуальной «магии», а действие «Лолиты» после сцены в отеле растягивается на несколько лет и обрастает множеством побочных линий и подробностей, конечный результат «исполнения желаний» оказывается одним и тем же: вместо райской идиллии с послушной ему сказочной принцессой, к которой стремится герой, он, сделав свой преступный выбор, попадает в пыточную камеру «МакФатума» и обнаруживает, что его полная власть над беспомощным существом — это такая же жалкая иллюзия безумца, как и утопический бред Вальса.

«Волшебник» представляет собой черновой эскиз «Лолиты» не только в том, что касается фабулы с ее психопатологической мотивировкой и эротизированных описаний детского тела. Многие важные мотивы, приемы и подтексты будущего романа уже присутствуют в повести, но только в сжатом, едва намеченном виде. Так, беглое воспоминание безымянного героя «Волшебника» о «сверстнице-сестре, давным-давно умершей», которую он ассоциирует со спящей падчерицей, разрастается в романе в историю детской любви Гумберта Гумберта к Аннабелле Ли, которую ему напоминает Лолита; его истолкование своего порока как преломленного эстетического чувства, как «безнадежной жажды добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать», Гумберт Гумберт развивает в целую философию «нимфетолюбия», которая, как он утверждает, сродни великой поэзии; в «Лолиту» переходят мотивы колдовства и отождествление судьбы героя с сюжетами детских сказок (прежде всего, «Красной Шапочки» в повести и «Синей Бороды» в романе); воображая свое будущее счастье с девочкой, герой «Волшебника» пользуется образами из пятого акта «Короля Лира» («Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия...»), не замечая, что эта аллюзия предвещает ему безумие и гибель, и тот же подтекст будет несколько раз возникать в «исповеди» Гумберта[1], и т. п.

В самом начале «Волшебника» Набоков предоставляет слово своему герою, предвосхищая перволичную форму «Лолиты», но затем переходит к повествованию «от автора», чья точка зрения чаще всего сливается с внутренним монологом персонажа, но иногда резко отделяется от него (например, в отеле мы видим «плешивого джентльмена» и его «дочь» в позе «нежной жертвы»

[1] См., например: «...я утешал и баюкал сиротливую, легонькую Лолиту, лежавшую на мраморной моей груди... и, как Лир, просил у нее благословения...» (В. Набоков. Лолита. М., 1991. С. 314 и комм.).

глазами американской туристки). Такое построение повествования выявляет истинные субъектно-объектные отношения между героем и подразумеваемым автором текста, которые в «Лолите» тщательно спрятаны за искусным плетением словес литературно одаренного рассказчика. Если Гумберт Гумберт до самого конца отказывается понять, в чем состоит его вина, и внушает доверчивому читателю свою фальсифицированную версию происшедшего, то герой «Волшебника» прямо признает, что, манипулируя живыми людьми как материалом, который «помимо своего назначения не существует», он отступает от «единственно законного естества» своей страсти, «свободной и действительной только в цветущем урочище воображения». Когда «волшебник» выходит из этого урочища и начинает реализовывать свою мечту в чужой, ему неподвластной реальности, он попадает в поле действия авторского контроля или (что в текстах Набокова одно и то же) в сети судьбы, подыгрывающей не ему, а его жертвам.

Сексуальная аберрация переосмысляется в повести как производная от аберрации восприятия: не переросший юношеского солипсизма, герой воспринимает мир только через призму собственного «я» (недаром его взгляд назван «призматическим»), начисто игнорируя его имманентную «искусность» и семиотичность, скрытые под личиной случая. Как убедительно показал Г. Барабтарло в интересном разборе «Волшебника»[1], торжествующий маньяк, ослепленный своей манией, не замечает опутывающую его сеть предзнаменований и предупреждений, которые указывают на то, что его злой воле противодействует «чернокнижье» более высокого порядка (ср. образ «черной книги», в которую смотрит служитель гостиницы, старик, «замещающий хозяина»). Например, заблудившись в отеле, он попадает в полутемные помещения, «где из углов выступали с фатальным видом то шкафчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати», не отдавая себе отчета в значимости этой серии словно бы случайных предметов, которые отсылают к основным эпизодам его истории:

— знакомство с матерью девочки, начавшееся с покупки **шкафчика**;

— неудачная попытка остаться с девочкой наедине, когда планы героя нарушила уборщица с **пылесосом**;

— приезд за падчерицей, которая, как мельком заметил повествователь, незадолго до этого сломала **табурет**;

— две «рифмующиеся» сцены в начале и в конце повести, где девочка лежит на **кровати** (ср. также бабушкину кровать в «Красной Шапочке»).

---

[1] Г. Барабтарло. Бирюк в чепце // Звезда. 1996. № 11. С. 192–206.

Подобные переклички выявляют тайный умысел «хозяина» текста, исподволь, едва заметными ходами разрушающего козни героя, — умысел, цель которого заключается в том, чтобы защитить жертву («черную шапочку») от кровожадного («красного») оборотня и завершить «сказку» уничтожением злого «волшебника» при помощи грузовика, низвергающегося с «боковой» (то есть набоковской) улицы[1]. Как заметил Г. Барабтарло, роль волшебного предмета, амулета, оберегающего девочку, играет в повести старинная золотая цепочка, принадлежащая ее матери. Первый раз — в сцене, где больная жена героя перебирает «**какие-то** страшно старенькие вещицы», — повествователь описывает цепочку перифрастически: «**что-то** золотое, тонкое, — как время, текучее», подчеркивая тем самым ее значимость (заметим, что неопределенные местоимения у Набокова, как правило, маркируют ключевые мотивы текста). Значение мотива золота закрепляет и еще одна важная деталь: на похороны женщины «**почему-то** явился... золотых дел мастер». После ее смерти «**какие-то** материнские мелочи заветной давности» переходят к девочке, и когда герой приезжает за ней, она появляется в черном платье с золотой цепочкой на шее. Наконец, в кульминационных эпизодах романа амулет упоминается дважды — сначала в момент, когда «волшебник», лаская девочку у себя на коленях, как вампир, приникает к ее «горячей шелковистой шее около холодка цепочки», а затем в вожделенный миг, когда перед ним обнажается все ее тело и он видит, что во впадину подмышки «стекала наискось золотая струйка цепочки, — вероятно, крестик или медальон», — причем оба раза блаженство героя тут же прерывается звуком извне, стуком в дверь и ревом грузовика.

Согласно интерпретации Г. Барабтарло, проследившему этот лейтмотив повести, он позволяет реконструировать ее неявный, но истинный сюжет, который можно «пересказать в понятиях волшебной сказки» о матери и дочери: мать завещает дочке магический талисман, который должен уберечь ее от нападений злого отчима, и после смерти, став всезнающим духом, незримо витает над ней, предотвращая несчастье[2]. Нетрудно заметить, однако, что подобное буквально-спиритуалистическое прочтение «Вол-

---

[1] Гибель под колесами грузовика была предсказана герою в сцене приезда за девочкой, когда во внешне незначимой подробности — упоминании о том, что его чемоданы уже **погружены в автомобиль**, — ему вдруг почудился, «как бывает во сне... какой-то мелькающий смысл».

[2] См.: Г. Барабтарло. Бирюк в чепце. С. 201–203.

шебника» превращает его в сентиментальный святочный рассказ с добрыми духами, защищающими бедную сиротку, и противоречит интенциям набоковского текста. Как представляется, повесть не реализует, а **обыгрывает** традиционные для магического мышления представления и сюжеты, превращая их в метафоры, референт которых — магия поэзии, преображающей мир и защищающей его преходящую красоту. Золотая цепочка — волшебный предмет, ограждающий ребенка от зла, — это не сказочный оберег, а поэтический образ, восходящий к золотой цепи громовержца Зевса (ср. мотив грома и молнии, испепеляющих героя, в последней фразе повести), похваляющегося своей верховной властью в «Илиаде»:

Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба,
Все до последнего бога и все до последней богини
Свесьтесь по ней; но совлечь не возможете с неба на землю
Зевса, строителя высшего, сколько бы вы ни трудились!
Если же я, рассудивши за благо, повлечь возжелаю, —
С самой землею и с самым морем ее повлеку я
И моею десницею окрест вершины Олимпа
Цепь обовью; и вселенная вся на высоких повиснет —
Столько превыше богов и столько превыше я смертных!

(VIII, 19—27; перевод Н. И. Гнедича)

В неоплатонической традиции (к которой близка метафизика Набокова) золотая цепь Зевса понимается символически как великая цепь бытия, как божественная взаимосвязь всех явлений и существ во вселенной, и именно так — в микрокосме художественного текста — осмысляется ее малое подобие в «Волшебнике». Определяющий признак цепочки — текучесть — делает ее символом изменчивой жизни, протянутой во времени, но с точки зрения «строителя высшего» или, используя метафору Набокова, «золотых дел мастера» она есть кольцо, разорвать которое не под силу никакому «богу или смертному». Посягая на девочку, «волшебник» посягает на верховную власть творца-художника, держащего мир на своей золотой цепи, и потому сбрасывается в тартар.

Символической антитезой мотиву золотой цепи выступает в повести мотив драгоценных камней, с которыми связан род занятий ее героя. Показательно, что само слово, обозначающее его профессию, в повествовании намеренно утаивается, заставляя читателя по ряду описаний и намеков догадаться, чем же именно занимается «волшебник». Мы знаем только, что «у него была тонкая, точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая

ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы»; что ему требовалось «зоркое зрение, оценщик граней и игры»; что, вспоминая о делах, он думает о счетах и о призмах; и что его страсть дурно отражается «на точности глаза и граненой прозрачности заключений». Делая предложение матери девочки, он дарит ей «чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость». Лицо мертвой жены представляется ему искусной работой ювелира: «отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку». «Мешок рубинов, ведро крови» — высшая цена, которую он мысленно предлагает судьбе за обладание выбранной жертвой.

Этой информации вполне достаточно, чтобы разгадать загадку, задуманную Набоковым, — герой «Волшебника» конечно же не ювелир, как ошибочно полагает Г. Барабтарло, а оценщик драгоценных камней или гемолог (от *лат.* gemma — «драгоценный камень, самоцвет»). «Чистая, изящная профессия» призвана прояснить природу его эстетического (и сексуального) изъяна: он ценит только застывшую, неизменную, окаменевшую красоту и стремится обратить текучее в неподвижное, живое в мертвое, суверенный субъект в послушный объект. Поэтому его порок постоянно ассоциируется в повести с некрофилией и вампиризмом, чему на вербальном уровне должна соответствовать ассоциация неназваного слова «гемолог» с русской транслитерацией греческого корня «гема» — кровь. Чтобы испытать наслаждение, он должен усыпить и обескровить предмет своих желаний, вырвать из золотой цепи бытия, лишить сознания и воли — или, говоря языком повести, заколдовать; его «зоркое зрение» ущербно, ибо неспособно воспринимать текучесть и взаимосцепленность явлений. В этом смысле неявным сюжетом повести следует считать не борьбу добрых духов со злым маньяком, а борьбу двух типов эстетического отношения к миру, эмблематически определяемых оппозицией золотой цепочки и драгоценного камня[1], —

[1] Следует отметить, что образами драгоценных камней насыщена раннемодернистская литература 1890—1900-х годов. В «Портрете Дориана Грея» Оскара Уайльда, например, драгоценные камни — главное увлечение героя. Здесь же приводится древняя легенда о том, что в мозгу дракона находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письмена... его можно умертвить» (Оскар Уайльд. Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь. Редьярд Киплинг. Стихотворения. Рассказы. М., 1976. С. 164). Ср. также многочисленные стихи о драгоценных камнях в поэзии русских символистов.

трансфигуративного и автопроективного. Первый из них, через перекличку с «златой цепью» вступления к «Руслану и Людмиле» и сказочный топос повести, связан с пушкинской традицией, а второй — с ее современными ниспровергателями, и прежде всего с Георгием Ивановым, главным недругом и оппонентом Набокова.

За год до того, как Набоков написал «Волшебника», в Париже вышла в свет повесть Георгия Иванова «Распад атома», в которой он вступил в спор с набоковской концепцией жизни как божественного дара, вручаемого художнику для творческого преображения. «Я завидую отделывающему свой слог писателю, — иронически заявлял Иванов, — смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сровнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой и воображением, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, все спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх — преображены гармонией искусства»[1]. В ситуации полного распада отчужденной, «атомизированной» души, которую окружает и разрушает «мировое уродство», «черная пустота», ничто — гармоническое искусство, считает Иванов, есть безнадежный анахронизм, прельстительный обман, чуждый отвратительным реальностям эпохи. «Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? — бормочет его отчаявшийся герой. — Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» Лживому утешению классическим искусством — лирикой Пушкина и Лермонтова, прозой Гоголя и Толстого — Иванов противопоставляет эпатирующие изображения «прозы жизни», не поддающейся поэтическому преображению: солдат, онанирующий в нужнике, горы изуродованных трупов, совокупление некрофила с мертвой девочкой, половой акт с проституткой, чьи «голые детские пальчики» и «белые ножки» не могут скрыть «кровную стыдную суть» современной Психеи.

В «Волшебнике» Набоков словно бы отвечает на вызов Иванова, подхватывая у него тему «мирового уродства» и доказывая, что

---

[1] Г. Иванов. Собрание сочинений в трех томах. Т. 2. М., 1994. С. 16.

и она может быть преображена «гармоническим искусством»[1]. По сути дела, финальный эпизод повести носит не менее шокирующий характер, чем «правдивые картинки» в «Распаде атома», а набоковские описания значительно точнее и подробней рисуют сексуальное возбуждение и телесные реакции педофила. Однако само искусное построение текста и его изощренный, насыщенный всевозможными повторами и парономастическими сближениями язык трансформируют грубую прозу жизни в составную часть единой поэтической картины мира, в которой устрашающие монстры, как химеры в готических соборах, должны лишь оттенять красоту целого, напоминая о пагубности эстетических и гносеологических грехов. Сходную задачу Набоков решал и в написанных одновременно с «Волшебником» черновых набросках ко второй части «Дара», где творческое сознание Федора Годунова-Чердынцева одновременно фиксирует и «олитературивает» вполне заурядный телесный опыт — два свидания с парижской проституткой, во время которых у него рождается множество поэтических ассоциаций[2]. Важно, что при этом он несколько раз вспоминает строки Пушкина, но не для того, чтобы подчеркнуть их несовместимость с низменной ситуацией, как это делает Иванов в «Распаде атома», а наоборот, чтобы интегрировать «низкое» в пушкинскую традицию. По убеждению Набокова, не пушкинская Россия предает современного художника, а наоборот, современный художник, напуганный химерами «мирового уродства»

---

[1] Обращает на себя внимание едва ли случайная текстуальная перекличка между «Волшебником» и «Распадом атома». Когда герой повести Иванова целует грязные ножки своей Психеи, издающие тлетворный запах, он думает: «Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя?» (Там же. С. 32). Аналогичный вопрос задает себе герой Набокова, когда он накреняется над обнаженной девочкой, «невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой...».

[2] Ср., например:

«Легкая, маленькая, с блестящей черной головой, прелестные зеленоватые глаза, ямки, грязные ногти — это дикое везенье, это совершенное счастие, не могу, я буду рыдать.

Ты прав, сказала она, я неряшлива — и принялась, напевая, мыть руки. Напевая и кланяясь, взяла ассигнацию. И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя... Все-таки осторожно: — как писал смуглый подросток Брокгауз, он же пятнадцатилетний Эфрон, — на коленях в углу кабинета. Перехитрить или все равно? Ты молода и будешь молода...»

(В отрывке содержатся аллюзии на стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад...», лицейское стихотворение Пушкина «Князю А. М. Горчакову» и «Каменного гостя»).

и отказывающийся от заветов Пушкина, предает русскую литературу. В финальных сценах второй части «Дара», действие которых происходит уже после начала Второй мировой войны, Федор Годунов-Чердынцев, испытав всю демоническую силу страшного мира: измену жене, ее трагическую гибель, тоску, отчаяние, ужас перед лицом нацистской угрозы и наступающего «конца всему», — во время воздушной тревоги в Париже читает поэту Кончееву свое окончание незавершенной пушкинской «Русалки». Это символический акт героического сопротивления художника «мировому уродству», его присяга на верность высшим ценностям русской культуры, которые он должен сохранить и передать будущим преемникам, наперекор ударам судьбы и «дуры-истории». «Донесем?» — спрашивает Федор на прощанье своего единомышленника, и хотя Кончеев не вполне понимает вопрос, его смысл не вызывает сомнений. Удастся ли нам остаться верными своему искусству и донести дары, завещанные Пушкиным, до вечности? — вот сакраментальный вопрос, который волнует Федора и его создателя в момент, когда с неба вот-вот начнут сыпаться бомбы.

К великому сожалению, Набоков так никогда и не дописал задуманное продолжение «Дара», обещавшее, судя по сохранившимся наброскам, поворот к трагической трактовке тем смерти, вины и ее искупления. У нас есть известные основания предполагать, что незаконченный роман «Solus Rex», над которым Набоков работал в конце 1939 — первой половине 1940 года, мог в конце концов оказаться этим продолжением, а два его героя, король некоего северного острова и русский художник-эмигрант Синеусов, — персонажами некоей книги Федора Годунова-Чердынцева, главного «одинокого короля» трехплановой композиции[1]. Однако в опубликованном начале «Solus Rex» нет никаких указаний на его связь с «Даром». Основным местом действия здесь, впервые у Набокова, является вымышленная современная страна, для которой писатель придумывает (как это будет потом в его английских романах «Под знаком незаконнорожденных» и «Бледный огонь») свой язык, свою культуру, свою политическую историю. Словно бы реализуя традиционную метафору, уподобляющую художественный текст особому миру или царству, Набоков в ярких подробностях воображает быт, нравы, пейзажи сумрачного и бедствующего королевства; оно не намекает на Россию или Германию, а существует само по себе, как параллельная реальность, целиком созданная поэтической фантазией.

---

[1] Эту гипотезу я обосновал в статье «Загадка недописанного романа» (Звезда. 1997. № 12).

В этой искусно выстроенной декорации развертывается печальная история последнего короля острова, который был возведен на трон в результате кровавого переворота. Приехав в столицу из провинции, он, тогда молодой идеалист, воспитанный в строгих пуританских правилах, с отвращением отшатнулся от законного наследника, принца Адульфа, — безнравственного сластолюбивого эстета, чья жизненная философия напоминает о знаменитых декадентах начала века, — и присоединился к партии заговорщиков, угрюмых доктринеров, готовых, ради абстрактных представлений о морали и народном благе, идти на мятеж и убийство. Из двух зол будущий король явно выбирает наихудшее и, придя к власти, становится безвластным пленником собственного положения и собственной вины. Повествователь романа не случайно именует его аббревиатурой из шахматной нотации — подобно шахматному королю, он является одновременно центральной и самой слабой фигурой в своей реальности; сфера его свободы существенно ограничена, и ему приходится полагаться на защиту более сильных фигур. Как явствует из нескольких намеков в начале романа и пояснений Набокова в предисловии к его английскому переводу, главная защита несчастного короля — это его любимая жена Белинда, ферзь разыгрываемой партии, но и она должна погибнуть в день, с которого начинается действие «Solus Rex», на «кровавом мосту» через реку Эгель.

Характерно, что именно в тот момент, когда повествователь делает скачок во времени, начиная говорить о «страшнейшем несчастье», то есть гибели Белинды, в модусе будущего воспоминания героя, он внезапно соскальзывает из одной реальности текста в другую, упоминая о еще неведомом читателю русском персонаже Синеусове, чьи мысли, как оказывается, мы только что слышали:

Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя грядущего дня, так что несомое этим днем страшнейшее несчастье (уже, под маской ничтожной скуки, сторожившее мост через Эгель), при всей своей нелепости и непредвиденности, ощутилось им затем как некое разрешение. Мы склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв. Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью

только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «GARAGE».

Этот неожиданный, ничем не мотивированный переход, по всей вероятности, должен был подготовить последующую смену планов повествования, которая объяснила бы связь между «несвободным художником» Синеусовым и историей несвободного короля. Как явствует из фрагмента романа, опубликованного под названием «Ultima Thule», Набоков намеревался в какой-то момент дать понfive, что весь рассказ о северном острове разворачивается в воображении Синеусова, пытающегося уйти в вымышленный мир, дабы ослабить тоску по недавно умершей жене. Ясно, однако, что за «двоемирием» Синеусова скрывается еще одна реальность более высокого уровня, ибо его фантазия не вполне свободна, а продиктована ему странным визитером из запредельной Terra Incognita, неким ино-странным писателем, который пересказывает ему свою поэму «Ultima Thule» и заказывает иллюстрации к ней. Другими словами, Синеусов выступает как «переводчик» или «ретранслятор» чужого поэтического видения, о котором он имеет только самые общие представления:

О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом, не могло быть, конечно, и речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше понаслышке и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой — какой-то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску...

Иностранный заказчик, пишущий на неизвестном герою языке и оплачивающий его услуги иностранными деньгами, — это посланец из потусторонности, полномочный представитель высшего творца, в чьей поэме и Синеусов, и его жена, и «северный король» являются персонажами, живыми шахматными фигурами, воплощающими его замысел, «рабами» видимой только ему связности. По отношению к «реальностям», в которых существуют «рабы», он выступает как Провидение и властен над их жизнью и, главное, их смертью — в его воле даровать душе вечную жизнь, как в финале «Приглашения на казнь», или уничтожить ее, как в финале «Волшебника». Знаменательно, что гонорар посланца

так радует умирающую жену Синеусова, которая, когда ей остается жить несколько дней, пишет на грифельной доске, что больше на свете любит «стихи, полевые цветы и иностранные деньги». Смысл этой важной для Набокова денежной метафоры раскрывается в «Даре», где Годунов-Чердынцев размышляет о том, что «наши здешние дни только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, и что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор». Иностранные деньги, выплаченные Синеусову перед смертью его жены, — это и есть материализованный процент с основного капитала, лежащего за «предельной Фулой», гонорар за соучастие в создании «графического рисунка вечности», бессмертья, может быть, залог.

Всем героям «Solus Rex» Набоков уготовил одно и то же страшное испытание — смерть любимой женщины, которая ввергает их в отчаяние и, видимо, заставляет почувствовать собственную вину. Мы не знаем, как пережил северный король гибель своей королевы, но Синеусов после смерти жены не только переносится на «Ultima Thule» — «остров, родившийся в пустынном и тусклом море его тоски», — но и пытается мыслью проникнуть за последний предел и понять, «есть ли хоть подобие существования личности за гробом или все кончается идеальной тьмой». Свои вопросы он адресует еще одному странному персонажу романа, безумцу Фальтеру, которому, как он утверждает, случайно удалось разгадать «загадку мира» и постичь «сущность вещей». С точки зрения метаморфоз сознания Фальтер — уникум, единичная аномалия, так сказать, «куколка», наделенная знанием «бабочки» (отсюда его значимая фамилия). Полнота знания при этом превращает его в не-человека. Из него, как говорит Синеусов, «вынули душу», вместе с которой он теряет все человеческие привычки и обыкновения. Более того, свое знание он не может ни употребить, ни передать — для других оно оказывается убийственным. В «почти сократическом разговоре» с Синеусовым Фальтер «с ловкостью площадного софиста» отвергает все основные философские и религиозные представления о смерти и бессмертии, но свою тайну не открывает. Он явно издевается над чувствами собеседника — и в том числе над самым его сокровенным чувством, испытываемым «в минуты счастья, восхищения, обнажения души», когда ему кажется, что «небытия за гробом нет; что рядом, в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса — все только путаное предисловие, а главное впереди». Между тем в самих софизмах Фальтера содержится подтвержде-

ние того, что это чувство (которое, по Набокову, лежит в основе творчества и любви) Синеусова не обманывает. Как бы невзначай Фальтер упоминает о вере в «поэзию полевого цветка или в силу денег», что, по точным наблюдениям Д. Бартона Джонсона и А. Арьева, представляет собой не замеченный героем сигнал, отсылку к предсмертной записи его жены на грифельной доске [1]. Синеусов слышит, но не узнает отзвук «милого голоса», тайный знак любящей души, посланный через бездушного медиума, — знак, свидетельствующий о том, что «все хорошее в жизни: любовь, природа, искусства и домашние каламбуры» (список молодого Набокова) не стирается со смертью и не пожирается жерлом вечности. Фальтер — человек, предавший свои «странные, чем-то обаятельные способности» и сделавший ставку на свою «ваятельную волю» и на «дюжинное, общепринятое», — узнает тайну мира, но ему она не сулит продолжения, ибо, по его слову, он смертен иначе, чем Синеусов. И напротив, художнику, «человеку выбранному», который только смутно догадывается об этой тайне, заблуждается, страдает и ищет утешения в творчестве, обещается после смерти не гибель души, а ее полное освобождение из тюрьмы земного бытия.

Разумеется, по двум небольшим фрагментам «Solus Rex» нельзя реконструировать его композицию, сюжетные линии, даже набор персонажей. О замысле последнего русского романа Набокова мы знаем примерно столько же, сколько художник Синеусов знал о поэме «известного писателя», который не смог «перевести ему свои символы» и, вопреки обещанию, больше не объявился и уехал в Америку. После переезда Набокова в Америку исчез из русской литературы и писатель Сирин, оставив незаконченной свою, быть может, главную книгу об «одиноких королях», преодолевающих смерть в творчестве. Свой уход он несколько лет обдумывал и проигрывал в разных вариантах: прячась под маской Василия Шишкова, писал стихи, в которых прощался с миром и русской литературой перед переходом в «молчанье зарницы, молчанье зерна»; в рассказе о том же Шишкове обсуждал возможность «в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле... исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах»; примерял роли французского или английского писателя. В конце концов именно англоязычная литература предоставила Набокову шанс окончательно распроститься с Сириным и начать новую жизнь на других берегах, сложившуюся, как мы знаем, весьма успешно.

[1] А. Ю. Арьев. О полевых цветах и иностранных деньгах // Набоковский вестник. Вып. 5. СПб., 2000. С. 196–197.

В том, что Набоков называл своей личной трагедией, — в отказе от «природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога»[1] — немалую роль сыграло стечение бытовых, профессиональных и финансовых обстоятельств. Его жизнь за океаном сложилась таким образом, что он относительно быстро вошел в американские литературные и академические круги, обычно закрытые для эмигрантов, и получил доступ в престижные издательства и журналы. Отставив «русскую музу», которая в новой ситуации не сулила ему ни читателей, ни средств к существованию, Набоков увлекся невероятно сложной задачей перевоплощения в американского литератора и начал, шаг за шагом, приближаться к поставленной цели. Пришелец ниоткуда, без узнаваемого имени и культурно значимой биографии, он должен был начинать с нуля и строить свой образ заново, как если бы писателя Сирина (в Америке никому тогда не известного) никогда не существовало. Для того, чтобы заполнить биографический вакуум и представить себя англо-американской аудитории, в конце 1940-х годов Набоков написал свою автобиографию, само название которой — «Conclusive Evidence» (буквально «Окончательное/убедительное доказательство» или «Свидетельские показания, решающие дело») — выдавало его интенцию: он стремился предложить американской культуре такое свидетельство о своем прошлом, которое было бы принято ею за истину и положено в основу того, что можно назвать набоковским мифом. Характерно, что в этой книге Набоков писал о Сирине как о некоем «другом» писателе, который «пронесся по темному небу изгнания, будто метеор, и исчез, оставив после себя главным образом смутное ощущение неловкости», и оценивал его творчество со стороны, как беспристрастный свидетель и критик[2].

Когда в 1952 году Роман Гринберг перевел на русский язык ту главу «Conclusive Evidence», в которой речь шла о Сирине и других эмигрантских писателях, и Набоков перечитал свое описание

---

[1] В. Набоков. Лолита. С. 347.

[2] V. Nabokov. Conclusive Evidence. A Memoir. N. Y., 1951. P. 216–217. Лучшие вещи Сирина, писал Набоков, «это те, в которых он приговаривает своих персонажей к одиночному заключению в собственных душах. Его первые два романа, на мой вкус, посредственны. Из остальных шести или семи наиболее любопытны "Приглашение на казнь", в котором рассказывается о бунтаре, заключенном в открыточную крепость клоунами и громилами коммунацистского государства, и "Защита Лужина", книга о шахматном чемпионе, который сходит с ума, когда шахматные комбинации проникают в действительный узор его существования».

эмиграции «с русской точки зрения», он пришел к выводу, что «печатать его — по-русски — никак невозможно».

«В пустоте залы каждый легчайший щелчок звучит как оплеуха, — писал он Гринбергу, — и не хочется мне гулять лягаясь среди притихших стариков. Все это было хорошо в далекой американской перспективе. А тут еще вопрос Сирина: я только потому и мог так к этому делу подойти, что имя это никому кроме двух-трех экспертов незнакомо, а по-русски выходит какое-то странное и неприличное гарцевание»[1]. Вернуть автобиографию в русско-сиринскую перспективу значило переписать ее заново для другого контекста, и Набоков создает новую версию своей жизни, получившую название «Другие берега». Как он сам заметил в предисловии к ней, она «относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо». Иными словами, русская автобиография для него намного крупнее и объемнее своего английского оригинала, что связано прежде всего с их разной прагматикой: если «Conclusive Evidence» — это мемуар незнакомца, который претендует на место в чужой литературе и стремится доказать, что его прошлое заслуживает внимания, то «Другие берега» — это мемуар известнейшего писателя, который уже все доказал и теперь создает биографический фон для своих произведений.

Последняя русская книга Набокова отличается от других прославленных писательских автобиографий XX века своей уникальной позицией, которая словно бы реализует известную формулу Шатобриана «Замогильные записки». Она написана с точки зрения писателя, завершившего одну «истинную жизнь» и начавшего новую на «другом берегу», так что прошлое в его воспоминаниях представлено как отграниченная от настоящего, замкнутая целостность, как законченный текст, который он теперь пересматривает. Заканчивающая книгу ключевая метафора, приравнивающая описанное в ней к загадочной картинке для детей («Найдите, что спрятал матрос»), где из нарочно спутанных штрихов при повторном всматривании складывается осмысленный рисунок, подчеркивает набоковскую установку на «спациализацию» собственного прошлого и выявление в нем семантических связей между различными событиями, которые обнаруживаются только в ретроспекции.

---

[1] «Дребезжание моих ржавых русских струн...» Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публикация Рашита Янгирова // In memoriam. Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб. — Париж, 2000. С. 375.

В недавно опубликованном послесловии к «Conclusive Evidence», написанном в форме пародийной рецензии на книгу, Набоков, устами вымышленного прозорливого критика, определил свой особый автобиографический метод как «исследование самых отдаленных областей прошлой жизни в поисках того, что можно назвать тематическими тропинками или течениями. Когда автор находит ту или иную тему, он прослеживает ее развитие на протяжении многих лет»[1]. Интересно, что аналогичным образом формулировал задачи биографа Федор Годунов-Чердынцев в «Даре», искавший и находивший в жизни Чернышевского развитие нескольких тем и мотивов: «развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко, за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад...» Набоков пересматривает и переосмысляет свою биографию подобно тому, как его герой пересматривал и переосмыслял биографию чужую. Из груды воспоминаний, фактов, имен, семейных преданий он вытягивает множество «тематических узоров» или «серий», причем некоторые, наиболее важные из них, пронизывают всю книгу. Таковы, например, тема ненасытного зрения и питающих его сокровищ — от драгоценностей матери в первой главе до цветных стеклышек в главе последней, темы сада и тропы, бабочек и шахмат. Любые подробности или эпизоды в «Других берегах» могут вдруг оказаться предвосхищением будущего события и выявить в нем дополнительные, трансвременные значения. Скажем, первое воспоминание Набокова о горячо любимом отце рисует его в блестящей **как солнце** кавалергардской кирасе, обхватывающей его грудь и **спину**; во второй раз отец упоминается тоже в связи с войной, когда он уходит из кафе, чтобы не находится рядом с **двумя** японскими офицерами; в третий — речь идет о его триумфальном возвращении домой после трехмесячного тюремного заключения; в четвертый — о том, как благодарные крестьяне его подбрасывали в воздух, и все эти эпизоды семейной хроники, перекликаясь друг с другом, не только создают героический, «солнечный» образ воина и триумфатора, но и предвосхищают, может быть, самое страшное событие всей жизни Набокова и «Других берегов» — гибель отца в бою, когда он «заслонил Милюкова от пули **двух** темных негодяев, и пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в **спину**». Подвиг и смерть, подготовленные всем «тематическим узором» жизни В. Д. Набокова, оказываются его главным триумфом, ибо достой-

[1] V. Nabokov. The Conclusive Evidence // The New Yorker. December 28, 1998 — January 4, 1999. P. 126.

но завершают «сложную шахматную композицию», которая навечно остается в памяти культуры. Сама красота биографического рисунка, распознанного любящим сыном, делает отца бессмертным, и поэтому Набоков в знаменитой концовке первой главы связывает образ мертвого отца в еще не закрытом гробу с образами вознесения к небу: сначала в бытовом, шутливом воплощении (воспоминание о крестьянах-качальщиках, чествующих доброго барина), а затем в сравнении с росписями «на церковных сводах в звездах». По крайней мере, в застывшем прошлом Набокова его отец не умирает, а обретает вечную жизнь; сын оплакивает его и радуется вечному возвращению. Не случайно свою эмоциональную реакцию на потерю Набоков относит не к смерти отца, а к ее счастливо закончившейся репетиции — несостоявшейся дуэли В. Д. Набокова с черносотенцем из «Нового времени» (собратом его будущих убийц), и его слезы — это слезы радости. Не зная, чем закончился поединок, сын воображает «все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику», и в первую очередь смерть Пушкина (как все знают, солнца русской поэзии), открывая для себя всю «бездну» своей «нежной любви к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей». Если сравнить этот перечень с основным тематическим и цитатным репертуаром «Других берегов», то мы обнаружим их почти полное тождество: сама структура автобиографии Набокова есть, в известном смысле, подарок отцу и подтверждение его торжества над смертью.

Определяя метод своей автобиографии, Набоков резко противопоставил ее нескольким общеизвестным разновидностям этого жанра, и в том числе книгам, вводящим в «кухню профессионального писателя, где куски неиспользованного материала плавают в тепловатом вареве литературных и личных проблем»[1]. Разумеется, к этой шпильке нетрудно подобрать много заслуживающих ее адресатов, но в русском контексте одним из них следует считать «Охранную грамоту» Бориса Пастернака — поэта, к творчеству и жизни которого Набоков всегда относился с ревнивым вниманием. Принципы построения писательской автобиографии, провозглашенные Пастернаком, должны были вызвать у Набокова резкое неприятие. «Я не пишу своей биографии, — заявлял автор “Охранной грамоты”. — Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего

[1] V. Nabokov. The Conclusive Evidence. P. 126.

жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принужденью. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. ⟨...⟩ Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть»[1]. Ничто, пожалуй, не было Набокову столь чуждо, как самоуничижение Пастернака, отождествляющего «историю поэта» с «коллективом» (нацией, поколением, группой и т. д.) и отказывающегося от жизнеописания. С его точки зрения, жизнь художника и в биографической вертикали не менее уникальна и замкнута, чем в плане творчества, и определяется не пастернаковскими «несущественностями», а некоей «индивидуальной тайной», которая накладывает отпечаток на всю его историю. «Ни в среде, ни в наследственности, — пишет он в “Других берегах”, — не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства». Свою автобиографию Набоков и строит как жизнеописание особой, уникальной творческой личности, изначально одаренной необщим складом сознания, как апологию ее сугубо индивидуального, никем не разделяемого опыта и ниспровержение «коллективного».

Эта установка на индивидуальное объясняет весьма необычный отбор материала, отличающий «Другие берега» от большинства известных писательских автобиографий XX века. Хотя формально книга охватывает 41 год жизни Набокова, от рождения до отъезда из Европы в Америку, примерно две трети текста занимают детские воспоминания (иногда стилизованные под «Детство» Толстого), перемежающиеся с фрагментами семейной истории в анекдотах. Вопреки распространенному мнению, в подчеркнутом внимании писателя именно к своему детству не следует видеть сентиментально-ностальгический плач по «потерянному раю». Набоков начисто лишен ностальгически окрашенного интереса к безвозвратно ушедшему «старому миру» и не создает «каталогов» утраченного, типичных, как великолепно показал Ю. К. Щеглов, для тех мемуаров о дореволюционном прошлом, вплоть до автобиографических книг В. Катаева, которые осмысляют «исторический катаклизм XX века... как грандиозный сдвиг в «вещественном оформлении» жизни»[2]. В «Других берегах» пейзаж явно

[1] Б. Пастернак. Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982. С. 201.

[2] Ю. К. Щеглов. Антиробинзонада Зощенко. Человек и вещь у М. Зощенко и его современников // Die Welt der Slaves. XLIV. 1999. S. 231.

преобладает над натюрмортом, а вещи подаются вне исторической перспективы и вне исторического контекста — они важны потому, что насыщали индивидуальное зрение и память, а не потому, что представительствуют за разбитую историей жизнь.

Собственное «совершеннейшее, счастливейшее детство» интересует Набокова лишь постольку, поскольку именно в ранние годы, по его убеждению, формируется особая восприимчивость творческой личности и складывается ее своеобразный сенсорный запас, которым впоследствии она пользуется в искусстве. Он воссоздает не сам «утраченный рай», а свое самоценное, непосредственное восприятие этого рая, первичное ощущение «устойчивости и гармонической полноты... жизни», соприродное его художественному видению. «Первородной самоцветности» детства и отрочества «Другие берега» имплицитно противопоставляют «общие места юности», когда личность под воздействием среды на время теряет индивидуальность и проходит одинаковые для всего поколения стадии инициации. Центральные для автобиографической традиции темы инициационного комплекса у Набокова отходят на второй план или вовсе игнорируются. Так, он подробнейшим образом живописует всех своих гувернеров и гувернанток, то есть индивидуальных воспитателей, но крайне скупо пишет о школьных и литературных учителях, у которых, кроме него, учились и другие — например, о В. В. Гиппиусе, на него, безусловно, сильно повлиявшем (ср. главу о Гиппиусе в «Шуме времени» Мандельштама), или о Ю. И. Айхенвальде, которому он был многим обязан. Столь же избирательно подходит Набоков и к теме чтения, которая в писательских автобиографиях обычно играет важную роль: в «Других берегах» не сказано ни слова о тех книгах, которыми их автор увлекался в молодости, но зато целая глава посвящена «Всаднику без головы» Майн Рида как «излюбленному чтению русских мальчиков».

Отбор и переакцентировка автобиографического материала у Набокова всецело подчинены его концепции жизни художника как своего рода «претекста» его творчества и одновременно резервуара, из которого он черпает свои образы и сюжеты. Нельзя не заметить, что «Другие берега» очень часто отсылают к романам и рассказам Сирина, а иногда их прямо цитируют или перефразируют. Многие детские эпизоды, например, повторяют «Защиту Лужина», «Подвиг» и «Дар», описания учебы в Кембридже дублируют тот же «Подвиг», глава о первой любви представляет собой конспект «Машеньки», а упоминание о случайном немецком знакомом, который обожал публичные казни и присутствовал на декапитации, совершенной «по старинке, при помощи топора», отнюдь не случайно напоминает о «Приглашении на казнь». Если

в английском оригинале дублеты и переклички такого рода можно отнести на счет экономного использования подручных, незнакомых читателю источников, то в «Других берегах» они становятся осознанным приемом автореференции, уподобляющим биографический «факт» его позднейшему художественному преображению. Откровенное обнажение приема дается уже во второй главе, где Набоков предваряет рассказ о том, как в детстве, после долгой болезни, у него открылась способность ясновидения, приглашением проследить, «как именно изменился при передаче литературному герою (в моем романе “Дар”)» этот случай. Более тонким способом параллель вводится в описании детской спальни Набокова и висевшей у него над кроватью картинки, где был изображен «сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка». Читатель «Подвига» должен был узнать здесь реминисценцию последних слов романа: «темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно» — и сопоставить детские фантазии Набокова, мечтавшего перелезть «с подушки в картину», с центральным лейтмотивом его книги. Вспомнив, как ему хотелось попасть «в зачарованный лес», Набоков добавляет: «...куда, кстати, в свое время я и попал» — попал, конечно же, в воображенном мире Мартына Эдельвейса, главного героя «Подвига», которому автор даровал и свою спальню с иконкой в головах, и свою сказочную акварель, и свою мечту, и, главное, возможность ее воплотить.

Постоянные обращения Набокова к собственным текстам создают в автобиографии сложную игру между «фактом» и вымыслом, документальным и художественным. «Я не раз замечал, — признается автор, — что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе». В «Других берегах» он как бы заново собирает «рассыпанное», возвращая «живые мелочи» в тот жизненный «узор», из которого они когда-то были изъяты, но сама эта операция, если воспользоваться набоковской алхимической метафорой, представляет собой их вторичную перегонку и, следовательно, имеет ту же художественную природу, что и первичное преображение. «Фактами» своей жизни повествователь «Других берегов» играет так же свободно, как повествователь романа Сирина играет с «вымыслами»; по сути дела, его своевольное творческое сознание становится главным героем автобиографии, а процесс искусного рассказывания и утаивания — ее главным сюжетом.

Набоков отнюдь не скрывает, что многие эпизоды в «Других берегах» скорее воображены или довоображены, нежели извлече-

ны непосредственно из запасов памяти. Например, прежде чем во всех деталях описать приезд очередной гувернантки на станцию Сиверская, он сообщает, что встречать ее тогда не поехал, и потому теперь «высылает туда призрачного представителя», который ясно видит, «как она выходит в сумеречную глушь небольшой оснежённой станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом». Вся эта сцена, с одной стороны, дразняще «фиктивна», а с другой — вполне «документальна», ибо составлена из конкретных подробностей; она возникает в воображении мемуариста, но приобретает реальность воспоминания. Сознательная (или бессознательная) деформация биографического «факта», как и его соединение с вымыслом (или домыслом), не только не беспокоят Набокова, но представляются ему вполне допустимым способом мемуарной реконструкции, ибо «искажение образа в памяти может не только усилить его прелесть добавочным отражением, но и придать ему значимую связь с более ранними или более поздними фрагментами прошлого»[1].

Вольное обращение Набокова с «фактами» собственной жизни, которые, как он считал, не существуют отдельно от рассказчика и подвластны его воле, на первый взгляд, соответствует современным теоретическим представлениям о неизбежной деформации «фактов» в любом документальном сочинении — скажем, идеям позднего Лотмана, считавшего, что всякий факт есть текст, который выплывает из семиотического пространства, многократно деформируется и растворяется в нем по мере смены культурных систем. Однако если у теоретиков речь идет только о воздействии исторически изменчивых и исторически обусловленных кодов, то Набоков имеет в виду их преодоление — выход за пределы истории через индивидуальное творческое воображение, которое преобразует «факт» в значимый художественный образ. В одном из интервью он пояснил, что память для него неотделима от воображения: «Когда мы говорим о ярком индивидуальном воспоминании, мы делаем комплимент не нашей способности удержать нечто в памяти, а таинственному предвидению Мнемозины, сохранившей тот или иной элемент, который впоследствии может понадобиться творческому воображению в комбинации с более поздними воспоминаниями и вымыслами. В этом смысле как память, так и воображение суть отрицание времени»[2].

Исходя из этого постулата, Набоков и создает в «Других берегах» не документальную, а творчески преображенную историю

[1] V. Nabokov. Strong Opinions. N. Y., 1990. P. 143.
[2] Там же. P. 78.

своей жизни, где реальные воспоминания вместе с дополняющими и корректирующими их вымыслами складываются в единый квазипоэтический образ авторского «я» и его мира. К автобиографическому материалу он применяет те же приемы «поэтизации» прозы, которые были виртуозно разработаны в его русских романах: широко использует технику множественных повторов на разных уровнях, реализует метафоры, вводит литературные подтексты и параллели. Уже название книги устанавливает ее связь с русской поэзией, поскольку отсылает к стиху «Иные берега, иные волны» из пушкинского «Вновь я посетил...» и к его теме возвращения назад, к завершенному прошлому. Сюда же накладывается и перекличка с еще одним элегическим стихотворением Пушкина, «Не пой, красавица, при мне...», с его мотивом «другой жизни» и «берега дального». Если в английской версии автобиографии первая фраза текста — сложное предложение, то в «Других берегах» это почти стихотворная строка: «Колыбель качается над бездной» — правильный размер которой (пятистопный хорей) автоматически вызывает ассоциацию с «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова. Даже заключающий автобиографию метафорический образ загадочной картинки в русском контексте приобретает дополнительное аллюзивное значение, так как может быть понят как перифраз известного замечания М. О. Гершензона о пушкинской прозе: «Иное произведение Пушкина похоже на загадочную картинку для детей, когда нарисован лес, а под ним напечатано: "Где тигр?"»[1].

В том, что «Другие берега» начинаются и заканчиваются аллюзией на Пушкина, следует, наверное, видеть некий ключ к набоковскому замыслу. На протяжении всей книги он то и дело, по разному поводу и без оного, упоминает о Пушкине и его биографии или ссылается на пушкинские тексты: лирику, «Маленькие трагедии», «Бориса Годунова» и, чаще всего, «Евгения Онегина». Как представляется, с оглядкой на «Евгения Онегина» строит Набоков и композицию книги: она, в отличие от английских версий, состоит из четырнадцати глав с пуантированными, как бы рифмующимися между собой концовками, что отдаленно напоминает структуру онегинской строфы. Сама система тематических «рифм» у Набокова, правда, не совпадает с пушкинской, а скорее ориентирована на перевернутую онегинскую строфу, которую он ранее использовал в своей «Университетской поэме».

Многочисленными отсылками к Пушкину Набоков, по всей вероятности, хотел заявить о своем кровном родстве с пушкинской традицией в русской литературе, последним продолжателем которой он себя мыслил. С «других берегов» она не могла не

[1] М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 122.

показаться ему исторически законченной, но творчески не исчерпанной, и автобиография должна была послужить подтверждением этому тезису. В ней он, через голову «дуры-истории», прямо обращался не только к своей жене и музе, но и к не менее важному для него адресату — к русской культуре, объясняя ей на ее сакральном языке, что он принял и выполнил свой долг перед ней, использовал все завещанные ему сокровища, и теперь свободен от каких-либо обязательств. «Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни... издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал», — замечает он в «Других берегах». Когда в автобиографии Набоков вспоминает раннее детство, он издерживает остаток своего русского багажа и словно бы вписывает «истинную жизнь Сирина» — свой главный монумент — в «цветную спираль» русской культуры, разомкнутую в вечность.

Если в «Других берегах» и звучат ностальгические ноты, то это тоска по своей «русской музе», с которой, как признавался Набоков, у него были «тяжелые, трагические счеты»[1]. В одно из английских стихотворений он вставил обращенную к ней русскую фразу: «Любовь моя, отступника прости», и его автобиография — это тоже прощальное признание в любви и мольба о пощаде. Воскрешая в памяти и в русском слове умерших родителей, утраченный и разоренный дом, родные пейзажи, первую любовь и множество забавных мелочей своей жизни, Набоков оплакивает не только и не столько их, сколько брошенный рай русской литературы, куда он поместил их навсегда и где провел Сириным свои лучшие годы.

А. Долинин

[1] «Дребезжание моих ржавых русских струн...» С. 392.

скоро...
одного вида немно-
хотелось бы знать, выте
е-таки разводить их по
ветение *этого* в Иванов
му что, если их два, зна
лашенная эстетика шум
ба всякого дуализма). З
тому, мне немного ясне
уту его утоления, и это
днородной суммы чувст
ельна применимость ари
нно — и страннее всего,
дения диковинки я тол
ия вины». Так приблизи
частью, у него была тон
профессия, охлаждаю
ие яркой точкой на чер
ые хрустальные систем
ажение сидело на цепи.
го, к сорока годам, дово
сожжением, он научилс
имирился с мыслью, чт
стоятельств, нечаянней
ставить минутное подоб
яти эти немногие минут
се-таки — милость) и пе
кизнь обманул). Так, ещ
ивая по элементарной г
ую, бледненькую, с бар
ни разу к ней не прит
... я было дос

Волшебник

ПОВЕСТЬ

1939

«Как мне объясниться с собой? — думалось ему, покуда думалось. — Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, чтó бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, — ибо и в мыслях допустить не могу, что причиню боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор; я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей (не просто безопасность, а права одичания, или это — порочный круг с пальмой в центре?). Рассудком зная, что эвфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Чтó, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница

привлекает меня, — сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, — *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному — сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, попростому — знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова — и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому — очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* — редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души, — потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств — если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно — и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая, точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате — тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, — и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки — милость) и печальной усмешкой (все-таки — жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища — сонную, бледненькую,

с бархатным взглядом и двумя черными косицами, — он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой — и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, — колотьба в груди — «а щекотки боишься?» — или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, суккуба так и не заметивших, он поражался и своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в траурс, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полуущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в — ».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах, — прекрасиво, — и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, — подумал он. — Кажется, придется пересесть».

Но тут-то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность ее узкой, уже не совсем плоской груди, передвиженье юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадание, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни — всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, — и, сойдя к нам на землю, выпрямившись с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, — и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас, — заметил он бессмысленно, — уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится, — сказала вязальщица, — у меня своих нет — и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстя-

ного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады, — нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», — ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, — и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног. «Улыбка рассеянности, — подумал он жалко, — но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя — почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, — и он вообразил жовиального господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность — все так же жовиально — на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, — в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг...

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным вилянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени), — или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, — все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать — вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского привета осклабился и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сиденья розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей — мимо него — тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровье, конечно; а главное — прекрасная гимназия», — говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки», — сказала девочка.

«Нет, — ответил он, кашлянув, — это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями — в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка, — и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, полюбительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала, — чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку, — отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него вырастала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стукаясь теменем, — к повешению наизворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или: «Да, знаете, бывает...» — но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуньи, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией — покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора

возвращаться — чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распустившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно, — а мы люди небогатые, — словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным.

«Дело в том, — продолжал он без запинки, — что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я...» — конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это — часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас — квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо — и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток, и довольно высокие каблучки. Немножко замкнутая, пожалуй, живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов — и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка, — в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское — эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не дер-

жат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем — столь же разбитного и серого, как его жена, — так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа — одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание — даже такое! — невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накрененном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкафчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок — поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообща качались, — «Слезь с постели, что это!» — и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкафчик покупает — за право входа в дом плата была смехотворная, — и, вероятно, еще кое-что, — но надо сообразить, — если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим, — сказал тот, выходя в переднюю, — я мою благоверную рад бы сбыть всякому». — «А ты не зарекайся, — сказала жена, появляясь из той же комнаты, — когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим, — повторила вдова, — я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи — жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» — раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирающий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут — значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается, — но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем, — но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку, — вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда кончено, — где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно, и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу, — рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака — тем более, что до сих пор он — совершенно правильно — едва ее замечал (в скрывании молний был мастер), — вот гнилые старички, те — точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок, — а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам

этот пустяк — немножко конфет, кажется, неплохих, — ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась — была, видимо, более польщена, чем удивлена, — и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня...»

«Нет, завтра утром, — продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь. — Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий». — И, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик, — а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже — про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель — журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по-жеребячьи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он

знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных, позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание, — и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но, понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как заменен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась — и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков, — но пока что вздохнул и переменил течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкафчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было

сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимость манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что, — сказала она, — пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо, — ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые. — Хорошо, я удалюсь, но в случае ващего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться — от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем, — через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака). — Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, — иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, — что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям, — а теперь я требовательна ко всему: к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем — особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки; причем глупо, болезненно завидую ее

мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую — долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам в мужья *мне* годитесь, — видите, я делаю ударение на “мне”, — то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? — ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю, — сказал он, — что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом синем пальто с болтающимися сзади концами пояска, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. «Стоило, стоило, стоило», — повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених — мой!» — (и вот, с ухватками орудийной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазный брак эту махину — стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться — отчасти с непривычки, отчасти от опасливого ожидания неимоверно большей свободы, главное же, потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери он повел ее в ближнюю кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, подаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы

ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что, пока хоть раз не сделал того-то и того-то, не может положиться на обещания судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть в будущем свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть, — любым подлогом наслаждения, — чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимость быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах, — вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе. «Но когда, когда?» — в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал), — и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостиной, и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на

кухне; ему будто послышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали — стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянулась и быстро сказала, тряхнув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным клеткам уже за сажень ощутимой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем получулок, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно тряхнула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» — бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» — воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» — продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой, — сказал он хрипло, — придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещий макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить: «...Наконец-то! Мы тут голодаем...» — и когда садились за стол, у него все еще ныла неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц — и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой, — проговорила она, не поднимая век. — У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут — что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих — ведь это даже нелепо — теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра», — протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите, — продолжал он тише — ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости, — поймите, что я хочу сказать: отлично — мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете, — (она молчала), — но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление — ведь один намёчек в этом роде уже был нынче, — что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бóльшую квартиру — совсем отгородиться и так далее, — мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите», — проговорил он нервно, испуганный ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила, — протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью, — что для меня главное — мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то — негромко, правда? — а у меня уже судорога, в глазах рябит, — а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! — воскликнул он с паническим заскоком в гортани. — Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так — теоретические соображения. Вы правы. Тем более что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус-кво — а кругом пускай квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова», — тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз — поздравительно, над бокалом, и раз — на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывался в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил) и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с ее кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцевитому тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но — так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь, — а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза — не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще не известных чудесах хирургии — тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться. «Понимаете, — добавил он, заметив, с каким странным вниманием (или

это мне кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка, — понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда ведь не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили», — ответила она, спустив свежегофрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула — и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании — и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать — и скорее письмо к особе с изложением того, что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудаковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем, — продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода), — как было бы просто, если бы матушка завтра умерла — да ведь нет, ей не к спеху — вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть — а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто, — (размышлял он, задержавшись весьма кстати у освещенной

витрины аптеки), — коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскроют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что — все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то — в крайнем случае, да и то — лишь с целью сократить страдания все равно обреченной *жены*), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на дружку, — потом прищурился, кашлянул — и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно — шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни била по линейке подчеркнуто остро отточенным светом.

«Шарлатаны... — подумал он, мрачно пожимаясь, — что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи — и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего и само по себе, положение круто переменилось, предмет же был несущественен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые же дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло — она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно ста-

ренькие вещицы — детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое — как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочки.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении, — и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил сначала, и она была ему благодарна за все — за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше углов комнаты, а когда он шел по делу, то совместно разрабатывал наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не требовало определенных часов, то всякий раз приходилось — весело, скрипя зубами, — бороться за каждую крупицу времени. В нем корчилась бессильная злоба, его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлилась в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он рассказал, что — вот какой случай, мне, может быть, удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле не существовавшие глаза, — и, поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что, видимо, она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство — которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой механикой ее существования;

постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненой прозрачности заключений начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти — вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего *занят*, с какой определенностью стянулись навербованные отовсюду чувства — тоска, жадность, нежность, безумие — к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало — и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы — когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вызывал единственный образ, и, восемью руками оплетая улыбающуюся добычу, осмью щупальцами присасываясь к ее подробной наготе, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расползалось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать, — сказал он громче, чем хотел, — а?» Но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и, постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный, — бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату, — ах, как мило... поздравьте нас, будем поправляться, будем цвести... Что это такое! — вдруг вскрикнул он горловым голосом, так ахнув дверью клозета, что из столовой откликнулся испуганный хрусталь. — Ну, посмотрим, — продолжал он среди паники стульев, — посмотрим... Я вам покажу успех! Успех, успех, — передразнил он произношение соплявой судьбы, — ах, прелестно! Будем жить-поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что хрупка, зато муж — здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я тоже имею право голоса! Я...» — И вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на неожиданную добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекратилось, глаза на минуту закатились — а вернулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа», — повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрадчивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. С обратным сообщением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут — вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать — только это... только уют — какая там каторга (хотя, между прочим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговки сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности — не терять головы, — но чего, впрочем, естественнее, что привез маленькую падчерицу — что все-таки решил это сделать, — режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться» — и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете, — под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше — выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться — объясним, объясним: хотели сделать лучше — ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими... — И, радостно торопясь, он у себя (в *ее* бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу,

быстро закусил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеванного, сбитых сливок, мускатного винограда — чего еще? — и, вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое, ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близорукого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человеческим содержанием: сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест — всю эту ювелирную работу смерти, — между прочим презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей судьбой прекрасного поведения и к первому сладкому содроганию крови: бирюк надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку, — и действительно — звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнования): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладилось мыслью, что так правильно — не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на

свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение — что было проще всего, как знают и уголовные, — он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз — это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как: «По крайней мере, не долго страдала» или: «Слава Богу, что в беспамятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно-нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему-то явился один из его прежних полуприятелей — золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая — голова от езды колебалась), что теперь-то, по крайней мере, ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу) и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а другая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчонка-то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба — и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди — забот не оберетесь», — и он про себя хохотал, хохотал на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую» — причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим) пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще

сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие-то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения, он ей доложил, как и что будет, поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда, вероятно, за границу. «Да, это мудро, — ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться, мыслью, что последнее время она на питомице, вероятно, подрабатывала). — Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел — с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них, — а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим, оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел в поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя, предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где — место красит босая ножка; все равно куда — только бы унести — и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не видаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уже окончательно добьет стыдливость; при этом — постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног, — и он думал, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими ей будут вблизи казаться смешные

приметы разнополых тел — меж тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей; ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом. Он был убежден, что, пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную, в сущности, простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей, вероятно, полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой пуппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал — миниатюрная вилла в слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговориться с фруктовщицей или поденщицей — ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности — и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотра и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги; играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени, — дотерпит до того утра, когда она

сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзывчивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны.

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком: таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свете этого счастья, как бы она ни повзрослела — в семнадцать лет, в двадцать, — ее сегодняшний образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, уточнившись и удлинившись в женщину, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности — вследствие чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самое, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной — и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидящая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики — теперь уже скоро, — и вот он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек — а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар — пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не выспался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных

чулках, бледненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее, — и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть», — воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и тараща глаза, прозрачно-жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом следом за громко говорившей хозяйкой, — и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою-не-свою руку — и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру — беги, дескать, — и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что-то отвечал — преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой-то мелькающий смысл) и что: «Покатим с тобой к морю!» — почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой. «Что?» — спросила она, отводя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови — не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я-то надеялась, — солгала хозяйка, — что вы у нас переночуете». — «О нет, — крикнула девочка, шаркающим скольжением подлетая к нему, и продолжала неожиданной скороговоркой: — А как вы считаете, я скоро научусь плавать, — одна моя подруга говорит, что можно сразу, то есть нужно сперва только научиться не бояться — а это берет месяц...» — но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила с Марией то, что приготовлено слева в шкафу.

«Признаюсь, не завидую вам, — сказала сдававшая должность, когда девочка выбежала. — Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки

и капризы, на днях нагрубила мне — трудный возраст. Вообше, мне кажется, хорошо бы, если бы вы взяли к ней пока что какую-нибудь барышню, а осенью — в хороший католический интернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко — да, может быть, не показывает — не знаю... Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет-нет, полноте, как же... Да, он только к семи приходит со службы — будет очень жалеть... Жизнь — ничего не поделаешь! Она-то, бедняжка, во всяком случае, на небесах спокойна, да и у вас лучше вид — а если бы не наша встреча... Просто не вижу, как бы я содержала чужого ребенка, а из сиротских приютов прямой шаг сами знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь — одно слово. Помните, как мы с вами — на скамейке — помните? Мне-то в голову не приходило, что она может найти второго, — а все-таки — мое женское чутье: что-то в вас было тоскующее — именно по такой пристани».

За листвой родился автомобиль. Садиться! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь краснорукой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно — рядом с шофером, и пришлось согласиться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увидим, махала яблоневой веточкой. Мария загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сидел, откинувшись, промеж колен держа трость, весьма ценную, старинную, с толстым коралловым набалдашником, и смотрел сквозь переднее стекло на берет и довольные плечи. Погода была необыкновенно жаркая для июня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук и расстегнул ворот. Через час девочка на него оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хоть и обернулся с разинутым ртом, ничего не успел рассмотреть, — и почему-то без всякой связи подумалось, что все-таки — почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различными рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмка на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу, где был пересчитан и убран, — он думал: «Не

сделать ли тут привал? Небольшая прогулка, посидим на мху среди грибов и бабочек...» Но остановить шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрительного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело; незаметно зажглись их фары. В первой же придорожной харчевне сели поужинать — и резонер опять развалился поблизости, да, кажется, заглядывался не столько на господский бифштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль и прелестную щеку: голубка моя и устала, и раскраснелась — путешествие, жирное жаркое, капля вина — сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки — и это теперь все мое, — он спросил, сдаются ли тут комнаты, — нет, не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку и уют в глубине, сказав, что сзади ее будет тошнить. Наконец, наконец среди черной жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, и была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почти дремала, выползая на панель, застывая в синеватой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме и дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору из-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старик в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный и все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина — старшего сына, отлучившегося по семейному делу, — долго искал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двухспальной: «Что сводится к тому же, вам с дочкой будет только...» — «Хорошо, хорошо», — перебил приезжий, а туманное дитя стояло поодаль, мигая и глядя сквозь проволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга, по-видимому, ложилась рано — или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя и низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом, — из уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха

с ореховым от загара лицом и мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прислонясь к стенке, опираясь лопатками и слегка откинутой лохматой головой, медленно мотая ею и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же наконец», — сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» — безучастно спросила девочка и, когда, борясь со ставнями, поплотнее сощуривая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, и вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот, — сказал он после того, как старик, ввалив чемоданы, вышел и остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи. — Ну вот... Теперь надо ложиться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, и тогда, одновременно садясь, он привлек ее за бедро — она, выгнувшись, вырастая, как ангел, напрягла на мгновение все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка», — проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темное платье, чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее беззащитности, заброшенности, теплоте, наслаждаясь живой тяжестью ее расползавшихся и опять, с легчайшим телесным шорохом, повыше скрещивающихся ног, — и она медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесном рукавчике, обдавая его каштановым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалии она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как ноет комар, и почему-то это ему мельком напомнило что-то страшно далекое, какие-то поздние укладывания в детстве, плывущую лампу, волосы сверстницы сестры, давным-давно умершей. «Душенька моя», — повторил он и, отведя трущимся носом кудрю, теребливо прилаживаясь, почти без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки; затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлинились и полусомкнулись, принялся ее целовать

в расступившиеся губы, в зубы — она медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала к нему на плечо, промеж век виднелся лишь узкий закатный лоск, она совсем засыпала.

В дверь постучали — он сильно вздрогнул (отдернув руку от пояска — так и не поняв, как, собственно, расцепляется). «Проснись, слезай», — сказал он, быстро ее тормоша, и она, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите», — сказал он.

Заглянул старик и сообщил, что господина просят сойти вниз: пришли из полицейского участка. «Полиция? — переспросил он, морщась в недоумении. — Полиция?.. Хорошо, идите, я сейчас спущусь», — добавил он, не вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай, — сказал он, прежде чем выйти. — Вот твой чемодан, вот я тебе его раскрою, найди что тебе нужно, раздевайся пока и ложись; уборная — от двери налево».

«При чем тут полиция? — думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице. — Что им нужно?»

«В чем дело?» — резко спросил он, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жандарма, черного гиганта с глазами и подбородком кретина.

«А в том, — последовал охотный ответ, — что вам, как видно, придется сопроводить меня в комиссариат — это недалеко отсюда».

«Далеко или недалеко, — заговорил путешественник после легкой паузы, — но сейчас за полночь, и я собираюсь ложиться. Кроме того, не скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь динамический, звучит криком в лесу для слуха, не посвященного в предшествовавший ход мыслей, то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушный городок, любопытно узнать, на чем — на каком, может быть, местном обычае — основан выбор ночи для приглашения в гости, приглашения тем более неприемлемого, что я не один, а с утомленной девочкой. Нет, погодите, — я еще не кончил... Где это видано, чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь

доносчика! Пока что — сосед не видит сквозь стену и шофер не читает в душе. А в заключение — и это, может быть, самое существенное — извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился — очнулся и пустился трепать незадачливого старика: оказалось, что тот не только спутал две схожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то», — сказал путешественник мирно, досаду за задержку полностью выместив на поспешившем враге — при сознании своей неуязвимости (слава Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне, — а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окурок... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой, — и не нужно — помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел...

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась — значит, от него, значит — подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила, — или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову не пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим — все-таки еще чужим, — и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? — сердито спросил мужской голос. — Ах, вы ошиблись? Так, пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебивают...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая — и только. Он двинулся дальше по коридору — вдруг сообразил, что не та площадка, — пошел назад, повернул за угол, озадаченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под капающим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери — повернул опять — лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где

стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкафчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами... Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм — как в кордегардии. Получить нужное сведение было делом минуты — слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике — сорочки не доискалась, — и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедренных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело, — и, раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красоты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью, он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь — но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой в комнате — на границе зрения — не сразу признал отражение в шкафном зеркале (его уходящие в тень пижамные полосы, да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколоткой). Наконец решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжатым, чуть липким ногам, шершаво свежевшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям, — с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все... — пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся, — по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек, — а немного повыше, на прозрачном разветвлении вен, упивался комар, и, ревниво прогоняя его, он нечаянно помог спасть давно мешавшему отвороту, и вот они, вот, эти странные, слепые, как бы двумя нежными нарывами вспухшие грудки, — и теперь обнажилась вдоль тонкой, еще детской мышцы натянутая, молочно-белая впадина подмышки в пяти-шести расходящихся, шелковисто-темных штрихах — туда же стекала наискось золотая струйка цепочки — вероятно, крестик или медальон — и уже начинался опять ситец — рукав круто закинутой руки. В который раз нахлынул и взвыл грузовик, наполняя комнату дрожью, — и он остановился в своем обходе, неловко накренившись над ней, невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой... Девочка во сне вздохнула, разожмурив пупок, и медленно, с воркующим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную

шапочку — и снова замер с биением в виске, с толчками ноющего напряжения — не смел поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями — отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы оживавшей под его призматическим взглядом, — и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожильем, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко... напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, пытая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув, — и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытьем, мелькали эфемерные околичности — какой-то мост над бегущими загонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасливо поддалась пружина, правый осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволокло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что больше сдерживаться не может, что все — все равно, — и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая, — и, еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте, — он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось — каким уродством или страшной

болезнью, — или она уже знала — или все это вместе, — она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бессмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленым воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добивая ночь, все, все разрушая. «Замолчи, это по-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же», — умолял он, пожилой и потный, прикрываясь мелькнувшим макинтошем, трясясь, надевая, не попадая. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая, как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком, — укатывалась — с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресающей матери. «Ты у меня успокоишься, — кричал он (толчку, точке, несуществующему). — Хорошо, я уйду, ты у меня...» — справился с дверью, выскочил, оглушительно запер за собой — и, еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах: первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токанием — защита животных, женские клубы — приказывала — этуанс, этудверь, этусубть — и, царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ, — в продолжение нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку — белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями, — старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступеням. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница — мимо; дальше —

поднимался призрак в желтых сапогах, дальше — старик раскорякой, жадный жандарм — мимо; и, оставив за собой множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила, — он, пируэтом, на улицу — ибо все было кончено, и любым изворотом, любым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножья кошкой. Ощущая босоту *уже* как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращением было немедленное требование потока, пропасти, рельсов — все равно как, — но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться, — тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены — под это растущее, руплегрохотный ухмышь, краковяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний — так его, забирай под себя, рвякай хрупь — плашмя пришлепнутым лицом я еду — ты, коловратное, не растаскивай по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно — гимнастика молнии, спектограмма громовых мгновений — и пленка жизни лопнула.

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

LXX

Ultima Thule

SOLUS REX

Романъ.

ANNALES RUSSES

РУССКІЯ ЗАПИСКИ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

НОЯБРЬ

XI

1938


Solus Rex
ФРАГМЕНТЫ
РОМАНА
1940

SOLUS REX

Как случалось всегда, короля разбудила встреча предутренней стражи с дополуденной (morndammer wagh и erldag wagh): первая, чересчур аккуратная, покидала свой пост в точную минуту смены; вторая же запаздывала на постоянное число секунд, зависевшее не от нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали чьи-то подагрические часы. Поэтому уходившие с прибывавшими встречались всегда на одном и том же месте — на тесной тропинке под самым окном короля, между задней стеной дворца и зарослью густой, но скудно цветущей жимолости, под которой валялся всякий сор — куриные перья, битые горшки и большие, краснощекие банки из-под национальных консервов «Помона»; при этом неизменно слышался приглушенный звук короткой добродушной потасовки (он-то и будил короля), ибо кто-то из часовых предутренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет отдать грифельную дощечку с паролем одному из дополуденных, раздражительному и глупому старику, ветерану свирхульмского похода. Потом все смолкало опять, и доносился только деловитый, иногда ускорявшийся, шелест дождя, систематически шедшего, по чистому подсчету, триста шесть суток из трехсот шестидесяти пяти или шести, так что перипетии погоды давно никого не трогали (тут ветер обратился к жимолости).

Король повернул из сна вправо и подпер большим белым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки оставил шашечный след. Между внутренними краями коричневых, неплотно заведенных штор, в единственном, зато широком окне тянулся мыс мыльного света, и королю сразу вспомнилась предстоящая обязанность (присутствие

при открытии нового моста через Эгель), неприятный образ которой был, казалось, с геометрической неизбежностью вписан в этот бледный треугольник дня. Его не интересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство, и хотя, собственно говоря, он должен был бы привыкнуть за пять лет — да, ровно пять лет (тысяча пятьсот тридцать суток) — пасмурного царствования к тому, чтобы усердно заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем отвращение из-за их органической недоконченности в его сознании (где бесконечно и неутолимо совершенными оставались совсем другие вещи, никак не связанные с его королевским хозяйством), он испытывал изнурительное раздражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не только с тем, что требовало от его свободного невежества лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец условности на бессмысленном и, может быть, даже отсутствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он даже не помнил, хотя, должно быть, одобрил его, казалось ему лишь пошлым фестивалем еще и потому, что никто, конечно, не спрашивал, интересен ему или нет повисший в воздухе сложный плод техники, — а придется тихо проехать в блестящем оскаленном автомобиле, а это мучительно, а вот был другой инженер, о котором упорно докладывали ему после того, как он однажды заметил (просто так — чтобы от кого-то или чего-то отделаться), что охотно занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна приличная гора (старый, давно негодный береговой вулкан был не в счет, да там, кроме того, построили маяк, тоже, впрочем, недействующий). Этот инженер, сомнительная слава которого обжилась в гостиных придворных и полупридворных дам, привлеченных его медовой смуглотой и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную часть островной равнины, обратив ее в горный массив, путем подземного накачиванья. Населению выбранной местности было бы разрешено не покидать своих жилищ во время опуханья почвы: трусы, которые предпочли бы отойти подальше от опытного участка, где жались их кирпичные домишки и мычали, чуя элевацию, изумленные красные коровы, были бы наказаны тем, что возвращение восвояси по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше времени, чем недавнее отступление

по обреченной равнине. Медленно и округло надувались логовины, валуны поводили плечами, летаргическая речка, упав с постели, неожиданно для себя превращалась в альпийский водопад, деревья цугом уезжали в облака, причем многим это нравилось, например елям; опираясь о борт того, другого крыльца, жители махали платками и любовались воздушным развитием окрестностей, — а гора все росла, росла, пока инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищных насосов. Но король приказа не дождался, снова задремал, едва успев пожалеть, что, постоянно сопротивляясь готовности Советников помочь осуществлению любой вздорной мечты (между тем как самые естественные, самые человеческие его права стеснялись глухими законами), он не разрешил приступить к опыту, теперь же было поздно, изобретатель покончил с собой, предварительно запатентовав комнатную виселицу (так, по крайней мере, сонное пересказало сонному).

Король проспал до половины восьмого, и в привычную минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дряхлый конвахер издавал на ходу странный добавочный звук, точно очень спешил, хотя, по-видимому, спешка была не в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с вырезанным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже полвека при двух королях, ныне он будил третьего, предшественникам которого эта пахнущая ванилью и как бы колдовская водица служила, вероятно, для умывания, но теперь была совершенно излишней, а все-таки каждое утро появлялся таз, табурет, пять лет тому назад сложенное полотенце. Все издавая свой особенный звук, Фрей впустил день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он раньше всего не раздвигал штор, вместо того чтобы в полутьме, почти наугад, подвигать к постели табурет с ненужной посудой. Но говòрить с Фреем было немыслимо из-за его белой как лунь глухоты, — от мира он был отделен ватой старости, и когда он уходил, поклонившись постели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно получив новый заряд времени.

Теперь эта спальня была ясна: с трещиной поперек потолка, похожей на дракона; с громадным столбом-вешалкой,

стоящим как дуб в углу; с прекрасной гладильной доской, прислоненной к стене; с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук, в виде большого чугунного жука-рогача, таящегося у подола кресла, облаченного в белый чехол. Дубовый платяной шкаф, толстый, слепой, одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что было понавешено: уже проговорившиеся часы, аптечка, старый барометр, указывающий по воспоминаниям недействительную погоду, карандашный эскиз озера с камышами и улетающей уткой, близорукая фотография господина в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, которую держал под уздцы серьезный конюх перед крыльцом, то же крыльцо с собравшейся на ступенях напряженной прислугой, какие-то прессованные пушистые цветы под пыльным стеклом в круглой рамке... Немногочисленность предметов и совершенная их чуждость нуждам и нежности того, кто пользовался этой просторной спальней (где когда-то, кажется, жила Экономка, как называли жену предшествовавшего короля), придавали ей таинственно необитаемый вид, и если бы не принесенный таз да железная кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги, человек в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы себе представить, что тут кто-либо проводит ночь. Ноги нашарили пару сафьяновых туфель, и, надев серый как утро халат, король прошел по скрипучим половицам к обитой войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях и в мышцах непривычную тяжесть, роковое бремя грядущего дня, так что несомое этим днем страшнейшее несчастье (*уже*, под маской ничтожной скуки, сторожившее мост через Эгель), при всей своей нелепости и непредвиденности, ощутилось им затем как некое разрешение. Мы склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв. Оглядываясь, мы видим

дорогу и уверены, что именно *эта* дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «GARAGE».

Король отправился на поиски утреннего завтрака. Дело в том, что никогда ему не удавалось установить наперед, в каком из пяти возможных покоев, расположенных вдоль холодной каменной галереи с паутинами на косых стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя двери, он выглядывал накрытый столик и наконец отыскал его там, где это явление случалось все реже, — под большим, роскошно-темным портретом его предшественника. Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором он помнил его, но чертам, осанке и телосложению было сообщено великолепие, никогда не бывшее свойственным этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику, с безволосым, кривоватым, по-бабьи сморщенным надгубьем. Слова родового герба «видеть и владеть» (sassed ud halsem) остряки в применении к нему переделали в «кресло и ореховая водка» (sasse ud hazel). Он процарствовал тридцать с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой любви, ни особой ненависти, одинаково веря в силу добра и в силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большинством, пустые человеколюбивые стремления коего нравились его чувствительной душе, и широко вознаграждая из тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность престолу служила залогом его прочности. Царствование давно стало для него маховым колесом механической привычки, и таким же ровным верчением было темное повиновение страны, где, как тусклый и трескучий ночник, едва светился peplerhus (парламент). И если самые последние годы его царствования были все же отравлены едкой крамолой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечного обеда, то не сам он был тому виною, а личность и поведение наследника; да и то сказать — в пылу раздражения добрые

люди находили, что не так уж завирался тогдашний бич научного мира, забытый ныне профессор фен Скунк, утверждавший, что деторождение не что иное, как болезнь, и что всякое чадо есть ставшая самостоятельной («овнешненной») опухоль родительского организма, часто злокачественная.

Нынешний король (в прошедшем обозначим его по-шахматному) приходился старику племянником, и вначале никому не мерещилось, что племяннику достанется то, что законом сулилось сыну короля Гафона, принцу Адульфу, народное, совершенно непристойное, прозвище которого (основанное на счастливом созвучии) приходится скромно перевести так: принц Дуля. Кр. рос в отдаленном замке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его мужеподобной жены, страстной любительницы охоты, — так что он едва знал двоюродного брата и только в двадцать лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда тому уже было под сорок.

Перед нами дородный, добродушный человек, с толстой шеей и широким тазом, со щекастым, ровно-розовым лицом и красивыми глазами навыкате; маленькие гадкие усы, похожие на два иссиня-черных перышка, как-то не шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он только что обсасывал цыплячью косточку, а темные, густые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые волосы придавали его большой, плотно посаженной голове какой-то не по-островному франтовской вид. Он любил щегольское платье и вместе с тем был как papugh (семинарист) нечистоплотен; он знал толк в музыке, в ваянии, в графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вульгарных людей; он обливался слезами, слушая тающую скрипку гениального Перельмона и точно так же рыдал, подбирая осколки любимой чашки; он готов был чем угодно помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало его, — и, блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам, о существовании которых не помышлял, какое-то далеко превышающее размер его личности постороннее, почти потустороннее горе.

Поступив на двадцатом году в университет, расположенный в пятистах лиловых верстах от столицы, на берегу серого моря, Кр. кое-что там услыхал о нравах наследного принца, и услыхал бы гораздо больше, если бы не избегал всех речей и рассуждений, которые могли бы слишком обременить его и так нелегкое инкогнито. Граф-опекун, навещавший его раз в неделю (причем иногда приезжал в каретке мотоциклета, которым управляла его энергичная жена), постоянно подчеркивал, как было бы скверно, скандально, опасно, кабы кто-нибудь из студентов или профессоров узнал, что долговязый, сумрачный юноша, столь же отлично учащийся, как играющий в vanbol на двухсотлетней площадке за зданием библиотеки, вовсе не сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуждение одним из тех несметных и загадочных по своей глупости капризов, которыми, казалось, кто-то неведомый, обладающий большей властью, чем король и пеплерхус вместе взятые, зачем-то бередит верную полузабытым заветам, бедную, ровную, северную жизнь этого «грустного и далекого» острова, или же у обиженного вельможи был свой частный замысел, свой зоркий расчет (воспитание *королей* почиталось тайной), гадать об этом не приходилось, да и другим был занят необыкновенный студент. Книги, мяч, лыжи (в те годы зимы бывали снежные), но главное — ночные, особенные размышления у камина, а немного позже близость с Белиндой, достаточно заполняли его существование, чтобы его не заботили шашни метаполитики. Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной историей, он никогда не думал о том, что в нем спит та же самая кровь, что бежала по жилам прежних королей, или что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышедшая из туннеля веков на бледное солнце. Оттого ли, что программа его предмета кончалась за целое столетие до царствования Гафона, оттого ли, что невольное волшебство трезвейших летописцев было ему дороже собственного свидетельства, но книгочий в нем победил очевидца, и впоследствии, стараясь восстановить утраченную связь с действительностью, он принужден был удовлетвориться наскоро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими привычную даль легенды (мост через Эгель, кровавый мост через Эгель...).

И вот тогда-то, перед началом второго университетского года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он скромно поселился в так называемых «министерских номерах», Кр. на первом же дворцовом приеме встретился с шумным, толстым, неприлично моложавым, вызывающе симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего те маленькие, почти черные сливы, которые служили ему более лакомством, чем лекарством. Сначала как бы не замечая молодого родственника и продолжая обращаться к двум подставным придворным, принц, однако, повел разговор, как раз рассчитанный на то, чтобы обольстить новичка, к которому он стоял вполоборота, глубоко запустив руки в карманы мятых, клетчатых панталон, выпятив живот и покачиваясь с каблуков на носки. «Возьмите, — говорил он своим публичным, ликующим голосом, — возьмите всю нашу историю, и вы увидите, господа, что корень власти всегда воспринимался у нас как начало магическое и что покорность была только тогда возможна, когда она в сознании покоряющегося отождествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король был либо колдун, либо сам был околдован — иногда народом, иногда советниками, иногда супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена, власть mossmon'ов (жрецов, "болотных людей"), поклонение светящемуся мху и прочее, а потом... первые языческие короли, — как их, Гильдрас, Офодрас и третий... я уж не помню, — словом, тот, который бросил кубок в море, после чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратившуюся в вино... Solg ud digh vor je sage vel, ud jem gotelm quolm osje musikel, — (сладка и густа была морская волна, и девочки пили из раковин, — принц цитировал балладу Уперхульма). — А первые монахи, приплывшие на лодочке, уснащенной крестом вместо паруса, и вся эта история с "купель-скалой", — ведь только потому, что они угадали, чем взять наших, удалось им ввести римские бредни. Я больше скажу, — продолжал принц, вдруг умерив раскаты голоса, так как неподалеку стоял сановник клерикаль-

ного толка, — если так называемая церковь никогда у нас не въелась по-настоящему в тело государства, а за последние два столетия и вовсе утратила политическое значение, так это именно потому, что те элементарные и довольно однообразные чудеса, которые она могла предъявить, очень скоро наскучили, — (клерикал отошел, и голос принца вновь вышел на волю), — и не могли тягаться с природным колдовством, avec la magie innée et naturelle[1] нашей родины. Возьмем далее безусловно исторических королей и начало нашей династии. Когда Рогфрид I вступил или, вернее, вскарабкался на шаткий трон, который он сам называл бочкой в море, и в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его попытка воцариться казалась детской мечтой, — помните, первое, что он делает по вступлении на престол, — он немедленно чеканит круны и полкруны и гроши с изображением шестипалой руки, — почему рука? почему шесть пальцев? — ни один историк не может выяснить, да и сам Рогфрид вряд ли знал, но факт тот, что эта магическая мера сразу умиротворила страну. Далее, когда при его внуке датчане попробовали навязать нам своего ставленника и тот высадился с огромными силами, — вдруг, совершенно просто, партия — я забыл, как ее звали, — словом, изменники, без помощи которых не случилось бы всей затеи, — отправили к нему гонца с вежливым извещением о невозможности для них впредь поддерживать завоевателя, ибо, видите ли “вереск (то есть вересковая равнина, по которой продавшееся войско должно было пройти, чтобы слиться с силами иноземца) опутал измене стремена и ноги и не пускает далее”, что, по-видимому, следует понимать буквально, а не толковать в духе тех плоских иносказаний, которыми питают школьников. Затем... да, вот чудный пример, — королева Ильда, — не забудем белогрудой и любвеобильной королевы Ильды, которая все государственные трудности разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий неугодный ей человек терял рассудок, — вы сами знаете, что до сих пор в народе убежища для сумасшедших зовутся ildeham. Когда же он, этот народ, начинает

[1] Врожденная и природная магия *(фр.)*.

участвовать в делах законодательных и административных, — до смешного ясно, что магия на его стороне, и, уверяю вас, что если бедный король Эдарик никак не мог усесться во время приема выборных, виной тому был вовсе не геморрой. И так далее, и так далее, — (принцу уже начинала надоедать им выбранная тема) — ...жизнь страны, как некая амфибия, держит голову в простой северной действительности, а брюхо погружает в сказку, в густое, живительное волшебство, — недаром у нас каждый мшистый камень, каждое старое дерево участвовало хоть раз в том или другом волшебном происшествии. Вот тут находится молодой студент, он изучил предмет, и, думаю, подтвердит мое мнение».

Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, Кр. поражался тем, до чего они совпадают с его собственными мыслями. Правда, ему казалось, что хрестоматийный подбор примеров, производимый речистым наследником, несколько грубоват; что все дело не столько в разительных проявлениях чудесного, сколько в оттенках его, глубоко и вместе туманно окрашивающих историю Острова. Но с основным положением он был, безусловно, согласен, — так он и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только гораздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивившее его, было следствием почти бессознательной хитрости со стороны их прокатчика, у которого, несомненно, было особого рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя.

Король, покончив со своими сливами, подозвал племянника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросил его, сколько студентов в университете. Тот смешался, — не знал, сколько, — был слишком ненаходчив, чтоб назвать любую цифру. «Пятьсот? Тысяча?» — допытывался король с какой-то ребяческой надеждой в тоне. «Наверное, больше», — примирительно добавил он, не добившись вразумительного ответа, и, немного подумав, еще спросил, любит ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник, с присущей ему сочной непринужденностью предложив двоюродному брату совместную прогулку в ближайший четверг. «Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сестрицу, — проговорил король с машинальным вздо-

хом, снимая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричневой, с бранденбургами, куртки. — Я слишком беден, — продолжал он, — чтобы подарить тебе коня, но у меня есть чудный хлыстик, — Готсен, — (обратился он к министру двора), — где чудный хлыстик с собачьей головкой? Разыщите потом и дайте ему, — интересная вещица, историческая вещица, — ну так вот, очень рад, а коня не могу, пара кляч есть, да берегу для катафалка, не взыщи — беден...» («Il ment»[1], — сказал принц вполголоса и отошел, напевая.)

В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная, летело перламутровое небо, склонялся лозняк по оврагам, копыта вышлепывали брызги из жирных луж в шоколадных колеях, каркали вороны, а потом, за мостом, всадники свернули в сторону и поехали рысью по темному вереску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтеющая береза. Наследный принц оказался отличным наездником, хотя, видимо, в манеже не учился: посадка была никакая, и его тяжелый, широкий, вельветином и замшей обтянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые, склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то странную, смутную жалость, которая совершенно рассеивалась, когда Кр. смотрел на толстощекое, розовое, разящее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушал его напористую речь.

Присланный накануне хлыстик взят не был: принц (кстати сказать, введший в моду дурной французский язык при дворе) высмеял «ce machin ridicule»[2], который, по его словам, сынок конюха забыл у королевского подъезда, — «et mon bonhomme de père, tu sais, a une vraie passion pour les objets trouvés»[3].

«Я все думал, как это верно, то, что вы говорили, — в книгах этого ведь не сказано...»

«О чем это?» — спросил принц, с трудом и неохотой стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда развивал перед двоюродным братом.

---

[1] Он лжет *(фр.)*.

[2] Этот дурацкий предмет *(фр.)*.

[3] А мой милейший папаша, как тебе известно, питает истинную страсть к найденным вещам *(фр.)*.

«Помните, — о магическом начале власти, — о том, что — —»

«А, помню, помню, — поспешно перебил принц и тут же нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой: — Только знаешь, — сказал он, — я тогда не докончил, — слишком было ушасто. Видишь ли, — все наше теперешнее несчастье, эта странная тоска государства, инертность страны, вялая ругань в пеплерхусе, — все это так потому, что самая сила чар, и народных и королевских, как-то сдала, улетучилась, и наше отечественное волхвование превратилось в пустое фокусничание. Но не будем сейчас говорить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым. Скажи, ты в университете, верно, немало обо мне наслышался... Воображаю! Скажи, о чем говорилось? Что ж ты молчишь? Говорилось, что я развратен, не так ли?»

«Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали».

«Что ж, молва — поэзия правды. Ты еще мальчик — и довольно красивый мальчик в придачу, — так что многого ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу: все люди, в сущности, развратны, но когда это делается под шумок, когда второпях, скажем, обжираешься вареньем в темном углу или Бог знает что поручаешь собственному воображению, — о, это не в счет, это преступлением не зовется; когда же человек откровенно и трудолюбиво удовлетворяет желания, навязанные ему требовательным телом, — тогда люди начинают трубить о беспутстве! И еще: если бы в моем случае это законное удовлетворение просто сводилось все к одному и тому же однообразному приему, общественное мнение с этим бы примирилось, — разве что пожурило бы меня за слишком частую смену любовниц... но Боже мой, какой поднимается шум оттого, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду, люблю все — и тюльпан, и простую травку, — потому что, видишь ли, — докончил принц, улыбаясь и щурясь, — я, собственно, ищу только дробь прекрасного, целое предоставляю добрым бюргерам, а эта дробь может найтись в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике».

«Да, — сказал Кр., — я понимаю. Вы — художник, скульптор, вы ищете форму...»

Принц придержал коня и захохотал.

«Ну, знаешь, дело тут не в скульптуре, — à moins que tu ne confonde la galanterie avec la Galatée[1], — что, впрочем, в твоем возрасте простительно. Нет-нет, все это гораздо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя не съем, я ужасно не люблю юношей, qui se tiennent toujours sur leurs gardes[2]. Если у тебя ничего нет лучше в виду, мы можем вернуться через Grenlog и пообедать над озером, а потом что-нибудь придумаем».

«Нет, — боюсь, что у меня... словом, одно дело... я как раз сегодня...»

«Что ж, я тебя не неволю», — добродушно сказал принц, и немножко дальше, у мельницы, они расстались.

Как очень застенчивый человек, Кр. не без труда принудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл веселым собеседником: с минорным тихоней было бы легче заранее определить тон прогулки; готовясь к ней, Кр. старался вообразить все те неловкости, которые проистекут оттого, что придется искусственно приподнять свое обычное настроение до искристого уровня Адульфа. При этом он себя чувствовал связанным первой встречей с ним, — тем, что неосторожно признал своими мысли человека, который теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение будет обоим столь же приятно; и, составляя наперед подробную опись своих возможных промахов, а главное, с предельной ясностью представляя себе напряжение, свинец в челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испытывать из-за врожденной способности всегда видеть со стороны себя, свои бесплодные усилья слиться с самим собой и найти интересное в том, чему полагается быть интересным, — составляя эту опись, Кр. еще преследовал маленькую практическую цель: обезвредить будущее, чье единственное орудие — неожиданность; ему это почти удалось; ограниченная в своем дурном выборе судьба, казалось, удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне поля

[1] Если только ты не путаешь галантность с Галатеей *(фр.)*.

[2] Которые всегда настороже *(фр.)*.

воображения; бледное небо, вересковый ветер, скрип седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый монолог довольного собою спутника, — все это слилось в ощущение сносное, тем более что прогулке Кр. мысленно поставил известный предел во времени. Надо было только дотерпеть. Но когда новым своим предложением принц погрозился отодвинуть этот предел в неизвестность, все возможности коей надо было опять мучительно учесть, — причем снова навязывалось «интересное», наперед заказывающее веселое выражение лица, — *такое* бремя (лишнее! непредвиденное!) выдержать было нельзя, и потому, рискуя показаться неучтивым, он сослался на несуществующую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за минуту до того пожалел своей свободы. Таким образом, все неприятное, ожидавшееся от будущего, выродилось в сомнительный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредством позднего, но тем более драгоценного согласия на новое испытание. Но щепетильная боязнь обидеть доброго, веселого человека не перевесила страха перед явной невозможностью оказаться на высоте этого веселья и этой доброты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки перехитрила его и напоследок, уколом исподтишка, обесценила то, что он готов был считать за победу.

Через несколько дней он получил еще одно приглашение от принца. Тот его просил «заглянуть» в любой вечер на будущей неделе. Отказаться Кр. не мог... Впрочем, чувство облегчения (значит, тот не обиделся) обманчиво сглаживало путь. Его ввели в большую, желтую, оранжерейно теплую комнату, где на оттоманках, на пуфах, на пухлом ковре сидело человек двадцать с приблизительно равным числом женщин и мужчин. На одну долю секунды хозяин был как бы озадачен появлением двоюродного брата, точно забыл, что звал его, или думал, что звал в другой день. Но это мгновенное выражение тотчас сменилось улыбкой привета, после чего принц уже перестал обращать какое-либо внимание на Кр., как, впрочем, ни малейшего внимания не обратили на него другие гости, — видимо, завсегдатаи,

близкие приятели и приятельницы принца, — молодые женщины необыкновенной худобы, с гладкими волосами, человек пять пожилых мужчин с бритыми, бронзовыми лицами да несколько юношей в модных тогда шелковых воротниках нараспашку. Среди них Кр. вдруг узнал знаменитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-то странной тихостью в движениях и поступи, точно выразительность его тела, столь удивительная на арене, была одеждой приглушена. Этот акробат послужил для Кр. ключом ко всему составу общества, — и хотя наблюдатель был до смешного неопытный и целомудренный, он сразу почувствовал, что эти дымчатые, сладостно длинные женщины, с разнообразной небрежностью складывающие ноги и руки и занимающиеся не разговором, а какой-то тенью разговора, состоящей из медленных полуулыбок да вопросительных или ответных хмыканий сквозь дым папирос, вправленных в драгоценные мундштуки, принадлежат к тому, в сущности, глухонемому миру, который в старину звался *полусветом* (занавески опущены, читать невозможно). То, что между ними находились и дамы, попадавшиеся на придворных балах, нисколько не меняло дела, точно так же, как мужской состав был чем-то однороден, несмотря на то что тут были и представители знати, и художники с грязными ногтями, и какие-то мальчишки портового пошиба. Но именно потому, что наблюдатель был неопытный и целомудренный, он тотчас усомнился в первом невольном впечатлении и обвинил себя в банальной предвзятости, в рабском доверии пошлой молве. Он решил, что все в порядке, т. е. что *его* мир нисколько не нарушен включением этой новой области, и что все в ней просто и понятно: жизнерадостный, независимый человек свободно выбрал себе друзей. Тихо-беспечный и даже чем-то детский ритм этого общества особенно успокоил его. Курение машинальных папирос, мелкая, сладкая снедь на тарелочках с золотыми жилками, товарищеские циклы движений (кто-то для кого-то нашел ноты, кто-то примерил на себе ожерелье соседки), простота, тишина, все это по-своему говорило о той *доброте*, которую Кр., сам ею не обладая, мучительно узнавал во всех явлениях жизни — будь это улыбка конфеты

в ее гофрированном чепчике или угаданный в чужой беседе звук давней дружбы. Сосредоточенно хмурясь и изредка разрешаясь серией взволнованных стонов, оканчивающихся кряком досады, принц занимался тем, что старался загнать все шесть шариков в центр круглого лабиринта из стекла. Рыжеволосая, в зеленом платье и сандалиях на босу ногу, повторяла со смешным унынием, что это ему не удастся никогда, но он долго упорствовал, тряс ретивый предмет, слегка топал ногой и начинал сызнова. Наконец он его швырнул на диван, где им тотчас занялись другие. Затем мужчина с красивой, но искаженной тиком внешностью сел за рояль, беспорядочно ударил по клавишам, пародируя чью-то игру, тотчас встал опять, и между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то третьего лица — вероятно, автора оборванной мелодии, а рыжая, почесывая сквозь платье длинное бедро, стала объяснять причину чьей-то сложной музыкальной обиды. Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому человеку, пившему в углу оранжад: «Ондрик, — проговорил он с озабоченным видом, — кажется, пора». Тот угрюмо облизнулся, поставил стакан и подошел к принцу.

. . . .
. . . .

«Сначала мне показалось, — рассказывал Кр., — что я сошел с ума, что у меня галлюцинация...» — больше всего его потрясла естественность процедуры. Он почувствовал подступ физической тошноты и вышел. Выбравшись на улицу, он некоторое время даже бежал.

Единственное лицо, с которым он признал возможным поделиться своим возмущением, был его опекун: не испытывая никакой любви к малопривлекательному графу, он все же решил, что обратиться к нему необходимо, — других близких у него не было. Он с отчаянием спросил графа, как это может быть, чтобы человек таких нравов, к тому же уже пожилой, т. е. не подверженный перемене, стал бы правителем страны; при том свете, в котором он неожиданно увидел наследника, он увидел и то, что, помимо отвратительного распутства и несмотря на склонность к искусствам, принц, в сущности, дикарь, грубый самоучка, лишен-

ный настоящей культуры, присвоивший горсть ее бисера, умело щеголявший блеском переимчивой мысли и уж конечно вовсе не озабоченный вопросами будущего царствования. Кр. спрашивал, не бред ли, не сонная ли чепуха вообразить такого человека на троне, однако, так спрашивая, он не ожидал практического ответа: это была риторика молодого разочарования. Но как-никак, в отрывистых, ломких словах (он был не красноречив по природе) выражая свое недоумение, Кр. впервые обогнал действительность и заглянул ей в лицо. Пускай он сразу же отстал снова; виденное все же отпечаталось у него в душе, и впервые ему открылось гибельное положение государства, осужденного стать игралищем похотливого хахаля.

Граф выслушал его со вниманием, изредка обращая на него взгляд голых стервятничьих глаз, — в них сквозило странное удовлетворение. Расчетливый и неторопливый, он отвечал своему питомцу весьма осторожно, как бы не совсем соглашаясь с ним, успокаивая его тем, что случайно подсмотренное сильнее, чем следовало, повлияло на его суждение и что у принца есть качества, которые могут сказаться при вступлении его на престол. Напоследок граф небрежно предложил познакомить Кр. с одним умным человеком, известным экономистом по фамилье Гумм. Тут граф преследовал двоякую цель: во-первых, он снимал с себя ответственность за дальнейшее и оставался в стороне, что оказалось бы весьма удобным, случись беда; во-вторых, он передавал Кр. старому заговорщику, и таким образом начато было осуществление плана, который вредный лукавец лелеял, по-видимому, давно.

Вот — экономист Гумм, круглобрюхий старичок в шерстяном жилете, в синих очках на розовом лбу, подвижный, чистенький и смешливый. Кр. стал видаться с ним часто, а в конце второго университетского года даже прогостил у него около недели. К этому времени Кр. узнал достаточно о поведении наследного принца, чтобы не жалеть о своем первом возмущении. Не столько от самого Гумма, который всегда куда-то катился, сколько от его родственников и окружения он узнал и о тех мерах, которые в разное время употреблялись для воздействия на принца. Сначала это

были попытки осведомить старого короля о забавах сына и добиться отцовского удержа. Действительно, когда то или другое, с трудом дорвавшееся до королевского кабинета лицо в откровенных красках расписывало королю эти забавы, старик, побагровев и нервно запахиваясь в халат, выражал еще больший гнев, чем можно было надеяться. Он кричал, что положит конец, что чаша терпения (в которой бурно плескался утренний кофе) переполнена, что он счастлив услышать чистосердечный доклад, что кобеля он сошлет на полгода в suyphellhus (корабль-монастырь, плавучий скит), что... А когда аудиенция кончалась и удовлетворенный докладчик собирался откланяться, старый король, еще пыхтя, но уже успокоившись, с деловитым, конфиденциальным видом отводил его в сторону (хотя все равно они были одни) и говорил: «Да-да, я все это понимаю, все это так, но послушайте, — совершенно между нами, скажите, ведь если здраво подумать, — ведь мой Адульф — холостой, озорной, любит немножко покудесить, — стоит ли так горячиться, — ведь и мы сами были молоды...» Этот последний довод звучал, впрочем, довольно бессмысленно, так как далекая молодость короля протекла с млечной тихостью, а покойная королева, его супруга, до шестидесяти лет держала его в строгости необыкновенной. Это была, кстати сказать, удивительно упрямая, глупая и мелочная женщина, постоянно склонная к невинным, но чрезвычайно нелепым фантазиям, и весьма возможно, что именно из-за нее дворцовый и отчасти государственный бунт принял те особые, словами трудно определимые, черты, странно совмещающие в себе капризность и косность, бесхозяйственность и чинность тихого сумасшествия, которые так мучили нынешнего короля.

Второй по времени метод воздействия был значительно глубже: он заключался в созыве и укреплении общественных сил. На какое-либо сознательное участие простого народа рассчитывать не приходилось: среди островных пахарей, ткачей, булочников, плотников, ржечников, рыбаков и прочих превращение любого престолонаследника в любого короля принималось так же покорно, как перемена погоды: простолюдин смотрел на зарю в кучевых тучах,

качал головой... и все; в его темном и мшистом мозгу всегда было отведено привычное место для привычной напасти, государственной или природной. Мелкота и медленность экономической жизни, оцепеневший уровень цен, давно утративших спасительную чувствительность (ту действенность, коей создается внезапная связь между пустой головой и пустым желудком), угрюмое постоянство небольших, но как раз достаточных урожаев, тайный договор между овощем и зерном, как бы условившихся пополнять друг друга и тем поддерживать равновесие, — все это, по мнению Гумма («Устои хозяйства и его застой»), держало народ в вялом повиновении, — а если тут было своего рода колдовство, это тем хуже для жертв его вязких чар. Кроме того, — и это особенно печалило светлые умы, — принц Дуля среди простого народа и мещанства (различие между которыми было так зыбко, что постоянно можно было наблюдать весьма загадочное возвращение обеспеченного сына лавочника к скромному мужицкому промыслу его деда) пользовался какой-то пакостной популярностью. Здоровый смех, неизменно сопровождавший разговоры о его проказах, препятствовал их осуждению: маска смеха прилипала к устам, и эту мимику одобрения уже нельзя было отличить от одобрения истинного. Чем гаже развлекался принц, тем гуще крякали, тем молодцеватее и восторженнее хряпали по сосновым стволам красными кулаками. Характерная подробность: когда однажды проездом (верхом, с сигарой во рту) через глухое село принц, заметив смазливую девчонку, предложил ее покатать и, несмотря на едва сдерживаемый почтением ужас ее родителей, умчался с ней на коне, а старый дед долго бежал по дороге, пока не упал в канаву, вся деревня, по донесению агентов, «восхищенно хохотала, поздравляла семью, наслаждалась предположениями и не поскупилась на озорные расспросы, когда спустя час девочка явилась, держа в одной руке сотенную бумажку, а в другой выпадыша, подобранного на обратном пути из пустынной рощи».

В военных кругах недовольство против принца основано было не столько на соображениях общей морали и государственного престижа, сколько на прямой обиде,

проистекавшей из его отношения к пуншу и пушкам. Сам король Гафон, в отличие от воинственного предшественника, уж на что был глубоко штатский старик, а все же с этим мирились: его полное непонимание военных дел искупалось пугливым к ним уважением. Сыну же гвардия не могла простить откровенную насмешку. Маневры, парады, толстощекая музыка, полковые пирушки с соблюдением колоритных обычаев и другие старательные развлечения маленькой островной армии ничего не возбуждали в сугубо художественной душе принца кроме пренебрежительной скуки. Брожение, однако, не шло дальше беспорядочного ропота да, быть может, полночных клятв (в блеске свеч, чарок и шпаг), позабываемых утром. Таким образом, почин, естественно, принадлежал светлым умам общества, которых, к сожалению, было немного: зато этими противниками наследного принца были некоторые государственные, газетные и судебные мужи — люди почтенные, жилистые, пользовавшиеся большим, тайным и явным, влиянием. Иначе говоря, общественное мнение оказалось на высоте, и стремление к обузданию принца по мере развития его порочной деятельности стало почитаться признаком порядочности и ума. Оставалось только найти оружие. Увы, его-то и не было. Существовала печать, существовал парламент, но по законам конституции всякий мало-мальски непочтительный выпад против члена королевского дома служил достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить или палату распустить. Единственная попытка расшевелить страну потерпела неудачу. Речь идет о знаменитом процессе доктора Онзе.

Этот процесс был чем-то беспримерным даже в беспримерных анналах островного суда. Человек, слывший праведником, лектор и писатель по гражданским и философским вопросам, личность настолько уважаемая, настолько известная строгостью взглядов и правил, настолько ослепительно чистая, что в сопоставлении с ней репутация всякого казалась пятнистой, был обвинен в разнообразных преступлениях против нравственности, защищался с неуклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную. В этом еще ничего необычайного не было: мало ли какими фурун-

кулами могут при рассмотрении оказаться сосцы добродетели! Необычайная и хитрая суть дела состояла в том, что обвинительный акт и показания свидетелей были верной копией всего того, в чем можно было обвинить наследного принца. Следует удивляться точности сведений, добытых для того, чтобы, ничего не прикрашивая и ничего не пропуская, вправить в подготовленную раму портрет в полный рост. Многое было так ново и так уточняло, так своеобразило общие места давно огрубевшей молвы, что сначала обыватели не признавали оригинала. Но очень скоро ежедневные отчеты в газетах стали возбуждать в кое-что сообразившей стране ни с чем не сравнимый интерес, и люди, платившие до двадцати крун, чтобы попасть на заседание суда, уже не жалели пятисот и больше.

Первоначальная идея зародилась в недрах прокуратуры; ею увлекся старейший судья столицы; оставалось найти человека, достаточно чистого, чтобы не быть спутанным с прототипом процесса, достаточно умного, чтобы на суде не разыграть шута или кретина, а главное — достаточно преданного правому делу, чтобы отдать ему в жертву все, вынести чудовищную грязевую ванну и карьеру променять на каторгу. Таких кандидатов не намечалось; заговорщикам, в большинстве случаев людям семейным и зажиточным, нравились все роли, кроме той, без которой нельзя было поставить пьесу. Положение уже казалось безысходным, когда однажды на собрание заговорщиков явился весь в черном доктор Онзе и, не садясь, заявил, что отдает себя в полное их распоряжение. Естественное нетерпение тотчас за него ухватиться как-то не дало им времени подивиться, а ведь на первый взгляд едва ли могло быть понятно, каким образом разреженная жизнь мыслителя совместилась с готовностью быть прикрученным к позорному столбу ради политической интриги. Впрочем, его случай не так уж редок. Постоянно занимаясь вопросами духа и к хрупчайшим отвлеченностям приспосабливая законы твердейших принципов, доктор Онзе не нашел возможным отказаться от личного применения того же метода, когда представился случай совершить бескорыстный и, вероятно, бессмысленный (т. е. чистейший, а значит, все-таки отвлеченный) подвиг.

При этом напомним, что доктор Онзе жертвовал кафедрой, кабинетной негой, продолжением ученых работ, словом, всем, чем вправе дорожить философ; отметим, что здоровье у него было неважное; подчеркнем, что, прежде чем разобраться в самом деле, ему пришлось посвятить три ночи изучению специальных трудов по вопросам, малознакомым аскету; и добавим, что незадолго до принятия решения он как раз обручился со стареющей девушкой, после пяти лет немой любви, в течение которых ее давний жених боролся с чахоткой в далекой Швейцарии, — покуда не угас, тем самым освободив ее от договора с состраданием.

Дело началось с жалобы этой поистине героической особы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тайную квартиру, «притон роскоши и разврата». Такая же точно жалоба (с единственной разницей, что квартира, под рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той, которая когда-то нанималась принцем для особых забав, а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался признак полной зеркальности, отметившей весь процесс) была лет пятнадцать тому назад подана одной нерасторопной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посягнувший на ее честь, есть наследник престола, т. е. лицо, ни при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным к судебной ответственности. Далее, многочисленные свидетели (иные из которых были навербованы из бескорыстных приверженцев, а иные из платных агентов: первых не совсем хватило) дали свои показания, весьма талантливо составленные комиссией экспертов, среди которых был известный историк, два крупных литератора и опытные юристы. В этих показаниях деяния наследника развивались постепенно, с соблюдением истинного порядка времени, лишь несколько сокращенного против того, которое понадобилось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь вповалку, ура-уранизм, умыкание подростков и многие другие утехи подробно излагались в виде вопросов, обращенных к подсудимому, отвечавшему значительно более кратко. Изучив все дело с прилежностью и методичностью, присущими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театральном искусстве (в театр вообще не ходил), соб-

ственным ученым путем бессознательно дошел до прекрасного воплощения того типа преступника, длительное запирательство которого (рассчитанное в данном случае на то, чтобы хорошенько дать обвинению развиться) питается противоречиями и поддерживается растерянным упрямством.

Все шло так, как было задумано; увы! вскоре выяснилось, что крамола сама не знала, на что именно надеялась. На раскрытие глаз народных? Но народ и так отлично знал номинальную цену принца. На переход морального возмущения в возмущение гражданское? Но ничто не указывало путей к такому воплощению. Или, может быть, вся затея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи все более действенных обличений? Но тогда смелость и резкость маневра, придававшие ему неповторимый характер исключительности, тем самым обрывали на первом же звене цепь, требовавшую прежде всего постепенности ковки.

Как бы то ни было, но печатание всех подробностей процесса только содействовало обогащению газет: их тираж так разросся, что в этой живительной тени иным находчивым лицам (например, Сиену) удалось наладить издание новых органов, преследующих те или иные цели, но сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением судебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было ничтожно по сравнению с толпой смакующих и любопытных. Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство воспринималось им как замечательная потеха, устроенная пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании черты полишинеля, которого, правда, хватает палкой по лакированной голове облезлый чорт, но который все же не перестает быть любимцем зевак, баловнем балаганов. Напротив, личность самоотверженного доктора не только не была оценена по достоинству, но возбуждала злорадное улюлюкание (к сожалению, подхваченное бульварной печатью), ибо его положение понималось народом как жалкая исполнительность продажного умника. Словом, та специфическая популярность, которой всегда пользовался принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки о том, каково ему

читать о собственных проделках, все же носили отпечаток того добродушия, которым невольно поощряется чужое молодечество.

Знать, советники, двор и «дворцовые» члены пеплерхуса были взяты врасплох и, выжидательно присмирев, потеряли бесценный политический темп. Правда, за несколько дней до приговора депутатам королевского крыла удалось путем замысловатого подкопа (или подкупа) провести в пеплерхусе закон о запрещении газетам помещать судебные отчеты «бракоразводных и иных дел, могущих содержать соблазнительные детали», но так как по конституции ни один закон не мог вступить в силу до истечения сорока дней с момента его принятия (это называлось «беременность Фемиды»), у газет было время спокойно писать о процессе до самого его конца.

Сам принц отнесся к нему с полным равнодушием, выраженным притом столь естественно, что можно было сомневаться, понимает ли он, о ком в действительности речь. Так как ни одна черточка дела не могла ему быть незнакома, то приходится заключить, что, если ему не отшибло памяти, он отменно владел собой. Только раз его приближенным показалось, что тень раздражения мелькнула по его большому лицу. «Какая досада, — воскликнул принц. — Почему этот шалун не звал меня на свои посиделки? Que de plaisirs perdus!»[1] Что до короля, то хотя и он тоже вида не показывал, но судя по тому, как он покашливал, складывая газету в ящик и снимая очки, да по тому, как часто запирался с тем или другим советником, вызванным в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Рассказывали, что во дни процесса он несколько раз с притворной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот на ней совершил небольшое кругосветное путешествие, но принц хохотал и целовал отца в лысое темя. «Право же, голубчик, — повторял старик, — преславно на море. Возьмешь с собой винца, музыкантов...» — «Helas[2], — отвечал принц, — качающийся горизонт развращает мою диафрагму».

---

[1] Сколько потерянных удовольствий! *(Фр.)*

[2] Увы *(фр.)*.

Процесс подходил к концу. Защита ссылалась на молодость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холостой жизни, — все это было грубоватой пародией на попустительство короля. Прокурор произнес звериной силы речь, переборщив и потребовав смертной казни. «Последнее слово» подсудимого внесло совсем неожиданную нотку. Истомленный долгим напряжением, измученный вынужденным барахтаньем в чужих мерзостях и невольно потрясенный громами обвинителя, бедный доктор вдруг сдал, нервы его дрогнули, и, после нескольких непонятных, слипшихся фраз, он каким-то новым, истерически ясным голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый в жизни стакан хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом, и только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Это свежее и непредвиденное признание вызвало в зале долго не смолкавший смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктору Онзе предлагалось тринадцать с половиной лет каторжных работ.

Приговор был многословно одобрен печатью. При тайных свиданиях друзья жали руки мученику, прощаясь с ним... Но тут, впервые в жизни, неожиданно для всех и, может быть, для самого себя, старый Гафон поступил довольно остроумно: пользуясь своим неоспоримым правом, он доктора Онзе помиловал.

Итак, первый и второй способы воздействия на принца ни к чему, в сущности, не привели. Оставался третий — решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении Гумма, было исключительно направлено к тому, чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому, не называлось: эвфемизмов у смерти достаточно. Кр., попавший в сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в том, что происходит, и причиной этой слепоты была не только неопытность молодости; так вышло еще и потому, что, невольно (и совершенно ложно) считая себя зачинщиком (т. е. вовсе не догадываясь, что он в действительности только почетный

фигурант — или почетный заложник), Кр. никак не мог допустить мысль, что начатое им дело окончится кровью, — да дела в настоящем смысле и не было, ибо, с отвращением изучая жизнь принца, Кр. смутно полагал, что тем самым он *уже* совершает нечто важное и нужное, — и когда, с течением времени, ему несколько прискучили это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако, принимал в них участие, добросовестно держался опостылевшей темы, все продолжая считать, что исполняет свой долг и содействует какой-то не очень ясной ему силе, которая в конце концов волшебно превратит невозможного принца в приемлемого наследника. Если и случалось ему думать, что хорошо бы Адульфа заставить просто отказаться от престола (а иносказания, вероятно употреблявшиеся заговорщиками, могли невзначай принять и такую форму), то этой мысли он, как ни странно, не доводил до конца — до себя. В продолжение почти двух лет промеж университетских занятий постоянно общаясь с круглым Гуммом и его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и частой сети, — и, может быть, принудительная скука, им ощущавшаяся все яснее, была не простой неспособностью (впрочем, свойственной его природе) долго заниматься вещами, постепенно обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным голосом подсознательного предупреждения. Между тем начатое задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной развязке.

В холодный летний вечер он был приглашен на тайное сборище, и, так как в этом приглашении ничего необычного не было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось потом, с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся на сходку; но с такими же чувствами он приходил и раньше. В большой, нетопленой и как бы условно обставленной комнате (обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке — все казалось бутафорией) сидело человек двадцать мужчин, из которых он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе: мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый

оттенок скул, плотно сжатые губы, сюртук фанатика и глаза рыбы. Застывшее выражение покорности и просветленной печали не украшало его неудачных черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то, что вопреки рассудку она все продолжает видеть на лице несчастного след марких пороков, в которых он за другого признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в школьное дело, а сам доктор Онзе вскоре после события, которому это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь.

Среди присутствующих Кр. еще отметил знаменитого юриста Шлисса, нескольких фрадских депутатов пеплерхуса, сына министра просвещения... На кожаном диване неудобно поместились три долговязых и мрачных офицера.

Свободный венский стул нашелся около окна, на подоконнике которого ютился маленький, особняком державшийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового ведомства. Кр., близко к нему сидевшего, поразили его громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой фигуре, так что получалось нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был Сиен.

Сначала Кр. показалось, что собравшиеся занимаются все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем (опять — внутренний друг!) даже *захотело* с какой-то детской горячностью, чтобы это сборище не отличалось ото всех предыдущих. Но странный, противный жест Гумма, вдруг мимоходом положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство принца.

Он почувствовал дуновение у висков и ту же, почти физическую, тошноту, которую однажды испытал на вечере у двоюродного брата. По тому, как молчаливый человечек на подоконнике взглянул на него (с любопытством, с насмешкой), Кр. понял, что его замешательство заметно. Он

встал, и тогда все повернулись в его сторону, и ежом остриженный тяжелый, толстый человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту (Кр. давно уже не слышал слов), осекся. Он подошел к Гумму, который выжидательно поднял треугольные брови. «Должен уйти, — сказал Кр., — мне нездоровится, — думаю, что мне лучше уйти». Он поклонился, кое-кто вежливо приподнялся, человечек на подоконнике улыбаясь закурил трубку. Приближаясь к двери, Кр. с кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя. Но вдруг она превратилась в настоящую дверь, и, сопутствуемый каким-то юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.

ULTIMA THULE

Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письмовник. К безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем, чтобы поговорить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мне надоедает уверять себя, что он полоумный или квак (как, на английский лад, ты звала шарлатанов), я вижу в нем человека, который... который... потому, что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! — и как же ничтожны перед ним все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении: он то вне нас, в яви, — вот раздутое голубиное горло змеи, чарующей меня. Помнишь, мы как-то завтракали в ему принадлежавшей гостинице, на роскошной, многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвещало — как это сказать? — скажу: прозрения, — зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений,

точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, — и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на *б* и на *у*, и все это такая унизительная физическая чушь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, вперемежку со слезами, зевота, — ах, не могу без тебя... и, высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, — но как охотно за них отвечают односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, — как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шел, а как-то притоптывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом забронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, все кругом опасливо и внимательно молчало, и только когда я смотрел на что-нибудь, это что-нибудь, спохватившись, принималось деланно двигаться, или шелестеть, или жужжать, словно не замечая меня. «Равнодушная природа» — какой вздор! Сплошное чурание, вот это вернее.

Жалко же. Такая была дорогая. И держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но, мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от нее ребеночка. Etes vous tout à fait certain, docteur, que la

science ne connaît pas de ces cas exceptionnels où l'enfant naît dans la tombe?[1] И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Ты-то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, унизительно, подлый невежда, боялся тех мелких тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ночные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы, и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла, или бесплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, — и как тогда волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, — и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким,

---

[1] Вполне ли вы уверены, доктор, что науке неизвестны такие исключительные случаи, когда ребенок рождается в могиле? *(Фр.)*

как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, — горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезет, то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину, — и вот он, этот наимучительнейший вопрос *везения*, лотерейного счастья, — того самого билета, без которого, может быть, не дается благополучия в вечности.

В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую нежность длинных серийных облачков вдоль горизонта и на темно-лиловые тепловые подточины в студеной синезелени моря, если бы действительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день, как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с Краевичем, а сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему все рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, — так что, знаешь, я думаю, что смех — это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины).

И вот я увидел его опять после двадцатилетнего, что ли, перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда, приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические прикрасы: кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном — как церемониал счастливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым крепким налево накрененным почерком превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы. В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом оглядывая обстановку громадного пустого в этот час холла, гиппопотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть? Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и вглядываясь в меня темными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем еще зная, удастся ли это, — но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоняя головы, и, благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей ваятельской

воли, усадил нас на террасе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в темном партикулярном платье, странно отличавшемся от экзотического франтовства самого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжело больном, мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боявшуюся хозяина, — и после минуты молчания, среди которого Фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», словно кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу то, что ни он, ни я не собирались сдержать.

Ты ничего не нашла замечательного в нем, не правда ли? И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упрямо и бодро добившийся благосостояния, ибо кроме не очень доходной гостиницы у него были виноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но как я потом понял, ты была не права, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет пóтом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего Фальтера, точности и крепости его «волевой субстанции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался бедный Адольф. Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопленой комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями, не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегодняшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих целей он добьется непременно, и притом работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить. Пожалуй, только еще в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими в моей

классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил. Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия, сделанного недавно им, т. е. не боялся бы, что его сообщение меня раздавит; я же, со своей стороны, был бы достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но, так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мне свое болезное, соболиное: случайно-де заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа — фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всех террас).

— Мы познакомились у Адама Ильича, — сказал он, показывая корешки резцов и занимая свое место в моем вялом сознании. Я, должно быть, что-то спросил про Фальтера.

— Как, вы разве не знаете? — удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю.

Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограднейший из приморских городов и, как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшего мимозником, и не полностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между Млечным Путем и олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности, он, в отличном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик и сразу поднялся к себе. Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее выражение, роение огней в старом городе, забавная

математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученное из далекого, малособлазнительного государства известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, — все это, мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими-либо новыми или особенными для этого крепконосого, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали, быть может, наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.

Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблевшийся антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно — нет, не нарушен, а разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свиные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Paon, hôtelier[1], то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве. Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей человеческую гортань, — боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывавшийся из комнаты

[1] Павлин, хозяин отеля *(фр.)*.

Фальтера, чем-то, что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белевшихся горничных (всего две, размноженные перебежками). Хозяин, сохранивший, по его словам, полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Орущий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орет именно он, — его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности), распространялся далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть, как могли чьи бы то ни было связки выдержать... по одним сведениям, Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или вызвать полицию) крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шепотом.

На всякий случай хозяин опять постучал в дверь, из-за нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то теребит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.

— Света бы, — тихо сказал Фальтер в темноте. Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально проверил выключатель... но послушно отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки, давшей свет, к налившейся стеклянной груше, точно впервые видел, как это делается.

Странная, противная перемена произошла во всей его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное

и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял опустив лицо и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фальтер помешался, и, полусонный, вялый, он был увезен восвояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика и прописал соответствующее лечение. Но Фальтер не поправился. Правда, он через некоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещенную врачом. Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший все: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно все. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговки. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафе, — и были неприятности с полицией.

Его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в Фальтеровой гостинице. Это был не старый еще господин, изучавший, как он сам охотно толковал, «динамику душ» и в печатных

работах, весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента и что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачником, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, действию, изображающему определенный род смерти предка, роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля.

Порасспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, но, так как по теории «болезнь отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фальтере-père[1] были ему не нужны. Все же он предложил, что попробует заняться больным, надеясь путем остроумных расспросов добиться от него самого объяснения его состояния, после чего предки выведутся из суммы сами; что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что когда удавалось близким проникнуть в молчание Фальтера, он кратко и отстранительно намекал на нечто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, по-видимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли и что ему было не по себе. Впрочем, он добавил, что все равно, рано или поздно, произвел бы этот опыт, но что уж наверное никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» оказался жертвой Фальтеровой медузы. Так как задушевное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось,

[1] Отец *(фр.)*.

сестра Фальтера, вязавшая серый шарф на террасе и уж давно не слышавшая разымчивого, молодецкого или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносившегося вначале из полуоткрытого окошка, поднялась к брату, которого нашла рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вероятно принесенную врачом, между тем как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал, растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отвечал рассеянно и кратко; когда же наконец эти приставания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «загадку мира», он поддался изощренным увещеваниям и поведал ее любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответственно ее изукрасив, и личность Фальтера, переодетая тибетским мудрецом, в продолжение нескольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но, как ты знаешь, я в те дни газет не читал: ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы стыдливое желание.

Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, т. е. лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышляющим промеж магических дел крысиным ядом или розовой резиной, к жирным, смуглым гадалкам, — но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно, в сущности, обыкновенный, несмотря на «пти же» бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек вроде Фальтера действительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда-никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа, или датчанина, или исландца, чорт его знает, словом, этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме «Ultima Thule», которую он на своем языке только что написал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом, не могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше понаслышке и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой — какой-то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску... Моим первым blanc et noir[1] он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обещал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной туши. Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознавание которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой, я знал, никто не придет, но именно потому она мне казалась кстати, — ее призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, уводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, мое милое, мое такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придет; а так как все отвлекало

[1] Белое с черным *(фр.)*.

меня, подсовывая мне краску временности взамен графического узора вечности, муча меня твоими следами на пляже, камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном солнечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по-настоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, меня теперь привлекал, как некое отечество моих наименее выразимых мыслей.

Однако, прежде чем оставить юг, я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие, сделанное им, но что именно это открытие — источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, — придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посещу его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они явились, т. е. этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе: что вынули душу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жа-

леть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного — о нет, совсем напротив! — в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутых уже не в модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.

В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а все же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого *душа* не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры явно относился ко мне так, как если бы все это было вчера, — и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и во все время разговора ни разу не приподняла седой стриженой головы. Ее муж вынул из кармана две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

— Вы же отлично знаете, что она умерла.

— Ах да, — заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: — Что же, царствие ей небесное, — так, кажется, полагается в обществе говорить?

Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но кажется верно.

— Мне хотелось вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе,

его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому), — мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...

— Они не в счет, — отрывисто заметил Фальтер.

— Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты; моя вам не требуется.

— На прямой вопрос отвечу прямо, — сказал Фальтер.

— В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.

— Вот тебе раз, — проговорил Фальтер.

— Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, — ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?

— Решительно отказываюсь, — ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу.

— Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.

— После чего точка, — вставил Фальтер.

— Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.

Фальтер улыбнулся:

— Только не называйте это выводами, синьор. Это так — полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы верне-

тесь к отправной точке... с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.

— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, то есть мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных, или отставных, мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его — откровением?

— Нельзя, — сказал Фальтер.

— Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.

— Видите ли, — отвечал Фальтер, — в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, — математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, — я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертгольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил

бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.

— Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию.

— Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете так мало, — в смысле видов, а не особей, разумеется, — а те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... *отдача* при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление малознакомое, малоизученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой труизм, то есть труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого или лед холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, — не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» — так, что ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения *предмета* истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.

— Так. Это все довольно ясно.

— Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, — продолжал Фальтер, — может подей-

ствовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня не убила случайно — столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду: скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лед горяч или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктории Ньянджи; но, узнав то, что я узнал — если можно это назвать узнаванием, — я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении *уже* сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я еще не сошел с ума, или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается под помешательством, — но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

— Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости.

— Берегу силы, — сказал Фальтер. — Да я и не утверждал, что теперь знаю все, — например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак-зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может

сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли, но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие вещей), действительно всеобъемлющая — и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы, не смотрите, я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных, точно так же как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то есть поступаю как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

— Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучительно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению, а кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом, если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

— Теоретически, вы завлекаете меня в грубую ловушку, — сказал Фальтер, слегка затрясясь, как если б смеялся. — На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым «да» или «нет». Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, — пожалуйста, валяйте.

Я подумал и сказал:

— Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?

— Холодно, — сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил.

— Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — Я сказал «холодно», как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.

— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть, по вашей терминологии, «заглавное», то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.

— Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство «спрятанности», вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных

флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье, вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?

— Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?

— Простите, — ответил Фальтер. — Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, — а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет — тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор *за неимением собеседника*, если вы воскликнете: «Ага, есть *другая* истина!» — ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

— Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер?

— Барыня прислала сто рублей, — сказал Фальтер.

— Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать?

— Мог бы, — сказал Фальтер, — но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

— Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

— Вам это очень интересно?

— Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

— Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внимание на следующий любопытный подвох: всякий человек смертен; вы (или я) — человек; значит, вы, может быть, и *не*

смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть *всяким.* Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.

— Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой.

— Bon[1], — сказал Фальтер по привычке русских во Франции. — Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа, «да» или «нет», на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот — а шиворот у бесенят скользкий, — но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание, или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: чтó скорее бежит — сильное желание или сильная боязнь?

— Думаю, что одинаково.

— То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человечинки: либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, то есть нас, за смертью, и тогда полное беспамятство исключается, — ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, — каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна; либо, наоборот, — представить себе смерть можно, и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем земным не сообразное, а именно наиболее вероятное — знакомую тьму. Ибо как же, в самом деле, может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней

[1] Хорошо *(фр.).*

причины, то есть случайно лишившийся того, чем, в сущности, он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно — известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но, в сущности, одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении, как были всегда, ибо сухое «нет» доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное «да» предложило бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться.

— Вы просто увиливаете от прямого ответа, но позвольте мне все-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: «холодно».

— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. — Но я же вам только что объяснял, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того: ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснее выразиться не могу — и скажите мне спасибо за увиливание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас, по-видимому, особенно силен, не так ли?

— Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспамятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела.

— Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни? Тупой укол в сердце, вдруг

среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что всё в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит, и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях.

— Ну вот, Фальтер, мы, кажется, договорились. Выходит так, что, если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет; что рядом, в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, — все только путаное предисловие, а главное впереди; выходит, что, если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, — скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

— В таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясясь, — я еще менее понимаю. Перескочите предисловие, — и дело в шляпе!

— Un bon mouvement[1], Фальтер, скажите мне вашу тайну.

— Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет, об этом не может быть речи. В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать... поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык, как я, не выдерживает, допустим, но, думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение *знающих*, то есть не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийства. Во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет

---

[1] Сделайте доброе дело *(фр.)*.

матерого сапьенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо кому незнакомо то время жизни, когда всякая всячина — звездное небо в Ессентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма — и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем; вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь... словом, довериться мне некому.

— Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять всё свели бы к загадке: гетерологично ли самое слово «гетерологично».

— Вероятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

— Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

— Что же, это моя единственная защита, — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. — Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, — добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, — всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, — да вы, по счастью, не обратили внимания.

Его увели, и тем окончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил,

почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдутся всего в полтораста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала, и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... да, вчера, я получил от него самого записку — из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет и что на прощание решается мне сообщить, что — тут следует две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности.

Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав — единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие...

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Другие берега

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

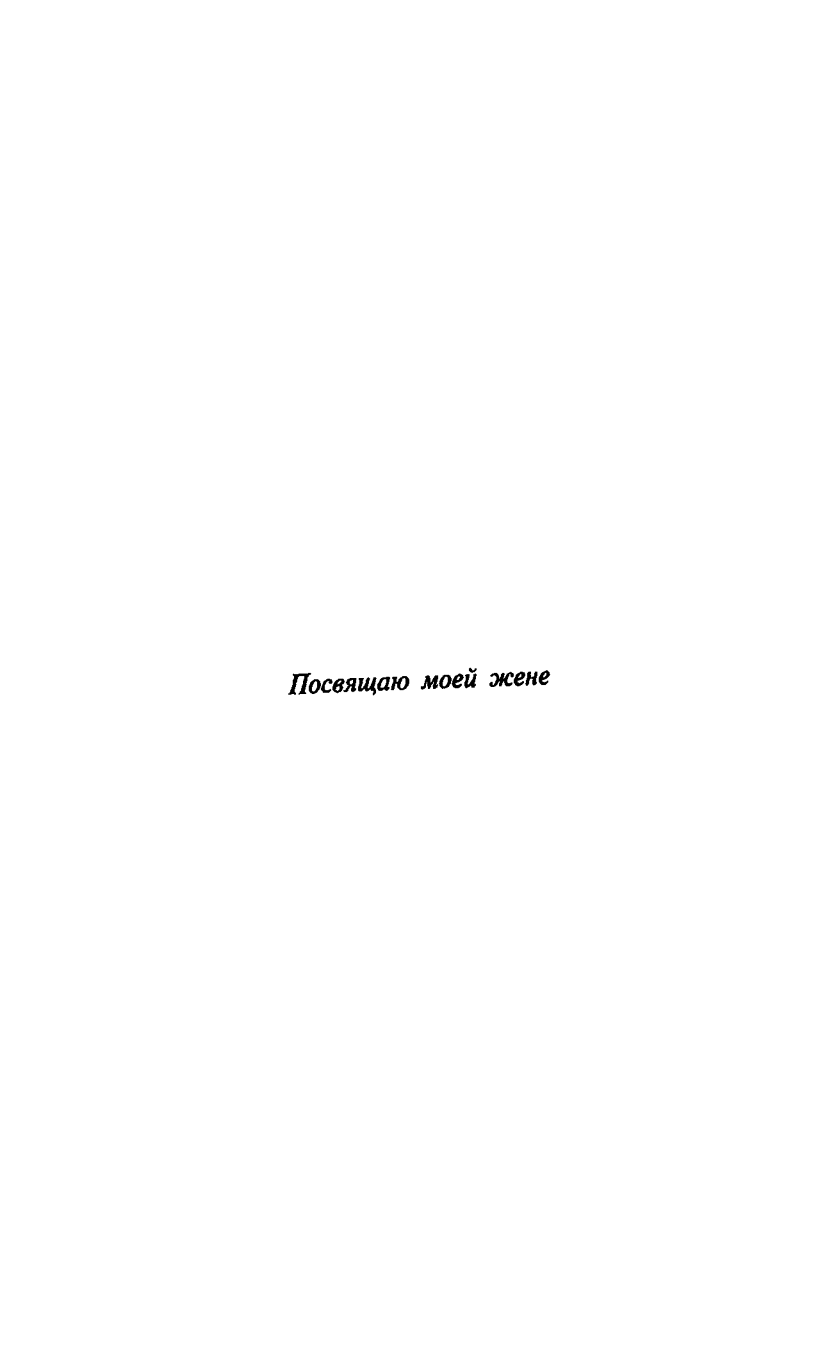
Другие берега

О ИМЕНИ ЧЕХОВА
1954

Другие берега

АВТОБИОГРАФИЯ

1954



Посвящаю моей жене

Предисловие
к русскому изданию

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence»[1]. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда в 1940 году я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лёт, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни, русской публицистики — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым,

---

[1] «Убедительное Доказательство» *(англ.). — Здесь и далее, кроме особо отмеченных, примечания первого издания.*

ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»[1]; есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»[2] и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946—1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский, — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки. — Моя фамилья N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

---

[1] «Истинная Жизнь Себастьяна Найта» *(англ.)*.

[2] «Под Знаком Незаконнорожденных» *(англ.)*.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением прямо паническим просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить, с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч

личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — *я*, а мои родители — *они*, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории

онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года: и, глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный

день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и, неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленко впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей тьме, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой,

слепота искрилась по-своему; и, весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как, бывало, я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном train de luxe[1], вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман.

---

[1] Экспресс *(фр.)*.

Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливым мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом, с грустными глазами, и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно уродливым в очерке евнушьих бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь

лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ»'ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу — «Робин Худ» и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка) и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место это, конечно, Аббация, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров — и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это — море — в тихую — погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это — море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой — может быть, лучший — фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем

разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным главнокомандующим Дальневосточной армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904—1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

4

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго — целый год — за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого, как будто, и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски

не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», как взрослый к взрослому, т. е. совершенно по-новому, — не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери (когда ей случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания). Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсэрство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помощь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжкой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой Оружье!» благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и Артуровых рыцарей.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после «Выборгского Воззвания» (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной

резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу — сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей; — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно

шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда; оттуда доносилось учтивое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой между тем братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont le laisser tomber»[1], — замечала Mlle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблелся, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и «ура» незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу.

---

[1] Когда-нибудь они его уронят *(фр.)*.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну Дарк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые — подняв телефонную трубку — тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложении страстного, героического усилия; не говорю я и о так называемых muscae volitantes[1] — тенях микроскопических пылинок в стекловидной жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногогическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед

[1] Перелетающие мухи *(лат.)*.

закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карл, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытьем, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемой audition colorée — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока,

сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).

Исповедь синестета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но, увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыганистую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, — но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал,

когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфирных, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне — в восемь лет — логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попалась статейка про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала

моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое

ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желтодеревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы, — говаривала мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, — еще бы, это я хорошо знаю...» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (le déjà vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно

доступное земной душе — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то *настоящего*. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. «Вот запомни», — говорила она, с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались, от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшало мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом, я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество — и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней — липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, — подъем столь крутой, что приходилось

велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками.

Новая теннисная площадка — в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил, — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку — и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же, как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая пу́почка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел — вернее, просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное, и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического

корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как, например, brelan и couleur[1]. Технически говоря, это был так называемый draw poker с довольно частыми jack-pot'ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра, и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее во всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой, совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она

[1] Брелан и масть покер *(фр.)*.

замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому не известный куст, с которого ее сбили.

4

Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая

няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногая, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах — смесь кофе и тлена, — и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный петибер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, заправилами были повар, Николай Андреич, да старый садовник, Егор, — оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочным гением и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государ-

ственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти — и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посовещался, заключил безумный союз, — и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Все это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-снежном свете, проникавшем сквозь складки штор, — и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски

изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей французженки «Ah, que c'est beau!»[1]), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями. Прошло десятилетие. В Первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, — и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже, — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему — несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и, пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как cul-de-jatte[2]. Затем кто-то подарил нам внука или правнука

---

[1] Ах, какая красота! *(Фр.)*.

[2] Безногий *(фр.)*.

чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по не стареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, — так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце правой руки — теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабоченны, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни, — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом — из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, *на обочье*, и не от кривобокого, *набокого*, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим

в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету. Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в «Красном Архиве»); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные паи в них — все это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то .немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701—1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них — Вольтер) слушающим королевскую флейту на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной

брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814—1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю: всё — вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица; его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал: «Non, non, non, c'est affreux[1], какая сушь, задерните чем-нибудь» — и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

[1] Нет, нет, нет, это ужасно *(фр.)*.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария Антуанетта ехала как мадам де Корф, или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер). Другая, моя прабабка, полвека спустя, была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 г., стр. 251. Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил — цитирую источник — «une noble dame que la Russia a prêtée cet hiver à la France»[1], баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа (1805—1869, праправнука Грауна по женской линии), по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек (Марии Фердинандовны, 1842—1926), а мой будущий дед, Дмитрий Набоков (1827—1904). Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательски-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin» (стоимости пропитания, жилья и обуви); видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала «huissier»[2] — судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом), подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели,

---

[1] Благородная дама, которую Россия одолжила на эту зиму Франции *(фр.)*.

[2] Судебный пристав *(фр.)*.

принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, «se sont permis d'exposer des théories égalitaires du plus mouvais goût» (позволили себе высказать превульгарные демократические теории). К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочки не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» (статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному) только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 г. (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце; брат и я — ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Нор-

кот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие, карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катавшего его по Promenade des Anglais[1], он все принимал за нелюбимого сослуживца — Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «Qui est cette femme? Chassez-la!»[2] — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтоб показать ему красивый камушек — который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Все дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

---

[1] Набережная в Ницце.
[2] Кто эта женщина? Прогоните ее! *(Фр.)*

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда — за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т. е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения — Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, — до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень

счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то: «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском гошпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского музея естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, — увидел свою фамилью, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилья приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта — в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел

заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, — все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend»[1], — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, — и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Que vous êtes devenu jaune et laid, mon pauvre garçon!» (Как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы — это было в 1914 г. — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, — сказал

[1] Вас ждут *(фр.)*.

он, — можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien à vous dire»[1].

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал — движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья — итальянскую виллу, пиренейский замок около Pau; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, *вопящий* какой-то, т. е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием

---

[1] Мне больше нечего вам сказать *(фр.)*.

дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde — une feuille verte»[1]. Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии — смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало — туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, — и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой — менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попы-

---

[1] Моему племяннику — прекраснейшая вещь в мире: зеленый листок *(фр.)*.

тался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»[1], — подумавши, ответил дядя). Он писал романсы — меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, — Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва — и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, — он вздыхал и говорил: «Je suis comme une[2] былинка в поле!» — с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы — совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, —

[1] Он рыдал *(фр.)*.
[2] Я как... *(фр.)*.

с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе не предупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти странные вещи — в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, — и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни — тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба — купленная им, собственно, для старшего, рано умершего, сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орга́н в другом, яркий запах тепличных

цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим — наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигаешь наконец плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.

6

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему,

что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере свободному русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России.

7

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — *уже* терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевистский переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди — «Octobre» — лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую

вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам — «chapelle ardente de feuilles aux tons violents»[1], как выпелось у него, — и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

L'air transparent fait monter de la plaine...[2] —

высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, — и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, — бархатный бюст, малиновые рукава, — и дядино канотье), ужасно жалобные и переливчатые звуки:

Un vol de tourterelles strie le ciel tendre,
les chrysanthèmes se parent pour la Toussaint...[3] —

доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

---

[1] Часовня из огнецветных листьев *(фр.)*.
[2] Прозрачный воздух доносит с равнины... *(Фр.)*
[3] Голубиная стая штрихует нежное небо,
хризантемы наряжаются к Празднику Всех Святых... *(Фр.)*

8

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя — пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть, и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену с начала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот — и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудносовместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы

и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти, — и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Bibliothèque Rose». Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «Sophie n'était pas jolie...»[1]; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de château[2], на которую Mme de Ségur, née Rastopchine[3] добросовестно перекладывала свое детство в России, — почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petites Filles Modèles», «Les Vacances»[4], тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи, — когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память

[1] Соня не была хороша собой... *(Фр.)*
[2] Усадебная жизнь *(фр.)*.
[3] Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина *(фр.)*.
[4] «Сонины Проказы», «Примерные Девочки», «Каникулы» *(фр.)*.

и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Всё так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: «аглицки». Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны — тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub[1] я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах: грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенским маслом намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для

[1] Ванна *(разг. англ.; прим. комм.)*.

разных игр, да снедь текли к нам из Английского магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню, при первой встрече, в 1945, что ли, году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed», «Is Ned in bed?»[1] и тому подобное. Из-за того, что вначале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (Ben has an axe[2]), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот, перед дальнозоркими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Чернила

---

[1] Кто такой Бен? Это — Дэн. Сэм в постели. В постели ли Нэд? *(Англ.)*

[2] У Бена есть топор *(англ., прим. комм.)*.

пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю в конец — в будущность прилежного ученика.

2

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и таинственного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрач-

ных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные, — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старших смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн — грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облекала ее нейтральный стан. Две других куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими и, следовательно, бесполыми.

В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее. Сарру Джейн испугал и, по-видимому, ушиб какой-то лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового урода — ревущий рот, морщины). Затем им попался навстречу печальный восточный человечек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех

времен (около 1906 года), причем Сарра Джейн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покорившую. Однажды Голивог построил себе и четырем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету — собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один.

3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледно-зеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больнее: ныне и призрак мой, пожалуй бы, не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), — приговаривала мать, медленно ведя меня вверх. «Step, step», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось все более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается лестница. «Step», — говорила мать все тем же голосом, и, обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться, — поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам

которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или француженке. В доме было пять ванных комнат, а кроме того, много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как, бывало, после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос. Клозеты, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них, внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потянешь книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев в старых неэндемичных тополях за домом; и там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок. Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной, и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими из цветных прямоугольников, на долиннеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, желтый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилью в ванне: большой, приятный, плавучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целлулоидового лебедя, лодочку, меня в ней с Тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и, впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь

ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку «Поторопись!».

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитятю. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый святой в прорези темной фольги, все это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

4

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский Дон Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстуху в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеен-

ной жестяной коробке, со вкусными, миндальными, наверху, а пресно-сухаристыми — внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм», «кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть, совсем древнее, русское няньковское воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясницу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надобно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбиянкой, и с ней расстались в Аббации. Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покуда нас не перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий Атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их череда заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, остававшиеся на английскую стихию, посвящались урокам с мистером Бэрнес и мистером Куммингс, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже, — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек, и хорошо, если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Все это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгущающейся перед ним. Это было всего лишь свойственное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я, бывало, сидел у себя и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке, этаким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути.

Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию. Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах, — необходимо «набава́н» (number one, в отличие от более основательного «набату́», number two, — да

не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час — Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю, как выразиться, — телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать тот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как

это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady from Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, crushed her, и прелесть была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. Вот перефразировка по-русски:

Есть странная дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и все время орет —
но орет не всегда одинаково.

6

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не

было и сорока пяти в те годы — 1907—1908, — когда он приходил мне давать уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского «Graphic»'а. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели — полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райски яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластелина фигурки; а затем — знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле *веселости* красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими

выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты: «And that's all, dearia, — и это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движеньями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того, что он пересек Америку через Ютаху в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскими знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился dans la force de l'age[1], т. е. в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

---

[1] В расцвете сил *(фр.)*.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, — и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенснэ в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышемую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной проведенной нами в деревне, и все было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство

мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы и пьяницы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но в общем отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя, и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснежённой станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?» — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается зáметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «Et je me tenais là abandonnée de tous, pareille à la Comtesse Karénine»[1], — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщерб-

[1] И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина *(фр.)*.

ленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад — это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя, — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не la jeune Sibérienne?[1] В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 г., что ли, — на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые

---

[1] Юная Сибирячка *(фр.)*.

колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот, опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкафчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle. Старая Робинсон, которой я не терплю (но *все* лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снегу, и вообще много чего ждет заместительницу.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся

молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу — или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как все размазалось, как все поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный, пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, — она была встревожена событиями того года, а кроме того, ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того чтобы помочь Mademoiselle утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить

висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант и потом врали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где, по-видимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком, да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу, — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. La bonne promenade[1], которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботики в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкафами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили — и, радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротоптанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со

[1] Славная прогулка *(фр.)*.

своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. Mademoiselle стояла на крыльце и выкликала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого, между прочим, звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

4

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение, — она же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения, что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд; соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую вставку она для меня всовывала новое перо и с сырым присвистом слюнила его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто-серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась

всякими перечеркиваниями и безобразием, — я надписывал «Dictée», покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменилась. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенснэ окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала

мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.

Мое вниманье отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако — и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!»[1], — вздыхала она, вспоминая: «Как мы веселились вместе! А как, бывало, ты поверял мне шепотом свои детские

[1] Ах, как мы любили друг друга! *(Фр.)*

горести» (Никогда!), «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната Mademoiselle, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки, — одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимися монпансье — другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупицами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся «Mater Dolorosa»[1]), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове; главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными каменьями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят, и вот такой толщины», — говорила с пафосом Mademoiselle — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и, разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блестки на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением

[1] Скорбящая Мать *(лат.)*.

Иезавели из «Athalie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются», или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванью брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним

временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего *я* в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой «Revue des Deux Mondes»[1]. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И все время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенснэ; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, — что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно приноравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

---

[1] Французский толстый журнал.

Непонятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исаакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. On se promenait en voiture — или en équipage[1], как говорилось по старинке в русских семьях. Черно-сливового цвета плюш величественно холмится на груди у Mademoiselle, расположившейся на заднем сиденье открытого ландо с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув. Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ — бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распущенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились все реже, а характер ее все хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебывавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях.

---

[1] Ездили кататься в коляске... в экипаже *(фр.)*.

Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры; рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и все это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синеных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, — она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено набок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались — Надежда Ильинична с лопухом, пришпиленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электри-

ческих вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Je suis une sylphide à coté de ce monstre»[1], — презрительно говаривала Mademoiselle. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées»[2].

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайте внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, Monsieur Nabokoff?» — бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я — вы не поверите, но это факт — *слышала* тишину». Невольным следствием таких реплик — особливо когда слабеющий слух подводил ее и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой causerie[3]. Между тем сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было

---

[1] Я сильфида по сравнению с этим чудовищем *(фр.)*.

[2] Простите, я улыбалась своим грустным мыслям *(фр.)*.

[3] Беседа *(фр.)*.

забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбудительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую grande précieuse[1], царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующую поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них Mademoiselle не любила, но про Ленского говорила, что это le comble[2] — дальше идти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный, по его мнению, в доме у демократа. Mademoiselle, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их

[1] Хозяйка светского салона *(фр.)*.

[2] Переходит все границы *(фр.)*.

не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, Mademoiselle просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей Mademoiselle за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, Mademoiselle ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув: «Merci, Monsieur» — с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» — всхлипывая, жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, — которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола, — и какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 г., что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей, должно быть, было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать: «L'âge est mon seul trésor»[1]. Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; оне жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, Mlle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию, причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и, между нами говоря, довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что,

---

[1] Годы — мое единственное сокровище *(фр.)*.

впрочем, не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посильно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «Il pleut toujours en Suisse»[1] — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. «Mais non, — говорила она, — il fait si beau, si beau»[2], — и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парапетом шла по воде крупная рябь, почти волна, — когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмоканье шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря — все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

---

[1] В Швейцарии всегда идет дождь *(фр.)*.

[2] Да нет же, погода там такая хорошая *(фр.)*.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какою мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем

устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером.

Бывало, влетев в комнату, пускалась

цветная бабочка в шелку,
порхать, шуршать и трепетать
по голубому потолку —

цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкафной истории я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыкание довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное

расположенье под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

2

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди «Живописного Обозрения» и «Graphic»'а в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа («Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...» [1]), Амстердам, около 1750 года: на их желтоватых, грубо-шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице CII — ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647—1717), и «Die Sehmetterlinge» (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалевы «Icones Historiques de Lepidoptères Nouveaux ou Peu Connus» (Париж, 1832 года и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй

[1] Заглавие ученого труда по зоологии.

половине девятнадцатого столетия, — «Natural History of British Butterflies and Moths» Ньюмана, «Die Gross-Schmetterlinge Europas» Гофмана, замечательные «Mémoires» вел. кн. Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русскоазиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, «Butterflies of New England»[1].

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, среднеевропейской, а также и русской лепидоптерологии (почти несуществующей, впрочем, при Советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась о ту пору и другая, более общая, перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как

[1] Заглавия трудов по чешуекрылым.

о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» — поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его, — комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по-осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощрен-

ности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилью за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы, и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников, и конечно, ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благоразумно держались

в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенишевском училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и, за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав спозаранку, я сделал все возможное, чтоб покинуть дом без его ведома. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандающимся в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак — и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «Аааа» — упустил дивного эль-альбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании Бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на

попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично вылупились, — но на самом деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята, верно, наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаем (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «Vraiment, Volodya[1], оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?» У придорожного знака *«Nach Bodenlaube»*[2] в Бад Киссингене (Бавария), только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю, ранней весной 1918 года какой-то большевистский часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было, кажется, случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских

---

[1] Право, Володя... *(фр.)*.
[2] «К Боденлаубе» *(нем.)*.

Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-змеиному, зыблется трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я беззаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала, пожалуй, еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали: «Что же это такое?» — у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжение двух-трех миль огромная вороная кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единодушной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия, появлявшаяся с таинственным постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитных жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонной лицены: выше

и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглая. Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким, белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки, — она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением — быть может, производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху, я свистнул по ней рампеткой. Мы все слыхали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее.

5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анджелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сереющей

сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая (эпилобия). Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой оборкой, ярко-малиновый атлас задних из-под лишаеватых передних. «Катокала адультера!» — восторженно орал я по направлению освещенного окна и спотыкаясь бежал в дом показывать отцу улов.

6

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного, широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, — все это скользит у меня сейчас цветным маревом

перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана, бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду евпитеций: эти нежные ночные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевала этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом, — о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитеции! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорщичьей тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр Eupithecia petropolitanata был взят русским школьником (или "молодым собирателем..." или еще лучше "автором...") в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912 г... 1913 г... 1914 г...».

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику, откуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами,

и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног, и, померцав, снова опустился по моем прохождении.

Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого, рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для среднеевропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, — «потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет» — фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое или, по крайней мере, по-новому осознанное чувство — и что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками, темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы. Едва замечая уколы комаров, которые как паюсной икрой вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовлетворения сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебряными точками с исподу, диковинки и любовно высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки, — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы за-

пеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачок. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами — лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега Longs Peak[1].

Далеко я забрел, — однако былое у меня все под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских гор, на озерах Тетонского урочища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа —» нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы, — та Eupithecia nabokovi McDunnough, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой samuelis), — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как

[1] Горная вершина в Колорадо.

говорится в американских официальных рекомендациях, to whom it may concern[1] — не знаю, к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем я всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты... Можно было разглядеть в проймах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки... Широкие окна чередовались с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исклю-

---

[1] К тому, кого это может касаться *(англ.)*. Англо-американская формула, которой традиционно начинаются официальные рекомендации *(прим. комм.)*.

чительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово—Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909 году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — французским актером ФерОди.

В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северо-западной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на

никелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953 году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты ведь устал», — говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор отворена, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе, — которые поднимаются все выше, с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда, на таких поездках, Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал двоякое наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вплывает к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («Compagnie Internationale...»[1]), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких, узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных сал-

[1] «Международное Общество...» *(фр.)*.

феток и аквамариновыми бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало — и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того, как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных, кренящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, — дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, — пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное названье «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens»[1]. С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасливо шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался, бывало, заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем

---

[1] «Международное Общество Спальных Вагонов и Европейских Экспрессов Дальнего Следования» *(фр.)*.

поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал, — и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали; а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пировала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший на бок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, чти ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножью койки — в сопровождении вывороченного одеяла, — дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и беззаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала, — Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-Экспресс.

На другое утро уже белелась и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу

канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной краской, — прежде чем сесть в полдень на Сюд-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые terrains à vendre[1], полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как генерал МакКроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном променаде у казино видавшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбрюдка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически севшимися в стирке: дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были

[1] Участки для продажи *(фр.)*.

кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал как цветник, и безумно быстро через него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни — орешков чуть слаще моря, витых, золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежно-зеленого мороженого и громадных ломких, вогнутых вафель, содержавшихся в красном жестяном бочонке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому, разбитому солнцу, вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией глянцевитый беньер вел тебя — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода — на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнущей сосной купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От него я узнал, и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизериколетея».

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей ее узкую, длиннопалую ступню. «Je suis Parisienne, — объявила она, — et vous — are you English?»[1] В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переправляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфовое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку, со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима: синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплется, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей — господина с нафабренными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом: «Ce sont des bourgeois de Paris»[2]. Я по-своему

---

[1] Я из Парижа, а вы — вы англичанин? *(Фр. и англ.)*

[2] Они парижские буржуа *(фр.)*.

объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного rapide[1]. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведерко: вижу яркий рисунок на нем — парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «You little monkey»[2].

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «Là-bas, là-bas, dans la montagne»[3], как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запихиваю в коричневый бумажный мешок

[1] Скорый поезд *(фр.)*.
[2] Ах ты, обезьянка *(англ.)*.
[3] «Туда, туда, скорее — в горы» *(фр.)*.

складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино, — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождичком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символичный, как теперь выясняется, предметик — вырезную пенковую ручку, с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, — и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзываясь в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки, парке, под холодной голубизной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-pour-fillettes[1]. Она взяла

[1] Городской наряд для девочек *(фр.)*.

из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, — который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней — ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, — похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче, катя свой волшебный обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10 апреля 1899 года по старому стилю в Петербурге; брат мой Сергей родился там же, 28 февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителя другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905 года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915 года, когда брат и я приехали заниматься лыжным спортом

в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жареного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои новые лыжные сапоги оказывались по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый «типографический» портрет Льва Толстого, т. е. портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и Работника», целиком пошедшего на изображение автора, причем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем. Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь и запыхавшийся, заиндевелый, закутанный в бабий оренбургский платок батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с торчащими бутылками и всякой снедью, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы Василий Мартынович нас недокормил. Раньше, чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей, вероятно, бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая круглые леденцы-бульдегомы и все сетуя о том, что некие

темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры. Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, т. е. поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А., сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907 года, он носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где когда-то повесился таинственный бродяга, А. нас забавлял довольно кощунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая черными, вампировыми крыльями, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырым утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и, помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника, — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших in copula с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками. Осенью того же года А. поехал с нами в Биарриц, и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву «жиллет» раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только пропущено через меня и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать смеясь рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла. Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине зеленого ковра, нашего А. на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепе-

невшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикуляцию бедняги взмах его романтического плаща, наводит меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицской квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим гувернером — зимой 1907 года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. Он тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает. Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его периферии. На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения. Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятком пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий гувернер, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гирями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался не совсем обычным педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похохатывая, парировал мой детский натиск и причинял мне невозможную боль.

Хотя в общем я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемуазель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде «Qui aime bien, châtie bien»[1]; я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами, — несколько похожий на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910 год. Помню, какое восхищение он вызвал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг с ребяческим наслаждением я заметил, что Макс наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернул в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом, изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые сиреневые носки и, кажется, был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом в стрельбе, решетя пулями ржавую вывеску «Охота воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909 года он что-то стал ссылаться на мигрень и общую lassitude[2], отказываясь кикать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку. Гораздо позже я узнал, что летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение

---

[1] Кто крепко любит, тот строго карает *(фр.)*.

[2] Усталость *(фр., прим. комм.)*.

дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых догов. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед «Дукс» со всеми аксессуарами — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормозом, насосом, треугольным кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для призрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студеные туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательский день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал, впрочем, в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоявшей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лютеранин, притом еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в Германию в 1910 году, после чего я поступил в Тенишевское училище, а брат — в Первую гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913 года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в Петербургский университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами, булыжники и продавал их как пресс-папье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет

остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», — небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный нос, ущемленный голым пенснэ, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как, вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, восклицал: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!»

Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и, в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910 году мы как-то с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери, и, бывало, я грубил им за это, и, потря-

сенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств, если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машиночкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом — иностранцы, барчуки, снобы и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу. Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине меня с братом перевел из «Адлона» в мрачный, буржуазный пансион «Модерн» на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно любимые мной Норд-Экспресс и Ориент-Экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как, впрочем, и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с неимоверно тщательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель, и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скромной, квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине Александра на Невском, торговавшем безвкуснейшими

предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру, только если мы обещаем воздержаться от восклицаний восторга и слишком красноречивых взглядов. Со всевозможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычущим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь. С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее, со своей невестой. Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, пришпиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритья, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911-го или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и раза два в месяц по воскресеньям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно уснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но, в частности, научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов разных разрядов:

наших кузенов и кузин; малоинтересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сеанса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра при каждом ее движении — она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника и, по необыкновенному совпадению, страдал тем же трагическим недугом, гемофилией, так что по несколько раз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который все шел да шел, и если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубоватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

Немного лет тому назад,
там, где, сливаяся, шумят,
обнявшись, будто две сестры,
струи Арагвы и Куры,
был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз как невидимый коллега убирал — без спеха — пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увеличение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые

...в час утренней зари
курилися как алтари,

и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было и совестно, и ужасно жаль героического комментатора — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков стали

довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — невзирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот — пластинка нашлась и вспыхнула на полотне, — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних заграничных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шума вышел оттуда:

о, как сквозили в вышине
в зелено-розовом огне,
где радуга задела ель,
скала и на скале газель!

4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходных преподавателей и собрал с десяток мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили, по его мнению, в товарищи его собственным, Василью (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру (даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим

мальчиков, наиболее привлекательных по наружности, среди первых учеников. По существу рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трех представлений («Медный Всадник», «Дон Кихот» и «Африка — Страна Чудес»), мать сдалась на мои мольбы, и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их глаже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, — если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты — лабораторного микроскопа. Арарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.

5

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи. Причиной их была, вероятно, совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, т. е. именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накану-

не одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его и, в порыве деятельного сострадания, не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов Политической Экономии» Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиваньем отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдалец воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был. И наконец отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». — «Разрешите мне быть другого мнения», — ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем «Бенце» в университет, оставался там долго, вернулся в извозчичьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913 года, Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Cyrano de Bergerac», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось — мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле, за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом... — но об этих белых бабочках я уже писал.

Весной 1914 года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой

человек обворожительной наружности, с задушевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в какомлибо надзоре, учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы, верно, удивитесь»), и все, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами — рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился. При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я не совсем потерял из вида. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок; мы попробовали — и лопнула шина. В Первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918 году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на Черноморском побережье, со скетинг-ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и, в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал мор-

скими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был, в сущности, очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком ликующем разрешении собранных звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так осторожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того чтоб иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи. Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается как маленький геликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому

солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение: точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, полушаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911 года я поступил в третий семестр Тенишевского училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты) или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репети-

тора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника — «Battez!», «Rompez!»[1] — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда, в ноябре этого пулеметного года (которым, по-видимому, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные

---

[1] Фехтовальные термины.

тени появлялись, — как на спиритическом сеансе, — за границей. Так, в двадцатых годах, найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной Миров» Уэльса. Прошли еще годы, — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках и застенчивая старуха библиотекарша в пенснэ работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где, за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «Бенц» или «Уользлей», подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба и стара и едва ли годится для исторических поездок, — не то что дивный рыдван пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варенн.) По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого «Бенца» поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин рольс-ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шубка, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок,

отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал пискливую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями «торпедо-Опель», которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1915 году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «Ульзлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и, вероятно, был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 по Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер; там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка в снятой

им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались, ничком на плоских санках, в детстве) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

3*

Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На какомто банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учи-

* В романе нарушена нумерация подглавок: подглавка 2 отсутствует *(прим. ред.)*.

телей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и, как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад, — *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *своих* любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться к среде», в надменном щегольстве фанцузскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество), все стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими «ребятами». Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным

добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно, прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий он может мне подать — да и подавал — тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на

Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке. И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И. Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых, карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы, и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда, бывало, надолго уходил страдавший животом Лустало и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Раушем, я добирался до Техаса, — и там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотекаршей, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнуто «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого котоусого Милюкова

благодарное Мировое Еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью — матушку Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911-й или 12-й) «Новое Время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недуэлеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантанных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я, между прочим, узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломейцева, героя японской войны: в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого как труп нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать, — который ежегодно «оставался», так что, вероятно, вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в 14-м году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло, в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия

с Моховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружья был решен, — и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца и переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника, в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися, — видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому, как на поклон, я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу возницу ехать скорее, я натыкался на сложный, сонный обман: старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутишко

из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей à volonté[1], и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за Черной речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей.

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба

[1] Дуэль со стрельбой не по команде *(фр.)*.

на мгновенье сровнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Все это было давно, — задолго до той ночи в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Как известно, книги капитана Майн-Рида (1818—1883), в упрощенных переводах, были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться «Безглавым Всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой, — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское) осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно, по уродливой диагонали, а затем изорвался; самую же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу: верно, на ней изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит, — и вот, вместо *той* картины, вижу в окно ранчи всамделишную юго-западную пустыню с кактусами,

слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград.

Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общеизвестные майн-ридовские игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, причем для пущей резвости мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску; позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг в друга из них маленькими стальными ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости; раз мы переправились через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое; все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал, между тем как не отстававший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это и едва не утонул в двух саженях от берега.

Летом 1917 года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через полтора года он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ, в сущности, не успел выйти из воинственно-романтической Майн-Ридовой грезы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших не таких уже частых и не очень долгих летних встреч.

2

Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого «The Headless Horseman» в столетнем, очень непривлекательном издании без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно, но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом техасском отеле пятидесятых годов. Франт-барман, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых «антикварно тикают» голландские часы, «кажутся радугой, блистающей за его плечами, и как бы венчиком окружают его надушенную голову» (очень ранний Гоголь, конечно). «Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и мононгахила (сорт виски)». Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет «канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные экспекторацией (плевками) на белом песке, которым усыпан пол». Лет девяносто спустя, а именно в 1941 году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью, замечательных совок и пядениц у неоновых огней бессонного гаража.

В бар входит злодей, «рабо-секущий миссисипец», бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бретер, Кассий Калхун. Он провозглашает грубый тост: «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!», причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный коноторговец, а, как выясняется впоследствии, к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис. Не знаю, может быть, именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке:

Ставит свой стакан с виски на стойку.

Вынимает шелковый платок (актер не должен спешить).

Отирает им с вышитой груди рубашки осквернившее ее виски.

Перекладывает платок из правой руки в левую.

Опять берет стакан со стойки.

Выхлестывает остаток виски в лицо Калхуну.

Спокойно ставит опять стакан на стойку.

Эту художественную серию действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дуэль на шестизарядных кольтах (нам приходилось их заменять револьверами с восковыми пульками в барабанах) состоялась тут же, в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком («оба были ранены... кровь прыскала на песок пола»), уже в десять лет, а то и раньше, что-то неудержимо побуждало меня покинуть таверну, с ее уже ползшими на четвереньках дуэлянтами, и смешаться с затихшей перед таверной толпой, чтобы поближе рассмотреть «в душистом сумраке» неких глухо и соблазнительно упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания». Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна и будущей лэди Джеральд, дочке сахарного плантатора. Эта прекрасная, незабвенная девица, почти креолка, является перед нами томимая муками ревности, хорошо известной мне по детским балам в Петербурге, когда какая-нибудь безумно любимая девочка с белым бантом почему-то вдруг начинала не замечать меня. Итак, Луиза стоит на плоской кровле своего дома, опершись белой рукой на каменный парапет, еще влажный от ночных рос, и чета ее грудей (так и написано «twin breasts») поднимается и опускается, а лорнет направлен — этот лорнет я впоследствии нашел у Эммы Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к Даме с Собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Ревнивой Луизой он был направлен в пятнистую тень под мескитами, где тайно любимый ею всадник вел беседу с не нравившейся ни мне, ни ему амазонкой, донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос, дочкой местного помещика. Автор довольно противно сравнивал эту преувеличенную брюнетку с «хорошеньким, усатеньким молодым человеком», а ее шевелюру с «пышным хвостом дикого коня».

«Мне как-то случилось, — объяснил Морис Луизе, тайно любимой им всаднице, — оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев». — «Небольшую услугу! — воскликнула Луиза. — Да знаете ли вы, что кабы мужчина оказал мне такую услугу...» — «Чем же вы бы его наградили?» — спросил Морис с простительным нетерпением. «О, я бы его полюбила!» — крикнула откровенная креолка. «В таком случае, сударыня, — раздельно выговорил Морис, — я бы отдал полжизни, чтобы вы попали в лапы индейцев, а другую, чтобы вас спасти».

И тут наш романтик-капитан вкрапливает странное авторское признание. Перевожу его дословно: «Сладчайшее в моей жизни лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле — перегнулась ко мне со своего седла и меня, конного, поцеловала».

Это увесистое «сидючи» («as I sate») придает, конечно, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан так элегантно «имел» («had»), но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограниченна. К тому же Юрик и я знали одного лицеиста, который это испробовал на Островах, но лошадь его дамы спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомленные приключениями в вырском чапаррале, мы ложились на траву и говорили о женщинах. Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от англосаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика). Трущобы любви были незнакомы нам. Заставив меня кровью (добытой перочинным ножом из большого пальца) подписать на пергаменте клятву молчания, тринадцатилетний Юрик поведал мне о своей тайной страсти к замужней даме в Варшаве (ее любовником он стал только гораздо позже — в пятнадцать лет). Я был моложе его на два года, и мне нечем было ему платить за откровенность, ежели не считать нескольких бедных, слегка приукрашенных

рассказов о моих детских увлечениях на французских пляжах, где было так хорошо, и мучительно, и прозрачно-шумно, да петербургских домах, где всегда так странно и даже жутко бывало прятаться и шептаться, и быть хватаемым горячей ручкой во время общих игр в чужих незнаемых коридорах, в суровых и серых лабиринтах, полных неизвестных нянь, после чего глухо болела голова и по каретным стеклам шли радуги от огней. Впрочем, в том самом году, который я теперь постепенно освободил от шлака более ранних и более поздних впечатлений, нечто вроде романтического приключения с наплывом первых мужских чувств мне все-таки довелось испытать. Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания.

3

Осенью 1910 года брата и меня отправили с гувернером в Берлин на три месяца, дабы выправить нам зубы: у брата верхний ряд выпячивался из-под губы, а у меня они все росли как попало, один даже добавочный шел из середины неба, как у молодой акулы. Все это было прескучно. Знаменитый американский дантист в Берлине выкорчевал кое-что козьей ножкой, причиняя дикую неприличную боль, и как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным стулом, и вата, вата, сухая, дьявольская вата, которую они накладывали пациенту за десны. Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесемками перед тем, как обезобразить нас платиновыми проволоками. Разумеется, мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен А, — вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наемного электрического автомобиля. Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скетинг-ринк на Курфюрстендаме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической

воркотни неумолкаемых роликов. Существовала в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев, — где все они ныне?), которые мастерски играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на льду катков, перебирая на поворотах «через колено» бритвоподобными беговыми коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень веселился на этом паркетном скетинге. Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски (я немецкому языку никогда не научился и в жизни не прочел ни одного литературного произведения по-немецки). Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо ковылял в сторонке, никому не мешая, а гувернер пил кофе и ел торт «мокко» в кафе за бархатным барьером. Я вскоре заприметил группу изящных, стройных молодых американок; сначала они все сливались для меня в одно странно привлекательное явление; но постепенно началась дифференциация. Как-то я тренировался в вальсе и, за несколько секунд до одного из самых болезненных падений, которое мне когда-либо пришлось потерпеть (расшиб все лицо), я услышал из этой обольстительной группы уже знакомый мне, полнозвучный, как удар по арфе, голос, выразивший мне одобрение. До сих пор медленно едет она у меня мимо глаз, эта высокая американочка в синем тайере, в большой черной шляпе, насквозь пронзенной сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках, вооруженных какими-то особенными роликами. По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голую, нежно-голубоватую шею, и удивлялся странному физическому неудобству, которое если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирали рейтузы. Как-то я шел через вестибюль ринка, и около дорической колонны стояли она и мой роликовый инструктор, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна крепко держал ее за кисть и чего-то добивался, и она по-детски вертела так и сяк плененной рукой,

и в ближайшую ночь я несколько раз подряд заколол его, застрелил, задушил.

Наш гувернер, тот «Ленский», о котором я писал по другому поводу, высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой страстный интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и, в общем, нам с братом часто удавалось заводить его в места, куда родители нас бы, может быть, и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости «Винтергартена», и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звездным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок гладкий и необыкновенно вкусный «айс-шоколаде».

Программа была обычная: был жонглер во фраке; была внушительного вида певица, которая вспыхивала поддельными каменьями, заливаясь ариями в переменных лучах зеленого и красного цвета прожекторов; затем был комик на роликах; между ним и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявлено: «Gala Girls», — и с потрясающей и постыдной внезапностью, напомнившей мне падение на черной пылью подернутом катке, я узнал моих американских красавиц в гирлянде горластых «герльз», которые, рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток левых, то десяток правых одинаковых розовых ног. Я нашел лицо моей волоокой Луизы и понял, что все кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товарок. Сразу перестать думать о ней я не мог, но испытанное потрясение послужило толчком для индуктивного процесса, ибо я вскоре заметил в порядке новых отроческих чудес, что теперь уже не только она, но любой женский образ, позирующий академической рабыней моему ночному мечтанию, возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Об этих симптомах я простодушно спросил родителей, которые как раз приехали в Берлин из Мюнхена или Милана, и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им раз-

вернутой, и ответил по-английски, начиная — по-видимому, длинное — объяснение интонацией «мнимой цитаты», при помощи которой он любил разгоняться в речах: «Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и зардевшиеся щеки, горе и красные глаза, shame and blushes, grief and red eyes... Tolstoi vient de mourir»[1], — вдруг перебил он самого себя другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери, тут же сидевшей у вечерней лампы. «Да что ты», — удрученно и тихо воскликнула она, соединив руки, и затем прибавила: «Пора домой», — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

4

Вернемся теперь к велосипедному номеру — в моей версии. Летом следующего, 1911-го, года Юрик Рауш не приезжал, и я остался наедине с запасом смутных переживаний. Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в галерее усадьбы, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в восьмидесятидвухтомной брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы, означающей малоизвестное слово, которое пряталось в сером петите от молодого читателя и малиновой ижицы на его лбу. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы летних суток, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высылавшее меня в смутное путешествие. До обеда я ездил верхом, а на закате, надув шины до предельного напряжения, катил Бог весть куда на своем старом «Энфильде» или новом «Свифте», рулевые рога которого я перевернул так, что их вулканитовые концы были

[1] Толстой только что умер *(фр., прим. комм.)*.

ниже уровня седла и позволяли мне гнуть хребет по-гоночному. С чувством бесплотности я углублялся в цветной вечерний воздух и летел по парковой аллее, следуя вчерашнему оттиску моих же дунлоповых шин; тщательно объезжал коряжные корни и гуттаперчевых жаб; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой шиной; ловко лавировал между двумя листочками или между камушком и ямкой в земле, откуда мой же проезд выбил его накануне; мгновение наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; тормозил и толчком переднего колеса отпахивал беленую калитку в конце Старого парка; и затем, в упоении воли и грусти, стрекотал по твердой липкой обочине полевых дорог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла, опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди, — воплощая и rus и Русь — и следила за моим приближением издалека с удивительно приветливым сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, это сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в углах ее сжатых губ и наконец выцветало вовсе, так что, поравнявшись с нею, я не находил просто никакого выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутом оспой, и в косящих светлых глазах. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем как взмыть в гору, уже опять намечалась тонкая впадинка у нее на щеке, опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того, как я перестал ездить по той дороге в тот низко-солнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Посещаю, бывало, хмурый, в крагах, со стеком, скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли, — и всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу липы в резко яркое сентябрьское утро,

когда всей оравой деревенская прислуга собиралась у парадного подъезда провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче, и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в шестнадцать лет выдали за пьяницу-кузнеца, я заметил как-то, проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных, светло-карих глазах. Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь (а достигала она этого тем, что не давала погаснуть улыбке), а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием.

5

Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины. Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы; оберегая собственный покой, я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел. Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых «черных» аполлонов (Parnassius mnemosyne), диковинных, древнего происхождения бабочек с полупрозрачными, глянцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырех других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым

гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девчонки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против сглазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.

Второй образ относится к святкам 1916 года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился, и в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другою молодой крестьянкой, — обе были в толстых платках, в больших валенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной материи, и Поленька, с синяком под глазом и вспухнувшей губой (говорили, что муж ее бьет по праздникам), заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А барчук-то меня не признал». Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различал фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов. Я тогда еще не умел — как теперь отлично умею — справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай *он* замирает; и тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начи-

нала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь, и питающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начинали неторопливо всползать по стеблям своих кормовых растений. С едва уловимым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полукруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колетт, моя пляжная подруга; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душистоволосые, в низко повязанных, ярких шелковых поясах девочки, с которыми я играл на детских праздниках; графиня Г., таинственная пассия моего двоюродного брата; Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов; все это сливалось в один образ, мне еще неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер... Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч: это было как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля; но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль, с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок; нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей; фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне мой завтрашний сказочный день.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом как ни в чем не бывало сияло и зыблилось вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую усадебную обстановку, — и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя «Тамара» появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее; немного позже, с заросшего дикой малиной старого кладбища, боком, как калека, сходившего по крутому склону к реке, я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее скрывала рощица яблоней. Ежедневно, верхом или на велосипеде, я проезжал мимо, — и на повороте той или другой дороги что-то ослепительно

взрывалось под ложечкой, и я обгонял Тамару, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом ее сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черного шелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но только девятого августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что, благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам, не только не нарушало, но, напротив, подчеркивало ее живость и грацию. Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Ее очаровательная шея была всегда обнажена, даже зимой, — каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок я убрала цветами» или «Христос воскрес, поют во храме». Сказав что-нибудь смешное или чересчур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи, все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем», — говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки: но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно представлял себе ее семью: отец служил в другой губернии, у матери

было отчество как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, — и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома. Братний и мой гувернер, Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернерство лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето (их за него писал какой-то его родственник), пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить за мной и Тамарой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке вырского дома; дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери: она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делился, но, что бы она ни думала о наших с Тамарой свиданьях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем «Свифте», она только покачивала головой да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простокваши и фруктов. В темноте журчал дождь. Я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак. Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать

с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, в приютном углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накипали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонных колонн, суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье. Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости; но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.

2

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться — да и кажется многим — просто атрибутами классической поэзии, вроде «лесной сени», «уединенности», «сельской неги» и прочих пушкинских галлицизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы в самом деле лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты — весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина был, признаюсь, вне предела дерзаний шестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я с кастетом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледенелым петербургским

садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, — и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности: тут начинается тема бездомности, — глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям.

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; я же подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижним телефоном (24-43), и Владимир Васильевич Гиппиус, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали на скамейках в Таврическом саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сиденья, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшими смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетками, с моделями печатных станков и тому подобными бедными вещицами, среди которых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки, — в одной из зал среди витрин с египетскими, прескверно стилизованными, жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая и тридцать третья залы, где свято хранились такие академические никчемности, как, например, картины Шишкова и Харламова, — какая-нибудь «Просека в бору» или «Голова цыганенка» (точнее не помню), — отличались закутами за высокими стеклянными шкафами с рисунками и оказывали нам подобие гостеприимства, — пока не ловил нас грубый инвалид. Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова,

например, где, в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но куда бы мы ни заходили, рано или поздно тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам, что было нетрудно в этой глуши, — и приходилось опять переселяться куда-нибудь, в Педагогический музей, в Музей придворных карет, и, наконец, в крохотное хранилище старинных географических карт, — и оттуда опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег «Мира Искусства».

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, «Пикадилли» или «Паризиана». Фильмовая техника, несомненно, шла вперед. Уже тогда, в 1915 году, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок и звуков: морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет, бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я со странным чувством узнавал Rocher de la Vierge[1], Биарриц, прибой моего международного детства, и пока как белье полоскалось это море в синьке, специальная машина занималась звукоподражанием, издавая шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны под дождем в Париже, или хилые оборванные военнопленные с подчеркнуто нарядными нашими молодцами, захватившими их. Довольно часто почему-то названием боевика служила целая цитата, вроде: «Отцвели уж давно хризантемы в саду», или: «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил», или еще: «Не подходите к ней с вопросами» (причем начиналось с того, что двое слишком любознательных интеллигентов с накладными бородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имени Достоевского скорее, чем Блока, и, жестикулируя, теснили какую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами). В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови,

[1] Скала в Биаррице.

размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу к ней подъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, их вновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами в полированной пустоте ночи, уплывали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались как бы на самом краю, — словно то была бездна, а не высота, — грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения, — десяток атлантов или гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.

Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской порой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три «пьески» в неделю; в 1916 году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать.

Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. Некто Л., журналист, человек хороший, нуждающийся и безграмотный, желая выразить свою благодарность моему отцу за какое-то пособие, написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смесь зубовного скрежета и тонкого стона, — которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусицу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к единовременной литературной славе и была, вероятно, причиной того почти патологического равнодушия к «рецензиям», дурным и хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам.

Из всех моих петербургских весен та весна 16-го года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как: золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары в незнакомой мне большой белой шляпе среди зрителей футбольного состязания, во время которого

редкая удача сопровождала мое голкиперство; вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола; гудение колоколов и темно-синюю рябь свободной Невы; пеструю от конфетти слякоть Конно-Гвардейского бульвара на Вербной неделе, писк, хлопанье, американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка; бабочку-траурницу — ровесницу нашей любви, — вылетевшую после зимовки и гревшую в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим до белизны кантом; и какую-то волнующую зыбь в воздухе, опьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле, — в такие дни даже Северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но только в конце мая, когда мы, т. е. Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары наконец поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И немедленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее, привставшую на цыпочки, чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево, и небо, и жизнь играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания и осложнения, эти женские тени и измены, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах, все это сейчас, при восстановлении

прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смещение фокуса, и как ни треблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженощно, на пепельной тропе или на старом мосту, со сложенными на нем тенями перил, между небесным месяцем и речным, я целовал ее теплые, мокрые веки и свежее от дождя лицо, и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще раз, а потом долго взъезжал вверх, по крутой горе, к Выре, согнувшись вдвое, вжимая педали в упругий, чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растоптать.

С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917 года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару. Всего несколько минут, между двумя станциями, мы простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки, и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный

свирест кузнечика, — и, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму.

3

В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть. Зимой 1917 года демократия еще верила, что можно предотвратить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил в еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было восемнадцать лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу актриса, и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, т. е. от простецкого «Ноктюрны» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось: в поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не впускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу вагона и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим воздухом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги вповалку

спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах и в руке держал трость из прадедовской коллекции, — трость светлого, прелестного, веснушчатого дерева, с круглым коралловым набалдашником в золотой коронообразной оправе. Признаюсь, что, будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти вагону, сонным или насмешливым лицам, следующему вагону, третьему, четвертому, всему составу (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и когда наконец обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов наперекор наитиям марксизма, помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая уже переехала на юг и жила на хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре, около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной: все было не русское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; все это решительно напоминало

Багдад, — и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот, вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп, и рядом звезда, — и вдруг, с неменьшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее; порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары, и с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной, книги («Машенька») не утолило томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Но не это было, конечно, существенно. Местное татарское правительство смели новенькие советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унизительное положение, в котором могут быть люди, — то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918 года. На ялтинском молу, где Дама с Собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навытяжку мертвецов. Избежав всяческие опасности на севере, отец к тому времени присоединился к нам, и, вероятно, в конце концов до него бы добрались; какая-то странная атмосфера беспечности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом

жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад — сидели Толстой и Чехов. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелах, отец, брат и я почему-то выходили караулить сад. Однажды, в январе, что ли, к нам подкралась разбойничьего вида фигура, которая оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга на буфере, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес (неистребимость почты всегда поражала меня), и среди них было то первое письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. Прожив у нас с месяц, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, знай мы, что ему приглянулись все эти ночные сорочки, пикейные жилеты, теннисные туфли, дорожные часы, утюг, неуклюжий пресс для штанов, еще какая-то чепуха: полный список мы получили от горничной, чьих бледных чар он, кажется, тоже не пощадил. Любопытно, что, сразу разгадав секрет туалетного талька, он уговорил мать перевести эти кольца и жемчуга в более классическое место и сам вырыл для них в саду яму, где они оказались в полной сохранности после его отъезда.

Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы. Они кое-что подправили на виллах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли, в свою очередь. Их сменила добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское краевое правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила. Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками «Хаджи-Мурата». Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкеске. Его лицо было удивительным

образом расписано желтой краской, и он не переставая, неуклюже и гневно, дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе, с сосредоточенным выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. «Держите проклятое животное», — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, поддельного Хаджи нагнало двое настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам.

В течение всего лета я переписывался с Тамарой. Насколько прекраснее были ее удивительные письма витиеватых и банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал; с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова ее были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация... интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли в особенную музыку. «Боже, где оно — все это далекое, светлое, милое!» Вот этот звук дословно помню из одного ее письма, — и никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску по прошлому.

Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней я обязан особому оттенку, в который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы, или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом меч-

тал. Я промотал мечту. Разглядываньем мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом я безнадежно испортил себе внутреннее зрение. Совершенно так же я истратился, когда в 1918 году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до Тамариного хуторка; но зима прошла — и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных, и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда», с грузом сушеных фруктов возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тамарой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Летом 1919 года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916 года приезжал туда, с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский), по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивавший литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно

и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — «бруар»? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни.

Об этом и о других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом, но в его книжке «Из воюющей Англии» (Петроград, 1916 г.) я нахожу мало примеров его обычного юмора: он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в «Речи»; в одной из статей отец рассказал, с несколько старосветским простодушием, о том, как он подарил свое вечное перо «Swan» адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы «Mabie, Todd & Co., Ltd.», которая цитировала отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь, три года спустя, не было ни речей, ни банкетов. После года пребывания в Лондоне отец с матерью и тремя младшими детьми переехал в Берлин (где до своей смерти 28 марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль»), между тем как брат мой и я поступили осенью 1919 года в Кембриджский университет — он в Christ's College, а я в Trinity.

2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный крадратный голов-

ной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему «тютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами «Моя фамилья —» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трехчетырех последовавших лет.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian[1], так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать «Протоколы сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется «L'homme qui Assassina»[2] Фаррера. В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнущий диван, мещанские подушечки, тарелки на стене, раковины

---

[1] «Белый» русский *(англ.)*.

[2] «Человек, который убил» *(фр.)*.

на камине и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей, ужасные, истошные и трудные звуки которой квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воскресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гулянье по мураве, — просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить. Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при колледже, идти по моему переулочку среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранца тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами (джемпер) и спортивный пиджак с хлястиком. Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джемпер, бледно-серые фланелевые штаны и старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать опись этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно

к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда малоосознанной, любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку.

Некоторым моим собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сем с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего; гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались — и которых я сам считал — культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по (скажем) египетской истории. Это был долговязый великан, с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью, и его медлительные и сложные манипуляции трубкой раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфортабельностью. Странно вспомнить, я в те годы «спорил о политике», — много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах; ныне он у себя на родине крупный

ученый; назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда.

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, установленный Лениным, пытки и расстрелы и всякую другую полоумную расправу, — Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что, не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов» и, что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов родственник государя, а Милюков бывший царский министр. Ему никогда не приходило в голову, что если бы он и другие иностранные идеалисты были русскими в России, их бы ленинский режим истребил немедленно. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единообразие политических убеждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусе Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе, и Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная (чем, конечно, радостно

пользовалась советская пропаганда) и что на самом деле чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах — и ныне достигшей такого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти труизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой, между тем как молодые англичане ультраконсервативные (как, например, двое высокородных двоюродных братьев Бомстона) охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я, кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора.

3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе. Из моего английского камина заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность. Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь

встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерно, отмечая прелестные слова и выражения: «ольял» — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошнило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не столько бессонницы, сколько сердечных перебоев да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, anxietas tibiarum — когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишаи бора; — и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймза». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный

горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице.

Литературная братия, Бомстон и его несколько упадочный кружок, и какие-то молодые люди, пишущие триолеты, весьма сочувствовали моим ночным трудам, но зато не одобряли множества других моих интересов, как, например: энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму; его вольного образца светер, фуражка, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографы поблизости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар «шут» в угол, или когда, чтобы обнять мяч, он бросается головой вперед под яростные ноги нападающих, — и каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, на родине футбола, некоторая угрюмость, сопряженная со всяким спортом, национальный страх перед показным блеском и слишком большое внимание к солидной сыгранности всей команды мало поощряли причудливые стороны голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить мое, не столь удачное, как мечталось, участие в университетском футболе. Мне не везло, — а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника

и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря, — вроде того, как чеховского Тригорина критики донимали ссылками на Тургенева. О, разумеется, были блистательные бодрые дни на футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания, — и вот, вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведет новый желтый мяч, и вот, с пушечной силой бьет по моему голу, — и жужжит в пальцах огонь от отклоненного удара. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни, под тяжелыми зимними небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был точно обмазан салом, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов, погибших к утру. Изменял глазомер, — и, пропустив второй гол, я с чувством, что жизнь вздор, вынимал мяч из задней сетки. Затем наша сторона начинала напирать, игра переходила на другой конец поля. Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом Рыцаре», и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью силуэтов у едва зримых ворот противника. Далекие невнятные звуки пинков, свисток, опять мутное мелькание — все это никак не относилось ко мне. Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющим стихи, на никому не известном наречии, о заморской стране. Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали.

Но странно: что-то было такое в Кембридже... Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными, — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия

в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того, что в физическом пространстве это было не так, т. е. тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков. У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно в последнюю мою кембриджскую весну, когда я почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей, может быть, искусственной, но восхитительной России была наконец закончена, т. е. я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда. Один из немногих «утилитарных» грехов на моей совести — это то, что я употребил (очень, правда, небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов. Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложение описать сад Плюшкина, — тот сад, который Гоголь так живописно завалил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайский вой граммофонов, плывших сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из

реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier. Теплый воздух пропитан был до странности крымскими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под который скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

5

Вновь посетив Англию после семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно отправился в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил мне мою старую тоску по родине. Милорд Бомстон, теперь профессор Бомстон, с рассеянным видом повел меня завтракать в ресторан, который я хорошо знал и который должен бы был обдать меня воспоминаниями, но переменилась вся обстановка, даже потолок перекрасили, и окно в памяти не отворилось. Бомстон бросил курить. Его черты смягчились, его мысли полиняли. В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках, — она, кажется, заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на

том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет. Мебель была другая, форма у подавальщиц была другая, без тех фиолетовых бантов в волосах, и ни одна из них не была и наполовину столь привлекательна, как та, в пыльном луче прошлого, которую я так живо помнил. Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору Второй мировой войны). В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть и, может быть, осудить, восторженные и невежественные предубеждения его юности: оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде quinquennium Neronis[1].

Бомстон посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа, и в черных ильмах нашел знакомых галок, а в дымчато-бисерной траве — первые крокусы, словно крашенные посредством пасхальной химии. Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отрочеству.

---

[1] Нероновское пятилетие *(лат.)*.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда, решив перед отъездом посетить моего старого тютора Гаррисона, я направился через знакомый двор, где в тумане проходили призраки в черных плащах. Я поднялся по знакомой лестнице, узнавая подробности, которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь. Только тут я подумал, что напрасно я не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон, — но он не умер, на мой стук отозвался издалека знакомый голос. «Не знаю, помните ли вы меня», — начал я, идя через кабинет к тому месту, где он сидел у камина. «Кто же вы? — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. — Я как будто не совсем...» Тут, с отвратительным треском и хрустом, я вступил в поднос с чайной посудой, стоявшей на ковре у его кресла. «Да, конечно, — сказал Гаррисон, — конечно, я вас помню».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада, в сущности, выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, т. е. такую, которая состоит из трех загибов, или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний рус-

ский период (1899—1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919—1940), проведенная в Западной Европе. Те четырнадцать лет (1940—1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую бывал сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то, в мутной глубине своих гланд, хранили интересную идейку, что, как бы, дескать, плоха ни была исходная страна (в данном случае советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы

осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс, в разных министерствах, префектурах и полицейпрезидиумах.

2

Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я, кажется, исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только не измывался в Эпоху Разума над собирателями бабочек — тут и Лабрюйер в шестом издании (1691) своих «Характеров», презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, тут и пудреные англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930 году: он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию («Ein bischen retouchiert»[1], — грустно сказал он, наморщив веснушчатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая, на очень ясном снимке, заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался,

[1] Слегка ретушировано *(нем.)*.

впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на бульваре Араго в пленительном Париже на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической «гильотинаде» (как он выражался, думая, что это по-французски); как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке, при помощи топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному, по-видимому, дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него, помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электрокуцию, и, мечтательно хмурясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей, и, к сожалению, последней, встрече (сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд!), он, не сердясь — хотя было на что сердиться, — а, напротив, с кроткой печалью рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха, но, увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и, вместо того чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении — хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения («...наконец-то...») в его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения («Дизер Дитрих!») бьют себя ладонью по ляжке, те абсолютно вундербар фотографии, которые так неожиданно, и дешево, ему за те годы посчастливилось снять.

3

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922—1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил — начиная с «Alice in Wonderland»[1] (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды, в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку, — шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах, — и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России, — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу. Уже к концу двадцатых годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце тридцатых годов мы и вовсе покинули Германию, а до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, мою литературу он больше принимал на веру, — и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно

[1] «Алиса в Стране чудес» *(англ.)*.

меня не пускал. Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя; помнится, однажды двое литераторов, спозаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?» — «Был». — «Ну как?» — «Да так, знаете —». Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием: «Бонжур, мсье-дам»: почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы, и там не все могли сойти за Алеш Карамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, — и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки, — кстати, хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923 году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то пражским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах «Nouvelle Revue Française»[1], и раз Paulhan зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, чтоб печататься, должны платить да платить.

Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев.

[1] Французский журнал.

Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку «Зеленого Капораля» в мундштук.

Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно, дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на

людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи.

4

В продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком: с обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно не способны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады. Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой; или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном, и потому неполном, виде расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не резные

фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы. Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом; сказочным чем-то поражают оригинально-уродливые трехходовки готической школы; неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами; в свое время Россия изобрела гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как, например, единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованиям фантастического содержания.

Одно — загореться задачной идеей, другое — построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, — и когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек. Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения! Дело в том, что соревнова-

ние в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем), а потому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты, мучение заменяется чувством чуть ли не физической услады, в состав которого входит между прочим то безымянное ощущение «ладности», столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит — не урок, а подробный образ завтрашней забавы, и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжение двух-трех месяцев весной 1940 года в темном оцепеневшем Париже. Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю.

Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов, — или, иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника; ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в «блестящую» паутину ходов, основанных на теме, весьма модной и «передовой» в задачном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Питтсбурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные впечатления, веллингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи (например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне, — особенно если человек этнограф) с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду, и, после всех приключений, простой ключ доставляет мудрецу художественное удовольствие.

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот, на громадной английской сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (в 1920 году дядя Константин подарил их моему отцу), великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в шесть сантиметров ростом и королями почти в десять, важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев

Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6 ноября 1904 года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940 году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней, и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину третьего утра. Дело было в мае — около 19 мая 1940 года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе и этим заставить ее выделить нужную visa de sortie[1], которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность. Из-под дивана выглядывал игрушечный грузовичок. В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой сахарной бумаги (военная предосторожность), и вследствие этого электрический свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными литерами о нападении Германии на Голландию.

Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лилово-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи. Белые: Король, a7; Ферзь, b6; Ладьи, f4 и h5;

---

[1] Выездная виза *(фр.)*.

Слоны, e4 и h8; Кони, d8 и e6; Пешки, b7 и g3. Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, h6; Кони, e2 и g5; Пешки, e3, e6, d7. Белые начинают и дают мат в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след, иллюзорная комбинация: пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, вместо шахов, делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в мае 1940 года. Это — круглый пуговичный штемпель, и цвет его — последнее слово спектра: violet de bureau[1]. В центре видны две прописные буквы, большое «R» и большое «F», инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова «Contrôle des Informations»[2]. Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

«О, как гаснут — по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добираются до тайных сил природы, которые кроткие, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению). А потому, пожалуй, пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

---

[1] Канцелярская лиловизна *(фр.)*.

[2] «Контроль информаций» *(фр.)*.

Заглянем еще дальше, а именно, вернемся к майскому утру в 1934 году, в Берлине. Мы ожидали ребенка. Я отвез тебя в больницу около Байришерплац и в пять часов утра шел домой, в Груневальд. Весенние цветы украшали крашеные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие собрания в сиреневых кустах палисадников и в притротуарных липах. Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы, другая же сторона вся еще синела от холода. Тени разной длины постепенно сокращались, и свежо пахло асфальтом. В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества, вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир, — который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной. Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам, — к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. Так в бессонную ночь раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба, — или вот еще, коснувшись чего-нибудь — дверного косяка, стены, — должен невольно пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не поделаешь — я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать

молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях; о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я отнесся к нашему ребенку с первого же мгновения его появления на свет. Вспомним все наши открытия (есть такая idée reçue[1]: «все родители делают эти открытия»): идеальную форму миниатюрных ногтей на младенческой руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отдаленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплывчатое, ускользающее нечто в синем оттенке радужной оболочки глаза, удержавшей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где в пестрой глубине зародился человеческий разум; а также первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, которую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при помощи лабиринтов с тренированными крысами.

Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде, и в особи), мне кажется, можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эво-

---

[1] Общее место *(фр.)*.

люции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха.

2

В годы младенчества нашего мальчика, в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино, мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокойством следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем. Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день; и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.

Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта. Когда, бывало, ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания, и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался, и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постельки. Я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы той профессиональной сноровки, того движения, когда надо было легко и ловко

вжать поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажик плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом: только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленькая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку, и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (мальпостике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять начала его поднимать. В два года, на рождение, он получил серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади.

Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?»), стоило бы, может быть, психологам постараться выяснить исторические фазы

той страсти, которую дети испытывают к колесам. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развратить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности — суть виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор — и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестроватого коричневого цвета с инеистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.

3

Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек. У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридочки его вязаных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс

бридочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Груневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стенное зеркало, несколько обезображенное, но еще бодрое, прислоненное к стволу и как бы даже пьяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть, эти сюрреалистические вторжения в бюргерские места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голов, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобренное правительством солнце прыщавые лбы. Брезгливое и, может быть, преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно, результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его сыздетства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен ненавидеть мытье.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели. Вызывая в памяти тот или другой образ, я часто могу определить географическое положение садика по двум-трем чертам. Очень узкие дорожки, усыпанные гравием,

окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади и с боков; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на берлинских перекрестках. Столь же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенной с центра, и грациозная вращательная кропилка с собственной радугой, висящей над влажной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза Мнемозины настолько пристально направлены на маленькую фигуру (сидящую на корточках, нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой интересно пристало немножко того цветного гравия, по которому она только что проползла), что разнообразные наши места жительства — Берлин, Прага, Франценсбад, Париж, Ривьера и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации бликов и теней, сквозь которые изящные дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине, где, конечно, никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и, по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров. Это было на Фербеллинерплац. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я заметил тихую, хилую девочку, без всякого выражения в глазах, одетую в темное убогое нелетнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавных монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и с пасмурным лицом прогуливала слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом поводке (верно, приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты

часто обвиняла меня в жестокосердии при моих энтомологических исследованиях в Пиренеях и Альпах; и в самом деле, если я отвлек внимание нашего ребенка от этой хмурой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе, а потому, что вдруг вспомнил, как И. И. Фондаминский рассказывал мне об очень простом старомодном способе, употребляемом французским полицейским, когда он ведет в часть бунтаря или пьяного, которого он превращает в покорного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбачьего, всаженного в его нехоленую, но очень отзывчивую плоть. Стоокой нежностью мы с тобой старались оградить доверчивую нежность нашего мальчика. Но про себя знали, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской площадке, была еще малейшим из зол, и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли, как анахронизмы или как нечто, случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас.

Когда же тень, бросаемая дурой-историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах и мы начали беспокойно странствовать по Европе, было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали показать нашего сына моей матери, он играл в Стромовке, где за боскетами пленяла взгляд необыкновенно свободная даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями, которые как бы проводили нас в Савойские Альпы. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках курортов, указывали в ту сторону, откуда доносились приглушенные звуки духового оркестра. Умная тропка сопутствовала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но всегда признавая ее водительство и, как дитя, вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том пункте, где отцы города разразились статуей. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, способны проходить большие расстояния,

преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу: гравистые дорожки собирались в кружок, чтобы смотреть, как ты нагибалась за мячом, ушедшим под бирючину, но там, на темной сырой земле, ничего не было кроме пробитого, лиловатого автобусного билетика. Круглое сиденье пускалось в путь по периферии толстого ствола дуба и находило на другой стороне грустного старика, читающего газету на языке небольшого народа. Лаковые лавры замыкали лужок, где наш мальчик нашел первую свою живую лягушку, и ты сказала, что будет дождь. Дальше, под менее свинцовыми небесами, пошел трельяж роз, обращаясь чуть не в перголы, опутанные виноградом, и привел к кокетливой публичной уборной сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала черный чулок. Вниз по склону, плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, пробралась через заросль ирисов и влилась в дорогу, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; ему было уже три года, когда шествие цветущих кустов решительно повернуло к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на платформе, мимо которого промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, стоя на месте, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к цыплячьему пуху мимоз и pâte tendre[1] безоблачного неба. Чередой террас, ступенями, с каждой из которых прыскал яркий кузнечик, сады сошли к морю, причем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там он стоял на коленках, держа вафельный букет мороженого, и так снят на мерцающем фоне: море превратилось на снимке в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с фиалковыми темнотами там и сям. Были похожие на леденцы, зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной

[1] Род фарфора.

посуды, еще сохранившие цвет и глазурь: эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны, или клеверный крап, или любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми иверними майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвертого, найденного ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, так что если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.

Кстати, чтоб не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на c2.

В мае 1940 года мы опять увидели море, но уже не на Ривьере, а в Сен-Назере. Там один последний маленький сквер окружил тебя и меня и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где еще скрытый домами нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет. Все, что помню об этом бесцветном сквере, — это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как, например, голубые и розовые сорочки,

пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой чугунный балкончик, — можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что спрятал матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ (СИРИН)

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

и другие рассказы

ТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

1956

ВЛАДИМИР НАБОКОВ (СИРИН)

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

и другие рассказы

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

Рассказы

1938—1939; 1956

ИЗ СБОРНИКА

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

УСТА К УСТАМ

Еще рыдали скрипки, исполняя как будто гимн страсти и любви, но уже Ирина и взволнованный Долинин быстро направлялись к выходу из театра. Их манила весенняя ночь, манила тайна, которая напряженно встала между ними. Сердца их дрожали в унисон.

— Дайте мне ваш номер от гардеробной вешалки, — промолвил Долинин (вычеркнуто).

— Позвольте я достану вашу шляпку и манто (вычеркнуто).

— Позвольте, — промолвил Долинин, — я достану ваши вещи (между «ваши» и «вещи» вставлено «и свои»). Долинин подошел к гардеробу и, предъявив номерок (переделано: «оба номерка»)...

Тут Илья Борисович задумался. Неловко, неловко замешкать у гардероба. Только что был вдохновенный порыв, вспышка любви между одиноким, пожилым Долининым и случайной соседкой по ложе, девушкой в черном; они решили бежать из театра, подальше от мундиров и декольте. Впереди мерещился автору Купеческий или Царский сад, акации, обрывы, звездная ночь. Автору не терпелось дорваться вместе с героями до этой звездной ночи. Однако надо было получить вещи, а это нарушало эффект. Илья Борисович перечел написанное, надул щеки, уставился на хрустальный шар пресс-папье и, подумав, решил пожертвовать эффектом ради правдоподобия. Это оказалось нелегко. Талант у него был чисто лирический, природа и переживания давались удивительно просто, но зато он плохо справлялся с житейскими подробностями, как, например, открывание и закрывание дверей или рукопожатия, когда в комнате много действующих лиц и один или двое здороваются со

многими. При этом Илья Борисович постоянно воевал с местоимениями, например с «она», которое норовило заменить не только героиню, но и сумочку или там кушетку, а потому, чтобы не повторять имени собственного, приходилось говорить «молодая девушка» или «его собеседница», хотя никакой беседы и не происходило. Писание было для Ильи Борисовича неравной борьбой с предметами первой необходимости; предметы роскоши казались гораздо покладистее, но, впрочем, и они подчас артачились, застревали, мешали свободе движений, — и теперь, тяжело покончив с возней у гардероба и готовясь героя наделить тростью, Илья Борисович чистосердечно радовался блеску ее массивного набалдашника и, увы, не предчувствовал, какой к нему иск предъявит эта дорогая трость, как мучительно потребует она упоминания, когда Долинин, ощущая в руках гибкое молодое тело, будет переносить Ирину через весенний ручей.

Долинин был просто «пожилой»; Илье Борисовичу шел пятьдесят пятый год. Долинин был «колоссально богат» — без точного объяснения источников дохода; Илья Борисович, директор фирмы, занимавшейся устройством ванных помещений и, кстати сказать, получившей в тот год заказ облицевать изразцами пещерные стены нескольких станций подземной дороги, был вполне состоятелен. Долинин жил в России, вероятно на юге России, и познакомился с Ириной задолго до последней войны. Илья Борисович жил в Берлине, куда эмигрировал с женой и сыном в 1920 году. Его литературный стаж был давен, но невелик: некролог в «Южном вестнике» о местном либеральном купце (1910 год), два стихотворения в прозе (август 1914 года и март 1917 года) там же, и книжка, содержавшая этот же некролог и эти же два стихотворения в прозе, — хорошенькая книжка, появившаяся в разгар Гражданской войны. Наконец, уже в Берлине, Илья Борисович написал небольшой этюд «Плавающие и путешествующие» и напечатал его в русской газете, скромно выходившей в Чикаго; но вскоре эта газета как-то испарилась, другие же органы печати рукописей не возвращали и ни в какие не вступали переговоры. Затем было два года литературного затишья: болезнь и смерть жены, инфляция, тысяча дел. Сын кончил в Берлине гимназию, по-

ступил во Фрейбургский университет. И вот, в 1925 году, вместе с началом старости, благополучный и в общем очень одинокий Илья Борисович почувствовал такой писательский зуд, такую жажду — о нет, не славы, а просто теплоты и внимания со стороны читающей публики, — что решил дать себе полную волю, написать роман и издать его на собственный счет.

Уже к тому времени, когда герой, тоскующий, много испытавший Долинин, заслышал зов новой жизни и, едва не застряв навеки у гардероба, ушел с молодой девушкой в весеннюю ночь, найдено было название романа: а именно: «Уста к устам». Долинин поселил Ирину у себя, но ничего между ними еще не было, — он хотел, чтоб она сама к нему пришла и воскликнула:

— Возьми меня, мою чистоту, мое страдание... Я твоя. Твое одиночество — мое одиночество, и как бы долго или кратко ты ни любил меня, я готова на все, ибо вокруг нас весна зовет к человечности и добру, ибо твердь и небеса блещут божественной красотой, ибо я тебя люблю...

— Сильное место, — сказал Евфратский. — Очень сильное.

— Что — не скучно? — спросил Илья Борисович, взглянув поверх роговых очков. — А? Вы прямо скажите...

— Она, вероятно, ему отдастся, — предположил Евфратский.

— Мимо, читатель, мимо, — ответил Илья Борисович (в смысле «пальцем в небо»), улыбнулся не без лукавства, слегка встряхнул рукописью, поудобнее скрестил полные ляжки и продолжал чтение.

Он читал Евфратскому роман небольшими порциями по мере производства. Евфратский, как-то раз нагрянувший к нему по случаю концерта, на который продавал билеты, был журналист с именем — вернее, с дюжиной псевдонимов; до тех пор Илья Борисович водил знакомство только в немецкой индустриальной среде, но уже теперь, посещая собрания, доклады, мелкие спектакли, знал в лицо коекого из так называемой пишущей братии, с Евфратским же очень подружился и ценил мнение его как стилиста, хотя стиль у Евфратского был известно какой: злободневный. Илья Борисович часто звал его к себе, они пили коньяк

и говорили о литературе — точнее, говорил хозяин, а гость жадно копил впечатления, чтобы потом ими развлекать приятелей. Правда, в литературе у Ильи Борисовича был вкус несколько тяжеловатый. Пушкина он, конечно, признавал, но знал его более по операм, вообще находил его «олимпически спокойным и не способным волновать». Из всей поэзии он наизусть помнил только «Море» Вейнберга и одно стихотворение Скитальца, где рифмуется «повещен» и «замешан». Любил ли Илья Борисович подтрунить над декадентами? Да, любил, но ведь, с другой стороны, он сам честно оговаривался, что в стихах мало смыслит. Зато о русской прозе он рассуждал охотно, с жаром — уважал Лугового, ценил Короленко, находил, что Арцыбашев развращает молодежь... О беллетристике поновее он говорил, разводя руками: «Скучно пишут!», чем повергал Евфратского в какой-то тихий экстаз.

— Писатель должен быть с душой, — твердил Илья Борисович, — участлив, отзывчив, справедлив. Я, может быть, пустяк, ничтожество, но у меня есть свое кредо. Пускай хоть одно мое писательское слово западет кому-нибудь в душу...

И Евфратский мутными глазами смотрел на него, предвкушая с мучительной нежностью завтрашний мимический пересказ, утробный гогот того, чревовещательный писк этого...

И вот настал день, когда черновик романа был окончен. На предложение Евфратского пойти посидеть в кафе Илья Борисович ответил с таинственной вескостью:

— Не могу. Я полирую слог.

Полировка состояла в том, что, ополчившись на слово «молодая», попадавшееся слишком часто, он заменил его там и сям словом «юная», которое произносил как будто в нем два «эн»: «юнная».

Через день, вечером, в кафе. Красный диванчик. Двое. По виду скажешь: дельцы. Один — солидный, осанистый, некурящий, с выражением доброты и доверия на полном лице; другой — тощий, густобровый, с двумя брезгливыми складками, идущими от рысьих ноздрей к опущенным углам рта, из которого косо торчит еще не зажженная папироса. Тихий голос первого:

— Конец я написал одним порывом. Он умирает, да, умирает...

Молчание. Красный диванчик мягок. За окном проплывает, как рыба в аквариуме, насквозь освещенный трамвай.

Евфратский щелкнул зажигалкой, выпустил дым из ноздрей и сказал:

— А почему бы вам, Илья Борисович, до выхода романа отдельным изданием, не пропустить его через журнал?

— Я же не имею протекций... Кто возьмет? Печатают всё одних и тех же.

— Пустяки. У меня есть идейка, но ее еще надо хорошенько обмозговать.

— Я бы с радостью...— мечтательно произнес Илья Борисович.

Еще через несколько дней, в кабинете у Ильи Борисовича, изложение идейки:

— Пошлите вашу вещь, — Евфратский прищурился и вполголоса докончил: — «Ариону».

— «Ариону»? — переспросил Илья Борисович, нервно погладив рукопись.

— Ничего страшного. Название журнала. Неужели не знаете? Ай-я-яй! Первая книжка вышла весной, осенью выйдет вторая. Нужно немножко следить за литературой, Илья Борисович.

— Как же так — просто послать?

— Ну да, в Париж, редактору. Уж имя-то Галатова вы небось знаете?

Илья Борисович виновато пожал толстым плечом. Евфратский, морщась, объяснил: беллетрист, новые формы, мастерство, сложная конструкция, русский Джойс...

— Джойс, — смиренно повторил Илья Борисович.

— Сперва дайте перестукать, — сказал Евфратский. — И пожалуйста, ознакомьтесь с журналом.

Он ознакомился. В магазине ему дали пухлую розовую книгу, он ее купил, вслух заметив:

— Молодое начинание. Нужно, знаете, поощрять.

— Прекратилось молодое начинание, — сказал хозяин магазина. — Один номер всего и вышел.

— Вы не в курсе, — с улыбкой возразил Илья Борисович. — Я знаю достоверно, что следующий выйдет осенью.

Вернувшись домой, он бережно разрезал книжку. В ней он нашел малопонятную вещь Галатова, два-три рассказа смутно знакомых авторов, какие-то туманные стихи и весьма дельную статью о немецкой индустрии, подписанную «Тигрин». «Никогда не возьмут, — с тоской подумал Илья Борисович. — Тут своя компания».

Все же он вызвал по объявлению в газете некую госпожу Любанскую (стенография и машинка) и стал с чувством ей диктовать, волнуясь, повышая голос, и все смотрел, какое впечатление производит на нее роман. Она порхала карандашом по блокноту — маленькая, черненькая, с экземой на лбу, а Илья Борисович ходил кругами по кабинету, суживая круги, когда приближалось эффектное место. К концу первой главы в комнате стоял крик.

— И вся прежняя жизнь показалась ему страшной ошибкой, — возопил Илья Борисович — и уже обыкновенным конторским голосом сказал: — Все это к завтрашнему дню перепишите, четыре копии, оставьте поля пошире, завтра приходите, как сегодня.

Ночью он придумывал, что́ напишет Галатову, когда будет посылать роман: «...на строгий суд... сотрудничал там-то и там-то...» А наутро (такова прелестная предупредительность судьбы) Илья Борисович получил письмо: «Глубокоуважаемый Борис Григорьевич! Я узнал от нашего общего знакомого о новом вашем произведении. Редакции “Ариона” было бы интересно прочитать его, так как хотелось бы поместить в очередной книжке что-нибудь “свежее”. P. S. Как странно: я недавно вспоминал Ваши изящные миниатюры в “Южном вестнике”...»

— Просит. Помнит... — растерянно произнес Илья Борисович. Затем он позвонил Евфратскому и, как-то боком отвалясь в кресле, облокотясь о стол рукой, в которой держал трубку, а другой делая широкий жест и весь сияя, затянул:

— Ну-у, голубчик, ну-у, голубчик, — и вдруг увидел, что блестящие предметы на столе дрожат, двоятся, плывут мокрым миражем. Он перемигнул, и все стало по своим местам, и усталый голос Евфратского томно отвечал:

— Что вы... между коллегами... обыкновенная услуга...

Поднимались все выше пять ровных пачек. Долинин, еще ни разу не обладавший Ириной, случайно узнал, что она увлечена другим, молодым художником... Иногда Илья Борисович диктовал в конторском кабинете, и тогда немки-машинистки, слыша отдаленный крик, дивились, кого это так распекает добродушный их шеф. Долинин с ней поговорил по душам, она ему сказала, что никогда не покинет его, потому что слишком ценит его прекрасную одинокую душу, но, увы, телом принадлежит другому, и Долинин молча поклонился. Наконец настал день, когда он сделал завещание в ее пользу, настал день, когда он застрелился (из маузера), настал день, когда Илья Борисович, блаженно улыбаясь, спросил Любанскую, принесшую последнюю порцию переписанных страниц, сколько он ей должен, и попытался ей переплатить.

Он с увлечением перечел «Уста к устам» и одну копию передал Евфратскому для исправления (кое-какие изменения, там, где в скорописи были пробелы, внесла уже переписчица). Евфратский ограничился тем, что в одной из первых строк вставил красным карандашом темпераментную запятую. Илья Борисович аккуратно перевел эту запятую на экземпляр, предназначенный «Ариону», подписал роман псевдонимом, выведенным из имени покойной жены, закрепил страницы зажимчиками, приложил длинное письмо, все это всунул в большой удобный конверт, взвесил, сам пошел на почтамт и отправил роман заказным.

Квитанцию он положил в бумажник и приготовился к неделям трепетного ожидания. Однако ответ Галатова пришел с чудесной скоростью — на пятый день: «Глубокоуважаемый Илья Григорьевич! Редакция в полном восторге от Вами присланного материала. Редко доводилось нам читать страницы, на которых был бы так явственен отпечаток “человеческой души”. Ваш роман волнует своим лица не общим выражением. В нем есть “горечь и нежность”. Некоторые описания, как, например, в самом начале описание театра, соперничают с аналогичными образами в произведениях наших классиков и, в известном смысле, одерживают верх. Я говорю это с полным сознанием “ответственности” такого суждения. Ваш роман был бы истинным украшением “Ариона”».

Как только Илья Борисович немного успокоился, он, вместо того чтобы ехать в контору, пошел в Тиргартен, сел на скамейку и стал думать о жене, как она порадовалась бы вместе с ним. Погодя он отправился к Евфратскому. Евфратский лежал в постели и курил. Они вместе исследовали каждую фразу письма. Когда дошли до последней, Илья Борисович кротко поднял глаза и спросил:

— Почему, скажите, стоит «был бы», а не «будет», ведь я же им даю с радостью, — или это просто для изящества оборота?

— Нет, тут, к сожалению, другое, — ответил Евфратский. — Вероятно, они из гордости скрывают. Но дело в том, что журналу крышка — да, это на днях выяснилось... Публика, знаете, читает всякое дерьмо, а «Арион» рассчитан на требовательного читателя. Вот и получается...

— Я уже это слышал, — с тревогой сказал Илья Борисович, — но я думал, это клевета конкурентов или невежество. Неужели второго номера не будет? Это же ужасно.

— Денег нет. Журнал бессребреный, идеалистический, — такие, увы, погибают.

— Но как же, как же! — крикнул Илья Борисович, всплеснув руками. — Ведь они одобрили мою вещь, ведь они хотели бы ее напечатать!..

— Да, не повезло, — равнодушным голосом произнес Евфратский. — А скажите, Илья Борисович... — и он заговорил о другом.

Ночью Илья Борисович плотно подумал, кое-что сам с собой обсудил и, позвонив утром Евфратскому, поставил ему некоторые вопросы финансового свойства. Евфратский отвечал вяло, но чрезвычайно точно. Илья Борисович подумал еще, и на следующий день сделал Евфратскому предложение для передачи «Ариону». Предложение было принято, и Илья Борисович перевел в Париж некоторую сумму. В ответ на это он получил письмо с выражением нашей живейшей благодарности и с сообщением, что вторая книга выйдет через месяц. Постскриптум заключал вежливую просьбу: «Позвольте нам подписать роман не И. Анненский, как Вы предлагаете, а Илья Анненский». «Вы совершенно правы, — ответил Илья Борисович. — Я просто не знал, что уже есть литератор, пишущий под

этим именем. Радуюсь, что мой роман увидит у вас свет. Будьте добреньки, как только выйдет журнал, вышлите мне пять экземпляров». (Он имел в виду старуху родственницу и двух-трех деловых знакомых. Сын по-русски не читал.)

Тут начался период в жизни Ильи Борисовича, который острословы обозначили коротким термином «кстати». То в книжной лавке, то на каком-нибудь собрании, то просто на улице подходил к вам с приветом («А! Как живете?») малознакомый, приятный и солидный на вид господин в роговых очках, заводил с вами разговор о том и о сем, заметно переходил от того и сего к литературе и вдруг говорил: «Кстати...»; при этом его рука судорожно ныряла за пазуху и мгновенно извлекала письмо. «Вот, кстати, что мне пишет Галатов — знаете? Галатов, русский Джойс». Вы берете письмо и читаете: «...редакция в полном восторге... наших классиков... украшением...». «Спутал мое отчество, — говорил Илья Борисович с добродушным смешком. — Знаете — писатель... Рассеянный... А журнал выйдет в сентябре, прочтете мою вещицу». И, спрятав письмо, он прощается с вами и озабоченно спешит дальше.

Литературные неудачники, мелкие журналисты, корреспонденты каких-то бывших газет измывались над ним с диким сладострастием. С таким гиком великовозрастное хулиганье мучит кошку, с таким огоньком в глазах немолодой, несчастливый в наслаждениях мужчина рассказывает гнусный анекдот. Глумились, разумеется, за его спиной, но громко, развязно, совершенно не опасаясь превосходной акустики в местах сплетен. Вероятно, до тетеревиного слуха Ильи Борисовича не доходило ничего. Он расцвел, он ходил новой, беллетристической походкой, он стал писать сыну по-русски с подстрочным немецким переводом большинства слов. В конторе уже знали, что Илья Борисович не только превосходный человек, но еще ein Schriftsteller[1], и некоторые из знакомых коммерсантов поверяли ему любовные свои тайны: «Вот вы опишите...» К нему, почуяв некий теплый ветерок, стала шляться изо дня в день — кто с черного хода, кто с парадного — разноцветная нищета. С ним был почтителен не один известный в эмиграции

[1] Писатель *(нем.)*.

человек. Да что говорить — Илья Борисович оказался и впрямь окруженным уважением и славой. Не было такого званого вечера в интеллигентном доме, где бы не упоминалось его имени, — а как, с какой искрой, не все ли равно? Важно не как, а что, — говорит истинная мудрость.

В конце месяца Илье Борисовичу пришлось по делу уехать, и он пропустил появившееся в русских газетах объявление о скором выходе «Ариона». Вернулся он в Берлин усталый, озабоченный, поглощенный деловыми мыслями. На столе в прихожей лежал большой, кубообразный пакет. Он, не снимая пальто, мгновенно пакет вскрыл. Розовое, холодное, пухлое. И пурпурными буквами: «Арион». Пять экземпляров.

Илья Борисович хотел распахнуть один из них, книга сладко хрустнула, но не разжмурилась — еще слепая, новорожденная. Он попробовал опять, — мелькнули какие-то чужие, чужие стишки. Он перебросил тяжесть сложенных листов справа налево и попал на страницу с оглавлением. Он проехался взглядом по именам и названиям, но не нашел, не нашел... Книга попыталась закрыться, он попридержал ее, дошел до конца перечня — нету! Что же это такое, Господи, что же это... Не может быть... Просто выпало из оглавления, — это бывает, это бывает... Он уже оказался в кабинете и вот всадил белый нож в толстое слоистое тело книги. На первом месте — Галатов, потом — стихи, потом два рассказа, опять стихи, опять проза, — а уже дальше какие-то обозрения, какие-то статейки. Илья Борисович почувствовал вдруг утомление, равнодушие ко всему. Ну что ж... Может быть, слишком много было матерьяла. Напечатают в следующем номере. Это уже наверняка. Но опять ждать, ждать... Ну что ж... Он машинально выпускал из-под большого пальца нежные страницы. Хорошая бумага. Что ж, я все-таки помог... Нельзя требовать, чтоб меня вместо Галатова или... И тут выпрыгнуло и закружилось, и пошло, пошло, подбоченясь, родное, милое: «...юная, едва оформившаяся грудь... еще рыдали скрипки... гардероб... весенняя ночь их встретила лас...», и на обороте страницы неизбежное, как продолжение рельсов после туннеля, «...ковым и страстным дуновением...».

— Как же я сразу не догадался! — воскликнул Илья Борисович.

Озаглавлено было «Пролог к роману». Подписано было «А. Ильин»; и в скобках: «Продолжение следует». Маленький кусок, три с половиной странички, но какой кусок... Увертюра. Изящно. Ильин лучше Анненского, иначе все-таки могли бы спутать. Но почему «Пролог к роману», а не просто «Уста к устам», глава 1? Ах, это совершенно неважно.

Он перечел свои страницы трижды. Затем отложил книгу, прошелся по кабинету, небрежно посвистывая, как будто ровно ничего не случилось, — ну да, лежит книга, — книга как книга — в чем дело? Затем он бросился к ней и перечел себя еще восемь раз подряд. Затем он посмотрел в оглавление — А. Ильин, стр. 205 — нашел стр. 205, и, смакуя слова, перечел снова. Он еще долго так играл.

Журнал сменил письмо. Илья Борисович всюду ходил с «Арионом» под мышкой и при всякой встрече раскрывал его на привыкшей к этому странице. В газетах появились рецензии. В первой из них Ильин не был упомянут вовсе. Во второй написали: «“Пролог к роману” г. Ильина — какое-то недоразумение». В третьей было просто: «Еще помещены такой-то и А. Ильин». В четвертой, наконец, (милый, скромный журнальчик, выходивший где-то в Польше) сказано было так: «Произведение Ильина подкупает своей искренностью. Автор отображает зарождение любви на фоне музыки. К несомненным достоинствам следует отнести литературность изложения». Начался третий период, после периода «кстати» и периода ношения книги: Илья Борисович извлекал из бумажника рецензию.

Он был счастлив. Он выписал еще пять экземпляров. Он был счастлив. Умалчивание объяснялось косностью, придирки — недоброжелательством. Он был счастлив. Продолжение следует. И вот, как-то в воскресенье, позвонил Евфратский:

— Угадайте, — сказал он, — кто хочет с вами говорить? Галатов! Да, он приехал на пару дней.

Зазвучал незнакомый, играющий, напористый, сладкоодуряющий голос. Условились:

— Завтра в пять часов у меня. Жалко, что не сегодня.

— Не могу, — отвечал играющий голос. — Меня тащат на «Черную Пантеру». Я, кстати, давно не видался с Евгенией Дмитриевной...

Актриса, приехавшая из Риги в русский Берлин на гастроль. Начало в половине девятого. Илья Борисович посреди ужина вдруг посмотрел на часы, хитро улыбнулся и поехал в театр. Театр был плохонький — не театр даже, а зал, предназначенный скорее для лекций, нежели для представлений. Спектакль еще не начинался, в холодном вестибюле потрескивал русский разговор. Илья Борисович сдал старухе в черном трость, котелок, пальто, заплатил, опустил жетон в жилетный карманчик и, медленно потирая руки, огляделся. Рядом стояла группа из трех людей: молодой человек, про которого Илья Борисович только и знал, что он пишет о кинематографе, жена молодого человека, угловатая, с лорнетом, и незнакомый господин, в пижонистом пиджаке, бледный, с черной бородкой, красивыми бараньими глазами и золотой цепочкой на волосатой кисти.

— Но почему, почему, — живо говорила дама, — почему вы это поместили? Вить...

— Ну что вы к бедняге пристали? — радужным баритоном отвечал господин. — Бездарно, допустим. Но, очевидно, были причины...

Он добавил что-то вполголоса, и дама, звякнув лорнетом, воскликнула:

— Извините, по-моему, если вы печатаете только потому, что он дает деньги...

— Тише, тише, — сказал господин. — Не разглашайте наших тайн.

Тут Илья Борисович встретился глазами с молодым человеком, мужем угловатой дамы, и тот как бы замер, а потом, вздрогнув, застонал и начал как-то напирать на жену, которая, однако, продолжала:

— Дело не в этом несчастном Ильине, а в принципах.

— Иногда приходится ими жертвовать, — сдержанно отвечал баритон.

Но Илья Борисович уже не слышал и видел сквозь туман и, совершенно потерявшись, совершенно еще не сознавая ужаса происшедшего, а только стремясь инстинк-

тивно поскорее отойти от чего-то стыдного, гнусного, нестерпимого, подвинулся было к смутному столику, где смутно продавались билеты, но вдруг судорожно повернул вспять, толкнул при этом спешившего к нему Евфратского и, очутившись опять у гардероба, протянул свой жетон. Старуха в черном, — 79, вон там... Он страшно заторопился, он уже размахнулся, чтобы влезть в рукав пальто, но тут подскочил Евфратский и с ним тот, тот...

— Вот и наш редактор, — сказал Евфратский, и Галатов, выкатив глаза и пытаясь не дать Илье Борисовичу опомниться, хватал его за рукав, помогая ему, и быстро говорил:

— Очень рад познакомиться, очень рад познакомиться, позвольте помочь.

— Ах, Боже мой, оставьте, — сказал Илья Борисович, борясь с пальто, с Галатовым, — оставьте меня. Это гадость. Я не могу. Это гадость.

— Явное недоразумение, — молниеносно вставил Галатов.

— Оставьте, пожалуйста, — крикнул Илья Борисович и, вырвавшись из его рук, сгреб с прилавка котелок и, все еще надевая пальто, вышел.

— Что это, что это, ах, что это, — шептал он, шагая по тротуару, но вдруг растопырил руки: забыл трость.

Он машинально пошел дальше, а потом тихонько споткнулся и стал, точно кончился завод.

— Зайду за ней, когда они там начнут. Надо подождать...

Мимо проезжали автомобили, звонил трамвай, ночь была ясная, сухая, нарядная. Он медленно двинулся назад, к театру. Он думал о том, что стар, одинок, что у него очень мало радостей и что старики должны за радости платить. Он думал о том, что, может быть, еще нынче, а завтра наверное Галатов будет объяснять, увещевать, оправдываться. Он знал, что надо все простить, иначе продолжения не будет. И еще он думал о том, что его полностью оценят, когда он умрет, и вспоминал, собирал в кучку крупицы похвал, слышанных им за последнее время, и тихо ходил взад и вперед по тротуару, и погодя вернулся за тростью.

ИСТРЕБЛЕНИЕ ТИРАНОВ

1

Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так, сначала я удовольствовался бы его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы, затем мне уже нужно было его заключения в тюрьму, еще позже — изгнания на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящей в ад одиночества, позора, бессилия; теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить.

Как статистики наглядно показывают его восхождение, изображая число его приверженцев в виде постепенно увеличивающейся фигурки, фигуры, фигурищи, моя ненависть к нему, так же как он скрестив руки, грозно раздувалась посреди поля моей души, покуда не заполнила ее почти всю, оставив мне лишь тонкий светящийся обод (напоминающий больше корону безумия, чем венчик мученичества); но я предвижу и полное свое затмение.

Первые его портреты, в газетах, в витринах лавок, на плакатах (тоже растущих в нашей богатой осадками, плачущей и кровоточащей стране), выходили на первых порах как бы расплывчатыми, — это было тогда, когда я еще сомневался в смертельном исходе моей ненависти: что-то еще человеческое, а именно возможность неудачи, срыва, болезни, мало ли чего, в то время слабо дрожало сквозь иные его снимки, в разнообразности не устоявшихся еще поз, в зыбкости глаз, еще не нашедших исторического выражения, но исподволь его облик уплотнился, его скулы и щеки на официальных фотоэтюдах покрылись божественным лоском, оливковым маслом народной любви, лаком законченного произведения, — и уже нельзя было представить себе, что этот нос можно высморкать, что под эту губу можно залезть пальцем, чтобы выковырнуть застречку пищи из-за гнилого резца. За пробным разнообразием последовало канонизированное единство, утвердился, теперь знакомый всем, каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то нестерпимо жутких глаз, прочная мясис-

тость отяжелевшего подбородка, бронза маслаков и, уже ставшая для всех карикатуристов мира привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, толстая морщина через весь лоб — жировое отложение мысли, а не шрам мысли, конечно. Вынужден думать, что его натирали множеством патентованных бальзамов, иначе мне непонятна металлическая добротность лица, которое я когда-то знал болезненно-одутловатым, плохо выбритым, так что слышался шорох волосков о грязный крахмальный воротничок, когда он поворачивал голову. И очки, — куда делись очки, которые он носил юношей?

2

Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряженно серьезными людьми методы борьбы в свете последних событий. До блага человечества мне дела нет, и я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, до́лжно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю, кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки: убить его.

3

Когда боги, бывало, принимали земной образ и, в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами в не запыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умалена; напротив —

в очаровании человечности, обвевающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором — когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоологических, зоорландских идей, которыми прельстилась моя родина. Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать — и применить.

Впрочем, повторяю: я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно и почему случается, что кровь с него сходит, как с гуся вода. Среди всех и всего меня занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно омерзительным, удушливо-невыносимым, требующим немедленного осмеяния и истребления, — между тем как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым, чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что обыкновенность его, обусловливавшая мое к нему невнимание, — обыкновенность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, буде понадобится. Я прожил поэтому трудную, одинокую жизнь, в нужде, в меблированных комнатах, — однако всегда у меня было рассеянное ощущение, что дом мой за углом, ждет меня, и что я войду в него, как только разделаюсь с тысячей мнимых дел, заполнявших мою жизнь. Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратность, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаредности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо

мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.

4

Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики с непременным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин — и все, что сюда воображение машинально относит: забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног... вот нынешний образ моей страны, — образ предельного уныния, но уныние у нас в почете, и однажды *им* брошенный (в свальную яму глупости) лозунг: «Половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована» — повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов; он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее. Но для меня и не в этом суть, ибо, разумеется, будь идея, у которой мы в рабстве, вдохновеннейшей, восхитительнейшей, освежительно мокрой и насквозь солнечной, рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы ее. Нет, главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставления, стеснения, приказы и все другие виды давления, производимые на нас, становятся все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определенными чертами его характера, с подробностями его прошлого, так что по ним, по этим наставлениям и приказам, можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам, ту личность его, которую я один из немногих хорошо знал. Другими словами, все кругом

принимало его облик, закон начинал до смешного смахивать на его походку и жесты; в зеленных появились в необыкновенном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности; в школах введено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом двадцать пять лет тому назад; в газетных статьях и в книгах подобострастных беллетристов появилась та отрывистость речи, та мнимая лапидарность (бессмысленная по существу, ибо каждая короткая и будто бы чеканная фраза повторяет на разные лады один и тот же казенный труизм или плоское от избитости общее место), та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки стиля, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким, как я его помнил, проникает всюду, заражая собой образ мышления и быт каждого человека, так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью моей страны. И наконец, закон, им поставленный, — неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы идолу большинства, — утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.

5

Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности (давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию) в последние годы своей короткой жизни: утонул двадцати трех лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это — блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую, — все, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто-бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не будет. О ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых

людей, завлекшим моего брата; мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а что просто набралось несколько юношей, во многом различных, временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям; но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю *его* на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее чудовище.

Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома: он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака, и лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло брезгливо-плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив. Коротко остриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб, — еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны, что больно было за перетянутые подушечки на кончиках отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах.

Когда брат мой является (а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда входит впопыхах, точно страшно торопясь жить и все равно не поспевая, — и вот жизнь наконец ушла без него), он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой подавая руку; казалось, что если вовремя не схватить ее, она с пружинным звуком уйдет обратно в пристяжную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, — но зато демонстративно подавал руку кухарке, которая, взятая врасплох и не успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме, отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой

относился ко всем и ко всему, к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже, кажется, к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались «чудака» (вот уж никаким чудаком он не был), как, впрочем, побаивались они и остальных Гришиных товарищей.

Теперь, через двадцать пять лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием, — вот только это знаменитое гнусное задыханьице его в конце фраз уже было, было... Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно коротконогим, вероятно, вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер, — и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы: угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой, дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он наконец сообщил ее, с нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория, но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем.

Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно отрывистый разговор с братом; или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные совиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде чем его проглотить, и баранку он кусал, осторожно кривя рот, — зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом, а также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части, — отвечал он, грубо конфузясь, — эрго я свое зубье поборю»; но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова,

или их потом передавали как изречение оригинала... да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же животная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием; но вот подите же — он поражал бездарностью, как другие поражают талантом.

6

Иногда его природная унылость сменялась судорогами какого-то дурного, зазубристого веселья, и тогда я слышал его смех, такой же режущий и неожиданный, как вопль кошки, к бархатной тишине которой так привыкаешь, что ее ночной голос кажется чем-то безумным, бесовским. Так крича, он вовлекался товарищами в игры, в возню, и выяснялось, что руки у него слабые, а зато ноги — железные. И однажды один из юношей позабавнее положил ему жабу в карман, и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать отяжелевший пиджак и в таком виде, буро-красный, растерзанный, в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней, тяжелая коса и чернильно-синие глаза которой многим так нравились, что ей охотно прощалось сходство с черным шахматным коньком.

Я знаю о его любовных склонностях и системе ухаживания от нее же самой, ныне, к сожалению, покойной, как большинство людей, близко знавших его в молодости, словно смерть ему союзница и уводит с его пути опасных свидетелей его прошлого. К этой бойкой горбунье он писал либо нравоучительно, с популярно-научными экскурсиями в историю (о которой знал из брошюр), либо темно и жидко жаловался на другую, мне оставшуюся неизвестной, женщину (тоже, кажется, с каким-то физическим недостатком), с которой одно время делил кров и кровать в мрачнейшей части города... много я дал бы теперь, чтобы разыскать, расспросить эту неизвестную, но, верно, и она безопасно мертва. Любопытной чертой его посланий была их пакостная тягучесть, он намекал на козни таинственных врагов, длинно полемизировал с каким-то поэтом, стишки

которого вычитал в календаре... о, если б можно было воскресить эти драгоценные клетчатые страницы, исписанные его мелким, близоруким почерком! Увы, я не помню из них ни одного выражения (не очень это меня интересовало тогда, хотя я слушал и смеялся) и только смутно-смутно вижу в глубине памяти бант на косе, худую ключицу, быструю, смуглую руку в гранатовой браслетке, мнущую письмо, и еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха.

7

Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению — разница глубокая, роковая; однако ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим бесплотным мятежом и *его* железной жаждой. Через месяц после смерти брата он исчез, перенеся свою деятельность в северные провинции (кружок зачах и распался, причем, насколько я знаю, ни один из его остальных участников в политики не вышел), и скоро дошел слух, что тамошняя работа, стремления и методы приняли оборот, совершенно противный всему, что говорилось, думалось, чаялось в той первой юношеской среде. Вот, я вспоминаю его тогдашний облик, и мне удивительно, что никто не заметил длинной угловатой тени измены, которую он всюду за собой влачил, запрятывая концы под мебель, когда садился, и странно путая отражения лестничных перил на стене, когда его провожали с лампой. Или это наше черное сегодня отбрасывает туда свою тень? Не знаю, любили ли его, но, во всяком случае, брату и другим *импонировали* и мрачность его, которую принимали за густоту душевных сил, и жестокость мыслей, казавшаяся следствием перенесенных им таинственных бед, и вся его непрезентабельная оболочка, как бы подразумевавшая чистое, яркое ядро. Что таить, — мне самому однажды померещилось, что он способен на жалость, и только впоследствии я определил точный оттенок ее. Любители дешевых парадоксов давно отметили сентиментальность палачей, — и действительно, панель перед мясными всегда мокрая.

8

В первые дни после гибели брата он все попадался мне на глаза и несколько раз у нас ночевал. Эта смерть не вызвала в нем никаких видимых признаков огорчения. Он держался так, как всегда, и это нисколько не коробило нас, ибо его всегдашнее состояние и так было траурным, и всегда он так сидел где-нибудь в углу, читая что-нибудь неинтересное, т. е. всегда держался так, как в доме, где случилось большое несчастье, держатся люди, недостаточно близкие или недостаточно чужие. Теперь же его постоянное присутствие и мрачная тишина могли сойти за суровое соболезнование, соболезнование, видите ли, замкнутого, мужественного человека, который и незаметен и неотлучен (недвижимое имущество сострадания) и о котором узнаешь, что он сам был тяжело болен в то время, как проводил бессонную ночь на стуле, среди домочадцев, ослепших от слез. Но в данном случае все это был страшный обман: если и тянуло его к нам тогда, то это было только потому, что нигде он так естественно не дышал, как среди стихии уныния, отчаяния, — когда на столе стоит неубранная посуда и некурящие просят папирос.

Я отчетливо помню, как я с ним вместе отправился на исполнение одной из тех мелких формальностей, одного из тех мучительно мутных дел, которыми смерть (в которой есть всегда нечто от чиновничьей волокиты) старается подольше опутать оставшихся в живых. Кто-то, должно быть, сказал мне: «Вот *он* с тобой пойдет»; он и пошел, сдержанно прочищая горло. И вот тогда-то (мы шли пушистой от пыли незастроенной улицей, мимо заборов и наваленных досок) я сделал кое-что, воспоминание о чем во мне проходит от темени до пят электрической судорогой нестерпимого стыда: побуждаемый Бог весть каким чувством, — не столько, может быть, благодарностью за сострадание, сколько состраданием же к состраданию чужому, я в порыве нервности и неуместного пробуждения души на ходу взял и сжал его руку, — и мы оба одновременно слегка оступились; все это длилось мгновение, — но, если б я тогда обнял его и припал губами к его страшной золотистой щетине, я бы не мог ныне испытывать большей муки.

И вот через двадцать пять лет я думаю: мы ведь шли вдвоем пустынными местами, и у меня был в кармане Гришин револьвер, который не помню по каким соображениям я все собирался спрятать; ведь я мог его уложить выстрелом в упор, и тогда не было бы ничего, ничего из того, что есть сейчас: ни праздников под проливным дождем, исполинских торжеств, на которых миллионы моих сограждан проходят в пешем строю, с лопатами, мотыгами и граблями на рабьих плечах, ни громковещателей, оглушительно размножающих один и тот же вездесущий голос, ни тайного траура в каждой второй семье, ни гаммы пыток, ни отупения, ни пятисаженных портретов, ничего... О, если б можно было когтями вцепиться в прошлое, за волосы втащить обратно в настоящее утраченный случай, снова воскресить ту пыльную улицу, пустыри, тяжесть в заднем кармане штанов, человека, шедшего со мной рядом!

9

Я вял и толст, как шекспировский Гамлет. Что я могу? От меня, скромного учителя рисования в провинциальной гимназии, до него, сидящего за множеством чугунных и дубовых дверей в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок (ибо этот тиран называет себя «пленником воли народа, избравшего его»), — расстояние почти невообразимое. Некто мне рассказывал, запершись со мной в погреб, про свою дальнюю родственницу старуху вдову, которая вырастила двухпудовую репу и посему удостоилась высочайшего приема. Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев. Там ей было сказано ждать. Через некоторое время за дверью послышалось множество шагов, и, с почтительными поклонами, пропуская друг друга, вошло человек пять его телохранителей. Испуганными глазами она искала его среди них; они же смотрели не на нее, а поверх ее головы, и, обернувшись, она увидела, что сзади, через другую дверь, ею не замечен-

ную, бесшумно вошел сам и, остановившись, положив руку на спинку стула, привычно поощрительно разглядывал государственную гостью. Затем он сел и предложил ей своими словами рассказать о ее подвиге (тут же был принесен служителем и положен на второй стул глиняный слепок с ее овоща), и она в продолжение десяти незабвенных минут рассказывала, как репу посадила, как тащила ее из земли и все не могла вытащить, хотя ей казалось, что призрак ее покойного мужа тащит вместе с ней, и как пришлось позвать сына, а потом внука да еще двух пожарных, отдыхавших на сеновале, и как наконец, цугом пятясь, чудовище вытащили. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом: «Вот это поэзия, — резко обратился он к своим приближенным, — вот бы у кого господам поэтам учиться», — и, сердито велев слепок отлить из бронзы, вышел вон. Но я реп не ращу, так что проникнуть к нему мне невозможно, да и если бы проник, как бы я донес заветное оружие до его логова?

Иногда он является народу, — и хотя не подпускают к нему близко, и каждому приходится поднимать тяжелое древко выданного знамени, дабы были заняты руки, и за всеми наблюдает несметная стража (не говоря о соглядатаях и соглядающих соглядатаев), очень ловкому и решительному человеку могло бы посчастливиться найти лазейку, сквозную секунду, какую-то мельчайшую долю судьбы, для того чтобы ринуться вперед. Я перебрал в воображении все виды истребительных средств, от классического кинжала до плебейского динамита, но все это зря, и недаром я часто вижу во сне, как нажимаю раз за разом собачку мягкого, расползающегося в руке пистолета, а пули одна за другой выпадают из ствола или, как безвредный горох, отскакивают от груди усмехающегося врага, который между тем, не торопясь, начинает меня сдавливать за ребра.

10

Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом не знакомых, но связанных между собой одним и тем же священным делом, так преобразившим их,

что можно было даже заметить неопределенное между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий — портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь, — но у всех была одна и та же вздутость осанки, одна и та же бережность размеренных движений. Еще бы! Один шил для него платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а все же бокастого тела, со странными, женскими бедрами и круглой спиной; значит — трогал его, почтительно лез под мышки и вместе с ним смотрел в зеркало, увитое золотым плющом; второй и третий проникли еще дальше: видели его голым, мяли ему мышцы и слушали сердце, по ритму которого у нас, говорят, скоро будут поставлены часы, т. е. в самом буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени; четвертый его брил, с шорохом водя вниз по щекам и вверх по шее нестерпимо для меня соблазнительным лезвием; пятый, наконец, пек для него хлеб, — по привычке, по глупости кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций; мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует... Все было очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся, и я знал, что если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мной овладело ужасное, чем-то во сне многозначительное чувство, от которого я сразу проснулся — в моей нищей комнате, с нищей луной в незанавешенном окне.

Все же я признателен ночи и за такой сон: последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярной из пыток, применяемых к нынешним преступникам. Я пишу «нынешним» потому, что с тех пор, как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников (других, уголовных, собственно, и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнокрадство, которое, в свою очередь, рассматривается как попытка подточить существую-

щий строй), изысканно слабых, с прозрачнейшей кожей и лучистыми глазами навыкате. Это порода редкая и высоко ценимая, как живой окапи или мельчайший вид лемура, и потому охотятся на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается всенародным рукоплесканием, хотя, в сущности, никакого особого труда или опасности в охоте нет, — они совсем ручные, эти странные прозрачные звери.

Пугливая молва утверждает, что он сам не прочь посетить застенок... но это едва ли так: министр почт не штемпелюет писем, а морской — не плещется в волнах. Мне вообще претит домашний сплетнический тон, которым говорят о нем его кроткие недоброжелатели, сбиваясь на особый лад простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о чорте, в балаганный смех наряжая суеверный страх. Пошлые, спешно приспособленные анекдоты (восходящие к каким-то древним ирландским образцам) или закулисный факт из достоверного источника (кто в фаворе и кто нет, например) всегда отдают лакейской. Но бывает и того хуже: когда мой знакомый N., у которого всего три года тому назад казнили родителей (не говоря о позорных гонениях, которым сам N. подвергся), замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его: «А все-таки, знаете, в этом человеке есть какая-то мощь!» — мне хочется заехать N. в морду.

11

В своих «закатных» письмах великий иностранный художник говорит о том, что ко всему остыл, во всем разуверился, все разлюбил, все — кроме одного. Это одно — живой романтический трепет, до сих пор его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет по сравнению с роскошной полнотой пройденной жизни, со снежным блеском ее вершины, достигнутой им. Та первоначальная безвестность, те потемки поэзии и печали, в которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионом малых сих, его теперь притягивают, возбуждая в нем волнение и благодарность — судьбе, промыслу, а также

собственной творческой воле. Посещение мест, где он бедствовал когда-то, встречи с ничем не замечательными стариками-сверстниками полны для него такого сложного очарования, что изучения всех подробностей этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа.

И вот, когда я представляю себе, что́ наш траурный правитель чувствует, соприкасаясь со *своим* прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт, а во-вторых, что он, наш правитель, — воплощенное отрицание поэта. Между тем иностранные газеты, особенно те, что повечернее, знающие, как просто мираж превращается в тираж, любят отмечать легендарность его судьбы, вводя толпу читателей в громадный черный дом, где он родился, где до сих пор будто бы живут такие же бедняки, без конца развешивающие белье (бедняки очень много стирают), и тут же печатается Бог весть как добытая фотография его родительницы (отец неизвестен), коренастой женщины с челкой, с широким носом, служившей в пивной у заставы. Очевидцев его отрочества и юности осталось так мало, а те, которые есть, отвечают так осторожно (меня, увы, не спросил никто), что журналисту надобна большая сила выдумки, чтобы изобразить, как сегодняшний властитель мальчиком верховодствовал в воинственных играх или как юношей читал до петухов. Его демагогические успехи трактуются как стихия судьбы, — и, разумеется, много уделяется внимания тому темному зимнему дню, когда, выбранный в парламент, он с шайкой своих приверженцев парламент арестовал (после чего армия, блея, немедленно перешла на его сторону).

Легенда не ахти какая, но это все-таки легенда, в этом оттенке журналист не ошибся, легенда замкнутая и обособленная (т. е. готовая зажить своей, островной, жизнью), и заменить ее настоящей правдой *уже* невозможно, хотя ее герой еще жив; невозможно, ибо он, единственный, кто правду бы мог знать, не годится в свидетели, и не потому, что он пристрастен или лжив, а потому, что он *непомнящий*. О, конечно, он помнит старых врагов, помнит две-три прочитанных книги, помнит, как в детстве кабатчик напоил его пивом с водкой или как выдрал за то, что он упал

с верха поленницы и задавил двух цыплят, т. е. какая-то грубая механика памяти в нем все-таки работает, но если бы ему было богами предложено образовать себя из своих воспоминаний, с тем что составленному образу будет даровано бессмертие, получился бы недоносок, муть, слепой и глухой карла, не способный ни на какое бессмертие.

Посети он дом, где жил в пору нищеты, никакой трепет не пробежал бы по его коже, ниже трепет злобного тщеславия. Зато я-то навестил его былое жилище! Не тот многокорпусный дом, где, говорят, он родился и где теперь музей его имени (старые плакаты, черный от уличной грязи флаг и — на почетном месте, под стеклянным колпаком — пуговица: все, что удалось сберечь от его скупой юности), а те мерзкие номера, где он провел несколько месяцев во времена его близости к брату. Прежний хозяин давно умер, жильцов не записывали, так что никаких следов его тогдашнего пребывания не осталось. И мысль, что я один на свете (он-то ведь забыл эту свою стоянку, — их было так много) *знаю*, наполняла меня чувством особого удовлетворения, словно я, трогающий эту мертвую мебель и глядящий на крышу в окно, держу в кулаке ключ от его жизни.

12

Сейчас у меня был еще гость: весьма потрепанный старик, который, видимо, находился в состоянии сильнейшего возбуждения, — обтянутые глянцевитой кожей руки дрожали, пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век, бледная череда непроизвольных выражений, от глуповатой улыбки до кривой морщины страдания, бежала по его лицу. Моим пером он вывел на клочке бумаги цифру знаменательного года, с которого прошло почти полстолетия, и число, месяц — дату рождения правителя. Он поглядел на меня, приподняв перо, как бы не решаясь продолжать, или только оттеняя запинкой поразительное коленце, которое сейчас выкинет. Я ответил поощрительно нетерпеливым кивком, и тогда он написал другую дату, на девять месяцев раньше первой, подчеркнул двойной чертой, разомкнул

было губы для торжествующего смеха, но вместо этого закрыл вдруг лицо руками... «К делу, к делу», — сказал я, теребя этого скверного актера за плечо, и, быстро оправившись, он полез к себе в карман и протянул мне толстую твердую фотографию, приобретшую с годами тускло-молочный цвет. На ней был снят плотный молодой человек в солдатской форме; фуражка его лежала на стуле, на спинку которого он с деревянной непринужденностью опустил руку, и на заднем фоне можно было различить бутафорскую балюстраду, урну. При помощи двух-трех соединительных взглядов я убедился, что между чертами моего гостя и бестенным, плоским лицом солдата (украшенным усиками, а сверху сдавленным ежом, от которого лоб казался меньше) сходства не много, но что все-таки это несомненно один и тот же человек. На снимке ему было лет двадцать, снимку же было теперь под пятьдесят, и без труда можно было заполнить этот пробел времени банальной историей одной из тех третьесортных жизней, знаки которых читаешь (с мучительным чувством превосходства, иногда ложного) на лицах старых торговцев тряпьем, сторожей городских скверов, озлобленных инвалидов. Мне захотелось выспросить у него, каково ему жить с этой тайной, каково нести тяжесть чудовищного отцовства, видеть и слышать ежеминутное всенародное присутствие своего отпрыска... но тут я заметил, что сквозь его грудь просвечивает безвыходный узор обоев, — я протянул руку, чтобы гостя задержать, но он растаял, по-старчески дрожа от холода исчезновения.

И все же он существует, этот отец (или еще недавно существовал), и если только судьба не дала ему спасительного неведения относительно имени его минутной подруги, Господи, какая мука блуждает среди нас, не смеющая сказаться — и, может быть, еще потому особенно острая, что у этого несчастнейшего человека нет полной уверенности в своем отцовстве, — ведь баба-то была гулящая, вследствие чего таких, как он, живет, может быть, на свете несколько, без устали высчитывающих сроки, мечущихся в аду избыточных цифр и недостаточного воспоминания, подло мечтающих извлечь выгоду из тьмы прошлого, боящихся немедленной кары (за ошибку, за кощунство, за

чересчур паскудную правду), в тайне тайн гордящихся (все-таки мощь!), сходящих с ума от своих выкладок и догадок... ужасно, ужасно...

13

Время идет, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет: я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да и не боюсь нисколько гибельных для меня последствий покушения, — напротив, — вовсе не представляя себе его формы, я, однако, отчетливо вижу потасовку, которая последует тотчас за актом, — человеческий вихрь, хватающий меня, полишинелевую отрывочность моих движений среди жадных рук, треск разорванной одежды, ослепительную краску ударов — и затем (коли выйду жив из этого вихря) железную хватку стражников, тюрьму, быстрый суд, застенок, плаху, — и все это под громовой шум моего могучего счастья. Я не надеюсь на то, что мои сограждане сразу почувствуют и свое освобождение, я даже допускаю усиление гнета по инерции... Во мне ничего нет от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и за ту истину, которые сейчас искажены и попраны во мне и вне меня, а если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше; если же нет, и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью, а дело свое все-таки сделаю.

Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной, а тошноты и черноты смертных мук я не боюсь, тем более что чаю такую отраду, такую степень зачеловеческого бытия, которая не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом, ум мой ясен, и рука свободна... а все-таки не знаю, не знаю, как его убить.

Уж я думал: не потому ли это так, что убийство, намерение убить, нестерпимо, в сущности, пошло, и воображение, перебирающее способы и род оружия, производит работу унизительную, фальшь которой тем более чувствуешь, чем праведнее сила, толкающая тебя. И еще: может

быть, я не мог бы его убить из гадливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде, оттого что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я ни подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно скрывать от себя, что я должен его истребить и что я его истреблю, — о, Гамлет, о, лунный олух...

14

Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться, — не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как «осколки сткла», «речные праги» или «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав».

В течение двух часов гремел по нашему городу громадный голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна, так что, ежели идти по улице (что, впрочем, почитается опасной неучтивостью, — сиди и слушай), получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и, снова взмыв, клюет в темя, — квохтание, каркание, кряк, карикатура на человеческое слово, и некуда от Голоса скрыться, и то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селенье моей благополучно оглушенной родины. Никто кроме меня, кажется, не заметил интересной черты его надрывного ораторства, а именно пауз, которые он делает между ударными фразами, совершенно как это делает вдрызг пьяный человек, стоящий в присущем пьяным независимом, но неудовлетворенном одиночестве посреди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но темного по смыслу и назначению, причем поминутно останав-

ливается, чтобы набраться сил, обдумать следующий период, дать слушателям вникнуть, — и, паузу выдержав, дословно повторяет только что изверженное, таким тоном, однако, будто ему пришел на ум еще один довод, еще одна совершенно новая и неопровержимая мысль.

Когда наконец он иссяк и безликие, бесщекие трубачи сыграли наш аграрный гимн, я не только не испытал облегчения, а, напротив, почувствовал тоску, страх, утрату; покамест он говорил, я по крайней мере караулил его, знал, где он и что делает, а теперь он опять растворился в воздухе, которым дышу, но в котором уже нет ощутимого средоточия.

Я понимаю гладковолосых женщин наших горных племен, когда, будучи покинуты любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев, булавкой с бирюзовой головкой прокалывают насквозь пупок глиняному истуканчику, изображающему беглеца. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей, пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в то мгновение, когда ритм уловлю и он в своем дальнем замке падет замертво, но и при всяком другом виде тираноубийства я бы не остался цел. Поутру проснувшись, этак в половине девятого, я силюсь представить себе его пробуждение — он встает не рано и не поздно, а в средний час, точно так же, как чуть ли не официально именует себя «средним человеком». В девять я, как и он, удовлетворяюсь стаканом молока и сладкой булочкой, и если в данный день у меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыслями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их вместе с ним, ища, что может остановить его внимание, хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне было известно общее содержание сегодняшней газеты, ее главные статьи, сводки и отчеты, так что никаких особенных поводов для государственного раздумья это чтение не может ему дать. Затем к нему приходят с докладами и вопросами его помощники. Вместе с ним я узнаю, как поживает железнодорожный транспорт, как потеется тяжелой

промышленности и сколько центнеров с гектара дала в этом году озимая пшеница. Разобрав несколько прошений о помиловании и начертав на них неизменный отказ, карандашный крест — знак своей сердечной неграмотности, — он до второго завтрака совершает обычную прогулку: как у многих ограниченных, лишенных воображения людей, ходьба — любимое его физическое упражнение, а гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы и после нее отдыхаю вместе с ним, перебирая в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения крамолы. Днем мы осматриваем новое здание, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я одобряю вместе с ним изобретателя новой форточки. Обед, обыкновенно парадный, с участием должностных лиц, я пропускаю, но зато к ночи сила моей мысли удваивается, я отдаю вместе с ним приказания газетным редакторам, слушаю отчет вечерних заседаний, и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую и все безумнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадет с его мыслью, — и тогда, я знаю, мост лопнет как струна. Но невезение, знакомое слишком упорным игрокам, преследует меня, карта все не выходит, хотя какую-то тайную связь я все-таки, должно быть, с ним наладил, ибо часов в одиннадцать, когда он ложится спать, я всем своим существом ощущаю провал, пустоту, печальное облегчение и слабость. Он засыпает, он засыпает, и так как на его арестантском ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я получаю отпуск, и только изредка, уже без всякой надежды на успех, стараюсь сложить его сны, комбинируя обрывки его прошлого с впечатлениями настоящего, но, вероятно, он снов не видит и я работаю зря, и никогда, никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить: диктатор умер во сне.

15

Как мне избавиться от него? Я не могу больше. Все полно им, все, что я люблю, оплевано, все стало его подобием, его зеркалом, и в чертах уличных прохожих, в глазах

моих бедных школьников, все яснее и безнадежнее проступает его облик. Не только плакаты, которые я обязан давать им срисовывать, лишь толкуют линии его личности, но и простой белый куб, который даю в младших классах, мне кажется его портретом, — его лучшим портретом, быть может. Кубический, страшный, как мне избыть тебя?

16

И вот я понял, что есть у меня способ! Было морозное неподвижное утро, с бледно-розовым небом и глыбами льда в пастях водосточных труб; стояла всюду гибельная тишина: через час город проснется — и как проснется! В тот день праздновалось его пятидесятилетие, и уже люди выползали на улицы, черные, как ноты, на фоне снега, чтобы вовремя стянуться к пунктам, где из них образуют различные цеховые шествия. Рискуя потерять свой малый заработок, я не снаряжался в этот праздничный путь, — другое, поважнее, занимало меня. Стоя у окна, я слышал первые отдаленные фанфары, балаганный зазыв радио на перекрестке, и мне было спокойно от мысли, что я, я один, все это могу пресечь. Да, выход был найден: убийство тирана оказалось теперь таким простым и быстрым делом, что можно было совершить его, не выходя из комнаты. Оружием для этой цели были всего-навсего либо старый, но отлично сохранившийся револьвер, либо крюк над окном, должно быть служивший когда-то для поддержки штанги с портьерой. Второй было даже лучше, так как я не был уверен в действенности двадцать пять лет пролежавшего патрона.

Убивая себя, я убивал его, ибо он весь был во мне, упитанный силой моей ненависти. С ним заодно я убивал и созданный им мир, всю глупость, трусость, жестокость этого мира, который с ним разросся во мне, вытесняя до последнего солнечного пейзажа, до последнего детского воспоминания, все сокровища, собранные мною. Зная теперь свою власть, я наслаждался ею, неторопливо готовясь к покушению на себя, перебирая вещи, перечитывая эти мои записи... И вдруг невероятное напряжение чувств,

одолевавшее меня, подверглось странной, как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник, солнце обращало синие сугробы в искристый пух, над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий и при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты правителя, вспыхивающие в небесах, нарядные цвета шествия, вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразно и красиво оформленные лозунги, простая, бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица парнюг и национальные костюмы здоровенных девок, — все это на меня нахлынуло малиновой волною умиления, и я понял свой грех перед нашим великим, милостивым Господином. Не он ли удобрил наши поля, не его ли заботами обуты нищие, не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы, брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я, отвратившийся от доброты Хозяина, я, слепо отрицавший красоту им созданного строя, быта, дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки, — смею, таким образом, покушаться на жизнь одного из его подданных! Праздник, как я уже говорил, разгорался, и, весь мокрый от слез и смеха, я стоял у окна, слушая стихи нашего лучшего поэта, которые декламировал по радио чудный актерский голос, с баритональной игрой в каждой складочке:

Хорошо-с, — а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,
ни баклажанов, ни брюкв...
Так и песня, что днесь у нас крепнет,
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропиной исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы!

Пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!

Да, сияя, да, грибы, да, удивительной, — правильно... я маленький, я, бедный слепец, ныне прозревший, падаю на колени и каюсь перед тобой. Казни меня — или нет, лучше помилуй, ибо казнь твоя — милость, а милость — казнь, озаряющая мучительным, благостным светом все мое беззаконие. Ты наша гордость, наша слава, наше знамя! Великолепный, добрый наш исполин, пристально и любовно следящий за нами, клянусь отныне служить тебе, клянусь быть таким, как все прочие твои воспитанники, клянусь, что буду твой нераздельно, — и так далее, и так далее, и так далее.

17

Смех, собственно, и спас меня. Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно как на ладони *смешное*. Расхохотавшись, я исцелился, как тот анекдотический мужчина, у которого «лопнул в горле нарыв при виде уморительных трюков пуделя». Перечитывая свои записи, я вижу, что, стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, — и казнил его именно этим — старым испытанным способом. Как ни скромен я сам в оценке своего сумбурного произведения, что-то, однако, мне говорит, что написано оно пером недюжинным. Далекий от литературных затей, но зато полный слов, которые годами выковывались в моей яростной тишине, я взял искренностью и насыщенностью чувств там, где другой взял бы мастерством да вымыслом. Это есть заклятье, заговор, так что отныне заговорить рабство может каждый. Верю в чудо. Верю в то, что каким-то образом, мне неизвестным, эти записи дойдут до людей, не сегодня и не завтра, но в некое отдаленное время, когда у мира будет денек досуга, чтоб заняться раскопками, — накануне новых неприятностей, не менее забавных, чем нынешние. И вот, как знать... допускаю мысль, что мой случайный

труд окажется бессмертным и будет сопутствовать векам, — то гонимый, то восхваляемый, часто опасный и всегда полезный. Я же, «тень без костей», буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека.

ЛИК

Есть пьеса «Бездна» (L'Abîme) известного французского писателя Suire. Она уже сошла со сцены, прямо в Малую Лету (т. е. в ту, которая обслуживает театр, — речка, кстати сказать, не столь безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения, так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет). В этой пьесе, по существу идиотской, даже идеально идиотской, иначе говоря — идеально построенной на прочных условностях общепринятой драматургии, трактуется страстной путь пожилой женщины, доброй католички и землевладелицы, вдруг загоревшейся греховной страстью к молодому русскому, Igor, — Игорю, случайно попавшему к ней в усадьбу и полюбившему ее дочь Анжелику. Старый друг семьи, — волевая личность, угрюмый ханжа, ходко сбитый автором из мистики и похотливости, ревнует героиню к Игорю, которого она в свой черед ревнует к Анжелике, — словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж конечно ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия, нарастающего там, где ему полагается нарастать, и, где следует, прерванного лирической сценкой или бесстыдно пояснительным диалогом двух старых слуг.

Яблоко раздора — обычно плод скороспелый, кислый, его нужно варить; так и с молодым человеком пьесы: он бледноват; стараясь его подкрасить, автор и сделал его русским, — со всеми очевидными последствиями такого мошенничества. По авторскому оптимистическому замыслу, это — беглый русский аристократ, недавно усыновленный богатой старухой — русской женой соседнего шатлена.

В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом, входит к нам со стеком в руке; волнуясь докладывает, что в имении его благодетельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем, когда наш друг-ханжа замечает, что отблеск огня подчас бывает опаснее самого пожара. Завязка, что и говорить, крепкая, добротная: уже ясно, что русский станет тут завсегдатаем, и действительно: второй акт — это солнечный день и белые панталоны.

Судя по тексту пьесы, на первых порах, т. е. пока автору это не надоело, Игорь выражается не то чтобы неправильно, а с запинкой, вставляя изредка вопросец: «Так, кажется, у вас, — у французов, дескать, — говорится?» Но затем, когда автору уже не до того, ввиду бурного разлива драмы, всякая иностранная слабость речи отбрасывается, русский стихийно обретает богатый язык коренного француза, и только поближе к концу, во время передышки перед финальным раскатом, драматург вспоминает национальность Игоря, который посему мимоходом обращается к старику-слуге со словами: «J'étais trop jeune pour prendre part à la... comment dit-on... velika voïna... grande, grande guerre...»[1] Правда, надо автору отдать справедливость, что, кроме этого «velika voïna» и одного скромного «dosvidania», он не злоупотребляет знакомством с русским языком, довольствуясь указанием, что «славянская протяжность придает некоторую прелесть разговору Игоря».

В Париже, где пьеса имела большой успех, Игоря играл François Coulot, играл неплохо, но почему-то с сильным итальянским акцентом, по-видимому выдаваемым им за русский, но не удивившим ни одного рецензента. Впоследствии же, когда пьеса скатилась в провинцию, исполнителем этой роли случайно сделался настоящий русский актер, Александр Лик (псевдоним), — худощавый блондин с темными, как кофе, глазами, до того получивший небольшую известность благодаря фильме, где он отлично провел эпизодическую роль заики.

---

[1] Я был слишком молод, чтобы участвовать в... как это говорится... великой, великой войне... *(Фр.)*

Трудно, впрочем, решить, обладал ли он подлинным театральным талантом, или же был человек многих невнятных призваний, из которых выбрал первое попавшееся, но мог бы с таким же успехом быть живописцем, ювелиром, крысоловом... Такого рода существа напоминают помещение со множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одной предназначенные сокровища. Но как бы то ни было, *этой* двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы не проявленной, местности, где ему не бывать никогда, никогда. В условном же плане земного быта, ему было за тридцать, но все же на несколько лет меньше, чем веку, а потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами, — у него эта память оставалась в зачаточном виде, исчерпываясь туманными впечатлениями детства, вроде соснового запашка дачного новоселья или асимметричной снежинки на башлыке. Его родители умерли, жил он один, любовь и дружба, перепадавшие ему, все были какие-то сквозные, никто к нему не писал писем просто так, потому что хочется, никто не интересовался его заботами живее его самого, и, когда недавно он узнал от двух докторов — француза и русского, — что у него, как у многих литературных героев, неизлечимая болезнь сердца, как-то не к кому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кишат здоровенными стариками. И каким-то образом с его болезнью было связано то, что он любил хорошие, дорогие вещи, мог, например, на последние двести франков купить нашейный платок или вечное перо, но всегда, всегда случалось так, что эти вещи у него

пачкались, ломались, портились, несмотря на всю его бережную, даже набожную аккуратность.

По отношению к прочим участникам труппы, в которую он вступил столь же случайно, как сброшенный женщиной мех попадает на то или другое кресло, в сущности анонимное, он остался таким же чужим, каким был на первой репетиции. Ему сразу же показалось, что он лишний, что он украл чье-то место, — и хотя директор труппы был с ним ровно благожелателен, мнительной душе Лика мерещилась ежеминутная возможность скандала, точно вот-вот разоблачат его, обличат в чем-то невозможно стыдном, — а самую ровность отношения он воспринимал как полнейшее равнодушие к его работе, словно все давно примирились с ее безнадежно низким уровнем и терпят его только потому, что нет удобного предлога, чтоб его уволить.

Ему мнилось, — а может быть, это и впрямь было так, — что для этих громких, гладких французских артистов, сложно связанных между собой сетью личных и профессиональных страстей, он такой же случайный предмет, как старый велосипед, который один из персонажей ловко разбирал во втором действии, — так что, когда кто-нибудь особенно приветливо с ним здоровался или предлагал ему закурить, это казалось ему недоразумением, которое, увы, сейчас, сейчас разъяснится. Вследствие своей болезни он избегал пить, но вместо того, чтобы прослыть малокомпанейским, откуда было бы недалеко до обвинения в заносчивости, что, на худой конец, могло бы составить ему хоть какое-то подобие личности, — его отсутствие на приятельских сборищах просто не замечалось, точно иначе и быть не могло, а если и звали его куда-нибудь, то лишь в рассеянно-вопросительной форме, — вы что, с нами, или — ? — а это всегда крайне больно человеку, который только и жаждет, чтобы его уговорили. Он плохо понимал шутки, намеки, прозвища, которыми заповедно весело перекидывались другие; ему почти хотелось, чтобы насмешка отнеслась к нему, но даже и этого не случалось. Вместе с тем кое-кто из коллег ему нравился: так, исполнитель главной роли (лицемера с заскоком) был в рядовой жизни приятным толстяком, недавно купившим спортивную машину, о которой рассказывал вам с неподдельным вдохновением;

и очень мила была девушка, черноволосая и худенькая, с великолепно-светлыми, холеными глазами, — но она безнадежно забывала днем свои вечерние признания на подмостках, в разговорчивых объятьях русского жениха, когда она так искренне льнула к Лику, который любил себя утешать тем, что только на сцене она живет настоящей жизнью, а в другое время впадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнает его и зовет себя другим именем. С главной же барыней он так никогда и не обменялся ни одним словом, кроме реплик, и, когда эта коренастая, напряженно красивая женщина, подрагивая щеками, шла мимо него в кулисах, он чувствовал себя куском декорации, который может плашмя упасть, если заденут. Трудно, трудно сказать, было ли это все так, как представлял себе бедный Лик, или же эти вполне безопасные, занятые собой люди оставляли его в покое лишь потому, что он не искал их общества, и не обращались к нему с разговором совершенно так же естественно, как снюхавшиеся между собой пассажиры не обращаются к иностранцу в углу, поглощенному книжкой, — и уж разумеется, никому это не может быть обидно. Но если даже и старался Лик в редкие минуты бодрости убедить себя в ложности своих смутных мук, они, эти муки, были слишком близки ему по воспоминаниям, слишком часто повторялись при других обстоятельствах, чтобы теперь он мог одолеть их с помощью рассудка. Одиночество как положение исправлению доступно, но как состояние — это болезнь неизлечимая.

Роль свою он исполнял добросовестно и, по крайней мере в смысле произношения, удачнее, чем его предшественник, ибо Лик по-французски говорил с русской оттяжкой, замедляя и смягчая фразу, не донося ударения до ее конца и слишком бережно отцеживая те брызги подсобных выражений, которые столь славно и скоро слетают у француза с языка. Роль была так мала, так незначительна, вопреки драматическому влиянию ее на игру прочих лиц, что не стоило задумываться над нею, — а все же он задумывался, особенно в начале турне, — и не столько из любви к искусству, сколько потому, что ему казалась чем-то для него лично унизительным парадоксальная разность между

ничтожностью самой роли и значительностью той сложной драмы, коей он был прямой причиной. Но хотя он вскоре остыл к возможным улучшениям, которые подсказывали ему и искусство, и самолюбие (две вещи часто совпадающие), он по-прежнему с таинственным удовольствием выбегал на сцену, точно всякий раз ждал каких-то особых наград, никак, конечно, не связанных с привычными порциями обобщительных рукоплесканий. Эти награды не были и внутренним удовлетворением художника. Скорее они таились в каких-то необыкновенных щелях и складках, которые он угадывал в жизни самой пьесы, пускай банальной и бездарной до одури... но, как и всякая живыми людьми разыгрываемая вещь, она добирала, Бог весть из чего, личную душу, часа два-три пыталась как-то жить, развивая свою теплоту и энергию, не состоявшие ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских сил, а просыпавшиеся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде. Скажем: Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы, — весь без возврата уйдет туда, женится на Анжелике, будет ездить верхом по сухому вереску, получит все то материальное благо, на которое намекалось в пьесе, заживет в том замке, — но кроме всего, очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным, лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса.

В конце лета «Бездна» и другие две пьесы репертуара шли в приморском городе; Лик участвовал только в «Бездне», так что между первым ее представлением и вторым

(всего два и намечалось) у него оказалась, как случалось обычно, неделя свободного времени, с которым он не совсем знал, как справиться. При этом он не выносил юга: первое выступление прошло для него в оранжерейно-бредовой мути, с горячей каплей краски, то висящей на кончике носа, то обжигающей верхнюю губу, и когда во время антракта он вышел на террасу, сзади отделявшую театр от англиканской церкви, ему показалось, что он не дотянет до конца спектакля, а растает на сцене среди разноцветных испарений, промеж которых вдруг пройдет в последний смертный миг блаженная струя другой, другой жизни. Кое-как, однако, он доиграл, несмотря на то что в глазах двоилось от пота, а гладкое ощущение холодных, голых рук молодой партнерши мучительно подчеркивало таяние его ладоней. Он вернулся в свой пансион совсем разбитый, с гулом боли в затылке и ломотой в плечах, — и там, в темном саду, все цвело, пахло конфетами, цыкали вовсю кузнечики, которых он, как почему-то все русские, принимал за цикад.

Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне. Он раздавил пьяного, красного комара на стене и потом долго сидел на краю постели, боясь лечь, боясь сердцебиения. Близкое присутствие моря за окном томило его, словно это огромное, липко-блестящее, лунной перепонкой стянутое пространство, которое он угадывал за лимонной рощей, было сродни булькающему и тоже стянутому сосуду его сердца и, как оно, болезненно обнаженное, ничем не было отделено от неба, от шаркания людских ног, от невыносимого давления музыки, играющей в ближнем баре. Он посмотрел на дорогие часики на кисти и с болью увидел, что потерял стеклышко, — да, проехался обшлагом по каменной ограде, когда давеча, спотыкаясь, лез в гору... Они еще жили, беззащитные, голые, как живет вскрытый хирургом орган.

Дни проходили у него в поисках тени, в мечтах о прохладе. Было нечто адское в проблесках моря и пляжа, где млели медные демоны на раскаленной гальке. Солнечная сторона узких улиц ему была так строго заказана, что приходилось бы разрешать головоломные маршрутные задачи, кабы в блужданиях его была цель. Но идти ему было неку-

да, — так что, послонявшись у лавок, где между прочим выставлены были довольно забавные запястья словно из розоватого янтаря и совсем привлекательные кожаные закладки да бумажники, тисненные золотом, он опускался на стул под оранжевым навесом кафе, потом шел к себе и лежал на постели нагишом, страшно худой и страшно белый, думая все о тех же вещах, о которых думал постоянно.

Он думал о том, что осужден жить сбоку от жизни, что всегда было и будет так, и что поэтому, если смерть не окажется для него выходом в настоящую существенность, он жизни так никогда и не узнает. Еще он думал о том, что если бы его родители были живы, а не умерли на заре эмиграции, то, может быть, эти пятнадцать лет его взрослой жизни прошли бы в тепле семьи, что, будь судьба усидчивее, он окончил бы одну из трех гимназий, в которые попадал на случайных пунктах средней, очень средней, Европы, и теперь занимался бы хорошим делом в кругу хороших людей, — но как он ни напрягал воображения, ни дела этого, ни этих людей он представить себе не мог, так же как он не мог себе объяснить, почему юношей он учился в кинематографической студии, а не занимался музыкой или нумизматикой, мытьем стекол или бухгалтерией. И как всегда, с каждой точки своей окружности мысль по радиусу возвращалась к темному центру, к предчувствию близкой смерти, для которой он, не скопивший никаких жизненных драгоценностей, едва ли был интересной добычей, — а тем не менее его-то, по-видимому, наметила она в первую очередь.

Как-то вечером, когда он полулежал в полотняном кресле на веранде, к нему пристал один из жителей пансиона, болтливый русский старик (уже успевший дважды ему рассказать свою биографию, сперва в одном направлении, из настоящего к прошлому, а потом в другом, против шерсти, причем получились две различные жизни, одна удачная, другая нет), — и, удобно усевшись, теребя подбородок, сказал:

— У меня тут отыскался знакомый, то есть знакомый — c'est beaucoup dire[1], раза два встречал его в Брюсселе,

---

[1] Это сильно сказано *(фр.)*.

теперь, увы, это совсем опустившийся тип. Вчера — да, кажется, вчера, — упоминаю вашу фамилию, а он говорит: как же, я его знаю, мы даже родственники.

— Родственники? — удивился Лик. — У меня почти никогда не было родственников. Как его зовут?

— Некто Колдунов, Олег Петрович, — кажется, Петрович? Не знаете?

— Не может быть! — воскликнул Лик, закрыв лицо руками.

— Представьте, — сказал тот.

— Не может быть, — повторил Лик. — Я ведь всегда думал... Это ужасно! Неужели вы сказали мой адрес?

— Сказал. Но я вас понимаю. И противно, знаете, и жалко. Отовсюду вышибли, озлоблен, семья, все такое.

— Послушайте, я вас прошу, — вы не можете ему сказать, что я уехал, потому что это для меня ужасно!

— Если увижу, скажу, но только... Я так, случайно, его в порту встретил, — эх, чудесные какие там стоят яхты, вот это счастливцы, живешь на воде, куда хочешь — плыви. Шампанское, девочки, все это отполировано...

И старик причмокнул, покачивая головой.

«Как это дико, — весь вечер думал Лик. — Гадость какая...» Неизвестно на чем основанная мысль, что Олега Колдунова давным-давно нет на свете, была для Лика одной из тех аксиом, которые уже не состоят на действительной службе рассудка, а сложены далеко-далеко и никогда ни в чем не участвуют, так что теперь, когда Колдунов воскрес, приходилось допустить, что две параллельные линии все-таки скрещиваются, но мучительно трудно было отделаться от старого, застрявшего в мозгу представления, словно извлечение этой одной ложной мысли могло повредить всему распорядку прочих мыслей и представлений. И он теперь никак не мог вспомнить, какие данные у него были полагать, что Колдунов погиб, и почему за эти двадцать лет так окрепла цепь каких-то неопределенных первоначальных сведений (связанных с Гражданской войной?), из которых сковалась его гибель.

Их матери были двоюродными сестрами. Олег Колдунов был на два года старше его, в течение четырех лет они учились в той же провинциальной гимназии, и память об

этих годах всегда была так ненавистна Лику, что он предпочитал не вспоминать отрочества; мало того, — его Россию так заволокло, пожалуй, именно потому, что личных воспоминаний своих он не пестовал. Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая, легкая губка; кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, т. е. лишенные явного присутствия Колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность, — и этот мучительный колдуновский фон, на котором развертывалось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых сноявлений Колдунова, каким он запомнился — грубым, мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица: их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками, — недаром его прозвали «крокодил», — в самом деле, было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде.

Колдунов учился безнадежно плохо: особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стоймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенении страха и потом, через год, с облегчением оставляют его позади. Отличался он наглостью, нечистоплотностью, дикой физической силой: после возни с ним всегда пахло зверинцем. Лик между тем был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком, значит — собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного, но всегда ерзающего; громадная, распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест, забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем, на час-другой, он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно-бессмысленной фразы, обидной для Лика, у которого спина была в меловой пыли и горели

замученные уши; когда же опять надо было поразмяться, Колдунов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы. Он досконально знал все хулиганские приемчики для причинения наисильнейшей боли, не сопряженной с увечьями, а потому пользовался подобострастным уважением товарищей. Вместе с тем он проникался к постоянному своему пациенту смутно-сентиментальной симпатией и на переменах норовил ходить с ним в обнимку, ощупывая тяжелой, рассеянной лапой худую ключицу Лика, который тщетно старался сохранить независимый и достойный вид. Таким образом, посещение гимназии было для Лика совершенно нелепым и невозможным страданием, жаловаться он стеснялся, а ночные мысли о том, как наконец он Колдунова убьет, только изнуряли душу. К счастью, вне школы они почти не видались, хотя матери Лика и хотелось бы поближе сойтись с кузиной, которая была гораздо ее богаче и держала своих лошадей. Когда же революция пошла переставлять мебель, и Лик попал в другой город, а пятнадцатилетний, уже усатенький и вконец озверевший Олег куда-то в общей суматохе пропал, наступило блаженное затишье, скоро, впрочем, сменившееся новыми, более тонкими муками под управлением мелких наследников первоначального палача.

Противно признаться, но Лику случалось на людях в редких разговорах о прошлом вспоминать мнимого покойника с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далекое, доброе, мол, время, сыто спящее в углу своей зловонной клетки. Теперь же, когда Колдунов оказался живым, он никакими взрослыми доводами не мог побороть преобразованное действительностью, но тем более явственное ощущение той беспомощности, которая давила его во сне, когда из-за ширмы, осклабясь, поигрывая пряжкой пояса, выходил хозяин сна, страшный, черноволосый гимназист. И хотя Лик превосходно понимал, что живой, настоящий ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий, обид, известных Лику.

После разговора со стариком он решил дома не сидеть, — до последнего спектакля оставалось всего три дня, так что переезжать в другой пансион не стоило, но можно было, например, уезжать на целый день за итальянскую границу или в горы, благо погода испортилась, накрапывало, дул свежий ветер. Когда на следующий день, ранымрано, он вышел из сада по узкой дорожке между цветущих стен, навстречу показался небольшого роста коренастый человек, в одежде, самой по себе мало отличающейся от обычной формы средиземноморских дачников, — берет, открытая рубашка, провансальские туфли, — но почему-то чувствовалось, что он-то одет так не столько по праву летней погоды, сколько по обязанности нищеты. В первую секунду Лика больше всего поразило, что чудовищная фигура, заполнявшая собой его память, на самом деле едва выше его самого.

— Саша, не узнаешь? — патетически протянул Колдунов, остановившись посреди дорожки.

Крупные черты его желтовато-темного лица с шершавой тенью на щеках и над губой, из-под которой щерились плохие зубы; большой наглый нос с горбинкой; исподлобья глядящие, мутные глаза, — все это было колдуновское, несомненное, хоть и затушеванное временем, но пока Лик смотрел, это первое, несомненное сходство разошлось, беззвучно разрушилось, и перед ним стоял незнакомый прохожий с тяжелым лицом римского кесаря — правда, сильно потрепанного кесаря.

— Поцелуемся, — мрачно сказал Колдунов и на мгновение приложился к детским губам Лика холодной, соленой щекой.

— Я тебя сразу узнал, — залепетал Лик. — Мне вчера как раз говорил, как его, Гаврилюк...

— Сомнительная личность, — перебил Колдунов. — Мэфий-туа. Хорошо... Вот это, значит, мой Саша. Отметим. Рад. Рад тебя опять встретить. Это судьба! Помнишь, Саша, как мы с тобой бычков ловили? Абсолютно ясно. Одно из лучших воспоминаний. Да.

Лик твердо знал, что с Колдуновым никогда в детстве рыбы не уживал, но растерянность, скука, застенчивость помешали ему уличить этого чужого человека в присвоении

несуществующего прошлого. Он вдруг почувствовал себя вертлявым и не в меру нарядным.

— Сколько раз, — продолжал Колдунов, с интересом разглядывая светлые панталоны Лика, — сколько раз за это время... Да, вспоминал, вспоминал! Где-то, думаю, мой Саша... Жене о тебе рассказывал. Была когда-то красивой женщиной. Ты чем же занимаешься?

— Я актер, — вздохнул Лик.

— Позволю себе нескромность, — конфиденциально сказал Колдунов. — В Соединенных Штатах имеется тайное общество, в котором слово «деньги» считается неприличным, а если нужно платить, так заворачивают доллар в туалетную бумагу. Правда, только богачи примыкают, беднякам некогда. Я вот к чему, — и, вопросительно кивая, Колдунов произвел пальцами вульгарный перебор: осязание деньжат.

— Увы, нет, — без всякой задней мысли воскликнул Лик. — Большую часть года я безработный, а в остальную часть — гроши!

— Знаем и понимаем, — усмехнулся Колдунов. — Во всяком случае... Да, во всяком случае, я хочу с тобой как-нибудь поговорить об одном деле. Сможешь недурно заработать. Ты сейчас как — свободен?

— Видишь ли, — собственно, я еду на целый день в Бордигеру, автокаром, — а завтра...

— Очень напрасно. Сказал бы мне, у меня тут есть знакомый шофер, шикарная частная машина, я бы тебе всю Ривьеру показал. Шляпа, шляпа. Ну, чорт с тобой, провожу тебя до остановки.

— И я вообще скоро уезжаю совсем, — вставил Лик.

— А как твои... как тетя Тася? — рассеянно спросил Колдунов, когда они шли по людной улочке, спускающейся к набережной. — Так, так, — закивал он на ответ Лика, и вдруг что-то виновато-безумное пробежало по его нехорошему лицу. — Послушай, Саша, — сказал он, невольно его толкая и близко оборачиваясь к нему на узком тротуаре, — для меня встреча с тобой — это знак. Это знак, что не все еще погибло, а я, признаться, на днях еще думал, что все погибло. Понимаешь, что я говорю?

— Ну, это у всякого бывают такие мысли, — сказал Лик.

Они вышли на набережную. Под пасмурным небом море было густое, граненое и местами, вблизи парапета, там, где шлепнулась пена, темнелись лужи. Было пусто, только на скамейке сидела одинокая дама в штанах.

— Давай-ка пять франчей, папирос тебе куплю на дорогу, — быстро проговорил Колдунов и, взяв монету, добавил другим, свободным тоном: — Смотри, вон там моя жёнка, займи ее, я сейчас вернусь.

Лик подошел к скамье, на которой сидела белокурая дама с раскрытой книжкой на коленях, и по актерской инерции сказал:

— Ваш муж сейчас вернется и забыл меня представить. Я его родственник.

В то же время его обдало прохладной пылью волны. Дама подняла на Лика голубые английские глаза, неторопливо закрыла красную книжку и безмолвно ушла.

— Просто шутка, — сказал запыхавшийся Колдунов, появляясь опять. — Вуаля. Беру себе несколько. Да, — моей, к сожалению, некогда глядеть на море. Слушай, я тебя умоляю, обещай мне, что мы еще свидимся. Помни знак! Завтра, послезавтра, когда хочешь. Обещай. Погоди, я тебе дам мой адресок.

Он взял новенькую, золотисто-кожаную записную книжку Лика, сел, наклонил потный, со вздутыми жилами лоб, сдвинул колени, — и не только написал адрес, с мучительной тщательностью перечтя его, поставив забытую точку на «i» и подчеркнув, но еще набросал план — так, так, потом так. Видно было, что он делал это не раз и что не один обманувший его человек уже ссылался на то, что адрес запамятовал, — поэтому-то он вкладывал в его начертание очень много усердия и силы, — силы почти заклинательной.

Подошел автокар. «Значит, жду», — крикнул Колдунов, подсаживая Лика. И, повернувшись, полный энергии и надежды, он решительно пошел вдоль набережной, словно у него было какое-то спешное, важное дело, — между тем как по всему видать было, что это лодырь, пропойца и хам.

На следующий день, в среду, Лик поехал в горы, а в четверг большую часть дня пролежал у себя с сильной головной болью. Вечером — спектакль, завтра — отъезд.

Около шести пополудни он вышел, чтобы получить из починки часы, а затем купить себе хорошие белые туфли: давно хотелось во втором действии блеснуть обновой, — и когда он с коробкой под мышкой выбрался из лавки сквозь рассыпчатую завесу, то сразу столкнулся с Колдуновым.

Тот поздоровался с ним без прежнего пыла, а скорее насмешливо.

— Не! Теперь уж не отвертишься, — сказал он, крепко взяв Лика за руку. — Пойдем-ка. Посмотришь, как я живу и работаю.

— Вечером спектакль, — возразил Лик, — и завтра я уезжаю!

— То-то и оно, милый, то-то и оно. Хватай! Пользуйся! Другого шанса никогда не будет. Карта бита! Иди, иди.

Повторяя отрывистые слова, изображая всем своим непривлекательным существом бессмысленную радость человека, дошедшего до точки, а может быть, и перешедшего ее (плохо изображает, смутно подумал Лик), Колдунов быстро шел да подталкивал слабого спутника. В угловом кафе на террасе сидела вся компания артистов и, заметив Лика, его приветствовала перелетной улыбкой, которая, собственно, не принадлежала ни одному из них, а пробежала по всем губам, как самостоятельный зайчик.

Колдунов повел Лика влево и вверх по маленькой кривой улице, испещренной там и сям желтым и тоже каким-то кривым солнцем. В этом нищем старом квартале Лик не бывал ни разу. Высокие, голые фасады узких домов словно наклонялись с обеих сторон, как бы сходясь верхушками, иногда даже срастались совсем и получалась арка. У порогов возились отвратительные младенцы; всюду текла черная, вонючая водица. Вдруг, переменив направление, Колдунов втолкнул его в лавку и, подобно многим русским беднякам, щеголяя самыми дешевыми французскими словечками, купил на деньги Лика две бутылки вина. При этом было очевидно, что он тут давно задолжал, и теперь во всей его повадке, в грозно приветственных восклицаниях, на которые ни лавочник, ни теща лавочника никак не откликнулись, было отчаянное злорадство, и от этого Лику стало еще неприятнее. Они пошли дальше, свернули в пе-

реулок, и хотя казалось, что мерзкая улица, по которой они только что поднимались, была последним пределом мрачности, грязи, тесноты, проход этот с вялым бельем, висевшим поперек верхнего просвета, изловчился выразить еще худшую печаль. Там-то, на углу кривобокой площадки, Колдунов сказал, что пойдет вперед, и, покинув Лика, направился к черной дыре раскрытой двери. Одновременно из нее выскочил белокурый мальчик лет десяти, но, увидя наступающего Колдунова, побежал обратно, задев по пути грубо звякнувшее ведро. «Стой, Васюк», — крикнул Колдунов и ввалился в черное свое жилище. Как только он вошел, оттуда послышался остервенелый женский голос, что-то кричавший с мучительным и, должно быть, привычным надсадом, но вдруг пресекся, и через минуту Колдунов выглянул, мрачно маня Лика.

Лик попал прямо с порога в комнату, низкую и темную, с каким-то малопонятным расположением голых стен, точно они расползлись от страшного давления сверху. Она была полна бутафорской рухлядью бедности. На вогнутой постели сидел давешний мальчик; громадная белобрысая женщина с толстыми босыми ногами вышла из темного угла и без улыбки на некрасивом расплывчато-бледном лице (все черты, даже глаза, были как бы смазаны — усталостью, унынием, Бог знает чем), безмолвно поздоровалась с Ликом.

— Знакомьтесь, знакомьтесь, — с издевательской поощрительностью сказал Колдунов в сторону и немедленно принялся откупоривать вино. Жена поставила на стол хлеб и тарелку с помидорами. Она была столь безмолвна, что Лик уже сомневался, эта ли женщина так кричала только что, — пока муж, должно быть, не объяснил хлестким шепотом, что привел гостя.

Она опустилась на скамейку в глубине комнаты, возясь с чем-то, что-то чистя... ножом... на газете, что ли... Лик боялся слишком точно рассматривать, — а мальчик, блестя глазами, отошел к стене и, осторожно маневрируя, выскользнул на улицу. В комнате было множество мух, с маниакальным упорством игравших на столе и садившихся Лику на лоб.

— Ну вот, выпьем, — сказал Колдунов.

— Я не могу, мне запрещено, — хотел было возразить Лик, но вместо этого, повинуясь тяжелому, по кошмарам знакомому влиянию, отпил из стакана и сразу закашлялся.

— Этак лучше, — произнес Колдунов со вздохом, кистью руки вытирая дрожащие губы. — Видишь ли, — продолжал он, наливая Лику и себе, — вот, значит, как обстоит дело. Деловой разговор! Позволь мне тебе рассказать вкратце. В начале лета, так с месяц, я тут проработал в русской артели, шут бы ее взял, мусорщиком. Но, как тебе известно, я человек прямой и люблю правду, а когда подвертывается сволочь, то я и говорю: ты сволочь, — и, если нужно, мажу по шее. Вот как-то раз...

И основательно, подробно, с кропотливыми повторениями, Колдунов стал рассказывать нудную, жалкую историю, и чувствовалось, что из таких историй давно состоит его жизнь, что давно его профессией стали унижения и неудачи, тяжелые циклы подлого безделья и подлого труда, замыкающиеся неизбежным скандалом. Между тем Лик опьянел от первого же стакана, а все-таки продолжал попивать скрыто-брезгливыми глотками, испытывая щекочущую муть во всех членах, но перестать не смея, точно за отказ от вина последовала бы постыдная кара. Колдунов, облокотившись, а другой рукой поглаживая край стола, изредка прихлопывая особенно черное слово, говорил безостановочно. Его глинисто-желтая голова — он был почти совершенно лыс — мешки под глазами, загадочно-злобное выражение подвижных ноздрей, — все это окончательно утратило внешнюю связь с образом сильного, красивого гимназиста, истязавшего Лика некогда, но коэффициент кошмара остался тот же.

— Так-то, брат... Все это теперь не важно, — сказал Колдунов другим, менее повествовательным тоном. — Собственно, я готовил тебе этот рассказец еще в прошлый раз, когда думал... Видишь ли, мне показалось сперва, что судьба — я старый фаталист — вложила известный смысл в нашу встречу, что ты явился вроде, скажем, спасителя. Но теперь выяснилось, что, во-первых, ты — прости меня — скуп как жид, а во-вторых... Бог тебя знает, может быть, ты и действительно не в состоянии одолжить мне... не пугайся, не пугайся... все это пройдено! Да и речь шла только

о такой сумме, которая нужна, чтобы не на ноги встать, это роскошь! — а хотя бы на четвереньки. Потому что не хочу больше лежать пластом в дерьме, как лежу уже годы, — да, дядя, годы. Я и не буду тебя ни о чем просить... Не мой жанр просить, — крикливо отчеканил Колдунов, снова перебив самого себя. — А вот только хочу знать твое мнение. Просто — философский вопрос. Дамы могут не слушать. Как ты думаешь, чем это все можно объяснить? Понимаешь ли, если навернячка имеется какое-то объяснение, то, пожалуйста, я готов с дерьмом примириться, — потому что, значит, тут есть что-то разумное, оправданное, — может быть, что-нибудь полезное мне или другим, не знаю... Вот, объясни: я — человек, — с этим ведь нельзя спорить никак. Ладно. Я — человек, — притом тех же самых кровей, что и ты, — шутка ли сказать, я был у покойной мамаши единственным и обожаемым, в детстве шалил, в юности воевал, а потом — поехало, поехало... ой-ой-ой, как поехало... В чем дело? Нет, ты мне скажи, в чем дело? Я только хочу знать, в чем дело, тогда я успокоюсь. Почему меня систематически травила жизнь, почему я взят на амплуа какого-то несчастного мерзавца, на которого все харкают, которого обманывают, застращивают, сажают в тюрьму? Вот тебе для примера: когда в Лионе, после одного инцидента, меня увели, — причем я был абсолютно прав и очень жалел, что не пристукнул совсем, — когда меня, значит, несмотря на мои протесты, ажан повел, — знаешь, что он сделал? Крючочком, вот таким, вот сюда меня зацепил за живую шею, — что это такое, я вас спрашиваю? — и вот так ведет в участок, а я плыву как лунатик, потому что от всякого лишнего движения чернеет в глазах. Ну, объясни, почему этого с другими не делают, а со мной вдруг взяли и сделали? Почему моя первая жена сбежала с черкесом? Почему меня в тридцать втором году в Антверпене семь человек били смертным боем в небольшой комнате? — и, посмотри, почему вот это все — вот эта рвань, вот эти стены, вот эта Катя... Интересуюсь, давно интересуюсь историей своей жизни! Это тебе не Джек Лондон и не Достоевский! Хорошо — пускай живу в продажной стране, — хорошо, согласен примириться, но надо же, господа, найти объяснение! Мне как-то говорил один фрукт —

отчего, спрашивает, не вернешься в Россию? В самом деле, почему бы и нет? Очень небольшая разница! Там меня будут так же преследовать, бить по кумполу, сажать в холодную, — а потом, пожалуйте в расход, — и это, по крайней мере, честно. Понимаешь, я готов их даже уважать — честные убийцы, ей-Богу, — а здесь тебе жулики выдумывают такие пытки, что прямо затоскуешь по русской пуле. Да что ж ты не смотришь на меня, — какой, какой, какой... или не понимаешь, что я говорю?

— Нет, я это все понимаю, — сказал Лик, — только извини, мне нехорошо, я должен идти, скоро нужно в театр.

— А нет, постой. Я тоже многое понимаю. Странный ты мужчина... Ну, предложи мне что-нибудь... Попробуй! Может быть, все-таки меня озолотишь, а? Слушай, знаешь что, — я тебе продам револьвер, тебе очень пригодится для театра, трах — и падает герой. Он и ста франков не стоит, но мне ста мало, я тебе его за тысячу отдам, — хочешь?

— Нет, не хочу, — вяло проговорил Лик. — И право же, у меня денег нет... Я тоже — все такое — и голодал, и всё... Нет, довольно, мне плохо.

— А ты пей, сукин кот, вот и не будет плохо. Ладно, чорт с тобой, я это так, на всякий случай, все равно не пошел бы на выкуп. Но только, пожалуйста, ответь мне на мой вопрос. Кто же это решил, что я должен страдать, да еще обрек ребенка на мою же русскую паршивую гибель? Позвольте, — а если мне тоже хотится сидеть в халате и слушать радио? В чем дело, а? Вот ты, например, чем ты лучше меня? А ходишь гоголем, в отелях живешь, актрис, должно быть, взасос... Как это так случилось? Объясни, объясни.

— У меня, — сказал Лик, — у меня случайно оказался... ну, я не знаю, — небольшой сценический талант, что ли...

— Талант? — закричал Колдунов. — Я тебе покажу талант! Я тебе такие таланты покажу, что ты в штанах компот варить станешь! Сволочь ты, брат. Вот твой талант. Нет, это мне даже нравится, — (Колдунов затрясся, будто хохоча, с очень примитивной мимикой). — Значит, я, по-твоему, последняя хамская тварь, которая и должна погибнуть? Ну, прекрасно, прекрасно. Все, значит, и объяснилось, эврика, эврика, карта бита, гвоздь вбит, хребет перебит...

— Олег Петрович расстроен, вы, может быть, теперь пойдете, — вдруг из угла сказала жена Колдунова с сильным эстонским произношением. В голосе ее не было ни малейшего оттенка чувства, и оттого ее замечание прозвучало как-то деревянно-бессмысленно. Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положения руки, лежащей как мертвая на столе, и уставился на жену восхищенным взглядом.

— Я никого не задерживаю, — проговорил он тихо и весело. — Но и меня попрошу не задерживать. И не учить. Прощай, барин, — добавил он, не глядя на Лика, который почему-то счел нужным сказать:

— Из Парижа напишу, непременно...

— Пускай пишет, а? — вкрадчиво произнес Колдунов, продолжая, по-видимому, обращаться к жене. Лик, сложно отделившись от стула, пошел было по направлению к ней, но его отнесло в сторону и он наткнулся на кровать.

— Ничего, идите, идите, — сказала она спокойно, и тогда, вежливо улыбаясь, Лик бочком выплыл на улицу.

Сперва — облегчение: вот ушел из мрачной орбиты пьяного резонера-дурака, затем — возрастающий ужас: тошнит, руки и ноги принадлежат разным людям, — как я буду сегодня играть?.. Но хуже всего было то, что он всем своим зыбким и пунктирным телом чуял наступление сердечного припадка: это было так, словно навстречу ему был наставлен невидимый кол, на который он вот-вот наткнется, а потому-то приходилось вилять и даже иногда останавливаться и слегка пятиться. При этом ум оставался сравнительно ясным: он знал, что до начала представления всего тридцать шесть минут, знал, как пойти домой... Впрочем, лучше спуститься на набережную, — посидеть у моря, переждать, пока рассеется телесный, отвратительно бисерный туман, — это пройдет, это пройдет, — если только я не умру... Он постигал и то, что солнце только что село, что небо уже было светлее и добрее земли. Какая ненужная, какая обидная ерунда. Он шел, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие оглядывались на него, — к счастью, их попадалось не много, был священный обеденный час, и когда он добрался до набережной, там уже совсем было пусто, и горели огни на молу, с длинными

отражениями в подкрашенной воде, — и казалось, что эти яркие многоточия и перевернутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове. Он сел на скамейку, ушибив при этом копчик, и прикрыл глаза. Но тогда все закружилось, сердце, страшным глобусом отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться, и, чтобы это прекратить, он принужден был зацепиться взглядом за первую звезду, за черный буек в море, за потемневший эвкалипт в конце набережной, я все это знаю и понимаю, и эвкалипт странно похож в сумерках на громадную русскую березу... «Так неужели это конец, — подумал Лик, — такой дурацкий конец... Мне все хуже и хуже... Что это... Боже мой!»

Прошло минут десять, не более. Часики шли, стараясь из деликатности на него не смотреть. Мысль о смерти необыкновенно точно совпадала с мыслью о том, что через полчаса он выйдет на освещенную сцену, скажет первые слова роли: «Je vous prie d'excuser, Madame, cette invasion nocturne»[1] — и эти слова, четко и изящно выгравированные в памяти, казались гораздо более настоящими, чем шлепоток и хлебет утомленных волн или звуки двух счастливых женских голосов, доносившиеся из-за стены ближней виллы, или недавние речи Колдунова, или даже стук собственного сердца. Ему вдруг стало так панически плохо, что он встал и пошел вдоль парапета, растерянно гладя его и косясь на цветные чернила вечернего моря. «Была не была, — сказал Лик вслух, — нужно освежиться... как рукой... либо умру, либо снимет...» Он сполз по наклону панели и захрустел на гальке. Никого на берегу не было, кроме случайного господина в серых штанах, который навзничь лежал около скалы, раскинув широко ноги, и что-то в очертании этих ног и плеч почему-то напомнило ему фигуру Колдунова. Пошатываясь и уже наклоняясь, Лик стыдливо подошел к краю воды, хотел было зачерпнуть в ладони и обмыть голову, но вода жила, двигалась, грозила омочить ему ноги, — может быть, хватит ловкости разуться? — и в ту же секунду Лик вспомнил картонку с новыми туфлями: забыл их у Колдунова!

---

[1] Прошу простить меня, мадам, за это ночное вторжение *(фр.)*.

И странно: как только вспомнилось, образ оказался столь живительным, что сразу все опростилось, и это Лика спасло, как иногда положение спасает его формулировка. Надо их тотчас достать, и можно успеть достать, и как только это будет сделано, он в них выйдет на сцену — все совершенно отчетливо и логично, придраться не к чему, — и, забыв про сжатие в груди, туман, тошноту, Лик поднялся опять на набережную, граммофонным голосом кликнул такси, как раз отъезжавшее порожняком от виллы напротив... Тормоза ответили раздирающим стоном. Шоферу он дал адрес из записной книжки и велел ехать как можно шибче, причем было ясно, что вся поездка — туда и оттуда в театр — займет не больше пяти минут.

К дому, где жили Колдуновы, автомобиль подъехал со стороны площади. Там собралась толпа, и только с помощью упорных трубных угроз автомобилю удалось протиснуться. Около фонтана, на стуле, сидела жена Колдунова, весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови, слиплись волосы, она сидела совершенно прямо и неподвижно, окруженная любопытными, а рядом с ней, тоже неподвижно, стоял ее мальчик в окровавленной рубашке, прикрывая лицо кулаком, — такая, что ли, картина. Полицейский, принявший Лика за врача, провел его в комнату. Среди осколков, на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом в рот, широко раскинув ноги в новых белых...

— Это мои, — сказал Лик по-французски.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

Несколько лет тому назад один мой парижский приятель, человек со странностями, чтобы не сказать более, узнав, что я собираюсь провести два-три дня вблизи Монтизера, попросил меня зайти в тамошний музей, где, по его сведениям, должен был находиться портрет его деда кисти Леруа. Улыбаясь и разводя руками, он мне поведал довольно дымчатую историю, которую я, признаться, выслушал без внимания, отчасти из-за того, что не люблю чужих навязчивых дел, но главное потому, что всегда сомневался

в способности моего друга оставаться по сю сторону фантазии. Выходило приблизительно так, что после смерти деда, скончавшегося в свое время в петербургском доме во время японской войны, обстановка его парижской квартиры была продана с торгов, причем после неясных странствий портрет был приобретен музеем города, где художник Леруа родился. Моему приятелю хотелось узнать, там ли действительно портрет, и, если там, можно ли его выкупить, и если можно, то за какую цену. На мой вопрос, почему же ему с музеем не списаться, он отвечал, что писал туда несколько раз, но не добился ответа.

Про себя я решил, что просьбы не исполню: сошлюсь на болезнь или на изменение маршрута. От всяческих достопримечательностей, будь то музей или старинное здание, меня тошнит, да кроме того, поручение симпатичного чудака мне казалось решительно вздорным. Но так случилось, что, бродя в поисках писчебумажной лавки по мертвым монтизерским улицам и кляня шпиль одного и того же длинношеего собора, выраставшего в каждом пролете, куда ни повернешь, я был застигнут сильным дождем, который немедленно занялся ускорением кленового листопада: южный октябрь держался уже на волоске. Я кинулся под навес и очутился на ступенях музея.

Это был небольшой, из пестрых камней сложенный дом с колоннами, с золотой надписью над фресками фронтона и с двумя каменными скамьями на львиных лапах по бокам бронзовой двери; одна ее половина была отворена, и за ней казалось темно по сравнению с мерцанием ливня. Я постоял на ступеньках, которые, несмотря на выступ крыши, постепенно становились крапчатыми, а затем, видя, что дождь зарядил надолго, я от нечего делать решил войти. Только я ступил на гладкие, звонкие плиты вестибюля, как в дальнем углу громыхнул табурет, и навстречу мне поднялся, отстраняя газету и глядя на меня поверх очков, музейный сторож — банальный инвалид с пустым рукавом. Заплатив франк и стараясь не смотреть на какие-то статуи в сенях (столь же условные и незначительные, как первый номер цирковой программы), я вошел в залу.

Все было как полагается: серый цвет, сон вещества, обеспредметившаяся предметность; шкаф со стертыми монетами, лежащими на бархатных скатиках, а наверху шка-

фа — две совы: одну звали в буквальном переводе «Великий князь», другую «Князь средний»; покоились заслуженные минералы в открытых гробах из пыльного картона; фотография удивленного господина с эспаньолкой высилась над собранием странных черных шариков различной величины, занимавших почетное место под наклонной витриной: они чрезвычайно напоминали подмороженный навоз, и я над ними невольно задумался, ибо никак не мог разгадать их природу, состав и назначение. Сторож, байковыми шажками следовавший за мной, но все остававшийся на скромном от меня расстоянии, теперь подошел, одну руку держа за спиной, а призрак другой в кармане и переглатывая, судя по кадыку.

— Что это? — спросил я про шарики.

— Наука еще не знает, — отвечал он, несомненно зазубрив фразу. — Они были найдены, — продолжал он тем же фальшивым тоном, — в тысяча восемьсот девяносто пятом году муниципальным советником Луи Прадье, кавалером почетного ордена, — и дрожащим перстом он указал на снимок.

— Хорошо, — сказал я, — но кто и почему решил, что они достойны места в музее?

— А теперь обратите внимание на этот череп! — бодро крикнул старик, явно меняя тему беседы.

— Интересно все-таки знать, из чего они сделаны, — перебил я его.

— Наука... — начал он сызнова, но осекся и недовольно взглянул на свои пальцы, к которым пристала пыль со стекла.

Я еще осмотрел китайскую вазу, привезенную, вероятно, морским офицером; компанию пористых окаменелостей; бледного червяка в мутном спирту; красно-зеленый план Монтизера в XVII веке; и тройку ржавых инструментов, связанных траурной лентой: лопата, цапка, кирка. «...Копать прошлое», — рассеянно подумал я, но уж не обратился за разъяснением к сторожу, который, лавируя между витрин, бесшумно и робко за мной следовал. За первой залой была другая, как будто последняя, и там, посредине, стоял, как грязная ванна, большой саркофаг, а по стенам были развешаны картины.

Сразу заприметив мужской портрет между двумя гнусными пейзажами (с коровами и настроением), я подошел ближе и был несколько потрясен, найдя то самое, существование чего дотоле казалось мне попутной выдумкой блуждающего рассудка. Весьма дурно написанный маслом мужчина в сюртуке, с бакенбардами, в крупном пенснэ на шнурке, смахивал на Оффенбаха, но, несмотря на подлую условность работы, можно было, пожалуй, разглядеть в его чертах как бы горизонт сходства с моим приятелем. В уголке по черному фону была кармином выведена подпись «Леруа» — такая же бездарная, как само произведение.

Я почувствовал у плеча уксусное дыхание и, обернувшись, увидел добрые глаза сторожа.

— Скажите, — спросил я, — если б, положим, кто-нибудь захотел купить эту или другую картину, — к кому следовало бы обратиться?

— Сокровища музея — честь города, — отвечал старик, — а честь не продается.

Я поспешил согласиться, боясь его красноречия, но все-таки попросил адрес опекуна музея. Он попробовал отвлечь мое внимание повестью о саркофаге, — однако я настаивал на своем. Наконец старик назвал некоего мосье Годара и объяснил, где его отыскать.

Мне, прямо скажу, понравилось, что портрет есть. Весело присутствовать при воплощении мечты, хотя бы и не своей. Я решил немедленно закончить дело, а когда я вхожу во вкус, то остановить меня невозможно. Скорым и звонким шагом выйдя из музея, я увидел, что дождь перестал, по небу распространилась синева, женщина в забрызганных чулках катила на серебряном велосипеде, и только на окрестных горах еще дымились тучи. Собор снова заиграл со мною в прятки, но я перехитрил его. Едва не попав под бешеные шины красного автокара, набитого поющими молодыми людьми, я пересек асфальтовый большак и через минуту звонил у калитки мосье Годара. Он оказался худеньким пожилым человеком в высоком воротничке, в пластроне, с жемчужиной в узле галстука, лицом очень похожим на белую борзую, — мало того, он совсем по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на конверт, когда я вошел в его небольшую, но богато обставленную комна-

ту, с малахитовой чернильницей на письменном столе и странно знакомой китайской вазой на камине. Две фехтовальные шпаги были скрещены над зеркалом, в котором отражался его узкий, седой затылок, и несколько фотографий военного корабля приятно прерывали голубую флору обоев.

— Чем могу вам служить? — спросил он, бросив запечатанное им письмо в мусорную корзину: этот жест показался мне необычным, но я не счел нужным вмешаться. В кратких словах я изложил причину моего прихода и даже назвал крупную сумму, с которой мой друг был готов расстаться, хотя, правда, он просил меня ее не называть, а дождаться условий музея.

— Все это очень мило, — сказал мосье Годар, — да только вы ошибаетесь: такой картины нет в нашем музее.

— Как нет? — воскликнул я. — Да я ее только что видел! Гюстав Леруа, портрет русского дворянина.

— Одно полотно Леруа у нас действительно имеется, — сказал мосье Годар, перелистав клеенчатую тетрадь и длинным черным ногтем остановившись на найденной строке. — Но это не портрет, а деревенский мотив: «Возвращение стада».

Я повторил, что картину видел своими глазами пять минут тому назад и что никакая сила не заставит меня в этом усомниться.

— Согласен, — сказал мосье Годар, — но и я тоже не сумасшедший. Я состою хранителем нашего музея вот уже скоро двадцать лет и знаю этот каталог, как молитву Господню. Тут сказано «Возвращение стада», значит, стадо возвращается, и ежели только дед вашего друга не изображен в виде пастуха, я не могу допустить, что его портрет у нас существует.

— Он в сюртуке, — крикнул я, — клянусь вам, что он в сюртуке!

— А как вообще, — спросил мосье Годар подозрительно, — вам понравился наш музей? Вы саркофаг оценили?

— Послушайте, — и была уже, кажется, вибрация в моем голосе, — сделайте мне одолжение, пойдемте туда сию минуту, и условимся так: если портрет висит там, то вы мне его продадите.

— А если его нет? — полюбопытствовал мосье Годар.

— Тогда я вам заплачу ту же сумму.

— Ладно, — сказал он. — Вот возьмите карандаш и красным, красным концом запишите мне это.

Я сгоряча исполнил его требование. Прочтя мою подпись, он пожаловался на трудность произношения русских фамилий, расписался под ней сам и, быстро сложив листок, сунул его в карманчик жилета.

— Пойдемте, — сказал он, высвобождая манжету.

По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик липких леденцов, которыми стал настойчиво меня угощать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку, — я отдернул ее, несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысью. Когда мы приблизились к музею, то увидели, что перед ним стоит красный автокар — пустой.

— Ага, — сказал мосье Годар довольненьким голосом, — я вижу, что у нас сегодня много посетителей.

Он снял шляпу и, держа ее перед собой, чинно взошел по ступеням.

В музее было нехорошо. Доносились вакхические восклицания, бравурный смех и как будто даже шум потасовки. Мы вошли в первую залу; там старичок сторож удерживал двух святотатцев с какими-то праздничными эмблемами в петличках, и вообще очень сизо-румяных и энергичных, старавшихся добыть из-под стекла черные чаврики муниципального советника. Прочие молодцы из той же сельско-спортивной корпорации громко издевались, кто над червем в спирту, кто над черепом. Один весельчак восхищался трубами паро́вого отопления, будто принятыми им за экспонат; другой целился в сову из кулака и пальца. Всего было человек тридцать, так что получалась толкотня и густой шум от шагов и возгласов.

Мосье Годар захлопал в ладоши и указал на плакат с надписью: «Посетители музея должны быть прилично одеты». Затем он протиснулся — и я за ним — во вторую залу. Все общество тотчас повалило туда же. Я подтолкнул Годара к портрету, и он застыл перед ним, выставив грудь, потом чуть попятился, словно им любуясь, и наступил своим дамским каблуком на чью-то ногу.

— Прекрасная картина, — воскликнул он вполне искренне, — что ж, не будем мелочны. Вы оказались правы, а в каталоге, должно быть, ошибка.

Говоря это, он отвлеченными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу.

— Кто эта старая обезьяна? — спросил относительно портрета некто в полосатом нательнике, а так как дед моего приятеля был изображен с сигарой в руке, другой балагур вынул папиросу и собрался у портрета прикурить.

— Давайте условимся о цене, — сказал я. — И во всяком случае, уйдемте отсюда.

— Пропустите, господа, — крикнул мосье Годар, отстраняя любопытных. В конце залы оказался проход, которого я прежде не заметил, мы пробились туда. — Я ничего не могу решить, — говорил мосье Годар, перекрикивая шум. — Решимость только тогда хороша, когда подкреплена законом. Я должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и еще не избран. Думаю, что купить портрет вам не удастся, но тем не менее хочу вам показать еще другие наши сокровища.

Мы очутились в зале несколько больших размеров. Там, на длинном столе под стеклом, раскрыты были толстые, плохо выпеченные книги с желтыми пятнами на грубых листах. Вдоль стен стояли военные куклы в ботфортах с раструбами.

— Давайте обсудим, — взмолился я, порываясь направить пируэты мосье Годара к плюшевому дивану в углу. Но мне помешал сторож. Потрясая единственной рукой, он догонял нас, сопровождаемый веселым табуном молодых людей, из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом.

— Снимите, снимите! — воскликнул мосье Годар, и от чьего-то толчка шлем со звоном слетел с хулигана.

— Дальше, — сказал мосье Годар, дергая меня за рукав, и мы попали в отдел античной скульптуры.

На минуту я заблудился среди громадных мраморных ног и дважды обежал кругом исполинского колена, покамест не увидел опять мосье Годара, который искал меня за белой пятой соседней великанши. Тут какой-то человек

в котелке, видно, на нее взобравшийся, вдруг с большой вышины упал на каменный пол. Его стал поднимать товарищ, но оба были навеселе, и, махнув на них рукой, мосье Годар полетел в следующую комнату, где сияли восточные ткани, гончие мчались по лазурным коврам и на тигровой шкуре лежал лук с колчаном.

Но странное дело: от простора и пестроты было только тяжело, мутно, — и потому ли, что все новые посетители проносились мимо, или потому, что мне хотелось поскорее выбраться из ненужно удлинившегося музея, чтобы в свободной тишине докончить с мосье Годаром деловой разговор, но меня охватила какая-то тревога. Между тем мы перенеслись еще в одну залу, которая уж совсем была громадная, судя по тому, что в ней помещался целый скелет кита, подобный остову фрегата, а далее открывались еще и еще залы, косо лоснились полотна широких картин, полные грозовых облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идолы религиозной живописи, и все это разрешалось внезапным волнением туманных завес, и зажигались люстры, и в освещенных аквариумах рыбы виляли прозрачными шлейфами, а когда мы взбежали по лестнице, то сверху, из галереи, увидели внизу толпу седых людей и зонтиков, осматривающих громадную модель мироздания.

Наконец, в каком-то пасмурном, но великолепном помещении, отведенном истории паровых машин, мне удалось остановить на мгновение моего беспечного вожака.

— Довольно, — крикнул я, — я ухожу. Мы поговорим завтра...

Его уже не было. Я повернулся, увидел в вершке от себя высокие колеса вспотевшего локомотива и долго пытался найти между макетами вокзалов обратный путь... Как странно горели лиловые сигнальные огни во мраке за веером мокрых рельсов, как сжималось мое бедное сердце... Вдруг опять все переменилось: передо мной тянулся бесконечно длинный проход, где было множество конторских шкафов и неуловимо спешивших людей, а кинувшись в сторону, я очутился среди тысячи музыкальных инструментов, — в зеркальной стене отражалась амфилада роялей, а посредине был бассейн с бронзовым Орфеем на зеленой глыбе.

Тема воды на этом не кончилась, ибо, метнувшись назад, я угодил в отдел фонтанов, ручьев, прудков, и трудно было идти по извилистому и склизкому их краю.

Изредка, то с одной стороны, то с другой, каменные лестницы с лужами на ступенях, странно пугавшие меня, уходили в туманные пропасти, где раздавались свистки, звон посуды, стук пишущих машинок, удары молотков и много других звуков, словно там были какие-то выставочные помещения, уже закрывающиеся или еще недостроенные. Потом я попал в темноту, где натыкался на неведомую мебель, покамест, увидя красный огонек, я не вышел на платформу, лязгнувшую подо мной... а за ней вдруг открылась светлая, со вкусом убранная гостиная в стиле ампир, но ни души, ни души... Мне уже было непередаваемо страшно, но всякий раз, как я поворачивался и старался вернуться по уже пройденным переходам, я оказывался в еще не виданном месте, — в зимнем саду с гортензиями и разбитыми стеклами, за которыми чернела искусственная ночь, или в пустой лаборатории, с пыльными алембиками на столах. Наконец я вбежал в какое-то помещение, где стояли вешалки, чудовищно нагруженные черными пальто и каракулевыми шубами; там, в глубине за дверью, вдруг грянули аплодисменты, но, когда я дверь распахнул, никакого театра там не было, а просто мягкая муть, туман, превосходно подделанный, с совершенно убедительными пятнами расплывающихся фонарей. Более чем убедительными! Я двинулся туда, и сразу отрадное и несомненное ощущение действительности сменило наконец всю ту нереальную дрянь, среди которой я только что метался. Камень под моими ногами был настоящая панель, осыпанная чудно пахнущим, только что выпавшим снегом, на котором редкие пешеходы уже успели оставить черные, свежие следы. Сначала тишина и снежная сырость ночи, чем-то поразительно знакомые, были приятны мне после моих горячечных блужданий. Доверчиво я стал соображать, куда я, собственно, выбрался, и почему снег, и какие это фонари, преувеличенно, но мутно лучащиеся там и сям в коричневом мраке. Я осмотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу... потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого, зернистого холодка, словно думая, что

прочту на ней объяснение. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебрей я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было еще так сильно, что в первые две-три минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр, я оглянулся на дом, у которого стоял, — и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег. Что-то меня кольнуло в сердце и уже с новым, беспокойным любопытством я взглянул на мостовую, на белый ее покров, по которому тянулись черные линии, на бурое небо, по которому изредка промахивал странный свет, и на толстый парапет поодаль: за ним чуялся провал, поскрипывало и булькало что-то, а дальше, за впадиной мрака, тянулась цепь мохнатых огней. Промокшими туфлями шурша по снегу, я прошел несколько шагов и все посматривал на темный дом справа: только в одном окне тихо светилась лампа под зеленым стеклянным колпаком, — а вот запертые деревянные ворота, а вот, должно быть, — ставни спящей лавки... и при свете фонаря, форма которого уже давно мне кричала свою невозможную весть, я разобрал кончик вывески: «...инка сапог», — но не снегом, не снегом был затерт твердый знак. «Нет, я сейчас проснусь», — произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять, — и где-то раздавался, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косой тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть, и на Обводном канале, — и надо было что-то делать, куда-то идти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою беззаконную жизнь. О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным все: и воздух, как бы просеянный снегом, и еще не замерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон. Навстречу мне из

тумана вышел человек в меховой шапке, с портфелем под мышкой и кинул на меня удивленный взгляд, а потом еще обернулся, пройдя. Я подождал, пока он скрылся, и тогда начал страшно быстро вытаскивать все, что у меня было в карманах, и рвать, бросать в снег, утаптывать: бумаги, письмо от сестры из Парижа, пятьсот франков, платок, папиросы, но для того, чтобы совершенно отделаться от всех эмигрантских чешуй, необходимо было бы содрать и уничтожить одежду, белье, обувь, все, — остаться идеально нагим, и хотя меня и так трясло от тоски и холода, я сделал что мог.

Но довольно. Не стану рассказывать ни о том, как меня задержали, ни о дальнейших моих испытаниях. Достаточно сказать, что мне стоило неимоверного терпения и трудов обратно выбраться за границу и что с той поры я заклялся исполнять поручения чужого безумия.

ВАСИЛИЙ ШИШКОВ

Мои воспоминания о нем сосредоточены в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. Когда, воспользовавшись антрактом, чтоб поскорее уйти, я спускался по лестнице, мне послышался будто шум погони, и, обернувшись, я увидел его в первый раз. Остановившись на две ступени выше меня, он сказал:

— Меня зовут Василий Шишков. Я поэт.

Это был крепко скроенный молодой человек в русском роде, толстогубый и сероглазый, с басистым голосом и глубоким, удобным рукопожатием.

— Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами, — продолжал он, — желательно было бы встретиться.

Не избалованный такими желаниями, я отвечал почти умиленным согласием, и было решено, что он на следующий день зайдет ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошел в подобие холла, где в это время было сравнительно тихо, — только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своем углу сидело четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, причем один

думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. (Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски — юмор? щегольство? соблазн нового языка? Он только что купил себе шляпу, и все стали ее по очереди примерять.)

С серьезным выражением лица и плеч осилив неповоротливые двери, Шишков едва успел осмотреться, как увидел меня, и тут приятно было отметить, что он обошелся без той условной улыбки, которой я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно — оттого что, вместо машинального наброска содействия, он остался вольно стоять, выжидая, пока я все устрою. Как только мы уселись, он достал палевую тетрадь.

— Прежде всего, — сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими мохнатыми глазами, — следует предъявить бумаги, — ведь правда? В участке я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это — тетрадь стихов.

Я раскрыл ее. Крепкий, слегка влево накрененный почерк дышал здоровьем и даровитостью. Увы, как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасные — плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как «жасмина» и «выражала ужас мина», «беседки» и «бес едкий», «ноктюрны» и «брат двоюрный», — а о темах лучше вовсе умолчать: автор с одинаковым удальством воспевал все, что ему попадалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что автор твердо следил за мной, одновременно контролируя очередной предмет чтения, мне пришлось задержаться на каждой странице.

— Ну как, — спросил он, когда я кончил, — не очень плохо?

Я посмотрел на него. Никаких дурных предчувствий его слегка блестевшее, с расширенными порами лицо не выра-

жало. Я ответил, что стихи безнадежны. Шишков щелкнул языком, сгреб тетрадь в карман и сказал:

— Бумаги не мои, то есть я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, то есть что вам можно верить. Вот мой настоящий паспорт. — (Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную.) — Прочтите хоть одно стихотворение, этого и вам и мне будет достаточно. Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю, они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать. Но вместе с тем вы обладаете, чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, применяете по-пустому, в небольшую меру ваших общих способностей... разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам ненужной гоночной машине и всё думаете, куда бы еще катнуть... Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться, — потому-то я и хотел бы заручиться вашей помощью в одном деле, но сначала, пожалуйста, взгляните.

(Признаюсь, неожиданная и непрошенная характеристика моей литературной деятельности показалась мне куда бесцеремоннее, чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег, и хотя этот второй пункт должен подразумевать так или иначе существование потребителя, однако чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и незначительнее мне представляются их случайные приключения, и уж на так называемом читательском суде я чувствую себя не обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула — праздным ударом по призраку. Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору Шишков так вываливает свое искреннее мнение или только со мной не стесняется, считая,

что я это заслужил. Я заключил, что, как фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но несомненной жаждой правды, так и его суждение обо мне диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной откровенности.)

Я почему-то боялся, что в подлиннике найдутся следы недостатков, чудовищно преувеличенных в пародии, но боялся я напрасно. Стихи были очень хороши, — я надеюсь как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога — вроде, например, «в солдатских мундирах».

— Знаете что, — сказал Шишков, — раз вы согласны со мной, что моя поэзия не пустяки, сохраните у себя эту тетрадку. Мало ли что может случиться, у меня бывают странные, очень странные мысли, и... словом, я сейчас только подумал, что так очень хорошо складывается. Я, собственно, шел к вам, чтобы просить вас участвовать в журнале, который затеваю, — в субботу будет у меня собрание и должно все решиться. Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны, — так что приходите. Между прочим, будет — (он назвал очень знаменитого русского писателя) — еще кое-кто. Понимаете, я дошел до какой-то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро тридцать лет, в прошлом году я приехал сюда, в Париж, после абсолютно бесплодной юности на Балканах, потом в Австрии. Я переплетчик, наборщик, был даже библиотекарем, — словом, вертелся всегда около книги. А все-таки я жил бесплодно, и с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать, — мучительное чувство, — ведь вы сами видите, — может, с другого бока, но все-таки должны видеть, — сколько всюду страдания, кретинизма, мерзости, — а люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намозолили

душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и суть зародыши самых явных чудовищ. Вот, например, недавно, — эта мать, которая, потеряв терпение, утопила двухлетнюю девочку в ванне, и потом сама выкупалась, — ведь не пропадать же горячей воде. Боже мой, сравните с «посоленными щами», с тургеневской синелью... Мне совершенно все равно, если вам кажется смешным, что количество таких мелочей — каждый день, всюду, разного калибра, разной формы, хвостиками, точками, кубиками, — может так волновать человека, что он задыхается и теряет аппетит, — но, может быть, вы все-таки придете.

Наш разговор я здесь соединил с выдержками из пространного письма, которое Шишков мне прислал на другой день в виде подкрепления. В субботу я слегка запоздал, и, когда вошел в его столь же бедную, как и опрятную комнату, все уже были в сборе, не хватало только знаменитого писателя. Из присутствующих я знал в лицо редактора одного бывшего издания; остальные — обширная дама (кажется, переводчица или теософка) с угрюмым маленьким мужем, похожим на черный брелок, двое потрепанных господ в Mad'овских пиджаках и энергичный блондин, видимо приятель хозяина, — были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно оперся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась. «Господа», — сказал Шишков — и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли о журнале, который должен был называться «Обзор Страдания и Пошлости» и выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода, причем требовалось их размещать в особом, «восходящем» и вместе с тем «гармонически незаметном», порядке. Бывший редактор привел некоторые цифры и выразил уверенность, что журнал такого типа не окупится никогда. Муж обширной литераторши, сняв пенснэ, страшно растягивая слова и массируя себе переносицу, сказал, что если уж бороться с человеческим страданием, то гораздо практичнее раздать бедным ту сумму, которая нужна для основания журнала, — и так как эта сумма ожидалась от него, то

прошел холодок. Затем приятель хозяина, гораздо бойчее и хуже, повторил в общих чертах то, что говорил Шишков. Спросили и мое мнение; видя выражение лица Шишкова, я приложил все силы, чтобы поддержать его проект. Разошлись не поздно. Провожая нас на площадку, Шишков оступился и несколько долее, чем полагалось для поощрения смеха, остался сидеть на полу, бодро улыбаясь, с невозможными глазами.

Через несколько дней он опять меня посетил, и опять в углу четверо толковали о визах, и потом пришел пятый и бодро сказал: «Bonjour, Monsieur Weiss, bonjour, Monsieur Meyer»[1]. На мой вопрос Шишков рассеянно и даже как-то нехотя ответил, что идея журнала признана неосуществимой и что он об этом больше не думает.

— Вот что я хотел вам сказать, — заговорил он после стесненного молчания, — я все решал, решал и, кажется, более или менее решил. Почему именно я в таком состоянии, вам вряд ли интересно, — что мог, я объяснил вам в письме, но это было применительно к делу, к тому журналу... Вопрос шире, вопрос безнадежнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет — это полымя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того, боюсь последствий, которые и не снились любомудрию Гамлета. Значит, остается способ один — исчезнуть, раствориться.

Он еще спросил, в сохранности ли его тетрадь, и вскоре затем ушел, широкоплечий, слегка все-таки сутулый, в макинтоше, без шляпы, с обросшим затылком, — необыкновенно симпатичный, грустный, чистый человек, которому я не знал, что сказать, чем помочь.

Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении встретил на улице шишковского при-

[1] Здравствуйте, мсье Вайс, здравствуйте, мсье Мейер *(фр.)*.

ятеля. Он сообщил мне престранную историю: с месяц тому назад «Вася» пропал, бросив все свое небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила, — кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют «картой».

Так это и осталось. На случае, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкове. Скудные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал, — они когда-нибудь могут пригодиться. Но куда же он все-таки исчез? Что вообще значили эти его слова — «исчезнуть», «раствориться»? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он «прозрачность и прочность такой необычной гробницы»?

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1929-1951

РИФМА

ПАРИЖ

1952

VLADIMIR NABOKOV

POEMS AND PROBLEMS

Стихотворения

1939—1970

ИЗ СБОРНИКА

СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленье, поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны — любви безнадежной —
молчанье зарницы, молчанье зерна.

1939
Париж

* * *

Отвяжись — я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,

сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд —
поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит.

16 сентября 1939
Париж

СЛАВА

И вот как на колесиках вкатывается ко мне некто —
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,
и сижу, и решить не могу: человек это
или просто так — разговорчивый прах.
Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старший шпион
(шепелявым таким шепотком: а скажите,
что вы делали там-то?), как сон,
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
как в балканской новелле влиянье — как их,
символистов, — но хуже. Есть вещи, вещи,
которые... даже... (Акакий Акакиевич
любил, если помните, «плевелы речи»,
и он, как Наречье, мой гость восковой),
и сердце просится, и сердце мечется,
и я не могу... А его разговор
так и катится острою осыпью под гору,
и картавое, кроткое слушать должно
и заслушиваться господина бодрого,
оттого что без слов и без славы оно.
Как пародия совести в драме бездарной,
как палач и озноб и последний рассвет —

о, волна, поднимись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку... Нет,
не могу языку заказать эти звуки,
ибо гость говорит — и так веско,
господа, и так весело, и на гадюке
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
иллюстрации разных существенных доводов,
головные уборы, как мысли вовне;
или, может быть... Было бы здорово,
если б этим шутник указывал мне,
что я страны менял, как фальшивые деньги,
торопясь и боясь оглянуться назад,
как раздваивающееся привиденье,
как свеча меж зеркал уплывая в закат.
Далеко до лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках.
Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и, лишенные самой простой благодати
(дохожденья до глаз, до локтей, до висков),
«твои бедные книги, — сказал он развязно, —
безнадежно растают в изгнанье. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся — но у настоящей листвы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы — а бедные книги твои
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,

как базарный факир, то есть не без подлога,
и не долго ей в дымчатом воздухе цвесть.
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолустии русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок
и других озаренных неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум заоконной березы,
поднимающей книгу на уровень свой?
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведенье диком,
друг степей для тебя не забудет степей.
В длинном стихотворении "Слава" — писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетет
мысль о контакте с сознаньем читателя.
К сожаленью, и это навек пропадет.
Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
до конца, до небес доскрестись: никогда,
никогда не мелькнет мое имя — иль разве
(как в трагических тучах мелькает звезда)
в специальном труде, в примечанье к названью
эмигрантского кладбища, и наравне
с именами собратьев по правописанью,
обстоятельством места навязанных мне.
Повторил? А случалось еще, ты пописывал
не без блеска на вовсе чужом языке,
и припомни особенный привкус анисовый
тех потуг, те метанья в словесной тоске.
И виденье: на родине. Мастер. Надменность.
Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой
перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность
европейская. Дача в Алуште. Герой».
И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи — так быстра
золотая становится запись.
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,

не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня.
Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною — частность?
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе.
Не доверясь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишащем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир, и себя,
и другое, другое, другое.

Апрель 1942
Уэльслей, Массачусетс

ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

«Отведите, но только не бросьте!
Это — люди; им жалко Москвы.
Позаботьтесь об этом прохвосте:
он когда-то был ангел, как вы.
И подайте крыло Никанору,
Аврааму, Владимиру, Льву —
смерду, князю, предателю, вору:
Ils furent des anges comme vous[1].
Всю ораву — ужасные выи
стариков у чужого огня —

[1] Они были ангелами, как вы *(фр.)*.

господа, господа голубые,
пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих
уползаю — и вот привстаю,
и уже я лечу, и на тающих
рифмы нет в моем новом раю.
Потому-то я вправе по чину
к вам, бряцая, в палаты войти.
Хорошо. Понимаю причину —
но их надо, их надо спасти!
Хоть бы вы призадумались, хоть бы
согласились взглянуть... А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал, без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя.
Ночь дышала: вздувалась завеса,
облакам облаками платя.
Стул. На стуле он сам. На постели
снова — он. В бездне зеркала — он.
Он — в углу, он — в полу, он — у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,
некто Вульф, худощавый и рыжий
инженер лет пятидесяти.
А под ним — мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы — и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он оделся и вышел. У нас
это дно называлось: Овидий
откормлен (от «Carmina»). Муть
и комки в голове после черной
стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и над улицей черной
без звездинки муругая муть.

Но поэмы не будет: нам некуда
с ним идти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человеку,
а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться,
пить извозчичье это вино...
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасе темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш.
С полурусского, полузабытого
переход на подобье арго.
Бродит боль позвонка перебитого
в черных дебрях Бульвар Араго.
Ведь последняя капля России
уже высохла! Будет, пойдем!
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый...
Чу! Под сводами черных аркад,
где стена как скала, писсуары
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.
А мосты... Это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки —
и оранжевые фонари.
А вверху... Там неважные вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омуте месяц мерещится.
Неужели я тоже? Забудь.
Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю), но иногда

сердцу хочется «автора, автора!».
В зале автора нет, господа.
И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался, где-то в дальнем предместье,
паровозный щемящий свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:
лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.
И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни, и вот эта минута —
и вот эта минута прошла.
Но как знать — может быть, бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалею, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.
И, пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое — на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне — о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих —
но, с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться — и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать

серединою многодорожного
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной,
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи — прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

1943
Кембридж, Массачусетс

* * *

Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась —
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства... Нет, о, нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой —
увольте — я еще поэт!

1943
Кембридж, Массачусетс

О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа, —
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.

С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе?
С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Какие-то римляне и мясники,
Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудые немки и разные
людоеды, любовники, ломовики,
Иоанны, Людовики, Ленины,
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колени,
на престолах своих матерых.
Умирает со скуки историк:
за Мамаем все тот же Мамай.
В самом деле, нельзя же нам с горя
поступить как чиновный Китай,
кучу лишних веков присчитавший
к истории скромной своей,
от этого, впрочем, не ставшей
ни лучше, ни веселей.
Кучера государств зато хороши
при исполнении должности: шибко
ледяная навстречу летит синева,
огневые трещат на ветру рукава...
Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навыкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.
Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.

Покойный мой тезка,
писавший стихи и в полоску
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно-мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил» —
и так далее.

14 апреля 1945
Кембридж, Массачусетс

К КН. С. М. КАЧУРИНУ

1

Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев
в подложном паспорте не сплю:
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канапе устроясь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.

2

Когда я в это воскресенье,
по истечении почти
тридцатилетнего затменья,
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я, в тумане
весны и молодого дня
и заглушенных очертаний,
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой
цветной открытки без угла
(отрезанного ради марки,
которая в углу была);

когда все это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась,
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:
в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю, —
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.

3

На этом я не успокоюсь,
тут объясненье жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти
верстах от города, от зданья,
где запинаюсь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и, в сущности, совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?

4

Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,
ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече
я, впрочем, все скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему «чапаралю»
из «Всадника без Головы»,

чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях,
с лицом сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?

Апрель 1947
Кембридж, Массачусетс

* * *

На закате, у той же скамьи,
как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком,
с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи, с полусгнившей доской,
высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни,
улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно
иногда возвращаться дано.

1935
Берлин

* * *

Что за ночь с памятью случилось?
Снег выпал, что ли? Тишина.
Душа забвенью зря училась:
во сне задача решена.

Решенье чистое, простое,
(о чем я думал столько лет?).
Пожалуй, и вставать не стоит:
ни тела, ни постели нет.

1938
Ментона

* * *

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я — и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной!

Если вдуматься, это — как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полугоночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы — а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.

Октябрь 1939
Париж

* * *

Был день как день. Дремала память. Длилась
холодная и скучная весна.
Внезапно тень на дне зашевелилась —
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею —
но как затопала, как затряслась,
как горячо цепляется за шею,
в ужасном мраке на руки просясь...

1951
Итака

ИЗ СБОРНИКА

POEMS AND PROBLEMS

ГЕРБ

Лишь отошла земля родная,
в соленой тьме дохнул норд-ост,
как меч алмазный обнажая
средь облаков стремнину звезд.

Мою тоску, воспоминанья
клянусь я царственно беречь,
с тех пор как принял герб изгнанья:
на черном поле звездный меч.

24 января 1925
Берлин

ЛЮБЛЮ Я ГОРУ

Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому,
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути?

Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней
приметы, с детства дорогие,
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?

31 августа 1925
Фельдберг (Шварцвальд)

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ

В последний раз лиясь листами
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже назойливой

до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.

Ноябрь 1952
Итака

КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей?

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как я от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

26–27 декабря 1959
Сан-Ремо

С СЕРОГО СЕВЕРА

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.
Вот это Рожествено.

20 декабря 1967
Монтрё

К СВОБОДЕ

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
и заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит все та же ночь!

3(16) декабря 1917
Крым

НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим — я и тень моя.

Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.

26 марта (8 апреля) 1919
Севастополь

ЛИЛИТ

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.

Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».

От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая,
с речною лилией в кудрях,
стройна как женщина, и нежно
цвели сосцы, — и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко, близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула — и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.

В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
«Сюда»; — промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,

и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил —
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался,
и ринулся, и зашатался
от ветра странного. «Впусти!» —
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти!» — и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя,
и понял вдруг, что я в аду.

13 декабря 1930
Берлин

НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

Поэт, печалью промышляя,
твердит Прекрасному: прости!
Он говорит, что жизнь земная —
слова на поднятой в пути —
откуда вырванной? — страницы
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенный птицы
чрез светлый зал из ночи в ночь.

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

1 июля 1931
Берлин

ОКО

К одному исполинскому оку —
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку —
наконец-то сведен человек.

И, на землю без ужаса глянув
(совершенно не схожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),

он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив,
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;

и конечно, не угол столовой
и свинцовые лица родных —
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.

Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом, —
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?

1939
Париж

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

РУСАЛКА

Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»

Берег

К н я з ь

Печальные, печальные мечты
вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! Как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
и согласится он оставить лес
и к нам переселиться...

Р у с а л о ч к а выходит на берег.

Что я вижу!
Откуда ты, прекрасное дитя?

Р у с а л о ч к а

Из терема.

К н я з ь

Где ж терем твой? Отсюда
до теремов далече.

Р у с а л о ч к а

Он в реке.

Князь

Вот так мы в детстве тщимся бытие
сравнять мечтой с каким-то миром тайным.
А звать тебя?

Русалочка

Русалочкой зови.

Князь

В причудливом ты, видно, мастерица,
но слушатель и слишком суеверный,
и чудеса ребенку впрок нейдут
вблизи развалин, ночью. Вот тебе
серебряная денежка. Ступай.

Русалочка

Я б деду отнесла, да мудрено
его поймать. Крылом мах-мах и скрылся.

Князь

Кто — скрылся?

Русалочка

Ворон.

Князь

Будет лепетать.
Да что ж ты смотришь на меня так кротко?
Скажи... Нет, я обманут тенью листьев,
игрой луны. Скажи мне... Мать твоя
в лесу, должно быть, ягоду сбирала
и к ночи заблудилась... иль попав
на топкий берег... Нет, не то. Скажи,
ты — дочка рыбака, меньшая дочь,
не правда ли? Он ждет тебя, он кличет.
Поди к нему.

Русалочка

Вот я пришла, отец.

Князь

Чур, чур меня!

Русалочка

Так ты меня боишься?
Не верю я. Мне говорила мать,
что ты силен, приветлив и отважен,
что пересвищешь соловья в ночи,
что лань лесную пеший перегонишь.
В реке Днепре она у нас царица;
«Но, говорит, в русалку обратясь,
я все люблю его, все улыбаюсь,
как в ночи прежние, когда бежала,
платок забывши впопыхах, к нему
за мельницу».

Князь

Да, этот голос милый
мне памятен. И это все безумье —
и я погибну...

Русалочка

Ты погибнешь, если
не навестишь нас. Только человек
боится нежити и наважденья,
а ты не человек. Ты наш, с тех пор
как мать мою покинул и тоскуешь.
На темном дне отчизну ты узнаешь,
где жизнь течет, души не утруждая.
Ты этого хотел. Дай руку. Видишь,
луна скользит, как чешуя, а там...

Князь

Ее глаза сквозь воду ясно светят,
дрожащие ко мне струятся руки!
Веди меня, мне страшно, дочь моя...

Исчезает в Днепре.

Русалки *(поют)*

Всплываем, играем
и пеним волну.
На свадьбу речную
зовем мы луну.
Все тише качаясь,
туманный жених
на дно опустился
и вовсе затих.
И вот осторожно,
до самого дна,
до лба голубого
доходит луна.
И тихо смеется,
склоняясь к нему,
Царица-Русалка
в своем терему.

Скрываются. Пушкин пожимает плечами.

1942

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Как над стихами силы средней
эпиграф из Шенье,
как луч последний, как последний
зефир... comme un dernier

rayon...[1] — так над простором голым
моих нелучших лет
каким-то райским ореолом
горит нерусский свет.

1945

2

Целиком в мастерскую высокую
входит солнечный вечер ко мне:
он как нотные знаки, он фокусник,
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,
только пальцы в пастельной пыли.
Смотрят с неба художники бывшие
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители
зажигаются сто этажей,
и как американские жители
там стойком поднимаются в ней.

Ноябрь 1953

3

Всё, от чего оно сжимается,
миры в тумане, сны, тоска,
и то, что мною принимается
как должное, — твоя рука;

всё это под одною крышею
в плену моем живет, поет,
но сводится к четверостишию,
как только ямб ко дну идет.

[1] Как последний луч... *(Фр.)*

И оттого что — как мне помнится —
жильцы родного словаря
такие бедняки и скромницы:
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,
а с музыкой я незнаком,
и удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.

«Но вместо всех изобразительных
приемов и причуд, нельзя ль
одной опушкой существительных
и воздух передать и даль?»

Я бы добавил это новое,
но наподобие кольца
сомкнуло строй уже готовое
и не впустило пришлеца.

Август 1953

4

Вечер дымчат и долог:
я с молитвой стою,
молодой *энтомолог*
перед *жимолостью.*

О, как *хочется, чтобы*
там в цветах *вдруг возник,*
запуская в них хобот,
сизый сумеречник!

Содроганье — и вот он!
Я по ангелу бью —
и уж демон замотан
в сетку дымчатую!

Сентябрь 1953

5

Какое б счастье или горе
ни пело в прежние года,
метафор, даже аллегорий,
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.

28 декабря 1953

6

Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
«Читай, читай!» — кричит мне кровь моя:
Р, О, С... нет, я букв не различаю.

1953

7

Зимы ли серые смыли
очерк единственный? Эхо ли
всё, что осталось от голоса? Мы ли
        поздно приехали?..

Только никто не встречает нас! В доме
рояль — как могила на полюсе. Вот тебе
ласточки! Верь тут, что кроме
        пепла есть оттепель!

Ноябрь 1953

* * *

Минуты есть: «Не может быть, — бормочешь, —
не может быть, не может быть, что нет
чего-то за пределом этой ночи», —
и знаков ждешь, и требуешь примет.

Касаясь до всего душою голой,
на бесконечно милых мне гляжу
со стоном умиленья; и, тяжелый,
по тонкому льду счастия хожу.

* * *

Сорок три или четыре года
Ты уже не вспоминалась мне:
Вдруг, без повода, без перехода,
Посетила ты меня во сне.

Мне, которому претит сегодня
Каждая подробность жизни той,
Самовольно вкрадчивая сводня
Встречу приготовила с тобой.

Но хотя, опять возясь с гитарой,
Ты «опять молодушкой была»,
Не терзать взялась ты мукой старой,
А лишь рассказать, что умерла.

9 апреля 1967

овнию —
нЪл
овні
і бес
сосъ
сплоч
еизмЪ
ых с нє
шлют і
ковник.
мочку.
его, про
ндалом,
ен пол

ли
коя
, ві
ал
ют
а
і
Г.

ИЗОБРѢТЕНІЕ ВАЛЬСА

ДРАМА В ТРЕХ ДѢЙСТВІЯХ

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ

Кабинет военнаго министра. В окнѣ вид на козусообразную гору. На сценѣ, в странных позах, военный министр и его личный секретарь.

Полковник: — Закиньте голову еще пониже. Да подождите — не моргайте... Сейчас... Нѣт, так ничего не вижу. Еще пониже...

Министр: — Я об'ясняю вам, что — под верхним вѣком, а вы почему-то лѣзете под нижнее.

Полковник: — Все осмотрим. Погодите...

Министр: — Гораздо хуже... Совсѣм в углу... Невыносимая боль! Неужели вы не умѣете вывернуть вѣко?

Полковник: — Дайте-ка вам платок. Мы это сейчас...

Министр: — Простыя бабы в норѣ умѣют так лизнуть кончиком языка, что снимают сразу.

Полковник: — Увы, я горожанин. Нѣт, по-моему — все чисто. Должно быть давно выскочило, только пунктик еще чувствуется.

А я вам говорю, что колет невыносимо.
— Посмотри еще раз, но мнѣ кажется, что
... руки...

...дительно, какія у вас непріятныя руки...
— Ну, хотите — попробую языком?
Нѣт, — гадко. Не мучьте меня.
— Знаете что? Садитесь иначе, так свѣта
...те, не трите, никогда не нужно тереть.
..., стойте... Как будто дѣйствительно... Да!

СОБЫТІЕ

Драматическая комедія в трех дѣйствіях

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ

Мастерская Трощѣйкина. Двери слѣва и справа. На низком мольбертѣ, перед которым стоит кресло (Трощѣйкин всегда работает сидя), — почти доконченный мальчик в синем, с мячом у его ног. К стѣнам прислонена недодѣланная старуха с кружевах, с бѣлым вѣером. Окно, оттоманка, ковры, ширма, шкап, три стула, два стола. Навалены в безпорядкѣ книги.

Сцена сначала пуста. Затѣм через нее медленно катится слѣва справа, сине-красный дѣтскій мяч. Из той-же двери появляется Трощѣйкин. Он вынимает другой, красно-желтый, из-под стола. Трощѣйкину лѣт под сорок, бритый, в потрепанной яркой фуфайкѣ с рукавами, о которой остается в течение всех трех дѣйствій (меняющихся, кстати, утром, днем и вечером одних и тѣх же суток). Ребячлив, нервен, переходчив.

Трощѣйкин: — Люба! Люба!

(Слѣва нехотя входит Любовь: молода, хороша, с длинной и дымкой).

Трощѣйкин: — Что это за несчастье! Как это случаются такія вещи? Почему мои мячи разбрелись по всему дому? Безобразіе. Отказываюсь все утро искать и нагибаться. Ребенок сегодня придет позировать, а тут всего два. Гдѣ остальные?

Любовь: — Не знаю. Один был в коридорѣ.

Трощѣйкин: — Вот, который был в коридорѣ. Не достает зеленаго и двух пестрых. Исчезли.

Любовь: — Отстань ты от меня пожалуйста. Подумаешь — велика бѣда! Ну — будет картина «Мальчик с Двумя Мячами» вмѣсто «Мальчик с Пятью»...

Трощѣйкин: — Умное замѣчаніе. Я хотѣл бы понять.

знадь
зольте і
даніе..
эти бу
в один
Берга
Вот е
огласі
ает.
цені
вні
слі
о м
орьтаюп
Он не усг
...ь...
...ппеплярскіе

л
за
ві
пі
ме
лях
зво
Ген
дъла
Лини
нако!
вам ег
этих гс
тих в г

Драматические произведения

1938

СОБЫТИЕ

Драматическая комедия в трех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Мастерская Трощейкина. Двери слева и справа. На низком мольберте, перед которым стоит кресло (Трощейкин всегда работает сидя), — почти доконченный мальчик в синем, с пятью круглыми пустотами (будущими мячами), расположенными полукольцом у его ног. К стене прислонена недоделанная старуха в кружевах, с белым веером. Окно, оттоманка, коврик, ширма, шкаф, три стула, два стола. Навалены в беспорядке папки.

Сцена сначала пуста. Затем через нее медленно катится, войдя справа, сине-красный детский мяч. Из той же двери появляется Трощейкин. Он вышаркивает другой, красно-желтый, из-под стола. Трощейкину лет под сорок, бритый, в потрепанной, но яркой фуфайке с рукавами, в которой остается в течение всех трех действий (являющихся, кстати, утром, днем и вечером одних и тех же суток). Ребячлив, нервен, переходчив.

Трощейкин. Люба! *Люба!*

Слева не спеша входит Любовь: молода, хороша, с ленцой и дымкой.

Трощейкин. Что это за *несчастье*! Как это случаются такие вещи? Почему мои мячи разбрелись по всему дому? Безобразие. Отказываюсь все утро искать и нагибаться. Ребенок сегодня придет позировать, а тут всего *два*. Где остальные?

Любовь. Не знаю. Один был в коридоре.

Трощейкин. *Вот* который был в коридоре. Недостает зеленого и двух пестрых. Исчезли.

Любовь. Отстань ты от меня, пожалуйста. Подумаешь — велика беда! Ну — будет картина «Мальчик с Двумя Мячами» вместо «Мальчик с Пятью»...

Трощейкин. Умное замечание. Я хотел бы понять, кто это, собственно, занимается разгоном моих аксессуаров... Просто безобразие.

Любовь. Тебе так же хорошо известно, как мне, что он сам ими играл вчера после сеанса.

Трощейкин. Так нужно было их потом собрать и положить на место. *(Садится перед мольбертом.)*

Любовь. Да, но при чем тут Я? Скажи это Марфе. Она убирает.

Трощейкин. Плохо убирает. Я сейчас ей сделаю некоторое внушение...

Любовь. Во-первых, она ушла на рынок; а во-вторых, ты ее боишься.

Трощейкин. Что ж, вполне возможно. Но только мне лично всегда казалось, что это с моей стороны просто известная форма деликатности... А мальчик мой недурен, правда? Ай да бархат! Я ему сделал такие сияющие глаза отчасти потому, что он сын ювелира.

Любовь. Не понимаю, почему ты не можешь сперва закрасить мячи, а потом кончить фигуру.

Трощейкин. Как тебе сказать...

Любовь. Можешь не говорить.

Трощейкин. Видишь ли, они должны *гореть*, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца. Ноги, видишь, уже совсем перламутровые. Нет, мальчик мне нравится! Волосы хороши: чуть-чуть с черной курчавинкой. Есть какая-то связь между драгоценными камнями и негритянской кровью. Шекспир это почувствовал в своем «Отелло». Ну, так. *(Смотрит на другой портрет.)* А мадам Вагабундова чрезвычайно довольна, что пишу ее в белом платье на испанском фоне, — и не понимает, какой это страшный кружевной гротеск... Все-таки, знаешь, я тебя очень прошу, Люба, раздобыть мои мячи, я не хочу, чтобы они были в бегах.

Любовь. Это жестоко, это невыносимо, наконец. Запирай их в шкаф, я тебя умоляю. Я тоже не могу, чтобы катилось по комнатам и лезло под мебель. Неужели, Алеша, ты не понимаешь, *почему*?

Трощейкин. Что с тобой? Что за тон... Что за истерика...

Любовь. Есть вещи, которые меня терзают.

Трощейкин. Какие вещи?

Любовь. Хотя бы эти детские мячи. Я. Не. Могу. Сегодня мамино рождение, — значит, послезавтра ему было бы пять лет. *Пять* лет. Подумай.

Трощейкин. А... Ну, знаешь... Ах, Люба, Люба, — я тебе тысячу раз говорил, что нельзя так жить, в сослагательном наклонении. Ну — пять, ну — еще пять, ну — еще... А потом было бы ему пятнадцать, он бы курил, хамил, прыщавел и заглядывал за дамские декольте.

Любовь. Хочешь, я тебе скажу, что мне приходит иногда в голову: а что, если ты феноменальный пошляк?

Трощейкин. А ты груба, как торговка костьем. *(Пауза. Подходя к ней.)* Ну-ну, не обижайся... У меня тоже, может быть, разрывается сердце, но я умею себя сдерживать. Ты здраво посмотри: умер двух лет, то есть сложил крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ, — а так бы рос, рос и вырос балбесом.

Любовь. Я тебя заклинаю, перестань! Ведь это вульгарно до жути. У меня *зубы* болят от твоих слов.

Трощейкин. Успокойся, матушка. Довольно! Если я что-нибудь не так говорю, прости и пожалей, а не кусайся. Между прочим, я почти не спал эту ночь.

Любовь. Ложь.

Трощейкин. Я знал, что ты это скажешь!

Любовь. Ложь. Не знал.

Трощейкин. А все-таки это так. Во-первых, у меня всегда сердцебиение, когда полнолуние. И вот тут опять покалывало, — я не понимаю, что это такое... И всякие мысли... глаза закрыты, а такая карусель красок, что с ума сойти. Люба, улыбнись, голуба.

Любовь. Оставь меня.

Трощейкин *(на авансцене)*. Слушай, малютка, я тебе расскажу, что я ночью задумал... По-моему, довольно гениально. Написать такую *штуку*, — вот представь себе... Этой стены как бы нет, а темный провал... и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. Кто с любопытством, кто с досадой, кто с удовольствием. А тот с завистью, а эта с сожалением. Вот так сидят передо

мной — такие бледновато-чудные в полутьме. Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером, и друзья детства, конечно, и женщины, женщины — все те, о которых я рассказывал тебе, — Нина, Ада, Катюша, другая Нина, Маргарита Гофман, бедная Оленька, — все... Тебе нравится?

Любовь. Почем я знаю? Напиши, тогда я увижу.

Трощейкин. А может быть — вздор. Так: мелькнуло в полубреду, — суррогат бессонницы, клиническая живопись... Пускай будет опять стена.

Любовь. Сегодня к чаю придет человек семь. Ты бы посоветовал, что купить.

Трощейкин *(сел и держит перед собой, упирая его в колено, эскиз углем, который рассматривает, а потом подправляет)*. Скучная история. Кто да кто??

Любовь. Я сейчас тоже буду перечислять: во-первых, его писательское величество, — не знаю, почему мама непременно хотела, чтоб он ее удостоил приходом; никогда у нас не бывал, и, говорят, неприятен, заносчив...

Трощейкин. Да... Ты знаешь, как я твою мать люблю и как я рад, что она живет у нас, а не в какой-нибудь уютной комнатке с тикающими часами и такой таксой, хотя бы за два квартала отсюда, — но извини меня, малютка, ее последнее произведение во вчерашней газете — катастрофа.

Любовь. Я тебя не это спрашиваю, а что купить к чаю.

Трощейкин. Мне все равно. Аб-со-лютно. Не хочу даже об этом думать. Купи что хочешь. Купи, скажем, земляничный торт... И побольше апельсинов, — этих, знаешь, кислых, но красивых: это сразу озаряет весь стол. Шампанское есть, а конфекты принесут гости.

Любовь. Интересно, где взять в августе апельсинов. Между прочим, вот все, что у нас есть в смысле денег. В мясной должны... Марфе должны... Не вижу, как дотянем до следующей получки.

Трощейкин. Повторяю, мне решительно все равно. Скучно, Люба, тоска! Мы с тобой шестой год киснем в этом сугубо провинциальном городке, где я, кажется, перемалевал всех отцов семейства, всех гулящих жёнок,

всех дантистов, всех гинекологов. Положение становится парадоксальным, если не попросту сальным. Кстати, знаешь, я опять на днях применил мой метод двойного портрета. Чертовски забавно. Под шумок написал Баумгартена сразу в двух видах — почтенным старцем, как он того хотел, а на другом холсте, как хотел того я, — с лиловой мордой, с бронзовым брюхом, в грозовых облаках, — но второго, конечно, я ему не показал, а подарил Куприкову. Когда у меня наберется с двадцать таких побочных продуктов, я их выставлю.

Любовь. У всех твоих планов есть одна замечательная особенность: они всегда как полуоткрытые двери, и захлопываются от первого ветра.

Трощейкин. Ах, скажите, пожалуйста! Ах, как мы все это умеем хорошо подметить да выразить... Ну, если бы это было так, то мы бы с тобой, матушка, *давно* подохли с голода.

Любовь. А этой «торговки» я тебе не прощу.

Трощейкин. Мы начинаем утро с брани, что невыразимо скучно. Сегодня я нарочно встал раньше, чтобы кое-что доделать, кое-что начать. Приятно... У меня от твоего настроения пропала всякая охота работать. Можешь радоваться.

Любовь. Ты лучше подумай, с чего сегодня началось. Нет, Алеша, так дольше невозможно... Тебе все кажется, что время, как говорится, врачует, а я знаю, что это только паллиатив — если не шарлатанство. Я ничего не могу забыть, а ты ничего не хочешь помнить. Если я вижу игрушку и при этом вспоминаю моего маленького, тебе делается скучно, досадно, — потому что ты условился сам с собой, что прошло три года и пора забыть. А может быть... Бог тебя знает, — может быть, тебе и нечего забывать.

Трощейкин. Глупости. Что ты, право... Главное, я ничего такого не сказал, а просто, что нельзя жить долгами прошлого. Ничего в этом ни пошлого, ни обидного нет.

Любовь. Все равно. Не будем больше говорить.

Трощейкин. Пжалста... *(Пауза. Он фиксирует эскиз из выдувного флакона, потом принимается за другое.)* Нет, я тебя совершенно не понимаю. И ты себя не понимаешь. Дело не в этом, а в том, что мы разлагаемся в захолустной

обстановке, как три сестры. Ничего, ничего... Все равно через годик придется из города убираться, хочешь не хочешь. Не знаю, почему мой итальянец не отвечает...

Входит Антонина Павловна Опояшина, мать Любови, с пестрым мячом в руках. Это аккуратная, даже несколько чопорная женщина, с лорнетом, сладковато-рассеянная.

Антонина Павловна. Здравствуйте, мои дорогие. Почему-то это попало ко мне. Спасибо, Алеша, за чудные цветочки.

Трощейкин *(он не поднимает головы от работы во всю эту сцену)*. Поздравляю, поздравляю. Сюда: в угол.

Любовь. Что-то ты рано встала. По-моему, еще нет девяти.

Антонина Павловна. Что ж, рано родилась. Кофеек уже пили?

Любовь. Уже. Может быть, по случаю счастливого пятидесятилетия, ты тоже выпьешь?

Трощейкин. Кстати, Антонина Павловна, вы знаете, кто еще, как вы, ест по утрам три пятых морковки?

Антонина Павловна. Кто?

Трощейкин. Не знаю, — я вас спрашиваю.

Любовь. Алеша сегодня в милом, шутливом настроении. Что, мамочка, что ты хочешь до завтрака делать? Хочешь, пойдем погулять? К озеру? Или зверей посмотрим?

Антонина Павловна. Каких зверей?

Любовь. На пустыре цирк остановился.

Трощейкин. И я бы пошел с вами. Люблю. Принесу домой какой-нибудь круп или старого клоуна в партикулярном платье.

Антонина Павловна. Нет, я лучше утром поработаю. Верочка, должно быть, зайдет... Странно, что от Миши ничего не было... Слушайте, дети мои, я вчера вечером настрочила еще одну такую фантазию, — из цикла «Озаренные Озера».

Любовь. А, чудно. Смотри, погода какая сегодня жалкая. Не то дождь, не то... туман, что ли. Не верится, что еще лето. Между прочим, ты заметила, что Марфа преспокойно забирает по утрам твой зонтик?

Антонина Павловна. Она только что вернулась и очень не в духах. Неприятно с ней разговаривать. Хотите мою сказочку прослушать? Или я тебе мешаю работать, Алеша?

Трощейкин. Ну, знаете, меня и землетрясение не отвлечет, если засяду. Но сейчас я просто так. Валяйте.

Антонина Павловна. А может, вам, господа, не интересно?

Любовь. Да нет, мамочка. Конечно, прочти.

Трощейкин. А вот почему вы, Антонина Павловна, пригласили нашего маститого? Все ломаю себе голову над этим вопросом. На что он вам? И потом, нельзя так: один ферзь, а все остальное — пешки.

Антонина Павловна. Вовсе не пешки. Мешаев, например — —

Трощейкин. Мешаев? Ну, *знаете...*

Любовь. Мамочка, не отвечай ему, — зачем?

Антонина Павловна. Я только хотела сказать, что Мешаев, например, обещал привести своего брата, оккультиста.

Трощейкин. У него брата нет. Это мистификация.

Антонина Павловна. Нет, есть. Но только он живет всегда в деревне. Они даже близнецы.

Трощейкин. Вот разве что близнецы...

Любовь. Ну, где же твоя сказка?

Антонина Павловна. Нет, не стоит. Потом как-нибудь.

Любовь. Ах, не обижайся, мамочка. Алеша!

Трощейкин. Я за него.

Звонок.

Антонина Павловна. Да нет... Все равно... Я сперва перестукаю, а то очень неразборчиво.

Любовь. Перестукай и приди почитать. Пожалуйста!

Трощейкин. Присоединяюсь.

Антонина Павловна. Правда? Ну ладно. Тогда я сейчас.

Уходя, сразу за дверью, она сталкивается с Ревшиным, который сперва слышен, потом виден: извилист, черная бородка, усатые брови, щеголь. Сослуживцы его прозвали: волосатый глист.

Р е в ш и н *(за дверью)*. Что, Алексей Максимович вставши? Жив, здоров? Все хорошо? Я, собственно, к нему на минуточку. *(К Трощейкину.)* Можно?

Т р о щ е й к и н. Входите, сэр, входите.

Р е в ш и н. Здравствуйте, голубушка. Здравствуйте, Алексей Максимович. Все у вас в порядке?

Т р о щ е й к и н. Как он заботлив, а? Да, кроме финансов, все превосходно.

Р е в ш и н. Извините, что внедряюсь к вам в такую рань. Проходил мимо, решил заглянуть.

Л ю б о в ь. Хотите кофе?

Р е в ш и н. Нет, благодарствуйте. Я только на минуточку. Эх, кажется, я вашу матушку забыл поздравить. Неловко как...

Т р о щ е й к и н. Что это вы нынче такой — развязно-нервный?

Р е в ш и н. Да нет, что вы. Вот, значит, как. Вы вчера вечером сидели дома?

Л ю б о в ь. Дома. А что?

Р е в ш и н. Просто так. Вот, значит, какие дела-делишки... Рисуете?

Т р о щ е й к и н. Нет. На арфе играю. Да садитесь куда-нибудь.

Пауза.

Р е в ш и н. Дождик накрапывает.

Т р о щ е й к и н. А, интересно. Еще какие новости?

Р е в ш и н. Никаких, никаких. Так просто. Сегодня я шел, знаете, и думал: сколько лет мы с вами знакомы, Алексей Максимович? Семь, что ли?

Л ю б о в ь. Я очень хотела бы понять, что случилось.

Р е в ш и н. Ах, пустяки. Так, деловые неприятности.

Т р о щ е й к и н. Ты права, малютка. Он как-то сегодня подергивается. Может быть, у вас блохи? Выкупаться нужно?

Р е в ш и н. Все изволите шутить, Алексей Максимович. Нет. Просто вспоминал, как был у вас шафером и все такое. Бывают такие дни, когда вспоминаешь.

Л ю б о в ь. Что это: угрызения совести?

Ревшин. Бывают такие дни... Время летит... Оглянешься...

Трощейкин. О, как становится скучно... Вы бы, сэр, лучше зашли в библиотеку и кое-что подчитали: сегодня днем будет наш маститый. Пари держу, что он явится в *смокинге*, как было у Вишневских.

Ревшин. У Вишневских? Да, конечно... А знаете, Любовь Ивановна, чашечку кофе я, пожалуй, все-таки выпью.

Любовь. Слава Тебе, Боже! Решили наконец. *(Уходит.)*

Ревшин. Слушайте, Алексей Максимович, — потрясающее событие! Потрясающе неприятное событие!

Трощейкин. Серьезно?

Ревшин. Не знаю, как вам даже сказать. Вы только не волнуйтесь, — и главное, нужно от Любови Ивановны до поры до времени скрыть.

Трощейкин. Какая-нибудь... сплетня, мерзость?

Ревшин. Хуже.

Трощейкин. А именно?

Ревшин. Неожиданная и ужасная вещь, Алексей Максимович!

Трощейкин. Ну так скажите, чорт вас дери!

Ревшин. Барбашин вернулся.

Трощейкин. *Что?*

Ревшин. Вчера вечером. Ему скостили полтора года.

Трощейкин. Не может быть!

Ревшин. Вы не волнуйтесь. Нужно об этом потолковать, выработать какой-нибудь модус вивенди.

Трощейкин. Какое там вивенди... хорошо вивенди. Ведь... *Что же теперь будет?* Боже мой... Да вы, вообще, шутите?

Ревшин. Возьмите себя в руки. Лучше бы нам с вами куда-нибудь... *(Ибо возвращается Любовь.)*

Любовь. Сейчас вам принесут. Между прочим, Алеша, она говорит, что фрукты — — Алеша, что случилось?

Трощейкин. Неизбежное.

Ревшин. Алексей Максимович, Алеша, друг мой, — мы сейчас с вами выйдем. Приятная утренняя свежесть, голова пройдет, вы меня проводите...

Любовь. Я немедленно хочу знать. Кто-нибудь умер?

Трощейкин. Ведь это же, господа, чудовищно смешно. У меня, идиота, только что было еще полтора года в запасе. Мы бы к тому времени давно были бы в другом городе, в другой стране, на другой планете. Я не понимаю: что это — западня? Почему никто нас загодя не предупредил? Что это за гадостные порядки? Что это за ласковые судьи? Ах, *сволочи*! Нет, вы подумайте! Освободили досрочно... Нет, это... это... Я буду жаловаться! Я — —

Ревшин. Успокойтесь, голубчик.

Любовь *(к Ревшину)*. Это правда?

Ревшин. Что правда?

Любовь. Нет — только не поднимайте бровей. Вы отлично понимаете, о чем я спрашиваю.

Трощейкин. Интересно знать, кому выгодно это попустительство. *(К Ревшину.)* Что вы молчите? Вы с ним о чем-нибудь?..

Ревшин. Да.

Любовь. А он как — очень изменился?

Трощейкин. Люба, оставь свои идиотские вопросы. Неужели ты не соображаешь, что теперь будет? Нужно бежать, — а бежать не на что и некуда. *Какая* неожиданность!

Любовь. Расскажите же.

Трощейкин. Действительно, что это вы как истукан... Жилы тянете... Ну!

Ревшин. Одним словом... Вчера около полуночи, так, вероятно, в три четверти одиннадцатого... фу, вру... двенадцатого, я шел к себе из кинематографа на вашей площади, и, значит, вот тут, в нескольких шагах от вашего дома, по той стороне, — знаете, где киоск, — при свете фонаря, вижу — и не верю глазам — стоит с папироской Барбашин.

Трощейкин. У нас на углу! Очаровательно. Ведь мы, Люба, вчера чуть-чуть не пошли тоже: ах, чудная фильма, ах «Камера Обскура» — лучшая фильма сезона!.. Вот бы и ахнуло нас по случаю сезона. Дальше!

Ревшин. Значит, так. Мы в свое время мало встречались, он мог забыть меня... но нет: пронзил взглядом, — знаете, как он умеет, свысока, насмешливо... и я невольно остановился. Поздоровались. Мне было, конечно, любо-

пытно. Что это, говорю, вы так преждевременно вернулись в наши края?

Любовь. Неужели вы прямо так его и спросили?

Ревшин. Смысл, смысл был таков. Я намямлил, сбил несколько приветственных фраз, а сделать вытяжку из них предоставил ему, конечно. Ничего, произвел. Да, говорит, за отличное поведение и по случаю официальных торжеств меня просили очистить казенную квартиру на полтора года раньше. И смотрит на меня: нагло.

Трощейкин. Хорош гусь! А? Что это такое, господа? Где мы? На Корсике? Поощрение вендетты?

Любовь *(к Ревшину)*. И тут, по-видимому, вы несколько струсили?

Ревшин. Ничуть. Что ж, говорю, собираетесь теперь делать? Жить, говорит, жить в свое удовольствие, — и со смехом на меня смотрит. А почему, спрашиваю, ты, сударь, шатаешься тут в потемках?.. То есть я это не вслух, но очень выразительно подумал, — он, надеюсь, понял. Ну и — расстались на этом.

Трощейкин. Вы тоже хороши. Почему не зашли *сразу*? Я же мог — мало ли что — выйти письмо опустить, — что тогда было бы? Потрудились бы позвонить, по крайней мере.

Ревшин. Да, знаете, как-то поздно было... Пускай, думаю, выспятся.

Трощейкин. Мне-то не особенно спалось. И теперь я понимаю, почему!

Ревшин. Я еще обратил внимание на то, что от него здорово пахнет духами. В сочетании с его саркастической мрачностью это меня поразило, как нечто едва ли не сатанинское.

Трощейкин. Дело ясно. О чем тут разговаривать... Дело *совершенно* ясно. Я всю полицию на ноги поставлю! Я этого благодушия не допущу! Отказываюсь понимать, *как*, после его угрозы, о которой знали и знают все, *как* после этого ему могли позволить вернуться в наш город!

Любовь. Он крикнул так в минуту возбуждения.

Трощейкин. А, вызбюздение... вызбюздение... это мне нравится... Ну, матушка, извини: когда человек стреляет, а потом видит, что ему убить наповал не удалось,

и кричит, что добьет после отбытия наказания, — это... это — не возбуждение, а факт, кровавый, мясистый факт... вот что это такое! Нет, какой же я был осел. Сказано было — семь лет, я и положился на это. Спокойно думал: вот еще четыре года, вот еще три, вот еще полтора, а когда останется полгода — лопнем, но уедем... С приятелем на Капри начал уже списываться... Боже мой! Бить меня надо.

Р е в ш и н. Будем хладнокровны, Алексей Максимович. Нужно сохранить ясность мысли и не бояться... хотя, конечно, осторожность — и вящая осторожность — необходима. Скажу откровенно: по моим наблюдениям, он находится в состоянии величайшей озлобленности и напряжения, а вовсе не укрощен каторгой. Повторяю: я, может быть, ошибаюсь.

Л ю б о в ь. Только каторга ни при чем. Человек просто сидел в тюрьме.

Т р о щ е й к и н. Все это *ужасно*!

Р е в ш и н. И вот мой план: к десяти отправиться с вами, Алексей Максимович, в контору к Вишневскому: раз он тогда вел ваше дело, то и следует к нему прежде всего обратиться. Всякому понятно, что вам нельзя так жить — под угрозой... Простите, что тревожу тяжелые воспоминания, но ведь это произошло в этой именно комнате?

Т р о щ е й к и н. Именно, именно. Конечно, это совершенно забылось, — и вот мадам обижалась, когда я иногда в шутку вспоминал... казалось каким-то театром, какой-то где-то виденной мелодрамой... Я даже иногда... да, это *вам* я показывал пятна кармина на полу и острил, что вот остался до сих пор след крови... Умная шутка.

Р е в ш и н. В этой, значит, комнате... Тцы-тцы-тцы.

Л ю б о в ь. В этой комнате, — да.

Т р о щ е й к и н. Да, в этой комнате. Мы тогда только что въехали: молодожены, у меня усы, у нее цветы, — все честь-честью: трогательное зрелище. Вот того шкафа не было, а вот этот стоял у той стены, а так все как сейчас, даже этот коврик...

Р е в ш и н. Поразительно!

Т р о щ е й к и н. Не поразительно, а преступно. Вчера, сегодня, все было так спокойно... А теперь, нате вам! Что я могу. У меня нет денег ни на самооборону, ни на бегство.

Как можно было его освобождать, после всего... Вот смотрите, как это было. Я... здесь сидел. Впрочем, нет, стол тоже стоял иначе. Так, что ли. Видите, воспоминание не сразу приспособляется ко второму представлению. Вчера казалось, что это было так давно...

Любовь. Это было восьмого октября, и шел дождь, — потому что я помню, санитары были в мокрых плащах, и лицо у меня было мокрое, пока несли. Эта подробность может тебе пригодиться при репродукции.

Ревшин. Поразительная вещь — память!

Трощейкин. Вот теперь мебель стоит правильно. Да, восьмого октября. Приехал ее брат, Михаил Иванович, и остался у нас ночевать. Ну вот. Был вечер. На улице уже тьма. Я сидел *тут*, у столика, и чистил яблоко. Вот так. Она сидела вон там, где сейчас стоит. Вдруг звонок. У нас была новая горничная, дубина, еще хуже Марфы. Поднимаю голову и вижу: в дверях стоит Барбашин. Вот станьте у двери. Совсем назад. Так. Мы с Любой машинально встали, и он немедленно открыл огонь.

Ревшин. Ишь... Отсюда до вас и десяти шагов не будет.

Трощейкин. И десяти шагов не будет. Первым же выстрелом он попал ей в бедро, она села на пол, а вторым — *жик* — мне в левую руку — сюда, — еще сантиметр, и была бы раздроблена кость. Продолжает стрелять, а я с яблоком, как молодой Телль. В это время... В это время входит и сзади наваливается на него шурин: вы его помните — здоровенный, настоящий медведь. Загреб, скрутил ему за спину руки и держит. А я, несмотря на ранение, несмотря на страшную боль, я спокойно подошел к господину Барбашину и как *трахну* его по физиономии... Вот тогда-то он и крикнул — дословно помню: погодите, вернусь и добью вас обоих!

Ревшин. А я помню, как покойная Маргарита Семеновна Гофман мне тогда сообщила. Ошарашила! Главное, каким-то образом пошел слух, что Любовь Ивановна при смерти.

Любовь. На самом деле, конечно, это был сущий пустяк. Я пролежала недели две, не больше. Теперь даже шрам незаметен.

Трощейкин. Ну, *положим.* И заметен. И не две недели, а больше месяца. Но, но, но! Я прекрасно помню. А я с рукой тоже немало провозился. Как все это... Как все это... Вот тоже — часы вчера разбил — чорт! Что, не пора ли?

Ревшин. Раньше десяти нет смысла: он приходит в контору около четверти одиннадцатого. Или можно прямо к нему на дом — это два шага. Как вы предпочитаете?

Трощейкин. А я сейчас к нему на дом позвоню, вот что.

Уходит.

Любовь. Скажи, Барбашин очень изменился?

Ревшин. Брось, Любка. Морда как морда.

Небольшая пауза.

Ревшин. История! Знаешь, на душе у меня очень, очень тревожно. Свербит как-то.

Любовь. Ничего — пускай посвербит, прекрасный массаж для души. Ты только не слишком вмешивайся.

Ревшин. Если я вмешиваюсь, то исключительно из-за тебя. Меня удивляет твое спокойствие! А я-то хотел подготовить тебя, боялся, что ты истерику закатишь.

Любовь. Виновата. Другой раз специально для вас закачу.

Ревшин. А как ты считаешь... Может быть, мне с ним поговорить по душам?

Любовь. С кем это ты хочешь по душам?

Ревшин. Да с Барбашиным. Может быть, если ему рассказать, что твое супружеское счастье не ахти какое — —

Любовь. Ты попробуй только — по душам! Он тебе по ушам за это «по душам».

Ревшин. Не сердись. Понимаешь, голая логика. Если он тогда покушался на вас из-за твоего счастья с мужем, то теперь у него пропала бы охота.

Любовь. Особенно ввиду того, что у меня романчик, — так, что ли? Скажи, скажи ему это, попробуй.

Ревшин. Ну знаешь, я все-таки джентльмэн... Но если бы он и узнал, ему было бы, поверь, наплевать. Это вообще в другом плане.

Любовь. Попробуй, попробуй.

Ревшин. Не сердись. Я только хотел лучше сделать. Ах, я расстроен!

Любовь. Мне все совершенно, совершенно безразлично. Если бы вы все знали, до чего мне безразлично... А живет-то он где, — все там же?

Ревшин. Да, по-видимому. Ты меня сегодня не любишь.

Любовь. Милый мой, я тебя никогда не любила. Никогда. Понял?

Ревшин. Любзик, не говори так. Грех!

Любовь. А ты вообще поговори погромче. Тогда будет совсем весело.

Ревшин. Как будто дорогой Алеша не знает! Давно знает. И наплевать ему.

Любовь. Что-то у тебя все много плюются. Нет, я сегодня решительно неспособна на такие разговоры. Очень благодарю тебя, что ты так мило прибежал, с высунутым языком, рассказать, поделиться и все такое — но, пожалуйста, теперь уходи.

Ревшин. Да, я сейчас с ним уйду. Хочешь, я подожду его в столовой? Вероятно, он по телефону всю историю рассказывает сызнова. *(Пауза.)* Любзик, слезно прошу тебя, сиди дома сегодня. Если нужно что-нибудь, поручи мне. И Марфу надо предупредить, а то еще впустит.

Любовь. А что ты полагаешь: он в гости придет? Мамочку мою поздравлять? Или что?

Ревшин. Да нет, так, — на всякий пожарный случай. Пока не выяснится.

Любовь. Ты только ничего не *выясняй.*

Ревшин. Вот тебе раз. Ты меня ставишь в невозможное положение.

Любовь. Ничего — удовлетворись невозможным. Оно еще недолго продлится.

Ревшин. Я бедный, я волосатый, я скучный. Скажи прямо, что я тебе приелся.

Любовь. И скажу.

Ревшин. А ты самое прелестное, странное, изящное существо на свете. Тебя задумал Чехов, выполнил Ростан

и сыграла Дузе. Нет, нет, нет, дарованного счастья не берут назад. Слушай, хочешь, я Барбашина вызову на дуэль?

Любовь. Перестань паясничать. Как это противно! Лучше поставь этот стол на место, — все *время* натыкаюсь. Прибежал, запыхтел, взволновал несчастного Алешу... Зачем это нужно было? Добьет, убьет, перебьет... Что за чушь, в самом деле!

Ревшин. Будем надеяться, что чушь.

Любовь. А может быть, убьет, — Бог его знает...

Ревшин. Видишь: ты сама допускаешь.

Любовь. Ну, милый мой, мало ли что я допускаю. Я допускаю вещи, которые вам не снятся.

Трощейкин возвращается.

Трощейкин. Все хорошо. Сговорился. Поехали: он нас ждет у себя дома.

Ревшин. А вы долгонько беседовали.

Трощейкин. О, я звонил еще в одно место. Кажется, удастся добыть немного денег. Люба, твоя сестра пришла: нужно ее и Антонину Павловну предупредить. Если достану, завтра же тронемся.

Ревшин. Ну, я вижу, вы развили энергию... Может быть, зря и Барбашин не так уже страшен: видите, даже в рифму.

Трощейкин. Нет, нет, махнем куда-нибудь, а там будем соображать. Словом, все налаживается. Слушайте, я вызвал такси, — пешком что-то не хочется. Поехали, поехали.

Ревшин. Только я платить не буду.

Трощейкин. Очень даже будете. Что вы ищете? Да *вот* она. Поехали. Ты, Люба, не волнуйся, я через десять минут буду дома.

Любовь. Я спокойна. Вернешься жив.

Ревшин. А вы сидите в светлице и будьте паинькой. Я еще днем забегу. Дайте лапочку.

Оба уходят направо, а слева неторопливо появляется Вера. Она тоже молода и миловидна, но мягче и ручнее сестры.

Вера. Здравствуй. Что это происходит в доме?

Любовь. А что?

Вера. Не знаю. У Алеши какой-то бешеный вид. Они ушли?

Любовь. Ушли.

Вера. Мама на машинке стучит, как зайчик на барабане. *(Пауза.)* Опять дождь, гадость. Смотри, новые перчатки. Дешевенькие-дешевенькие.

Любовь. У меня есть тоже обновка.

Вера. А, это интересно.

Любовь. Леонид вернулся.

Вера. Здорово!

Любовь. Его видели на нашем углу.

Вера. ...Недаром мне вчера снился.

Любовь. Оказывается, его из тюрьмы выпустили раньше срока.

Вера. Странно все-таки: мне снилось, что кто-то его запер в платяной шкаф, а когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой, страшно озабоченный, и помогал, а когда наконец отперли, там просто висел фрак. Странно, правда?

Любовь. Да. Алеша в панике.

Вера. Ах, Любушка, вот так новость! А занятно было бы на него посмотреть. Помнишь, как он меня всегда дразнил, как я бесилась. А в общем, дико завидовала тебе. Любушка, не надо плакать! Все это обойдется. Я уверена, что он вас не убьет. Тюрьма не термос, в котором можно держать одну и ту же мысль без конца в горячем виде. Не плачь, моя миленькая.

Любовь. Есть граница, до которой. Мои нервы выдерживают. Но она. Позади.

Вера. Перестань, перестань. Ведь есть закон, есть полиция, есть, наконец, здравый смысл. Увидишь: побродит немножко, вздохнет и исчезнет.

Любовь. Ах, да.не в этом дело. Пускай он меня убьет, я была бы только рада. Дай мне какой-нибудь платочек. Ах, Господи... Знаешь, я сегодня вспомнила моего маленького, — как бы он играл этими мячами, — а Алеша был так отвратителен, так страшен!

Вера. Да, я знаю. Я бы на твоем месте давно развелась.

Любовь. Пудра у тебя есть? Спасибо.

В е р а. Развелась бы, вышла бы за Ревшина и, вероятно, моментально развелась бы снова.

Л ю б о в ь. Когда он прибежал сегодня с фальшивым видом преданной собаки и рассказал, у меня перед глазами прямо вспыхнуло все, вся моя жизнь, и, как бумажка, сгорело. Шесть никому не нужных лет. Единственное счастье был ребенок, да и тот помер.

В е р а. Положим, ты здорово была влюблена в Алешу первое время.

Л ю б о в ь. Какое! Сама для себя разыграла. Вот и все. Был только один человек, которого я любила.

В е р а. А мне любопытно: он объявится или нет. Ведь на улице ты его, наверное, как-нибудь встретишь.

Л ю б о в ь. Есть одна вещь... Вот, как его Алеша ударил по щеке, когда Миша его держал. Воспользовался. Это меня всегда преследовало, всегда жгло, а теперь жжет особенно. Может быть, потому, что я чувствую, что Леня никогда мне не простит, что я это видела.

В е р а. Какое это было вообще дикое время... Господи! Что с тобой делалось, когда ты решила порвать, помнишь? Нет, ты помнишь?

Л ю б о в ь. Глупо я поступила, а? Такая идиотка.

В е р а. Мы сидели с тобой с темном саду, и падали звезды, и мы обе были в белых платьях, как привидения, и табак на клумбе был как привидение, и ты говорила, что не можешь больше, что Леня тебя выжимает: вот так.

Л ю б о в ь. Еще бы. У него был ужасающий характер. Сам признавался, что не характер, а харакири. Бесконечно, бессмысленно донимал ревностью, настроениями, всякими своими заскоками. А все-таки это было самое-самое лучшее мое время.

В е р а. А помнишь, как папа испуганно говорил, что он темный делец: полжизни в тени, а другая половина зыбкая, зыбкая, зыбкая.

Л ю б о в ь. Ну, это, положим, никто не доказал. Лене просто все очень завидовали, а папа вообще считал, что если заниматься денежными операциями, ничем, в сущности, не торгуя, человек должен сидеть либо за решеткой банка, либо за решеткой тюрьмы. А Леня был сам по себе.

Вера. Да, но это тоже повлияло тогда на тебя.

Любовь. На меня все насели. Миша сидел всей своей тушей. Мама меня тихонько подъедала, как собака ест куклу, когда никто не смотрит. Только ты, моя душенька, все впитывала и ничему не удивлялась. Но, конечно, главное я сама: когда я по нашим свиданиям в парке представляла себе, какова будет с ним жизнь в доме, то я чувствовала — нет, это нельзя будет выдержать: вечное напряжение, вечное электричество... Просто идиотка.

Вера. А помнишь, как он, бывало, приходил мрачный и мрачно рассказывал что-нибудь дико смешное. Или как мы втроем сидели на веранде, и я знала, что вам до крика хочется, чтоб я ушла, а я сидела в качалке и читала Тургенева, а вы на диване, и я знала, что, как только уйду, вы будете целоваться, и поэтому не уходила.

Любовь. Да, он меня безумно любил, безумно невезучей любовью. Но бывали и другие минуты — совершенной тишины.

Вера. Когда папа умер и был продан наш дом и сад, мне было обидно, что как-то в придачу отдается все, что было в углах нашептано, нашучено, наплакано.

Любовь. Да, слезы, озноб... Уехал по делам на два месяца, а тут подвернулся Алеша, с мечтами, с ведрами краски. Я притворилась, что меня закружило, — да и Алеши было как-то жаль. Он был такой детский, такой беспомощный. И я тогда написала это ужасное письмо Лене: помнишь, мы смотрели с тобой посреди ночи на почтовый ящик, где оно *уже* лежало, и казалось, что ящик разбух и сейчас разорвется, как бомба.

Вера. Мне лично Алеша никогда не импонировал. Но мне казалось, что у тебя будет с ним замечательно интересная жизнь, а ведь мы до сих пор, собственно, не знаем, великий ли он художник или чепуха. «Мой предок, воевода четырнадцатого века, писал *Трощейкин* через “ять”, а посему, дорогая Вера, попрошу и вас впредь писать так мою фамилию».

Любовь. Да, вот и выходит, что я вышла замуж за букву ять. А что теперь будет, я совершенно не знаю... Ну, скажи: почему у меня было это бесплатное добавление с Ревшиным? На что это мне: только лишняя обуза на душе,

лишняя пыль в доме. И как это унизительно, что Алеша все отлично знает, а делает вид, что все чудно. Боже мой, Верочка, подумай: Леня сейчас за несколько улиц от нас, я мысленно все время туда ускакиваю и ничего не вижу.

Входит Марфа с двумя мячами.

Вера. Во всяком случае, все это безумно интересно.

Марфа убирает чашку от кофе.

Марфа. А что купить к чаю-то? Или вы сами?

Любовь. Нет, уж вы, пожалуйста. Или, может быть, заказать по телефону? Не знаю, — я сейчас приду и скажу вам.

Вбегает Трощейкин. Марфа уходит.

Любовь. Ну что?

Трощейкин. Ничего: в городе спокойно.

Вера. А ты что, Алеша, предполагал: что будут ходить с флагами?

Трощейкин. А? Что? Какие флаги? *(К жене.)* Она уже знает?

Любовь пожимает плечами.

Трощейкин *(к Вере)*. Ну, что ты скажешь? Хорошее положение, а?

Вера. По-моему, замечательное.

Трощейкин. Можешь меня поздравить. Я с Вишневским немедленно разругался. Старая жаба! Ему и горя мало. Звонил в полицию, но так и осталось неизвестно, есть ли надзор, а если есть, то в чем он состоит. Выходит так, что, пока нас не убьют, ничего нельзя предпринять. Словом, все очень мило и элегантно. Между прочим, я сейчас из автомобиля видел его сподручного — как его? — Аршинского. Не к добру.

Вера. О, Аршинского? Он здесь? Тысячу лет его не встречала. Да, он очень был дружен с Леней Барбашиным.

Трощейкин. Он с Леней Барбашиным фальшивые векселя стряпал, — такой же мрачный прохвост. Слушай, Люба, так как на отъезд нужны деньги, я не хочу сегодня

пропускать сеансы, — в два придет ребенок, а потом старуха, но, конечно, гостей нужно отменить, позаботься об этом.

Любовь. Вот еще! Напротив: я сейчас распоряжусь насчет торта. Это мамин праздник, и я ни в коем случае не собираюсь портить ей удовольствие ради каких-то призраков.

Трощейкин. Милая моя, эти призраки *убивают*. Ты это понимаешь или нет? Если вообще ты относишься к опасности с такой птичьей беспечностью, то я... не знаю.

Вера. Алеша, ты боишься, что он проскользнет вместе с другими?

Трощейкин. Хотя бы. Ничего в этом смешного нет. Га-стей ждут! Скажите, пожалуйста. Когда крепость находится на положении *осады*, то не зазывают дорогих знакомых.

Любовь. Алеша, крепость уже сдана.

Трощейкин. Ты что, нарочно? Решила меня извести?

Любовь. Нет, просто не хочу другим портить жизнь из-за твоих фанаберий.

Трощейкин. Есть тысяча вещей, которые нужно решить, а мы занимаемся черт знает чем. Допустим, что Баумгартен мне добудет денег... Что дальше? Ведь это значит, все нужно бросить, — а у меня пять портретов на мази, и важные письма, и часы в починке... И если ехать, то куда?

Вера. Если хочешь знать мое мнение, ты это слишком принимаешь к сердцу. Мы тут сейчас сидели с Любой и вспоминали прошлое, — и пришли к заключению, что у тебя нет никакого основания бояться Лени Барбашина.

Трощейкин. Да что ты его все Леней... Кто это — вундеркинд? Вот Вишневский меня тоже ус-по-ка-ивал. Я хорошо его осадил. Теперь уж на казенную помощь надеяться не приходится, — обиделась жаба. Я не трус, я боюсь не за себя, но я вовсе не хочу, чтобы первый попавшийся мерзавец всадил в меня пулю.

Вера. Я не понимаю, Алеша, одной маленькой вещи. Ведь я отлично помню, не так давно мы как-то все вместе обсуждали вопрос: что будет, когда Барбашин вернется.

Любовь вышла.

Трощейкин. Предположим...

Вера. И вот тогда ты совершенно спокойно — — Нет, ты не стой ко мне спиной.

Трощейкин. Если я смотрю в окно, то недаром.

Вера. Боишься, что он подкарауливает?

Трощейкин. Э, не сомневаюсь, что он где-то поблизости и ждет момента...

Вера. ...Ты тогда спокойно все предвидел и уверял, что у тебя нет злобы, что будешь когда-нибудь пить с ним брудершафт. Одним словом, кротость и благородство.

Трощейкин. Не помню. Напротив: не было дня, чтобы я не мучился его возвращением. Что ты полагаешь, — я не подготовлял отъезда? Но как я мог предвидеть, что его вдруг простят? Как, скажи? Через месяца два была бы моя выставка... Кроме того, я жду писем... Через год уехали бы... И уже навеки, конечно!

Любовь возвращается.

Любовь. Ну вот. Мы сейчас завтракаем. Верочка, ты остаешься у нас, правда?

Вера. Нет, миленькая, я пойду. К маме еще раз загляну и уж пойду к себе. Знаешь, Вашечка из больницы приходит, надо его накормить. Я приду днем.

Любовь. Ну, как хочешь.

Вера. Между прочим, эта его ссора с мамой меня начинает раздражать. Обидеться на старую женщину оттого, что она посмела сболтнуть, что он кому-то неправильно диагноз поставил. Ужасно глупо.

Любовь. Только приходи сразу после завтрака.

Трощейкин. Господа, это чистейшее безумие! Я тебе повторяю в последний раз, Люба: нужно отменить сегодняшний фестиваль. К чорту!

Любовь *(к Вере)*. Какой он странный, правда? Вот он будет так зудить еще час и нисколько не устанет.

Трощейкин. Превосходно. Только я присутствовать не буду.

Любовь. Знаешь, Верочка, я, пожалуй, выйду с тобой до угла: солнышко появилось.

Трощейкин. Ты выйдешь на улицу? Ты — —

Вера. Пожалей мужа, Любинька. Успеешь погулять.

Трощейкин. Нет, милая моя... если ты... если ты это сделаешь...

Любовь. Хорошо, хорошо. Только не ори.

Вера. Ну вот, я пошла. Тебе, значит, нравятся мои перчатки? Симпатичные, правда? А ты, Алеша, успокойся... Возьми себя в руки... Никто твоей крови не жаждет...

Трощейкин. Завидую, голубушка, твоему спокойствию! А вот когда твою сестру ухлопают наповал, тогда вот ты вспомнишь — и попрыгаешь. Я, во всяком случае, завтра уезжаю. А если денег не достану, то буду знать, что хотят моей гибели. О, если я был бы ростовщик, бакалейщик, как бы меня берегли! Ничего, ничего! Когда-нибудь мои картины заставят людей почесать затылки, — только я этого не увижу. Какая подлость! Убийца по ночам бродит под окнами, а жирный адвокат советует дать *утрястись*. Кто это будет утряхиваться, собственно говоря? Это мне-то в гробу трястись по булыжникам? Нет-с, извините! Я еще постою за себя!

Вера. До свиданья, Любинька. Значит, я скоро приду. Я уверена, что все будет хорошо, правда? Но, пожалуй, все-таки лучше сиди дома сегодня.

Трощейкин *(у окна)*. Люба! Скорей сюда. Он.

Вера. Ах, я тоже хочу посмотреть.

Трощейкин. Там!

Любовь. Где? Я ничего не вижу.

Трощейкин. Там! У киоска. Там, там, там. Стоит. Ну, видишь?

Любовь. Какой? У края панели? С газетой?

Трощейкин. Да, да, да!

Входит Антонина Павловна.

Антонина Павловна. Дети мои, Марфа уже подает.

Трощейкин. Теперь видишь? Что, кто был прав? Не высовывайся! С ума сошла!..

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Гостиная, она же столовая. Любовь, Антонина Павловна. Стол, буфет. Марфа, краснолицая старуха, с двумя мясистыми наростами на виске и у носа, убирает со стола остатки завтрака и скатерть.

Марфа. А в котором часу он придет-то, Любовь Ивановна?

Любовь. Вовсе не придет. Можете отложить попечение.

Марфа. Какое печение?

Любовь. Ничего. *Вышитую* скатерть, пожалуйста.

Марфа. Напугал меня Алексей Максимович. В *очках*, говорит, будет.

Любовь. Очки? Что вы такое выдумываете?

Марфа. Да мне все одно. Я его сроду не видала.

Антонина Павловна. Вот. Нечего сказать — хорошо он ее натаскал.

Любовь. Я никогда и не сомневалась, что Алеша собьет ее с толка. Когда он пускается описывать наружность человека, то начинается квазифантазия или тенденция. *(К Марфе.)* Из кондитерской все прислали?

Марфа. Что было заказано, то и прислали. Бледный, говорит, ворот поднят, а где это я узнаю бледного от румяного, раз — ворот да черные очки? *(Уходит.)*

Любовь. Глупая бытовая старуха.

Антонина Павловна. Ты, Любушка, все-таки попроси Ревшина последить за ней, а то она вообще со страху никого не впустит.

Любовь. Главное, она врет. Превосходно может разобраться, если захочет. От этих сумасшедших разговоров я и сама начинаю верить, что он вдруг явится.

Антонина Павловна. Бедный Алеша! Вот кого жалко... *Ее* напугал, на *меня* накричал почему-то... Что я такого сказала за завтраком?

Любовь. Ну, это понятно, что он расстроен. *(Маленькая пауза.)* У него даже начинаются галлюцинации... Принять какого-то низенького блондина, спокойно покупающего газету, за — — Какая чушь! Но ведь его не разу-

бедишь. Решил, что Барбашин ходит под нашими окнами, значит, э[illegible]к.

Антонина Павловна. Смешно, о чем я сейчас подумала: ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса.

Любовь. Дорогая моя мамочка! Ты чудная сырая женщина. Я так рада, что судьба дала мне литературную мать. Другая бы выла и причитала на твоем месте, а ты творишь.

Антонина Павловна. Нет, правда. Можно было бы перенести на сцену, почти не меняя, только сгущая немножко. Первый акт: вот такое утро, как нынче было... Правда, вместо Ревшина я бы взяла другого вестника, менее трафаретного. Явился, скажем, забавный полицейский чиновник с красным носом или адвокат с еврейским акцентом. Или, наконец, какая-нибудь роковая красавица, которую Барбашин когда-то бросил. Все это можно без труда подвзбить. А дальше, значит, развивается.

Любовь. Одним словом: «Господа, к нам в город приехал ревизор». Я вижу, что ты всю эту историю воспринимаешь как добавочный сюрприз по случаю твоего рождения. Молодец, мамочка! А как, по-твоему, развивается дальше? Будет стрельба?

Антонина Павловна. Ну, это еще надобно подумать. Может быть, он сам покончит с собой у твоих ног.

Любовь. А мне очень хотелось бы знать окончание. Леонид Викторович говорил о пьесах, что если в первом действии висит на стене ружье, то в последнем оно должно дать осечку.

Антонина Павловна. Ты только, пожалуйста, никаких глупостей не делай. Подумай, Любушка, ведь это — *счастье*, что ты за него не вышла. А как ты злилась на меня, когда я еще в самом начале старалась тебя урезонить!

Любовь. Мамочка, сочиняй лучше пьесу. А мои воспоминания с твоими никогда не уживаются, так что не стоит и сводить. Да, ты хотела нам почитать свою сказку.

Антонина Павловна. Прочту, когда соберутся гости. Ты уж потерпи. Я ее перед завтраком пополнила и отшлифовала. *(Маленькая пауза.)* Не понимаю, отчего

мне от Миши не было письмеца. Странно. Не болен ли он...

Любовь. Глупости. Забыл, а в последнюю минуту помчится галопом на телеграф.

Входит Ревшин, чуть ли не в визитке.

Ревшин. Еще раз здравствуйте. Как настроеньице?

Любовь. О, великолепное. Вы что, на похороны собрались?

Ревшин. Это почему? Черный костюм? Как же иначе: семейное торжество, пятидесятилетие дорогой писательницы. Вы, кажется, любите хризантемы, Антонина Павловна... Цветок самый писательский.

Антонина Павловна. Прелесть! Спасибо, голубчик. Любушка, вон там ваза.

Ревшин. А знаете, почему цветок писательский? Потому что у хризан*темы* всегда есть *темы*.

Любовь. Душа общества...

Ревшин. А где Алексей Максимович?

Антонина Павловна. Ах, у бедняжки сеанс. Рисует сынка ювелира. Что, есть у вас какие-нибудь вести? Беглого больше не встречали?

Любовь. Так я и знала: теперь пойдет слух, что он сбежал с каторги.

Ревшин. Особых вестей не имеется. А как вы расцениваете положение, Антонина Павловна?

Антонина Павловна. Оптимистически. Кстати, я убеждена, что если бы мне дали пять минут с ним поговорить, все бы сразу прояснилось.

Любовь. Нет, эта ваза не годится. Коротка.

Антонина Павловна. Он зверь, а я со зверьми умею разговаривать. Моего покойного мужа однажды хотел обидеть действием пациент, — что будто, значит, его жену не спасли вовремя. Я его живо угомонила. Давай-ка эти цветочки сюда. Я сама их устрою — у меня там ваз сколько угодно. Моментально присмирел.

Любовь. Мамочка, этого никогда не было.

Антонина Павловна. Ну конечно: если у меня есть что-нибудь занимательное рассказать, то это только мой вымысел. *(Уходит с цветами.)*

Ревшин. Что ж — судьба всех авторов!

Любовь. Наверное — ничего нет? Или все-таки позанялись любительским сыском?

Ревшин. Ну что ты опять на меня ополчаешься... Ты же... вы же... знаете, что я — —

Любовь. Я знаю, что вы обожаете развлекаться чужими делами. Шерлок Холмс из Барнаула.

Ревшин. Да нет, право же...

Любовь. Вот поклянитесь мне, что вы его больше не видели!

Страшный звон. Вбегает Трощейкин.

Трощейкин. Зеркало разбито! Гнусный мальчишка разбил мячом *зеркало*!

Любовь. Где? Какое?

Трощейкин. Да в передней. Поди — поди — поди. Полюбуйся!

Любовь. Я тебя предупреждала, что после сеанса он должен сразу отправляться домой, а не шпарить в футбол. Конечно, он сходит с ума, когда пять мячей... *(Быстро уходит.)*

Трощейкин. Говорят, отвратительная примета. Я в приметы не верю, но почему-то они у меня в жизни всегда сбывались. Как неприятно... Ну, рассказывайте.

Ревшин. Да, кое-что есть. Только убедительно прошу — ни слова вашей жёнке. Это ее только взбудоражит, особенно ввиду того, что она к этой истории относится как к своему частному делу.

Трощейкин. Хорошо, хорошо... Вываливайте.

Ревшин. Итак, как только мы с вами расстались, я отправился на его улицу и стал на дежурство.

Трощейкин. Вы его видели? Говорили с ним?

Ревшин. Погодите, я по порядку.

Трощейкин. К чорту порядок!

Ревшин. Замечание по меньшей мере анархическое, но все-таки потерпите. Вы уже сегодня испортили отношения с Вишневским вашей склонностью к быстрым словам.

Трощейкин. Ну, это начхать. Я иначе устроюсь.

Ревшин. Было, как вы знаете, около десяти. Ровно в половине одиннадцатого туда вошел Аршинский, — вы знаете, о ком я говорю?

Трощейкин. То-то я его видел на бульваре, — очевидно, как раз туда шел.

Ревшин. Я решил ждать, несмотря на дождик. Проходит четверть часа, полчаса, сорок минут. «Ну, — говорю, — он, вероятно, до ночи не выйдет».

Трощейкин. Кому?

Ревшин. Что кому?

Трощейкин. Кому вы это сказали?

Ревшин. Да тут из лавки очень толковый приказчик, — и еще одна дама из соседнего дома с нами стояла. Ну, еще кое-кто, — не помню. Это совершенно не важно. Словом, говорили, что он уже утром выходил за папиросами, а сейчас, наверное, пойдет завтракать. Тут погода несколько улучшилась...

Трощейкин. Умоляю вас — без описаний природы. Вы его видели или нет?

Ревшин. Видел. Без двадцати двенадцать он вышел вместе с Аршинским.

Трощейкин. Ага!

Ревшин. В светло-сером костюме. Выбрит как бог, а выражение на лице ужасное: черные глаза горят, на губах усмешка, брови нахмурены. На углу он распрощался с Аршинским и вошел в ресторан. Я так, незаметно, профланировал мимо и сквозь витрину вижу: сидит за столиком у окна и что-то записывает в книжечку. Тут ему подали закуску, он ею занялся, — ну, а я почувствовал, что тоже смертный, и решил пойти домой завтракать.

Трощейкин. Значит, он был угрюм?

Ревшин. Адски угрюм.

Трощейкин. Ну, кабы я был законодателем, я бы за выражение лица тащил бы всякого в участок — сразу. Это все?

Ревшин. Терпение. Не успел я отойти на пять шагов, как меня догоняет ресторанный лакей с запиской. От него. Вот она. Видите, сложено, и сверху его почерком: «Господину Ревшину, в руки». Попробуйте угадать, что в ней сказано.

Трощейкин. Давайте скорей, некогда гадать.

Ревшин. А все-таки.

Трощейкин. Давайте, вам говорят.

Ревшин. Вы бы, впрочем, все равно не угадали. Нате.

Трощейкин. Не понимаю... Тут ничего не написано... Пустая бумажка.

Ревшин. Вот это-то и жутко. Такая белизна страшнее всяких угроз. Меня прямо ослепило.

Трощейкин. А он талантлив, этот гнус. Во всяком случае, нужно сохранить. Может пригодиться как вещественное доказательство. Нет, я больше так не могу жить... Который час?

Ревшин. Двадцать пять минут четвертого.

Трощейкин. Через полчаса придет мерзейшая Вагабундова: представляете себе, как мне *весело* сегодня писать портреты? И это ожидание... Вечером мне должны позвонить... Если денег не будет, то придется вас послать за горячечной рубашкой для меня. Каково положение! Я кругом в авансе, а в доме шиш. Неужели вы ничего не можете придумать?

Ревшин. Да что ж, пожалуй... Видите ли, у меня лично свободных денег сейчас нет, но в крайнем случае я достану вам на билет, — недалеко, конечно, — и, скажем, на две недели жизни там, с условием, однако, что Любовь Ивановну вы отпустите к моей сестре в деревню. А дальше будет видно.

Трощейкин. Ну, извините: я без нее не могу. Вы это отлично знаете. Я ведь как малый ребенок. Ничего не умею, все путаю.

Ревшин. Что ж, придется вам все путать. Ей будет там отлично, сестра у меня первый сорт, я сам буду наезжать. Имейте в виду, Алексей Максимович, что когда мишень разделена на две части и эти части в разных местах, то стрелять не во что.

Трощейкин. Да я ничего не говорю... Это вообще разумно... Но ведь Люба заартачится.

Ревшин. Как-нибудь можно уговорить. Вы только подайте так, что, дескать, это ваша мысль, а не моя. Так будет приличней. Мы с вами сейчас говорим, как джентльмэн с джентльмэном, и, смею думать, вы отлично понимаете положение.

Трощейкин. Ну, посмотрим. А как вы считаете, сэр, — если действительно я завтра отправлюсь, может быть, мне загримироваться? У меня как раз остались от нашего театра борода и парик. А?

Ревшин. Почему же? Можно. Только смотрите, не испугайте пассажиров.

Трощейкин. Да, это все как будто... Но с другой стороны, я думаю, что если он обещал, то он мне достанет. Что?

Ревшин. Алексей Максимович, я не в курсе ваших кредитных возможностей.

Входят Любовь и Вера.

Вера *(к Ревшину)*. Здравствуйте, конфидант.

Трощейкин. Вот, послушай, Люба, что он рассказывает... *(Лезет в карман за запиской.)*

Ревшин. Дорогой мой, вы согласились этого рискованного анекдота дамам не сообщать.

Любовь. Нет, сообщите немедленно.

Трощейкин. Ах, отстаньте вы все от меня! *(Уходит.)*

Любовь *(к Ревшину)*. Хороши!

Ревшин. Клянусь, Любовь Ивановна...

Любовь. Вот о чем я вас попрошу. Там, в передней, Бог знает какой разгром. Я, например, палец порезала. Пойдите-ка — нужно перенести из спальни другое зеркало. Марфа не может.

Ревшин. С удовольствием.

Любовь. И вообще, вы будете следить, чтоб она не шуганула какого-нибудь невинного гостя, приняв его за вашего сегодняшнего собеседника.

Ревшин. Любовь Ивановна, я с ним не беседовал, — вот вам крест.

Любовь. И заодно скажите ей, чтоб она пришла ко мне помочь накрыть к чаю. Сейчас начнут собираться.

Вера. Любочка, позволь мне накрыть, я это обожаю.

Ревшин. Увидите, буду как цербер. *(Уходит.)*

Любовь. Всякий раз, когда ожидаю гостей, я почему-то думаю о том, что жизнь свою я профукала. Нет, лучше маленькие... Так что ж ты говоришь? Значит, у него все та же экономка?

Вера. Да, все та же. Эти?

Любовь. Хотя бы. А откуда же Лиза ее знает?

Вера. Она как-то рекомендовала Лизу Станиславским, а я ее от них получила. Я как сегодня пришла от тебя, застала ее за оживленной беседой с дворником. Барбашин да Барбашин — сплошное бормотание. Словом, оказывается, что он приехал без предупреждения, вчера, около семи вечера, но все было в полном порядке, так как экономка там все время жила.

Любовь. Да, я хорошо помню эту квартиру.

Вера. Нынче ночью он выходил куда-то, а потом чуть ли не с утра писал на машинке письма.

Любовь. Ах, Вера, как это все, в общем, плоско. Почему я должна интересоваться сплетнями двух старых баб?

Вера. А все-таки интересно, сознайся! И немножко страшно.

Любовь. Да — и немножко страшно...

Входит Марфа с тортом и Антонина Павловна с фруктами.

Вера. Вдруг он правда замышляет что-нибудь зловещее? Да, вот еще: будто бы очень отощал в тюрьме и первым делом заказал котлет и бутылку шампанского. Вообще, Лиза тебя очень жалела... Сколько будет человек приблизительно? Я правильно сосчитала?

Любовь. Писатель... Тетя Женя, дядя Поль... Старушка Николадзе... Мешаев... Ревшин... Мы четверо... кажется, все. На всякий случай, еще один бокал поставим.

Вера. Для кого это? Или?..

Антонина Павловна. Мешаев говорил, что, может быть, будет его брат. А знаешь, Любуша...

Любовь. Что?

Антонина Павловна. Нет, ничего, я думала, что это из старых вилочек.

Входит Трощейкин.

Трощейкин. Ну вот, слава Богу. Люди начинают просыпаться. Люба, сейчас звонил Куприков и умолял нас не выходить на улицу. Он сейчас у меня будет. Очевидно, есть что-то новое. Не хотел по телефону.

Любовь. Очень жаль, что придет. Я совершенно не выношу твоих коллег. Видишь, Вера, бокал пригодится. Ставь-ка еще лишний.

Трощейкин. Да, кажется, люди начинают понимать, в каком мы находимся положении. Ну, я, знаешь, подкреплюсь.

Любовь. Оставь торт, не будь хамом. Подожди, пока соберутся гости, тогда будешь под шумок нажираться.

Трощейкин. Когда придут гости, то я буду у себя. Это уж извините. Хорошо, я возьму просто конфету.

Вера. Алеша, не порти. Я так чудно устроила. Слушай, я тебя сейчас шлепну по пальцам.

Антонина Павловна. Вот тебе кусочек кекса.

Звонок.

Трощейкин. А, это старуха Вагабундова. Попробую сегодня дописать. У меня руки трясутся, не могу держать кисть, — а все-таки допишу ее, чорт бы ее взял! Церемониться особенно не буду.

Вера. Это у тебя от жадности — руки трясутся.

Входит Ревшин.

Ревшин. Господа, там пришла какая-то особа: судя по некоторым признакам, она не входит в сегодняшнюю программу. Какая-то Элеонора Шнап. Принимать?

Трощейкин. Что это такое, Антонина Павловна? Кого вы зазываете? В шею?

Антонина Павловна. Я ее не приглашала. Шнап? Шнап? Ах, Любушка... Это ведь, кажется, твоя бывшая акушерка?

Любовь. Да. *Страшная* женщина. Не надо ее.

Антонина Павловна. Раз она пришла меня поздравить, то нельзя гнать. Не мило.

Любовь. Как хочешь. *(К Ревшину.)* Ну, живо. Зовите.

Вера. Мы ее последний раз видели на похоронах...

Любовь. Не помню, ничего не помню...

Трощейкин *(собирается уйти налево)*. Меня, во всяком случае, нет.

Вера. Напрасно, Алеша. Племянница ее первого мужа была за двоюродным братом Барбашина.

Трощейкин. А! Это другое дело...

Входит Элеонора Шнап: фиолетовое платье, пенснэ.

Антонина Павловна. Как любезно, что вы зашли. Я, собственно, просила не разглашать, но, по-видимому, скрыть невозможно.

Элеонора Шнап. К сожленью, об этом уже говорит вес, вес город.

Антонина Павловна. Именно, к *сожалению*! Очень хорошо. Я сама понимаю, что этим нечего гордиться. . лько ближе к могиле. Это моя дочь Вера, Любовь вы, конечно, знаете, моего зятя тоже, а Надежды у меня нет.

Элеонора Шнап. Божмой! Неужели безнадежно?

Антонина Павловна. Да, ужасно безнадежная семья. *(Смеется.)* А до чего мне хотелось иметь маленькую Надю с зелеными глазками.

Элеонора Шнап. Т-ак?

Любовь. Тут происходит недоразумение. Мамочка!

Антонина Павловна. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас будем чай пить.

Элеонора Шнап. Когда я сегодня узнала, то приам всплеснула руками. Думаю себе: нужно чичас проведать пойти.

Любовь. И посмотреть, как они это переживают?

Антонина Павловна. Очень, очень любезно. А кто вам, собственно, сказал? Женя, Евгения Васильевна?

Элеонора Шнап. Нет. Мадам Вишневская.

Антонина Павловна. Да она-то откуда знает? Алеша, ты разболтал?

Любовь. Мамочка, я тебе говорю, тут происходит идиотская путаница. *(К Шнап.)* Дело в том, что сегодня рождение моей матери.

Элеонора Шнап. Несчастная мать! О, я все панмаю...

Трощейкин. Скажите, вы, может быть, этого человека — —

Любовь. Перестань, пожалуйста. Что это за разговоры?

Элеонора Шнап. Друг спознается во время большого несчастья, а недруг во время маленьких. Так мой профессор Эссер всегда говорил. Я не могла не прийти...

Вера. Никакого несчастья нет. Что вы! Все совершенно спокойны и даже в праздничном настроении.

Элеонора Шнап. Да, это хорошо. Никогда не нужно поддаваться. Нужно держаться — так! *(К Любови.)* Бедная, бедная вы моя! Бедная жертвенница. Благодарите Бога, что ваш младенчик не видит всего этого.

Любовь. Скажите, Элеонора Карловна... а у вас много работы? Много рожают?

Элеонора Шнап. О, я знаю: моя репутация — репутация холодного женского врача... Но право же, кроме щипцов, я имею еще большое грустное сердце.

Антонина Павловна. Во всяком случае, мы очень тронуты вашим участием.

Любовь. Мамочка! Это невыносимо...

Звонок.

Трощейкин. Так, между нами: вы, может быть, этого человека сегодня видели?

Элеонора Шнап. Чичас заходила, но его не было у себя. А что, желайте передать ему что-либо?

Входит Ревшин.

Ревшин. К вам, Алексей Максимович: госпожа Вагабундова.

Трощейкин. Сию минуту. Слушай, Люба, когда придет Куприков, вызови меня немедленно.

Вагабундова входит, как прыгающий мяч: очень пожилая, белое с кружевами платье, такой же веер, бархатка, абрикосовые волосы.

Вагабундова.

Здрасте, здрасте, извиняюсь за вторженье!
Алексей Максимович, ввиду положенья — —

Трощейкин. Пойдем, пойдем!

Вагабундова. — и данных обстоятельств — —

Любовь. Сударыня, он сегодня очень в ударе, увидите!

Вагабундова.

Без препирательств!
Нет — нет — нет.
Вы не можете рисовать мой портрет.
Господи, как это вам нравится!
Убивать такую красавицу!

Трощейкин. Портрет кончить необходимо.

Вагабундова.

Художник, мне не нужно геройства!
Я уважаю ваше расстройство:
я сама вдова —
и не раз, а два.
Моя брачная жизнь была мрачная ложь
и состояла сплошь
из смертей.
Я вижу, вы ждете гостей?

Антонина Павловна. Присаживайтесь, пожалуйста.

Вагабундова. Жажду новостей!

Трощейкин. Послушайте, я с вами говорю серьезно. Выпейте чаю, съешьте чего хотите, — вот эту гулю с кремом, — но потом я хочу вас *писать*! Поймите, я, вероятно, завтра уеду. Надо кончать!

Элеонора Шнап. Т-ак. Это говорит разум. Уезжайте, уезжайте и опять уезжайте! Я с мосье Барбашиным всегда была немножко знакома запанибрата, и, конечно, он сделает что-либо ужасное.

Вагабундова.

Может быть, метнет бомбу?
А, — хватит апломбу?
Вот метнет
и всех нас
сейчас — сейчас
разорвет.

Антонина Павловна. За себя я спокойна. В Индии есть поверье, что только великие люди умирают в день своего рождения. Закон целых чисел.

Любовь. Такого поверья нет, мамочка.

Вагабундова.

Поразительное совмещенье:
семейный праздник и — это возвращенье!

Элеонора Шнап. Я то же самое говорю. Они были так счастливы! На чем держится людское счастье? На тоненькой-тоненькой ниточке!

Вагабундова *(к Антонине Павловне).*

Какое прелестное ситечко!
Мне пожиже, пожиже...
Да, счастье, — и вот — поди же!

Вера. Господа, что же вы их уже отпеваете? Все отлично знали, что Барбашин когда-нибудь вернется, а то, что он вернулся несколько раньше, ничего, в сущности, не меняет. Уверяю вас, что он не думает о них больше.

Звонок.

Вагабундова.

Не говорите. Я все пережила...
Поверьте, тюрьма его разожгла!
Алексей Максимович, душенька, нет!
Забудем портрет.
Я не могу сегодня застыть.
Я волнуюсь, у меня грудь будет ходить.

Ревшин входит.

Ревшин. Евгенья Васильевна с супругом, а также свободный художник Куприков.

Трощейкин. А, погодите. Он ко мне.

Трощейкин уходит.

Элеонора Шнап *(к Вагабундовой).* Как я вас панмаю! У меня тоже обливается сердце. Между нами говоря, я совершенно убеждена теперь, что это был *его* ребеночек...

Вагабундова:

Никакого сомненья!
Но я рада услышать профессиональное мненье.

Входят тетя Женя и дядя Поль. Она пышная, в шелковом платье, была бы в чепце с лентами, если бы на полвека раньше. Он: белый бобрик, белые бравые усы, которые расчесывает щеточкой, благообразен, но гага.

Евгения Васильевна. Неужели это все правда? Бежал с каторги? Пытался ночью вломиться к вам?

Вера. Глупости, тетя Женя. Что вы слушаете всякие враки?

Евгения Васильевна. Хороши враки! Вот Поль его сегодня... Сейчас он это сам расскажет. Он мне чудесно рассказывал. Услышите. *(К Антонине Павловне.)* Поздравляю тебя, Антонина, хотя едва ли это уместно сегодня. *(К Любови, указывая на Шнап.)* С этой стервой я не разговариваю. Кабы знала, не пришла... Поль, все тебя слушают.

Дядя Поль. Как-то на днях...

Тетя Женя. Да нет, нет: нынче.

Дядя Поль. Нынче, говорю я, совершенно для меня неожиданно, я вдруг увидел, как некоторое лицо вышло из ресторана.

Вагабундова.

Из ресторана?
Так рано?
Наверное, пьяный?

Антонина Павловна. Ах, зачем ты меня так балуешь, Женечка? Прелесть! Смотри, Любушка, какие платочки.

Элеонора Шнап. Да. Плакать в них будете.

Дядя Поль. Делая поправку на краткость моего наблюдения и быстроту прохождения объекта, утверждаю, что я был в состоянии трезвом.

Тетя Женя. Да не ты, а он.

Дядя Поль. Хорошо: он.

Вера. Дядя Поль, тебе это все померещилось. Явление не опасное, но нужно следить.

Любовь. Вообще это все не очень интересно... Что тебе можно? Хочешь сперва торта? Нам сейчас мама будет читать свою новую сказку.

Дядя Поль. Мне так показалось, — и нет такой силы, которая могла бы меня заставить изменить показание.

Тетя Женя. Ну-ну, Поль... продолжай... ты теперь разогрелся.

Дядя Поль. Он шел, я шел. А на днях я видел, как расшиблась велосипедистка.

Вагабундова.

Положение ужасно!
Надо уезжать — это ясно!
Всем!
А я еще этого съем.

Антонина Павловна. Может быть, Любушка, подождать, пока все придут?

Любовь. Нет-нет, ничего, начни.

Антонина Павловна. Что ж, приступим. Итак, этой сказкой, или этюдом, завершается цикл моих «Озаренных Озер». Поль, друг мой, садись, пожалуйста.

Дядя Поль. Предпочитаю стоять.

Звонок.

Тетя Женя. Не понимаю. Он это рассказывал так красочно, так хорошо, — а теперь у него что-то заскочило. Может быть, потом разойдется. *(К мужу.)* Ты мне не нравишься последнее время.

Входит Ревшин, пропуская вперед старушку Николадзе, сухонькую, стриженую, в черном, и Известного Писателя: он стар, львист, говорит слегка в нос, медленно и веско, не без выигрышных прочищений горла позади слов, одет в смокинг.

Антонина Павловна. А, наконец!

Писатель. Ну что же... Надо вас поздравить, по-видимому.

Антонина Павловна. Как я рада вас видеть у себя! Я все боялась, что вы, залетный гость, невзначай умчитесь.

Писатель. Кажется, я ни с кем не знаком...

Николадзе. Поздравляю. Конфетки. Пустячок.

Антонина Павловна. Спасибо, голубушка. Что это вы, право, тратитесь на меня!

Писатель *(к Вере)*. С вами я, кажется, встречался, милая.

Вера. Мы встретились на рауте у Н. Н., дорогой Петр Николаевич.

Писатель. На рауте у Н. Н. ...А! Хорошо сказано. Я вижу, вы насмешница.

Любовь. Что вам можно предложить?

Писатель. Что вы можете мне предложить... Н-да. Это у вас что: кутья? А, кекс. Схож. Я думал, у вас справляются поминки.

Любовь. Мне нечего поминать, Петр Николаевич.

Писатель. А! Нечего... Ну, не знаю, милая. Настроение что-то больно фиолетовое. Не хватает преосвященного.

Любовь. Чего же вам предложить? Этого?

Писатель. Нет. Я — антидульцинист: противник сладкого. А вот — вина у вас нету?

Антонина Павловна. Сейчас будет Моэт, Петр Николаевич. Любушка, нужно попросить Ревшина откупорить.

Писатель. А откуда у вас Моэт? *(К Любови.)* Все богатеете?

Любовь. Если хотите непременно знать, то это виноторговец заплатил мужу натурой за поясной портрет.

Писатель. Прекрасно быть портретистом. Богатеешь, рогатеешь. Знаете, ведь по-русски «рогат» значит «богат», а не что-нибудь будуарное. Ну, а коньяку у вас не найдется?

Любовь. Сейчас вам подадут.

Вагабундова.

> Петр Николаевич, извините вдову...
> Вижу вас наконец наяву.
> Страшно польщена.
> И не я одна.
> Все так любят ваши произведенья.

Писатель. Благодарю.

Вагабундова.

> А скажите ваше сужденье...
> Насчет положенья?

Писатель. Насчет какого положенья, сударыня?

Вагабундова.

Как, вы не слыхали?
Вернулся тот, которого не ждали.

Антонина Павловна *(взяла у Марфы из рук)*. Вот, пожалуйста.

Писатель. Да, мне об этом докладывали. *(К Любови.)* А что, милая, поджилочки у вас трепещут? Дайте посмотреть... Я в молодости влюбился в одну барышню исключительно из-за ее поджилочек.

Любовь. Я ничего не боюсь, Петр Николаевич.

Писатель. Какая вы отважная. Н-да. У этого убийцы губа не дура.

Николадзе. Что такое? Я ничего не понимаю... Какая дура? Какой убийца? Что случилось?

Писатель. За ваше здоровье, милая. А коньяк-то у вас того, неважнец.

Элеонора Шнап *(к Николадзе)*. О, раз вы ничего не знаете, так я вам расскажу.

Вагабундова.

Нет, я.
Очередь моя.

Элеонора Шнап. Нет, моя. Оставьте, не мешайтесь.

Любовь. Мамочка, пожалуйста.

Антонина Павловна. Когда вы пришли, Петр Николаевич, я собиралась прочитать присутствующим одну маленькую вещь, — но теперь я при вас что-то не смею.

Писатель. Притворство. Вам будет только приятно. Полагаю, что в молодости вы лепетали между поцелуями, как все лживые женщины.

Антонина Павловна. Я давно-давно это забыла, Петр Николаевич.

Писатель. Ну, читайте. Послушаем.

Антонина Павловна. Итак, это называется «Воскресающий Лебедь».

Писатель. «Воскресающий Лебедь»... умирающий Лазарь... смерть вторая и заключительная... А, неплохо.

Антонина Павловна. Нет, Петр Николаевич, не Лазарь: лебедь.

Писатель. Виноват. Это я сам с собой. Мелькнуло. Автоматизм воображения.

Трощейкин появляется в дверях и оттуда:

Трощейкин. Люба, на минутку.

Любовь. Иди сюда, Алеша.

Трощейкин. Люба!

Любовь. Иди сюда. Господину Куприкову тоже будет интересно.

Трощейкин. Как знаешь.

Входит с Куприковым и репортером. Куприков — трафаретно-живописный живописец, в плечистом пиджаке и темнейшей рубашке при светлейшем галстуке. Репортер — молодой человек с пробором и вечным пером.

Трощейкин. Вот это Игорь Олегович Куприков. Знакомьтесь. А это господин от газеты, от «Солнца»: интервьюировать.

Куприков *(к Любови)*. Честь имею... Я сообщил вашему супругу все, что мне известно.

Вагабундова.

Ах, это интересно!
Расскажите, что вам известно!

Тетя Женя. Вот теперь... Поль! Блесни! Ты так чудно рассказывал. Поль! Ну же... Господин Куприков, Алеша, — вот мой муж тоже...

Дядя Поль. Извольте. Это случилось так. Слева, из-за угла, катилась карета скорой помощи, справа же мчалась велосипедистка, — довольно толстая дама, в красном, насколько я мог заметить, берете.

Писатель. Стоп. Вы лишаетесь слова. Следующий.

Вера. Пойдем, дядя Поль, пойдем, мой хороший. Я дам тебе мармеладку.

Тетя Женя. Не понимаю, в чем дело... Что-то в нем испортилось.

Куприков *(к Писателю)*. Разрешите?

Писатель. Слово предоставляется художнику Куприкову.

Любовь *(к мужу)*. Я не знаю, почему нужно из всего этого делать какой-то кошмарный балаган. Почему ты привел этого репортера с блокнотом? Сейчас мама собирается читать. Пожалуйста, не будем больше говорить о Барбашине.

Трощейкин. Что я могу... Оставь меня в покое. Я медленно умираю. *(К гостям.)* Который час? У кого-нибудь есть часы?

Все смотрят на часы.

Писатель. Ровно пять. Мы вас слушаем, господин Куприков.

Куприков. Я только что докладывал Алексею Максимовичу следующий факт. Передам теперь вкратце. Проходя сегодня в полтретьего через городской сад, а именно по аллее, которая кончается урной, я увидел Леонида Барбашина сидящим на зеленой скамье.

Писатель. Да ну?

Куприков. Он сидел неподвижно и о чем-то размышлял. Тень листвы красивыми пятнами лежала вокруг его желтых ботинок.

Писатель. Хорошо... браво...

Куприков. Меня он не видел, и я за ним наблюдал некоторое время из-за толстого древесного ствола, на котором кто-то вырезал — уже, впрочем, потемневшие — инициалы. Он смотрел в землю и думал тяжелую думу. Потом изменил осанку и начал смотреть в сторону, на освещенный солнцем лужок. Через минут двадцать он встал и удалился. На пустую скамью упал первый желтый лист.

Писатель. Сообщение важное и прекрасно изложенное. Кто-нибудь желает по этому поводу высказаться?

Куприков. Из этого я заключил, что он замышляет недоброе дело, а потому обращаюсь снова, к вам, Любовь Ивановна, и к тебе, дорогой Алеша, при свидетелях, с убедительной просьбой принять максимальные меры предосторожности.

Трощейкин. Да! Но какие, какие?

Писатель. «Зад, как сказал бы Шекспир, зад из зык вещан». *(К репортеру.)* А вы что имеете сказать, солнце мое?

Репортер. Хотелось задать несколько вопросов мадам Трощейкиной. Можно?

Любовь. Выпейте лучше стакан чаю. Или рюмку коньяку?

Репортер. Покорнейше благодарю. Я хотел вас спросить, так, в общих чертах, что вы перечувствовали, когда узнали?

Писатель. Бесполезно, дорогой, бесполезно. Она вам ничегошеньки не ответит. Молчит и ждет. Признаться, я до дрожи люблю таких женщин. Что же касается этого коньяка... словом, не советую.

Антонина Павловна. Если позволите, я начну...

Писатель *(к репортеру)*. У вас, между прочим, опять печатают всякую дешевку обо мне. Никакой повести из цыганской жизни я не задумал и задумать не мог бы. Стыдно.

Антонина Павловна. Петр Николаевич, позволяете?

Писатель. Просим. Внимание, господа.

Антонина Павловна. Первые лучи солнца... Да, я забыла сказать, Петр Николаевич. Это из цикла моих «Озаренных Озер». Вы, может быть, читали... Первые лучи солнца, играя и как будто резвясь, пробно пробежали хроматической гаммой по глади озера, перешли на клавиши камышей и замерли посреди темно-зеленой осоки. На этой осоке, поджав одно крыло, а другое — —

Входят Ревшин и Мешаев: румяный блондин с букетом таких же роз.

Ревшин. Вот, Любовь Ивановна, это, кажется, последний. Устал... Дайте — —

Любовь. Шш!.. Садитесь, Осип Михеевич, — мама читает сказку.

Мешаев. Можно прервать чтение буквально на одну секунду? Дело в том, что я принес сенсационное известие.

Несколько голосов. Что случилось? Говорите! Это интересно!

Мешаев. Любовь Ивановна! Алексей Максимович! Вчера вечером. Вернулся. Из тюрьмы. Барбашин!

Общий смех.

Писатель. Все? Дорогой мой, об этом знают уже в родильных приютах. Н-да, — обарбашились...

Мешаев. В таком случае ограничусь тем, что поздравлю вас с днем рождения, уважаемая Антонина Павловна. *(Вынимает шпаргалку.)* Желаю вам еще долго-долго развлекать нас вашим прекрасным женским дарованием. Дни проходят, но книги, книги, Антонина Павловна, остаются на полках, — и великое дело, которому вы бескорыстно служите, воистину велико и обильно, — и каждая строка ваша звенит и звенит в наших умах и сердцах вечным рефреном. Как хороши, как свежи были розы! *(Подает ей розы.)*

Аплодисменты.

Антонина Павловна. Спасибо на добром слове, милый Осип Михеевич. Но что же вы один, — вы ведь обещали привести деревенского брата?

Мешаев. А я думал, что он уже здесь, у вас. Очевидно, опоздал на поезд и приедет с вечерним. Жаль: я специально хотел вас всех позабавить нашим разительным сходством. Однако читайте, читайте!

Писатель. Просим. Вы, господа, разместитесь поудобнее. Это, вероятно, надолго. Тесней, теснее.

Все отодвигаются немного вглубь.

Антонина Павловна. На этой осоке, поджав одно крыло, а другое широко расправив, лежал мертвый лебедь. Глаза его были полураскрыты, на длинных ресницах еще сверкали слезы. А между тем восток разгорался, и аккорды солнца все ярче гремели по широкому озеру. Листья от каждого прикосновения длинных лучей, от каждого легковейного дуновения...

Она читает с ясным лицом, но как бы удалилась в своем кресле, так что голос ее перестает быть слышен, хотя губы движутся и рука переворачивает страницы. Вокруг нее слушатели, тоже порвавшие всякую связь с авансценой, сидят в застывших полусонных позах: Ревшин застыл с бутылкой шампанского между колен. Писатель прикрыл глаза рукой. Собственно, следовало бы, чтобы спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка была бы нарисована с точным повторением поз.

Трощейкин и Любовь быстро выходят вперед на авансцену.

Любовь. Алеша, я не могу больше.

Трощейкин. И я не могу...

Любовь. Наш самый страшный день — —

Трощейкин. ...наш последний день — —

Любовь. ...обратился в фантастический фарс. От этих крашеных призраков нельзя ждать ни спасения, ни сочувствия.

Трощейкин. Нам нужно бежать...

Любовь. Да, да, да!

Трощейкин. ...Бежать, — а почему-то медлим под пальмами сонной Вампуки. Я чувствую, что надвигается — —

Любовь. ...опасность. Но какая? О, если б ты мог понять!

Трощейкин. ...Опасность, столь же реальная, как наши руки, плечи, щеки. Люба, мы совершенно одни.

Любовь. Да, одни. Но это два одиночества, и оба совсем круглы. Пойми меня!

Трощейкин. ...Одни на этой узкой освещенной сцене. Сзади — театральная ветошь всей нашей жизни, замерзшие маски второстепенной комедии, а спереди — темная глубина и глаза, глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели.

Любовь. Ответь быстро: ты знаешь, что я тебе неверна?

Трощейкин. Знаю. Но ты меня никогда не покинешь.

Любовь. Ах, мне так жаль иногда, так жаль. Ведь не всегда так было.

Трощейкин. Держись, Люба!

Любовь. Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало. Алеша, держи меня ты. Не отпускай.

Трощейкин. Плохо вижу... Все опять начинает мутнеть. Перестаю тебя чувствовать. Ты снова сливаешься с жизнью. Мы опять опускаемся. Люба, все кончено!

Любовь. Онегин, я тогда моложе, я лучше... Да, я тоже ослабела. Не помню... А хорошо было на этой мгновенной высоте.

Трощейкин. Бредни. Выдумки. Если сегодня мне не достанут денег, я ночи не переживу.

Любовь. Смотри, как странно: Марфа крадется к нам из двери. Смотри, какое у нее страшное лицо. Нет, ты

посмотри! Она ползет с каким-то страшным известием. Она едва может двигаться...

Т р о щ е й к и н *(к Марфе).* Он? Говорите же: *он* пришел?

Л ю б о в ь *(хлопает в ладоши и смеется).* Она кивает! Алешенька, она кивает!

Входит Щ е л ь: сутулый, в темных очках.

Щ е л ь. Простите... Меня зовут Иван Иванович Щель. Ваша полоумная прислужница не хотела меня впускать. Вы меня не знаете, — но вы, может быть, знаете, что у меня есть оружейная лавка против Собора.

Т р о щ е й к и н. Я вас слушаю.

Щ е л ь. Я почел своей обязанностью явиться к вам. Мне надо сделать вам некое предупреждение.

Т р о щ е й к и н. Приблизьтесь, приблизьтесь. Цып-цып-цып.

Щ е л ь. Но вы не одни... Это собрание...

Т р о щ е й к и н. Не обращайте внимания... Это так — мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалевал. Скверная картина — но безвредная.

Щ е л ь. Не обманывайте меня. Вон тому господину я продал в прошлом году охотничье ружье.

Л ю б о в ь. Это вам кажется. Поверьте нам! Мы знаем лучше. Мой муж написал это в очень натуральных красках. Мы одни. Можете говорить свободно.

Щ е л ь. В таком случае позвольте вам сообщить... Только что узнав, *кто* вернулся, я с тревогой припомнил, что нынче в полдень у меня купили пистолет системы «браунинг».

Средний занавес поднимается, голос чтицы громко заканчивает: «...и тогда лебедь воскрес». Ревшин откупоривает шампанское. Впрочем, шум оживления сразу пресекается.

Т р о щ е й к и н. Барбашин купил?

Щ е л ь. Нет, — покупатель был господин Аршинский. Но я вижу, вы понимаете, *кому* предназначалось оружье.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Опять мастерская. Мячи на картине дописаны. Любовь одна. Смотрит в окно, затем медленно заводит стору. На столике забытая Ревшиным с утра коробочка папирос. Закуривает. Садится. Мышь (иллюзия мыши), пользуясь тишиной, выходит из щели, и Любовь следит за ней с улыбкой; осторожно меняет положение тела, нагибаясь вперед, но вот — мышь укатилась.

Слева входит Марфа.

Любовь. Тут опять мышка.

Марфа. А на кухне тараканы. Все одно к одному.

Любовь. Что с вами?

Марфа. Да что со мной может быть... Если вам больше сегодня ничего не нужно, Любовь Ивановна, я пойду.

Любовь. Куда это вы собрались?

Марфа. Переночую у брата, а завтра уж отпустите меня совсем на покой. Мне у вас оставаться страшно. Я старуха слабая, а у вас в доме нехорошо.

Любовь. Ну, это вы недостаточно сочно сыграли. Я вам покажу, как надо. «Уж простите меня... Я старуха слабая, кволая... Боязно мне... Дурные тут ходют...» Вот так. Это, в общем, очень обыкновенная роль... По мне, можете убираться на все четыре стороны.

Марфа. И уберусь, Любовь Ивановна, и уберусь. Мне с помешанными не житье.

Любовь. А вам не кажется, что это большое свинство? Могли бы хоть эту ночь остаться.

Марфа. Свинство? Свинств я навидалась вдосталь. Тут кавалер, там кавалер...

Любовь. Совсем не так, совсем не так. Больше дрожи и негодования. Что-нибудь с «греховодницей».

Марфа. Я вас боюсь, Любовь Ивановна. Вы бы доктора позвали.

Любовь. *Д[illegible]ту́ра, дохтура,* — а не «доктора». Нет, я вами решительно недовольна. Хотела вам дать рекомендацию: годится для роли сварливой служанки, — а теперь вижу, не могу дать.

Марфа. И не нужно мне вашей рукомандации.

Любовь. Ну, это немножко лучше... Но теперь — будет. Прощайте.

Марфа. Убивцы ходют. Ночка недобрая.

Любовь. Прощайте!

Марфа. Ухожу, ухожу. А завтра вы мне заплатите за два последних месяца. *(Уходит.)*

Любовь. Онегин, я тогда моложе... я лучше, кажется... *Какая* мерзкая старуха! Нет, вы видели что-нибудь подобное! Ах, какая...

Справа входит Трощейкин.

Трощейкин. Люба, все кончено! Только что звонил Баумгартен: денег не будет.

Любовь. Я прошу тебя... Не волнуйся все время так. Это напряжение невыносимо.

Трощейкин. Через неделю обещает. Очень нужно! Для чего? На том свете на чаи раздавать?

Любовь. Пожалуйста, Алеша... У меня голова трещит.

Трощейкин. Да, — но что делать? Что делать?

Любовь. Сейчас половина девятого. Мы через час ляжем спать. Вот и все. Я так устала от сегодняшнего кавардака, что прямо зубы стучат.

Трощейкин. Ну, это — извините. У меня будет еще один визит сегодня. Неужели ты думаешь, что я это так оставлю? Пока не буду уверен, что никто к нам ночью не ворвется, я спать не лягу, — дудки.

Любовь. А я лягу. И буду спать. Вот — буду.

Трощейкин. Я только теперь чувствую, какие мы нищие, беспомощные. Жизнь как-то шла, и бедность не замечалась. Слушай, Люба. Раз все так складывается, то единственный выход — принять предложение Ревшина.

Любовь. Какое-такое предложение Ревшина?

Трощейкин. Мое предложение, собственно. Видишь ли, он дает мне деньги на отъезд и все такое, а ты временно поселишься у его сестры в деревне.

Любовь. Прекрасный план.

Трощейкин. Конечно, прекрасный. Я другого разрешения вопроса не вижу. Мы завтра же отправимся, — если переживем ночь.

Любовь. Алеша, посмотри мне в глаза.

Трощейкин. Оставь. Я считаю, что это нужно сделать, хотя бы на две недели. Отдохнем, очухаемся.

Любовь. Так позволь тебе сказать. Я не только никогда не поеду к ревшинской сестре, но вообще отсюда не двинусь.

Трощейкин. Люба, Люба, Люба. Не выводи меня из себя. У меня сегодня нервы плохо слушаются. Ты, очевидно, хочешь погибнуть... Боже мой, уже совсем ночь. Смотри, я никогда не замечал, что у нас ни одного фонаря перед домом нет. Посмотри, где следующий. Луна бы скорее вышла.

Любовь. Могу тебя порадовать: Марфа просила расчета. И уже ушла.

Трощейкин. Так. Так. Крысы покидают корабль. Великолепно... Я тебя на *коленях* умоляю, Люба: уедем завтра. Ведь это глухой ад. Ведь сама судьба нас выселяет. Хорошо, — предположим, будет при нас сыщик, но нельзя же его посылать в лавку. Значит, надо завтра искать опять прислугу, как-то хлопотать, твою дуру-сестру просить... Это заботы, которые я не в силах вынести при теперешнем положении. Ну Любушка, ну детка моя, ну что тебе стоит. Ведь иначе Ревшин мне не даст, — это же вопрос жизни, а не вопрос мещанских приличий.

Любовь. Скажи мне, ты когда-нибудь задумывался над вопросом, почему тебя не любят?

Трощейкин. Кто не любит?

Любовь. Да никто не любит; ни один чорт не одолжит тебе ни копейки. А многие относятся к тебе просто с каким-то отвращением.

Трощейкин. Что за вздор. Наоборот, ты сама видела, как сегодня все заходили, интересовались, советовали...

Любовь. Не знаю... Я следила за твоим лицом, пока мама читала свою вещицу, и мне казалось, я понимаю, о чем ты думаешь и каким ты себя чувствуешь одиноким. Мне показалось, мы даже переглянулись с тобой, — как когда-то, очень давно, переглядывались. А теперь мне сдается, что я ошиблась, что ты не чувствовал ничего, а только все по кругу думал, даст ли тебе Баумгартен эти гроши на бегство.

Трощейкин. Охота тебе мучить меня, Люба.

Любовь. Я не хочу тебя мучить. Я хочу поговорить хоть раз с тобой серьезно.

Трощейкин. Слава Богу, — а то ты как дитя относишься к опасности.

Любовь. Нет, я не об *этой* опасности собираюсь говорить, — а вообще о нашей жизни с тобой.

Трощейкин. А... Нет, это — уволь. Мне сейчас не до женских разговоров, я знаю эти разговоры, с подсчитыванием обид и подведением идиотских итогов. Меня сейчас больше интересует, почему не идет этот проклятый сыщик. Ах, Люба, да понимаешь ли ты, что мы находимся в смертельной, смертельной...

Любовь. Перестань разводить истерику! Мне за тебя стыдно. Я всегда знала, что ты трус. Никогда не забуду, как ты стал накрываться вот этим ковриком, когда он стрелял.

Трощейкин. На этом коврике, Люба, была моя кровь. Ты забываешь это: я упал, я был тяжело ранен... Да, *кровь*. Вспомни, вспомни, мы его потом отдавали в чистку.

Любовь. Ты всегда был трусом. Когда мой ребенок умер, ты боялся его бедной маленькой тени и принимал на ночь валерьянку. Когда тебя хамским образом облаял какой-то брандмайор за портрет, за ошибку в мундире, ты смолчал и переделал. Когда однажды мы шли по Заводской и два каких-то гогочущих хулигана плыли сзади и разбирали меня по статям, ты притворился, что ничего не слышишь, а сам был бледен как... как телятина.

Трощейкин. Продолжай, продолжай. Мне становится интересно! Боже мой, до чего ты груба! До чего ты груба!

Любовь. Таких случаев был миллион, но, пожалуй, самым изящным твоим жестом в этом жанре было, когда ты воспользовался беспомощностью врага, чтобы ударить его по щеке. Впрочем, ты даже, кажется, не попал, а хватил по руке бедного Миши.

Трощейкин. Великолепно попал — можешь быть совершенно спокойна. Еще как попал! Но, пожалуйста, пожалуйста, продолжай. Мне крайне любопытно, до чего ты можешь договориться. И это *сегодня*... когда случилось страшное событие, перевернувшее все... Злая, неприятная баба.

Любовь. Слава Богу, что оно случилось, это событие. Оно здорово нас встряхнуло и многое осветило. Ты черств, холоден, мелочен, нравственно вульгарен, ты эгоист, какого свет еще не видал... Ну, а я тоже хороша в своем роде. Только не потому, что я «торговка костьем», как вы изволили выразиться. Если я груба и резка, то это ты меня сделал такой. Ах, Алеша, если бы ты не был так битком набит самим собой, до духоты, до темноты, — ты, вероятно, увидел бы, что из меня сделалось за эти последние годы и в каком я состоянии сейчас.

Трощейкин. Люба, я сдерживаю себя, — сдержись и ты. Я понимаю, что эта зверская ночь выбивает из строя и заставляет тебя говорить зверские вещи. Но возьми себя в руки.

Любовь. Нечего взять — все распалось.

Трощейкин. Ничего не распалось. Что ты фантазируешь? Люба, опомнись! Если мы иногда... ну, орем друг на друга, — то это не значит, что мы с тобой несчастны. А сейчас мы как два затравленных животных, которые грызутся только потому, что им тесно и страшно.

Любовь. Нет, неправда. Неправда. Дело не в наших ссорах. Я даже больше тебе скажу: дело не в тебе. Я вполне допускаю, что ты был счастлив со мной, потому что в самом большом несчастье такой эгоист, как ты, всегда отыщет себе последний верный оплот в себе самом. Я отлично знаю, что, случись со мной что-нибудь, ты бы, конечно, очень огорчился, — но вместе с тем быстренько перетасовал бы свои чувства, чтобы посмотреть, не выскочит ли какой-нибудь для тебя козырек, какая-нибудь выгода, — о, совсем маленькая! — из факта моей гибели. И нашел бы, нашел бы! Хотя бы то, что жизнь стала бы ровно вдвое дешевле. Нет-нет, я знаю, это было бы совсем подсознательно и не так грубо, а просто маленькая мысленная субсидия в критический момент... Это очень страшно сказать, но, когда мальчик умер, вот я убеждена, что ты подумал о том, что одной заботой меньше. Нигде нет таких жохов, как среди людей непрактичных. Но, конечно, я допускаю, что ты меня любишь по-своему.

Трощейкин. Это, вероятно, мне все снится: эта комната, эта дикая ночь, эта фурия. Иначе я отказываюсь понимать.

Любовь. А твое искусство! Твое искусство... Сначала я действительно думала, что ты чудный, яркий, драгоценный талант, но теперь я знаю, чего ты стоишь.

Трощейкин. Это что такое? Этого я еще не слыхал.

Любовь. Вот услышишь. Ты ничто, ты волчок, ты пустоцвет, ты пустой орех, слегка позолоченный, и ты никогда ничего не создашь, а всегда останешься тем, что ты есть, провинциальным портретистом с мечтой о какой-то лазурной пещере.

Трощейкин. Люба! Люба! Вот это... по-твоему, плохо? Посмотри. Это — плохо?

Любовь. Не я так сужу, а все люди так о тебе судят. И они правы, потому что надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет.

Трощейкин. Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе, — конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него.

Любовь. Ради Бога, не начинай рассуждать. Я устала и сама не знаю, что говорю, а ты придираешься к словам.

Трощейкин. Твоя критика моего искусства, то есть самого моего главного и неприкосновенного, так глупа и несправедлива, что все прочие твои обвинения теряют смысл. Мою жизнь, мой характер можешь поносить сколько хочешь, заранее со всем соглашаюсь, — но вот *это* находится вне твоей компетенции. Так что лучше брось.

Любовь. Да, говорить мне с тобой не стоит.

Трощейкин. Совершенно не стоит. Да сейчас и не до этого. Нынешняя ночь меня куда больше тревожит, чем вся наша вчерашняя жизнь. Если ты устала и у тебя заходит ум за разум, то молчи, а не... Люба, Люба, не мучь меня больше, чем я сам мучусь.

Любовь. О чем тебе мучиться? Ах, как тебе не совестно. Если даже представить себе маловероятное, — что Леонид Барбашин сейчас проломит дверь, или влезет в это окно, или выйдет как тень из-за той ширмы, — если бы даже это случилось, то поверь, у меня есть простейший способ сразу все повернуть в другую сторону.

Трощейкин. В самом деле?

Любовь. О да!

Трощейкин. А именно?

Любовь. Хочешь знать?

Трощейкин. Скажи, скажи.

Любовь. Так вот что я сделаю: я крикну ему, что я его люблю, что все было ошибкой, что я готова с ним бежать на край света...

Трощейкин. Да... немного того... мелодрама? Не знаю... А вдруг он не поверит, поймет, что хитрость? Нет, Люба, как-то не выходит. Звучит как будто логично, но... Нет, он обидится и тут же убьет.

Любовь. Вот все, что ты можешь мне сказать по этому поводу?

Трощейкин. Нет-нет, это все не то. Нет, Люба, — как-то нехудожественно, плоско... Не знаю... Тебе не кажется, что там кто-то стоит, на той стороне? Там, дальше. Или это только тень листвы под фонарем?

Любовь. Это все, Алеша?

Трощейкин. Да, только тень.

Любовь. Ну, ты совсем как младенец из «Лесного Царя». И главное — это все было уже раз, все-все так было, ты сказал «тень», я сказала «младенец», и на этом вошла мама.

Антонина Павловна. Я пришла с вами попрощаться. Хочу раньше лечь сегодня.

Любовь. Да, я тоже устала.

Антонина Павловна. Какая ночь... Ветер как шумит...

Трощейкин. Ну, это по меньшей мере странно: на улице, можно сказать, лист не шелохнется.

Антонина Павловна. Значит, это у меня в ушах.

Трощейкин. Или шепот музы.

Любовь. Алеша, сократись.

Трощейкин. Как хорошо и приятно, Антонина Павловна, правда? По городу, — может быть, в двух шагах от нас, — гуляет на воле негодяй, который поклялся убить вашу дочь, а у нас семейный уют, у нас лебеди делают батманы, у нас машиночка пишущая постукивает...

Любовь. Алеша, перестань моментально!

Антонина Павловна. Милый Алеша, ты меня оскорбить не можешь, а что до опасности — все в Божьих руках.

Трощейкин. Не очень этим рукам доверяю.

Антонина Павловна. Потому-то, голубчик, ты такой жалкий и злой.

Любовь. Господа, бросьте ссориться.

Трощейкин. Ну что ж, Антонина Павловна, не всем дана буддийская мудрость.

Звонок.

Трощейкин. А, слава Богу. Это мой сыщик. Слушай, Люба, я знаю, что это глупо, но я боюсь отпереть.

Любовь. Хорошо, я отопру.

Трощейкин. Нет-нет, погоди, как бы это сделать...

Антонина Павловна. А разве Марфа уже спит?

Любовь. Марфа ушла. Алеша, пусти мою руку.

Антонина Павловна. Я отопру. Оставайтесь здесь. Меня Барбашиным не испугаешь.

Трощейкин. Спросите сперва через дверь.

Любовь. Я с тобой, мамочка.

Опять звонок. Антонина Павловна уходит направо.

Трощейкин. Странно. Почему он так энергично звонит? Как неприятно... Нет, Люба, я тебя все равно не пущу.

Любовь. Нет, ты меня пустишь.

Трощейкин. Оставь. Не вырывайся. Я ничего не слышу.

Любовь. Ты мне делаешь больно.

Трощейкин. Да ты не вертись. Дай послушать. Что это? Слышишь?

Любовь. Какая ты дрянь, Алеша!

Трощейкин. Люба, уйдем лучше! *(Тащит ее налево.)*

Любовь. Вот трус...

Трощейкин. Мы успеем по черному ходу... Не смей! Стой!

Она вырывается.
Одновременно входит справа Антонина Павловна.

Антонина Павловна. Знаешь, Любуша, в передней до сих пор хрустит под ногами.

Трощейкин. Кто это был?

Антонина Павловна. К тебе. Говорит, что ты его вызвал из сыскного бюро.

Трощейкин. А, так я и думал.

Трощейкин уходит.

Антонина Павловна. Довольно странный персонаж. Сразу пошел в уборную.

Любовь. Напрасно ты его впустила.

Антонина Павловна. Как же я его могла не впустить, если Алеша его заказал? Должна тебе сказать, Люба, мне искренне жаль твоего мужа.

Любовь. Ах, мама, не будем все время кусаться.

Антонина Павловна. Какой у тебя усталый вид... Ложись, милочка.

Любовь. Да, я скоро пойду. Мы еще, вероятно, будем додираться с Алешей. Что это за манера — звать сыщика в дом.

Трощейкин возвращается.

Трощейкин. Антонина Павловна, где он? Что вы с ним сделали? Его нигде нет.

Антонина Павловна. Я тебе сказала, что он пошел руки мыть.

Трощейкин. Вы мне ничего не сказали.

Трощейкин уходит.

Антонина Павловна. А я, знаешь, Любинька, пойду лягу. Спокойной ночи. Хочу тебя поблагодарить, душенька...

Любовь. За что?

Антонина Павловна. Да вот за то, как справили мой день рождения. По-моему, все было очень удачно, правда?

Любовь. Конечно, удачно.

Антонина Павловна. Было много народу. Было оживленно. Даже эта Шнап была ничего.

Любовь. Ну, я очень рада, что тебе было приятно... Мамочка!

Антонина Павловна. А?

Любовь. Мамочка, у меня ужасная мысль! Ты уверена, что это пришел сыщик, а не кто-нибудь... другой?

Антонина Павловна. Глупости. Он мне сразу сунул свою фотографию. Я ее, кажется, передала Алеше. Ах нет, вот она.

Любовь. Что за дичь... Почему он раздает свои портреты?

Антонина Павловна. Не знаю, — вероятно, у них так полагается...

Любовь. Почему он в средневековом костюме? Что это — Король Лир? «Моим поклонникам с поклоном». Что за ерунда, в самом деле?

Антонина Павловна. Сказал, что от сыскного бюро, — больше ничего не знаю. Вероятно, это какой-нибудь знак, пароль... А ты слышала, как наш писатель выразился о моей сказке?

Любовь. Нет.

Антонина Павловна. Что это нечто среднее между стихотворением в прозе и прозой в стихах. По-моему, комплимент. Как ты думаешь?

Любовь. Разумеется, комплимент.

Антонина Павловна. Ну, а тебе понравилось?

Любовь. Очень.

Антонина Павловна. Только некоторые места или все?

Любовь. Все, все. Мамочка, я сейчас зарыдаю. Иди спать, пожалуйста.

Антонина Павловна. Хочешь моих капель?

Любовь. Я ничего не хочу. Я хочу умереть.

Антонина Павловна. Знаешь, что мне напоминает твое настроение?

Любовь. Ах, оставь, мамочка...

Антонина Павловна. Нет, это странно... Вот, когда тебе было девятнадцать лет, и ты бредила Барбашиным, и приходила домой ни жива ни мертва, и я боялась тебе сказать слово.

Любовь. Значит, и теперь бойся.

Антонина Павловна. Обещай мне, что ты ничего не сделаешь опрометчивого, неразумного. Обещай мне, Любинька!

Любовь. Какое тебе дело? Отстань ты от меня.

Антонина Павловна. Я совсем не того опасаюсь, чего Алеша. У меня совсем другой страх.

Любовь. А я тебе говорю: отстань! Ты живешь в своем мире, а я в своем. Не будем налаживать междупланетное сообщение. Все равно ничего не выйдет.

Антонина Павловна. Мне очень грустно, что ты так замыкаешься в себе. Я часто думаю, что ты несправедлива к Алеше. Он все-таки очень хороший и обожает тебя.

Любовь. Что это: тактический маневр?

Антонина Павловна. Нет, просто я вспоминаю некоторые вещи. Твое тогдашнее сумасшествие и то, что папа тебе говорил.

Любовь. Спокойной ночи.

Антонина Павловна. И вот все это как-то повторяется. Ну, помоги тебе Бог справиться и теперь с этим.

Любовь. Перестань, перестань, перестань... Ты меня сама вовлекаешь в какую-то мутную, липкую, пошлую обстановку чувств. Я не хочу! Какое тебе дело до меня? Алеша лезет со своими страхами, а ты со своими. Оставьте меня. Не трогайте меня. Кому какое дело, что меня шесть лет медленно сжимали и вытягивали, пока я не превратилась в какую-то роковую уездную газель — с глазами и больше ни с чем? Я не хочу. И главное, какое *ты* имеешь право меня допрашивать? Ведь тебе решительно все равно, — ты просто входишь в ритм и потом не можешь остановиться...

Антонина Павловна. Один только вопрос, и я пойду спать: ты с ним увидишься?

Любовь. Я ему с няней пошлю французскую записку, я к нему побегу, я брошу мужа, я...

Антонина Павловна. Люба, ты... ты шутишь?

Любовь. Да. Набросок третьего действия.

Антонина Павловна. Дай Бог, чтобы он тебя разлюбил за эти годы, а то хлопот не оберешься.

Любовь. Мама, перестань. Слышишь, *перестань*!

Трощейкин входит справа и обращается назад в дверь.

Трощейкин. Сюда, пожалуйста...

Антонина Павловна *(к Любови).* Спокойной ночи. Храни тебя Бог.

Трощейкин. Что вы там в коридоре застряли? Это просто старые журналы, хлам, — оставьте.

Антонина Павловна. Спокойной ночи, Алеша.

Трощейкин. Спите, спите. *(В дверь.)* Пожалуйте сюда.

Антонина Павловна уходит, входит Барбошин: костюм спортивный, в клетку, с английскими шароварами, но голова трагического актера и длинные седовато-рыжие волосы. Он движется медленно и крупно. Торжественно-рассеян. Сыщик с надрывом. Войдя, он глубоко кланяется Любови.

Барбошин. Не вам, не вам кланяюсь, а всем женам, обманываемым, душимым, сжигаемым, и прекрасным изменницам прошлого века, под густыми, как ночь, вуалями.

Трощейкин. Вот это моя мастерская. Покушение случилось здесь. Боюсь, что именно эта комната будет его притягивать.

Барбошин. Дитя! О, обаятельная, обывательская наивность! Нет, место преступления привлекало преступников только до тех пор, пока этот факт не стал достоянием широкой публики. Когда дикое ущелье превращается в курорт, орлы улетают. *(Опять глубоко кланяется Любови.)* Еще кланяюсь женам молчаливым, задумчивым... женской загадке кланяюсь...

Любовь. Алеша, что этому господину от меня нужно?

Трощейкин *(тихо).* Не бойся, все хорошо. Это лучший агент, которого мне могло дать здешнее бюро частного сыска.

Барбошин. Предупреждаю влюбленных, что я научен слышать апартэ яснее, чем прямую речь. Меня этот башмак давно беспокоит. *(Стаскивает его.)*

Трощейкин. Я еще хотел, чтобы вы исследовали окно.

Барбошин *(исследуя башмак).* Так и знал: гвоздь торчит. Да, вы правильно охарактеризовали меня вашей супруге. Последний весенний сезон был особенно для меня удачен. Молоточек, что-нибудь... Хорошо, дайте это... Между прочим, у меня было одно интереснейшее дело, как

раз на вашей улице. Ультраадюльтер, типа Б, серии 18-й. К сожалению, по понятным причинам профессиональной этики, я не могу вам назвать никаких имен. Но вы, вероятно, ее знаете: Тамара Георгиевна Грекова, 23 лет, блондинка с болонкой.

Трощейкин. Окно, пожалуйста...

Барбошин. Извините, что ограничиваюсь полунамеками. Тайна исповеди. Но к делу, к делу. Что вам не нравится в этом отличном окошке?

Трощейкин. Смотрите: совсем рядом водосточная труба, и по ней легко можно взобраться.

Барбошин. Контрклиент может себе сломать шею.

Трощейкин. Он ловок как обезьяна!

Барбошин. В таком случае, могу вам посоветовать один секретный прием, применяемый редко, но с успехом. Вы будете довольны. Следует приделать так называемый фальшкарниз, то есть карниз или подоконник, который срывается от малейшего нажима. Продается с гарантией на три года. Вывод ясен?

Трощейкин. Да, но как это сделать... Нужно звать рабочих... Сейчас поздно!

Барбошин. Это вообще не так важно: все равно я буду до рассвета, как мы условились, ходить у вас под окнами. Между прочим, вам будет довольно любопытно смотреть, как я это делаю. Поучительно и увлекательно. В двух словах: только пошляки ходят маятником, а я делаю так. *(Ходит.)* Озабоченно иду по одной стороне, потом перехожу на другую по обратной диагонали... Вот... И так же озабоченно по другой стороне. Получается сначала латинское «н». Затем перехожу по обратной диагонали накрест... Так... Опять — к исходной точке, и все повторяю сначала. Теперь вы видите, что я по обеим панелям всегда продвигаюсь только в одном направлении, чем достигается незаметность и естественность. Это способ доктора Рубини. Есть и другие.

Любовь. Алеша, отошли его. Мне неприятно. Я сейчас буду кричать.

Барбошин. Вы можете абсолютно не волноваться, мадам. Можете спокойно лечь спатки, а в случае бессонницы наблюдать за мной из окна. Сегодня луна, и получится

эффектно. Еще одно замечание: обычно беру задаток, а то бывает, что охраняемый ни с того ни с сего исчезает... Но вы так хороши, и ночь такая лунная, что я как-то стесняюсь поднимать этот вопрос.

Трощейкин. Ну, спасибо. Это все очень успокоительно.

Барбошин. Что еще? Слушайте, что это за картины? Уверены ли вы, что это не подделка?

Трощейкин. Нет, это мое. Я сам написал.

Барбошин. Значит, подделка! Вы бы, знаете, все-таки обратились к эксперту. А скажите, что вы желаете, чтобы я завтра предпринял?

Трощейкин. Утром, около 8, поднимитесь ко мне. Вот вам, кстати, ключ. Мы тогда решим, что дальше.

Барбошин. Планы у меня грандиознейшие! Знаете ли вы, что я умею подслушивать мысли контрклиента? Да, я буду завтра ходить по пятам его намерений. Как его фамилия? Вы мне, кажется, говорили... Начинается на «ш». Не помните?

Трощейкин. Леонид Викторович Барбашин.

Барбошин. Нет-нет, не путайте *Барбошин*, Альфред Афанасьевич.

Любовь. Алеша, ты же видишь... Он больной.

Трощейкин. Человека, который нам угрожает, зовут Барбашин.

Барбошин. А я вам говорю, что моя фамилия *Барбошин*. Альфред Барбошин. Причем это одно из моих многих настоящих имен. Да-да... Дивные планы! О, вы увидите! Жизнь будет прекрасна. Жизнь будет вкусна. Птицы будут петь среди клейких листочков, слепцы услышат, прозреют глухонемые. Молодые женщины будут поднимать к солнцу своих малиновых младенцев. Вчерашние враги будут обнимать друг друга. И врагов своих врагов. И врагов их детей. И детей врагов. Надо только верить... Теперь ответьте мне прямо и просто: у вас есть оружье?

Трощейкин. Увы, нет! Я бы достал, но я не умею обращаться. Боюсь даже тронуть. Поймите: я художник, я ничего не умею.

Барбошин. Узнаю в вас мою молодость. И я был таков — поэт, студент, мечтатель... Под каштанами Гей-

дельберга я любил амазонку... Но жизнь меня научила многому. Ладно. Не будем бередить прошлого. *(Поет.)* «Начнем, пожалуй...» Пойду, значит, ходить под вашими окнами, пока над вами будут витать Амур, Морфей и маленький Бром. Скажите, господин, у вас не найдется папироски?

Трощейкин. Я сам некурящий, но... где-то я видел... Люба, Ревшин утром забыл тут коробку. Где она? А, вот.

Барбошин. Это скрасит часы моего дозора. Только проведите меня черным ходом, через двор. Это корректнее.

Трощейкин. А, в таком случае пожалуйте сюда.

Барбошин *(с глубоким поклоном к Любови)*. Кланяюсь еще всем непонятым...

Любовь. Хорошо, я передам.

Барбошин. Благодарю вас.

Уходит с Трощейкиным налево. Любовь несколько секунд одна. Трощейкин поспешно возвращается.

Трощейкин. Спички! Где спички! Ему нужны спички.

Любовь. Ради Бога, убери его скорей! Где он?

Трощейкин. Я его оставил на черной лестнице. Провожу его и сейчас вернусь. Не волнуйся. Спички!

Любовь. Да вот — перед твоим носом.

Трощейкин. Люба, не знаю, как ты, но я себя чувствую гораздо бодрее после этого разговора. Он, по-видимому, большой знаток своего дела и какой-то ужасно оригинальный и уютный. Правда?

Любовь. По-моему, он сумасшедший. Ну, иди, иди.

Трощейкин. Я сейчас.

Трощейкин убегает налево.

Секунды три Любовь одна. Раздается звонок. Она сперва застывает, — и затем быстро уходит направо. Сцена пуста. В открытую дверь слышно, как говорит Мешаев Второй, — и вот он входит, с корзиной яблок, сопровождаемый Любовью. Его внешность явствует из последующих реплик.

Мешаев Второй. Так я наверное не ошибся? Здесь обитает г-жа Опаяшина?

Любовь. Да, это моя мать.

Мешаев Второй. А, очень приятно!

Любовь. Можете поставить сюда...

Мешаев Второй. Нет, зачем, — я просто на пол... Понимаете, какая штука: брат мне наказал явиться сюда, как только приеду. Он уже тут? Неужели я первый гость?

Любовь. Собственно, вас ждали днем, к чаю. Но это ничего. Я сейчас посмотрю, — мама, вероятно, еще не спит.

Мешаев Второй. Боже мой, значит, случилась путаница? Экая история! Простите... Я страшно смущен. Не будите ее, пожалуйста. Вот я принес яблочков, — и передайте ей, кроме того, мои извинения. А я уж пойду...

Любовь. Да нет, что вы, садитесь. Если она только не спит, она будет очень рада.

Входит Трощейкин и замирает.

Любовь. Алеша, это брат Осипа Михеевича.

Трощейкин. Брат? А, да, конечно. Пожалуйста.

Мешаев Второй. Мне так совестно... Я не имею чести лично знать г-жу Опаяшину. Но несколько дней тому назад я известил Осипа, что приеду сюда по делу, а он мне вчера в ответ: вали прямо с вокзала на именины, там, дескать, встретимся.

Любовь. Я сейчас ей скажу.

Любовь уходит.

Мешаев Второй. Так как я писал ему, что приеду с вечерним «скорым», то из его ответа я, естественно, заключил, что прием у госпожи Опаяшиной именно вечером. Либо я переврал час прихода поезда, либо он прочел невнимательно — второе вероятнее. Весьма, весьма неудачно. А вы, значит, сын?

Трощейкин. Зять.

Мешаев Второй. А, супруг этой милой дамы. Так, так. Я вижу, вы удивлены моим с братом сходством.

Трощейкин. Ну, знаете, меня сегодня ничто не может удивить. У меня крупные неприятности...

Мешаев Второй. Да, все жалуются. Жили бы в деревне!

Трощейкин. Но, действительно, сходство любопытное.

Мешаев Второй. Сегодня совершенно случайно я встретил одного остряка, которого не видел с юности: он когда-то выразился в том смысле, что меня и брата играет один и тот же актер, но брата хорошо, а меня худо.

Трощейкин. Вы как будто лысее.

Мешаев Второй. Увы! Восковой кумпол, как говорится.

Трощейкин. Простите, что зеваю. Это чисто нервное.

Мешаев Второй. Городская жизнь, ничего не поделаешь. Вот я — безвыездно торчу в своей благословенной глуши — что ж, уже лет десять. Газет не читаю, развожу кур с мохрами, пропасть ребятишек, фруктовые деревья, жена — во! Приехал торговать трактор. Вы что, с моим братом хороши? Или только видели его у бель-мер?

Трощейкин. Да. У бель — парастите, па-пажалста...

Мешаев Второй. Ради Бога. Да... мы с ним не ахти как ладим. Я его давненько не видел, несколько лет, — и признаться, мы разлукой не очень тяготимся. Но раз решил приехать, — неудобно, знаете, — известил. Начинаю думать, что он просто хотел мне свинью подложить: этим ограничивается его понятие о скотоводстве.

Трощейкин. Да, это бывает... Я тоже мало смыслю...

Мешаев Второй. Насколько я понял из его письма, госпожа Опаяшина литераторша? Я, увы, не очень слежу за литературой!

Трощейкин. Ну, это литература такая, знаете... неуследимо бесследная. Ох-ха-а-а.

Мешаев Второй. И она, видимо, тоже рисует.

Трощейкин. Нет, нет. Это *моя* мастерская.

Мешаев Второй. А, — значит, вы живописец! Интересно. Я сам немножко на зимнем досуге этим занимался. Да вот еще — оккультными науками развлекался одно время. Так это ваши картины... Позвольте взглянуть. *(Надевает пенснэ.)*

Трощейкин. Сделайте одолжение. *(Пауза.)* Эта не окончена.

Мешаев Второй. Хорошо! Смелая кисть.

Трощейкин. Извините меня, я хочу в окно посмотреть.

Мешаев Второй *(кладя пенснэ обратно в футляр).* Досадно. Неприятно. Вашу бель-мер из-за меня разбудят. В конце концов, она меня даже не знает. Проскакиваю под флагом брата.

Трощейкин. Смотрите, как забавно.

Мешаев Второй. Не понимаю. Луна, улица. Это скорее грустно.

Трощейкин. Видите, — ходит. От! Перешел. Опять. Очень успокоительное явление.

Мешаев Второй. Запоздалый гуляка. Тут, говорят, здорово пьют.

Входит Антонина Павловна и Любовь с подносом.

Антонина Павловна. Господи, как похож!

Мешаев Второй. Честь имею... Поздравляю вас... Вот тут я позволил себе... Деревенские.

Антонина Павловна. Ну, это бессовестное баловство. Садитесь, прошу вас. Дочь мне все объяснила.

Мешаев Второй. Мне весьма неловко. Вы, верно, почивали?

Антонина Павловна. О, я полуночница. Ну, рассказывайте. Итак, вы всегда живете в деревне?

Трощейкин. Люба, по-моему, телефон?

Любовь. Да, кажется. Я пойду...

Трощейкин. Нет, я.

Трощейкин уходит.

Мешаев Второй. Безвыездно. Кур развожу, детей пложу, газет не читаю.

Антонина Павловна. Чайку? Или хотите закусить?

Мешаев Второй. Да, собственно...

Антонина Павловна. Люба, там ветчина осталась. Ах, ты уже принесла. Отлично. Пожалуйста. Вас ведь Михеем Михеевичем?

Мешаев Второй. Мерси, мерси. Да, Михеем.

Антонина Павловна. Кушайте на здоровье. Был торт, да гости съели. А мы вас как ждали! Брат думал, что

вы опоздали на поезд. Люба, тут сахару мало. *(К Мешаеву.)* Сегодня, ввиду события, у нас в хозяйстве некоторое расстройство.

Мешаев Второй. События?

Антонина Павловна. Ну да: сегодняшняя сенсация. Мы так волнуемся...

Любовь. Мамочка, господину Мешаеву совершенно неинтересно о наших делах.

Антонина Павловна. А я думала, что он в курсе. Во всяком случае, очень приятно, что вы приехали. В эту нервную ночь приятно присутствие спокойного человека.

Мешаев Второй. Да... Я как-то отвык от ваших городских тревог.

Антонина Павловна. Вы где же остановились?

Мешаев Второй. Да пока что нигде. В гостиницу заеду.

Антонина Павловна. А вы у нас переночуйте. Есть свободная комната. Вот эта.

Мешаев Второй. Я, право, не знаю... Боюсь помешать...

Трощейкин возвращается.

Трощейкин. Ревшин звонил. Оказывается, он и Куприков засели в кабачке недалеко от нас и спрашивают, все ли благополучно. Кажется, напились. Я ответил, что они могут идти спать, раз у нас этот симпатяга марширует перед домом. *(К Мешаеву.)* Видите, до чего дошло: пришлось нанять ангела-хранителя.

Мешаев Второй. Вот как.

Любовь. Алеша, найди какую-нибудь другую тему...

Трощейкин. Что ты сердишься? По-моему, очень мило, что они позвонили. Твоя сестричка, небось, не потрудилась узнать, живы ли мы.

Мешаев Второй. Я боюсь, что у вас какие-то семейные неприятности... Кто-нибудь болен... Мне тем более досадно.

Трощейкин. Нет-нет, оставайтесь. Напротив, очень хорошо, что толчется народ. Все равно не до сна.

Мешаев Второй. Вот как.

Антонина Павловна. Дело в том, что... справедливо или нет, — но Алексей Максимович опасается

покушения. У него есть враги... Любочка, нужно же человеку что-нибудь объяснить... А то вы мечетесь как безумные... Он Бог знает что может подумать.

Мешаев Второй. Нет, не беспокойтесь. Я понимаю. Я из деликатности. Вот, говорят, во Франции, в Париже, тоже богема, все такое, драки в ресторанах...

Бесшумно и незаметно вошел Барбошин. Все вздрагивают.

Трощейкин. Что вы так пугаете? Что случилось?

Барбошин. Передохнуть пришел.

Антонина Павловна *(к Мешаеву)*. Сидите. Сидите. Это так. Агент.

Трощейкин. Вы что-нибудь заметили? Может быть, вы хотите со мной поговорить наедине?

Барбошин. Нет, господин. Попросту хочется немного света, тепла... Ибо мне стало не по себе. Одиноко, жутко. Нервы сдали... Мучит воображение, совесть неспокойна, картины прошлого...

Любовь. Алеша, или он, или я. Дайте ему стакан чаю, а я пойду спать.

Барбошин *(к Мешаеву)*. Ба! Этто кто? Вы как сюда попали?

Мешаев Второй. Я? Да что ж... Обыкновенно, дверным манером.

Барбошин *(к Трощейкину)*. Господин, я это рассматриваю как личное оскорбление. Либо я вас охраняю и контролирую посетителей, либо я ухожу и вы принимаете гостей... Или это, может быть, конкурент?

Трощейкин. Успокойтесь. Это просто приезжий. Он не знал. Вот возьмите яблоко и идите, пожалуйста. Нельзя покидать пост. Вы так отлично все это делали до сих пор!..

Барбошин. Мне обещали стакан чаю. Я устал. Я озяб. У меня гвоздь в башмаке. *(Повествовательно.)* Я родился в бедной семье, и первое мое сознательное воспоминание — —

Любовь. Вы получите чая, — но под условием, что будете молчать, молчать абсолютно!

Барбошин. Если просят... Что же, согласен. Я только хотел в двух словах рассказать мою жизнь. В виде иллюстрации. Нельзя?

Антонина Павловна. Люба, как же можно так обрывать человека...

Любовь. Никаких рассказов, — или я уйду.

Барбошин. Ну, а телеграмму можно передать?

Трощейкин. Телеграмму? Откуда? Давайте скорее.

Барбошин. Я только что интерцептировал ее носителя, у самого вашего подъезда. Боже мой, Боже мой, куда я ее засунул? А! Есть.

Трощейкин *(хватает и разворачивает).* «Мысленно присутствую обнимаю поздрав — —». Вздор какой. Могли не стараться. *(К Антонине Павловне.)* Это вам.

Антонина Павловна. Видишь, Любочка, ты была права. Вспомнил Миша!

Мешаев Второй. Становится поздно! Пора на боковую. Еще раз прошу прощения.

Антонина Павловна. А то переночевали бы...

Трощейкин. Во-во. Здесь и ляжете.

Мешаев Второй. Я, собственно...

Барбошин *(к Мешаеву).* По некоторым внешним приметам, доступным лишь опытному глазу, я могу сказать, что вы служили во флоте, бездетны, были недавно у врача и любите музыку.

Мешаев Второй. Все это совершенно не соответствует действительности.

Барбошин. Кроме того, вы левша.

Мешаев Второй. Неправда.

Барбошин. Ну, это вы скажете судебному следователю. Он живо разберет!

Любовь *(к Мешаеву).* Вы не думайте, что это у нас приют для умалишенных. Просто нынче был такой день, и теперь такая ночь...

Мешаев Второй. Да я ничего...

Антонина Павловна *(к Барбошину).* А в вашей профессии есть мно́го привлекательного для беллетриста. Меня очень интересует, как вы относитесь к детективному роману как таковому?

Барбошин. Есть вопросы, на которые я отвечать не обязан.

Мешаев Второй *(к Любови).* Знаете, странно: вот — попытка этого господина, да еще — одна замечательная

встреча, которая у меня только что была, напомнили мне, что я в свое время от нечего делать занимался хиромантией, — так, по-любительски, но иногда весьма удачно.

Любовь. Умеете по руке?..

Трощейкин. О, если бы вы могли предсказать, что с нами будет! Вот мы здесь сидим, балагурим, пир во время чумы, — а у меня такое чувство, что можем в любую минуту взлететь на воздух. *(К Барбошину.)* Ради Христа, кончайте ваш дурацкий чай!

Барбошин. Он не дурацкий.

Антонина Павловна. Я читала недавно книгу одного индуса. Он приводит поразительные примеры...

Трощейкин. К сожалению, я не способен долго жить в атмосфере поразительного. Я, вероятно, поседею за эту ночь.

Мешаев Второй. Вот как?

Любовь. Можете мне погадать?

Мешаев Второй. Извольте. Только я давно этим не занимался. А ручка у вас холодная.

Трощейкин. Предскажите ей дорогу, умоляю вас.

Мешаев Второй. Любопытные линии. Линия жизни, например... Собственно, вы должны были умереть давным-давно. Вам сколько? Двадцать два, двадцать три?

Барбошин принимается медленно и несколько недоверчиво рассматривать свою ладонь.

Любовь. Двадцать пять. Случайно выжила.

Мешаев Второй. Рассудок у вас послушен сердцу, но сердце у вас рассудочное. Ну, что вам еще сказать? Вы чувствуете природу, но к искусству довольно равнодушны.

Трощейкин. Дельно!

Мешаев Второй. Умрете... вы не боитесь узнать, как умрете?

Любовь. Нисколько. Скажите.

Мешаев Второй. Тут, впрочем, есть некоторое раздвоение, которое меня смущает... Нет, не берусь дать точный ответ.

Барбошин *(протягивает ладонь)*. Прошу.

Любовь. Ну, вы не много мне сказали. Я думала, что вы предскажете мне что-нибудь необыкновенное, потряса-

ющее... например, что в жизни у меня сейчас обрыв, что меня ждет удивительное, страшное, волшебное счастье...

Трощейкин. Тише! Мне кажется, кто-то позвонил... А?

Барбошин *(сует Мешаеву руку)*. Прошу.

Антонина Павловна. Нет, тебе почудилось. Бедный Алеша, бедный мой... Успокойся, милый.

Мешаев Второй *(машинально беря ладонь Барбошина)*. Вы от меня требуете слишком многого, сударыня. Рука иногда недоговаривает. Но есть, конечно, ладони болтливые, откровенные. Лет десять тому назад я предсказал одному человеку всякие катастрофы, а сегодня, вот только что, выходя из поезда, вдруг вижу его на перроне вокзала. Вот и обнаружилось, что он несколько лет просидел в тюрьме из-за какой-то романтической драки и теперь уезжает за границу навсегда. Некто Барбашин, Леонид Викторович. Странно было его встретить и тотчас опять проводить. *(Наклоняется над рукой Барбошина, который тоже сидит с опущенной головой.)*

Мешаев Второй. Просил кланяться общим знакомым, но вы его, вероятно, не знаете...

Занавес.

1938
Ментона

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВАЛЬСА

Драма в трех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Кабинет военного министра. В окне вид на конусообразную гору. На сцене, в странных позах, военный министр и его личный секретарь.

Полковник. Закиньте голову еще немножко. Да погодите — не моргайте... Сейчас... Нет, так ничего не вижу. Еще закиньте...

Министр. Я объясняю вам, что — под верхним веком, *под верхним*, а вы почему-то лезете под нижнее.

Полковник. Все осмотрим. Погодите...

Министр. Гораздо левее... Совсем в углу... Невыносимая боль! Неужели вы не умеете вывернуть веко?

Полковник. Дайте-ка ваш платок. Мы это сейчас...

Министр. Простые бабы в поле умеют так лизнуть кончиком языка, что снимают сразу.

Полковник. Увы, я горожанин. Нет, по-моему — все чисто. Должно быть, давно выскочило, только пунктик еще чувствителен.

Министр. А я вам говорю, что колет невыносимо.

Полковник. Посмотрю еще раз, но мне кажется, что вам кажется.

Министр. Удивительно, какие у вас неприятные руки...

Полковник. Ну, хотите — попробую языком?

Министр. Нет, — гадко. Не мучьте меня.

Полковник. Знаете что? Садитесь иначе, так света будет больше. Да не трите, не трите, никогда не нужно тереть.

Министр. Э, стойте... Как будто действительно... Да! Полегчало.

Полковник. Ну и слава Богу.

М и н и с т р. Вышло. Какое облегчение... Блаженство. Так о чем мы с вами говорили?

П о л к о в н и к. Вас беспокоили действия — —

М и н и с т р. Да. Меня беспокоили и беспокоят действия наших недобросовестных соседей. Государство, вы скажете, небольшое, но ух какое сплоченное, сплошь стальное, стальной еж... Эти прохвосты неизменно подчеркивают, что находятся в самых амикальных с нами отношениях, а на самом деле только и делают, что шлют к нам шпионов и провокаторов. Отвратительно!

П о л к о в н и к. Не трогайте больше, если вышло. А дома сделайте примочку. Возьмите борной или, еще лучше, чаю...

М и н и с т р. Нет, ничего, прошло. Все это, разумеется, кончится громовым скандалом, об этом другие министры не думают, а я буду вынужден подать в отставку.

П о л к о в н и к. Не мне вам говорить, что вы незаменимы.

М и н и с т р. Вместо медовых пряников лести вы бы лучше кормили меня простым хлебом добрых советов. О, скоро одиннадцать. Кажется, никаких дел больше нет...

П о л к о в н и к. Позвольте напомнить вам, что в одиннадцать у вас назначено свидание...

М и н и с т р. Не помню. Ерунда. Оставьте, пожалуйста, эти бумаги...

П о л к о в н и к. Еще раз позвольте напомнить вам, что в одиннадцать явится к вам по рекомендации генерала Берга — —

М и н и с т р. Генерал Берг — старая шляпа.

П о л к о в н и к. Вот его записка к вам, на которую вы изволили ответить согласием. Генерал Берг — —

М и н и с т р. Генерал Берг — старый кретин.

П о л к о в н и к. ...Генерал Берг посылает к вам изобретателя... желающего сделать важное сообщение... Его зовут: Сальватор Вальс.

М и н и с т р. Как?

П о л к о в н и к. Некто Сальватор Вальс.

М и н и с т р. Однако! Под такую фамилию хоть танцуй. Ладно. Предлагаю вам его принять вместо меня.

Полковник. Ни к чему. Я знаю этих господ, изобретающих винтик, которого не хватает у них в голове... Он не успокоится, пока не доберется до вас — через все канцелярские трупы.

Министр. Ну, вы всегда найдете отговорку. Что ж, придется и сию чашу выпить... Весьма вероятно, что он уже дожидается в приемной.

Полковник. Да, это народ нетерпеливый... Вестник, бегущий без передышки множество верст, чтобы поведать пустяк, сон, горячечную мечту...

Министр. Главное, генерал мне уже посылал таких. Помните дамочку, выдумавшую подводную спасательную лодку?

Полковник *(берется за телефон).* При подводной же. Да. Я помню и то, что свою выдумку она впоследствии продала другой державе.

Министр. Ну и помните на здоровье. Дайте мне трубку... Что, пришел... как его... Сильвио... Сильвио...

Полковник. Сальватор Вальс.

Министр *(в телефон).* Да, да... Превосходно... Пускай явится. *(К полковнику.)* Мало ли что дураки покупают. Их она объегорила, а меня нет-с, — вот и все. Продала... Скажите, пожалуйста! Ради Бога, не двигайте так скулами, это невыносимо.

Полковник. Тут еще нужна будет ваша подпись на этих бумагах.

Министр. Я расстроен, я сердит... Завтра уже газеты поднимут шум вокруг этой шпионской истории, и придется выслушивать всякий вздор... И я недоволен официальной версией... Надобно было составить совсем по-другому...

Входит Сальватор Вальс.

Вальс *(к полковнику).* Вы — министр?

Полковник. Господин министр готов вас принять.

Вальс. Значит — не вы, а — вы?

Министр. Присаживайтесь... Нет, — если вам все равно, не рядом со мной, а насупротив.

Пауза.

В а л ь с. А! Как раз видна гора отсюда.

М и н и с т р. Итак... я имею удовольствие говорить с господином... с господином... Э, где письмо?

П о л к о в н и к. Сальватор Вальс.

В а л ь с. Ну знаете, это не совсем так. Случайный псевдоним, ублюдок фантазии. Мое настоящее имя знать вам незачем.

М и н и с т р. Странно.

В а л ь с. Все странно в этом мире, господин министр.

М и н и с т р. Вот как? Словом, мне генерал пишет, что у вас есть нечто мне сообщить... Открытие, насколько я понял?

В а л ь с. В ранней молодости я засорил глаз, — с весьма неожиданным результатом. В продолжение целого месяца я все видел в ярко-розовом свете, будто гляжу сквозь цветное окно. Окулист, который, к сожалению, меня вылечил, назвал это оптическим заревом. Мне сорок лет, я холост. Вот, кажется, все, что могу без риска сообщить вам из своей биографии.

М и н и с т р. Любопытно, — но, насколько я понял, вы пришли ко мне по делу.

В а л ь с. Формула «насколько я понял», — вы уже дважды ее повторили, — равняется прямому утверждению своей правоты. Я люблю точность выражений и не терплю обиняков, этих заусениц речи.

П о л к о в н и к. Позвольте вам заметить, что вы занимаете время господина министра именно обиняками. Господин министр очень занятой человек.

В а л ь с. А неужели вам до сих пор не ясно, отчего подступ мой столь медлителен?

П о л к о в н и к. Нет, — отчего?

В а л ь с. Причина проста, но болтлива.

П о л к о в н и к. Какая причина?

В а л ь с. Ваше присутствие.

М и н и с т р. Но-но-но... вы можете говорить совершенно свободно в присутствии моего секретаря.

В а л ь с. И все-таки я предпочитаю говорить с вами с глазу на глаз.

П о л к о в н и к. Нагло-с!

Вальс. Ну, каламбурами вы меня не удивите. У меня в Каламбурге две фабрики и доходный дом.

Полковник *(к министру)*. Прикажете удалиться?

Министр. Что ж, если господин... если этот господин ставит такое условие... *(К Вальсу.)* Но я вам даю ровно десять минут.

Полковник выходит.

Вальс. Отлично. Я вам их возвращу с лихвой — и, вероятно, сегодня же.

Министр. Ох, вы выражаетесь весьма замысловато. Насколько я понимаю, то есть, я хочу сказать, что мне так сообщили, — вы — изобретатель?

Вальс. Определение столь же приблизительное, как и мое имя.

Министр. Хорошо, пускай приблизительное. Итак — я вас слушаю.

Вальс. Да, но, кажется, не вы одни... *(Быстро идет к двери, отворяет ее.)*

Полковник *(в дверях)*. Как неприятно, я забыл свой портсигар, подарок любимой женщины. Впрочем, может быть, и не здесь... *(Уходит.)*

Министр. Да-да, он всегда забывает... Изложите ваше дело, прошу вас, у меня действительно нет времени.

Вальс. Изложу с удовольствием. Я — или, вернее, преданный мне человек — изобрел аппарат. Было бы уместно его окрестить так: *телемор.*

Министр. Телемор? Вот как.

Вальс. При помощи этого аппарата, который с виду столь же невинен, как, скажем, радиошкаф, возможно на любом расстоянии произвести взрыв невероятной силы. Ясно?

Министр. Взрыв? Так, так.

Вальс. Подчеркиваю: на любом расстоянии, — за океаном, всюду. Таких взрывов можно, разумеется, произвести сколько угодно, и для подготовки каждого необходимо лишь несколько минут.

Министр. А! Так, так.

Вальс. Мой аппарат находится далеко отсюда. Его местонахождение скрыто с верностью совершенной, маги-

ческой. Но если и допустить пошлый случай, что наткнутся на него, то, во-первых, никто не угадает, как нужно им пользоваться, а во-вторых, будет немедленно построен новый, с роковыми последствиями для искателей моего клада.

Министр. Ну, кто же этим станет заниматься...

Вальс. Должен, однако, вас предупредить, что сам я ровно ничего не смыслю в технических материях, так что даже если бы я этого и желал, то не мог бы объяснить устройство данной машины. Она — работа моего старичка, моего родственника, изобретателя, никому не известного, но гениального, сверхгениального! Вычислить место, наставить, а затем нажать кнопку, этому я, правда, научился, но объяснить... нет, нет, не просите. Все, что я знаю, сводится к следующему смутному факту: найдены два луча, или две волны, которые при скрещении вызывают взрыв радиусом в полтора километра, кажется — полтора, во всяком случае не меньше... Необходимо только заставить их скреститься в выбранной на земном шаре точке. Вот и все.

Министр. Ну, что ж, вполне достаточно... Чертежей или там объяснительной записки у вас с собой, по-видимому, не имеется?

Вальс. Конечно, нет! Что за нелепое предположение.

Министр. Я и не предполагал. Напротив. Да... А вы сами по образованию кто? Не инженер, значит?

Вальс. Я вообще крайне нетерпеливый человек, как правильно заметил ваш секретарь. Но сейчас я запасся терпением, и кое-какие запасы у меня еще остались. Повторю еще раз: моя машина способна путем повторных взрывов изничтожить, обратить в блестящую ровную пыль целый город, целую страну, целый материк.

Министр. Верю, верю... Мы с вами об этом еще как-нибудь...

Вальс. Такое орудие дает его обладателю власть над всем миром. Это так просто! Как это вы не хотите понять?

Министр. Да нет, почему же... я понимаю. Очень любопытно.

Вальс. Все, что вы можете мне ответить?

Министр. Вы не волнуйтесь... Видите ли... Простите... очень надоедливый кашель... схватил на последнем смотру...

Входит полковник.

Вальс. Вы отвечаете мне кашлем? Так?

Министр *(к полковнику)*. Вот, голубчик, наш изобретатель рассказал тут чудеса... Я думаю, мы его попросим представить доклад. *(К Вальсу.)* Но это, конечно, не к спеху, мы, знаете, завалены докладами.

Полковник. Да-да, представьте доклад.

Вальс *(к министру)*. Это ваше последнее слово?

Полковник. Десять минут уже истекли, и у господина министра еще много занятий.

Вальс. Не смейте мне говорить о времени! Временем распоряжаюсь я, и, если хотите знать, времени у вас действительно очень мало.

Министр. Ну вот, потолковали, очень был рад познакомиться, а теперь вы спокойно идите, как-нибудь еще поговорим.

Вальс. А все-таки это удивительно! Представьте себе, что к жене моряка является некто и говорит: вижу корабль вашего мужа на горизонте. Неужели она не побежит посмотреть, а попросит его зайти в среду с докладной запиской, которую даже не собирается прочесть? Или вообразите фермера, которому среди ночи пришли сказать, что у него загорелся амбар, — неужели не выскочит он в нижнем белье? И наконец, когда полководец въезжает во взятый им город, неужели бургомистр волен гаркнуть ему, чтоб он представил на гербовой бумаге прошение, коли хочет получить ключи города?

Министр *(к полковнику)*. Я не понимаю, что он говорит.

Полковник. Уходите, пожалуйста. Все, что вы сообщили, принято к сведению, но теперь аудиенция окончена.

Вальс. Я черпаю из последних запасов. Я говорю с вами идеально точным человеческим языком, данным нам природой для мгновенной передачи мысли. Воспользуйтесь этой возможностью понять. О, знаю, что, когда представлю вам доказательство моей силы, вы мне выкажете

куда больше внимания... Но сначала я хочу позволить себе роскошь чистого слова, без наглядных пособий и предметных угроз. Прошу вас, переключите ваш разум, дайте мне доступ к нему, — право же, мое изобретение стоит этого!

Министр *(звонит)*. Мы вполне его оценили, все это весьма интересно, но у меня есть неотложное дело... Потом, попозже, я опять буду к вашим услугам.

Вальс. Отлично. В таком случае я подожду в приемной. Полагаю, что вы меня скоро пригласите опять. Дело в том — —

Вошел слуга Горб.

Полковник *(к Горбу)*. Проводите, пожалуйста, господина Вальса.

Вальс. Невежа! Дайте, по крайней мере, докончить фразу.

Полковник. А вы не грубите, милостивый государь!

Министр. Довольно, довольно.

Вальс. Какой у вас прекрасный вид из окна! Обратите внимание, пока не поздно. *(Уходит.)*

Министр. Каков, а?

Полковник. Что ж, — самый дешевый сорт душевнобольного.

Министр. Экая гадость! Отныне буду требовать предварительного медицинского освидетельствования от посетителей. А Бергу я сейчас намылю голову.

Полковник. Я-то сразу заметил, что — сумасшедший. По одежде даже видно. И этот быстрый волчий взгляд. Знаете, я пойду посмотреть — боюсь, он наскандалит в приемной. *(Уходит.)*

Министр *(по телефону)*. Соедините меня с генералом Бергом. *(Пауза.)* Здравствуйте, генерал. Да, это я. Как поживаете нынче? Нет, я спрашиваю, как вы нынче поживаете. Да, я знаю, что люмбаго, — но как, — лучше? Ну, весной всегда так бывает... Кто? А, мне еще не докладывали. Этой ночью? Жаль! Слава Богу, что умер во сне, бедняга. Да, я пошлю моего полковника. Ну конечно, достойна пенсии. Только этим не занимается мое министерство. Думаю, что ей дадут. Да я же говорю вам, что это не я решаю, я тут совершенно ни при чем. Ах, Боже мой!

Хорошо! Хорошо, постараюсь. Послушайте, генерал, я, между прочим, хотел вам сказать относительно вашего *протеже*, словом, про этого изобретателя, которого вы ко мне послали... В том-то и дело, что он был у меня, и оказывается, что это просто-напросто умалишенный. *(Входит полковник и передает министру в машинальную руку письмо.)* Понес такую дичь, что пришлось его выпроводить чуть ли не силой. Какое там открытие! Старая история о фантастической машине, которая будто бы производит взрывы на расстоянии. Скажите, пожалуйста, как он, собственно, к вам попал? Ну да, а к майору он попал еще через когонибудь. Так, по ступенькам, долез. Нет, я нисколько не сержусь на вас, но он со своим бредом отнял у меня массу ценного времени, а кроме того, такой может и убить. Дада, я это все понимаю, но все-таки, знаете, надо быть сугубо осторожным. Убедительно прошу вас не посылать мне больше таких фруктов. А вы скорей поправляйтесь. Да-да, это очень мучительно, я знаю. Ну вот... Передайте привет вашей Анабеллочке. А, ездит верхом? Что ж, скоро будет брать призы, как ее папаша в молодости. Да-да, вдовы не забуду. Будьте здоровеньки, до свидания. *(К полковнику.)* Что это за письмо?

Полковник. А вы посмотрите. Не лишено интереса.

Министр. Ну знаете, тут ничего нельзя разобрать. Что это такое? Не почерк, а какая-то волнистая линия. От кого это?

Полковник. Мне его дал для вас давешний сумасшедший.

Министр. Послушайте, это уже переходит всякие границы. Увольте.

Полковник. Я, признаться, разобрал и сейчас вам прочту. Уверяю вас, что очень забавно. «Господин военный министр, если бы наш разговор вас больше заинтересовал, то намеченное мною событие явилось бы просто иллюстрацией; теперь же оно явится устрашением, как, впрочем, я и предполагал. Короче говоря, я сли... сло...» Не понимаю. Ага! «...сговорился со своим помощником, что ровно в полдень он, из того... отдаленнейшего пункта, где находится мой аппарат, вызовет взрыв в тридцати трех верстах

от сего места, то есть, другими словами, взорвет красивую полу... получу...» Вот пишет человек! «...красивую...»

Министр. Охота вам разбирать патологический вздор.

Полковник. «Голубую», должно быть. Да «...красивую голубую гору, которая так ясно видна из вашего окна. Не пропустите минуты, эффект будет замечательный. Ожидающий у вас в приемной Сальватор Вальс».

Министр. Действительно... Комик!

Полковник. Вы бы посмотрели, с каким видом он мне это всучил.

Министр. Бог с ним. Посидит и уйдет. И уж конечно, если вернется когда-нибудь опять, сказать, что нет приема.

Полковник. Ну, это — разумеется.

Министр. А нашего генерала я так огрел по телефону, что, кажется, у него прошла подагра. Между прочим, знаете, кто нынче ночью помер? Старик Перро, — да, да. Вам придется поехать на похороны. И напомните мне завтра поговорить с Брутом насчет пенсии для вдовы. Они, оказывается, последнее время сильно нуждались, грустно, я этого даже не знал.

Полковник. Что ж, такова жизнь. Один умирает, а другой выезжает в свет. У меня лично всегда бодрое настроение, каждый день новый роман!

Министр. Ишь какой.

Полковник. Сегодня весна, теплынь. Продают на улицах мимозу.

Министр. Где вы сегодня завтракаете? Хотите у меня? Будет бифштекс с поджаренным лучком, мороженое...

Полковник. Что ж, — не могу отказаться. Но извините, если не задержусь: роман в разгаре!

Министр. Извиню. О-го — без десяти двенадцать.

Полковник. Ваши отстают. У меня без двух, и я поставил их правильно, по башне.

Министр. Нет, вы ошибаетесь. Мои верны, как карманное солнышко.

Полковник. Не будем спорить, сейчас услышим, как пробьет.

Министр. Пойдемте, пойдемте, я голоден. В животе настраиваются инструменты...

Бьют часы.

Полковник. Вот. Слышите? Кто был прав?

Министр. Допускаю, что в данном случае — —

Отдаленный взрыв страшной силы.

Министр. Матушки!

Полковник. Точно пороховой склад взорвался. Ай!

Министр. Что такой... Что такой...

Полковник. *Гора!* Взгляните на гору! Боже мой!

Министр. Ничего не вижу, какой-то туман, пыль...

Полковник. Нет, теперь видно. Отлетела верхушка!

Министр. Не может быть!

Вбегают Горб и 1-й чиновник Герб.

1-й чиновник. Вы целы, ваше высокопревосходительство? Какой-то страшный взрыв! На улице паника. Ах, смотрите...

Министр. Вон! Убирайтесь вон! Не смейте смотреть в окно! Это военная тайна... Я... Мне... *(Лишается чувств.)*

Вбегают: 2-й чиновник и швейцар министерства с булавой.

Полковник. Министру дурно. Помогите его уложить удобнее! Принесите воды, мокрое полотенце...

2-й чиновник (Бриг). Покушение! Министр ранен!

Полковник. Какое там ранен... Вы лучше взгляните на гору, на гору, на гору!

Вбегают трое людей.

1-й чиновник. Это не может быть, это обман зрения.

Безнадежно звонит телефон.

Швейцар министерства (Гриб). Горе, горе... Пришли времена бед великих и потрясений многих... Горе!

1-й чиновник. И как раз сегодня мои именины.

2-й чиновник. Какая гора! Где гора? Полцарства за очки!

Полковник. Еще... Что вы только мундир мочите... Лоб! Его большой, добрый, бедный лоб... Ах, господа, какая катастрофа!

Вбегает 3-й чиновник.

3-й чиновник (Брег). Все пожарные части уже помчались. Полиция принимает меры. Отдан приказ саперам — — Что случилось, отчего он лежит?

2-й чиновник. Взрывом выбило стекла, его убило осколком.

3-й чиновник. А я вам говорю, что это землетрясение. Спасайся кто может!

Полковник. Господа, прекратите эту безобразную суету. Кажется, приходит в себя.

Министр. Холодно... Зачем эти мокрые тряпки? Оставьте меня, я хочу встать. И убирайтесь все отсюда, как вы смеете толкаться у меня в кабинете, вон, вон... (*Комната пустеет.*) Полковник!..

Полковник. Пересядьте сюда. Успокойтесь.

Министр. Да понимаете ли вы, идиот, что случилось? Или это какое-то кошмарное стихийное совпадение, или это *он сделал*!

Полковник. Успокойтесь. Сейчас все выяснится.

Министр. Во-первых, оставьте мое плечо. И скажите, чтобы прекратили этот галдеж под окнами... Я должен спокойно, спокойно подумать. Ведь если это он... Какие возможности, — с ума сойти... Да где он, зовите его сюда, неужели он ушел?..

Полковник. Умоляю вас прийти в себя. В городе паника, и прекратить шум невозможно. Вероятнее всего, что произошло вулканическое извержение.

Министр. Я хочу, чтобы тутчас, тутчас был доставлен сюда этот Сильвио!

Полковник. Какой Сильвио?

Министр. Не переспрашивать! Не играть скулами! Изобра, изобру, изобри — —

Полковник. А, вы хотите опять видеть этого горе-изобретателя? Слушаюсь. *(Уходит.)*

Министр. Собраться с мыслями... собраться с мыслями... Мой бедный рассудок, труби сбор! Произошло фантастическое событие, и я должен сделать из него фантастический вывод. Дай мне, Боже, силу и мудрость, укрепи меня и наставь, не откажи в своей спасительной... Чорт, чья это нога?

Репортер (Граб). *(Выползает из-под письменного стола.)* Ничего, ничего, — я случайно сюда попал, воспользовавшись суматохой. Итак — позвольте вас спросить: по некоторым вашим словам я заключаю, что министерство каким-то образом причастно к этой национальной катастрофе...

Министр. Я вас сейчас застрелю!

Репортер. ...или, во всяком случае, догадывается о ее причине. Если б вы согласились разъяснить...

На звонок вбегают Бриг, Брег, Герб.

Министр. Уберите его, заприте где-нибудь! Постойте, — поищите, нет ли еще под мебелью.

Находят еще одного.

2-й репортер (Гроб). *(К первому).* Стыдно! Если сам попался, нечего было доносить.

1-й репортер. Клянусь, что не я!

2-й репортер. Ничего, ничего... Наломаю тебе ребра.

Их волокут вон.

1-й репортер *(на волочке).* Господин министр, распорядитесь, чтоб меня посадили отдельно, у меня семья, дети, жена в интересном — —

Министр. Молчать! Я уверен, что тут еще спрятаны... Негодяи!.. Свяжите их, бросьте их в погреб, отрежьте им языки... Ах, не могу! Где этот человек, почему он не идет?

Входят полковник и Вальс. Вальс, не торопясь, на ходу, читает газету.

Полковник. Вообразите, насилу отыскал! Чудак спокойно сидел в нише и читал газету.

Министр. Ну-ка, подойдите ко мне. Хороши...

Вальс. Одну минуточку, дайте дочитать фельетон. Я люблю старые газеты... В них есть что-то трогательное, как, знаете, в болтливом бедняке, которого кабак давно перестал слушать.

Министр. Нет, я отказываюсь верить! Невозможно. Полковник, поддержите меня... Скажите мне, что он сумасшедший!

Полковник. Я это всегда говорил.

Министр *(к полковнику)*. Мне нравится ваша пошлая самоуверенность. *(К Вальсу.)* Ну? Взгляните в окно и объясните.

Полковник. Мне кажется, что господин Вальс даже не заметил взрыва. В городе циркулирует несколько версий...

Министр. Полковник, я вас не спрашиваю. Мне хочется знать *его* мнение.

Вальс *(складывает газету)*. Ну что же, вам понравился мой маленький опыт?

Министр. Неужели вы хотите, чтобы я поверил, что это сделали вы? Неужели вы хотите мне внушить — — Полковник, удалитесь. Я при вас теряю нить, вы меня раздражаете.

Полковник. Люди уходят, дела остаются. *(Уходит.)*

Вальс. Какая перемена вида! Был конус, Фузияма, а теперь нечто вроде Столовой Горы. Я выбрал ее не только по признаку изящной красоты, а также потому, что она была необитаема: камни, молочай, ящерицы... Ящерицы, впрочем, погибли.

Министр. Послушайте, понимаете ли вы, что вы под арестом, что вас будут за это судить?

Вальс. *За это?* Эге, шаг вперед. Значит, вы уже допускаете мысль, что я могу взорвать гору?

Министр. Я ничего не допускаю. Но рассудок мой отказывается рассматривать этот... это... словом, эту катастрофу как простое совпадение. Можно предсказать затмение, но не... Нет-нет, стихийные катастрофы не происходят

ровно в полдень, это противно математике, логике, теории вероятности.

Вальс. И поэтому вы заключаете, что это сделал я.

Министр. Если вы подложили динамита и ваши сообщники произвели взрыв, вас сошлют на каторгу, — вот и все, что я могу заключить. Полковник! *(Звонит.)* Полковник! *(Входит полковник.)* Донесение какое-нибудь получено?

Полковник. Извольте.

Министр. Давайте сюда... Ну, вот... «Начисто снесена верхняя половина горы, именуемой в просторечии» — — дурацкое многословие... «или, иными словами, пирамида в 610 метров высоты и в 1415 метров ширины базы. В уцелевшем основании горы образовался кратер глубиной в 200 с лишком метров. Взорванная часть обратилась в мельчайшую пыль, осевшую на нижних склонах горы и до сих пор, как туман, стоящую над полями у ее подножья. В близлежащих селах и даже на окраине города в домах выбиты стекла, но человеческих жертв покамест не обнаружено. В городе царит сильное возбуждение, и многие покинули свои жилища, опасаясь подземных толчков...» Прекрасно.

Вальс. Как я вам уже говорил, я в технике профан, но, мне кажется, вы злоупотребляете моим невежеством, когда заявляете, что я или мои сообщники произвели втайне сложнейший подкоп. Кроме того, не верю, что вы, дока, действительно думаете, что *такого рода* взрыв может быть вызван посредством динамита.

Министр. Послушайте, полковник, допросите этого человека, я с ним не могу говорить. Он меня нарочно сбивает.

Полковник. К вашим услугам. Итак, вы утверждаете, господин Вальс, что вы непричастны к этому делу?

Министр. Наоборот, наоборот! Вы не с того бока... Наоборот же: он говорит, что — —

Полковник. Ага. Итак, вы сознаетесь, господин Вальс, что данное дело не обошлось без вашего участия?

Министр. Нет, это невозможно... Что это вы, право, ставите вопросы криво! Человек утверждает, что он вызвал этот взрыв посредством своей машины.

Вальс. Эх, дети, дети... Когда вы наконец поумнеете?

Полковник. Итак, господин Вальс... Ну, о чем мне его еще спросить?

Министр. Господин Вальс, слушайте... Я старый человек... я видел в свое время смерть на поле битвы, я много испытал и много перевидел... Не скрываю от вас: то, что сейчас случилось, наполнило меня ужасом, и самые фантастические мысли одолевают меня...

Вальс. А вы свой портсигар нашли, полковник?

Полковник. Не ваше дело. И вообще — позволю себе сделать маленькое предложение: вы, ваше высокопревосходительство, утомились, вы сейчас отдохнете, позавтракаете, а я этого господина отправлю в сумасшедший дом. Затем соберем ученую комиссию, и в два счета она дознается до истинной геологической причины катастрофы.

Министр *(к Вальсу)*. Извините его... Он в самом деле дитя, — и притом дитя не очень умное. Я к вам обращаюсь сейчас как старый человек, обремененный печалью и предчувствиями... Я хочу знать правду, — какова бы ни была эта правда... Не скрывайте ее от меня, не обманывайте старика!

Вальс. Я вам сказал правду за час до опыта. Теперь вы убедились, что я не лгал. Ваш секретарь прав: успокойтесь и хорошенько все обдумайте. Уверяю вас, что, несмотря на кажущуюся жестокость моего орудия, я человек гуманный, — гораздо более гуманный, чем вы даже можете вообразить. Вы говорите, что вы в жизни многое перетерпели; позвольте вам сказать, что *моя* жизнь состояла из таких материальных лишений, из таких нравственных мук, что теперь, когда все готово измениться, я еще чувствую за спиной стужу прошлого, как после ненастной ночи все чувствуешь зловещий холодок в утренних тенях блестящего сада. Мне жаль вас, сочувствую рвущей боли, которую всяк испытывает, когда привычный мир, привычный уклад жизни, рушится вокруг. Но план свой я обязан выполнить.

Министр. Что он говорит... Боже мой, что он говорит...

Полковник. Мое мнение вам известно. Безумец пользуется понятным волнением, которое в вас возбудило

бедственное озорство природы. Представляю себе, что делается в городе, улицы запружены, я вряд ли попаду на свидание...

Министр. Послушайте меня... я — старый человек... У меня — —

Из шкафа выходит Сон, журналист. Его может играть женщина.

Сон. Не могу больше слушать эту канитель. Да-да, господин министр, сознаю, что мое появление не совсем прилично, но не буду вам напоминать, сколько я исполнил ваших секретных поручений в газетной области и как крепко умею держать красный язык за белыми зубами. Коллега Вальс, моя фамилия Сон, — не путайте меня с фельетонистом Зоном, это совсем другой коленкор. Руку!

Полковник. Бесстыдник! Вывести его?

Министр. Мне все равно. Оставьте... Душа в смятеньи... Я сейчас рад всякому советнику.

Вальс. Вот вам моя рука. Только — почему вы меня назвали коллегой? Я в газетах никогда не писал, а свои юношеские стихи я сжег.

Сон. О, я употребил этот термин в более глубоком смысле. Я чую в вас родственную душу, — энергию, находчивость, жар приключений... Не сомневаюсь, что когда-нибудь потом, на досуге, вы мне объясните, как вы угадали точное время этого интересного явления, столь изменившего наш прославленный пейзаж... а сейчас я, конечно, готов поверить, что вы изобрели соответствующую машину. Господин министр, мое чутье подсказывает мне, что этот человек не безумец.

Министр *(к полковнику)*. Видите, не я один так думаю.

Полковник. Пока его не осмотрит врач, я придерживаюсь своего первоначального мнения.

Сон. Вот и чудно. Каждый пускай придерживается своего мнения, и будем играть.

Вальс. Да, будем играть. Полковник меня считает параноиком, министр — едва ли не бесом, а вы — шарлатаном. Я, разумеется, остаюсь при мнении особом.

Министр. Видите ли, Сон... в каком мы странном положении — —

Сон. Дорогой министр, в жизни ничего странного не бывает. Вы стоите перед известным фактом, и этот факт нужно принять или же расписаться в своей умственной некомпетенции. Предлагаю следующее: пускай будут произведены еще испытания. Ведь это вы сможете организовать, господин Вальс?

Вальс. Да, придется. По-видимому, почва еще недостаточно подготовлена.

Сон. Ну, с почвой-то вы обращаетесь довольно своеобразно. *(К министру.)* Что же, как вы относитесь к моему предложению?

Министр. Я думаю. Я думаю.

Сон. Лучше не думайте, будет только хуже.

Полковник *(к Вальсу).* Нет, пожалуйста, отодвиньтесь. Я хочу быть рядом с моим начальником.

Вальс. Мне здесь удобнее.

Полковник. А я вам говорю — —

Сон. Господа, не ссорьтесь. *(К министру.)* Ну что, додумали?

Министр. Ответственность колоссальна... решимости никакой... возможность оказаться в смешном положении — невыносима... президент выпустит на меня общественное мнение... меня разорвут...

Вальс. Это теперь совершенно неважно. Я спрашиваю вас, желаете ли вы еще демонстраций или вам достаточно сегодняшней? Вот в чем вопрос.

Полковник. Я не позволяю так разговаривать с моим министром...

Сон. Господа, все мы немножко взволнованы, и потому некоторая резкость речи простительна. *(К министру.)* Кончайте думать, пожалуйста.

Министр. ...А посоветоваться не с кем... Боязно эту тайну разгласить... Боязно...

Сон. Это так просто: составьте комиссию из верных людей, и будем играть. Полковник, оставьте этот стул, право же, не до мелочей...

Полковник. Я не хочу, чтобы он там сидел.

Сон. Оставьте, оставьте. Итак, господин министр?

Министр. Не знаю... Не умею...

Вальс. Он слишком долго думает. Противно. Пойдемте, Сон. Вы мне пригодитесь.

Министр. А! Вас удивляет мое состояние? Так разрешите мне вам сказать, что я понимаю кое-что, чего не понимаете вы. Я человек воображения, и мне до того ясно представилось все, что наша страна может извлечь... А с другой стороны... Хорошо, я рискну! Да будут произведены еще испытания.

Сон. Слова исторические, я рад и горд, что их слышу. Да, мне кажется, что испытания должны быть сделаны и что наш изобретатель блестяще выйдет из положения. *Не правда ли, Вальс?..* Конечно, вам дадут время для подготовки, будут с вами советоваться...

Вальс. Все, что мне нужно, это — возможность отдать распоряжение по радио за полчаса до опыта.

Сон. Да, конечно, конечно... Ну вот, я очень доволен, что это дело я уладил.

Министр. Но если из этих опытов ничего не выйдет, то две вещи погибнут невозвратно: моя репутация и жизнь этого господина.

Вальс. Замечу только, что логика не терпит того смешения опасения и угрозы, которое вы делаете.

Полковник. Посмотрим, посмотрим! Интересно, какое у вас будет личико, когда эксперты выяснят причину распада горы. А как она была прелестна! По вечерам ее лиловатый конус на фоне золотого неба возбуждал не раз во мне и в минутной подруге чудные мысли о ничтожестве человека, о величии и покое матери-природы. Я плакал.

Сон. Матери-природе господин Вальс подставил подножку. *(К министру.)* Итак — конкретно: что дальше?

Министр. Дальше... Да вот, — сперва три-четыре испытания. Надо будет собрать положительных людей и выбрать пункты.

Вальс. И сделать это как можно скорее.

Министр. И сделать это как можно скорее... То есть, позвольте, почему такая спешка? Или вы думаете этим заинтересовать... кого-нибудь другого?

Вальс. Мое нетерпение вам должно быть понятно: чек выписан и предъявлен к уплате. Нет смысла задерживать ее.

Министр. Голубчик мой, только не говорите притчами, — говорите так, чтобы вас понимали люди, — люди притом усталые и нервные.

Сон. Спокойно, спокойно. Теперь мы все решили и можем разойтись по домам.

Полковник. Мы даже не знаем адреса лечебницы, откуда он сбежал.

Вальс. Я стою в гостинице... Вот — здесь указано.

Сон. Да-да, мы вам верим. Значит, так. Не откладывайте же, господин министр. Соберите комиссию, и хоть завтра начнем. А вы, Вальс, не кипятитесь. Я уж послежу, чтобы не было волокиты.

Вальс. Я подожду три дня, не больше.

Сон. Сойдемся на четырех. Знаете, все это почтенные старцы, поднять их нелегко...

Министр. Но одно условие я должен поставить, господа. Все, что здесь говорилось, — строжайшая военная тайна, так что ни звука не должно дойти до публики.

Сон. Так и быть. Моя газета будет молчать, — во всяком случае, до кануна разоблачений в органах конкурентов.

Министр. Как вы это нехорошо сказали... Какой вы дрянной человек... Слушайте, полковник, а эти газетчики, которых здесь выловили...

Полковник. Сидят взаперти. Но смею заметить, что долго держать их невозможно. Это вообще против закона. Будет запрос в парламенте, а вы сами знаете, как это скучно.

Министр. Ничего, я поговорю с президентом. Заставим молчать негодяев.

Вальс. Странно, этот географический атлас, именно этот, был у меня когда-то в школе. И та же клякса на Корсике.

Полковник. Только это не Корсика, а Сардиния.

Вальс. Значит, надпись неправильна.

Полковник. Ваше высокопревосходительство, скажите, чтобы он меня не дразнил.

Сон. Тише, тише. Я думаю, Вальс, что теперь все улажено и мы можем ретироваться.

Министр. Только помните о тайне, умоляю вас! Пустите у себя версию о землетрясении, о вулкане, о чем хотите, — но только чтобы ни звука, господа, ни звука...

Входят генерал Берг и его дочка Анабелла.

Генерал. Мы без доклада, пустяки, мы тут свои человеки, грах, грах, грах *(такой смех)*.

Министр. Генерал, я сейчас не могу, я занят...

Генерал Берг. А, вот он, виновник торжества, грах, грах, грах. Ну что, дорогой министр, мой протеже не так уж безумен, ась?

Министр. Ради Бога, генерал, не громыхайте на все министерство, мы с вами потом потолкуем...

Генерал Берг. Каков взрыв! Великолепно по простоте и силе! Как ножом срезало этот пломбир. А вы мне говорите: лунатик. Вот вам и лунатик.

Министр. Почему вы думаете, что это он? Мы еще ничего не знаем...

Генерал Берг. А кто же, — конечно, он. Экий молодчага! *(К Вальсу.)* Вы мне должны показать свой аппарат.

Вальс. Да, вот этого недоставало.

Генерал Берг. И притом петух!.. Нет, это замечательно... Это даже художественно. Я сразу понял, что в нем что-то есть. *(К министру.)* А скажите, вы не забыли распорядиться насчет вдовицы? Я, между прочим, забыл добавить, что — —

Министр. Потом, потом... Господа, вы меня извините, я ухожу, я истомился, пожалейте меня!

Анабелла *(подойдя к Вальсу)*. Значит, это действительно *вы* разрушили гору?

Вальс. Да, я так приказал.

Анабелла. А известно ли вам, что там некогда жил колдун и белая, белая серна?

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

За длинным столом сидят: военный министр, полковник и одиннадцать старых генералов — Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг (последние трое представлены куклами, мало чем отличающимися от остальных).

Министр. Ну, кажется, все в сборе.

Гроб. А где Бриг? Брига еще нет.

Герб. Как нет? Да вот он.

Берг. Грах, грах, грах.

Граб *(к Бригу)*. Что это вас, генерал, не замечают? Вы ведь не такой уж маленький.

Гроб. Виноват, я вас как-то проглядел. Да, значит — все.

Министр. Хорошо... начнем.

Берг *(к Бригу)*. Быть богатым!

Брег *(к Гробу)*. Вы, вероятно, его не заметили оттого, что *он* близорук.

Все смеются.

Бриг. Да, это мое несчастье.

Гроб. Нет, я просто не видел, как генерал вошел. Между прочим, знаете что, господа: нас ведь тринадцать!

Министр. Изобретателя мы можем пригласить только по окончании прений, а президент раньше пяти не будет. Это неприятно, что тринадцать...

Полковник. Я могу удалиться, если кто-нибудь согласится быть секретарем вместо меня.

Министр. Нет, зачем же... Только это неприятно...

Полковник. Пожалуйста, я уйду.

Министр. Да что вы обижаетесь на всякое слово! Скучно, ей-Богу.

Граб. Можно пригласить этого моего милого инженера, знаете — этого блондина с бакенбардами, — он ведь все равно в курсе?

Герб. Предложение незаконное. Я протестую.

Министр. Скажите, пожалуйста, что это за сундук в углу?

Полковник. Ах, это из архива. В нем карты.

Брег. Игральные или генеральные?

Берг. Грах, грах, грах.

Полковник. Географические, конечно. Я велел принести, думая, что пригодятся. Если желаете, можно убрать.

Министр. Откройте-ка этот сундук, дорогой полковник.

Из сундука выходит Сон.

Министр. Я так и думал.

Сон. Куда прикажете сесть?

Гроб. Нас все-таки тринадцать! Раз, два, три... *(Считает.)* Вот оказия!

Бриг. Вы опять меня забыли.

Гроб. Да, правильно.

Министр. Ну вот, теперь приступим. Только помните, Сон, вы голоса не имеете, сидите и молчите.

Герб. Я протестую. Лишних людей не должно быть.

Берг. Полноте, генерал. Это так — фикция. Ведь это — Сон. Нас столько же, сколько и было.

Герб. В таком случае я снимаю свой протест.

Министр. Господа! Сейчас мы заслушаем доклад относительно тех трех испытаний, которые произвел... произвел... Сальватор Вальс. Это как будто формальность, ибо вы все так или иначе уже знаете их результаты; но вместе с тем это есть формальность необходимая, как база нашего дебата. Попрошу вас сосредоточить все свое внимание. Мы сегодня же должны принять ответственное и важное решение, все значение которого трудно умалить. Господа, попрошу вас насторожиться, — и по возможности, генерал Гриб, не рисовать во время доклада.

Гриб. Это помогает мне слушать, уверяю вас.

Министр. Нет, вы всегда рисуете какие-то сложные вещи. И, смотрите, даже тень штрихуете... Это противно.

Граб *(к Грибу)*. Покажите-ка. Ну, если это автомобиль, то не очень похоже.

Министр. Словом, прошу вас прекратить. Заседание открыто, и мы сейчас заслушаем доклад. У кого доклад? Кажется, у вас, Граб?

Граб. Нет, он у генерала Гроба.

Гроб. Нет, извините, не у меня. Нечего фискалить.

Министр. У кого же, господа? Ведь вы его, Граб, писали.

Граб. Составляли сообща, а затем генерал Герб передал дальше.

Министр. Кому вы его передали, Герб?

Герб. Интересно знать, почему генерал Граб сваливает на других? Доклада я не видал. Но случайно знаю, что он у генерала Брега.

Брег. Какой доклад?

Бриг. Позвольте мне сказать. Доклад переписывал Груб, а сверял Бург.

Министр *(к Грубу и Бургу)*. Значит, он у вас?

Те, понятно, молчат.

Берг. Плыл да сбыл. Грах, грах, грах.

Министр. Хорошо, мы сделаем иначе. Попрошу того, у кого доклад, поднять руку. Никто руки не поднимает? Прекрасно. Значит, доклад потерян, — если был составлен вообще.

Герб. Я вношу по этому поводу предложение: составить доклад снова и отложить заседание на другой день.

Министр. Вы не знаете, что вы говорите. Стыдно! Гадко! Послушайте, полковник, как это такая вещь могла произойти? Что это такое?

Полковник. Я абсолютно ни при чем.

Министр. А я вам говорю: при чем. И знаете почему? С самого начала вы заняли такую позицию, что, мол, это все не ваше дело, что... что... мы занимаемся пустяками, что... этот изобретатель просто сумасшедший... Ходите надутый, — ну вот и получилось, можете радоваться.

Полковник. Ваше высокопревосходительство, служебный долг свой я обязан исполнять, и я его исполняю по мере своих слабых сил. Но личное свое мнение я изменить не могу.

Гроб. Присоединяюсь к предложению Герба. Дорогой министр, отложим все это дело, — ну зачем, право, терять время даром?.. Соберемся на следующей неделе, свеженькие, — право же.

Министр. Прекрасно. Тогда я немедленно подаю в отставку. Кто за высказанное предложение? Кто за —

встать. Никто не встает? Предложение отклонено. Теперь предложение сделаю я. Попрошу вас, генерал Герб, доклад сделать устно.

Герб. Почему, собственно, я? Мы все писали.

Министр. Прекрасно. Заседание закрыто, и я немедленно прошу президента найти мне заместителя.

Герб. Погодите, погодите... Что это вы так... Вот вы генерала Горба не спросили, — почему вы его не спрашиваете?

Горб встает; он немой, но пытается что-то сказать знаками.

Министр. К сожалению, я не понимаю языка немых. Лечились бы, если вы немой. Гадко! Есть профессор, который научает... хотя бы мычанию.

Голоса. Расскажите! Ах, расскажите! Очень просим! Это интересно!

Министр. Молчать! Единственный выход, который я вижу из этого безобразного положения — —

Сон. Могу я вставить словечко?

Герб. Это незаконно.

Сон. Я вставлю словечко, как денежку в автомат: все сразу двинется, вот увидите!

Министр. Говорите. Мне все равно. Безобразие!

Сон. Доклад сделаю я. Ведь я так же хорошо осведомлен, как и все вы, если не лучше. Принято?

Герб. Я снимаю свой протест.

Министр. Ну, что ж... Господа, я думаю, что мы Сона попросим... В конце концов, это формальность, мы все знаем содержание доклада, но зато он придаст ему сжатую и точную форму. Я думаю, что голосовать не стоит. Все согласны? Сон, мы вас слушаем.

Сон. Я буду краток. Третьего дня Сальватору Вальсу было предложено выполнить три задания; во-первых: взорвать скалистый остров, находящийся в двухстах километрах от пустынного берега, — вы меня извините, господа, я сознательно никаких названий мест не упоминаю, дабы не отягчать своего доклада, — а вы все равно знаете, о каких местах идет речь.

Голоса. Да-да, не нужно... Это подробности... Мелкий шрифт!..

Сон. Следующие намеченные вами пункты были: один — посреди обширного, непроходимого болота, другой — в песчаной пустыне. Точное местоположение этих пунктов было сообщено Вальсу ровно в шесть часов утра, и он тотчас удалился, сказав, что снесется со своим компаньоном. Наблюдение показало, что он действительно отдал распоряжения по радио, зашифрованные им, дабы не испугать случайного слуха. Заблаговременно были высланы самолеты, которые на приличном расстоянии наблюдали за результатами. В половине седьмого, то есть ровно через полчаса, был начисто взорван намеченный остров. Ровно в семь произошел взрыв в болоте, а еще через полчаса ахнуло в пустыне.

Сенсация.

Голоса. Замечательно! Это замечательно! Вы подумайте! Совершенно неслыханная история!

Сон. Не обошлось, однако, без курьезов, — и при этом довольно досадных. Среди самолетов, наблюдавших за уничтожением острова, затесался какой-то кретин на частной машине, совершавший рекордный рейд. Взрыв в болоте каким-то образом вызвал немедленное обмеление реки, обслуживающей главный город области. Наконец, третье и самое досадное: через несколько часов после взрыва известный путешественник — фамилию вы узнаете из газет — набрел на колоссальную воронку посреди пустыни и, как видно, весьма ею заинтересовался.

Голоса. Ну, это, знаете, действительно интересно. Еще бы не заинтересоваться! Вот так штука!

Министр. Должен ли я понять из ваших слов, что сегодня же пронесется по городу весть об этих трех... явлениях?

Сон. Увы, это неизбежно, — и надо будет придумать что-нибудь погуще версии о землетрясении, пущенной насчет нашей обезглавленной горы. Тем более что публика этой версии не поверила.

Министр. Да-да, мы придумаем. Я не знаю... Голова идет кругом... Это мы потом, потом обсудим.

Бриг. У меня есть вопрос: не следует ли искать причины интересных явлений, которые так живо описал

докладчик, не следует ли, говорю, искать их причины в перенагревании почвы, в результате нынешней, необычно жаркой весны?

Министр. Я не понимаю, что вы говорите.

Сон. Ничего, ничего, — генерал, просто так, — знаете, научные гипотезы... Позвольте, однако, досказать. Все вы, господа, участвовали в выборе пунктов, и все вы слышали донесения с мест. Таким образом вы убедились, что: примо, Сальватор Вальс выполнил задание, и, секундо, выполнил его в такой срок и в таких условиях, что всякую идею массового сообщничества следует с негодованием отмести.

Голоса. Да! Разумеется! Это само собой понятно! Ясно!

Сон. При этом я позволю себе обратить ваше внимание на следующее. Не зная, где находится аппарат Вальса, мы, конечно, не можем судить о том, прав ли Вальс в своем утверждении, что этот *телемор*, как он его ласково обзывает, бьет на *любое* расстояние. Однако тот факт, что второй предложенный пункт находился от первого в семистах километрах, доказывает, что диапазон боевой мощи аппарата превосходит самые смелые мечты!

Министр. Вы кончили, Сон?

Сон. В общих чертах это, кажется, все.

Министр. Кто-нибудь желает высказаться по существу дела? Никто? Я вижу, полковник, на вашем лице улыбку.

Полковник. Вы знаете мое мнение, господин министр. Покуда душевное здоровье этого Вальса не будет засвидетельствовано врачами, я не могу к нему относиться серьезно.

Герб. Присоединяюсь. Предлагаю все отложить до врачебного осмотра.

Гроб. Присоединяюсь и я. Прежде всего мы должны знать, с кем мы имеем дело.

Министр. Прекрасно. Заседание закрыто. Не сомневаюсь, что президент сегодня же примет мою отставку.

Герб. Беру свое предложение назад.

Гроб. Присоединяюсь.

Герб. Откройте опять заседание.

Голоса. Просим, просим!

Министр. Предупреждаю, что, если снова будет высказан хотя бы намек на ненормальность изобретателя, я надеваю фуражку и ухожу. Заседание открыто. Беру слово. Итак, господа, испытания были произведены, и они дали результат более чем положительный. *(К Грибу.)* Вы хотите что-то сказать, генерал?

Гриб. Нет, нет, — я ищу свой карандашик.

Министр. Более чем положительный. Изобретатель доказал, что его машина обладает фантастической силой. Другими словами, государство, которое пользовалось бы таким орудием уничтожения, заняло бы на земле положение совершенно особое. В нынешний момент, ввиду козней наших драчливых соседей, такое положение исключительно заманчиво. Не мобилизуя ни одного солдата, мы были бы способны продиктовать свою волю всему миру. Вот тот единственный вывод, который мы обязаны сделать, а потому теперь же, не откладывая, я хочу вам поставить, господа, вопрос, на который требую вдумчивого и определенного ответа: каков, фактически, должен быть наш следующий шаг? Бриг, попрошу вас.

Бриг. Наш следующий шаг, наш вдумчивый и ответственный шаг, должен быть... должен быть... он должен быть определенным.

Министр. Все?

Бриг. Я, собственно... Да, это все.

Министр. Садитесь. Пожалуйста, — Гроб.

Гроб. Я?

Министр. Да-да, вы. Ну, пожалуйста.

Гроб. Я сегодня не подготовился... Хотелось бы, знаете, поближе изучить... Я был болен... легкий склероз...

Министр. В таком случае нужно было представить свидетельство от ваших детей. Плохо! Садитесь. Гриб!

Гриб. Извините, я не слышал вопроса.

Министр. Не удивительно, что не слышали. Я повторю. Каков, по вашему мнению... Вы, Бруг, кажется, поднимаете руку? Нет? Очень жаль. Садитесь, Гриб. Плохо! Герб, пожалуйста.

Герб.

К Душе

Как ты, душа, нетерпелива,
Как бурно просишься домой —
Вон из построенной на диво,
Но тесной клетки костяной!

Пойми же, мне твой дом неведом,
Мне и пути не разглядеть,—
И можно ль за тобою следом
С такой добычею лететь!

Министр. Вы что — в своем уме?

Герб. Стихотворение Турвальского. Было задано.

Министр. Молчать.

Брег. Можно мне? Я знаю.

Министр. Стыдно, господа. Вот — смотрите, самый старый и дряхлый из вас знает, а вы — ни бельмеса. Стыдно! Пожалуйста, Брег.

Брег. Наш следующий шаг должен заключаться в следующем: мы должны просить его *(указывает на Сона)* изложить все это письменно и представить нам полное описание своего мухомора.

Министр. *Очень хорошо!* Только, к сожалению, генерал, речь идет не об этом господине. Можете сесть. Вот, полковник, полюбуйтесь, вот — результат вашего настроения. Никто ничего не знает и не хочет знать, а между тем мы стоим перед проблемой государственной важности, от разрешения коей зависит все наше будущее. Если вы не хотите работать, господа, то незачем приходить, сидите себе на солнышке да чмокайте губами, это будет самое лучшее.

Мертвое молчание.

Министр. Может быть, вы ответите, Сон?

Сон. Ответ кристально ясен.

Министр. Пожалуйста.

Сон. Следует немедленно купить у Сальватора Вальса его замечательную штуку.

Министр. Ну, вот. Это правильно. Новичок, а сразу сказал, между тем как другие, старые, сидят балдами. Да, господа, надо купить! Все согласны?

Голоса. Купить, купить!.. Отчего же, можно... Конечно, купить...

Берг. Все куплю, сказал мулат. Грах, грах, грах.

Министр. Итак, принято. Теперь мы должны поговорить о цене. Какую цифру мы можем назначить?

Герб. Девятьсот.

Гроб. Девятьсот двадцать.

Граб. Тысяча.

Герб. Две тысячи.

Пауза.

Министр. Итак — была названа сумма...

Гроб. Две тысячи двести.

Герб. Три тысячи.

Министр. Названа сумма — —

Гроб. Три тысячи двести.

Пауза.

Министр. ...Сумма в три тысячи двести...

Герб. Десять тысяч.

Гроб. Десять тысяч двести.

Герб. Двадцать тысяч.

Брег. А я говорю — миллион.

Сенсация.

Министр. Я думаю, мы остановимся на этой цифре.

Голоса. Нет, зачем же!.. Было интересно!.. Давайте еще!..

Министр. Прекратить шум! Миллион — та цифра, до которой мы можем дойти, если он станет торговаться, а предложим мы ему, скажем, две тысячи.

Гроб. Две тысячи двести.

Министр. Прения по этому вопросу закончены, генерал.

Сон. И пора пригласить продавца.

Министр. Полковник, прошу вас, позовите его.

Полковник. Умолчу о том, чего мне это стоит: я исполняю свой долг.

Министр. Ну, знаете, в таком состоянии вам лучше не ходить. Сидите, сидите, ничего, мы еще об этом с вами поговорим, будьте покойны... Сон, голубчик, сбегайте за ним. Он ожидает, если не ошибаюсь, в Зале Зеркал. Вы знаете, как пройти?

Полковник, будируя, отошел к окну.

Сон. Еще бы не знать. *(Уходит.)*

Министр. Прерываю заседание на пять минут.

Граб. Ох, ох, ох, — отсидел ногу...

Герб. Да позвольте, позвольте, — это у вас протез.

Граб. А, вот в чем дело.

Бриг *(к Бергу)*. Что же это, генерал, вы свою дочку держите в такой строгости? Мои говорят, что вы ее не пускаете вдвоем с товаркой в театр?

Берг. Не пущаю, верно.

Министр. Ах, если бы вы знали, господа, как у меня башка трещит... Третью ночь не сплю...

Гроб. Как вы думаете, угощения не предвидится?

Герб. Прошлый раз напились, вот и не дают.

Гроб. Это поклеп... Я никогда в жизни — —

Полковник *(у окна)*. Боже мой, что делается на улице! Шествия, плакаты, крики... Я сейчас открою дверь на балкон.

Все высыпают на балкон, кроме Бурга, Груба, Бруга и Гриба, который все рисует.

Входят Сон и Вальс.

Сон. Где же остальные? А, видно, заинтересовались демонстрацией. Садитесь, будьте как дома.

Вальс. Чем больше я наблюдаю вас, тем яснее вижу, что вы можете мне весьма пригодиться.

Сон. Всегда готов к услугам.

Вальс. Но только я вас заранее прошу оставить залихватский, подмигивающий тон, в котором вы позволяете себе со мной разговаривать. Моим сообщником вы не были и не будете никогда, а если желаете быть у меня на побегушках, то и держитесь как подчиненный, а не как подвыпивший заговорщик.

Сон. Все будет зависеть от количества знаков благодарности, которое вы согласитесь мне уделять ежемесячно. Видите, — я уже выражаюсь вашим слогом.

Вальс. Благодарность? Первый раз слышу это слово.

Сон. Вы сейчас удостоверитесь сами, что я хорошо поработал на вас. Старцы вам сделают небезынтересное предложение, только не торопитесь. А без меня они бы не решили ничего.

Вальс. Я и говорю, что ваше проворство мне пригодится. Но, разумеется, слуг у меня будет завтра сколько угодно. Вы подвернулись до срока, — ваше счастье, — беру вас в скороходы.

Сон. Заметьте, что я еще не знаю в точности правил вашей игры, я только следую им ощупью, по природной интуиции.

Вальс. В моей игре только одно правило: любовь к человечеству.

Сон. Ишь куда хватили! Но это непоследовательно: меня вы лишаете мелких прав Лепорелло, а сами метите в мировые Дон Жуаны.

Вальс. Я ни минуты не думаю, что вы способны понять мои замыслы. Мне надоело ждать, кликните их, пора покончить со старым миром.

Сон. Послушайте, Вальс, мне ужасно все-таки любопытно... Мы оба отлично друг друга понимаем, так что незачем держать фасон. Скажите мне, как вы это делаете?

Вальс. Что делаю?

Сон. Что, что... Эти взрывы, конечно.

Вальс. Не понимаю: вы хотите знать устройство моего аппарата?

Сон. Да бросьте, Вальс. Оставим аппарат в покое, — это вы им объясняйте, а не мне. Впрочем, мне даже не самый взрыв интересен, — подложить мину всякий может, — а мне интересно, как это вы угадываете наперед место?

Вальс. Зачем мне угадывать?

Сон. Да, я неправильно выразился. Конечно, наперед вы не можете знать, какое вам место укажут, но вы можете, — вот как фокусник подсовывает скользком карту... Словом, если у вас есть тут помощники, то не так трудно

внушить нашим экспертам, какой пункт назначить для взрыва, — а там уже все подготовлено... Так, что ли?

Вальс. Дурацкая процедура.

Сон. О, я знаю, я знаю: все это на самом деле сложнее и тоньше. Вы игрок замечательный. Но я так, для примера... Ведь я сам, знаете, ловил ваши темные слова на лету, старался угадать ваши намерения... и ведь, например, остров подсказал я, — мне казалось, что вы его мельком упомянули. А?

Вальс. Вздор.

Сон. Вальс, миленький, ну будьте откровеннее, ну расстегните хоть одну пуговку и скажите мне. Я обещаю, что буду ваш до гроба.

Вальс. Куш.

Сон. Хорошо, но когда вы мне скажете, — скоро? завтра?

Вальс. Позовите-ка этих господ, пожалуйста.

Сон. Крепкий орешек!

Он приказ исполняет. Все возвращаются с балкона, делясь впечатлениями.

Граб. Весьма живописная манифестация. Особенно в такую великолепную погоду.

Брег. А последний плакат вы прочли?

Гроб. Какой? «Мы желаем знать правду!» — это?

Брег. Нет-нет, последний: «Сегодня взрывают пустыни, завтра взорвут нас». Что за притча? По какому поводу? Выборы?

Министр. Все это до крайности прискорбно. Как это не уметь соблюсти военную тайну!

Берг. А мне больше всего понравилось: «Долой наймитов динамита», — просто и сильно.

Герб *(толкуя знаки Горба)*. Горб говорит, что такого волнения не было со времен убийства короля.

Бриг. Мое несчастье, что я близорук...

Министр. Скучно, обидно. Придется завербовать ученых... пускай как-нибудь объяснят... *(Заметив Вальса.)* А, вот он. Здравствуйте. Присаживайтесь. Господа, занимайте места. Заседание продолжается. Итак... Полковник!

Полковник. Чего изволите?

Министр. У вас там под рукой — — Нет, не то, — записка с фамильей... Спасибо. Итак... господин Сальватор Вальс, комиссия под моим председательством, после усиленных занятий, досконально рассмотрела и обсудила результаты ваших опытов. После зрелого и всестороннего изучения мы пришли к заключению, что ваше открытие представляет для нас некоторый интерес. Другими словами, мы были бы склонны вступить с вами в переговоры относительно возможности приобретения вашего изобретения.

Берг. Или изобретения вашего приобретения, — грах, грах, грах.

Министр. Неуместная шутка. Прекратить смех! Граб, перестаньте шушукаться с соседом. Что это за фырканье? Как вы себя ведете? Я продолжаю... Мы склонны приобрести... или, вернее, купить ваше изобретение. Правда, в данное время казна у нас не богата, но все-таки льщу себя надеждой, что сумма, которую мы можем вам предложить, покажется вам вознаграждением более чем щедрым. Мы предлагаем вам две тысячи.

Вальс. Я не совсем уловил, — за что вы хотите мне платить? За эти опыты?

Министр. Не удивительно, что не уловили, — обстановка невозможная. Господа, я отказываюсь говорить, если вы будете продолжать шептаться и хихикать. В чем дело? Что у вас там под столом? Гриб! Гроб!

Гриб. Мы ничего не делаем, честное слово.

Министр. Тогда сидите смирно. Я говорю не об опытах, я вам предлагаю продать нам ваш аппарат за две тысячи. Разумеется, трансакция осуществится только в тот момент, когда вы нам его покажете.

Вальс. Какое очаровательное недоразумение! Вы хотите купить мой аппарат? За две тысячи?

Министр. Да. Полагаю, впрочем, что мы можем — в виде большого исключения — повысить плату до трех.

Вальс. Сон, они хотят купить мой телемор! Сон, слышите?

Сон. Торгуйтесь, торгуйтесь! Козырь у вас.

Министр. Мне кажется, что три — ну, скажем, четыре — тысячи составят сумму, значительно превосходящую себестоимость вашей машины. Как видите, мы идем вам навстречу.

Вальс. Вы не идете, вы мчитесь. Но увы, мне приходится пресечь ваш бег. Вы увлеклись ерундой. Я не продаю своего аппарата.

Легкая пауза.

Министр. То есть как это так — не продаете?

Вальс. Конечно, не продаю! Что за дикая идея.

Сон. Маленький совет большого дельца: Вальс, не нажимайте слишком педаль.

Министр. Мой дорогой, вы меня, вероятно, не поняли. Я готов, я вполне готов предложить вам другую цену, если эта кажется вам недостаточной, — хотя мне лично... хотя я... Словом, хотите десять тысяч?

Вальс. Бросьте. Пора перейти к делу.

Министр. Да я и перехожу к делу! Ну, скажем, двадцать, скажем, пятьдесят... Господа, поддержите меня, что вы сидите дубинами?

Брег. Миллион.

Министр. Хорошо: миллион. Это... это — фантастическая цена, придется ввести новые налоги, — но все равно иду на это: миллион.

Сон. Вальс, это большие деньги.

Вальс. А я вам говорю, что я ничего никому продавать не намерен.

Сон. Ну и выдержка у этого человека!

Министр. Правильно ли я понял, что вы и за миллион не соглашаетесь продать нам машину?

Вальс. Правильно.

Министр. И что вы сами не назначите своей цены? Заметьте, что мы готовы рассмотреть *всякую* вашу цену.

Сон. Стоп, Вальс. Теперь пора.

Вальс. Довольно! Я сюда пришел не для этого. Господа, у меня для вас нет товара.

Министр. Это ваше последнее слово?

Вальс. По этому вопросу — да. Сейчас мы будем говорить совсем о другом предмете.

Министр. Вы правы. Вы совершенно правы, господин изобретатель. Мы действительно будем сейчас говорить о другом. Вы изволили крикнуть «довольно». Вот я тоже хочу сказать: «Довольно!» Раз вы не желаете уступить нам свое изобретение, то я немедленно арестую вас, и вы будете сидеть за семью замками, покуда не согласитесь на сделку. Довольно, господин изобретатель! Вы увидите... вы... я вас заставлю, — или вы сгниете в каменном мешке... и меня все в этом поддержат, ибо то, чем вы владеете, предмет слишком опасный, чтобы находиться в частных руках. Довольно хитрить! Вы что думаете, мы дураки? Думаете, что завтра пойдете торговаться с нашими соседями? Как бы не так! Или вы немедленно согласитесь, — или я зову стражу.

Вальс. Это, кажется, уже второй раз, что вы грозите лишить меня свободы, — как будто *меня* можно лишить свободы.

Министр. Вы арестованы! Вас больше нет! Полкôвник, распорядитесь...

Полковник. О, с удовольствием: давно пора!

Голоса. Да, пора... Рубите его... В окно его... Четвертовать... Правильно!

Сон. Одну минуточку, генерал: не будем терять голову, — какова бы она ни была, это все-таки голова, терять не нужно, дорога как память. Господа, — и вы, любезный Вальс, — я уверен, что эти меры воздействия излишни. Дайте Вальсу спокойно обдумать ваше предложение, то есть один миллион *до* доставки машины и один миллион — после, — и я убежден, что все кончится абсолютно мирно. Не правда ли, Вальс?

Вальс. Я устал повторять, что аппарата я не продаю.

Министр. Полковник, живо! Убрать его, связать, уволочь! В тюрьму! в крепость! в подземелье!

Вальс. И через семь часов, то есть ровно в полночь, произойдет любопытное и весьма поучительное явление.

Министр. Постойте, полковник. *(К Вальсу.)* Какое... явление?

Вальс. Предвидя, что вы сегодня можете попытаться применить ко мне силу, я условился с моим старичком так: если до полуночи я ему не дам о себе знать, то он должен немедленно взорвать один из ваших самых цветущих городов, — не скажу, какой, — будет сюрприз.

Министр. Это не может быть... Судьба ко мне не может быть так жестока...

Вальс. Но это не все. Если, спустя пять минут после взрыва, не последует от меня знака, то и другой городок взлетит на воздух. Так будет повторяться каждые пять минут, пока не откликнусь. И сами понимаете, господа, что если меня уже не будет в живых, то вряд ли я стану с того света производить спиритические стуки. Следовательно, все не получая от меня известия, мой аппарат довольно скоро обратит всю вашу страну в горсточку пыли.

Министр. Он прав... Он прав... Он предусмотрел все!.. Несчастные, да придумайте вы что-нибудь! Герб! Берг!

Герб. В тюрьму, в тюрьму.

Берг. А я вот думаю иначе. Вы его всё ругаете, а мне он по душе. Смелый парень! Назначьте его обер-инженером палаты, — вот это будет дело.

Полковник. Перед тем как произвести харакири, я еще раз поднимаю голос и твердо повторяю: отправьте этого человека в сумасшедший дом.

Вальс. Я думаю, не стоит ждать президента. Приступим. Потеснитесь, пожалуйста, а то мне тут неудобно. Теперь извольте *меня* выслушать.

Министр *(опускается на пол)*. Господин изобретатель, я очень старый, очень почтенный человек, — и видите, я перед вами стою на коленях. Продайте нам ваш аппаратик!

Голоса. Что вы, что вы... Вставайте, ваше высокопревосходительство... Перед кем... Где это видано...

Полковник. Не могу смотреть на это унижение.

Министр. Умоляю вас... Нет, оставьте меня, — я его умолю... Сжальтесь... Любую цену... Умоляю...

Вальс. Уберите его, пожалуйста. Он мне замусолил панталоны.

Министр *(встал)*. Дайте мне что-нибудь острое! Полковник, мы с вами вместе умрем. Дорогой мой полковник... Какие страшные переживания... Скорей кинжал! *(К Грабу.)* Что это?

Граб. Разрезательный нож. Я не знаю — это Бург мне передал.

Голоса. Ах, покажите, как это делается... Попробуйте этим... Чудно выйдет... Просим...

Полковник. Предатели!

Сон. Тише, господа, тише. Сейчас, по-видимому, будет произнесена речь. Дорогой министр, вам придется сесть на мой стул, я вам могу дать краешек, ваше место теперь занято. Мне очень интересно, что он скажет.

Вальс. Внимание, господа! Я объявляю начало новой жизни. Здравствуй, жизнь!

Герб. Встать?

Гроб. Нужно встать?

Вальс. Вы можете и сидя, и лежа слушать. *(Общий смех.)* Ах, как вы смешливы.

Министр. Это они так, — от волнения. Нервы сдали... Я сам... Говорите, говорите.

Вальс. Покончено со старым затхлым миром! В окно времен врывается весна. И я, стоящий ныне перед вами, — вчера мечтатель нищий, а сегодня всех стран земных хозяин полновластный, — я призван дать порядок новизне и к выходам сор прошлого направить. Отрадный труд! Можно вас спросить, — я вашего имени не знаю...

Граб. Это Гриб.

Вальс. Можно спросить вас, Гриб, почему вы держите на столе этот игрушечный автомобиль? Странно...

Гриб. Я ничем не играю, вот могут подтвердить...

Вальс. Так вы его сейчас спрятали под стол. Я отлично его видел. Мне даже показалось, что это именно тот, красный, с обитым кузовком, который у меня был в детстве. Где он? Вы только что катали его по столу.

Гриб. Да нет, клянусь...

Голоса. Никакой игрушки нет... Гриб не врет. Честное слово...

Вальс. Значит, мне почудилось.

Министр. Продолжайте, продолжайте. Ожидание вашего решения невыносимо.

Вальс. Отрадный труд! Давно над миром вашим, — как над задачей, столько содержащей неясных данных, чисел — привидений, препятствий и соблазнов для ума, что ни решить, ни бросить невозможно, — давно я так над вашим миром бился, покуда вдруг живая искра икса не вспыхнула, задачу разрешив. Теперь мне ясно все. Снаряд мой тайный вернее и наследственных венцов, и выбора народного, и злобы временщика, который наяву за сны свои, за ужас ночи мстит. Мое правленье будет мирно. Знаю, — какой-нибудь лукавый умник скажет, что, как основа царствия, угроза не то, что мрамор мудрости... Но детям полезнее угроза, чем язык увещеваний, и уроки страха — уроки незабвенные... Не проще ль раз навсегда запомнить, что за тень непослушанья, за оттенок тени немедленное будет наказанье, чем всякий раз в тяжелых книгах рыться, чтобы найти двусмысленную справку добра и мудрости? Привыкнув к мысли, простой как азбука, что я могу строптивый мир в шесть суток изничтожить, всяк волен жить как хочет, — ибо круг описан, вы — внутри, и там просторно, там можете свободно предаваться труду, игре, поэзии, науке...

Дверь распахивается.

Голос. Господин Президент Республики!

Генералы встают, как бы идут навстречу и возвращаются, словно сопровождая кого-то, но сопровождаемый — невидим. Невидимого Президента подводят к пустому креслу, и по движениям Герба и министра видно, что невидимого усаживают.

Министр *(к пустому креслу)*. Господин Президент, позволяю себе сказать, что вы пожаловали к нам весьма своевременно! За сегодняшний день, — полковник, придвиньте к Президенту пепельницу, — за сегодняшний день случилось нечто столь важное, что ваше присутствие необходимо. Господин Президент, по некоторым признакам приходится заключить, что мы находимся накануне государственного переворота, — или, вернее, этот переворот

происходит вот сейчас, в этой зале. Невероятно, но так. Я, по крайней мере, и вот — комиссия, и... и, словом, все тут считаем, что нужно покориться, нужно принять неизбежное... И вот мы сейчас слушаем речь, — я затрудняюсь охарактеризовать ее, но она... но она, господин Президент, она — почти тронная!..

Сон. Ну, Вальс, валяйте дальше. Я любуюсь вами, вы гениальны.

Министр. Вот вы послушайте, господин Президент, вы только послушайте...

Вальс. О, вижу я — вы жаждете вкусить сей жизни новой, жизни настоящей: вполне свободен только призрак, муть, а жизнь должна всегда ограду чуять, вещественный предел, — чтоб бытием себя сознать. Я вам даю ограду. Вьюном забот и розами забав вы скрасите и скроете ее, — но у меня хранится ключ от сада... Господин Президент, вы тоже не замечаете заводного автомобильчика, который эти господа пускают между собой по столу? Нет, не видите? А я думал, что, благодаря некоторой вашей особенности, вы как раз в состоянии заметить невидимое.

Сон. Вальс, не отвлекайтесь. Все сидят абсолютно смирно, игрушки никакой нет. Мы слушаем вас. Кстати: как прикажете вас именовать?

Вальс. Я не решил. Быть может, я останусь правителем без имени. Посмотрим. Я не решил и общего вопроса: какую дать хребту и ребрам мира гражданскую гармонию, как лучше распределить способности, богатства и силы государства моего. Посмотрим... Но одно я знаю твердо: приняв мою ограду и о ней — не позабыв, — но память передав в распоряженье тайное привычки, — внутри пределов, незаметных детям, мир будет счастлив. Розовое небо распустится в улыбку. Все народы навек сольются в дружную семью. Заботливо я буду надзирать, сверять мечту с действительностью плавкой, и расцветет добро, и зло растает в лучах законов, выбранных из лучших, когда-либо предложенных... Поверьте, — мне благо человечества дороже всего на свете! Если б было верно, что ради блага этого мне нужно вам уступить открытие мое, или разбить машину, или город родной взорвать, — я б это совершил. Но так пылать такой любовью к людям и не спасти слепого

мира, — нет, как можно мне от власти отказаться? Я начал с вас, а завтра я пошлю всем прочим странам то же приказанье, — и станет тихо на земле. Поймите, не выношу я шума, — у меня вот тут в виске, как черный треугольник, боль прыгает от шума... не могу... Когда ребенок в комнате соседней терзает нас игрою на трубе, как надо поступить? Отнять игрушку. Я отниму. Приказ мой для начала: весь порох, все оружье на земле навеки уничтожить, — до последней пылинки, до последней гайки, — все! Чтоб память о войне преданьем стала, пустою басней деревенских баб, опровергаемой наукой. Шума не будет впредь, а кто горяч не в меру и без суда желает проучить обидчика, пускай берет дубинку. Таким образом — вот декрет, которым я начинаю свое правление. Он послужит естественным основанием для всеобщего благоденствия, о формах коего я сообщу вам своевременно. Мне не хотелось бы снова упоминать о способностях телемора, а потому, почтенный Президент, было бы желательно, чтобы вы мне без лишних слов теперь же ответили, согласны ли вы немедленно приступить к исполнению моей воли?

Пауза. Все смотрят на пустое кресло.

Вальс. Мне кажется, что ныне, в провозглашенную мной эру тишины, я должен рассматривать ваше молчание как посильное выражение согласия.

Министр. Да, он согласен. Он согласен... Господа, он согласен, — и я первый приношу присягу верности... я буду стараться... новая жизнь... слово старого солдата... (*Рыдает.*)

Голоса. Ах, мы вам верим... Тут все свои... Что за счеты...

Вальс. Старик слезлив. Снег старый грязно тает... Довольно, встать. Прием окончен. Будьте любезны приступить к работе. Я останусь *здесь*, — где, кажется, немало великолепных комнат... Больше всех мне нравится ваш кабинет. Полковник, распорядитесь.

Сон.

Он победил, — и счастье малых сих
Уже теперь зависит не от них.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Обстановка первого действия. Вальс за письменным столом. Голова забинтована. Тут же полковник.

Вальс. Нет, больше не могу... На сегодня будет.

Полковник. Увы, это все дела неотложные.

Вальс. Здесь холодно и мрачно. Я никогда не думал, что громадная, светлая комната может быть так мрачна.

Полковник. ...А кроме того — неотложность дел возрастает с их накоплением.

Вальс. Да-да, это все так... Что же мой Сон не идет? Пора.

Полковник. Получается невозможный затор и нагромождение. Вместо оживленного перекрестка — жизнь нашей страны находит у вас в кабинете опасный тупик.

Вальс. Вы бы все-таки перестали мне делать замечания, — скучно.

Полковник. Виноват, ваше безумие, но я только исполняю свои прямые обязанности.

Вальс. Титул звучный... Вы довольно угрюмый шутник. Если я вас держу в секретарях, то это лишь потому, что я люблю парадоксы. Ну — и вам в пику тоже.

Полковник. Мне кажется, что я службу свою исполняю. Большего от меня требовать сам Господь Бог не может. А что у меня *тут*, в груди, — это никого не касается.

Вальс. Тем более что это у вас не грудь, а живот... Нет, не могу сегодня больше работать, — вот не могу... Тяжелая голова...

Полковник. Голова у вас не должна больше болеть: рана была пустяковая.

Вальс. Она и не болит... Нет, просто скучно, надоело... Все так сложно и запутанно, — нарочно запутано. Рану я забыл, но покушение — помню. Кстати, маленькое воздушное распоряжение, которое я только что сделал, минут через двадцать будет проведено в жизнь. Надо надеяться, что кто-нибудь сразу нас известит о результате.

Полковник. Об *этих* ваших делах позвольте мне не знать. Я в них некомпетентен. Но у вас сейчас на рабочем

столе вздрагивает и хрипит в невыносимых мучениях моя несчастная отчизна.

Вальс. Кабы не косность олухов да проделки плутов, она давно была бы счастливой. Но вообще, знаете, полковник, я решил, что делами буду заниматься только раз в неделю, скажем — по средам.

Полковник. Моя обязанность — вам заметить, что тем временем страна гибнет.

Вальс. Ну уж и гибнет. Не преувеличивайте, пожалуйста.

Полковник. Нет, ваше безумие, я не преувеличиваю.

Вальс. Пустяки.

Полковник. Пустяки? То, что миллионы рабочих, выброшенных с заводов, остались без хлеба, — это пустяк? А дикая неразбериха, царящая в промышленности? А потеря всего экономического равновесия страны, благодаря вашему первому человеколюбивому декрету? Это пустяк? И я не говорю о том, что во всех областях жизни — смута и зловещее возбуждение, что никто ничего не может понять, что в парламенте бедлам, а на улицах стычки, и что, наконец, из соседнего государства целые отряды преспокойно переходят там и сям нашу границу, чтоб посмотреть, что, собственно, у нас происходит. Добро еще, что они не совсем знают, как быть, а только принюхиваются, — слишком, видно, удивлены тем, что сильная и счастливая держава начала вдруг, здорово живешь, уничтожать всю свою военную мощь. О, разумеется, вы правы, это все пустяки!

Вальс. Вы отлично знаете, что я отдал приказ и соседям и всем прочим народам мира последовать примеру нашей страны.

Полковник. Хорошо исполняются ваши приказы! Когда наш посол в Германии объявил ваш ультиматум, немцы, без объяснения причин, попросили нас немедленно его отозвать, и, не дожидаясь отозвания, выслали его сами: он теперь находится в пути, — в приятном пути. Посол наш в Англии был выслушан спокойно, но после этого к нему направили врачей и так крепко внушили ему мысль

о внезапном припадке дипломатического помешательства, что он сам попросился в желтый дом. Посол наш во Франции отделался сравнительно легко, — его предложение возбудило бурю веселого смеха в газетах, и нашей стране присужден первый приз на конкурсе политических мистификаций. А наш посол в Польше — старый мой друг, между прочим, — получив ваш приказ, предпочел застрелиться.

Вальс. Все это неважно...

Полковник. Самое страшное, что вы даже не удосужились ознакомиться с этими донесениями.

Вальс. Совершенно неважно. Небольшое воздействие, которое сегодня, через... двенадцать минут будет произведено на некое царство, тотчас отрезвит мир.

Полковник. Если во всем мире настанет такое же благоденствие, как теперь у нас — —

Вальс. Послушайте, что вы ко мне пристали? Я просто вам говорю, что сегодня устал и не могу целый день разбирать дурацкие доклады. Разберу в среду, — велика беда. Наконец, разберите сами, если вам не терпится, — я с удовольствием подпишу и — баста.

Полковник. Я буду до конца откровенен. Сняв ответственность за раздор и развал с естественных носителей власти, вы сами, однако, этой ответственностью пренебрегли. Получается так, что без ваших санкций ничего не может быть предпринято для прекращения гибельных беспорядков, но позвольте вам сказать, что вы неспособны разобраться ни в одном вопросе, что вы даже не поинтересовались узнать, каковы вообще правовые, экономические, гражданские навыки страны, выбранной вами для своих экспериментов, что вы ни аза не смыслите ни в политических, ни в торговых вопросах и что с каждым днем чтенье бумаг, которому вы сначала предались с убийственным для нас рвением, становится вам все противнее.

Вальс. Я не обязан изучать схоластические паутины былого быта. Разрушитель может и не знать плана сжигаемых зданий, — а я разрушитель. Вот когда начну строить, увидите, как будет все хорошо и просто.

Полковник. С вами говорить бесполезно. Все мы только участники вашего бреда, и все, что сейчас происходит, лишь звон и зыбь в вашем больном мозгу.

Вальс. Как вы сказали? Повторите-ка. Полковник, полковник, вы слишком далеко заходите. Парадокс мне может надоесть.

Полковник. Я готов быть уволенным в любую минуту.

Телефон.

Вальс. О, это, верно, Сон. Скорее зовите его.

Полковник *(по телефону).* Слушаюсь... Слушаюсь. *(К Вальсу.)* Господин военный министр к вам, по важному делу, — насчет покушения. Следует принять, конечно.

Вальс. А я надеялся, что Сон... Что ж — придется и сию чашу выпить.

Полковник *(по телефону).* Господин Вальс просит господина министра пожаловать.

Вальс. В одном вы действительно правы. Беспорядки нужно прекратить. Но из этого отнюдь не следует, что я должен от зари до зари потеть над бумагами...

Полковник. Вы меня извините, — я хочу пойти моему бывшему шефу навстречу.

Входит военный министр.

Полковник. Здравия, здравия желаю. Я — —

Военный министр. Сейчас, голубчик, сейчас. Некогда... я в ужасном состоянии. *(К Вальсу.)* Клянусь вам, клянусь...

Вальс. Что с вами? Опять истерика?

Министр. Меня только что известили... с непонятным опозданием... о дерзком покушении на вашу особу... И вот — я хочу вам поклясться...

Вальс. Оно — мое частное дело, и я уже принял меры.

Министр. Позвольте, позвольте... Какие меры?.. Клянусь — —

Полковник. Успокойтесь, мой дорогой, мой незабвенный начальник. Нам *пока* ничто не угрожает. Вчера на улице безвестный смельчак, — которого, к сожалению, еще

не поймали, но поймают, — выстрелил из духового ружья, вот... в него, ну и пуля оцарапала ему голову.

Вальс. Заметьте: *духовое* ружье. Тонкое внимание, остроумная шпилька.

Министр. Клянусь вам всем, что мне в жизни дорого, клянусь и еще раз клянусь, что к этому преступлению непричастен ни один из моих сограждан и что поэтому страна в нем неповинна, — а напротив — скорбит, негодует...

Вальс. Если бы я подозревал, что тут замешан какой-нибудь местный дурак, то, вероятно, уже полстраны носилось бы легкой пылью в голубом пространстве.

Министр. Вот именно! Меня охватил ужас... Клянусь, что это не так. Более того, я получил точные сведения, что выстрел был произведен провокатором, подкинутым к нам соседней страной.

Вальс. Я получил те же сведения и думаю, что виновная страна уже наказана. *(Смотрит на часы.)* Да. Уже.

Министр. Ясно! Каверзники хотели вас вовлечь в гибельные для нас репрессии. Ох, отлегло... Да-да, это прекрасно, надо наказать... Фу... А вы, милый полковник, похудели за эти дни — и как-то, знаете, возмужали... Много работы?

Вальс. Не ласкайте его, он себя ведет неважно. Вот что, полковник, пойдите-ка узнайте, нет ли уже известий оттуда.

Полковник *(к министру)*. Я еще увижу вас? На минуточку, может быть? В галерее, скажем, — знаете, у статуи Перикла?

Вальс. Никаких статуй. Ступайте.

Полковник уходит.

Министр. Он очень-очень возмужал. И эти новые морщинки у губ... Вы заметили?

Вальс. Я его держу из чистого озорства, пока мне не надоест, а это, вероятно, случится скоро. Видом он похож на толстого голубя, а каркает как тощая ворона. Вот что я хотел вам сказать, дорогой министр. Мне доносят, что в стране разные беспорядки и что разоружение происходит

в атмосфере скандалов и задержек. Мне это не нравится. Смута и волокита — ваша вина, и поэтому я решил так: в течение недели я не буду вовсе рассматривать этих дел, а передаю их всецело в ваше ведение. Спустя неделю вы мне представите краткий отчет, и если к тому сроку в стране не будет полного успокоения, то я вынужден буду страну покарать. Ясно?

Министр. Да... ясно... Но — —

Вальс. Советую вам изъять словечко «но» из вашего богатого лексикона.

Министр. Я только хочу сказать... такая ответственность!.. Людей нет... Все растерялись... Не знаю, как справлюсь...

Вальс. Ничего, справитесь. Я здесь не для того, чтоб заниматься черной работой.

Министр. Ваше приказание меня, признаться, несколько взяло врасплох. Я, конечно, постараюсь...

Входит полковник.

Вальс. Ну что, полковник? Новости веселые?

Полковник. Я военный, мое дело — война, и меня веселит сражение; но то, что вы сделали, это — не война, это — чудовищная бойня.

Вальс. Словом, взлетела Санта-Моргана, не так ли?

Министр. Санта-Моргана! Их любимый город, Веньямин их страны!

Полковник. Эта страна давно нам враг, — знаю. Знаю, что и она бы не постеснялась внести сюда разрушение. Но все-таки повторяю: то, что вы сделали, — чудовищно.

Вальс. Меня мало интересует ваша оценка. Факты.

Полковник. На месте великолепного города — пустая яма. По первому подсчету, погибло свыше шестисот тысяч человек, то есть все бывшие в городе.

Вальс. Да, это должно произвести некоторое впечатление. Маленькая царапина обошлась кошке недешево.

Министр. Шестьсот тысяч... В одно мгновение!..

Полковник. В число населения Санты-Морганы входило около тысячи человек наших граждан. Я даже

кое-кого знавал лично, — так что нам радоваться особенно нечему.

Министр. Эх, неудачно! Портит картину...

Вальс. Напротив... Рассматривайте это как побочное наказание *вашей* стране за шум и нерадивость. А какова там реакция?

Полковник. Оцепенение, обморок.

Вальс. Ничего. Скоро очнутся. *(Телефон.)* Это уже, наверное, Сон. Довольно государственных дел на сегодня.

Полковник занялся телефоном.

Вальс *(к министру)*. Между прочим, мне не нравится ваша форма. Ходите в штатском. Что за пошлые регалии!.. Или вот что: я как-нибудь на досуге выдумаю вам мундир... Что-нибудь простое и элегантное.

Министр. Эти ордена — вехи моей жизни.

Вальс. Обойдетесь без вех. Ну что, полковник, где Сон?

Полковник. К сожалению, это не ваш маклер, а здешний представитель наших несчастных соседей: он просит у вас немедленной аудиенции.

Вальс. Быстро сообразили. А я думал, что сначала обратятся к господам геологам. Помните, полковник, вы в свое время предлагали?

Полковник. Я тогда же исправил мою ошибку и предложил прибегнуть к помощи психиатров. Вы посланника сейчас примете?

Вальс. Я его вообще не приму. Очень нужно!

Министр. Хотите, я с ним поговорю?

Вальс. Я даже не понимаю, какого чорта он смеет являться ко мне.

Полковник. Его направил к вам наш министр иностранных дел.

Министр. Я с ним поговорю с удовольствием. У меня есть кое-какие счеты с этими господами.

Вальс. Делайте как хотите, меня ваши счеты не касаются.

Министр. А ваши директивы?

Вальс. Обычные. Скажите ему, что, если его страна не сдастся мне до полуночи, я взорву их столицу.

Полковник. В таком случае я предлагаю сообщить нашему тамошнему представителю, чтобы немедленно началась оттуда эвакуация наших сограждан, — их там обосновалось немало.

Вальс. Не знаю, почему они не могут присутствовать. Подумаешь!.. Словом, делайте как хотите. Ах, как мне уже приелись эти слова: ультиматум, взрыв, воздействие, — повторяешь их, а люди понимают тебя только постфактум. Я вас больше не задерживаю, дорогой министр.

Министр. Это мы сейчас... Полковник, направьте его ко мне.

Полковник. А он в приемной сидит.

Министр. Превосходно. Бегу. Дорогой полковник, если вы хотите меня потом повидать — —

Вальс. Цыц!

Полковник. Вот, вы видите мое положение.

Министр. Ничего... Ободритесь. Предвкушаю немалое удовольствие от беседы с господином гох-посланником. *(Уходит.)*

Вальс. Если Сон не придет до двенадцати, попрошу его отыскать. Вашу форму я тоже изменю. Может быть, одеть вас тореадором?

Полковник. В мои служебные обязанности входит также и выслушивание ваших острот.

Вальс. Или — неаполитанским рыбаком? Тирольцем? Нет, — я вас наряжу самураем.

Полковник. Если я не покончил самоубийством, то лишь потому, что бред безумца не стоит моей смерти.

Вальс. Я, кажется, вам уже запретил разговоры о бреде.

Полковник. Как вам угодно. *(Пауза.)* А какой был собор в Санта-Моргане... приезжали туристы, прелестные девушки с «кодаками»...

Вальс. Во всяком случае, вы не можете пожаловаться на то, что я мало сегодня поработал.

Сон *(из-за двери)*. Можно?

Вальс. Не можно, а должно! Все готово?

Сон. Да. Думаю, вы будете довольны.

Вальс. Я вас ждал с величайшим нетерпением. С тех пор как я решил этот кабинет покинуть, он возбуждает во мне скуку, неприязнь и даже, знаете, Сон, какой-то страх. Ну что ж, — когда смотрины?

Полковник. Я, разумеется, не вправе вмешиваться, однако разрешите узнать: вы что же, собираетесь переехать?

Вальс. Как, дорогой полковник, разве я вас еще не посвятил в свою маленькую тайну? Какая неосмотрительность! Да, уезжаю.

Полковник. И куда, смею спросить?

Вальс. А, вот в этом-то вся штука. Вы, кажется, не очень сильны в географии?

Полковник. Мои успехи в этой области критике не подлежат.

Вальс. Тогда вы, конечно, слыхали о небольшом острове Пальмора в восьмистах морских милях от южнейшего мыса вашей страны? Ага! Не знаете!

Полковник. Такого острова нет.

Вальс. Двойка с минусом, полковник. Словом, этот остров мной реквизирован. Мне даже кажется по временам, что и начал-то я с вашей страны именно потому, что среди ваших владений есть такой самоцвет. Избавило меня от лишних хлопот... Нежнейший климат, вечная весна, радужные птички... И величина как раз мне подходящая: Пальмору можно объехать на автомобиле по береговой дороге в... в сколько часов, Сон?

Сон. Скажем, в пять, если не слишком торопиться.

Вальс. О, я и не буду торопиться. Я истосковался по покою, по тишине, — вы не можете себе представить, как я люблю тишину. Там растут ананасы, апельсины, алоэ, — словом, все растения, начинающиеся на «а». Впрочем, вы все это найдете, полковник, в любом учебнике... Вчера я отдал приказ в двухдневный срок очистить остров от его населения и снести к чортовой матери виллы и гостиницы, в которых прохлаждались ваши разбогатевшие купцы. *(К Сону.)* Это, конечно, исполнено?

Сон. Еще бы.

Вальс. Не огорчайтесь, полковник, я, вероятно, выберу вашу столицу в столицы мира и буду к вам наезжать — этак, раз в три месяца, на несколько дней, посмотреть, все ли благополучно. Ну, конечно, и туда будете мне посылать доклады, — живым языком написанные, — и главное, без цифр, без цифр, без цифр... Там буду жить в дивном дворце, — и вот этот милый человек только что набрал для меня целый штат. Оттуда буду спокойно править миром, — но при этом моя машиночка останется там, где находится сейчас, — весьма далеко отсюда, — и даже не в той стране, откуда я родом — и которой вы тоже не знаете, — а в другой, в области... Смотрите, я чуть не проболтался! Вот было бы хорошо... Я вижу, что вы оба навострили ушки, а теперь опять приуныли. Слава Богу, больше не увижу этого письменного стола, который щерится на меня и выгибает спину. На Пальмору, скорей на Пальмору! *(К полковнику.)* Ну что — мой план вам ясен?

Полковник. Более чем ясен.

Вальс. Вот и отлично. А теперь я должен заняться с милым Соном, и посему, полковник, вас попрошу испариться. Да, кстати, заберите все эти дела и разрешите их вместе с вашим бывшим шефом, я ему дал все полномочия.

Полковник. Непоправимость питается чужой ответственностью. *(Уходит.)*

Вальс. Идите, идите. Итак, Сон, показывайте ваши находки. Что вы так смотрите на меня?

Сон. Ваша нервность, должно быть, следствие вчерашнего нападения. Не трогайте повязки. Помните, что наложил ее я и, таким образом, я отвечаю за ваше здоровье. Дайте поправлю.

Вальс. Оставьте. Я уже давно забыл... К чорту. *(Срывает повязку.)*

Сон. Нет, вы решительно мне не нравитесь сегодня. Как это вы так быстро остыли к тем грандиозным реформам, с которыми вы еще так недавно носились?

Вальс. Ничего не остыл. Просто хочется отдохнуть...

Сон. Смотрите, Вальс, это опасная дорога!

Вальс. Не ваше дело... Ваше дело исполнять мои личные поручения. Между прочим, скажите... нет ли какого-нибудь способа без шума отделаться от полковника?

Сон. Как это — отделаться?

Вальс. Он мне больше не нужен, а человек он неприятный, и вот, я хотел бы — ну, словом, чтоб он исчез, совсем, — несчастный случай и все такое. Как вы думаете, можно устроить?

Сон. Опомнитесь, Вальс. Это вы сегодня вкусили крови.

Вальс. Шутка, шутка... Пускай живет. Довольно приставать ко мне с идиотскими вопросами! Зовите этих людей, — где они?

Сон. За дверью. Я думаю, что сперва вам нужно повидать архитектора, — ну, и повара.

Вальс. А, повар — это хорошо, повар — это великолепно. Давайте начнем... Я действительно сегодня как-то неспокоен.

Сон. Сейчас. *(Уходит.)*

Вальс. И знаете, что еще, Сон... Мне начинает казаться, что напрасно, может быть, я побрезговал громоподобным званием и не помазался на царство по всем требованиям истории — мантия, духовенство, народные праз... Ах, его нет... Как глупо! *(Стук.)* Да!

Архитектор Гриб. Я явился... позвольте представиться...

Вальс. А, это хорошо, это великолепно. Вот я вам сейчас скажу все, что я люблю, и, может быть, вы сразу приготовите мне что-нибудь вкусное. В молодости, знаете, я питался отчаянно скверно, всегда, всегда был голоден, так что вся моя жизнь определялась мнимым числом: *минус — обед.* И теперь я хочу наверстать потерянное. До того как взять вас с собою на Пальмору, я должен знать, хорошо ли вы готовите бифштекс с поджаренным луком?

Гриб. Простите... видите ли, я — —

Вальс. Или, например... шоколадное мороженое... почему-то в бессонные нищие ночи, особенно летом, я больше всего мечтал именно о нем, — и сытно, и сладко, и освежительно. Я люблю еще жирные пироги и всякую рыбу, — но только не воблу... Что же вы молчите?

Гриб. Видите ли, ваше... ваше сиятельство, я, собственно, архитектор.

Вальс. А... так бы сразу и сказали. Глупое недоразумение. Мне от него захотелось есть. Отлично. Вам уже сообщили, что мне нужно?

Гриб. Вам нужен дворец.

Вальс. Да, дворец. Отлично. Я люблю громадные, белые, солнечные здания. Вы для меня должны построить нечто сказочное, со сказочными удобствами. Колонны, фонтаны, окна в полнеба, хрустальные потолки... И вот еще, — давняя моя мечта... чтоб было такое приспособление, — не знаю, электрическое, что ли, — я в технике слаб, — словом, проснешься, нажмешь кнопку, и кровать тихо едет и везет тебя прямо к ванне... И еще я хочу, чтоб во всех стенах были краны с разными ледяными напитками... Все это я давно-давно заказал судьбе, — знаете, когда жил в душных, шумных, грязных углах... лучше не вспоминать.

Гриб. Я представлю вам планы... Думаю, что угожу.

Вальс. Но главное, это должно быть выстроено скоро, я вам даю десять дней. Довольно?

Гриб. Увы, одна доставка материалов потребует больше месяца.

Вальс. Ну, это — извините. Я снаряжу целый флот. В три дня будет доставлено...

Гриб. Я не волшебник. Работа займет полгода минимум.

Вальс. Полгода? В таком случае убирайтесь, — вы мне не нужны. Полгода! Да я вас за такое нахальство — —

Входит Сон.

Сон. В чем дело? Отчего крик?

Вальс. Этому подлецу я даю десять дней, а он — —

Сон. Пустяки, недоразумение. Разумеется, дворец будет готов в этот срок, — даже скорее. *Не правда ли*, господин архитектор?

Гриб. Да, в самом деле я не совсем понял... Да, конечно, будет готов.

Вальс. То-то же. Сегодня же распорядитесь насчет каменщиков, я вам даю сто поездов и пятьдесят кораблей.

Гриб. Все будет исполнено.

Вальс. Ну вот, идите, приготовьте... Стойте, стойте, вы забыли пакет.

Гриб. Вот голова! Это я сыну купил заводную игрушку. Хотите посмотреть?

Вальс. Нет-нет, не надо. Ни в коем случае. Прошу вас, не надо. Уходите, пожалуйста.

Гриб уходит.

Вальс. Дальше, Сон, дальше... У меня нет терпения для отдельных аудиенций, зовите их скопом. Все эти задержки крайне раздражительны. А завтра я прикажу закрыть все магазины игрушек.

Сон *(в дверь)*. Господа, пожалуйте.

Входят повар Гриб, шофер Бриг, дантист Герб, надзирательница Граб, учитель спорта Горб, садовник Брег, врач Гроб. Все в одинаковых черных костюмах, причем Гриб надел поварской колпак, а Граб — юбку.

Вальс. Ну, Сон, говорите мне, кто чем занимается. Вот этот старик, кто, например?

Сон. Это шофер Бриг.

Вальс. Ага, шофер. Но я бы сказал, что он несколько дряхл.

Бриг. Зато опыт у меня колоссальный. Маленькая справка: в детстве к моему трехколесному велосипеду мой дядя Герман, большой шутник, приделал нефтяной двигатель, после чего я два месяца пролежал в больнице. В зрелом возрасте я был гонщиком, и если не брал призов, то лишь вследствие крайней моей близорукости. В дальнейшем я служил у частных лиц и был за рулем роскошной машины, когда в ней был убит выстрелом в окно наш последний король, — Бог ему судья.

Сон. Это лучший шофер в городе.

Бриг. Имею рекомендации от многих коронованных и некоронованных особ. Кроме того, я позволил себе принести небольшую модель машины, которая для вас заказана... *(Собирается развязать пакет.)*

Вальс. Нет-нет, это лишнее... Ай, не хочу. Сон, скажите ему, чтоб он не разворачивал. Я вас беру, беру... Отойдите. Следующий.

Сон. Дантист Герб, светило.

Вальс. Необходимая персона! Если б вы знали, какой это адский ужас часами ждать в амбулатории, с огненной болью в челюсти, и потом наконец попасть в лапы к нечистоплотному и торопливому коновалу...

Герб. Я не верю в экстракцию, а моя бормашина абсолютно бесшумна.

Вальс. Беру и вас на Пальмору. А эта дама кто?

Сон. Это, так сказать, надзирательница, мадам Граб.

Вальс. А, понимаю. Скажите, Сон... Господа, не слушайте... мне тут нужно несколько слов... *(Отходит и шепчется с Соном, который кивает)*... Ну, это чудно *(К Граб.)* Я надеюсь, мадам, что вы будете... то есть... не то... да уж ладно... после.

Граб. Я двадцать лет с лишком стояла во главе знаменитого заведения, о, классического, древнегреческого образца. Питомицы мои играли на флейтах. Я даже сама ходила в хитоне. И сколько было за эти годы перебито амфор...

Вальс. Ладно, ладно. Мы потом... сейчас неудобно. А этот кто?

Сон. Горб, учитель спорта. Вы ведь говорили, что — —

Вальс. О да! Я, видите ли, сам не очень... знаете — лишения, узкая грудь... признаки чахотки... перевес умственных занятий... но я всегда завидовал молодцам с мускулами. Какое, должно быть, удовольствие прыжком превысить свой рост или ударом кулака наповал уложить гиганта-негра! Да, я хочу ежедневно заниматься физическими упражнениями! Я велю устроить всевозможные площадки, не забыть напомнить архитектору, — отметьте, Сон. *(К Горбу.)* А вы сами можете прыгнуть — ну, скажем, отсюда дотуда? Покажите-ка! Что вы молчите?

Сон. Это спортсмен замечательный, но, к сожалению, немой от рождения.

Вальс. А я хочу, чтобы он прыгнул.

Сон. Он мне знаками показывает, что тут паркет слишком скользкий.

Вальс. А я хочу.

Сон. Оставьте его, Вальс, в покое, все в свое время. Обратите теперь внимание на известнейшего — —

Вальс. Нет, я хочу непременно.

Сон. ...на известнейшего садовода. Он вам создаст...

Вальс. Не понимаю, почему не делают того, что я хочу. Какой садовод, где? Не нужно мне садоводов.

Брег. Моя фамилья Брег. Я придаю лицам моих цветов любое выражение радости или печали. У моих роз пахнут не только лепестки, но и листья. Я первый в мире вывел голубую георгину.

Вальс. Хорошо, хорошо... Выводите... А это, по-видимому, повар?

Повар Гриб. Повар Божьей милостью.

Вальс. Ну, я уже говорил о своих кулинарных запросах с архитектором, — пускай он вам передаст, скучно повторять.

Сон. Засим, особенно рекомендую этого дворецкого. *(Неопределенный жест.)*

Вальс. Да-да, пускай сговорятся. Много еще?

Сон *(опять неопределенный жест)*. Король книгохранителей.

Вальс. Его я попрошу из всех библиотек мира набрать мне уникумов. Я хочу библиотеку, состоящую исключительно из уникумов. Теперь, кажется, все проинтервьюированы?

Сон. Нет.

Вальс. А кто еще? Этот?

Сон. Нет.

Вальс. Не знаю, не вижу...

Сон. Вы забыли врача. Вот это — доктор Гроб.

Вальс. А, очень приятно.

Гроб. Как вы себя чувствуете сегодня?

Вальс. Превосходно. Только, пожалуйста, меня не трогайте.

Гроб. Аппетит есть? Спали хорошо?

Вальс. Я здоров, я здоров. Видите, я даже снял повязку. Что с вами? Прошу помнить, что беру вас с собой только на всякий случай, — так что приставать ко мне не надо, не надо, не надо...

Гроб. Да-да, разумеется. Если я вас спрашиваю, то это только из приятельских побуждений.

Вальс. Сон, я знаю этого человека!

Сон. Успокойтесь, Вальс. Никто вам вреда не желает.

Гроб. Да не бойтесь меня, я вам друг.

Вальс. Я знаю его! Я его где-то уже видел!

Гроб. Только пульсик...

Вальс. Конечно я его уже видел! И всех этих я тоже видел когда-то!.. Обман! Заговор! Оставьте меня!..

Гроб. Мы сегодня очень беспокойны... Придется опять сегодня вечером — —

Вальс. Сон, уберите его! Уберите всех!

Сон. Да, да, сейчас. Не кричите так.

Представлявшиеся постепенно уходят.

Вальс. Какой неприятный! И вообще — это все очень странно... Мне это не нравится...

Сон. Ну, что ж, вы их берете с собой на ваш... как, бишь, вы говорили? Пальмин? Пальмарий? Берете?

Вальс. Скучно, — не могу заниматься целый день подбором лакеев. Это ваше дело, а не мое. Во всяком случае, обойдусь без услуг медицины... Знаю этих шарлатанов! Не смейте качать головой. Я не ребенок. Ну, дальше, дальше...

Сон. Надеюсь, что следующая партия несколько улучшит ваше настроение. Ага, я вижу, что вы уже улыбаетесь!

Вальс. Где они?

Сон. В соседней комнате. Желаете посмотреть?

Вальс. Вы знаете, Сон, — должен вам сознаться, — я на вид, конечно, человек немолодой, — ну, и прошел через многое, тертый калач и все такое... но вот, вы не поверите... я очень, очень застенчив. Серьезно. И как-то так случилось — знаете, нужда, хмурость нищего, перегар зависти и брезгливость мечты, — как-то так случилось, Сон, что я никогда, никогда... И вот — сейчас у меня бьется сердце, бешено, и губы сухие... Глупо, конечно! Но какие, какие были у меня видения, как играло мое бедное одиночество... какие ночи... Такая, знаете, сила и яркость образов, что утром было даже немножко удивительно не найти в комнате ни одной шпильки, — честное слово! Погодите, погодите, не зовите их еще, дайте немножко оправиться...

Слушайте, у меня к вам просьба: нет ли у вас для меня маски?

Сон. Что это вы? Карнавал затеваете? Нет, я не припас, не знал.

Вальс. Я хотел бы не полумаску, — а такую... как вам объяснить, — чтобы скрыть все лицо...

Сон. А, это дело другое. Тут, в шкафу, верно, найдется. Сейчас посмотрим.

Вальс. Вроде, знаете, рождественской...

Сон. Вот — как раз такие нашлись. Пожалуйста, выбирайте. Рождественский дед, например. Не годится? Ну, а эта — свинья? Не хотите? Вот хорошая, — а? Вы привередливы. Эту?

Вальс. Да, хотя бы эту.

Сон. Она страшноватая. Тьфу!

Вальс. Лицо как лицо. Как она нацепляется...

Сон. Не понимаю, почему вы хотите принимать дам в таком виде...

Вальс. Вот и отлично. Ну, живо! Не разговаривайте так много. Зовите их.

Сон бьет в ладоши, и входят пять женщин.

Сон. Я объехал всю страну в поисках красавиц, и, кажется, мои старания увенчались успехом. Каковы?

Вальс. И это все?

Сон. Как вы сказали? Бормочет сквозь маску... Что?

Вальс. Это все? Вот эти две?

Сон. Как две?.. Тут пять, целых пять. Пять первоклассных красоток.

Вальс *(к одной из двух помоложе)*. Как ваше имя?

Та. Изабелла. Но клиенты меня зовут просто Белка.

Вальс. Боже мой... *(Ко второй.)* А ваше?

Вторая. Ольга. Мой отец был русский князь. Дайте папироску.

Вальс. Я не курю. Сколько вам лет?

Изабелла. Мне семнадцать, а сестра на год старше.

Вальс. Это странно, вам на вид гораздо больше. Сон, что это такое происходит? А эти... эти?..

Сон. Какая именно? Вот эта? Что, недурна? В восточном вкусе, правда?

Вальс. Почему она такая... такая...

Сон. Не слышу?

Вальс. Почему... почему она такая толстая?

Сон. Ну, знаете, не все же развлекаться с худышками. А вот зато сухощавая.

Вальс. Эта? Но она страшна... Сон, она страшна, — и у нее что-то такое... неладное...

Толстая начинает вдруг петь, — на мотив «Отойди, не гляди».

Толстая.

Темнота и паром,
и вдали огоньки,
и прощанье навек
у широкой реки.

И поет человек
неизвестный вдали...
Я держала тебя,
но тебя увели...

Только волны, дробя
отраженья огней,
только крики солдат
да бряцанье цепей

в темноте мне твердят,
что вся жизнь моя — прах,
что увозит паром
удальца в кандалах...

Вальс. Странная песня! Грустная песня! Боже мой — я что-то вспоминаю... Ведь я знаю эти слова... Да, конечно!.. Это мои стихи... Мои!

Толстая. Я кроме арестантских знаю и веселые.

Вальс. Перестаньте, заклинаю вас, не надо больше!

Изабелла. А вот она умеет играть на рояле ногами и даже тасовать колоду карт.

Сухощавая. Я родилась такой. Любители очень ценят...

Вальс. Сон, да ведь она безрукая!

Сон. Вы просили разнообразия. Не знаю, чем вам не потрафил...

Старая блондинка. А я скромная... Я стою и смотрю издали... Какое счастье быть с вами в одной комнате...

Сон. Это поэтесса. Талант, богема. Влюблена в вас с первого дня.

Старая блондинка *(подступая к Вальсу).* А вы спросите, как я достала ваш портрет... Посмотрите на меня: вот — я вся как есть ваша, мои золотые волосы, моя грусть, мои отяжелевшие от чужих поцелуев руки... Делайте со мной что хотите... О, не забавляйтесь этими хорошенькими куклами, — они недостойны вашей интуиции... Я вам дам то счастье, по которому мы оба истосковались... Мой деспот...

Вальс. Не смейте меня касаться! Старая гадина...

Толстая. Цыпанька, идите ко мне...

Сухощавая. Венера была тоже безрукая...

Вальс. Отвяжитесь, вон! Сон, что это за кошмар! Как ты смел, негодяй... *(Срывает маску.)* Я требовал тридцать юных красавиц, а вы мне привели двух шлюх и трех уродов... Я вас рассчитаю! Вы предатель!

Сон. Уходите, красотки. Султан не в духах.

Они гуськом уходят.

Вальс. Это, наконец, просто издевательство! На что мне такая шваль? Я вам заказал молодость, красоту, невинность, нежность, поволоку, кротость, пушок, хрупкость, задумчивость, грацию, грезу...

Сон. Довольно, довольно.

Вальс. Нет, не довольно! Извольте слушать! Кто я, — коммивояжер в провинциальном вертепе или царь мира, для желаний которого нет преград?

Сон. Право, не знаю. Вопрос довольно сложный...

Вальс. Ах, сложный? Я вам покажу «сложный»! Вы мне сегодня же доставите альбом с фотографиями всех молодых девушек столицы, — я уж сам выберу, сам. Какая наглость!.. Вот что, — прекрасная мысль: не так давно... а может быть, давно... не знаю... но, во всяком случае, я ее

видел, — такую, совсем молоденькую... а, вспомнил, — дочь этого дурака генерала. Так вот, — извольте распорядиться, чтоб она тотчас была доставлена ко мне.

Сон. Ну, это вы уж поговорите с ее папашей.

Вальс. Хорошо, — доставьте папашу, — но только тотчас...

Входит, быстро хромая, генерал Берг.

Берг. Вот и я! Видите, подагра не удержала меня в постели, — вскочил с одра вроде исцеленного. Что, как дела? Корона кусается, одолели бармы? Грах, грах, грах!

Вальс *(к Сону)*. Сообщите ему мое желание.

Сон. А мне как-то неловко...

Вальс. Умоляю вас, Сон, умоляю...

Сон. Ладно, — только это уже из последних сил... Послушайте, генерал, где сейчас ваша прелестная дочка, — дома?

Берг. Никак-с нет. По некоторым соображениям военно-интимного характера мне пришлось отослать мою красавицу за границу.

Вальс. Ах, соображения? Вы уже смеете у меня соображать?

Берг. Петух, сущий петух! Другие бранят, а вот я — люблю вас за эту отвагу! Ей-Богу!

Сон. Не стоит, Вальс, бросьте... Переменим разговор...

Вальс. Я вам переменю... Отлично... Одним словом, генерал, потрудитесь немедленно известить вашу дочь, что за ней будет послан самолет. Где она?

Берг. Что это вы, голубчик, что это вы так меня пугаете: дочка моя никогда не летала и, покуда я жив, летать не будет.

Вальс. Я вас спрашиваю: где — ваша — дочь?

Берг. А почему, сударь, вам это приспичило?

Вальс. Она должна быть немедленно доставлена сюда... Немедленно! Кстати — сколько ей лет?

Берг. Ей-то? Семнадцать. Да... Моей покойнице было бы теперь пятьдесят два года.

Вальс. Я жду. Живо — где она?

Берг. Да на том свете, поди.

Вальс. Я вас спрашиваю: *где ваша дочь?* Я везу ее с собой на мой остров. Ну?

Берг *(к Сону).* Никак не пойму, чего он от меня хочет... Какой остров? Кого везти?

Вальс. Я вас спрашиваю — —

Сон. Вальс, будет, перестаньте... Это нехорошо!

Вальс. Молчать, скотина! Я вас спрашиваю в последний раз, генерал: где находится ваша дочь?

Берг. А я вам сказать не намерен, грах, грах, грах.

Вальс. То есть — как это не намерены? Я... Значит, вы ее от меня спрятали?

Берг. И еще как спрятал. Ни с какими ищейками не добудете.

Вальс. Значит, вы... вы отказываетесь ее мне доставить? Так?

Берг. Голубчик, вы, должно быть, хлопнули лишка... а если это шутка, то она в сомнительном вкусе.

Вальс. Нет, это *вы* шутите со мной! Признайтесь, — а? Ну что вам стоит признаться?.. Видите, я готов смеяться... Да — шутите?

Берг. Нисколько. Румяную речь люблю, — есть грех, — но сейчас я серьезен.

Сон. Вальс, это так! Это так! Что-то изменилось! Он в самом деле не шутит!

Вальс. Отлично. Ежели ваша дочь не будет здесь, в этой комнате, завтра — вы понимаете, *завтра же*, то я приму страшные, страшнейшие меры.

Берг. Примите любые. Моей девочки вы не увидите никогда.

Вальс. О, я начну с меры, несколько старомодной: вы, генерал, будете повешены, — после длительных и весьма разнообразных пыток. Достаточно?

Берг. Честно предупреждаю, что у меня сердце неважнец, так что вряд ли программа пыток будет особенно длительной, — грах, грах, грах.

Сон. Вальс! Генерал! Довольно, дорогой генерал, оставьте его... вы же видите...

Вальс. Я приму другие меры, и приму их сию же минуту. Или вы мне доставите эту девчонку, или вся ваша

страна, город за городом, деревня за деревней, взлетит на воздух.

Берг. Видите ли, я никогда не понимал благородных дилемм трагических героев. Для меня все вопросы — единороги. Взрывайте, голубчик.

Вальс. Я взорву весь мир... Она погибнет тоже.

Берг. Иду и на это. Вы не хотите понять, дорогуша, простую вещь, а именно, что гибель мира плюс моя гибель плюс гибель моей дочери в тысячу раз предпочтительнее, чем ее, извините за выражение, бесчестие.

Вальс. Быть по-вашему, — я женюсь на ней.

Берг. Грах, грах, грах! Уморили, батюшка...

Вальс. А если я буду великодушен? Если я буду безмерно щедр? Генерал, я вам предлагаю миллион... два миллиона...

Берг. Ну вот, — я же говорил, что все это шутка...

Вальс. ...один тотчас, другой по доставке... Впрочем, сами назначьте цену...

Берг. ...и притом шутка довольно хамская.

Вальс. Я больше не могу... Где она, где она, где она?

Берг. Не трудитесь искать: она так же хорошо спрятана, как ваша машина. Честь имею откланяться. *(Уходит.)*

Вальс. Держите его! Сон, я должен знать... Не может быть, чтобы не было способа... Сон, помогите!

Сон. Увы, игра проиграна.

Вальс. Какая игра? Что вы такое говорите?.. Вы опутываете меня дикими, смутными мыслями, которые я не хочу впускать к себе, — ни за что... Вот увидите... завтра же я начну такой террор, такие казни...

Сон. Вальс, я вас поощрял, я поддакивал вам до сего времени, ибо все думал: авось такой способ вам может пойти на пользу, — но теперь я вижу...

Вальс. Молчать! Не потерплю! Этот тон запрещен в моем царстве!

Сон. Напротив, — вижу, что он необходим...

Вальс. Вон отсюда.

Сон. Сейчас ухожу, — я в вас разочаровался, — но напоследок хочу вам поведать маленькую правду. Вальс, у вас никакой машины нет.

Заходит за его спину и исчезает за портьеру. Уже вошли: военный министр и полковник, оба теперь в штатском; первый сразу садится за стол, как сидел в первом действии, и склоняется над бумагами.

Вальс. Сон! Где он? Где...

Подходит к столу, где сидит министр.

Министр *(медленно поднимает голову)*. Да, это, конечно, любопытно.

Вальс. Значит, вы полагаете, что все это выдумка, что я это просто так?..

Министр. Постойте, постойте. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, постарайтесь понять то, что я вам скажу...

Вальс. Ну, погодите... Теперь я знаю, как мне нужно поступить.

Министр. А скажу я вам вот что: ваше открытие, как бы оно ни было интересно и значительно, — или, вернее, именно потому, что вы его таким считаете — —

Вальс. Ну, погодите...

Министр. ...не может быть темой того беспокойного разговора, который вы со мной, у меня в служебном кабинете, изволите вести. Я попрошу вас...

Вальс. Хорошо же! Я вам покажу... Ребенку, отсталому ребенку было бы ясно! Поймите, я обладаю орудием такой мощи, что все ваши бомбы перед ними ничто — щелчки, горошинки...

Министр. Я попрошу вас не повышать так голоса. Я принял вас по недоразумению, — этими делами занимаюсь не я, а мои подчиненные, — но все же я выслушал вас, все принял к сведению и теперь не задерживаю вас. Если желаете, можете ваши проекты изложить в письменной форме.

Вальс. Это все,. что вы можете мне ответить? Мне, который может сию же секунду уничтожить любой город, любую гору?

Министр *(звонит)*. Надеюсь, что вы не начнете с нашей прекрасной горки. *(Полковник отворил окно.)* Смотрите, как она хороша... Какой покой, какая задумчивость!

В а л ь с. Простак, тупица! Да поймите же, — я истреблю весь мир! Вы не верите? Ах, вы не верите? Так и быть, — откроюсь вам: машина — не где-нибудь, а здесь, со мной, у меня в кармане, в груди... Или вы признаете мою власть со всеми последствиями такового признания — —

Уже вошли соответствующие лица: Г р и б, Г р а б, Г р о б.

П о л к о в н и к. Сумасшедший. Немедленно вывести.

В а л ь с. ...или начнется такое разрушение... Что вы делаете, оставьте меня, меня нельзя трогать... я — *могу взорваться.*

Его выводят силой.

М и н и с т р. Осторожно, вы ушибете беднягу...

Занавес.

Сентябрь 1938
Cap d'Antibes

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

О ХОДАСЕВИЧЕ

Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней. Его дар тем более разителен, что полностью развился в годы отупения нашей словесности, когда революция аккуратно разделила поэтов на штатных оптимистов и заштатных пессимистов, на тамошних здоровяков и здешних ипохондриков, причем получился поучительный парадокс: внутри России действует внешний заказ, вне России — внутренний. Правительственная воля, беспрекословно требующая ласково-литературного внимания к трактору или парашюту, к красноармейцу или полярнику, т. е. к некоей внешности мира, значительно могущественнее, конечно, наставления здешнего, обращенного к миру внутреннему, едва ощутимого для слабых, презираемого сильными, побуждавшего в двадцатых годах к рифмованной тоске по ростральной колонне, а ныне дошедшего до религиозных забот, не всегда глубоких, не всегда искренних. Искусство, подлинное искусство, цель которого лежит напротив его источника, т. е. в местах возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густонаселенной области душевных излияний, выродилось у нас, увы, в лечебную лирику. И хотя понятно, что личное отчаяние невольно ищет общего пути для своего облегчения, — поэзия тут ни при чем: схима или Сена компетентнее. Общий путь, каков бы он ни был, всегда в смысле искусства плох именно потому, что он общий. Но если в пределах России мудрено представить себе поэта, отказывающегося гнуть выю (напр., переводить кавказские стишки), т. е. достаточно безрассудного, чтобы ставить свободу музы выше собственной, то в России запредельной

легче, казалось бы, найтись смельчакам, чуждающимся какой-либо общности поэтических интересов, — этого своеобразного коммунизма душ. В России и талант не спасает; в изгнании спасает только талант. Как бы ни были тяжелы последние годы Ходасевича, как бы его ни томила наша бездарная эмигрантская судьба, как бы старинное, добротное человеческое равнодушие ни содействовало его человеческому угасанию, Ходасевич для России спасен — да и сам он готов был признать, сквозь желчь и шипящую шутку, сквозь холод и мрак наставших дней, что положение он занимает особое: счастливое одиночество недоступной другим высоты. Тут нет у меня намерения кого-либо задеть кадилом: кое-кто из поэтов здешнего поколения еще в пути и — как знать — дойдет до вершин поэтического искусства, коли не загубит жизни в том второсортном Париже, который плывет с легким креном в зеркалах кабаков, не сливаясь никак с Парижем французским, неподвижным и непроницаемым. Ощущая как бы в пальцах свое разветвляющееся влияние на поэзию, создаваемую за рубежом, Ходасевич чувствовал и некоторую ответственность за нее: ее судьбой он бывал более раздражен, чем опечален. Дешевая унылость казалась ему скорее пародией, нежели отголоском его «Европейской Ночи», где горечь, гнев, ангелы, зияние гласных — было все настоящее, единственное, ничем не связанное с теми дежурными настроениями, которые замутили стихи многих его полуучеников. Говорить о «мастерстве» Ходасевича бессмысленно — и даже кощунственно по отношению к поэзии вообще, к его стихам в резкой частности, ибо понятие «мастерство», само собой рожая свои кавычки, обращаясь в придаток, в тень и требуя логической компенсации в виде любой положительной величины, легко доводит нас до того особого, задушевного отношения к поэзии, при котором от нее самой в конце концов остается лишь мокрое от слез место. И не потому это грешно, что самые purs sanglots[1] все же нуждаются в совершенном знании правил стихосложения, языка, равновесия слов; и смешно это не потому, что поэт, намекающий в неряшливых стихах на ничтожество искусства перед человече-

[1] Искренние рыдания *(фр.)*.

ским страданием, занимается жеманным притворством, вроде того как если бы гробовых дел мастер сетовал на скоротечность земной жизни; размолвка в сознании между выделкой и вещью потому так смешна и грешна, что она подрывает самую сущность того, что — как его ни зови: «искусство», «поэзия», «прекрасное» — в действительности неотделимо от всех своих таинственно необходимых свойств. Другими словами, стихотворение совершенное (а таких в русской литературе наберется не менее трехсот) можно так поворачивать, чтобы читателю представлялась только его идея, или только чувство, или только картина, или только звук, — мало ли что еще можно найти от «инструментовки» до «отображения», — но все это лишь произвольно выбранные грани целого, ни одна из которых, в сущности, не стоила бы нашего внимания (и уж конечно, не вызвала бы никакого волнения кроме разве косвенного: напомнило какое-то другое «целое», — чей-нибудь голос, комнату, ночь), не обладай все стихотворение той сияющей самостоятельностью, в применении к которой определение «мастерство» звучит столь же оскорбительно, как «подкупающая искренность». Сказанное далеко не новость, но хочется это повторить по поводу Ходасевича. В сравнении с приблизительными стихами (т. е. прекрасными именно своей приблизительностью — как бывают прекрасными близорукие глаза, — и добивающимися ее таким же способом точного отбора, какой сошел бы при других, более красочных обстоятельствах стиха за «мастерство») поэзия Ходасевича кажется иному читателю не в меру чеканной, — употребляю умышленно этот неаппетитный эпитет. Но все дело в том, что ни в каком определении «формы» его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии. Мне самому дико, что в этой статье, в этом быстром перечне мыслей, смертью Ходасевича возбужденных, я как бы подразумеваю смутную его непризнанность и смутно полемизирую с призраками, могущими оспаривать очарование и значение его поэтического гения. Слава, признание, все это и само по себе довольно неверный по формам феномен, для которого лишь смерть находит правильную перспективу. Допускаю, что немало наберется людей, которые, с любопытством читая очередную критическую статью

в «Возрожденье» (а критические высказывания Ходасевича, при всей их умной стройности, были ниже его поэзии, были как-то лишены ее биения и обаяния), попросту не знали, что Ходасевич — поэт. Найдутся, вероятно, и такие, которых на первых порах озадачит его посмертная слава. Кроме всего, он последнее время не печатал стихов, а читатель забывчив, да и критика наша, взволнованно занимаясь незастаивающейся современностью, не имеет ни досуга, ни случая о важном напоминать. Как бы то ни было, теперь все кончено: завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, еще немного сместилась жизнь, еще одна привычка нарушена, — *своя* привычка *чужого* бытия. Утешения нет, если поощрять чувство утраты личным воспоминанием о кратком, хрупком, тающем, как градина на подоконнике, человеческом образе. Обратимся к стихам.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ В ФИНЛЯНДИЮ

В эти дни, когда правительство СССР несет смерть, разрушение, ложь в пределы мирной Финляндии, мы, нижеподписавшиеся, считаем себя обязанными заявить самый решительный протест против этого безумного преступления. Позор, которым снова покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на порабощенный им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Преступлениям, совершаемым ныне в Финляндии, предшествовали бесчисленные, такие же и еще худшие, преступления, совершенные теми же людьми в самой России.

Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу и к его правительству, ныне геройски защи-

щающим свою землю, у русских людей никогда не было и быть не может. Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению. Вместо этого сталинское правительство, не имеющее никакого права говорить от имени русского народа, проливает, с благословения Гитлера, русскую и финскую кровь. Ради темных замыслов, ради выгод, либо мнимых, либо ничтожных, оно готовит России катастрофу; за его преступления, быть может, придется расплачиваться русскому народу.

Мы утверждаем, что Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры, легко договорится с Финляндией, не нарушив своих интересов и проявив полное уважение к правам и интересам этой страны, которой мы выражаем глубокое сочувствие.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СМОТР
Свободный сборник. Париж. 1939

Соблазнительный с первого блеска подзаголовок, — но какой странный обман! Если «свобода» сводится к тому, что редакторша (по ее собственному заверению) ничего не меняла в собранном материале, то читателя не может не рассердить каламбурное смешение «права на писание» и «правописанья». Если же (как обещано в той же интенсивной статье) слова «свободный сборник» означают, что доступ в него открыт таким писателям и таким их произведениям, которым боязливые или непонятливые редакторы других, несвободных, органов спиной загораживают путь, то, ознакомясь с содержанием «Смотра», читатель испытывает еще пущую досаду: ибо что же в этом сборнике такого, что не могло бы появиться в любом из альманахов избалованного русского зарубежья? Странная, очень странная затея: лично мне ее особый оттенок знаком и дорог, как принадлежащий тому миру, который показан в «Приглашении на Казнь». Редакторша, следуя любопытным законам мне хорошо известной логики, объясняет, что ее сборник есть в некотором роде «салон отверженных».

Хороши отверженные, имена которых в тех или других сочетаниях повторяются в оглавлении всякого выходящего в свет (или в темноту) журнала! Правда, З. Н. Гиппиус намекает на участие писателя, «книги которого переводятся на почти все существующие языки», но у которого нет возможности печататься «ни в одном парижском журнале или газете». Жаль, что редакторша (следуя все той же логике) не называет его: загадка для рядового читателя бессмысленно-трудная.

Осмотрим теперь этот салон мнимо отверженных, — и раз уж речь зашла о свободе, пускай свободой насладится и рецензент. Не буду останавливаться на «Самом Важном» Адамовича, которое в разных положениях и вариантах появлялось в большинстве газет и журналов эмиграции. То, что в начале его статьи (как и в статьях некоторых других, явившихся на «смотр») есть вежливо-ответная ссылка на посильное старанье выполнить заказ свободы (как это опять мне знакомо!), дела, разумеется, не меняет. Попытки Терапиано, Кельберина и Мамченко разрешить побольше метафизических задач с наименьшей затратой мыслительной энергии литературными достоинствами не богаты; зато в этих горних облаках ютится самая дрянная злободневность, вроде того как альпинист находит на казавшейся неприступной скале рекламу автомобильных шин. Отрывок Фельзена — единственное украшение сборника. Хотя, вообще говоря, этого автора можно кое в чем упрекнуть (в том, напр., что он тащит за собой читателя по всем тем осыпям, где авторская мысль сама прошла, то начиная обстраиваться, то бросая недостроенное и, наконец, с последним отчаянным усилием находя себя в метком слове, к которому читателя можно было привести и менее эмпирическим путем), это, конечно, настоящая литература, чистая и честная. Его же статья «Прописи» состоит из дельных, хоть и бледноватых мыслей о назначении писателя. Размышления Мандельштама «о любви» были бы сносны, если бы ему принадлежал приоритет. Серости этих бесформенных афоризмов соответствует слог («...Но и тогда акт сочетания остается в центре любви; без его незримого продолжения или предчувствия из любви был бы вынут стержень»). И как может человек с литературным навыком почтительно

перебирать изречения Шардонна и Монтерлана, книги которых не более чем congés payés[1] французской литературы? «Лошади едят сено», статья Диона, особой новизной не грешит, — с такими же мыслями приходилось уже встречаться в «Новом Граде» или в «Круге»; впрочем, лошади едят и овес. Новелла В. Зензинова проникнута благородным стремлением отыскать этическую романтику в наименее безнравственном из приключений знаменитого итальянского развратника. Отмечу злоупотребление откидным оборотом («О, почему они не уехали в Лондон») и излишнее доверие автора к силе простого утверждения (хотелось бы примеров «остроумия» Генриетты, о котором так много говорится; литература держится на примерах). Отлично устроенной концовкой более или менее оправдан ряд нарочито бессвязных мыслей Червинской (иные из них весьма спорны, — напр., мысль, что искусство в наши дни «должно быть серьезно». Ведь советская литература самая серьезная, а бездарна; немые — обоих лагерей — тоже очень серьезны; не опасно ли требовать от искусства именно того свойства, которым сопровождается его падение?). Наконец, pour la bonne bouche[2], находим статью В. Злобина о книжице Г. Иванова «Распад Атома». Автор статьи договаривается до бездн, стараясь установить, почему эта книжица была так скоро забыта. Ему не приходит в голову, что, может быть, так случилось потому, что эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха. И Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову, двум незаурядным поэтам, никогда, никогда не следовало бы баловаться прозой.

По поводу этого «свободного сборника» можно было бы еще кое-что сказать: что мистическое отношение к многострадальному сентябрю месяцу не делает чести вкусу писателя; что модное обилие цитат чрезвычайно раздражительное явление, ибо цитаты — векселя, по которым цитатчик не всегда может платить; что называть громким именем свободы простую дружбу или единомыслие — то же самое,

---

[1] Оплаченный отпуск *(фр.)*.

[2] На закуску *(фр.)*.

что сына звать Фемистоклюс... Ограничусь этими замечаниями, добавив, что общее впечатление от сборника такое, будто руководительница, скликав питомцев и посулив им неслыханное раздолье, привела их в небольшой городской сквер, где оставила их на произвол судьбы среди пыли, добрых скамеек, маленьких злых стульев и слишком мало употребляемых ресептаклей для бананных кож и вчерашних газет.

ПАМЯТИ И. В. ГЕССЕНА

В моем сознании прошлое И. В., связанное с прошлым моего покойного отца, вторым, живым, узлом связывалось с моим настоящим: я одновременно увидел И. В. в легендарной дали фракционных собраний, в исторической перспективе, где мое детство суживалось обратным снопом линий, и в человеческой действительности, за стаканом чая с сухарями, в тепле мне доступного мира. То, что я дорос до уровня его дружбы, было магическим анахронизмом; я гордился ею; катет ее действительности уходил глубоко в душу, а длинная гипотенуза таинственно соединяла меня с мужественным и чистым миром «Права» и «Речи», некогда окружавшим мое несмыслящее начало. Русский Берлин двадцатых годов был всего лишь меблированной комнатой, сдаваемой грубой и зловонной немкой (он незабываем, подлый пот этого неудачного народа), но в этой комнате был И. В., и, минуя туземцев, мы ухитрялись извлекать своеобразную прелесть из тех или иных сочетаний обстановки и освещения. Моя молодость подоспела ко второй молодости И. В., и мы весело пошли рядом.

Он был моим первым читателем. Задолго до того, как в его издательстве стали выходить мои первые книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокруженье, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где

И. В. близко подносил лист к лицу, зацепляя написанное как бы с подола, снизу вверх, параболическим движением глаза, после чего смотрел на меня с полусаркастическим доброхотством, слегка потряхивая листом, но говорил только «Н-да» — и не торопясь приобщал его к материалу.

Равнодушный к читательским отзывам, я дорожил исключением, которое привык делать для мнения И. В. Его совершенная откровенность в суждениях, столь ужасно четвертовавших подчас авторское самолюбие, придавала особую значительность малейшей его похвале. Всегда буду слышать полнозвучную медную силу, с которой он произносил над трупом книги: «Как он мог это написать — непостижимо!» — со страшным ударением на «мог» и «жимо». Один Пушкин был для него, как и для меня, выше человеческой критики — и как он знал эту трагическую, томную, таинственную поэзию, знакомую большинству только по отрывным календарям да четырем операм.

Его всегда увлекали приключения и перевоплощения человеческой сущности, шла ли речь о литературном герое, или о большевиках, или об общем знакомом. Его могли зараз занимать политический маневр дюжего диктатора и вопрос, был ли симулянтом Гамлет. Он был живым доказательством того, что настоящий человек — это человек, который интересуется всем, включая и то, что интересно другим. Рассказывать ему что-либо было необыкновенным наслаждением, ибо его собеседническое участие, острейший ум, феноменальный аппетит, с которым он поглощал ваши сыроватые фрукты, преображали любую мелочь в эпическое явление. Его любопытство было столь чисто, что казалось почти детским. Людские характеры или перемены погоды становились в его энергичной оценке исключительными, единственными: «Такой весны я не помню», — говаривал он, в изумлении разводя руками.

Меня восхищал в нем союз, в который столь гармонично сливались его русское европейство и принадлежность к одухотвореннейшему племени. Я бесконечно уважал его физическую и моральную смелость; сотни раз в жизни испытал его трогательную угловатую доброту. Его слабые зрение и слух в соединении с талантливой рассеянностью служили у него в поставщиках его же юмора. С каким

упоением он рассказывал, как, желая доставить удовольствие его навестившей актрисе Полевицкой, он, со словами: «Видите — ваш портрет висит у меня на стене», бережно снял и подал ей фотографию певицы Плевицкой. Я чувствую, что сам тоже, может быть, предлагаю чужой портрет, говоря о И. В., ибо странная близорукость одолевает душу после смерти любимого человека и вместо коренного его образа подворачиваются всякие бедные пустяки.

И. В. как-то признался мне, что в юности его прельщала порочная гегелевская триада. Я думаю о диалектике судьбы. Весной 1940 года, перед отъездом сюда, я прощался с И. В. на черной парижской улице, стараясь унять мучительную мысль, что он очень стар, в Америку не собирается — и что, значит, я никогда больше не увижу его. Когда здесь, в Бостоне, я получил известие, что он чудом прибыл в Нью-Йорк — живее живого (каким он мне всегда казался), жаждущий деятельности, кипящий своими и чужими новостями, — я поспешил уличить предчувствие в ошибке. Различные обстоятельства заставили меня отложить свидание до апреля. Между тем чудо его приезда оказалось лишь антитезисом, и теперь силлогизм завершен.

Н. В. ГОГОЛЬ. ПОВЕСТИ
Предисловие

Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в Полтавской губернии, в местечке Сорочинцах, в мелкопоместной дворянской семье. В 1828 году Гоголь окончил Нежинскую гимназию и переехал в Петербург.

В 1831 году вышел первый том «Вечеров на Хуторе близ Диканьки», а в 1832 году — второй. В 1835 году Гоголь напечатал два тома рассказов под заглавием «Миргород» («Вий», «Старосветские Помещики» и пр.) и около того же времени «Арабески» («Невский Проспект», «Записки Сумасшедшего» и пр.). О ту же пору написал он повесть «Нос» и пьесу «Ревизор», впервые поставленную в театре весной 1836 года. Почти сразу после спектакля Гоголь

уехал за границу и в течение двенадцати лет жил то в Швейцарии, то в Австрии, то в Париже, а больше всего в Риме, лишь изредка наезжая в Россию. За границей он закончил «Шинель» и написал «Мертвые Души», первый том которых выпустил, когда посетил Россию в 1842 году.

С 1842 по 1852 год Гоголь почти беспрерывно переезжал с места на место в тщетной погоне за здоровьем и вдохновеньем. В 1848 году посетил Иерусалим. Потом жил то в Москве, то в Одессе, то у матери в Васильевке. В 1852 году, в Москве, Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых Душ» и то, что было написано им из третьего. От второго тома случайно сохранилось пять первых глав. На закате жизни он боролся с душевным разладом, мучился потерей писательского дара и разрушал постами свой хрупкий организм.

Он умер 21 февраля 1852 года.

* * *

За сто лет со дня смерти Гоголя литературная репутация, в свое время навязанная ему гражданствующей, благоустремленной, но в сущности противохудожественной критикой, мало изменилась. Несмотря на здравомыслие новых, живительных суждений, высказанных незадолго до революции — на пороге уже совершеннейшей тьмы в смысле критики, — решительного переворота в оценке Гоголя не произошло. В широких, как говорится, кругах читающей публики образ Гоголя и поныне остался верен официальной школьной версии: увы, Гоголь остался сатириком, бичующим пороки ему современного общества; двойственным юмористом — заставляющим смеяться до слез и смеющимся сквозь слезы. По невероятному стечению обстоятельств, один из величайших мировых ирреалистов был произведен в какого-то столоначальника русского реализма.

* * *

В петербургских рассказах Гоголя мы впервые видим его настоящее лицо: не того Гоголя, который будто бы смешил даже своих наборщиков, а того, который намечается в цветном тумане неровных «Арабесок» и полностью утверждается в «Носе», в «Шинели», в «Ревизоре», в «Мертвых Душах».

Его длинный и острый нос, которым, без помощи пальцев, Гоголь ухитрялся добывать понюшку из самой миниатюрной табакерки, этот необыкновенный нос учуял совершенно новые запахи в тех болотных, призрачных дебрях, где новым трепетом затрепетала русская литература. От скромной фиалки на дне чичиковской табакерки до «Ночной Фиалки» Блока один лишь шаг — по животворной, чмокающей мочежине (с которой, между прочим, немало перешло и в толстовский ягдташ). В юношеских произведениях Гоголя образ носа еще держался средневековой, карнавальной, балаганной традиции; в пору расцвета своего гения Гоголь нашел в этом незатейливом органе лучшего своего союзника. Действительно, что может быть иррациональнее и вместе с тем ближе к сущности вещей, чем запахи? Кто из нас — на углу улицы в незнакомом городе — не испытывал при мгновенном, и вот уже исчезнувшем, дуновении близость громадного, цельного, совершенно сохранившегося где-то, нашего личного прошлого, готового тут же открыться опытному нюхателю? В этом смысле художник-писатель совмещает в себе и охотника и охотничью собаку. Когда же, решив стать проповедником, ясновидцем, медиумом, Гоголь тем самым не то заспал, не то удавил в себе художника, он потерял и нюх, как Ковалев лишился носа.

Гоголь был странен во всем; но странность и есть основная черта гения. Только здоровую посредственность принимает благодарный читатель за мудрого старого друга, так славно излагающего и развивающего собственные, читательские, мысли о жизни. Великая литература всегда на краю иррационального. «Гамлет» — это дикий сон гениального школяра-неврастеника. Гоголевская «Шинель» — рваная рана, черная дыра в тусклой ткани повседневности. Поверхностный читатель примет ее за фарс; читатель «с запросами» скажет, что автор бичует то-то и то-то; но, по-настоящему, рассказ написан для читателя творческого, одаренного особым читательским вдохновением. Пушкин в зрелой «Песне» Вальсингама, в сне Татьяны или даже в заревой своей «Вольности», Толстой в страшных видениях Карениной и Вронского и в бреду Ивана Ильича, Чехов в гениальном своем «Овраге» — каждый из них мог похвалиться проблес-

ками сверхрассудочного прозрения. Но у Гоголя иррациональное в самой основе искусства, и как только он пытается ограничить себя литературными правилами, обуздать логикой вдохновенье, самые истоки этого вдохновенья неизбежно мутятся. Когда же, как в «Шинели», он дает волю бредовой сущности своего гения, он становится одним из трех-четырех величайших русских беллетристов.

Есть разные способы раскрепощать житейскую логику; каждый большой писатель делает это по-своему. Прием Гоголя двоякий: он состоит из неожиданных взрывов и промежуточной трусцы. Под самыми нашими ногами вдруг распахивается до того не замеченный люк, или высоко взносит нас риторический вихрь, только для того, чтобы уронить в следующий по пути люк. Любимицей Гоголя была муза абсурда, муза нелепости. Смешное — лишь один завиток нелепости, ибо в абсурдном столько же оттенков, сколько в трагическом: в него-то, на последнем пределе спектра, и переходит гоголевская призматическая нелепица. Заметим, что вопрос не в том, ставит или не ставит Гоголь своих героев в нелепое положение: нельзя поставить в нелепое положение тех, кто и так живет в мире нелепицы. Контраст состоит в другом. Акакий Акакиевич *трогателен* и *трагичен*, и только по этому, вторичному, признаку он выделяется с пронзительной, своеродной нелепостью на фоне общей повседневной нелепости мира «Шинели» — из которого, впрочем, он произошел, без которого не мог бы существовать.

Этот фон сам по себе неровен и дыря́в. Материя совпадает с манерой, сложность жизни — со слогом автора. Там и сям, в самом невинном на вид абзаце, иное простецкое, подсобное слово, какое-нибудь «даже» или «почти», поставлено таким манером, оказывается в такой нездоровой семантической среде, в таком противоречивом контексте, что невинный абзац тут же взрывается (исподтишка, беззвучно, как далекая бомба в прежнем, немом, кинематографе). А то еще гоголевский говорок вдруг потопляет пена пышной поэзии, или даже волна какого-то почти библейского красноречия, которая, покипев, разрешается самым плоским, нарочито вялым аккордом, и все опять обращается в то бормотание, которым Гоголь, как всякий опытный

фокусник, прикрывает обман, передержку, мгновенную отвратительную метаморфозу.

Кроткий Акакий представляет собой в этом нелепом мире и сокровенную сущность его, и вместе с тем патетическую попытку преодоления абсурда. Прорехи в словесной ткани соответствуют прорывам в самой жизни; чиновный, серый, студеный Петербург прерывается вдруг не просто большой черной площадью, а какой-то шаманской бездной. Где-то, в самом болотном корне земной жизни, что-то не так, что-то не то, и все люди на этой сомнительной планете могут быть сравнены с мирными и в общем довольно дебелыми умалишенными, занятыми всякими пустыми, нелепыми, им одним кажущимися важными делами. В этом мире бессмысленного унижения и бессмысленного торжества высшей целью страстных творческих устремлений становится что? — новый покров ларвы, шинель, chenille, мохнатая кожица уже и так полураздавленного червя — и эту новую шинель коленопреклоненно боготворят и портной и заказчик; а меж тем она, как и Акакий, обречена и сама собой сваливается на измызганный пол с чужой насмешливой вешалки. Я не говорю, конечно, о морали, о поучении. Какое же может быть нравоучительство в мире, где нет ни учеников, ни учителей, где все, как смерть, твердо и неизменно, в мире, который самым фактом своего существования исключает все, что могло бы его разрушить. А главное, какую же тут можно прослеживать мораль, когда судьбой Башмачкина играет гениальный, но безответственный фокусник.

Пока шьется и наконец надевается на Акакия Акакиевича шинель, пока длится вся процедура его облачения, происходит, в сущности, как раз обратное: Акакий Акакьевич постепенно разоблачается до полной наготы, до наготы призрака. Взлетами пасторского пафоса или быстрым профессиональным лепетом Гоголь прикрывает необыкновенный свой трюк: к концу повести поток как будто ненужных и не относящихся к делу подробностей производит такое гипнотическое действие на читателя «Шинели», что от него может ускользнуть одно простое обстоятельство; между тем это чрезвычайно важное обстоятельство есть непременная часть главного замысла «Шинели», умышленно Гоголем

замаскированного. Тот, кого принимают за призрак ограбленного Акакия, и есть на самом деле вор, его ограбивший. Однако призрак Акакия существовал лишь постольку, поскольку его владелец был несправедливо лишен шинели, и вот, перед нами нелепейший парадокс: квартальный принимает за этот обиженный призрак прямую его противоположность, т. е. вора шинели. Таким образом, тема повествования описывает полный круг, круг порочный, круг заколдованный, как и все круги на свете, хоть и являются они нам порою в безобидном образе яйца, яблока, земного шара или лица человеческого — лица, на крышке табакерки прорываемого большим пальцем портного.

Сколько бы раз в жизни кочевник-читатель ни оказывался случайно у полки с живым растрепанным томом Гоголя (среди многих совершенно целых, но мертвых книжонок), Гоголь всегда его поразит своей волшебно обновляющей новизной, своими все глубже вскрывающимися слоями смысла. Точно проснулся человек посреди лунной ночи у себя в дрянном, поперечно-полосатом номере и, до того как снова забыться, услышал за тонкой, тающей в сером свете стеной как бы приглушенные звуки тихо и, на первый прислух, смешливо настроенного оркестра: пустяковые и вместе с тем бесконечно важные речи; смесь странных, прерывистых голосов, то с истерическим треском расправляемых крыльев, то с ночным озабоченным бормотаньем обсуждающих человеческое бытие. В этом соприкосновении с какой-то смежной вселенной и состоит, мне кажется, мгновенно воспринимаемая магия и вечно пребывающее значение «Петербургских Повестей».

ОТ В. НАБОКОВА-СИРИНА

Не знаю, как относится мой дорогой друг, М. А. Алданов, к русской газетной традиции юбилейных поздравлений; вероятно, с добродушной иронией. Хочу, однако же, воспользоваться тем, что он нынче жертва такого торжества, и выразить пожелание, чтобы он написал еще много прекрасных, умных книг. При этом вспоминается особенно

живо: вечереющий день в эмигрантском Берлине, мне лет двадцать, зажигается на лестнице свет, входит отец, неся с выражением какого-то нежного аппетита драгоценную новинку: «Святая Елена, Маленький Остров».

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

I

Работу над переводом «Онегина» на английский язык я начал в 1950 году, и теперь пора с ним расстаться. Сперва мне еще казалось, что при помощи каких-то магических манипуляций мне в конце концов удастся передать не только все содержание каждой строфы, но и все созвездие, всю Большую Медведицу ее рифм. Но даже если бы стихотворцу-алхимику удалось сохранить и череду рифм, и точный смысл текста (что математически невозможно на нищем рифмами английском языке), чудо было бы ни к чему, так как английское понятие о рифме не соответствует русскому.

Если «Онегина» переводить — а не пересказывать дурными английскими стишками, — необходим перевод предельно точный, подстрочный, дословный, и этой точности я рад был все принести в жертву — «гладкость» (она от дьявола), изящество, идиоматическую ясность, число стоп в строке, рифму и даже в крайних случаях синтаксис. Одно, что сохранил я, это ямб, ибо вскоре выяснились два обстоятельства: во-первых, что это небольшое ритмическое стеснение оказывается вовсе не помехой, а, напротив, служит незаменимым винтом для закрепления дословного смысла, а во-вторых, что каким-то образом неодинаковость длины строк превращается в элемент мелодии и как бы заменяет то звуковое разнообразие, которого все равно не дало бы столь убийственное для английского слуха правильное распределение мужских и женских рифм. Из комментариев, объясняющих содержание и форму «Онегина», образовался том в тысячу с лишком страниц, и из него я привожу здесь несколько заметок в сокращенном виде.

1. *Слов модных полный лексикон:*

Одна из задач переводчика — это выбор поэтического словаря. Ни словарь времен Мильтона, ни словарь времен Браунинга Пушкину не подходит. Суживая пределы, убеждаешься в том, что «Онегин», в идеальном английском воплощении, ближе к общему духу XVIII века (к духу Попа, например, — и его эпигона Байрона), чем, скажем, к лексикону Кольриджа или Китса. Объясняется это, конечно, влиянием на английских поэтов XVIII века французских принципов поэтики, среди коих главные: «хороший вкус», «здравый смысл», принятые эпитеты, примат родового термина, пренебрежение частным и т. д. Только вдавшись в эти изыскания, понимаешь, до чего лексикон Пушкина и поэтов его времени связан с той французской поэзией, которую Пушкин так поносил — и с которой он так сроднился. Словесная ткань «Онегина» по сравнению со словарем английских романтиков бедна и скромна.

Настоящая жизнь пушкинских слов видна не в индивидууме, а в словесной группе, и значение слова меняется от отражения на нем слова смежного. Но переводчику приходится заниматься отдельными словами и бесконечным повторением этих слов, и для того, чтобы передать на английском языке столь частые в русском подлиннике «томность», «нега», «нежность», «умиление», «жар», «бред», «пламень», «залог», «досуг», «желание», «пустыня», «мятежный», «бурный», «ветреный» и т. д., надобно перед собой держать как образец соответствующую французскую серию: *lanqueur, mollesse, tendresse, attendrissement, ardeur, délire, flamme, gage, loisir, désir, désert, tumultueux, orageux, volage.*

Особую трудность в этом отношении представляют фразы и формулы, составные части которых уже к началу XIX века потухли, давно потеряли способность взаимного оживления и существовали лишь в виде высохших клубков. К этому ряду принадлежат «прекрасная душа» *(belle âme)*, «душа неопытная» *(âme novice)*, «счастливый талант» *(heureux talent)*, «лестная надежда» *(espérance flatteuse)*, «мелкое чувство» *(sentiment mesquin)*, «ложный стыд» *(fausse honte)*, «живо тронут» *(vivement touché)*, «лоно тишины» *(sein de la tranquillité)*, «модная жена» *(femme à la mode)*, «внуки

Аполлона» *(neveux d'Apollon)*, «кровь кипит» *(le sang bouillonne)*, «без искусства» *(sans art)* и сотни других галлицизмов, которые английский переводчик должен как-то учесть.

2. *Gent. Reader:*

«Читатель благородный» до ужаса нелюбопытен. Пыльные томы написаны о каких-то «лишних людях», но кто из интеллигентных русских потрудился понять, что такое упоминаемая Печориным «Юная Франция» или почему, собственно, так «смутился» видавший виды Чекалинский? Я знаю поклонников Толстого, которые думают, что Анна бросилась под паровоз, и поклонников Пушкина, которые думают (вместе с Достоевским — судя по вздору в его пресловутой речи), что муж Татьяны был «почтенный старец». Я сам когда-то думал, что «лучше, кажется, была» происходит от «хорошая» (на самом деле, конечно, от «хороша»), и что Пушкин мог совершенно изъясняться и по-английски, и по-немецки, и по-итальянски, меж тем как на самом деле он из иностранных языков владел только французским, да и то в устарелом, привозном виде (до странности бледны и неправильны его переводы одиннадцати русских песен, из собрания Новикова, сделанные для Loewe de Weimars, летом 1836 г.).

3. *Посредники-французы:*

Пушкинисты наши недостаточно подчеркивают, что в двадцатых годах прошлого века русские образованные люди читали англичан, немцев и итальянцев, а также древних, не в оригинале, а почти исключительно в гладкой прозе несметных и чудовищно неутомимых французских пересказчиков. В мещанской среде читались лубочные русские пересказы этих французских пересказов, а с другой стороны, иная второстепенная готическая баллада превращалась русским поэтом в прекрасное независимое творение; но дворянин-литератор, скучающий щеголь, захолустный вольтерьянец-помещик, вольнолюбивый гусар (хоть и учившийся в Геттингене), романтическая барышня (хоть и имевшая «английскую мадам»), — словом, все «благородные читатели» того времени, — получали Шекспира и Стерна, Ричардсона и Скотта, Мура и Байрона, Гёте и Августа Лафонтена, Ариосто и Тассо во французских переложени-

ях, с бесконечным журчаньем притекавших через Варшаву и Ригу в дальние места Руси.

Таким образом, когда говорят «Шекспир», надо понимать Letourneur, «Байрон» и «Мур» — это Pichot, «Скотт» — Dufauconpret, «Стерн» — Frenais, «Гомер» — Bitaubé, «Феокрит» — Chabanon, «Тассо» — Prince Lebrun, «Апулей» — Compain de Saint-Martin, «Манзони» — Fauriel, и так далее. В основном тексте и в вариантах «Онегина» даны каталоги целых библиотек, кабинетных, дорожных, усадебных, но мы должны беспрестанно помнить, что Пушкин и его Татьяна читали не Ричардсона, а Аббата Prévost (*«Histoire de Miss Clarisse Harlove»*[1] *(sic)* и *«Histoire du chevalier Grandisson»*[2] *(sic)*), и что Пушкин и его Онегин читали не Матюрина (Maturin), а *«Melmoth ou l'Homme errant, par Mathurin (sic), traduit librement de l'anglais par Jean Cohen»*[3], 6 *vols., Paris*, 1821 (и эту-то чепуху Пушкин называл «гениальной»!).

4. *Pétri de vanité*[4]:

Любопытно сопоставить пушкинский эпиграф со строчкой в третьей песне «Женевской Гражданской Войны» Вольтера (1767 г.), *«sombre énergumène* (сумрачный сумасброд) *...pétri d'orgueil*[5]*»*. Речь идет о Жан-Жаке Руссо, о котором Эдмунд Бёрк говорит, во французском переводе (1811 г.) «Письма к Члену Национальной Ассамблеи», что его *«extravagante vanité»*[6] заставляла его искать новой славы в оглашении своих недостатков. Следующее *«pétri»* в русской литературе находим через пятьдесят лет после «Онегина» в страшном сне Анны Карениной.

5. *Байрон:*

Еще в 1817—1818 гг. Вяземский, Ламартин и Альфред де Виньи знакомились с *le grand Byron*[7] (которого Broglie, между прочим, называл «фанфароном порока») по отрывкам

[1] «История Клариссы Гарлоу» *(фр.)*.

[2] «История кавалера Грандисона» *(фр.)*.

[3] «"Мельмот Скиталец" Матюрина, переложенный с английского Жаном Коэном» *(фр.)*.

[4] Проникнутый тщеславием *(фр.)*.

[5] Проникнутый гордыней *(фр.)*.

[6] Сумасбродное тщеславие *(фр.)*.

[7] Великий Байрон *(фр.)*.

из его поэм в анонимных французских переложениях Женевской Универсальной Библиотеки. Уже в мае 1820 г., в коляске с другом, едучи из Екатеринослава на Кавказские Воды (где спустя лет двадцать Печорин читал по-французски Скотта), Пушкин мог наслаждаться первыми четырьмя томами первого издания «шестопалого» французского перевода Байрона. Переводчики, Amédée Pichot и Euzèbe de Salle, не подписали первого издания, а во втором сочетались неправильной анаграммой «A. E. de Chastopalli». В течение третьего издания они поссорились, и начиная с тома восьмого Пишо остался в творческом одиночестве — и своей прозой завоевал Россию.

Первые четыре издания (все у Ladvocat, Paris) этого огромного и бездарного труда следующие:

1. 1819–1821 гг. 10 томов. «Корсар» находится в т. 1, 1819 г.; «Вампир» в т. 2, 1819 г.; первые две песни «Чайльд Гарольда» в т. 4, 1819; третья песня в т. 5, 1820 г.; вместе с «Гяуром»; четвертая, последняя, в т. 7, 1820 г.; первые две песни «Дон Жуана» находятся в т. 6, 1820 г., а «Беппо» в т. 8 того же года.

2. 1820–1822 гг. 5 томов. «Гяур» и первые две песни «Дон Жуана» в т. 2, 1820; «Чайльд Гарольд» в т. 3, 1820 г., с «Вампиром» (произведением, ложно приписанным Байрону и в дальнейших изданиях не представленным).

3. 1821–1822 гг. 10 томов.

4. 1822–1825 гг. 8 томов, целиком переведенные Пишо, с предисловием Нодье. Первые 5 томов вышли в 1822 г., с «Чайльд Гарольдом» в т. 2; первые пять песен «Дон Жуана» находятся в т. 6, 1823 г.; а последние одиннадцать песен в т. 7, 1824 г.

Еще до переезда из Одессы в Михайловское, т. е. до августа 1824 года, Пушкин знал первые пять песен «Дон Жуана» по шестому тому 4-го изд. Пишо. Остальные песни он прочел в декабре 1825 года в Михайловском, получив из Риги седьмой том Пишо через Анну Керн.

6. *Беппо:*

В предисловии к отдельному изданию первой главы «Онегина» Пушкин подчеркивает ее родство с байроновским «Беппо». Оригинала он не знал, а в его оценке этого «шуточного» произведения можно усмотреть влияние

примечания Пишо к французскому переводу: «“Беппо” — сплошное надувательство: поэт как бы подшучивает над всеми правилами своего искусства... однако, среди постоянных отступлений, фабула не перестает развиваться».

7. *абабееввиггидд*:

Чередование рифм, выбранное Пушкиным для «Онегина», встречается как случайный узор уже в «Ермаке» (65–78 и 93–106) Дмитриева, которого Карамзин по дружбе называл «русским Лафонтеном», написанном в 1794 г., а также в «Руслане и Людмиле» (в песне третьей, «за отдаленными горами» до «оставим бесполезный спор, сказал мне важно Черномор»). С этим чередованием Дмитриев и Пушкин были знакомы по французским образцам: оно повторяется, по крайней мере, три раза в *«Contes»*[1] Лафонтена, в разных местах третьей части (1671), напр., в сказочке *«Nicaise»*, 48–61, где рифмы перемежаются так: *dame, précieux, âme, yeux, galantes, engageantes, gars, regards, sourire, main, enfin, dire, soupirs, désirs.*

Первая половина онегинской строфы, до талии, совпадает с семью первыми строками французской одической строфы в десять строк (абабееввиив), которой пользовались Малерб и Буало и которой подражали русские стихотворцы XVIII столетия. Онегинская строфа начинается как ода, а кончается как сонет.

8. *Повеса, Зевеса:*

Эта богатая рифма (I, II) могла бы искупить банальность французской формулы *«par le suprême vouloir»* («всевышней волею»), не будь она попросту занята у Василия Майкова («Елисей», 1771 г., песня 1, 525–526).

9. *Ученый малый, но педант:*

Невежественный и бездарный Бродский (Е. О. роман А. С. П., пособие для учителей средней школы, УЧПЕДГИЗ, 1950) пытается объяснить слово «педант» в применении к Онегину (I, V) как синоним «революционера», что зря вводит в заблуждение учителей средней школы.

Мальбранш в начале XVIII века описывал так педанта: «светскость... два стиха из Горация... анекдоты... Педанты —

[1] «Сказки» *(фр.)*.

это те, кто щеголяет ложным знанием, цитирует наобум всяких авторов (и) говорит только для того, чтобы им восхищались дураки». Ему вторит Аддисон («Спектатор», № 105, 1711 г.): «Кто более педант, чем любой столичный щеголь? Отними у него театр, список модных красавиц, отчет о новейших недугах, им перенесенных, и он нем». Впрочем, смысл стиха проще: важным невеждам модная «ученость» казалась чересчур точным знанием.

10. *Напев Торкватовых октав:*

Эта строка и следующие за ней стихи — обаятельны, они для меня насквозь осветили и окрасили полжизни, я до сих пор слышу их весной во сне сквозь все вечерние схолии — но как согласовать с далью и музыкой сухой факт, что эти гондольеры, поющие эти октавы, сводятся к одному из самых общих мест романтизма? Тут и Пишо-Байрон, «Чайльд-Гарольд» (4, III), 1820, и мадам де Сталь («О Германии», стр. 275, изд. 1821), и Делавинь (*«Les Messéniennes»*, 1823), и великое множество других упоминаний о поющих или переставших петь гондольерах.

11. *Пишотизм:*

Вот прелестный пример того, как тень переводчика может стать между двумя поэтами и заставить обманутого гения перекликнуться не с братом по лире, а с предателем в маске. Байрон (Ч. Г., 2, XXIV) говорит: «Волною отраженный шар Дианы». Пишо превращает это в «диск Дианы, который отражается в зеркале океана». У Пушкина (1, XLVII) есть «вод... стекло» и «лик Дианы». Этим «стеклом» мы обязаны французскому клише посредника.

12. *Условная краса:*

Рестиф де ла Бретонн, довольно посредственный, но занимательный автор (1734—1806), пишет в своем *«Le Joli-pied»* о некоем сластолюбце: «легкий стан нравился ему, но из всех прелестей... его больше всего влекла... хорошенькая ножка... которая и в самом деле предвещает тонкость и совершенство всех прочих чар».

13. *Желаний своевольный рой:*

Еще один обыкновенный галлицизм. Лагарп в своем «Литературном Курсе» (том 10, стр. 454, изд. 1825 г.) осуждает «частое возвращение слов-паразитов, как, например,

essaim[1]... все это общие места, слишком много раз повторенные...» Достаточно следующих примеров: *«Au printemps de ces jours l'essaim des folâtres amours»* (Gresset, *«Vert-Vert»*, 1734); *«L'essaim des voluptés»* (Parny, *«Poésies Erotiques»*, 1778); *«Tendre essaim des désirs»* (Bertin, *«Elégie II»*, 1785); *«Des plaisirs le dangereux essaim»*[2] (Ducis, *«Epître à l'Amitié»*, 1786).

14. *Бумажный колпак:*

Все английские переводчики «Онегина» делают из домашнего хлопкового колпака аккуратного немца (I, XXXV) *«paper cap»*. На самом деле, конечно, «бумажный колпак» — попытка Пушкина передать *«bonnet de coton»*.

15. *Child-Arold, Child-Harold,* Шильд-Арольд, Чильд-Гарольд, Чейльд Гарольд, Чайльд Гарольд:

Так писали звание и имя *Childe Harold* французские и русские журналисты. В прижизненных изданиях «Онегина» (где байроновский, или, вернее, пишотовский, герой упоминается в первой главе, XXXVIII, в четвертой, XLIV, и в примечании к зевоте Онегина в театре) это имя появляется в семи вариантах (из которых по крайней мере два — опечатки): *Child-Harold* (1825, 1829; так и в черновике), *Child-Horald* (1833, 1837); Чильд Гарольд (1828, 1833, 1837; так и в чистовике); Чельд Гарольд (1825), Чильд Гарольд (1829), Чальд Гарольд (1833), Чальд Гаральд (1837).

16. *Hypochondria,* гипохондрия:

Вот редкий случай разделения словесного труда: для означения одной и той же разновидности скуки англичане (например, Байрон) берут первую часть слова (*hypo, hyp, I am hipped),* а русские — вторую (хандра). Кстати, слово «сплин» (1, XXXVIII) взято Пушкиным, конечно, не у англичан, а у обычных передатчиков-французов. Так уже в учебнике Лагарпа он мог прочитать: «В Англии... знают эндемичную болезнь... сплин».

Кстати о хандре, ждущей Онегина в деревне и бегающей за ним, как верная жена. У Делилля, в «Деревенском Жителе» (1800), хандра встречает горожанина, бежавшего в глушь, «у ворот» сельского дома и всюду «плетется за ним».

---

[1] Рой *(фр.)*.

[2] «На заре тех времен рой безумных увлечений»... «Рой наслаждений»... «Нежный рой желаний»... «Опасный рой удовольствий» *(фр.)*.

17. *Цветы, любовь, деревня, праздность,*
Поля!..:

Онегин унаследовал не деревню дяди, и не авторское Зуево, а собственно Аркадию, воспетую бесчисленными французскими поэтами и переводчиками, стилизованный пейзаж с приблизительными дубами и с ручьем (*doux-coulant* или *paisible*[1]), вьющимся через мураву всех средиземноморских идиллий. В «Онегине» чувство природы по-настоящему просыпается не в ноябре, с гусем, отставшим от каравана (как мне виделось в детстве), а третьего января, с Татьяной. Замечу, что «Поля!» в приведенной цитате (1, LVI) не просто «поля», а *champs* в значении *campagne*, включающем и леса и горы. В старину *aller aux champs*[2] значило *aller à la campagne*[3]. Между прочим, в конце XVIII века делались попытки (см. переписку Карамзина с Дмитриевым) переводить это выражением «поехать в чистое поле» в смысле «поехать в деревню»!

18. *Глаза... улыбка... легкий стан — всё в Ольге:*

Это перечисление, оборванное перед глаголом, представляет собой пародию не только на список черт героини «любого романа», но подражает самой интонации такого перечисления. Иначе говоря, предметом пародии служит здесь не только суть, но и стиль. Ср., например, описание Дельфины д'Альбемар в романе г-жи Сталь, 1802, Письмо XXI: «Ее стан... ее взоры... всё в ней выражает» то-то и то-то, или описание Антонии у Нодье («Жан Сбогар», 1818): «Ее стан... головка... взор... всё в ней...» Пушкин прервал фразу на риторическом переходе к ее трафаретному разрешению.

19. Poor Yorick:

В шестнадцатом примечании (к 2, XXXVII) читаем: «Бедный Иорик! — восклицание Гамлета над черепом шута. (См. Шекспира и Стерна)».

Бродский пишет (1950 г., стр. 160): «Ссылкой на Стерна... Пушкин тонко раскрывал (!) свое ироническое от-

[1] Тихо струящийся или умиротворенный *(фр.)*.
[2] Отправиться в поля *(фр.)*.
[3] Отправиться на природу *(фр.)*.

ношение к Ленскому в его неуместном применении имени английского (!) шута к бригадиру Ларину». *Alas, poor Brodski!*[1] Пушкинское примечание прямо списано из Гизотова и Пишотова исправленного издания летурнеровского перевода «Гамлета» (т. 1, 1821 г., стр. 386): *«Alas, poor Yorick! Tout le monde se souvient... du chapitre de Sterne où il cite ce passage d'Hamlet»*[2].

Между прочим, в черновиках заметок и писем Пушкин постоянно сбивался на старинное французское начертание имени Шекспира (употребляется, например, Лагарпом): *Schekspir.*

20. *Любовник Юлии Вольмар (3, IX):*

Неточно. Сен-Пре был любовником Юлии д'Этанж. Во время его путешествия в условную Южную Америку она вышла за Вольмара, довольно неубедительного православного поляка, побывавшего в Сибири и перешедшего в вольнодумство. Единственное, что связывало Юлию и бывшего ее любовника, были следы ветряной оспы. Заметим, что героини романов Юлия, Валерия, Шарлотта и др. оставались столь же верны своим мужьям, как Татьяна князю N.

21. *Я знаю: нежного Парни*
Перо не в моде в наши дни:

3, XXIX. Любопытно, что в своих «Литературных Листках» (часть 3, № 16, авг. 1824) Булгарин, выводя с оскорбительной благосклонностью приятеля своего Грибоедова в лице «Талантина», дает последнему такую реплику (по поводу русской поэзии): «Подражание Парни... есть диплом на безвкусие». Еще любопытнее, что вся знаменитая строфа XXV третьей главы, написанная (как установлено Томашевским) теми же чернилами, что и датированный 26 сент. 1824 г. «Разговор книгопродавца с поэтом», оказывается (как устанавливаю я) переложением второй пьески (*«La Main»*)[3] в *«Tableaux»*[4] того же Эвариста Парни:

[1] Увы, бедный Бродский! *(Англ.)*

[2] Увы, бедный Йорик! Все помнят... ту главу Стерна, где цитируются эти строки из «Гамлета» *(англ., фр.)*.

[3] «Рука» *(фр.)*.

[4] «Картины» *(фр.)*.

On ne dit point: la résistance
Enflamme et fixe les désirs,
Reculons l'instant des plaisirs...[1]

Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим.

Ainsi parle um amant trompeur
Et la coquette ainsi raisonne.
La tendre amante s'abandonne
A l'objet qui touche son cœur[2].

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви...

Tendre amante, tendre Tatiana, tendre Parny...[3] Сколько малых сих обольстила эта нежная пародия.

22. *Стремнины (5, XIII):*

Переводчица преспокойно пишет *«rapids»*. Речь, конечно, идет об оврагах, обрывах, *précipices*. В русской провинции, включая Москву, до сих пор путают этот европеизм со словом «стремнина́», которое значит «быстрое течение» и не употребительно во множественном числе.

23. *Он там хозяин (5, XVII):*

Хотя в январе 1821 г. Татьяна, не будучи отроковицей 1824 года, еще не читала «Сбогара», но бред Антонии (рассказанный Жану) подозрительно родственен Татьяниному сну: «Ярко-зеленые медянки, другие гады, гораздо более отвратительные, с человечьими лицами... гиганты... све-

---

[1] Мы не говорим: сопротивленье
Распаляет и укрепляет желания,
Отложим миг услад... *(Фр.)*

[2] Так говорит ветреник,
И так рассуждает кокетка.
А нежная влюбленная девушка предается
Предмету, тронувшему ее сердце *(фр.)*.

[3] Нежная влюбленная, нежная Татьяна, нежный Парни... *(Фр.)*

жеотрубленные головы... и ты — ты тоже стоял среди них, как колдун, руководящий всеми чарами смерти».

Кстати, о снах: польский литератор Малевский отмечает в своем дневнике (1827 г.), что на вечере у Полевого, где присутствовали Пушкин, Вяземский и Дмитриев, обсуждался «Сон». В тридцатом примечании к этому дневнику (Лит. Насл., т. 58, 1952 г.) комментатор делает невероятную ошибку, отожествляя этот «Сон» со сном Святослава в «Слове»! Речь тут, конечно, о довольно замечательном стихотворении Шевырева «Сон» (1827 г.).

24. *Но та, сестры не замечая (5, XXII):*

Как прелестно повторяется этот лейтмотив: «Она зари не замечает» (3, XXXIII); «Она его не замечает» (8, XXXI); «Она его не подымает» (8, XLII). В последних двух случаях внутреннему голосу чтеца приходится тормозить на «она» и «его» (чтобы не дать строке съехать под гору на сплошных пиррихиях), чем достигается особенно патетическая протяжность мелодии (она смутно слышится мне и в печальной важности медленного: «И так они старели оба», 2, XXXVI).

25. *Две Петриады да Мармонтеля третий том (5, XXVIII):*

Связь в мыслях у Пушкина между виршами в честь Петра I и пресными *«Nouveaux Contes Moraux»*[1] (Мармонтель, т. 3, 1819 г.) подсказана может быть двумя строками из хорошо ему известной сатиры Жильбера «Восемнадцатый Век», 1775 г., в которой Тома́ (Thomas), работавший над своей *«La Pétréide»*[2], упоминается рядом с Мармонтелем.

26. *Belle Tatiana:*

Автор романса *«La Belle Dormeuse»*[3], Dufresny, не знавший нот, напел его мелодию композитору Grandval, записавшему ее (около 1710 г.). Среди многочисленных, очень чинных, подражаний этим слегка скабрезным стансам вот то, которое, вероятно, нашел Трике в ветхом *«Almanach chantant»*[4]:

[1] «Новые нравственные повести» *(фр.)*.

[2] «Петреида» *(фр.)*.

[3] «Спящая красавица» *(фр.)*.

[4] «Альманах песен» *(фр.)*.

Chérissez ce que la nature
De sa douce main vous donna,
Portez sa brillante parure,
Toujours, toujours, belle Nina[1].

27. *Замедления, обмороки речи:*

Одно из непременных дел переводчика — это объяснить иностранному читателю при помощи подробных примечаний инструментовку оригинала, — например, изысканный параллелизм строк:

И утренней зари бледней,
И трепетней гонимой лани,

где, кроме одинакового полуударения и изумительной аллитерации на «тр», на «л» и на «н», есть редчайшее созвучие двух разных грамматических форм, которого эпитетами «*morning*» и «*more tremulous*», конечно, не передашь без надлежащего объяснения.

28. *Анакреон живописи:*

Судьба этого забытого Альбана или Альбани (чья невозможная «Фебова колесница» все еще украшала меблированные комнаты Средней Европы моих двадцатых годов) была бы ни с чем не сравнима, — если бы ее не разделили в соседней области искусства бездарные французы-рифмачи, Вольтер, Жанти Бернар, Лемьер, Делавинь и сотни других упоминавших «*l'Albane*» с дрожью в зобу наряду с величайшими итальянскими художниками. Оттуда «кисть Альбана» перешла как модная формула в лицейские стихи Пушкина. Наши пушкинисты находят странным ретроспективное замечание: «хотелось в роде мне Альбана бал петербургский описать» (5, XL), но ничего нет странного в том, что пушкинисты, не знающие французской словесности или не учитывающие французской подоплеки русской словесности, многого могут в Пушкине не понять.

Лагарп, в своем «Курсе», говорит по поводу «Свадьбы Фигаро»: «Этот прелестный паж меж этих прелестных жен-

---

[1] Берегите то, что нежною рукою
Отпустила вам природа,
Носите ее блистательный убор
Всегда, всегда, прекрасная Нина *(фр.)*.

щин *occupées à le deshabiller et à le rhabiller* (ср. «одет, раздет и вновь одет», 1, XXIII) *est un tableau d'Albane»*[1], и когда Пушкин, в главе пятой, вспоминает главу первую и уединенный cabinet de toilette (ср. Парни: *«voici le cabinet charmant où les Grâces font leur toilette»*[2]), откуда Онегин выходит «подобный ветреной Венере», нетрудно увидеть сквозь это прозрачное воспоминание ту картину Альбана, которая известна в бесчисленных копиях как «Туалет Венеры». По струе быстрых стихов ветреная реминисценция слилась с петербургским балом и тамошним *essaim folâtre des désirs*[3].

29. *И даже честный человек:*
Так исправляется наш век:

6, IV. Еще Лернер, в добродушных своих заметках, указал, что первая из этих двух строк представляет собой перевод известной фразы в конце «Кандида». Но, кажется, никто не отметил, что и последняя строка — из Вольтера, а именно, из примечания, сделанного им в 1768 году к началу четвертой песни «Женевской Гражданской Войны»: *«Observez, cher lecteur, combien le siècle se perfectionne»*[4].

30. *Planter ses choux comme Horace; les augurs de Rome qui ne peuvent se regarder sans rire:*

Эти два стертых пятака французской журналистики были уже невыносимы и в русской передаче, когда их употребил Пушкин («капусту садит как Гораций», 6, VII, и «как Цицероновы авгуры, мы рассмеялися...», Пут. О., «XXXI»). Тут было бы так же бессмысленно приво́дить, что́ именно Гораций говорит о своих овощах *olus*[5] (что включает и brassica[6] и caule[7], как и рассуждать о том, что Цицерон говорил, собственно, не об авгурах, а о занимающихся гаданием на ослиных потрохах.

---

[1] Занятых тем, что раздевают его и вновь одевают... — это картина Альбана *(фр.)*.

[2] Вот прелестная уборная, где совершается туалет граций *(фр.)*.

[3] Безумный рой желаний *(фр.)*.

[4] Заметьте, любезный читатель, как совершенствуется наш век *(фр.)*.

[5] Зелень, овощи *(лат.)*.

[6] Капуста *(лат.)*.

[7] Капустные стебли, кочерыжка *(лат.)*.

31. *Художник Репин нас заметил:*

Александр Бенуа остроумно сравнивал фигуру молодого Пушкина на исключительно скверной картине «Лицейский экзамен» (репродукция которой переползает из издания в издание полных сочинений Пушкина) с Яворской в роли Орленка. За эту картину Общество им. Куинджи удостоило Репина золотой медали и 3000 рублей, — кажется, главным образом потому, что на Репина «нападали декаденты».

32. *Люблю я очень это слово (vulgar):*

Сталь, в примечании на стр. 50 (изд. 1818 г.) 2-го тома «О литературе», говорит, что в эпоху Людовика XIV «это слово, *la vulgarité*, еще не было в ходу; но я почитаю его удачным и нужным». Не знаю, заметил ли кто пушкинскую *interpolatio furtiva*[1] в строфе XVI главы восьмой: «Оно б годилось в эпиграмме...» Мне представляется совершенно ясным, что тут шевелится намек на звукосочетание «Булгарин — вульгарен — Вульгарин» и т. п. Незадолго до того (в марте 1830 г.) появились в «Северной Пчеле» и грубый «Анекдот» Булгарина, и шутовской его разбор главы седьмой. Эпитет *vulgar* Пушкин употребляет (в черновой заметке) и по отношению к Надеждину, которого он встретил у Погодина 23 марта 1830 г.

33. *Перекрахмаленный нахал (8, XXVI):*

В этом стихе, со столь характерным для Пушкина применением тонких аллитераций, речь идет о кембриковом шейном платке лондонского франта. Моду крахмалить (слегка) батист пустил Джордж Бруммель в начале века, а ее преувеличением подражатели знаменитого чудака вызывали в двадцатых годах насмешку со стороны французских птиметров.

34. *Тиссо:*

Читая (в восьмой главе) этого знаменитого швейцарского доктора (верно «О, здоровье литераторов», 1768 г., где разбирается по статям ипохондрия), Онегин как бы следует совету, который в 1809 г. дает читателю Бомарше (в предисловии к «Севильскому Цирюльнику»): «Если обед ваш был скверен... бросьте вы моего цирюльника... и взгляните, что в шедеврах своих говорит Тиссо об умеренности». Это

[1] Скрытая вставка *(лат.)*.

забавно сопоставить с более искристым советом, который пушкинский Бомарше дает пушкинскому Сальери.

35. *Шамфор:*

Не знаю, известно ли пушкинистам, что в *«Maximes et Pensées»*[1] Шамфора встречается (т. 4, стр. 552, изд. 1796 г.) следующее: «Некто говаривал: “Я хотел бы видеть последнего короля удавленным кишкой последнего священника”», мысль, превращенная (кажется, Баратынским) в известные стихи «Мы добрых граждан позабавим» и т. д.

36. *Инвентари:*

Прием «списка авторов», который столь любили и Пушкин, и дядя его Василий, восходит к Луветову «Год из Жизни Кавалера Фобласа», 1787 г., где кавалер на принужденном досуге прочитал сорок авторов, в перечислении коих узнаем многих пестунов русской словесности — Флориана, Колардо, Грессе, Дора, все того же Мармонтеля, обоих Руссо, убогого аббата Делилля, Вольтера и т. д.

37. *Байбак (Marmota bobac):*

Пушкин избежал больших сочинительских осложнений тем, что заставил своего героя *hiverner comme une marmotte*[2] (8, XXXIX) с начала ноября 1824 года до наступления петербургской весны. Дело в том, что после наводнения 7 ноября правительство временно запретило рауты и балы, а с другой стороны, не зазимуй Онегин, поэту пришлось бы вывести громоздкую и никому не нужную стихию на небольшую сцену этой главы. Зато домоседа Евгения как бы заменил его тезка в «Медном Всаднике» (1833 г.), прихотливо соединенном с «Онегиным» путем черновиков, известных под названием «Родословная моего героя» (1832 г.).

38. *Желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног...*:

Онегин следует наставлениям Жанти Бернара (Gentil Bernard) во второй песне «Искусства любить»:

> Meurs à ses pieds, embrasse ses genoux,
> Baigne de pleurs cette main qu'elle oublie[3] —

---

[1] «Максимы и мысли» *(фр.)*.

[2] Зимовать как сурок *(фр.)*.

[3] Умирает у ее ног, обнимает ее колени,
Орашает слезами ее бесчувственную руку *(фр.)*.

и действительно, в строфе XLII главы восьмой Татьяна «от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей». «Бесчувственной» отнюдь не значит «неспособной на чувство»: этот эпитет следует сопоставить с 45-й строкой Письма Татьяны и с 6-й строкой XVII строфы главы четвертой. Шарлотта С., в аналогичном положении, *«le repoussait mollement»*[1] (французский перевод «Вертера», 1804 г.).

39. *Соблазнительную честь:*

Некоторые понимают этот эпитет в смысле *scandaleux, équivoque*[2], но мне кажется, что Татьяна, хватаясь за призрачный довод, призывает на помощь свою любимую Дельфину, которая пишет Леонсу (часть 4, Письмо XX): «Спросите себя, не соблазнял ли *(séduisait)* ваше воображение некий ореол, которым ласка света окружала меня».

40. *Если вашей Тани вы не забыли (8, XLV):*

Когда, собственно говоря, Татьяна была «его Таней»? — может спросить читатель. Но это всего лишь невинный галлицизм: во французских эпистолярных романах девушки и дамы постоянно писали о себе своим поклонникам в трогательном третьем лице — «ваша Юлия плачет», «ваша Коринна больна». Вся Татьяна целиком, со своей «русской душой», с «бедными», которым она «помогала», с милым призраком amant[3] у своего chevet[4], не могла бы просуществовать и двух стихов без поддержки литературных прототипов.

41. *Но я другому отдана:*

Критик, ищущий подтверждения свих догадок в вычеркнутых автором стихах, удаляется от текста по касательной, ведущей обратно как раз в тот хаос, который автор превозмог; однако трудно не поддаться волшебству некоторых пушкинских вариантов. Так, окончание строфы XLIV в главе восьмой читается в чистовике:

Подите... полно — я молчу —
Я вас и видеть не хочу!

[1] Мягко отстраняла его *(фр.)*.
[2] Скандальный, двусмысленный *(фр.)*.
[3] Возлюбленный *(фр.)*.
[4] Изголовье *(фр.)*.

Этот маленький истерический взвизг подсказал бы опытному Онегину, что стойкость княгини N. только литературная. «Мои уста и сердце... обещали верность избранному мною супругу... Я останусь верна этой клятве... до смерти», — пишет Юлия к Сен-Пре (книга 3, Письмо XVIII). У Руссо все это отвратительно плоско, но, Боже мой, чего только не наплела русская идейная критика вокруг русской Юлии, заговорившей несравненным четырехстопным ямбом.

42. *Кинжал Л, тень Б:*

Тщательное изучение фотостатов привело меня к новым выводам насчет расположения строк в зашифрованных Пушкиным (поспешно, кое-как, и, несомненно, по памяти — что можно доказать) фрагментах главы десятой, которую он читал друзьям наизусть начиная с декабря 1830 г. Подробный разбор криптограммы потребовал бы слишком много места: скажу только, что она указывает на существование не шестнадцати, как принято считать, а семнадцати строф (так что строфа «Сначала эти разговоры» и т. д. занимает восемнадцатое место). Стих «Кинжал Л(увеля), тень Б» отношу к одиннадцатой строфе:

1 . . . .
2 . . . .
3 А про тебя и в ус не дует,
4 Ты — Александровский холоп.
5 Кинжал Л(увеля), тень Б...

Других строк в строфе нет. Мне представляется, что в первых, недописанных, двух стихах поэт обращался к Закону (главному герою его же оды «Вольность»), предлагая ему молчать, покуда, скажем, царь танцует галоп. Почему комментаторам было так трудно догадаться, кто такой «Б» (тень которого, вместе с кинжалом Лувеля, не тревожит, скажем, трона), совершенно мне непонятно. Это генерал Бертон (Jean Baptiste Berton, 1769—1822), нечто вроде французского декабриста, героически и легкомысленно восставший против Бурбонов и взошедший на плаху с громовым возгласом: «Да здравствует Франция, да здравствует свобода!» Между прочим, Пушкин ставит имена Лувеля и Бертона рядом в заметке от 1830 г. (Лит. Газ. № 5) о выходе записок (поддельных) палача Шарля Сансона.

II

В Америке, когда простой любитель словесности, как я, хочет взглянуть на редкую книгу или драгоценную рукопись, то, в зависимости от расстояния между ним и нужным ему книгохранилищем (скажем, от ста шагов до трех тысяч миль), он может получить оригинал или снимок с него в кратчайший срок (от пяти минут до пяти дней). Со Старым Светом дело обстоит чуть сложнее. Когда мне понадобился фотостат малоизвестной новеллы Ламотта Фукэ (*«Pique-Dame, Berichte aus dem Irrenhause in Briefen. Nach dem Schwedischen»*[1]*. Berlin, 1826)*, я получил его при посредстве Корнельской Университетской Библиотеки из туманной Германии только по истечении трех недель. Некоторые материалы, нужные мне для другого исследования, шли из Турции около двух месяцев — и это понятно и простительно. Но воображение меркнет и немеет язык, когда думаешь, какие человек должен иметь заслуги перед советским режимом и через какие бюрократические абракадабры ему нужно пробраться, чтобы получить разрешение — о, не сфотографировать, а лишь просмотреть собрание автографов Пушкина в Публичной Библиотеке в Москве или в ленинградском Институте Литературы. Поскольку американский переводчик отделен непроницаемой стеной от рукописей Е. О., он не может надеяться исчерпывающе осветить многие места романа, особенно где дело касается вариантов, почерка, пера, времени написания и т. д. (Впрочем, положение туземных пушкинистов, по-видимому, не многим лучше.) Ручаюсь за предельную точность моего перевода Е. О., основанного на твердо установленных текстах, но о полноте комментариев, увы, не может быть речи. В перерывах между другими работами, до России не относящимися, я находил своеобразный отдых в хождении по периферии «Онегина», в перелистывании случайных книг, в накоплении случайных заметок. Отрывки из них, приводимые ниже, не имеют никаких притязаний на какую-либо

---

[1] «Пиковая дама, донесения в письмах из сумасшедшего дома. Со шведского» *(нем.)*.

эрудицию и, может быть, содержат сведения, давно обнародованные неведомыми авторами мною не виданных статей. Пользуясь классической интонацией, могу только сказать: мне было забавно эти заметки собирать; кому-нибудь может быть забавно их прочесть.

Старик... поправил свой парик (уиг) *и соседу своему в ребра дал тычка* (диг). *(Конец строфы XLIX, главы седьмой, в «переводе» Бабетты Дейч):*

Тычков и тумаков толмачи надавали русским писателям вдосталь. Я сам когда-то (вспоминаю со стоном) пытался переводить Пушкина и Тютчева стихами с «раскрытием образов». Математически невозможно перевести Е. О. на какой-либо иностранный язык с сохранением схемы рифм. Оно неизбежно приводит к неточности, к пропуску и к припуску, к преступлению. С другой стороны, конечно, под прикрытием рифмованной парафразы перекладчику легче скрыть свое неточное понимание русского текста: простая проза выдала бы его невежество. Таким образом, не только кое-как пересказывается Пушкин, но кое-как пересказывается плохо понятый, приблизительный Пушкин. Трудно решить, какой из четырех наиболее известных переводов Е. О. на английский язык хуже — пожалуй, все-таки безграмотные и вульгарные вирши Эльтона (1936, 1937). Глаже всех перевод Дейч-Ярмолинской (1936, 1943), но совершенно непонятно, каким образом изящная и даровитая американская поэтесса могла рёшиться разбавить Пушкина такой бездарной отсебятиной. Американский потребитель ее Е. О. узнает, например, что Онегин «был воспитан там, где текут серые воды старой Невы» (глава первая, II), что он там «обедал, танцевал, фехтовал и ездил верхом» (IV), что он «давал классическому лавру увядать» (VI) и что, слушая его рассуждения о политической экономии, «его отец хмурился и стонал» (VII). В театре Онегин (XXI) «со своим обычным апломбом поднимает монокль» и «замечает драгоценности, кружева и цвет лица красавиц». Он едет домой и потому находится «вне пределов досягаемости проклятий» (по-видимому, кучерских) (XXII). И т. д., и т. д. Должен все же сказать, что как ни плох этот

«перевод», он лучше чудовищных по нелепости иллюстраций, приложенных к нему в роскошном издании 1943 г. (с благоразумно ограниченным тиражом) неким Фрицем Эйхенбергом, далеко оставившим позади пресловутого Александра Нотбека.

Полусмешных, полупечальных:

Второстепенный шотландский поэт *James Beattie*, в письме от 22 сентября 1766 г. (см. биографию Битти, изданную Форбсом, т. 1, стр. 113, 2-е изд., Эдинбург, 1807), рассказывает приятелю о начатой поэме *(«The Minstrel»*[1]*)*. Байрон в предисловии к первым двум песням «Чайльд Гарольда» (1812 г.) приводит из этого письма цитату, с которой Пушкин ознакомился по французскому переводу байроновской поэмы. Битти пишет, что он собирается дать волю воображению (цитирую дальше по 4-му изд. пишотовского Байрона, т. 2, 1822 г.) *«en passant tour à tour du ton plaisant au pathétique, deu descriptif au sentimental et du tendre au satirique, selon le caprice de mon humeur»*[2].

В пушкинском посвящении Плетневу, написанном 29 декабря 1827 г., слышны отзывы не только отсюда, но и из «Пиров» Баратынского, 1827 г., (252: «Собранье пламенных замет...») и из «Опытов» Батюшкова, 1817 г. (часть 2, «К Друзьям», 7–8: «Историю моих страстей, ума и сердца заблужденья»). Напомним, что именно Батюшкова нечаянно обидел тот же Плетнев (в скверной элегии, напечатанной в воейковском «Сыне Отечества», № 8, 1821 г.) — из-за чего, в свою очередь, Плетнева нечаянно обидел Пушкин (в письме к болтуну-брату от 4 сентября 1822 г.). Повинное посвящение (напечатанное в начале 1828 года при издании четвертой и пятой глав Е. О.) весьма скоро перестало нравиться автору (оно и впрямь написано темно и вяло), но как несчастная тень продолжало появляться, бряцая цепями родительных падежей, в разных

[1] «Менестрель» *(англ.)*.

[2] Переходя поочередно от игривого тона к патетическому, от описательного — к чувствительному и от нежного к сатирическому, следуя прихотям настроения *(фр.)*.

углах поэмы: оно перебралось в примечание 23 к первому полному изданию Е. О. (около 23 марта 1833 г.), а затем, уже без всякого упоминания Плетнева, приютилось на обеих сторонах четвертого ненумерованного листа перед стр. 1 следующего издания (середина января 1837 г.). Корректуру, думается мне, правил сам Пушкин, и правил ее с запозданием и раздражением. Найдя опечатку «Святои исполненной», он, по-видимому, вписал краткий знак столь размашисто и неряшливо, что Илья Глазунов, приняв его за вычерк и смык, напечатал «Святоисполненной». В единственном виденном мной экземпляре этого редчайшего издания (№ 688 собр. Кильгура, *Houghton Library*, Гарвард) четвертый ненумерованный лист с бродячей пьеской оказался вплетенным между страницами 204 и 205. Вот к каким злоключениям может привести стремление совместить дружбу с искусством.

Всегда я рад заметить разность:

Судя по черновикам, относящимся к зиме 1823 г., эпиграфами к первой главе Пушкин собирался выставить стихи 252—253 из «Пиров» и довольно неожиданную английскую фразу, найденную им, вероятно, в альбоме кого-либо из его одесских друзей или приятельниц. Перевожу: «Ничто так не враждебно точности сужденья, как грубость распознаванья. Бёрк». Мне удалось выяснить, что эта фраза находится в докладе, представленном Бёрком Вильяму Питту в ноябре 1795 г.: в нем идет речь о ценах на зерно, о зарплате, о бобах и репе и об огородных вредителях — интересовавших Пушкина еще меньше, чем новороссийская саранча.

Был глубокий эконом... педант... бранил Гомера:

Комментатор должен остерегаться слишком легких сопоставлений.

У Газлита в *«Table-Talk»* (1821—1822 гг.) сказано: «Человек-экономист, хорошо-с; но... пускай он не навязывает другим своей педантической причуды... Человек... объявляет без предисловий и обиняков свое презрение к поэзии: значит ли это, что он гениальнее Гомера?»

Сомневаюсь, чтобы эта выдержка успела дойти во французском переводе до бессарабского изгнанника в 1823 г. По-английски в те годы он не читал вовсе — и сведения, шедшие от Чаадаева, что Пушкин, в 1818 г., желая учиться английскому языку, занял у него (еще не изданный) «*Table-Talk*», разумеется, вздор.

Комментатор должен радоваться сложным совпадениям.

Недремлющий брегет:

Дюпон, выпустивший в 1847 г. довольно удачный по дикции, но совершенно изуродованный разными промахами, прозаический французский перевод Е. О., делает забавную ошибку на своем же языке. Он пишет «*son bréguet*»[1] и при этом поясняет в примечании, что «из уважения к тексту сохраняем это иностранное выражение, которое у нас почитается безвкусным; в Париже говорят: мои часы...» Дюпон, конечно, не прав. И Скриб, и Дюма, и другие парижане употребляли «мой брегет» совершенно так же, как Пушкин. Но вот что мило: по-французски «брегет» не мужского рода — как думает Дюпон — а женского: «ma bréguet».

У того же элегантного Дюпона находим: «Ленский с душою прямо гётевской»; но зачем смеяться над давно опочившим французским инженером путей сообщения, когда русский комментатор Бродский пишет (Е. О., Учпедгиз, 1950 г.), что боливар либерала Онегина «указывает на определенные общественные настроения его владельца, сочувствующего борьбе за независимость маленького народа в Южной Америке». Это то же самое, как если бы мы стали утверждать, что американки носят головные платки («бабýшки») из сочувствия Советскому Союзу.

Морозной пылью серебрится:

В 1819 г. первый снег выпал 5 октября, а Нева замерзла спустя десять дней. Как хорошо повторение звука «бр» в третьем и четвертом стихах этой строфы! Бобровый воротник стоил Онегину не меньше двухсот рублей. Ворот-

[1] Свой брегет *(фр.)*.

ник украшал александровскую шинель. Шинель происходит от *«chenille»*, бархатистой шелковой ткани. Правильный французский перевод «шинели» — *une karrick* (от *David Garrick*, знаменитого английского актера, 1717—1779). Вернувшись в Англию, это слово превратилось в *carrick*. Теперь мы по крайней мере можем точно перевести заглавие знаменитого гоголевского рассказа, а то все пальто да пальто.

Фобласа давний ученик:

Знаменитый и бездарный роман Жана Лувэ (*Louvet «de Couvray»*) состоит из следующих основных частей:

1787, Год из Жизни Кавалера Фобласа (5 частей)

1788, Шесть Недель из Жизни Кавалера Фобласа (8 частей)

1790, Окончание Любовных Похождений Кавалера Фобласа (6 частей).

Все это перепечатывалось, удлинялось и сокращалось другими. Судя по списку книг, сообщенному Модзалевским (1910 г.), у Пушкина было парижское издание 1813 года («Жизнь Кавалера Ф.»), где присвоенная автором добавочная фамилия напечатана так: Купврэ (что значит «Режь Правду»).

Ни один из обманутых мужей в романе смышленостью не отличается. «Супруг лукавый» — это тот супруг, который, прочтя «Фобласа», кое-чему научился и ласкает поклонников жены, либо чтобы легче было за ними наблюдать, либо для прикрытия собственных шашен.

Вино кометы, le vin de la comète:

Эта безымянная, но дивная комета была впервые замечена Флогергом в городе Вивье 25 марта 1811 г. Затем, спустя пять месяцев, ее увидел Бувар в Париже. Астрономы петербургские наблюдали ее 6 сентября 1811 года по новому стилю. Она грозно украшала небо до 17 августа 1812 г. Москвичам она представлялась «звездой Наполеона».

Онегин полетел к театру:

Второй герой этой главы обгоняет первого (вот одна из пружин главы), и когда Онегин в строфе XXI входит

в театральный зал, Пушкин уже там пребывал на протяжении целых трех строф (XVIII, XIX, XX). Пируэт Дуняши Истоминой Онегин пропустил — и только через пять лет с лишком, в феврале 1825 г., пробел некоторым образом заполняется: в строфе XXXV главы восьмой Онегин, читая новую поэму приятеля, узнает и себя, и общих друзей (Каверина, Чаадаева, Катенина), и прелестную пантомимную балерину.

Клеопатра:

Клеопатр было много. Еще в 1776 году, в «Послании к графу де Ванс», Пирон не мог припомнить всех перевиданных им на парижской сцене. А среди них, наверно, была трагедия «Родогюн» Корнеля (1644 г.), которую автор не назвал «Клеопатра» только из боязни, как бы читатель не спутал его героини, сирийской царицы Клеопатры, с более очевидной египтянкой. Не знаю, давали ли когда-либо в Петербурге оперу «Клеопатра и Цезарь», сочиненную моим предком Грауном в 1742 г. (с итальянским либретто, основанным на ничтожнейшей «Смерти Помпея» того же Корнеля), или другую, очень известную когда-то, оперу «Смерть Клеопатры», произведение Насолини (1791 г.), или «Клеопатру» Мармонтеля, 1750 г. (на первом представлении этой трагедии в Париже публика присоединилась к свисту механической гадюки), или, наконец, «исторический балет Клеопатра», муз. Крейцера, поставленный впервые в Париже в 1809 г.; но, во всяком случае, никакой «Клеопатры, трагедии Вольтера», упоминаемой Чижевским в его небрежных примечаниях к Е. О. (Гарвардское Университетское Изд-во, 1953 г., стр. 214), Онегин не мог ошикать по той простой причине, что никакой «Клеопатры» Вольтер не писал.

Уединенный кабинет:

Случайно сохранились у меня, в коробке из-под теннисных туфель, карточки с выписками из польских и немецких стихотворных «переводов» Е. О. Бездарный Бельмонт в 1902 г. и талантливый Тувим в 1954 г. героически решили сохранить смену мужских и женских рифм, а так как для

первых по-польски можно пользоваться только односложными словами, то дело свелось к совершенно фантастическим суррогатам. Так, *bronz*[1] у Бельмонта рифмуется с чудовищным *ekstrakty kwiatow — fiolet, pons*[2] (первая гл., XXIV), а у Тувима, в том же месте, какое-то *na tkanin tle*[3] сочетается со *szkle*[4].

У немцев были, по-видимому, другие затруднения. Доктор Липерт (1840 г.) к онегинским духам щедро прибавляет «тонкие мыла»; невероятный Боденштедт (в 1854 г.) загромождает туалетный стол Онегина золотом, губками, щетками для бороды и головы; а Вольф-Лупус (1899 г.) пополняет список «изящными несессерами».

Я помню море пред грозою:

Искать «прототипы» в личной жизни сочинителя — дело не только опасное, но и нелепое. Доцент или даже ординарный профессор, взявшись за него, распаляет свою ученость и не может ее заменить творческим воображением сочинителя. Как бы добросовестно кандидат ни лепил из архивной пыли историческое лицо, оно роковым образом будет отличаться от Галатеи поэта в той же мере, как слог кандидата отличается от слога творца. Знаменательно, что именно беллетристы посредственные особенно охотно обращаются к истории, к биографии, точно они питают тайную надежду, что «жизнь» восполнит недостатки искусства. Истинный же сочинитель, как Пушкин или Толстой, выдумывает не только историю, но и историков.

Мария Раевская, выскочившая 30 мая 1820 г. из дорожной кареты на морской берег между Самбеком и Таганрогом, вспоминала впоследствии волну, замочившую ей ножки, и молчаливое присутствие Пушкина, вышедшего из другого экипажа, — но ей было тогда не пятнадцать лет, как она замечает в своих до странности банальных и наивных «*Mémoires*» (СПб., 1904 г., стр. 19), а всего лишь тринадцать

---

[1] Бронза *(польск.)*.
[2] Экстракты цветов — фиалка, мак *(польск.)*.
[3] На фоне ткани *(польск.)*.
[4] На стекле *(польск.)*.

(она родилась 25 декабря 1806 г.). Сопоставление шестнадцатой строфы «Путешествия Онегина», где автор возвращается мыслью к своему прибытию в Гурзуф (19 августа 1820 г.), с теми черновиками стихотворения «Таврида» (1822 г.) в тетради № 2366, где на крымском фоне появляется в зачаточном виде тема строфы XXXII гл. первой, убеждает меня, что если уж был Пушкин в кого-либо влюблен во время своего трехнедельного пребывания в Гурзуфе, то в Катерину Раевскую, Китти (как ее называла гувернантка *Miss Matten*), *Kitty R.*, тезку звезды *Kythereia.*

Около 10 июня 1824 г., между приездом в Одессу из Москвы кн. Веры Вяземской (7 июня) и отплытием на яхте из Одессы в Крым гр. Елизаветы Воронцовой (14 июня), Пушкин и обе дамы гуляли по берегу, то приближаясь к набегающим волнам, то отступая перед ними — все это по-французски Вяземская описывает в письме к мужу. Кн. Вяземской, своей конфидантке, Пушкин, по-видимому, обещал описать волны, ложившиеся к ногам Элизы, в онегинской строфе. Я предполагаю, что, придя домой, Пушкин отыскал тетрадь с «Тавридой» и тут же стал работать над стихами о пленительных ножках, вводя романтическую тему влюбленных волн и распределяя строки по схеме онегинских рифм. Дальнейшие события, разрешившиеся в конце июля его отъездом в Михайловское, помешали, вероятно, стихам. Только в октябре 1824 г., в известном письме к Вяземской, где Пушкин, употребляя прозрачный шифр, поверяет наперснице свою тоску по Воронцовой («все, что напоминает мне море, печалит меня», фр.), поэт пишет: «...моя поэма не подвигается вперед; впрочем, вот строфа, которую я вам должен» (*«que je vous dois»* — в смысле «которую я вам обещал», а не «которой я вам обязан», как переведено, напр., в издании «А. С. Пушкин» 1949 г., томик десятый, под наблюдением таинственного Корчагина). Бесценный листок, приложенный к письму, пропал, но у меня нет сомнений относительно его содержания:

Ты помнишь море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к *ее* ногам.

В заключение скажу: гипотеза, что стеклянный башмачок был не впору Марии Раевской, а принадлежал ее сестре Катерине, от которой перешел к Елизавете Воронцовой, кажется весьма стройной, но, вероятно, может быть разрушена так же легко, как прежние зáмки из того же морского песку.

И брань, и саблю, и свинец:

Можно предположить, что в этой довольно туманной строке речь идет о каких-то петербургских дуэлях Онегина (как ясно сказано в варианте), а не просто об упражнениях в фехтовании и пистолетной стрельбе. Но при чем все-таки «брань»? Кстати: не знаю, известно ли нашим пушкинистам, что поэт в конце двадцатых или начале тридцатых годов занимался фехтованием со знаменитым преподавателем этого искусства, французом *Augustin Grisier* (см. любопытную биографическую заметку, приложенную к труду Гризье «*Les Armes et le Duel*»[1], Париж, 1847 г.).

Сплин:

Это «английское» слово Пушкин нашел у французских писателей, часто употреблявших его (напр. Парни, в первой части поэмки «Годдам», ноябрь 1804 г., где «сплин» поставлен в один ряд с «*sanglant rost-beef*»[2] — правописание, принятое и Пушкиным). Пушкин находил (1831 г., Лит. Газ. № 32), что «сплин» особенно отчетливо выражен Сент-Бёвом в его «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма», 1829 г., причем совершенно непонятна похвала этому до смешного бездарному произведению со стороны нашего поэта, столь хорошо (не в пример современникам) понимавшего пошлость Беранжэ и пресность Ламартина. В этом «Делорм» находится один из самых смехотворных образов во всей французской литературе: «Я вальсировал... обнимая мою красавицу влюбленной рукой... ее прекрасные груди были подвешены к моему содрогающемуся сердцу, как висящие с дерева плоды». Как мог проницательный

---

[1] «Оружие и дуэль» *(фр.)*.

[2] Кровоточащий ростбиф *(фр.)*.

взгляд Пушкина не приметить этого гермафродита с анатомическим театром в выемке жилета?

Знакомые речи:

Прочитав первую главу «Онегина», Вяземский сообщил «на ушко» Александру Тургеневу, в письме от 22 апреля 1825 г., что в «Чернеце» Козлова, третьестепенного стихотворца того времени, «больше чувства, больше мысли», чем у Пушкина; и в тот же день (литературные судьбы, приглашая на казнь, любят соблюдать порядок) третьестепенный стихотворец Языков писал брату, что, дескать, дай Бог, «Чернец» окажется лучше «Онегина».

Раскольников, герой «Бедных Людей»:

«Грандисон, герой Кларисы Гарлоу, — преспокойно пишет Чижевский (упом. труд, стр. 230, перевожу с англ.), — известен матери только как прозвище московского унтерофицера!» (сарджента). Особенно хорош этот восклицательный знак. К ошибкам в русском тексте Чижевского прибавились ошибки беспомощного перевода (следовало, конечно, либо сказать «энсин», либо объяснить удельный вес русских гвардейских чинов того времени). И далее: «Превращение — (продолжаю переводить) — старухи Лариной из чувствительной девы в строгую хозяйку было обычным явлением и для мужчин и для женщин в России». Что значит этот бред?

Между прочим: всякий раз, что вижу заглавие, приведенное выше, мгновенно вспоминаю (такова цепкость некоторых ассоциаций) мысль, выраженную тонким философом Григорием Ландау (захваченным и замученным большевиками около 1940 г.) в его книге «Эпиграфы» (Берлин, около 1925 г.): «Пример тавтологии: бедные люди».

Жатва поколений (Гл. вторая, XXXVIII):

Если не знать, что эта формула не что иное, как затасканная псевдоклассическая метафора французской риторики, *moisson, moisson finèbre, la mort qui moissonne*[1], то можно

[1] Жатва, траурная жатва, жница — смерть *(фр.)*.

написать целый трактат о частом появлении этого образа у русских поэтов. Чижевский, по каким-то соображениям сопоставивший эту несчастную «жатву» с земледельческими образами в... «Слове о Полку Игореве», оказал медвежью услугу и так небезупречной подлинности этого замечательного произведения.

Но, может быть, и это даже правдоподобнее сто раз:

Так начинается в черновике (тетрадь 2369, л. 41 об.) заключительная строфа, после XL, гл. вторая. Первая строка этой строфы — прекрасный пример гениального умения Пушкина извлекать лаконический смысл из безголосых, подсобных слов, которые он заставляет петь полнозвучным хором. Этому приему как раз противоположен прием Гоголя, состоящий, наоборот, в окончательном снижении маловажных слов, до положения каких-то бледно-клецковых буквочек в бульоне (напр., при передаче тововоно-качной речи Акакия), прием, впервые отмеченный Белым и независимо описанный мной четверть века спустя в довольно поверхностной английской книжке о Гоголе (с невозможным, не моим, индексом), о которой так справедливо выразился однажды в классе старый приятель мой, профессор П.: «Ит из э фанни бук — перхапс э литтел ту фанни». Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте девяти тысяч футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся, допотопный том сочинений Гоголя, да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр соседней вымершей рудокопной деревни, да месиво пестрых сведений, набранных мной Бог весть откуда во дни моей всеядной юности. Между прочим, вижу я, что в двух местах я зашел слишком далеко в стилизации «под Гоголя» (писателя волшебного, но мне совершенно чуждого), дав Пушкину афоризм и рассказ, которые Пушкин дал Дельвигу.

Вечный Жид:

Пушкинисты проявили много учености в поисках сочинения, названного так в строфе XII, гл. третья. По счастию,

они не набрели на *«The Wandering Jew»*[1], 1819 г., благочинного Т. Кларка и на *«Ahasuerus the Wanderer»*[2], 1823 г., драгунского капитана Т. Медуина (издавшего на следующий год свои сомнительные «Разговоры с Байроном»). Говорю «по счастью», потому что не о них думал Пушкин, а об общем месте модной фантазии, отразившейся и в «Чайльд Гарольде», и в *«Melmoth ou l'homme errant»*[3], столь чтимой Пушкиным переделке *J. Cohen'a* (Париж, 1821 г.) романа *«Mathurin»*'a (вместо *Maturin*). Убожеством другого перевода, а именно уже упомянутого комментария Чижевского, на английский язык, вероятно, объясняется то, что эпитет в термине «Вечный Жид» (персонаж, выдуманный немцами) неправильно дан как *«Eternal»*. Меня, впрочем, заинтересовало другое: что такое, собственно говоря, столь внушительно приводимые на стр. 239 «пьеса *L. Ch. Chaignet*, 1812» и «роман *R. de Corneliano*»? Обратившись к индексу, узнаем, что первый был, по мнению проф. Чижевского, французским поэтом, написавшим «Этерналь Джю», а второй — *Rocca de Corneliano* — был тоже французским поэтом, тоже написавшим «Этерналь Джю». Нескольких минут в библиотеке, уделенных проверке этих интересных утверждений, было довольно, чтобы убедиться в иллюзорности этих лиц и произведений. Мосье Л. Ш. Шэнье вообще не существует (подозреваю, что он спутан с братом Андрэ Шенье), однако можно предположить, что где-то, когда-то, переходя из одной компиляции в другую (процесс, так сказать, стихийный), потерпел аварию французский драматург, *Louis Charles Caigniez* или *Caignez* (1762—1842 гг.), чья скверная мелодрама про «Иглуфа» («Я бегу», нем.), *«Le juif errant»*[4], провалилась 7 января 1812 г. в парижском Театре де ла Гэтэ. Другой призрак, «Рокка де Корнелиано», тоже странствует с давних пор (к проф. Чижевскому он пришел, думаю, от д-ра Ледницкого, из примечаний последнего к изданию 1925 г. бельмонтовского перевода Е. О.) Опять

[1] «Скитающийся жид» *(англ.)*.
[2] «Агасфер — странник» *(англ.)*.
[3] «Мельмот Скиталец» *(фр.)*.
[4] «Вечный жид» *(фр.)*.

же, есть совершенно третьеразрядный публицист, граф Карло Пасеро де Корнелиано, автор ничтожного трактата *«Histoire du juif errant par luimême»*[1]. (Париж, 1820 г.). По-видимому, где-то в своей блуждающей судьбе граф смешался с итальянским духовным лицом, *Nasalli Rocca di Corneliano*, чье биографическое бессмертие зиждется на заглавии (без даты) инвентаря, относящегося к имуществу какого-то кардинала, в Британском Музее. Но чем больше ссылок, тем авторитетнее работа, и я не сомневаюсь, что, весело подпирая друг друга, два известных французских лирика, Людовик Шэнье и Рокка, переберутся из комментария проф. Чижевского в следующий ученый труд.

Перекладные просвещения:

У английского переводчика Эльтона на именинном пиру у Лариных «девки» *(wenches)* удобно сидят на скамьях *(benches)*, а затем (перевожу обратно строфу II, гл. шестая): «В гостиной слышно было, как сопел тяжеловесный Пустяков, имея общение со своей тяжеловесной половиной».

И вот сосед велеречивый (шестая, XII):

Не знаю, предполагал ли когда-либо Пушкин позволить двоюродному брату своему Буянову быть секундантом Ленского (допустил же он, чтобы этот нечистоплотный шут сватался к Татьяне), но в Зарецком несомненно есть что-то от Опасного Соседа и от его интонации в речи, произнесенной в публичном доме: «Ни с места, продолжал сосед велеречивый».

Для проходящих:

Мармонтель в *«Essai sur le bonheur»*[2] (1787 г.) говорит о грустном ответе некоего монаха тем, кто восторгался красотой дикой местности в соседстве его кельи: *«Oui, cela est beau pour les passans, transeuntibus»*[3]. Дмитриев воспользовался этим уже избитым выражением для плохой басни (ч. 3,

---

[1] «История Вечного жида, написанная им самим» *(фр.)*.

[2] «Опыт о счастье» *(фр.)*.

[3] О да, это красиво, для проходящих *(фр., лат.)*.

кн. 2, VII, изд. 1818 г.), Вяземский сделал из него каламбур в плохом же стихотворении «Станция» (альманах «Подснежник», 4 апреля 1829 г.), а Пушкин, из соображений дружбы, привел выдержку оттуда в примечании к строфе XXXIV, гл. седьмая. Остроумный писатель *Tallemant des Réaux* (1619—1692 гг.) приводит ту же реплику в своих анекдотах (т. 7, № 108, где «проходящий» — Генрих IV), но эти *«Historiettes»*[1] вышли (посмертным изданием, под редакцией *Monmerqué*) только в конце 1833 г., так что Дмитриев и Вяземский никак не могли Таллемана знать, когда сочиняли вышеупомянутые стишки. Говорю это, дабы чем-нибудь пособить несчастным студентам, пользующимся весьма ученым на вид (для проходящих) комментарием Чижевского, где на стр. 278 в объяснении пушкинского примечания 42 не только непонятен смысл фразы, но и самое имя автора «Историек» искажено в трех местах. Тут незачем разбирать по пунктам бесконечное количество курьезов и ошибок в «Комментарии», но приходится отметить следующее. Все украшает этот странный труд — непроверенные заимствования у других компиляторов, дикие ошибки во французском языке, исковерканные до неузнаваемости имена и заглавия, неправильные даты, нелепые предположения, устаревшие толкования, восторженные упоминания каких-то чешских, польских, а главное, немецких трудов, никакого отношения к пониманию Е. О. не имеющих.

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук...:

Так начинается строфа, которая, по-видимому, должна была следовать за XXX в гл. восьмой. Историк скажет, что Пушкину была известна приторная и бесконечно скучная поэма Мура (*«Lalla Rookh»*, 1817 г.) по серому французскому переводу в прозе Амедея Пишо (*«Lalla Roukh ou la*

[1] «Историйки» *(фр.)*.

Princesse Mogole»[1], 1820 г.), что Жуковский воспел под этим именем свою ученицу, когда в январе 1821 г. в Берлине Александра и «Алирис» (будущий Николай I) участвовали в фестивалях, описанных в особом альбоме (*«Lallah Roukh, divertissement mêlé de chants et de dances»*[2], Berlin, 1822); и что, помимо цензурных соображений (Онегин русской государыне предпочитает Татьяну), Пушкина остановил анахронизм (он думает о впечатлениях 1827—1829 гг., а время действия главы восьмой, до строфы XXXIV, не позже начала ноября 1824 г.). Словесник скажет, что эти божественные стихи превосходят по образности и музыке все в «Онегине», кроме разве некоторых других пропущенных или недописанных строф; что это дыхание, это равновесие, это воздушное колебание медлительной лилии и ее газовых крыл отмечены в смысле стиля тем сочетанием сложности и легкости, к которому только восемьдесят лет спустя приблизился Блок на поприще четырехстопного ямба; что восхитительно соединяются и смысл и смычок посредством красочных аллитераций: «в зале яркой», «круг», «лилии крылатой», и наконец «Лалла Рук» — этим заключительным ударом музыкальной фразы собираются и разрешаются предшествующие созвучия.

Так скажут историк и словесник; но что может сказать бедный переводчик? «Симилар ту э уингед лили, балансинг энтерс Лалла Рух»? Все потеряно, все сорвано, все цветы и сережки лежат в лужах — и я бы никогда не пустился в этот тусклый путь, если бы не был уверен, что внимательному чужеземцу всю солнечную сторону текста можно подробно объяснить в тысяча и одном примечании.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я с грустью узнал о кончине княгини А. Л. Шаховской. Она была милым и добрым человеком. Увы, я с ней не видался больше четверти века и только раз за это время,

[1] «Лалла-Рук, или Монгольская царевна» *(фр.)*.

[2] «Лалла-Рук, дивертисмент из песен и танцев» *(фр.)*.

когда был в Калифорнии, говорил с ней по телефону, чтобы передать привет от ее дочери, Наталии Алексеевны Набоковой, с которой жену и меня связывает давняя дружба.

Сожалею, что посвященная ее памяти статья в «Русской Мысли» (№ 2048) вынуждает меня просить Вас напечатать следующую поправку. Статья содержит навязанную мне фантазией г-на Березова фразу (будто бы мною сказанную княгине Шаховской): «Но что же делать, тетя, если американских читателей интересуют только такие темы?»

Этого сказать я не мог, не только потому, что «тетей» я княгиню Шаховскую не называл и «Лолиту» с ней не обсуждал, но главное потому, что считаю «Лолиту» лучшей своей книгой. Объяснить ее написание вульгарным расчетом потрафить на некий вульгарный вкус могут только бойкие невежды, не читавшие произведения, о котором судят. Сомневаюсь, чтобы г. Березов сознательно желал присоединиться к их числу.

ПИСЬМА В. Д. НАБОКОВА ИЗ КРЕСТОВ К ЖЕНЕ 1908 г. [предисловие]

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.

В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п. Этот призыв вошел в историю под названием «Выборгского Воззвания». Все давшие свою подпись депутаты были привлечены к суду и лишены права баллотироваться на выборах во Вторую Гос. Думу. Суд

состоялся 12—18 декабря 1907 г. (т. е. через полтора года после выпуска Воззвания). Вместе с другими обвиняемыми Набоков был приговорен к трем месяцам одиночного заключения. В «Письмах» Набоков упоминает фамилии некоторых товарищей по заключению (Петрункевич, Ломшаков, Кедрин и др.)

«Письма» написаны Набоковым в тюрьме и обращены к жене, Елене Ивановне, рожд. Рукавишниковой. Написаны они на туалетной бумаге. Свернутые листки передавались при помощи Августа Исаковича Каминки.

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ОСВЯЩЕНИИ КЛАДБИЩА В ГЕТТИСБУРГЕ

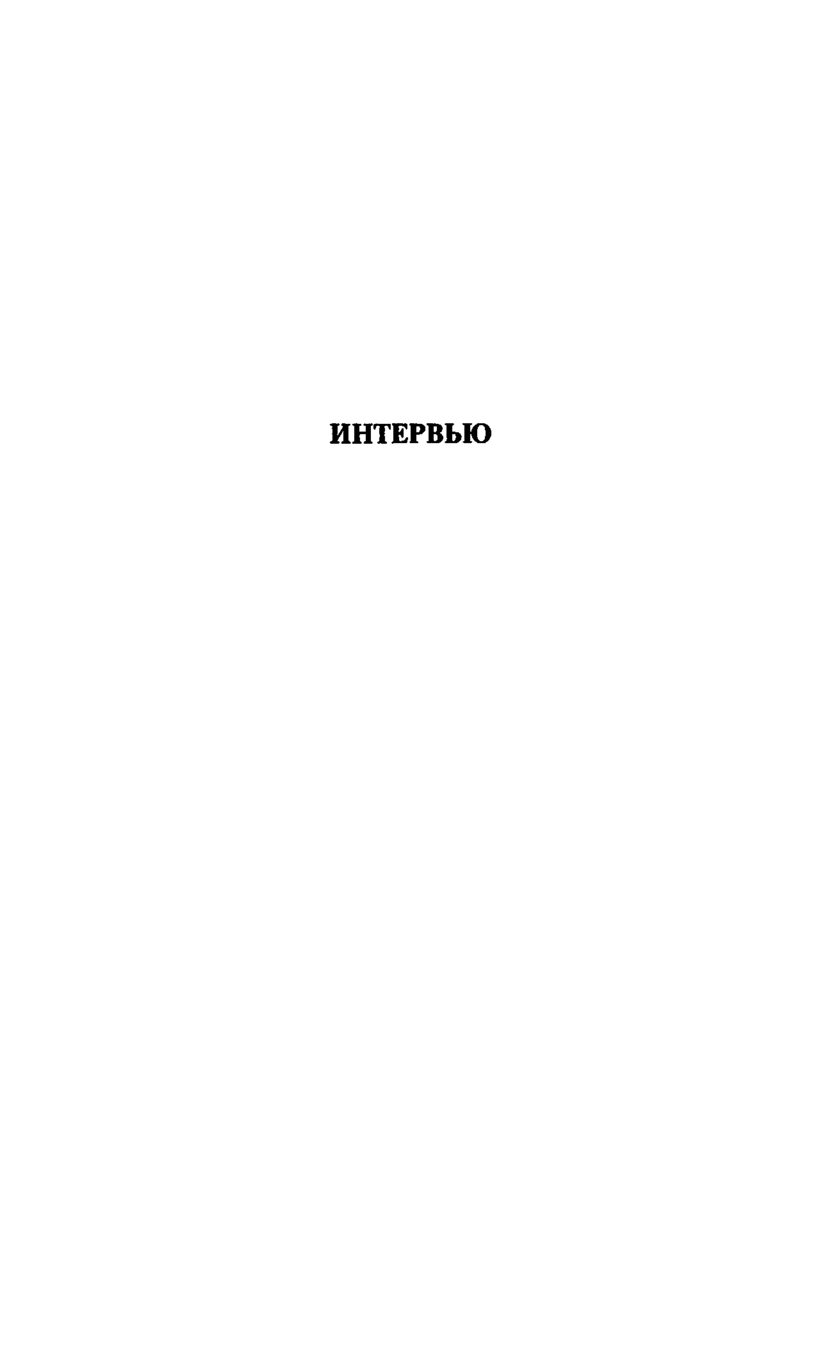
Восемьдесят семь лет тому назад наши праотцы породили на этом материке новую нацию, зачатую под знаком Свободы и посвященную принципу, что все люди созданы равными.

Ныне мы ведем великую гражданскую войну, подвергающую испытанию вопрос, может ли эта нация или любая другая нация, так зачатая и тому посвященная, долго просуществовать. Мы сошлись на поле одной из великих битв этой войны. Мы пришли освятить часть этого поля, как место последнего упокоения тех, кто отдал жизнь свою, чтобы эта нация могла жить. Такое действие нам вполне подобает и приличествует.

Но, в более обширном смысле, мы не можем посвящать, мы не можем освящать, мы не можем возводить в святыню это место. Мужественные люди, — живые и мертвые, — здесь боровшиеся, уже освятили его, далеко превысив при этом все, что мы с нашими слабыми силами могли бы прибавить или отнять. Мир мало заметит и не запомнит надолго то, что мы здесь говорим, но он никогда не сможет забыть то, что они здесь свершили. Это нам, живым, скорее, следует здесь посвятить себя незаконченному делу, которое сражавшиеся здесь двигали доселе столь

доблестно. Это, скорее, нам следует посвятить себя великому труду, который еще остается пред нами; дабы набраться от этих чтимых нами усопших вящей преданности тому делу, которому они принесли последнюю полную меру преданности; дабы нам здесь торжественно постановить, что смерть этих умерших не останется тщетной; что эта нация, с помощью Божьей, обретет новое рождение свободы; и что правление народное, народом и для народа не сгинет с земли.

Авраам Линкольн



ИНТЕРВЬЮ

ВСТРЕЧА С В. СИРИНЫМ
(От парижского корреспондента «Сегодня»)

Сирин приехал в Париж устраивать свой вечер; думаю, к нему пойдет публика не только потому, что любит его как писателя, но и из любопытства: как выглядит автор «Защиты Лужина»? Любопытные увидят 33-летнего юношу спортивного типа, очень гибкого, нервного, порывистого. От Петербурга остались у него учтивые манеры и изысканная, слегка грассирующая речь; Кембридж дал спортивный отпечаток; Берлин — добротность и некоторую мешковатость костюма: в Париже редко кто носит такие макинтоши на пристегивающейся подкладке.

У него — продолговатое, худое лицо, высокий, загорелый лоб, породистые черты лица. Сирин говорит быстро и с увлечением. Но какая-то целомудренность мешает ему рассказывать о самом себе. И потом — это очень трудно. Писателю легче создать вымышленную жизнь, нежели увлекательно рассказать свою собственную... В 33 года укладывается Тенишевское училище, бегство из Крыма, счастливое время Кембриджа, книги и скучная берлинская жизнь, с которой нет сил расстаться только потому, что лень трогаться с места, — да и не все ли равно, где жить?

— Если отбросить писательскую работу, очень для меня мучительную и кропотливую, — рассказывает Сирин, дымя папиросой, — останется только зоология, которую я изучал в Кембридже, романские языки, большая любовь к теннису, футболу и боксу. Кажется, я неплохой голкипер...

Он говорит это с гордостью, — на мгновенье спортсмен берет верх над писателем. Но мы быстро находим прерванную нить разговора.

— ...Вас обвиняют в «нерусскости», в сильном иностранном влиянии, которое сказалось на всех романах, от «Короля, дамы, валета» — до «Камеры обскуры».

— Смешно! Да, обвиняли во влиянии немецких писателей, которых я не знаю. Я ведь вообще плохо читаю и говорю по-немецки. Можно говорить скорей о влиянии французском: я люблю Флобера и Пруста. Любопытно, что близость к западной культуре я почувствовал в России. Здесь же, на Западе, я ничему сознательно не научился. Зато особенно остро почувствовал обаяние Гоголя и — ближе к нам — Чехова.

— Ваш Лужин повесился; Мартын Эдельвейс свихнулся и — неизвестно для чего поехал в Россию совершать свой «Подвиг»; Кречмар из «Камеры обскуры» увлекался уличной женщиной. Роман целиком еще не напечатан, но конец его предвидеть не трудно. Кречмар, конечно, кончит плохо... Почему у физически и морально здорового, спортивного человека все герои такие свихнувшиеся люди?

— Свихнувшиеся люди?.. Да, может быть, вы правы. Трудно это объяснить. Кажется, что в страданиях человека есть больше значительного и интересного, чем в спокойной жизни. Человеческая натура раскрывается полней. Я думаю — все в этом. Есть что-то влекущее в страданиях. Сейчас я пишу роман «Отчаяние». Рассказ ведется от первого лица, обрусевшего немца. Это — история одного преступления.

— Какова техника вашей писательской работы?

— В том, что я пишу, главную роль играет настроение, — все, что от чистого разума, отступает на второй план. Замысел моего романа возникает неожиданно, рождается в одну минуту. Это — главное. Остается только проявить зафиксированную где-то в глубине пластинку. Уже все есть, все основные элементы; нужно только написать самый роман, проделать тяжелую, техническую работу. Автор в процессе работы никогда не олицетворяет себя с главным действующим лицом романа, его герой живет самостоятельной, независимой жизнью; в жизни этой все заранее предопределено, и никто уже не в силах изменить ее размеренный ход.

Важен первый толчок. Есть писатели, смотрящие на свой труд как на ремесло: каждый день должно быть написано определенное количество страниц. А я верю в какую-то внутреннюю интуицию, в вдохновение писательское; иногда я пишу запоем, по 12 часов подряд, — я болен при этом и очень плохо себя чувствую. А иногда приходится бесчисленное количество раз переделывать и переписывать — есть рассказы, над которыми я работал по два месяца. И потом много времени отнимают мелочи, детали обработки: какой-нибудь пейзаж, цвет трамваев в провинциальном городке, куда попал мой герой, всякие технические подробности работы. Иногда приходится переписывать и переделывать каждое слово. Только в этой области я не ленив и терпелив. Например, чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера. Но я его совсем не знаю. Мой Лужин — чистейший плод воображения. Так в алдановском Семене Исидоровиче Кременецком во что бы то ни стало старались найти черты какого-нибудь известного петербургского адвоката, живущего сейчас в эмиграции. И, конечно, находили. Но Алданов слишком осторожный писатель, чтобы списывать свой портрет с живого лица. Его Кременецкий родился и жил в воображении одного только Алданова. Честь и слава писателю, герои которого кажутся людьми, живущими среди нас, нашей повседневной жизнью.

Сирин задумался и замолчал. Разговор на литературные темы не возобновился.

[ИНТЕРВЬЮ НИКОЛАЮ АЛЛУ]

В. В. Сирин-Набо́ков в Нью-Йорке чувствует себя «своим». Работает сразу над двумя книгами — английской и русской.

Владимир Владимирович Сирин-Набоков — один из двух русских писателей, живущих в Париже исключительно на доходы со своих литературных трудов.

«Другим таким писателем был Алданов, — рассказывает Вл. Вл., — кроме своей литературной работы зарабатывавший еще сотрудничеством в «Последних Новостях», главный литературный доход, конечно, приходил от переводных произведений, так как книги на русском языке расходились слабо».

Вл. Владимирович сравнительно молодой писатель, начавший свою литературную деятельность уже в эмиграции. Он скромно умалчивает о своих стихах, которые считает «юношескими увлечениями», и небрежно говорит: «Да, у меня есть две книжки стихов, но о них упоминать не стоит».

Автор этих строк впервые увидел имя Сирина 18—19 лет назад под прекрасным стихотворением, напечатанным в одной русской газете в Харбине и начинавшимся словами «На мызу, милые». С тех пор утекло много воды, строчки стихотворения позабылись, но живет еще то грустно-лирическое чувство, навеянное стихами, где в красивых образах рассказывалась мечта о возвращении в Россию. По-видимому, за такой длинный срок эта мечта приняла уже какие-то другие, совсем не лирические формы.

Нью-Йорк тише и медлительнее Парижа

Влад. Владимирович приехал в Нью-Йорк из Парижа очень недавно, и его впечатления о Нью-Йорке являются большим контрастом впечатлениям многих других русских, приезжающих из Европы, и особенно из Парижа.

«Нью-Йорк по красоте я ставлю не на последнее место, — говорит он, — если не на второе. Что меня больше всего поражает и радует здесь, это — тишина, стройность и соразмерность. По моему мнению, здесь никакой "спешки" нет и жизнь идет медленнее, чем в Париже. Конечно, по сравнению с Парижем здесь люди живут удобнее. На улицах царит удивительная тишина, которую я объясняю одинаковостью звуков. В Европе звуки очень разнообразные и поэтому значительно шумливее».

Вл. Вл. поражает свойство нью-йоркского дневного света.

«Здесь удивительно выделяются краски и совершенно другой тон электрического света. Я не знаю, почему

это, но мне здесь все напоминает раскрашенную фотографию».

Здесь Вл. Вл. «очарован» главным образом «свободой в движениях», в разговорах, замечательно простым и добрым отношением.

«Уже на пароходной пристани меня поразили таможенные чиновники, — говорит Вл. Вл. — Когда они раскрыли мой чемодан и увидели две пары боксерских перчаток, два чиновника надели их и стали боксировать. Третий чиновник заинтересовался моей коллекцией бабочек и даже порекомендовал [один] тип назвать «капитаном». Когда бокс и разговор о бабочках закончились, чиновники предложили [мне] закрыть чемодан и ехать. Разве это не показывает на простоту и добродушие американцев».

⟨...⟩

Многие книги Вл. Вл. переведены на французский, немецкий, английский, чешкий и финский языки. Сейчас он работает на английском языке над уголовным романом, а по-русски заканчивает «Солюс Рекс».

Парижский дом разрушен бомбой: вместо подлодки — кит

В. В. Сирин начал собираться в Америку два года тому назад, но вначале делал это с прохладцей, но когда стукнула война, он поторопился и выехал вовремя.

«Несколько дней назад, — говорит Вл. Вл., — я получил письмо от знакомых из Парижа, в котором они пишут, что в тот дом, где я жил с женой и сыном перед отъездом, попала бомба с немецкого аэроплана и совершенно разрушила его. Но ехали мы без приключений, не считая небольшой паники, поднявшейся на “Шамплейне” при виде над поверхностью океана какой-то странной струи пара. У многих шевельнулась страшная мысль — “подводная лодка”, но, к общей радости, это был только кит».

«Другим русским выезд из Франции был очень труден, да и я вряд ли выехал бы без помощи любезной гр. А. Л. Толстой. Самое большое затруднение — с получением визы. Но если виза получена, французы выпускают без всяких задержек. Мне они сказали даже: “Хорошо делаете, что уезжаете”».

Закончился период русской эмиграции в Европе

«Стремления у русских выезжать из Парижа не было. Вероятно, частью из любви к этому городу, частью из привычки и частью из характерного русского фатализма — что будет, то будет».

«Русские писатели в Париже сильно бедствовали. Незадолго перед отъездом в доме Керенского я встретил Бунина и Мережковских. Бунин еще имеет некоторые средства, но Мережковские живут в большой нужде, как и почти все остальные русские эмигранты. Единственные возможности какого-то заработка — вечера, газеты и журналы — с войной прекратились. А что происходит теперь — трудно предположить».

«Мне кажется, что с [разгромом] Франции закончился какой-то период русской эмиграции. Теперь жизнь ее примет какие-то совершенно новые формы. Лучшим моментом жизни этой эмиграции нужно считать период 1925—1927 гг. Но перед войной тоже было неплохо. Редактор “Современных Записок” Руднев говорил мне, что у него есть деньги для выпуска двух номеров. А это что-нибудь да значит. Но теперь уже ничего нет».

Вл. Вл. в Нью-Йорке сразу почувствовал себя «своим».

«Все-таки здесь нужно научиться жить, — говорит он. — Я как-то зашел в автоматический ресторан, чтобы выпить стакан холодного шоколада. Всунул пятак, повернул ручку и вижу, что шоколад льется прямо на пол. По своей рассеянности, я забыл подставить под кран стакан. Так вот, здесь нужно научиться подставлять стакан».

«Как-то я зашел к парикмахеру, который, после нескольких слов со мной, сказал: “Сразу видно, что вы англичанин, только что приехали в Америку и работаете в газетах”. — “Почему вы сделали такое заключение?” — спросил я, удивленный его проницательностью. “Потому что выговор у вас английский, что вы еще не успели сносить европейских ботинок и потому что у вас большой лоб и характерная для газетных работников голова”.

“Вы просто Шерлок Холмс”, — польстил я парикмахеру.

“А кто такой Шерлок Холмс?”»

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ «ЛОЛИТЫ»

«Лолита» Набокова-Сирина переведена уже на 30 языков. В Германии она имела у критики и у читателей больший успех, чем «Доктор Живаго». Теперь «Лолиту» фильмуют в Лондоне, по сценарию, написанному самим автором. Роль Лолиты поручена пятнадцатилетней американской актрисе Сю Лайон. Остальные роли в руках Джеймса Мэйсона, Шелли Винтерс, Питера Сэллерс и др. Фильм выйдет на экран предстоящей весной.

Набоков-Сирин, с которым мы встретились в Ницце, в свой 61 год выглядит на редкость молодо. Его первые романы по-русски у читателей зарубежья имели большой успех. Набоков-Сирин пишет с одинаковым стилистическим мастерством по-русски, по-английски и по-французски. Романы и рассказы Сирина, которые он за последние двадцать с лишним лет опубликовал по-английски, хвалили и критики и читатели, но сенсаций они не вызвали. Первый настоящий литературный успех выпал на долю «Лолиты», принесшей Набокову не только мировую славу, но и крупные авторские, позволяющие ему посвятить себя исключительно литературе. В последние 20 лет Набоков в Харварде и Корнельском университете читал курсы о европейской и русской литературе.

Оставив кафедру в Корнельском университете, Набоков прежде всего занялся переводом на английский язык «Евгения Онегина».

— Все переводы «Онегина», — сказал он мне при нашей встрече в Ницце, — полны ошибок, часто чудовищных. Не всегда верно переводили пушкинский текст даже такие литературоведы, как известный польский поэт Юлиан Тувим, Бабет Дейтш, немец Вульф и др. Безукоризнен перевод «Онегина» на французский язык, сделанный Тургеневым сообща со знаменитой певицей Виардо.

Беседа перешла на современную русскую литературу. «Доктор Живаго», по мнению Набокова, среднего качества мелодрама, с троцкистской тенденцией. Это определенно пробольшевистское произведение, хотя и антисталинское. Книга, по мнению Набокова, плохо написана, очень плохо. Пастернак никогда хорошим прозаиком не был. Поэт он,

конечно, хороший. Не такой большой, правда, как, скажем, Блок, но хороший.

«Тихий Дон» Шолохова? Третий сорт. Любимцы Набокова в советской литературе Ю. Олеша, Зощенко, Ильф и Петров, в поэзии — Мандельштам и Сельвинский. «Советская литература, — говорит Сирин, — мещанская литература. Это характерно для литературы всякой страны с крайним государственным режимом. Илья Эренбург? Блестящий журналист и большой грешник. Моя покойная мать во время оно зачитывалась его поэмой “Молитва о России”, которую он написал, когда был еще в антикоммунистическом стане».

Из литературы русского зарубежья Набоков высоко ставит Бунина и Ходасевича, последнего он считает самым значительным русским поэтом нашей эпохи, к сожалению недостаточно оцененным. Алексей Толстой? «Петр Первый», «Хождение по мукам» виртуозно написаны, но ряд глав там искусственно приспособлены к «генеральной линии». Все же Толстой, конечной, большой талант.

— Что я сейчас пишу? Новый роман. На побережье французской Ривьеры очень удобно работать. Я тут пробуду несколько месяцев, затем поеду, вероятно, в Швейцарию, может быть, и в Америку.

Сейчас Набоков, по заказу фильмовой компании, пишет сценарий своего романа «Камера обскура». Писатель живет сейчас в Ницце с женой, урожденной Слоним, дочерью известного когда-то петербургского адвоката, и с сыном, одаренным певцом.

— Кто знает, — смеясь говорит мне Набоков на прощанье, — может быть, через несколько лет меня будут представлять не как автора «Лолиты», а как отца знаменитого баса...

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ

АСП — А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 16 т. АН СССР, 1937–1959. М., Л.

Глушанок 2000 — В. Набоков. Стихи и комментарии. Заметки (для авторского вечера 7 мая 1949 года). Вступ. ст., публ. и комм. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 55.

Д82 — С. Давыдов. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. Мюнхен, 1982.

Классик без ретуши — Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Сост., подг. текста Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. Предисловие, преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

К98 — В. В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод с английского. СПб., Искусство-СПб., Набоковский фонд, 1998.

Н70 — V. Nabokov. Poems and Problems. New York, Toronto: McGraw-Hill, 1970.

Н73 — V. Nabokov. Strong Opinions. New York: McGraw-Hill, 1973.

Н79 — В. Набоков. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979.

Н97 — В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., РХГИ, 1997.

Набоковский вестник 1 — Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения / Научн. ред. В. П. Старк. СПб.: Дорн, 1998.

Набоковский вестник 2 — Набоковский вестник. Вып. 2. Набоков в родственном окружении / Научн. ред. В. П. Старк. СПб.: Дорн. 1998.

Набоковский вестник 3 — Набоковский вестник. Вып. 3. Родовые гнезда / Научн. ред. В. П. Старк. СПб.: Дорн, 1999.

Память, говори — В. Набоков. Память, говори / Реконструкция С. Ильина // В. В. Набоков. Американский период. Собрание сочинений в 5 томах: Перевод с английского. / Сост. С. Ильина, А. Кононова. Комментарии С. Ильина, А. Люксембурга. СПб.: «Симпозиум», 1999 (Т. 5).

Сконечная 91 — О. Сконечная. Набоков в Тенишевском училище // Наше наследие. 1991. № 1. С. 109–112.

A95 — The Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York and London: Garland, 1995.

BAR — The Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. Columbia University, New York.

Barabtarlo 93 — Gennady Barabtarlo. Aerial Views: Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. Bern, New York: Peter Lang, 1993.

BCNA — Vladimir Nabokov Archives // Berg Collection. New York Public Library.

B90 — B. Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton UP, 1990.

B91 — B. Boyd. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton: Princeton UP, 1991.

B96 — B. Boyd. Notes // Vladimir Nabokov. Novels and Memoirs 1941–1951. The Library of America, 1996 [прим. к «Speak, Memory» — P. 695–710].

DN86 — On a Book Entitled The Enchanter by Dmitry Nabokov // Vladimir Nabokov. The Enchanter / Translated by D. Nabokov. G. P. Putnam's Sons, New York, 1986.

J86 — M. Juliar. Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York and London: Garland, 1986.

LC — The Library of Congress. Washington, D. C.

Nabokov's Butterflies — Nabokov's Butterflies. Unpublished and Uncollected Writings / Ed. and annot. by Brian Boyd and Robert Michael Pyle. Boston: Beacon Press, 2000.

N-W79 — The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson: 1940–1971. Ed. by S. Karlinsky. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.

SL89 — Vladimir Nabokov. Selected Letters: 1940–1977. Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark Layman, 1989.

S99 — M. D. Shrayer. The World of Nabokov's Stories. Austin, 1999.

T85 — P. Tammi. Problems of Nabokov's Poetics: A Narratological Analysis. Helsinki: Suomalainen Tiedekatemia, 1985.

УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Воздушные пути: Альманах. Нью-Йорк, 1960–1967 (№ 1–5). Ред.-изд. Р. Н. Гринберг. Обл. С. М. Гринберг.

Возрождение. Париж, 1925–1940. Орган русской национальной мысли.

Иллюстрированная Россия. Париж, 1924–1939, № 1–746. Еженедельный литературно-иллюстрированный журнал. Ред. М. П. Миронов (ред. с № 323 (1931) А. И. Куприн).

Новое русское слово. Нью-Йорк: В. Шимкин, с 1910. Ежедневная газета. Ред. А. Я. Кречмар, М. Вейнбаум.

Новый журнал. Нью-Йорк, осн. в 1942. Основатели: М. Алданов, М. Цетлин. Обл. М. В. Добужинского. Периодическое литературно-политическое издание. Ред.: М. М. Карпович, Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев, Г. Андреев и др.

Опыты. Нью-Йорк: Experiments, 1953–1958 (№ 1–9). Литературный журнал. Ред.: Р. Н. Гринберг, В. Л. Пастухов (с № 4 — Ю. П. Иваск). Изд. М.-Э. Цетлина. Обл. С. М. Гринберг (№ 4–6 — А. Н. Прегель).

Последние новости. Париж, 1920–1940. Ежедневная газета. Ред. М. Л. Гольдштейн, П. Н. Милюков.

Речь. СПб., 1906–1916. Ежедневная политическо-литературная газета.

Руль. Берлин, 16 ноября 1920 — 14 октября 1931. Ежедневная газета. Отв. ред. И. В. Гессен, при участии А. А. Аргунова, проф. А. И. Каминки, В. Д. Набокова.

Русские записки. Париж, Шанхай, 1937–1939 (№ 1 — 20/21). Общественно-политический и литературный журнал. Ред. П. Н. Милюков, при участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, В. В. Руднева.

Современные записки. Париж, 1920–1940 (Кн. 1–70). Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Редколлегия: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков (Фондаминский), М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

Социалистический вестник. Берлин, 1921–1965 (с 1950 — Нью-Йорк, Париж). Центральный орган Заграничной делегации РСДРП. Основан Л. Мартовым. Ред. Р. Абрамович, Д. Далин, Ф. Дан, Л. Мартов.

Числа. Париж, 1930–1934 (Кн. 1–10). Сборник. Ред. И. В. де Манциарли, Н. А. Оцуп.

ВОЛШЕБНИК

Работа над повестью шла в октябре—ноябре 1939 г. в Париже. Набоков писал позже, что «первая маленькая пульсация» «Лолиты» произошла, когда он лежал с серьезным приступом межреберной невралгии: «В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940 году» (*«О книге, озаглавленной "Лолита"». Послесловие к американскому изданию 1958 года*). Несмотря на якобы неудовлетворенность качеством текста, за короткий период до отъезда в США Набоков успел предложить повесть как редакции журнала «Современные записки», так и владельцу издательства «Петрополис» А. С. Кагану для отдельного издания. Журнальные редакторы, возможно смущенные сюжетом, отказали своему постоянному автору в размещении повести. Абрам Каган публикацию не мог позволить при всем желании: война привела к свертыванию проектов издательства, располагавшегося с середины 1930-х гг. в Бельгии. Последовательные заявления Набокова о том, что повесть была уничтожена и лишь единственная копия чудесным образом пролежала затерянной среди бумаг в течение двух десятилетий, никем не оспаривались. В письме к Вальтеру Минтону, директору издательского дома «Путнам», от 6 февраля 1959 г. автор излагал историю с находкой рукописи следующим образом: «Я пребывал в уверенности, что давно ее уничтожил, но при отборе нынче с Верой дополнительных материалов для отсылки в Библиотеку Конгресса откуда-то вынырнул одинокий экземпляр этой повести». Первым его желанием, утверждает Набоков, было депонировать манускрипт в библиотеку, но затем «что-то другое... пришло в голову» (*SL89*. P. 282). Не исключено между тем, что речь идет о собственном набоковском мифе, выросшем из сознательного в свое время отказа от публикации русского текста в Америке. Запутанная текстологическая история «Волшебника» осложняется полумемуарным свидетельством эмигрантского критика Владимира Вейдле, вспоминавшего в последние годы жизни, что Набоков показывал ему в Париже вариант повести, который носил название «Сатир». Девочка там «была не старше десяти лет», а финал вместо французской Ривьеры разыгрывался «в маленьком, отдаленном отельчике в Швейцарии» (*DN86*. P. 101). В черновых набросках героя, по-видимому, звали Артуром — в окончательной версии повести он лишился имени. Идея опубликовать в конце 1960-х гг. на волне успеха «Лолиты» не попавшую к вашингтонским библио-

графам рукопись «Волшебника» осталась нереализованной. Подобно редакторам «Современных записок», американский издатель отказался от этого предложения. На читательский суд Дмитрий Набоков вынес свой перевод в 1986 г. Название «The Enchanter» («Чародей») было дано в соответствии с прижизненной волей автора, окрестившего так в корреспонденции еще не существующий английский вариант. По общему мнению критиков, на фоне позднего Набокова русского периода с вершиной его творчества «Даром» (1937—1938; 1952) повесть выглядит, как минимум, наброском более сложного произведения. По словам самого Набокова, только в «Лолите» у темы «втайне выросли когти и крылья романа» («О книге, озаглавленной "Лолита"»). Несмотря на это, русскоязычный читатель «Волшебника» получит взамен изящные аллюзии, отточенный стиль, упруго развивающиеся мотивы, острый сюжет (то самое, в отсутствии чего Набокова упрекали эмигрантские критики). Трудно не согласиться с самим писателем, сказавшим по поводу возможного перевода повести на английский язык, что «это образчик красивой русской прозы, ясной и прозрачной» (*SL89.* P. 283). Словарь «Волшебника» был востребован в русской версии «Лолиты», над которой Набоков работал в 1963—1965 гг. В примечаниях указываются некоторые параллельные места в обоих текстах. Повесть печатается по изданию: «Звезда», 1991, № 3.

С. 43. ...эвфратский абрикос. — В примечаниях к переводу Д. Набоков поясняет, что именно этот фрукт послужил прототипом библейского запретного плода (*DN86.* P. 22).

С. 44. ...редкое цветение этого в Иванову ночь моей темной души... — Иванов день (Иван-Купала) отмечается 7 июля (24 июня ст. стиля). Считается, что в ночь накануне этого дня цветы и растения приобретают волшебную силу.

...довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание... и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи... — Первая в цепочке реминисценций «Пиковой дамы» Пушкина. Германн «имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасала его». Подобно Германну, герой «Волшебника» настойчиво преследует свою цель и ради ее достижения готов сделаться любовником больной женщины. Но, предлагая «живой туз червей» (Набоков), взамен он получает «убитую даму» (Пушкин).

С. 45. суккуб — (от *лат.* succubare — «ложиться под») в мифологии западноевропейского средневековья демон, предлагающий себя мужчине в виде женщины.

...вот он сел на скамью в городском парке. — Ср. в «Лолите»: «Какие чудесные приключения я, бывало, воображал, сидя на

твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу... Как-то раз совершенная красотка в шотландской юбочке с грохотом поставила тяжеловооруженную ногу подле меня на скамейку, дабы окунуть в меня свои голые руки и затянуть ремень роликового конька...» (ч. I, гл. 5). В другой раз Лолита убеждает Гумберта отпустить ее на роликовый каток под присмотром издалека (ч. II, гл. 2).

С. 50—51. ...добра добротой горького шоколада... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос... — Поэтический подтекст антиблагодарения восходит к «Благодарности» (1840) М. Ю. Лермонтова:

За все, за все благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...

Ср. источник «тайных мучений страстей» героя повести с Лолитой: «...приподнятые лопатки, и персиковый пушок вдоль вогнутого позвоночника...», а также с описанием двух нимфеток из раннего рассказа «Сказка» (1926): первая «нагибала голову — сзади оголялась шея — перелив хребта, светлый пушок, круглота плеч, разделенных нежной выемкой...», вторая — девочка «лет четырнадцати в темном нарядном платье, очень открытом на груди» шла «едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги» (см. т. II наст. изд. С. 473, 477—478).

С. 55. ...операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля... — Первая и последняя конкретная дата в повести с почти годичным циклом. Действие начинается в июле (скорее всего, 7 июля), в нечетный день, женитьба происходит в ноябре, мать нимфетки умирает в конце следующего мая или в начале июня. Г. Барабтарло реконструировал календарь «Волшебника» (Бирюк в чепце // Звезда. 1996. № 11).

...я дурная мать... — Строка из популярного стихотворения «Колыбельная» (1915) Анны Ахматовой:

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

(Наблюдение А. Арьева: Набоков и враги // Cahiers de l'emigration russe. 1999. № 5. P. 30). Ближе к концу повести возникает еще вариация: «Спи, моя радость, не слушай».

С. 57. ...болтающей с уборщицей в розе сквозняков. — «Болтовня» является нарушением табу *sub rosa*, то есть «печати молчания» (*букв.* «под розой»), которое героиня сохраняет почти на протяже-

нии всего текста. Кроме того, здесь каламбур, в основе которого графический образ древней карты («розы ветров») и пародийная в свете педофильства персонажа трактовка розы как символа девственности.

Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел... — Прогрессирующая мания повествователя подкреплена отсылкой к «Запискам сумасшедшего» Гоголя: рассказчику «Записок», который «волочится за директорской дочерью», сорок два года, примерно столько и герою »Волшебника» («почти тридцать лет разницы» с двенадцатилетней падчерицей). Запись от 5 декабря гоголевского персонажа начинается со слов: «Я сегодня все утро читал газеты», последняя датирована 34-м числом. Ср. также с Акакием Акакиевичем, замечавшим вдруг, что «он не на середине строки, а скорее на середине улицы».

С. 60. ...теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел... — В сказке после брака героя ожидает важное испытание первой ночи, во время которой проверяется сексуальная сила жениха (В. Я. Пропп. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 402–407). Преодолеть демонизм женщины и собственное бессилие жениху обычно помогает сказочный помощник, в модернизированной версии у Набокова — это эликсир для повышения потенции, приобретаемый рассказчиком в аптеке вместо яда во время ночной прогулки

...к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами... не говоря о кислой духоте увядшей кожи и еще не известных чудесах хирургии... — Портрет восходит к образу старой графини из »Пиковой дамы»: «Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета ⟨...⟩ вся желтая, шевеля отвислыми губами...»

С. 61. ...и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. — Погода в ночь смерти старой графини «была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты».

С. 61–62. ...придет ее хоронить... двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто, — (размышлял он, задержавшись весьма кстати у освещенной витрины аптеки), — коли был бы яд под рукой... — Отметим в этом пассаже также целый букет блоковских аллюзий — от «Незнакомки» (1906) до цикла «Пляски смерти» (1912): «Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь»; «Пустая улица. Один огонь в окне. / Еврей-аптекарь охает во сне. // А перед шкапом с надписью Venena [*лат.* «яд»]...». Отрывок с циклом сближает и время действия: в «Волшебнике» герой приходит к аптеке «в дрожащей нищете ноябрьской ночи»;

стихотворение Блока написано в октябре. В «Лолите»: «Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить ее каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи пяти сулемовых таблеток, растворенных в рюмке предобеденного хереса... но в моем гулком и мутном мозгу все же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой» (ч. I, гл. 17).

С. 65. ...весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. — Как видно из ремингтонной копии повести с авторской правкой, вначале Набоков намеревался отправить поезд в 0.23, но позже исправил расписание, чтобы приурочить возвращение героя к ночи.

С. 66. пеклеванный — хлеб, испеченный из ситной и чистой ржаной муки.

...бирюк надевал чепец. — Бирюк (волк-одиночка) — очередная аллюзия на сказку о Красной Шапочке (у юной героини «Волшебника» шапочка черного цвета); в заключительном абзаце вновь являются «белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями». Само название повести отсылает к волшебной сказке, которая давно интересовала Набокова (рассказы «Дракон», «Удар крыла», финал »Красавицы», пассажи о Бабе Яге в «Даре» и т. д.). Последний художественный текст Набокова, написанный в «русский» период, оказался попурри на сказочные темы, набором мотивов и отдельных образов из фольклористики, возможно не в последнюю очередь навеянных исследованиями В. Я. Проппа, «Морфологией сказки» (1928) в том числе.

С. 67. ...в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение... — Рекомендуя «Волшебника» для издания А. Кагану, Набоков назвал его «рассказом в стиле Боккаччо и Аретино». В 1537 г. один из учеников поэта Пьетро Аретино (1492–1556) женился на четырнадцатилетней девушке. Цитируем по источнику, который, в принципе, мог быть известен Набокову: «В своем доме, куда привез ее муж, Аретино *принял ее как дочь, и отношения его к ней сначала были чисто отеческие.* Но муж скоро бросил Пьерину. Она стала изливать свое горе Аретино, и его *привязанность к ней стала иною. Потом они сблизились...* Болезнь [Пьерины] разыгралась, и тринадцать месяцев этот человек, которого принято считать *вульгарным развратником*, изображал из себя самую нежную, самую заботливую сиделку. Выздоровев, Пьерина *сбежала с каким-то юным ловеласом*» (А. Дживелегов. «Очерки итальянского возрождения. Кастильоне. Аретино. Челлини». М.: Федерация, 1929. С. 120. Курсив наш. — *Ю. Л.*).

С. 70. ...потребует совместных поисков струны. — В «Войне и мире» Л. Толстого Денисов «пел сочиненное им стихотворение “Волшебница”», к которому он пытался подобрать музыку: «Вол-

шебница, скажи, какая сила / Влечет меня к покинутым струнам; / Какой огонь ты в сердце заронила, / Какой восторг разлился по перстам!"» (Т. 2. Ч. 1, XV). Последние две строки предвосхищают начало «Лолиты» — «свет моей жизни, огонь моих чресел».

Так они будут жить — и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной... — Игра с шекспировскими подтекстами. В «Короле Лире» (акт V, сц. III. Перевод Б. Пастернака) отец обращается к Корделии:

Пускай нас отведут скорей в темницу.
Там мы, как птицы в клетке, будем петь.
Ты станешь под мое благословенье,
Я на колени стану пред тобой,
Моля прощенье. Так вдвоем и будем
Жить, радоваться, песни распевать,
И сказки сказывать, и любоваться
Порханьем пестрокрылых мотыльков...
Мы в каменной тюрьме переживем
Все лжеученья, всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив.

С. 75. глобтроттер — (от *англ.* globe-trotter) путешественник, торопливо осматривающий достопримечательности.

С. 76. ...спутал две схожие фамилии... — В гостиничной сцене в «Лолите» (ч. I, гл. 27) фальшивое двойничество детализируется: «"Мое имя", холодно перебил я, "не Гумберг, и не Гамбургер, а Герберт, т. е., простите, Гумберт..."»

С. 77. кордегардия — (от *фр.* corps de garde) то же, что гауптвахта.

Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик... — Эхом лейтмотив машины отдается в эпизоде совращения Лолиты: «...бульвар под окном... выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших во мгле сырой и ветреной ночи...» (ч. I, гл. 29).

С. 78. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. — «...Я постепенно убрал всю лишнюю муть и, накладывая слой за слоем прозрачные краски, довел их до законченной картины. На этой картине она являлась мне обнаженной... она лежала, раскинувшись, там, где ее свалило мое волшебное снадобье» («Лолита», ч. I, гл. 28).

С. 78—79. ...дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся... впадина подмышки в пяти-шести расходящихся, шелковисто-темных штрихах — туда же стекала наискось золотая струйка цепочки ⟨...⟩ не смел поцеловать эти угловатые сосцы... отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке... — «...бархатная ленточка, снятая с волос; ее пряично-коричневое

тело... показывало мне свои бледные молодые сосцы; в розовом свете лампы шелковисто блестел первый пух на толстеньком холмике» («Лолита», ч. I, гл. 28).

С. 79. синкопа — (от *греч.* synkope — «сокращение») смещение музыкального ударения с сильной (ударяемой) доли такта на слабую.

С. 80. ...приказывала — этуанс, этудверь, этусубть... — По-видимому, кириллическая транскрипция слов at-once (*англ.* «сразу») и et-tout-de-suite (*фр.* «немедленно»).

...но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы... — Ситуация впервые набросана в русском стихотворении Набокова «Лилит» (1928), где «на полпути к блаженству» герой, оказываясь на улице, взывает к мистической девочке-любовнице: «“Впусти!” — и козлоногий, рыжий / народ все множился».

С. 81. ...руплегрохотный ухмышь, краковяк, громовое железо... рвякай хрупь... — Сюжетный кризис дублируется языковым сдвигом, точнее расстройством, и тогда появляется футуристическая заумь, на которой «можно выть, пищать» (И. Терентьев, А. Крученых граидиозарь. Тифлис, 1919. С. 13). Ср. у В. Гнедова: «Разрыдавлю Все Горы сквозь полночь 〈...〉 и мечу хохочу, крик ломчу... Гром затворчу — усну...» («Маршегробая пенька моя на мне», 1913) или у В. Хлебникова: «Жраб, габ, бакв — кук! / Ртупт! Тупт!» («Зангези», 1922). Набоков и ранее обращался, часто в полемическом контексте, к футуристической традиции; в следующем после повести крупном произведении, романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), появляется «изобретатель “заумной ворчбы”» Алексис Пан.

спектограмма громовых мгновений — искаженное «спектрограмма» — фотография спектра.

Ю. Левинг

SOLUS REX

Впервые: Современные записки. 1940. Кн. LXX (С. 5–36), с пометой в конце «Продолжение следует». Печатается по этому изданию. Поскольку на этом номере журнала издание «Современных записок» было прекращено, продолжение романа в печати не появилось. Единственным исключением является фрагмент, опубликованный Набоковым после переезда в США как отдельный рассказ под заглавием «Ultima Thule» (см. ниже).

В письме Эдмунду Уилсону от 29 апреля 1941 г. Набоков сообщал, что уехал из Европы «посередине огромного русского романа» («in the middle of a vast Russian novel»), который ему не

терпится дописать (см.: *N-W79.* P. 44). Из этого следует, что, начиная журнальную публикацию «Solus Rex», Набоков еще не завершил работу над романом и, вероятно, намеревался готовить его к печати по частям, от номера к номеру «Современных записок» (как это было в случае с «Даром», см. т. IV наст. изд., с. 634).

Английский перевод начала романа под заглавием «Solus Rex» был включен Набоковым в сборник рассказов «A Russian Beauty and Other Stories» (1973). Там он помещен после рассказа «Ultima Thule», который предварен авторским предисловием, относящимся к обоим текстам. В нем Набоков, в частности, писал: «Зима 1939—1940 годов оказалась последней для моей русской прозы. Весной я уехал в Америку, где мне предстояло двадцать лет подряд писать исключительно по-английски. Среди написанного в эти прощальные парижские месяцы был роман, который я не успел закончить до отъезда и к которому уже не возвращался. За вычетом двух глав и нескольких заметок я эту незаконченную вещь уничтожил. Первая глава появилась в печати под названием "Ultima Thule" в 1942 году ("Новый журнал", 1, Нью-Йорк), глава вторая "Solus Rex" вышла раньше нее в начале 1940 года (Современные записки, LXX, Париж)» (*Н97.* С. 103; перевод Г. Левинтона).

Назвав начало романа, напечатанное в «Современных записках», второй главой и поместив его после «Ultima Thule», Набоков, как представляется, намеренно исказил свой первоначальный замысел, чтобы связать между собой два отдельных, разноплановых фрагмента. Вследствие такой перестановки они выстраиваются в линейной фабульной последовательности: сначала вводится «реалистический» план повествования и его герой, художник Синеусов, который после смерти жены, стараясь отвлечься от своего горя, воображает далекую северную страну, Ultima Thule, постепенно обретающую, как пишет Набоков в предисловии, самостоятельное существование, а затем уже действие переносится в «угрюмый дворец на дальнем северном острове», созданный воображением героя. По словам Набокова, искусство позволяет Синеусову «воскресить покойную жену в облике королевы Белинды — жалкое свершение, которое не приносит ему торжества над смертью даже в мире вольного вымысла. В главе III ей предстояло снова погибнуть от бомбы, предназначавшейся ее мужу, на Эгельском мосту буквально через несколько минут после возвращения с Ривьеры. Вот, пожалуй, и все, что удается разглядеть в пыли и мусоре моих дальних замыслов» (*Н97.* С. 103—104).

Какими на самом деле были «дальние замыслы» Набокова, точно установить не представляется возможным из-за скудности фактического материала. Совершенно ясно только одно: «Solus Rex» должен был начинаться со сцен в северном королевстве,

истинный статус которых как «романа в романе», сочиненного (и/или нарисованного; ср. мотив нарисованной двери в конце фрагмента) художником Синеусовым, какое-то время оставался нераскрытым. Об этом свидетельствует не только традиционное обрамление публикации в «Современных записках», но и письмо Набокова Марку Алданову, датируемое концом октября 1941 г., в котором он попросил его сопроводить текст «Ultima Thule» в «Новом журнале» следующей сноской: «Отрывок из романа “Solus Rex”, начало которого см. в (последнем, — каком именно?) № “Современных записок”» (цит. по публикации А. Чернышева: «Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова // Октябрь. 1996. № 1. С. 129).

У нас есть некоторые основания предполагать, что, помимо известных нам двух пространственно-временных планов, роман (который, по многозначительному слову Набокова, должен был «решительно отличаться» от всех остальных его русских вещей) мог включать в себя и некий третий план, связанный с героем «Дара» Федором Годуновым-Чердынцевым. В архиве писателя сохранились наброски нескольких глав второй части «Дара», написанные в конце 1939 — начале 1940 г., то есть тогда же, когда он готовил к печати начало «Solus Rex». Возможно, именно эти материалы Набоков имел в виду, когда в предисловии к английскому переводу «Solus Rex» и «Ultima Thule» упомянул о сохранившихся «нескольких заметках» к уничтоженному роману. В набросках обнаруживаются определенные тематические переклички с сюжетными линиями как художника Синеусова, так и придуманного им одинокого короля. Так, в конспекте заключительной главы упоминается Фальтер, персонаж «Ultima Thule»; у Годунова-Чердынцева, сочиняющего какой-то роман или киносценарий, погибает жена Зина; после ее смерти он, как Синеусов, проводит несколько месяцев на французской Ривьере и т. д. Не лишено вероятности, что «Solus Rex» был задуман Набоковым как своеобразное продолжение «Дара» с трехслойной структурой, где основные события трех разных планов взаимоотражают друг друга (ср. название «Тройной сон», которое Набоков дал английскому переводу стихотворения Лермонтова «Сон»): Федор Годунов-Чердынцев пишет книгу о художнике Синеусове, потерявшем любимую жену; в этой книге Синеусов, в свою очередь, воображает историю северного короля, переживающего такую же потерю; наконец, тот же сюжет воспроизводится в «реальности» самого Федора, отвечающего на трагический удар судьбы тем, что он пишет продолжение пушкинской «Русалки» (подробнее см.: А. Долинин. Загадка недописанного романа // Звезда. 1997. № 12). Эта гипотеза, во всяком случае, может объяснить, почему в письме

М. Алданова Набокову от 14 апреля 1941 г. новый роман, который Набоков тогда намеревался закончить и «твердо обещал» отдать в «Новый журнал», назван продолжением «Дара» («Как редко теперь пишу по-русски...». С. 128): по-видимому, «огромный русский роман», о котором Набоков писал Уилсону, продолжение «Дара», которое он обещал Алданову, и «Solus Rex», публикация которого оборвалась в самом начале, — это одна и та же книга, оставшаяся незавершенной.

Целый ряд тем «Solus Rex» был впоследствии развит Набоковым в его английских романах «Под знаком незаконорожденных» («Bend Sinister») и «Бледный огонь» («Pale Fire»). См. об этом: D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Michigan, 1985. P. 93—111.

Заглавие романа (*лат.* «одинокий король»), согласно объяснению Набокова в предисловии к английскому переводу «Solus Rex» и «Ultima Thule», отсылает к определенному типу шахматных задач, в которых король остается единственной фигурой черных (*Н97.* С. 104).

В примечаниях к «Solus Rex» и «Ultima Thule» использованы важные наблюдения из неопубликованной статьи А. Арьева «Отражение в аспидной доске (О рассказах “Solus Rex” и “Ultima Thule”)», с которой он любезно ознакомил благодарного комментатора.

С. 85. Помона — в римской мифологии богиня плодов и садов; как рассказано в «Метаморфозах» Овидия, бог перемен Вертумн, чтобы добиться любви Помоны, являлся перед ней во множестве разных обличий.

...грифельную дощечку с паролем... — Как отметил А. Арьев, мотив грифельной доски, который возникает и в «Ultima Thule», восходит к биографии Г. Р. Державина, за два дня до смерти начертавшего на грифельной доске начальные строки оды «Река времен в своем теченье...». Ср. также «Грифельную оду» О. Мандельштама.

С. 86. Эгель. — Название, видимо, восходит к немецкому Egel (пиявка).

С. 87. конвахер — (от *нем.* König — «король» и waschen — «мыть») королевский мыльщик. Вымышленное слово, в английском переводе «Solus Rex» выделенное курсивом.

С. 88. ...с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным колумбом. — Обыгрывается легенда о Христофоре Колумбе, который на банкете в его честь после открытия им Америки вместо ответа на вопрос, считает ли он, что это открытие мог бы совершить любой другой мореплаватель, оказавшийся на его месте, предложил собравшимся поставить яйцо

стоймя. Когда никому не удалось это сделать, Колумб показал простейший способ решения задачи, приплюснув яйцо к столу.

С. 89. ...Синеусову... — Художник Синеусов, русский эмигрант во Франции, по-видимому, должен был стать одним из главных героев романа. От его лица ведется повествование в «Ultima Thule», откуда выясняется, что по заказу некоего иностранного писателя он начал работу над серией иллюстраций к его поэме о «каком-то северном короле, несчастном и нелюдимом», живущем на «грустном и далеком острове». Поскольку содержание поэмы известно ему только в самых общих чертах, он после смерти жены начинает самостоятельно придумывать историю «одинокого короля». Из этого следует, что островное королевство первой главы романа воображено Синеусовым, хотя остается неясным, кто является повествователем фрагмента — сам герой или автор романа о нем. Фамилия художника восходит к имени Синеуса, одного из трех братьев-варягов, которые, согласно «Повести временных лет», в 862 г. были призваны княжить на Руси, и тем самым связывает его с воображенным им «варяжским» островом.

Гафон. — Имя короля напоминает о сказочных именах у Пушкина (Гвидон, Додон), а также о небезызвестном попе Гапоне, и в то же время обыгрывает французское gaffe — «промах, оплошность, бестактность».

...peplerhus (парламент). — Местное название парламента (от *лат.* populus — «народ»; ср. также *норвежск.* poplasen — «чернь, простонародье» и *англ.* people) построено по аналогии с *англ.* House of Commons (*букв.* «дом народа»).

С. 90. ...обозначим его по-шахматному... — В русской шахматной нотации буквенное обозначение короля — Кр.

Адульф. — По остроумному замечанию Г. А. Левинтона, имя принца представляет собой контаминацию варяжского «воеводы» Одульфа из «Родословной моего героя» Пушкина и имени Гитлера (*Н97.* С. 887).

Перед нами дородный, добродушный человек... со щекастым, ровно-розовым лицом и красивыми глазами навыкате... — Как отметил Набоков в предисловии к английскому переводу «Ultima Thule» и «Solus Rex», on придал принцу портретное сходство с С. П. Дягилевым (1872—1929). «Не помню подробностей гибели несчастного Адульфа, — добавил он, — помню только, что Сиен с сообщниками каким-то чудовищным и неуклюжим образом разделались с ним ровно за пять лет до открытия моста через Эгель» (*Н97.* С. 104).

С. 91. vanbol — по-видимому, «стенной мяч» (ср. *нем.* Wand — «стена»), то есть игра, аналогичная аристократическим играм с мячом в закрытом помещении, распространенным в английских частных школах и университетах (королевский теннис, fives,

и т. п.) и неоднократно упоминаемым в романах Набокова. Следует отметить также, что в выдуманном слове содержатся буквы, составляющие инициал и первые два слога фамилии писателя.

...«грустного и далекого» острова... — Те же слова употребляет Синеусов в «Ultima Thule», когда говорит о том немногом, что ему удалось понять из рассказа «иностранного писателя» о его поэме: «...что его герой — какой-то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие-то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску...».

Белинда — имя героини поэмы английского поэта Александра Попа (1688—1744) «Похищение локона» (1712, 1714). Любопытно, что в романе «Бледный огонь», где развиты многие мотивы «Solus Rex» и «Ultima Thule», поэзия Попа играет чрезвычайно важную роль.

С. 92. ...словом, тот, который бросил кубок в море... — аллюзия на песню Гретхен о короле Фулы из «Фауста» Гёте. Перед смертью король бросает в море золотой кубок, подарок своей умершей возлюбленной. Ср. также балладу Шиллера «Кубок», известную в переводе Жуковского.

С. 93. ...с изображением шестипалой руки... — по всей вероятности, отсылка к «Дактилям» (1928) В. Ходасевича, в которых каждая из шести строф (состоящих из шести шестистопных стихов) начинается словами: «Был мой отец шестипалым».

С. 95. бранденбург — (от *фр.* Brandeburg) петлица, обшитая шнуром.

С. 97. ...a moins que tu ne confonde la galanterie avec la Galatee... — если только ты не путаешь галантность с Галатеей *(фр.)*. Острóта принца отсылает к античному мифу о царе Кипра Пигмалионе, изваявшем статую прекрасной женщины и влюбившемся в нее. По его просьбе Афродита оживила статую, и она стала женой Пигмалиона, получив имя Галатея.

С. 99. ...знаменитого молодого акробата... — В английском переводе фрагмента Набоков дал этому персонажу имя Ондрик Гульдвинг (Ondrik Guldving).

С. 100. ...и подошел к принцу. — После этой фразы в «Современных записках» следовало две строки отточий, обозначавших редакторскую купюру. Выпущенное место было восстановлено Набоковым в английском переводе: «With fat fingers, the prince undid Ondrick's fly, extracted the entire pink mass of his private parts, selected the chief one, and started to rub regularly its glossy shaft» (обратный перевод Г. А. Левинтона: «Жирными пальцами принц расстегнул Ондрику ширинку, извлек всю розовую массу его

половых органов и, выбрав главный из них, стал равномерно растирать его глянцевитый ствол»).

С. 102. ржечник — набоковский неологизм от «рожь», «ржица», «ржаной»; в английском переводе — corn-mongers (торговцы зерном).

С. 106. уранизм — то же, что гомосексуализм.

ULTIMA THULE

Впервые: Новый журнал. 1942. № 1. С. 49–77. Как следует из письма, посланного Набоковым вместе с рукописью «Ultima Thule» редактору журнала М. Алданову, текст был написан как фрагмент романа «Solus Rex» (см. выше, С. 659). Впоследствии Набоков включил его в сборник рассказов «Весна в Фиальте» (1956), а затем, в английском переводе, в книгу «A Russian Beauty and Other Stories» (1973), где он выдан за первую главу «Solus Rex». В предисловии к английской публикации Набоков, в частности, заметил: «Быть может, закончи я книгу, читателям не пришлось бы гадать: шарлатан ли Фальтер? Подлинный ли он провидец? Или же он — медиум, посредством которого умершая жена рассказчика пытается донести смутный абрис фразы, узнанной или не узнанной ее мужем» (*Н97.* С. 103). Последним предположением Набоков, как представляется, провоцирует поиск ключевой фразы текста, отголоски которой действительно звучат в речах Фальтера и которая была обнаружена исследователями. Печатается по тексту сборника «Весна в Фиальте», расхождения с журнальным вариантом указаны в примечаниях. В сборнике после текста рассказа имеется помета: «Париж, 1939 г.».

В черновом конспекте заключительной главы второй части «Дара» Фальтер, таинственный персонаж «Ultima Thule» — провидец, шарлатан или медиум, — упоминается дважды: сначала в заметке, предваряющей рассказ о гибели Зины: «Встречи с (воображаемым) Фальтером ⟨...⟩ Почти дознался», а затем в самом рассказе: «Вышел вместе с Зиной, расстался с ней на углу (шла к родителям...), зашел купить папирос (русские шоферы играли стоя у прилавка в поставляемые кабаком кости), вернулся домой, увидел спину жилицы, уходящей на улицу, у телефона нашел записку: только что звонили из полиции (на такой-то улице), просят немедленно явиться, вспомнил драку на улице (с пьяным литератором) на прошлой неделе и немедленно пошел. Там на кожаном диване завернутая в простыню (откуда у них простыня?) лежала мертвая Зина. За эти десять минут она успела сойти

с автобуса прямо под автомобиль. Тут же малознакомая дама, случайно бывшая на том автобусе. Теперь в вульгарной роли утешительницы. Отделался от нее на углу. Ходил, сидел в скверах. “Фальтер распался”» (подчеркнуто Набоковым).

Ultima Thule — (*лат.* «дальняя / предельная Фула») у древних римлян полусказочная северная страна на краю света; в «Георгиках» Вергилия — северный остров (I, 24–30 и 40–42). В литературе нового времени — символическое обозначение края земли или границы мира. Песенку о короле Фулы, потерявшем возлюбленную, поет Гретхен в «Фаусте» Гёте. У Эдгара По в стихотворении «Страна снов» («Dream-Land», 1844–1845) дважды упоминается «предельная сумрачная Фула» («an ultimate dim Thule»), страна, которая лежит «вне ПРОСТРАНСТВА — вне ВРЕМЕНИ» («out of SPACE — out of TIME»).

С. 113. Фальтер — (*нем.* Falter) мотылек, бабочка.

квак — (от *англ.* quack) шарлатан.

...карамбольная связность телодвижений... — от карамболь (*фр.* carambole) — в бильярдной игре удар, когда один шар рикошетом от другого попадает в третий. В журнале после этого словосочетания следует: «полировка».

С. 114. ...и никогда больше... — отсылка к стихотворению Эдгара По «Ворон» с его рефреном «nevermore» (*букв.* «никогда больше»), обращенном к умершей возлюбленной.

...из санатория... — В журнале: «из санатории».

«равнодушная природа» — цитата из последней строфы стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829): «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять». Это же стихотворение Набоков цитировал в рассказе «Занятой человек» (см. т. III наст. изд.) и в романе «Пнин».

С. 114–115. Etes vous... dans la tombe? — В журнале эта фраза отсутствует.

С. 115. Ты-то мне... — В журнале: «ты мне».

ржавка — неологизм Набокова от «ржавый». В английском переводе: «a nondescript rusty thingum» («ржавая штуковинка неопределеного вида»).

иверень — согласно Словарю Даля, черепок, осколок, осколыш, отломочек.

С. 116. Краевич Константин Дмитриевич (1833–1892) — педагог, автор гимназических учебников математики, физики и космографии.

...повар ваш Илья на боку. — Каламбурный фонетический «перевод» французской фразы «pauvres vaches, il y en a beaucoup» («бедные коровы, как их много»). Заметим, что фраза включает в себя анаграмму «В. Вл. Набоков».

С. 117. ...как символ... поправок... — В журнале: «как символы... поправок».

гриперловый — (от *фр.* gris de perle) жемчужно-серого цвета.

кубовый — ярко-синий.

С. 118. ...не очень доходной гостиницы... — В журнале: «очень доходной гостиницы».

...которые другой... постарался бы... применить. — В журнале: «которые другой бы... постарался... применить».

С. 119. ...мою фигуру... фигуру, ставшую... достопримечательностью... — В журнале слово «фигуру» оба раза стоит с прописной буквы.

С. 123. ...оказался жертвой Фальтеровой медузы. — Имеется в виду Медуза Горгона из греческой мифологии, чудовище, чей взор превращает все живое в камень.

С. 124. ...стыдливое желание. — В журнале: «стыдное желание».

«пти же» — (от *фр.* petit-jeu) забавы, игры.

С. 125. ...писала мне цветным мелком на грифельной дощечке... — см. прим. к с. 85.

С. 128. Начнем же с яйца. — Калька латинского выражения «ab ovo» («с самого начала»; *букв.* «с яйца»). Ср. в незаконченной поэме Пушкина «Езерский» («Родословная моего героя»): «Начнем ab ovo. Мой Езерский...».

С. 129. Бертгольд Шварц (XIV в.) — францисканский монах, по преданию, изобретатель пороха. В незаконченной драме Пушкина «Сцены из рыцарских времен» он один из главных героев, мудрец, ищущий абсолютной истины. Фраза Фальтера прямо отсылает к заметке в одном из пушкинских набросков плана драмы: «Ищут Бертольда, ведут его и заключают в тюрьму, откры‹вает› порох — и взрывается» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. VII. Драматические произведения. Изд. АН СССР. 1935. С. 340).

С. 130. ...прелестным врачом... — В журнале: «прелэстным» и выделено разрядкой.

С. 131. Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег... — По наблюдению А. Арьева, эти слова Фальтера перекликаются с теми «смешными вещами», которые жена Синеусова перед смертью писала на грифельной дощечке, и представляют собой ключ к тайне, которую безуспешно пытается разгадать герой.

...на островках озера Виктории Ньянджи... — Виктория Ньянджи — большое озеро в Экваториальной Африке, откуда берет начало река Нил. В журнале: «на всех островках Виктории Ньянджи».

С. 132. ...как бедняк, получивший миллион... — В английском переводе: «like a beggar, a versifier, who has received a million in foreign currency» (*букв.*: «как бедняк, поэт, который получил миллион в иностранной валюте»). Добавленные Набоковым слова еще раз отсылают к ключевой фразе текста, которую жена Синеусова написала на грифельной доске (наблюдение Д. Бартона Джонсона).

...о вашем к нему отношении... — В журнале: «о ваших к нему поворотах».

С. 134. «Ага! есть другая истина!» — В журнале: «Ага! есть другая».

С. 134—135. ...всякий человек смертен; вы (или я) — человек; значит, вы, может быть, и не смертны. — Ср. размышления героя повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича»: «Тот пример силлогизма, котрому он учился в логике Кизеветтера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, — казался ему во всю жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо...»

С. 135. ...движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. — В журнале между этими предложениями вставлено еще одно: «Они движутся».

С. 137. ...что жизнь, родина... — В журнале: «что живопись, родина».

...скажите мне вашу тайну. — В журнале: «откройте мне все».

С. 137—138. ...тайна моя не всегда бьет матерого сапьенса... — В журнале: «тайна моя может и не убить матерого сапьянса».

С. 138. ...в Ессентуках... — В журнале: «в Эссентуках».

...гетерологично ли самое слово «гетерологично». — Имеется в виду так называемый парадокс гетерологичности, особый вид формально неразрешимой ситуации. Состоит он в следующем. Если мы назовем автологичными такие свойства, которыми обладают также и обозначающие их имена (например, имя «старый» — старо), а гетерологичными — свойства, которыми обозначающие их имена не обладают, то возникает вопрос: является ли само слово «гетерологично» гетерологичным или автологичным? Допустим, что оно автологично. Но тогда оно должно обладать тем свойством, которое обозначает, то есть быть гетерологичным. Предположим теперь, что слово «гетерологично» гетерологично. Но в этом случае оно приложимо к самому себе и, следовательно, автологично. Итак, мы пришли к противоречию, которое и конструирует парадоксальную ситуацию, требующую особого решения, аналогичного общим методам решения парадоксов в логике.

А. Долинин

ДРУГИЕ БЕРЕГА

Реальные имена и даты указываются по *B90*, также использован комментарий О. Дарка в: В. Набоков. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990.

Благодарю за помощь в работе над комментарием А. А. Долинина, Л. Ф. Клименко.

«Другие берега» являются промежуточной стадией метаморфоза трансжанрового автобиографического проекта Набокова, последовательность этапов которого такова:

— Рассказ на французском, «Mademoiselle O» (1936).

— Рассказы на английском, печатавшиеся в 1948—1951 гг. в американских журналах, главным образом в «Нью-Йоркере» (в том числе и «Mademoiselle O» в английском переводе), без указания на их автобиографичность и в порядке, не совпадающем с биографической хронологией, — которые впоследствии, с незначительными изменениями, вошли в первый книжный вариант автобиографии.

— Первый английский книжный вариант автобиографии «Conclusive Evidence: A Memoir» («Убедительное доказательство»). New York: Harper and Brothers, 1951. Издание того же года, вышедшее в Лондоне (изд. «Victor Gollanz»), называлось «Speak, Memory».

— Русский книжный вариант автобиографии «Другие берега» (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1954)[1]. Печатается по этому изданию.

— Дефинитивный английский вариант автобиографии «Speak, Memory: An Autobiography Revisited» («Память, говори») (New York: G. P. Putnam's Sons, 1967), дополненный, помимо текстовых вставок, фотографиями Набокова, его семьи, его бабочек.

Кроме того, одновременно с существованием книжных вариантов текста, английские версии рассказов «First Love» («Первая любовь», в первой публикации «Colette», гл. 5 автобиографии) и «Mademoiselle O» (гл. 7) входили в сборник рассказов «Nabokov's Dozen» («Набоковская дюжина»), 1958[2]. Объясняя соотношение Wahrheit и Dichtung в своей автобиографии, Набоков в интервью А. Аппелю 1966 г., объявив, что «"Память, говори" строго автобиографична», тут же признавал, что воображение

---

[1] Главы «Других берегов» сначала печатались в журналах (предисловие, гл. 1—3, под общим заглавием «Воспоминания» в: Опыты. 1954. Кн. 3. С. 3—49 (с незначительными разночтениями, указанными нами в примечаниях), гл. 4—6 и 7—9 под заглавием «Другие берега» в: Новый журнал. 1954. Кн. 37. С. 71—118 и кн. 38. С. 115—154.

[2] Подробнее об истории автобиографии см. в авторском предисловии к «Память, говори», сравнение вариантов текста в: J. Grayson.

использует память в качестве инструмента: «Я сказал бы, что воображение — это форма памяти. ⟨...⟩ Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но загадочной предусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас впрок тот или иной элемент, который может понадобиться творческому воображению, чтобы скомбинировать его с позднейшими воспоминаниями и выдумками» (*H73.* С. 77–78. Перевод С. Ильина), «обыденная реальность начинает гнить и смердеть, как только акт индивидуального творчества перестает оживлять ее субъективно воспринимаемую текстуру» (*H73.* С. 118). В более ранних автокомментариях Набоков назвал свой автобиографический акт «научной попыткой распутать и проследить к началу все спутанные нити личности» (*N-W79.* P. 188, ср. *SL89.* P. 69), точнее, «личности писателя» (*SL89.* P. 88), то есть «те тематические линии жизни, которые походят на литературу. Воспоминания стали точкой пересечения безличной художественной формы и очень личной жизненной истории. ⟨...⟩ Это литературный подход к собственному прошлому» (Интервью 1951 г., цит. по: D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor: Ardis, 1985. P. 80. Перевод здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, наш. — *М. М.*). То есть, видимо, организующий принцип автобиографии Набокова — это распространение законов художественного мира на прошлое.

Текст на всех стадиях подвергался переделкам, наиболее значительное и требующее объяснения отличие «Других берегов» от предыдущих и последующих вариантов — исключение 11-й главы (в журнальной публикации «First Poem» — «Первое стихотворение»), которое Набоков объяснил «психологической трудностью переигрывания темы, уже разработанной мною в “Даре”» (*Память, говори.* С. 320). Очевидно, эксплицитно посвященная поэзии глава, тематизирующая двойное бытие одного текста как автобиографии и художественного произведения ее автора-героя, показалась тавтологичной в книге, «использующей столько поэтических приемов, сколько может выдержать проза» (Alfred Appel, Jr. Nabokov's Puppet Show (1967), цит. по: *Классик без ретуши.* С. 426–427)[1].

Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford: Oxford UP, 1977. P. 139–166; Foster John Burt, Jr. An Archeology of «Mademoiselle O»: Narrative Between Time and Memory // Nicol Charles and Barabtarlo Gennady, eds. A Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction. New York: Garland, 1993. P. 134–163.

[1] См. также М. Маликова. «Первое стихотворение» В. Набокова. Перевод и комментарий // *H97.* С. 741–771.

В автобиографии часты повторы, перифразы, автоаллюзии на пассажи из беллетристики Набокова: французская гувернантка (гл. 7) появляется в «Защите Лужина» (1930) и «Истинной жизни Себастьяна Найта» (1941); возможная дуэль отца — в рассказе «Лебеда» (1932); первая любовь (гл. 11) — в «Машеньке» (1926) и рассказе «Адмиралтейская Игла» (1933); кембриджские впечатления (гл. 12) — в «Университетской поэме» (1927), «Подвиге» (1931–1932) и «Истинной жизни Себастьяна Найта» — список можно значительно расширить (см. каталог автобиографических повторов в беллетристике в: Grayson. Указ. соч. P. 227–231 и *T85.* P. 230–240). Набоков, особенно ретроспективно, эксплицирует автобиографические повторы (как прямо указывая на них, так и предостерегая «специалистов по автоплагиаризму» от соблазнов прототипизации), ср. в предисловиях к английским переводам рассказов «Лебеда» («Orache», 1976): «Сквозь сдвинутые узоры рассказа читатель моей "Память, говори" узнает многие детали последней части 9-й главы книги»; «Обида» («A Bad Day», 1976): «Мальчик из рассказа, хотя и живет в окружении, во многом напоминающем мое детское, в некоторых отношениях отличается от моего тогдашнего "я", как я его помню и которое на самом деле расщеплено здесь между тремя мальчиками...»; в предисловии к переводу «Дара» («The Gift», 1963): «Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был... Как раз, скорее, в Кончееве и... романисте Владимирове — узнаю я кое-какие осколки самого себя, каким я был году этак в 25-м» (перевод Г. Левинтона), ср. также предисловия к переводам «Машеньки» и «Подвига» (цит. в прим. к с. 284 и 303 наст. тома). Функции автоповторов у Набокова разнообразны: они связывают произведения в единый текст, конструируют «литературную личность» автора (см.: *T85.* P. 235–240).

Автобиография Набокова сравнительно мало привлекала внимание исследователей (хотя в современных работах по теории автобиографии она регулярно упоминается как образец художественной автобиографии, проблематизирующей границы фикционального/нефикционального повествования и статус реальности, описанной в тексте). Англо-американские рецензенты «Убедительного доказательства» (1951), для которых Набоков был энтомологом, начинающим переводчиком и малоизвестным писателем-эмигрантом, восприняли книгу в традиции исторических мемуаров — как «рассказ о дворянских гнездах», «детстве богатых людей», автоматически вызывающий сравнение с Прустом (см. рец. в: *Классик без ретуши.* С. 418–419, 440–443). На «Другие берега» (1954) откликнулись только немногие бывшие соотечественники и знакомые по эмиграции, обсуждая личные качества автора, а не литературного произведения: «...как только Набоков

пробует выйти в область человеческих чувств, он впадает в совершенно нестерпимую, несвойственную ему слащавую сентиментальность (напоминающую, правда, некоторые ранние его стихи). Кроме того, здесь, в рассказе о невыдуманной, действительной жизни на фоне трагического периода русской истории, с полной силой сказался феноменальный эгоцентризм Набокова, временами граничащий с дурным вкусом...» (Г. Струве. Русская литература в изгнании [1956]. 2 изд. Paris: YMCA-Press, 1984. С. 288). Н. Берберова почувствовала стилизованность набоковского рассказа о прошлом, но, интерпретировав его как «человеческий документ», не дала эстетической оценки и сочла произведением «вне своего времени... и вне самого Набокова» (Н. Берберова. Набоков и его «Лолита» // Новый журнал. 1959. Кн. 57. С. 95): «...это книга о красивых людях, о счастливых людях, о счастливых людях в счастливом мире. Отец с матерью любят друг друга и своих детей. Гувернантки (в трех поколениях) и садовники улыбаются во все стороны. Дядюшки, тетушки и другие родственники скользят по страницам, как херувимы на потолках Ватто, а в центре картины стоит сам юный Набоков 〈...〉 Это леденцовая жизнь в королевстве леденцов 〈...〉 атмосфера первого акта “Щелкунчика”. 〈...〉 Название чисто риторическое: память не заговорила, и главное — Набоков и не хотел, чтобы она говорила» (N. Berberova. Nabokov, Vladimir. Speak, Memory. An Autobiography Revisited. New York, G. P. Putnam's Sons, 1966 // The Russian Review. Oct. 1967. Vol. 26. № 4. P. 405–406).

«Память, говори» (1967), вышедшая во время набоковской пост-Лолитиной славы, привлекла больше внимания. Наиболее подробный и интересный отзыв принадлежит Альфреду Аппелю, мл. (см.: *Классик без ретуши*. С. 422–438): он отметил симфоническое построение текста, каждая глава которого представляет «яркий блок ощущений», где в биографический хронотоп вплетаются тематические линии, сводящие время к абстракции; роль автобиографии как автокомментария ко всему творчеству автора.

Набоков предвосхитил многие критические отклики в 16-й главе «Убедительного доказательства», не вошедшей в окончательный текст и представляющей собой полупародийную авторецензию (написана в 1949–1950 гг., впервые опубликована в: «The New Yorker». 1998/1999, 28 December — 4 January. P. 124–133; частичный русский перевод с комментарием см. в: М. Маликова, Д. Трезьяк. Сквозняк из прошлого // Звезда. 1999. № 4. С. 81-91): «Рецензенту, возможно, покажется, что непреходящее значение “Убедительного доказательства” в том, что это точка пересечения внешней художественной формы и исключительно частной жизни. Набоковский метод состоит в исследовании отдаленнейших областей прошлого в поисках того, что может быть названо

тематическими ходами или нитями. ⟨...⟩ Все упомянутые тематические линии постепенно сводятся в одну, переплетаются или сливаются в тонком, едва уловимом, но естественном союзе, который является как функцией искусства, так и поддающимся обнаружению процессом в эволюции личной судьбы. Так, по мере движения книги к концу, тема мимикрии, "изощренного обмана", которую Набоков исследует в своих энтомологических изысканиях, с пунктуальной точностью приходит на свидание с темой загадки, со скрытым решением шахматной композиции, со складыванием узора из осколков разбитой чаши — с загадочной картинкой, на которой взгляд различает контуры новой земли. В ту же точку слияния спешат и другие линии, будто сознательно стремясь к блаженному анастомозу, создаваемому искусством и судьбой. Решение загадки есть также разрешение проходящей через всю книгу темы изгнания, внутренней утраты, и эти линии в свою очередь переплетаются, достигая кульминации в теме радуги ("спираль жизни внутри агатового шарика"), и сливаются в великолепном rond-point[1] с его бесчисленными садовыми дорожками, парковыми аллеями и лесными тропинками, петляющими по книге. Невольно восхищаешься ретроспективной проницательностью и творческим вниманием, которые удалось проявить автору, дабы замысел этой книги совпал с тем, по которому его собственная жизнь была замышлена неведомыми сочинителями, и ни на шаг не отступать от этого плана» (перевод М. Маликовой, Д. Трезьяк).

С. 140. Другие берега. — Русский вариант автобиографии единственный не имеет жанрового подзаголовка (ср. «Убедительное доказательство» — мемуары, «Память, говори» — автобиография), а в его названии контаминированы две пушкинские цитаты — «другую жизнь и берег дальный» («Не пой, красавица, при мне...», 1828) и «иные берега, иные волны» («...Вновь я посетил...», 1835) (наблюдение А. А. Долинина), отсылка к обоим текстам подчеркивает поэтическую природу автобиографии и указывает на двойственность позиции мемуариста: воспоминания о прошлой жизни мучительны, но возникающий в результате элегический текст воскрешает идиллический хронотоп прошлого и обеспечивает преемственность воспоминаний. Возможность двойного понимания «других» берегов в зависимости от точки зрения — как России детства или как Америки, к берегам которой автор отплывает в финале, — позволяет возвести название и к стихотворению Пушкина «Для берегов отчизны дальной...» (1930) с известным вариантом: «чужбины дальной».

---

[1] Круглая поляна *(фр.)*.

С. 143. Мнемозина — греческая богиня памяти, мать девяти муз, также название бабочки Parnassius mnemosyne, которую Набоков нарисовал для вклейки в «Память, говори».

Конрад Джозеф (наст. имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857–1924) — английский писатель польского происхождения. Ср. аналогичный пассаж в 16-й главе, авторецензии-мистификации на «Убедительное доказательство»: «Конрад (английский которого, кстати, состоит из излюбленных клише) не имел за плечами двадцатилетнего опыта известного польского литератора, когда начинал свою английскую карьеру. Набоков же, когда он переключился на английский, был автором нескольких русских романов и множества рассказов ⟨...⟩. Единственное, что между ними есть общего, — это то, что оба с одинаковой легкостью могли бы избрать французский язык вместо английского» (перевод М. Маликовой, Д. Трезьяк). Начало сопоставлениям Набокова с Конрадом положил Э. Уилсон в рецензии на «Николая Гоголя» (вкл. в «Classics and Commercials», 1950), на что Набоков сразу же отозвался: «Он [Конрад] никогда не опускается до темнот моих солецизмов, но ему и не снились мои взлеты» (*N-W79.* P. 253).

С. 144. ...покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. — Видимо, предвидя чудовищную трудность этого перевода, Набоков сначала предложил сделать его Р. Гринбергу, но, прочтя переведенную с множеством «отличных “трувай”» главу (очевидно, 13-ю), ответил: «Случилась... ужасная вещь: прочитав свое описание эмиграции “с русского угла зрения”, я пришел к выводу, что печатать его — по-русски — никак невозможно. В пустоте залы каждый легчайший щелчок звучит как оплеуха, и не хочется мне гулять лягаясь среди притихших стариков. Все это было хорошо в далекой американской перспективе» (Письмо В. Набокова Р. Гринбергу от 14 января 1952 г. цит. по публикации Р. Янгирова // In memoriam: исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс-Atheneum, 2000. С. 375). Вместо перевода на русский Набоков в 1951 г. планировал английское продолжение автобиографии под заглавием «More Evidence» («Еще доказательства»), в которое собирался включить критику и дополнения к «Убедительному доказательству», рассказ «Три времени» (см. о нем: *B91.* P. 189–190), пересказ снов, рассказы о работе в Музее сравнительной зоологии и собирании бабочек, о частной школе Св. Марка, в которую в 1948 г. был определен его сын Дмитрий (ср. 4-ю гл. «Пнина»), английский рассказ «Double Talk» (1945), главы об Эдмунде Уилсоне, знаменитом американском критике, писателе и друге Набокова, заметки об американских университетских профессорах-славистах (видимо, иронические)

(дневниковая запись от февраля 1951, приведена в: *Nabokov's Butterflies.* P. 468–469).

С. 144. Позвольте представиться... — Стилизация рамки сказа, напоминающей о русской повествовательной прозе XIX в., указывает на важность для автобиографии Набокова этой традиции, а также характерной для русского классического романа темы путешествия, дороги как аналога жизненного пути.

...попутчик мой... — В журнальной публикации: «мой спутник» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 4).

С. 145. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам... — Свое отношение к «здравому смыслу» Набоков пылко выразил в лекции «Искусство литературы и здравый смысл» (конец 1940-х гг.): «...биографию здравого смысла нельзя читать без отвращения. Здравый смысл растоптал множество нежных гениев, чьи глаза восхищались слишком ранним лунным отсветом слишком медленной истины; здравый смысл пинал прелестнейшие образцы новой живописи, поскольку для его прочно стоящих конечностей синее дерево — признак психопатии; по наущению здравого смысла уродливое, но могучее государство крушило привлекательных, но хрупких соседей ⟨...⟩. Здравый смысл в принципе аморален, поскольку естественная мораль так же иррациональна, как и возникшие на заре человечества магические ритуалы. В худшем своем варианте здравый смысл общедоступен, и потому он спускает по дешевке все, чего ни коснется. Здравый смысл прям, а во всех важнейших ценностях и озарениях есть прекрасная округленность — например, Вселенная или глаза впервые попавшего в цирк ребенка» (перевод Г. Дашевского. Цит. по: В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе / Пер. с англ. под ред. В. Харитонова. М.: Независимая газета, 1998. С. 466). Это нетрадиционное для автобиографии начало, представляющее чуждую автору точку зрения[1], возможно, отсылает к набоковской интерпретации пушкинского стихотворния «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836), которое он делит на первые 4 строфы (их «следовало бы поставить в кавычки») — и последнее четверостишие, где звучит собственный голос поэта (*K98.* С. 277)[2]. Пушкинское «Exegi monumentum» — важный подтекст «Других берегов» и их рамка (ср. прим. к с. 334).

---

[1] См. анализ начала 1-й главы в: В. Е. Александров. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Перевод с англ. Н. А. Анастасьева. СПб.: Алетейя, 1999. С. 33–34.

[2] Такое прочтение восходит не к некоей статье Бурцева, как указывает Набоков в *K98*, а к «Мудрости Пушкина» М. О. Гершензона (1919. С. 49–68) (наблюдение А. А. Долинина). В сделанном Набоковым переводе этого стихотворения первые строфы действительно закавычены (V. Nabokov. Three Russian Poets. Norfolk, CT., 1944. P. 8).

С. 145. ...в бездну преджизненную... — По наблюдению М. Гришаковой (О некоторых аллюзиях у В. Набокова // Культура русской диаспоры: Владимир Набоков–100. Таллинн, 2000. С. 120), здесь, возможно, аллюзия на «Мысли» Паскаля: «Он [человек] равным образом — не способен понять небытие, из которого извлечен, и бесконечность, которою он поглощается 〈...〉 мы ограничены со всех сторон 〈...〉 Мы плаваем на обширном пространстве посередине, вечно неуверенные и колеблющиеся; нас носит от одного берега к другому; к какой бы тверди мы ни захотели пристать и закрепиться у нее, она качается, уходит от нас 〈...〉 Такое состояние для нас естественно, и однако же оно противнее всего нашим склонностям. 〈...〉 Не будем же искать надежности и твердости; разум наш постоянно обманывается изменчивой видимостью: ничто не может накрепко остановить конечное между двумя бесконечностями, которые заключают его в себе и от него ускользают...» (Б. Паскаль. Мысли. М., 1995. С. 199).

С. 146. ...под ивами Лхассы. — Лхасса (*тиб.* «божественное место») — столица Тибета, священный город для всех буддистов-ламаистов, труднодоступный и всегда привлекавший исследователей. К. К. Годунов-Чердынцев в «Даре» инвертирует обычную ситуацию путешествий и отказывается от его посещения (см. т. IV наст. изд. С. 297).

...фрейдовщину... с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие. — По наблюдению Б. Бойда (*B96.* P. 696), аллюзия на знаменитое психоаналитическое исследование Фрейдом русского аристократа, «человека-волка» («Из истории одного детского невроза» (1918, 1923)), где преследовавший пациента с детства сон о белых волках, сидящих на ветке за его окном, возводится к «первичной сцене» — увиденному им в полуторагодовалом возрасте родительскому соитию. (См.: Человек-Волк и Зигмунд Фрейд. Сборник / Перевод под ред. А. Юдина. Киев: Port-Royal, 1996. С. 172–184). Фрейдовские психоаналитические исследования (главным образом его собственная автобиография и практика автоанализа) оказали влияние на автобиографическое письмо нового времени. При известном отношении Набокова к «венскому шарлатану» случай «человека-волка» отразился в квазибиографической «Аде».

...средневековую подоплеку... — В журнальном варианте: «средневековую пошлейшую подоплеку» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 6).

С. 147. ...формула моего возраста, свежезеленая тройка... — В «Память, говори» Набоков последовательно исправляет ошибки, вызванные «худшей» из «аномалий памяти, обладателю и жертве которой не следовало бы никогда пытаться стать автобиографом

⟨...⟩ — приравнивать в ретроспекции свой возраст к возрасту века», то есть родившемуся в 1899 г. автору в 1903-м было 4 года, а не 3. Характерно, что большинство мемуаристов, обращающихся к раннему детству, помнят себя как раз с трех лет (ср.: «Я три весны в раю, и Змия / Не повстречал...» (Вяч. Иванов. Младенчество // Вяч. Иванов. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 2. СПб.: Академический проект, 1995. С. 19); «...на рубеже третьего года встаю перед собой; мы — друг с другом беседуем; мы — понимаем друг друга» (А. Белый. Котик Летаев // А. Белый. Серебряный голубь. Повести, роман. М.: Современник, 1990. С. 309)).

С. 147. ...«новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. — Набоков делит парк в вырском имении матери на «старый», сформировавшийся при прежних владельцах, Донауровых, и «новый».

...день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года... — В журнальном варианте правильнее: «по нынешнему календарю» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 6), так как В. Д. Набоков родился по старому стилю 8-го, а по новому 20 июля 1870 г.

С. 149. ...давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. — Возможно, это снижающая аллюзия на описание ландшафтов до-рождения у Белого («Мысли этого мига тронутся мне вдогонку лавиной. ⟨...⟩ каменистые пики грозились; вставали под небо; перекликались друг с другом; образовывали огромную полифонию творимого космоса; и тяжеловесно, отвесно — громоздились громадины...» («Котик Летаев». С. 309)), отсылающего, в свою очередь, к горным ландшафтам «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше.

С. 149—150. ...тяжелозвонном traine de luxe... С неизъяснимым замираньем я смотрел... на горсть далеких алмазных огней... Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг... — Ср. в «Подвиге» Мартын видит из окна поезда «огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман» (т. III наст. изд. С. 213. Ср. там же, с. 111), где пушкинские аллюзии «Других берегов» («тяжелозвонное скаканье») заменены лермонтовскими.

С. 151. Аббация — курорт на австрийском побережье Адриатического моря.

...у фиумской пристани... — Фиума (*итал.* Fiume, *хорв.* Rjeka) — город в 10 км от Аббации, с 1870 г. относился к Венгерскому Приморью (в наст. время называется Риека и снова принадлежит Хорватии), находится на Речском (Фиумском) заливе Адриатического моря.

С. 151. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — русский военный деятель, главнокомандующий вооруженными силами России на Дальнем Востоке во время русско-японской войны (1904–1905), смещен после поражения под Мукденом. В 1906 опубликовал 4-томный «Отчет генерал-адъютанта Куропаткина», в котором пытался оправдать свою деятельность. Во время Февральской революции был отстранен от занимаемой им тогда должности генерал-губернатора Туркестана, арестован и отправлен в Петербург, но был освобожден Временным правительством. С мая 1917 — в отставке, до конца жизни жил в своем бывшем имении Шешурино Псковской губернии, преподавал в средней школе и основанной им сельскохозяйственной школе, эмигрировать отказался, — таким образом, «повторение темы спичек» вымышлено Набоковым.

С. 152. В этот день он был назначен Верховным главнокомандующим Дальневосточной армии. — 12 октября 1904 г.

С. 153. ...с бодрым Василием Мартыновичем! — В «Память, говори» Набоков называет его реальную фамилию — Жерносеков, он описан также в рассказе «Круг» (1934, т. III наст. изд); см. его фотографию в: Тень русской ветки. Набоковская Выра. Автор-составитель А. Семочкин. СПб: Лига Плюс, 1999. С. 111.

ганглии — нервные узлы, скопления нервных клеток.

...говорил... об ужасах войны... — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1855–1856).

Зутнер Берта (1843–1914) — австрийская писательница и общественная деятельница, лауреат Нобелевской премии мира (1905), автор антивоенного романа «Долой оружие!» (1899).

Спустя года полтора после «Выборгского Воззвания» (1906) отец провел три месяца в Крестах... — «Выборгское воззвание» («Народу от народных представителей») — обращение группы депутатов (кадетов, трудовиков и социал-демократов) 1-й Государственной думы, принятое в Выборге 10 июля 1906 г. в ответ на роспуск Думы с призывом к гражданам выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п. Все подписавшие воззвание были привлечены к суду и лишены права баллотироваться на выборах во 2-ю Думу, а в декабре 1907 вместе с другими обвиняемыми В. Д. Набоков был «“по совокупности” двух моих прегрешений: выборгского воззвания и редакторских промахов в покойном “Вестнике Партии Народной Свободы”» приговорен к трем месяцам одиночного заключения, которое отбывал с 14 мая по 14 августа 1908 г. в Петербургской (в то время одиночной) тюрьме «Кресты» (В. Д. Набоков. Тюремные досуги. СПб., 1908. С. 5).

С. 153–154. ...в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной... — Ср. в опублико-

ванных В. В. Набоковым «Письмах В. Д. Набокова из Крестов к жене. 1908 г.» (Воздушные пути. 1965. IV. С. 265—275): «Камера моя — № 730, во втором этаже, на солнце, с видом на Неву и на купол Таврического дворца, — выходит окном в сад, где гуляют заключенные. ⟨...⟩ Камера чистая и достаточно просторная, воздух в ней прекрасный... "парашка" чистая, по-видимому новая, абсолютно не пахнет. Воды совершенно достаточно. С вечера я запасаюсь... и утром пользуюсь маленькой резиновой ванной, беру полный tub. ⟨...⟩ Книг дали своих три: я взял A. France *Jeanne d'Arc*, d'Annunzio *Piacere*... и уголовную книгу; кроме того, Библию, словарь, грамматику и книги из тюремной библиотеки», например, «Братьев Карамазовых» (С. 266—267, в «Тюремных досугах» Набоков возмущается ограничением в числе книг и случайностью состава тюремной библиотеки (с. 6—7)), в приводимом в письме напряженном расписании, составленном для себя заключенным, чтобы избежать тоски и праздности, указываются «чтение по-итальянски» и «гимнастика» («совершенно раздеваюсь, проделываю восемнадцать мюллеровских упражнений, с обливанием в резиновой ванночке и растиранием» («Тюремные досуги». С. 17)).

С. 154. ...поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги)... — В письме жене В. Д. Набоков извиняется за то, что пишет на такой бумаге: «Она — самая удобная, а при показывании ее ты можешь говорить, что это китайская бумага специально для переписки тайком» («Письма из Крестов». С. 267). Исключительно приватные «Письма к жене» дополняют более подробный и критический отчет о заключении с рассуждениями о пенитенциарной системе в «Тюремных досугах». Описанные отцом тюремные впечатления были, вероятно, использованы Набоковым в работе над «Приглашением на казнь» (ср., например, с надеждами Цинцинната, обманутыми подлым розыгрышем м-сье Пьера, принципиальное решение В. Д. Набокова не перестукиваться с соседями, так как «в тюрьме менее, чем где-либо, возможно выбирать знакомства и есть более всего шансов. что они окажутся маложелательными», но один сосед «довольно долго и назойливо добивался ответа и даже ухитрялся откуда-то — вероятно, через вентиляционный аппарат... замогильным голосом звать меня "товарищ!". Это ощущение — невидимого присутствия рядом с собой волнующегося и всячески заявляющего о своем существовании человека — крайне тягостно и чисто психически стеснительно» («Тюремные досуги». С. 8)).

Каминка Август Исаакович (1865—1940) — один из основателей партии кадетов; подробнее см. прим. к с. 637.

С. 154. ...из нашей Выры в село Рождествено... — «Вырская мыза» принадлежала матери Набокова, Елене Ивановне, урожд. Рукавишниковой (1876–1939) (подробнее см.: В. П. Старк. Реалии родовых гнезд в текстах Набокова // *Набоковский вестник 3.* С. 32–36). Рождествено — усадьба в селе Рождествено, в 69 верстах от Петербурга, купленная в 1890 г. Иваном Васильевичем Рукавишниковым, дедом писателя по материнской линии, усадьбой владел младший сын, Василий Иванович (1872–1916), от которого ее унаследовал В. В. Набоков (за 2 года до своей эмиграции из России). (Подробнее см.: С. А. Миронова. История усадьбы Рождествено и концепция ее развития // *Набоковский вестник 3.* С. 80–85.).

...другой холм, с... розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых... — Красная каменная церковь Рождества Богородицы находится слева от Киевского шоссе (бывшего Лужского тракта) на холме, отделенном от стоящей рядом на более высоком холме усадьбы Рождествено речкой Грязной (приток Оредежи), построена в 1833 г. Склеп из каррарского мрамора был поставлен И. В. Рукавишниковым для его рано умершего старшего сына Владимира (1870–1886), впоследствии в этом же склепе были похоронены он сам и его жена.

С. 155. ...на кубовом фоне... — Ж. Нива передает свидетельство Набокова, что слово «кубовый», несколько раз встречающееся в «Других берегах», является метой скрытого присутствия Белого (*А95.* Р. 683). По наблюдению А. А. Долинина, в «Петербурге» А. Белого встречается только «кубовый воздух».

С. 156. Вещие голоса, останавливающие Сократа и понукавшие Жанну Дарк... — Знаменитый «демоний» Сократа — внутренний голос, который являлся с помощью звука и знака с детства до смерти Сократа и удерживал его от дурного, как в пустяках, так и в важном (см., например, диалоги Платона «Федон» и «Пир»). Голоса арх. Михаила, св. Маргариты и св. Екатерины, перед образами которых Жанна д'Арк молилась в церкви своей родной деревни Домреми, призывали ее на подвиг освобождения Орлеана от английских захватчиков.

...«внутренний снимок» — лицо умершего родителя... возникающее в темноте... — Ср. в «Подвиге» ночью после смерти отца Мартын во сне «вдруг с совершенной ясностью видел полное лицо отца...» (т. II наст. изд. С. 104–105).

...героического усилия... — В журнальном варианте: «героического духовного усилия» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 17).

гипногогический — ведущий ко сну, возбуждающий сон (неологизм Набокова).

С. 157. фотизмы — световые явления (неологизм Набокова).

С. 157. ...улетают тяжелые птицы. — Возможно, реминисценция названия сборника В. А. Мамченко (1901–1982) «Тяжелые птицы» (Париж, 1936).

С. 158. смоленская каша — каша из смоленской крупы — мелкой гречки, обкатанной до размера макового зерна.

миндальное молоко — молоко, вскипяченное с толченым миндалем с добавлением сахара — сладкая подлива к киселям, пудингам, кашам.

«Богема» — опера (1895) Джакомо Пуччини (1858–1924).

С. 159. ...табельным иллюминациям... — то есть устраиваемым в дни табельных, казенных праздников (церковных и царских). Название произошло от древнего обычая выставлять в особых таблицах, или табелях, число лет, прошедших от начала текущего круга луны, для определения наступления праздника.

С. 160. ...сквозь магический кристалл моего настроения... — аллюзия на пушкинский «магический кристалл» («Евгений Онегин», 8, L). Этот образ Набоков интерпретирует, вопреки пушкиноведческой традиции, не как стеклянный шар для гадания (см.: Ю. М. Лотман. Пушкин. СПб.: Искусство-СПб., 1995. С. 728–729), а как метонимию письма, то есть художественного претворения реальности: «Мне представляется любопытным, что наш поэт употребляет это же слово “кристалл” в аналогичном смысле, говоря о своей чернильнице 〈...〉: “Заветный твой кристалл / Хранит огонь небесный”» (*К98.* С. 595).

Следующий далее эпизод описывается в «Даре» (т. IV наст. изд. С. 209–210).

...ныне Проспекту какого-то Октября... удивленный Герцен... — Невский проспект с 1918 по 1944 назывался Проспектом имени 25 октября, Большая Морская улица в 1902 г. переименована в Морскую, с 1920 — ул. Герцена, с 7 июля 1993 — снова Большая Морская.

...магазином Треймана на Невском... — магазин фирмы «Ф. Трейман» на Невском пр., д. 18.

С. 161. ...с неким доктором Либнером... — Фаберовские карандаши изготовлялись нюрнбергской фирмой «Фабер и Либнер».

...отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени)... — На самом деле мать Набокова происходила из петербургского купеческого рода Рукавишниковых, состоявшего в близком родстве с московскими купцами Рукавишниковыми (см.: В. П. Старк. Набоков — родословные отражения // *Набоковский вестник 2.* С. 16–17).

С. 162. ...по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. — То есть, соответственно, Выре, Батово и Рождествено.

С. 162. Ее родители оба скончались, от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей... — Свадьба Е. И. Рукавишниковой и В. Д. Набокова состоялась 2 (14) ноября 1897 г., ее отец, Иван Васильевич Рукавишников умер 23 февраля 1901, мать, Ольга Николаевна, урожд. Козлова, — 15 июня 1901.

фатаморгана — опрокинутый мираж (реальные объекты видны над горизонтом в опрокинутом виде).

С. 163. ...старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен... — Ср. комментарий Набокова к сцене тенниса в «Анне Карениной» (ч. 6, конец 22-й гл.): «Время действия — июль 1875 г., и теннис... — еще молодая игра. Ее в 1873 г. предложил майор Уингфилд в Англии. Она имела мгновенный успех, уже в 1875 г. в нее стали играть в России и Америке. В Англии теннис часто называют лоун-теннисом (сначала в него играли на крокетных площадках, твердых или покрытых дерном), чтобы отличать от старинной игры, в которую играют в специальных теннисных залах и иногда называют "Court Tennis"» (перевод А. Курт. Цит. по: В. В. Набоков. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 305–306).

Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис... — A. Wallis Myers. The Complete Lawn Tennis Player. 1908 (rev. ed. 1912).

С. 164. вигилии — бдения.

агарики — пластиночные грибы, то есть сыроежки, лисички и проч.

С. 166. Про Бову она мне что-то не рассказывала... — Имеются в виду незаконченные отрывки и планы поэмы Пушкина о Бове-королевиче (1814, 1822, 1834), основанной на популярной народной сказке.

...но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). — Няня А. С. Пушкина Арина (Ирина) Родионовна Яковлева (1758–1828), крепостная А. П. Ганнибала, родилась в деревне Суйда Копорского уезда Петербургской губернии, в 1797 была взята в няньки старшей сестре поэта Ольге, в «Комментарии к "Евгению Онегину"» Набоков замечает, что няня «была очень не прочь приложиться к бутылочке» (*К98.* С. 370), ср. в «Даре» (т. III наст. изд. С. 281).

С. 167. ...волшебных мелочей от Пето. — Магазин канцелярских принадлежностей и галантерейной торговли Пето находился на ул. Караванной, д. 16.

С. 168. Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский политический деятель, в 1912–1913 премьер-министр и министр иностранных дел, в 1913–1920 — президент Французской республики, во время Первой мировой войны был сторонником укрепления

Антанты и франко-русского союза, в августе 1912 и июле 1914 приезжал в Петербург.

С. 168. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка... — Возможно, небольшая ошибка памяти, и речь идет о Дрезденской выставке собак, проходившей в сентябре 1907 г.

Трэйни. — В «Память, говори» Набоков поясняет, что «назвал его так, потому что длиной и коричневостью он походил на спальный вагон поезда [train]».

С. 169. ...чеховских Хины и Брома. — Ср. в письме А. П. Чехова 29 августа 1895 г. из Мелихово: «...Хина, которую я запирал весною с Бромом, родила настоящих таксов: одного живого, другого — дохлого; живой — сучка, очень красивая; прозвана Селитрой...» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Письма в 12 т. Письма. Т. 6. М.: Наука, 1978. С. 71).

Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г... — Овдовев, мать Набокова в 1923 г. переехала в Прагу, где чешское правительство выделило ей небольшую пенсию, с ней жили Евгения Константиновна Гофельд (1884—1957; в 1914 г. она стала гувернанткой девочек Набоковых и последовала с семьей в эмиграцию) с сыном и родная сестра Набокова Елена Владимировна (по мужу Сикорская, 1906—2000).

...обручальное кольцо моего отца... привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу. — Так же носила кольца мать Себастьяна Найта.

С. 170. ...я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России... — См. в *К98*: «Блажен, кто смолоду был молод» (8-я гл.).

...двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов... — сын двоюродной бабки писателя Елены Николаевны Корф от второго брака с Виктором Николаевичем Голубцовым (1832—1903), известным генеалогом (их брак был затруднен сложным семейным родством, напоминающим инцестуальный сюжет «Ады». См.: И. В. Сахаров. К истории семейной драмы Голубцовых и Набоковых: Находка в архиве // *Набоковский вестник 2.* С. 120—127). В. В. Голубцов, генеалог-любитель, составил поколенную роспись рода Набоковых до середины XVII в., после революции он жил в Берлине, где и встречался с писателем.

...старый дворянский род Набоковых произошел... от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. — Очевидно, Набоков проводит связь с шестисотлетним дворянством Пушкина: в послании К. Ф. Рылееву лета 1825 г. в ответ на вопрос: «Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?» — Пушкин поправляет Рылеева: «Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB. мое дворянство старее)» (отмечено в: В. П. Старк. А. С. Пушкин. Родословные перекрестки. СПб.: БЛИЦ, 2000. С. 6, 96), что объясняет очевидный анахронизм

набоковского утверждения, исправленного в «Память, говори» (татарский князь не мог находиться на русской службе до Куликовской битвы 1380 года). З. Шаховская с иронией пишет, что «Набоков очень старался доказать происхождение своей семьи от, вероятно, не мифического, но историей не сохраненного татарского князька Набока» и дал герою «Дара» старую дворянскую фамилию, вторая часть которой, Чердынцев, напоминает об Орде (З. Шаховская. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 65). В действительности, по сообщению двоюродного брата писателя С. С. Набокова (род. в 1902), эта семейная легенда имеет некоторые основания: «За несколько недель до начала революции 1917 года семья Набоковых была удивлена новостью: в архиве Герольдии в запылившейся папке, хранившей свидетельства их дворянства, обнаружилась рукописная генеалогия XVIII века, возводившая их род к татарскому князю или князьку Набок-мурзе» (Nabokoff S. Preface // Ferrand J. Les Nabokov. Essai genealogique. Paris, 1982. P. 2. Цит. по: В. П. Старк. В. В. Набоков — родословные отражения // *Набоковский вестник 2.* С. 5–6).

С. 170. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода... — Русский графский и баронский род Корфов происходит из Вестфалии, где известен с 1241 г., бабка писателя Мария Фердинандовна баронесса фон Корф (1842–1925) принадлежала к его курляндской ветви, отделившейся в XV в., см. о чудачествах бабки Корф в: Н. Набоков. Багаж // Звезда. 1998. № 10. С. 83–85.

Корфу — итальянское название греческого острова Керкира.

С. 170–171. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Дансасами. — Несмотря на то что Набоков отбирает в основном знаковые генеалогические сближения, то есть рифмующиеся с Пушкиным или его собственными литературными и лепидоптерологическими работами, сообщаемые им сведения в общем точны: прабабушка писателя, Нина Александровна Шишкова (1817–1895), в замужестве Корф, состояла в отдаленном родстве с известным архаистом, основателем «Беседы любителей русского слова» адмиралом А. С. Шишковым (см.: *Набоковский вестник 2.* С. 32). Двоюродная прабабка писателя, София Александровна Шишкова, была замужем за Григорием Сергеевичем Аксаковым, сыном писателя С. Т. Аксакова. Брат прадеда писателя, генерал Иван Александрович Набоков, был женат на Екатерине Ивановне Пущиной (1791–1866), сестре лицейского товарища и друга Пушкина И. И. Пущина (см.: Н. Ф. Левин. Назимовы и Набоковы // *Набоковский вестник 2.* С. 22–23; В. Н. Рыхляков. Набоковы и Пущины // Там же. С. 38–45).

С. 171. ...герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков... он же... комендант С.-Петербургской крепости... (рапорты... напечатаны — кажется, в «Красном Архиве»)... — Иван Александрович Набоков (1787—1852), генерал-адъютант, герой войны 1812 г. (его портрет находится в Военной галерее 1812 г. в Зимнем дворце), с 1848 г. до смерти служил комендантом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге (подробнее о нем см.: Н. Ф. Левин. Назимовы и Набоковы // *Набоковский вестник 2.* С. 22—23), при нем в крепости, в частности, содержались Ф. М. Достоевский и М. Н. Бакунин. В 1849 г. был назначен председателем Следственной комиссии по делу петрашевцев — к этому положению он, в течение 15 лет командовавший гренадерским корпусом, мало подходил («Почтенный комендант Петропавловской твердыни и командир гренадерского корпуса, нечаянно-негаданно превратившийся в инквизитора, присяжного заседателя и вместе судью по политическому делу, о сущности которого, равно как и об обязанностях принятой на себя роли судьи, не имел решительно ни малейшего понятия, был твердо убежден, что если уже кто посажен в тюрьму, то, конечно, он уже тем самым виноват и заслужил казнь» (Мемуары И. Л. Ястржембского. Цит. по: Петрашевцы в воспоминаниях современников / Сост. П. Е. Щеголев. М.; Л.: Гос. издательство, 1926. Т. 3. С. 154)). Он упоминается в публикациях Н. Ф. Бельчикова в «Красном архиве» «Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев» (1931. 2(45). С. 130—146; 3(46). С. 160—178), а его краткий рапорт об отправке Ф. М. Достоевского и других заключенных в Петропавловской крепости петрашевцев в ссылку напечатан в: Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. С. 177.

...министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед)... — Д. Н. Набоков (1826—1904) был министром юстиции (1878—1885) при Александре II и играл ведущую роль в либеральных юридических реформах, см. также прим. к с. 174.

...известный общественный деятель Владимир Дмитриевич Набоков (мой отец). — В. Д. Набоков (1870—1922) — известный юрист-криминалист, общественный и политический деятель, публицист, см. о нем в наст. томе, с. 636 и прим.

Набоковский герб... — В «Память, говори» (с. 353) Набоков уточняет описание герба, ср. его геральдическое описание: «Щит, поделенный на четыре части лазурного и черного цвета, с серебряным крестом с трилистным завершением и заостренный внизу, в каждой четверти; увенчанный рыцарским шлемом в короне с тремя зубцами и двумя жемчужинами (привилегия наследственного дворянства) с лазурным, червонным и серебряным ламбре-

кеном. На гребне шлема: правая рука, в доспехе, потрясающая кривой саблей. Опоры: два льва. Девиз: "За храбрость", золотыми буквами на лазурном листеле» (цит. по: С. С. Набоков. Герб Набоковых в русской геральдике // *Набоковский вестник 2.* С. 167), см. его изображение в: *Набоковский вестник 2,* вклейка.

С. 171. ...рукавишниковский... представляет стилизованную домну. — Описание этого герба (см. его изображение в: *Набоковский вестник 2,* вклейка) Набоков использовал в «Приглашении на казнь»: «...древний герб города — а именно: доменная печь с крыльями...» (т. IV наст. изд. С. 49).

Карл-Генрих Граун (1701—1759)... автор известной оратории «Смерть Иисуса»... помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен... на пресловутой картине Менцеля... — Картина Альфреда Менцеля (1815—1905) — очевидно, «Концерт Фридриха II в Сан-Суси» (1852). За время службы придворным капельдинером Фридриха II Граун сочинил 28 опер, часть из них — по либретто короля. Оратория «Смерть Иисуса» впервые исполнена в 1755 г. и продолжала исполняться в Германии, в связи с чествованиями Фридриха Великого, до начала XX в. (подробнее см.: *Память, говори.* С. 356—357 и А. В. Вернер. Композитор Граун, предок писателя Набокова // *Набоковский вестник 2.* С. 277—281).

С. 171—172. ...ученый президент медико-хирургической академии ⟨...⟩ *Николай Илларионович Козлов (1814—1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц»...* — Набоков точно называет заглавия некоторых работ своего предка, приведенных, например, в статье о нем в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

С. 172. ...Прасковья Николаевна, вышла замуж за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам... — Тарновский Вениамин Михайлович (1839—1906) — создатель кафедры сифилидологии в Петербургской медико-хирургической академии и Русского сифилидологического и дерматологического общества, автор книги «Сифилитическая семья и ее нисходящее положение. Биологический очерк» (Харьков, 1902) и др. Тарновская Полина Николаевна (ум. 1910) писала на русском и французском, среди ее работ: «Etude anthropometrique sur les prostituees et les voleuses» (Paris, 1889), «Женщины-убийцы: Антропологическое исследование» (СПб., 1902, фр. перевод 1908). Набоков не упоминает, что и его отец В. Д. Набоков писал о юридическом аспекте полового вопроса, в котором придерживался европейских либеральных взглядов (В. Д. Набоков. Плотские преступления, по проекту уголовного уложения (1902) // В. Д. Набоков. Сборник статей по уголовному праву. СПб., 1904).

С. 172. Я люблю сцепление времен... Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал... как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену... — «Сцепление времен» заключается еще и в том, что П. Н. Тарновская снова встретилась с уже стариком И. К. Айвазовским (1817—1900) в июле 1888 г. за обедом в его имении под Феодосией, где он, видимо, рассказывал о Пушкине: присутствовавший там А. П. Чехов заметил в письме родным: «Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал», и в том же письме: «Между прочим, на обеде познакомился с женщиной-врачом Тарновской, женою известного профессора. Это толстый, ожиревший кусок мяса. Если ее раздеть голой и выкрасить в зеленую краску, то получится болотная лягушка. Поговоривши с ней, я мысленно вычеркнул ее из списка врачей...» (А. П. Чехов. Письма. Т. 2. 1975. С. 299. Этот «грубый выпад» Чехова Набоков упоминает в: *Память, говори.* С. 368).

Александр Бенуа, проходя мимо... мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого... и мимо... перовского «Прибоя»... с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его... «Бретань» и... «Версаль» соседствовали с... «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой»... — Судьба коллекции русских картин из собрания Набоковых не исследована. Здесь упоминаются, видимо, «Начало теплых дней» (1900-е, Русский музей) К. Я. Крыжицкого (1858—1911), акварель Александра Николаевича Бенуа (1870—1960) «Бретань» (1897, Русский музей), какой-то этюд из его версальской серии (1905—1906, ср. стихотворение Набокова «Прогулка с J.-J. Rousseau» (1917)). «Турки» Л. С. Бакста (наст. фамилия Розенберг, 1866—1924) — это, очевидно, эскизы к балету «Шехерезада» на муз. Н. А. Римского-Корсакова (1910). Какая из многочисленных радуг К. А. Сомова (1869—1939) имеется в виду — неясно, возможно, «Радуга» (1908, Русский музей); она описывается в «Истинной жизни Себастьяна Найта»: «картина маслом... грязная дорога, радуга, прелестные лужи» (гл. 4. Перевод С. Ильина). К. А. Сомов писал Александру Бенуа в марте 1897 г.: «Твои вещи висят в одной комнате с Альбертом [Альберт Николаевич Бенуа (1852—1936) — брат Александра Бенуа, художник-акварелист, с 1884 г. — академик], и, бедный он, как твое соседство ему мешает» (Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1997. С. 58).

С. 173. Две баронессы Корф... одна... в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету... королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн... — Анна Христиана баронесса фон Корф, урожд. Штегельман (уточнение реальных родственных связей с ней Набокова см. в: Э. М. Рауш-Гернет. Родственные связи

семьи Набоковых: Рауш фон Траубенберги и Корфы // *Набоковский вестник 2.* С. 87); ее «новой берлиной» воспользовалась семья Людовика XVI для бегства из захваченного мятежниками Парижа в деревню Варенн 20 июня 1791 г., король ехал в костюме камердинера, Мария-Антуанетта как камеристка баронессы. Т. Карлейль называет эту огромную кожаную повозку, запряженную 12 лошадьми, но тащившуюся черепашьим шагом и привлекавшую всеобщее внимание, одной из причин скорого ареста и возвращения (на ней же) короля в Париж (повозка изображена на многочисленных литографиях — см.: Т. Карлейль. Французская революция. История. М.: Мысль, 1991. С. 278–285).

С. 173–174. ...костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло... шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du père Crépin ⟨...⟩ портниха дело проиграла, причем ей... пришлось... еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. — Пересказываемая Набоковым история помещена в разделе сплетен (Gazette du palais) «универсального журнала» «L'Illustration» (16 avril 1859, p. 251) сразу после отчета о судебном иске наследников *père Crépin* — этот крайне скупой миллионер держал только одну служанку, которой выдавал на все расходы 35 сантимов в день (по завещанию все свое состояние он оставил этой служанке, жене церковного привратника, отсюда и иск наследников — проигранный ими). Проигранный же портнихой (Mme Delphine Baron из модного дома «Zéphyre») иск к Mme Korf принудил ее возместить 700 франков за платье и 1000 франков за моральный ущерб.

С. 174. Одной из заслуг его... считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров ⟨...⟩ «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное»... — Дословное повторение сведений из статьи о Д. Н. Набокове из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (СПб., 1897. Т. XX. С. 396–397), где поясняется о законе: «...противники этого суда требовали если не уничтожения его, то радикальных в нем изменений, а в результате изменился лишь к лучшему порядок составления списков присяжных и ограничен отвод присяжных сторонами». Цитируемая характеристика, принадлежащая А. Ф. Кони (Вестник Европы. 1885. Кн. 12), приведена там же, она описывает попытки Д. Н. Набокова спасти либеральные юридические реформы Александра II в царствование Александра III.

С. 175. Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888)— граф, русский генерал и государственный деятель, в феврале—августе 1880 г. фактический диктатор России, в 1880–1881 гг. министр

внутренних дел, после гибели Александра II вышел в отставку, последние годы провел за границей и умер в Ницце.

С. 176. Константин Дмитриевич Набоков (1872–1927) — младший из четырех братьев Набоковых, дипломат, с марта 1917 до сентября 1919 был де-факто главой русского посольства в Лондоне, то есть он представлял сначала монархию, а потом Временное правительство. После Октябрьской революции английское правительство наложило арест на фонды посольства и лишило его права пользования дипломатическим шифром, а также стало поддерживать официальные отношения с назначенным большевиками послом М. Литвиновым (Финкельштейном). К. Д. Набоков оказался в сложном и двусмысленном положении представителя «бывшего» правительства и был лишен общения с английскими правительственными кругами, в связи с чем 9 сентября 1919 г. вместо него управляющим делами посольства был назначен Е. В. Саблин, а К. Д. Набоков уволен (см.: К. Д. Набоков. Испытания дипломата. Стокхольм: Северные огни, 1921). После отставки занимался общественной деятельностью, много переводил (У. Уитмена, Г. Ибсена и др.) (см.: С. С. Набоков. Профили // *Набоковский вестник 2.* С. 157–158; Свен Густавссон. Архивные находки. Письма из архива К. И. Чуковского в Стокгольме // Scando-Slavica. Т. XVII. 1971. P. 45–48).

С. 177. Саблин Евгений Васильевич (1875–1949) — советник русского посольства в Лондоне, в сентябре 1919 сменил К. Д. Набокова в управлении посольством, после признания Англией де-юре Советской России (1924) и отстранения от дипломатической работы играл важную роль в жизни русской эмиграции в Англии (в его доме, в здании бывшего русского посольства, помещался так называемый «Russian House», в котором проходили публичные вечера Сирина в 1937 и 1939 гг.) (см. Владимир Набоков. Письма к Глебу Струве / Публ. Е. Б. Белодубровского // Звезда. 1999. № 4. С. 27–31.

...вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым... — Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 г. метательным снарядом, брошенным революционером И. П. Каляевым (1877–1905).

...на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. — Огромный пассажирский пароход «Титаник» 15 апреля 1912 г. столкнулся в Атлантическом океане с айсбергом, в кораблекрушении погибло 1503 человека.

«Злоключения Дипломата». — Книга К. Д. Набокова называется «Испытания дипломата» (Стокхольм: Северные огни, 1921), описывает дипломатическую службу в Индии и, главным образом, в Англии.

С. 177. ...в 1940 году, в Нью-Йорке... мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований... — В 1942–1946 гг. Набоков служил исследователем-энтомологом и фактическим куратором отдела лепидоптеры в Музее сравнительной зоологии в Гарварде.

...к изображению Константина Дмитриевича... он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под добродушной эгидой Теодора Рузвельта... — Портсмутский мир, завершивший русско-японскую войну 1904–1905 гг., был подписан 23 августа (5 сентября) 1905 г. в американском г. Портсмут (Нью-Хэмпшир), президент США Т. Рузвельт (1858–1919) выступал, по просьбе Японии, посредником на переговорах. Русскую делегацию возглавлял С. Ю. Витте (1849–1915), Иван Яковлевич Коростовец (ум. 1933) был секретарем русской делегации, К. Д. Набоков участвовал в качестве чиновника особых поручений при канцелярии Министерства иностранных дел в Петербурге.

...дядя Вася... — В журнальном варианте на «аглицкий» манер: «uncle Vassya» (Опыты. Кн. 3. 1954. С. 38).

С. 179. ...змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. — Это кольцо Набоков «подарил» отцу Мартына в «Подвиге» (т. II наст. изд. С. 105).

...имени безумного Батюшкова млечная черемуха... — аллюзия на строку из стихотворения К. Н. Батюшкова (1787–1855) «Беседка муз» (1871) «Под тенью черемухи млечной...». Поэт страдал наследственным психическим заболеванием, половину жизни провел в больнице для душевнобольных и под наблюдением врача.

С. 180. ...очень быстро обратил... в начальные слова известного монолога Гамлета. — Ключ к этому шифру прост: подстановка цифр под буквы — to be or not to be (отмечено в: Thomas A. Reisner. Nabokov's «Speak, Memory». Chapter III, Section 4 // Explicator XXX. № 2 (Oct. 1974). Item 18).

С. 181. ...французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». — Во французской поэзии финальные «-е» или «-ent», обычно непроизносимые, могут получать огласовку и ударение. В «Заметках о просодии» Набоков рассматривает взаимодействие между «теоретической, или природной, величиной неопускаемого немого "е" (никогда не произносимого как полная доля... стиха в отличие от других гласных в строке) и его фактической, или конкретной, величиной в данной строке» как элемент варьирования мелодии стиха и возможность имитации размера и женской рифмы англоязычных и русских стихов (В. Набоков. Заметки о просодии / Перевод с англ. Д. Р. Сухих // *К98.* С. 750–751, 791).

С. 182. ...распростертое посреди ковра тело... — Ср. «субботний» отдых Себастьяна Найта в одноименном романе (конец гл. 9).

Варламов Константин Александрович (1849–1915) — русский актер, с 1875 г. актер Александринского театра, прославился игрой в водевилях.

Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя Иван Николаевич Горелов, 1849–1925) — русский актер, в советское время театральный педагог, в 1880–1924 актер Александринского театра, прославился исполнением ролей в классических русских пьесах, главным образом чеховских.

Рождественская усадьба... была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый... заточил Алексея. — Небольшой дворец опального царевича Алексея находился неподалеку от рождественского дома Набоковых, в деревне Грязно, при нем была построена первая церковь Рождества Божией Матери, давшая название селу (Рожествено, с XIX в. Рождествено). Рождествено в качестве владения царевича Алексея называют К. Ф. Рылеев («Царевич Алексей в Рожествене», 1823?) и Д. С. Мережковский («Петр и Алексей», 1905).

...шашечницу мраморного пола... — точнее, пол в рождественском доме был покрыт линолеумом с узором под мрамор.

С. 183. ...крутых красных берегов... — Берега Оредежи сложены из песчаников ярко-красного цвета, впервые этот образ появляется у Набокова в стихотворении 1916 г.: «...Прозрачно отражались / Кораллами в воде песчаные брега» (В. Набоков. Стихи. Петроград, 1916. С.15).

...вдоль высокого нашего парка... — В журнальном варианте, видимо, правильно: «вдоль вырского нашего парка» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 44).

С. 184. ...слишком очевидной русскому читателю... моего поколения... — В журнальном варианте: «слишком очевидной русскому читателю — по крайней мере свободному русскому читателю моего поколения» (Опыты. 1954. Кн. 3. С. 45).

...в горах Америки моей вздыхать по северной России. — Парафраз «Евгения Онегина» (1, L): «Под небом Африки моей, / Вздыхать по сумрачной России».

паузник (или дольник) — вид тонического стиха, основанный на соизмеримости трехсложных ритмических групп неравного слогового состава, где пропуск слога заменяется паузой, в русской поэзии возник в подражаниях гекзаметру, получил распространение в поэзии Блока и футуристов.

С. 185. ...в Нижних Пиренеях, недалеко... от имения Ростана... — Ростан Эдмон (1868–1918) — французский поэт и драма-

тург, автор «Сирано де Бержерака», имеется в виду вилла Etchegorria (по-баскски «Красный дом») недалеко от деревни Камбо.

С. 186. ...бабочка сидела дыша... — аллюзия на строку из стихотворения А. Фета «Бабочка» (1884), часто цитируемую Набоковым: «Здесь на цветок я легкий опустилась / И вот — дышу».

С. 187. «Bibliothèque Rose» — сборники, издаваемые французским издательством «Ашутт» для детей и юношества, основательница серии С. де Сегюр (см. след. прим.).

«Sophie n'etait pas jolie...» — из романа для детей французской писательницы русского происхождения Софьи Федоровны Сегюр (урожд. Растопчина, 1799–1874) «Les Malheurs de Sophie» (1859), в русском переводе 1869 г. «Сонины проказы» (1864 — «Приключения Сонечки»), в финале которого — как в финале «Других берегов» — герои отплывают в Америку.

С. 189. ...Английского магазина на Невском. — Новый Английский магазин Дрюса на Невском пр., д. 15.

биолог Добжанский — американский биолог русского происхождения Theodosius Dobzhansky (р. 1900).

С. 190. ...я первым делом заглядываю... — В журнальном варианте: «я первым делом беззаконно заглядываю» (Новый журнал. 1954. Кн. 37. С. 73).

С. 191. книги о рыцарях ⟨...⟩ юноша в трико и волнистоволосая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. — Мотивы романа сэра Томаса Мэлори (1417–1471) «Смерть Артура» (1469) и других произведений о рыцарях «Круглого стола».

Голивог — популярный персонаж американских комиксов, упоминается в «Камере обскуре»: «Кто помнит теперь черного, как сажа, голливога в вороном ореоле дыбом стоящих волос, с пуговицами от портов вместо глаз и красным байковым ртищем?» (т. III наст. изд. С. 316).

С. 192. ...подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), — приговаривала мать ⟨...⟩ Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения. — Лестницу Фрейд интерпретирует как символ полового акта: «...нам на помощь приходит употребление в немецком языке слова “steigen” [подниматься], применяемого в специфически сексуальном смысле. Говорят: “Den Frauen nachsteigen” [приставать к женщинам] и “ein alter Steiger” [старый волокита]. По-французски ступенька называется la marche, мы находим совершенно аналогичное выражение для старого бонвивана “un vieux marcheur”. С этим, вероятно, связано то, что при половом акте многих крупных животных самец взбирается, поднимается (steiger, besteigen) на самку» (3. Фрейд. Символика сновидения //

З. Фрейд. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. С. 102–103).

С. 193. ...в... неэндемичных тополях... — то есть несвойственных этой природной зоне, привозных.

...там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть... — то есть в «Машеньку» (т. II наст. изд. С. 79).

долиннеевская ночница — то есть неопределенная ночная бабочка, не получившая таксономического наименования в соответствии с современной бинарной системой наименования животных и растений, состоящей из названия рода и вида, разработанной знаменитым шведским натуралистом Карлом Линнеем (1707–1778) в труде «Systema naturae» (1735).

...лодочку, меня в ней с Тристановой арфой. — Имеется в виду эпизод романа сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура», в котором раненый Тристан отправляется за противоядием на ладье в Ирландию, взяв с собой арфу; ср. в «Подвиге» (т. II наст. изд. С. 190).

С. 194. ...акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка... я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал. — Образ картины с нарисованной тропинкой и перехода в нее является лейтмотивом «Подвига» («Вспоминая в юности то время, он [Мартын] спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь» (т. II наст. изд. С. 100)), упоминается также в «Защите Лужина».

...череда английских бонн и гувернанток... встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский Дон Жуан, весь в черном. — Реминисценция стихотворения Ш. Бодлера «Дон Жуан в аду» (из сб. «Цветы зла», 1857).

Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам. — В 1948–1959 гг. Набоков служил профессором русской литературы в Корнельском университете (Итака, штат Нью-Йорк), с 1950 г. читал также курс европейской литературы (Остин, Диккенс, Флобер, Стивенсон, Пруст, Кафка, Джойс), его лекции опубликованы посмертно в 1980 г., русский перевод: В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998.

С. 195. мисс Клэйтон — Виктория Шелдон.

...повесть Марии Корелли «Могучий Атом»... — нравоучительный и мелодраматический роман (1896) английской писательницы Марии Корелли (наст. имя Мария Мэккей, 1864–1924).

...дом в Петербурге... на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство... — Подробнее об истории, архитектуре и внутреннем убранстве дома см. публикации в *Набоковском вестнике 3*. С 1922 по 1935 г. в доме жили служащие Большой датской северной телеграфной компании (благодарю за указание Л. Ф. Клименко. — *М. М.*).

С. 197. «Генерал Дуракин» (1863) — сатирический роман из русской жизни французской писательницы С. де Сегюр (см. прим. к с. 187).

Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы. — Этот образ, сопровождаемый, по наблюдению Г. Барабтарло, «чувством безотчетной тревоги», повторяется в рассказах «Месть» (1924), «Лебеда» (1932) (Г. Барабтарло. Призрак из первого акта // Звезда. 1996. № 11. С. 143).

С. 198. Вот перефразировка по русски: Есть странная дама из Кракова... — Вот английский оригинал этого лимерика из сб. Эдварда Лира (1812—1888) «A Book of Nonsense» (1846):

There was a Young Lady from Russia,
Who screamed so that no one could hush her;
Her screams were extreme, no one heard such a scream
As was screamed by that Lady of Russia.

плащ-лоден — длинное теплое мужское пальто болотного цвета, расклешенное книзу.

С. 199. «Graphic» — «The Graphic» — иллюстрированная еженедельная газета, выходившая в Лондоне в 1869—1932 гг.

...холодная компания копенгагенских зверьков... — датские фарфоровые фигурки.

Яремич Степан Петрович (1869—1939) — русский художник и искусствовед, участник выставок «Мир искусства», член «Союза русских художников».

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — русский график и театральный художник, член «Мира искусства», давал уроки рисования Набокову в 1912—1914 гг. В посвященном ему стихотворении «Ut piotura poesis» (1926, т. II наст. изд. С. 555) Набоков описывает свои петербургские воспоминания в стилистике рисунков Добужинского; их знакомство возобновилось в Берлине в 1926 г. и продолжилось в Америке (см. Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским / Публ., вступ. зам. и прим. В. П. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 92—108).

С. 200. бристоль — плотная бристольская бумага для акварели.

С. 200. Ютаха — Набоков транслитерирует название североамериканского штата Юта (Utah), контаминируя варианты, принятые в XIX в.: Юта и Утах.

тендер — (от *англ.* to tend — «обслуживать») обычно прицепленная к паровозу повозка с запасами воды и топлива.

С. 201. Mademoiselle — Сесиль Миатон.

С. 202. ...из желтого вагона... — то есть из вагона II класса.

...гиперборейская страна... — (от *греч.* hyperboreios) находящаяся на Крайнем Севере.

С. 203. нагольный тулуп — без покрышки, кожей наружу.

...провожающего нас фонаря... — В журнальном варианте: «провожающего нас предвокзального фонаря» (Новый журнал. 1954. Кн. 37. С. 87).

La jeune Sibérienne — повесть из русской жизни «Молодая Сибирячка» (или «Параша Сибирячка», 1815, рус. перевод 1840) французского писателя Ксавьера де Местра (1763–1852), много лет прожившего в России, в ней рассказывается история русского майора, захваченного в плен чеченцами, и простой девушки, пришедшей из Ишима в Петербург просить за отца.

С. 204. пальто на викуньевом меху — викунья (вигонь) — млекопитающее семейства верблюдовых с рыжевато-коричневой короткой и мягкой шерстью.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — русский юрист, знаменитый судебный оратор, общественный деятель, литератор.

С. 204–205. Лиловый карандаш стал так короток 〈...〉 *Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям.* — Ср. цветные карандаши в поэме «Детство» (1922): »Я разноцветные любил карандаши...» (т. I наст. изд. С. 514), «Даре» (т. IV. С. 372), в пародийном варианте в «Аде», где Ван использует их для психиатрических экспериментов (отмечено в: *T85.* P. 232–233).

С. 205. Иокаста — мать и жена Эдипа.

С. 208. Додэ — Доде Альфонс (1840–1897) — французский романист, автор «Приключений Тартарена из Тараскона» (1872).

С. 210. Помона — римская богиня, покровительница плодовых деревьев и садов.

...стереоптических очертаний... — объемный (видимо, неологизм Набокова, образованный по аналогии со «стереоскопический»).

С. 210–211. ...казалась сущим воплощением Иезавели из «Athalie»... Расина. — Иезавель — библейская царица Израиля, гонительница пророков. Ее дочь Аталия, героиня одноименной трагедии Ж. Расина (1639–1699), рассказывает, как к ней «в страшный час глубокой тьмы ночной явилась мать с грозными прорицаниями» (д. II, явл. V).

С. 212. Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — популярный французский поэт, эссеист, романист, его произведениям, написанным под эгидой католицизма, свойственны мотивы морализаторства, патриотизма, монархизма.

С. 214. ...этот параграф построен на интонациях Флобера. — В лекции о «Госпоже Бовари» Набоков отмечает перечисление расхожих образов, которое посредством «изощренного отбора и... ритмического расположения по изгибам фразы создает гармоническое и художественное впечатление» (В. В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 194 (перевод Г. Дашевского)).

С. 215. ...те два пузатых электрических вагона, которые... расходились посреди ледяной пустыни Невы. — С зимы 1894/95 гг. до зимы 1910/11 гг. по льду Невы ходил «ледовый трамвай» электрической железной дороги.

...со времени Первой Думы. — 1-я Государственная дума, в которую В. Д. Набоков был избран от партии кадетов, заседала с 27 апреля до 8 июля 1906 г.

С. 216. Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1896) — французский поэт-романтик, публицист, политический деятель, автор сентиментальных элегий и медитаций; по характеристике В. Белинского, его стихи «сотканы из охов, вздохов, облаков, туманов, паров, теней и призраков...» (В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 193.)

Коппе Франсуа Эдуар Жоакен (1842—1908) — популярный французский писатель, автор меланхолических стихотворений о любви и сентиментальных рассказов в стихах из жизни рантье, лавочников и гризеток Парижа.

Ленский — Филипп Зеленский.

С. 218. ...во время зимних каникул, в 1921 г., ... с товарищем... в Лозанне, посетил Mademoiselle. — Набоков навестил Сесиль Миатон в декабре 1921 г. вместе со своим кембриджским другом Робертом де Калри, ср. также этот эпизод в «Истинной жизни Себастьяна Найта».

Лучшим ее другом теперь была сухая старушка, похожая на мумию подростка... — Ср. в рассказе «Пасхальный дождь» (1923): «...м-ль Финар — тоже бывшая гувернантка, — маленькая, худенькая, с подстриженными, сплошь серебряными волосами» (т. I наст. изд. С. 77) .

С. 219. ...лодка, лебедь, волна. — Здесь, очевидно, контаминированы ироническая стилизация сентиментальной элегии в духе Ламартина, любимца Мадемуазель (отмечено в: Ю. Иваск. В. В. Набоков [некролог] // Новый журнал. 1977. Кн. 128. С. 276), и аллюзия на стихотворение Ш. Бодлера «Лебедь» (из сб. «Цветы

зла»), в котором лебедь, беспомощно бьющийся в луже, служит аллегорией изгнанника.

С. 220. ...первого своего махаона... аоническое обаяние этих голых гласных... — Аония — мифическая область обитания муз. Помимо квазиэтимологической аллитерации (ср. у Мандельштама метаописание этого скопления гласных: «Я так боюсь рыданья аонид, / Тумана, звона и зиянья!» («Я слово позабыл, что я хотел сказать...», 1921), связь махаона с музами, возможно, восходит к эссе А. Блока «Призрак Рима и Monte Luca» (1921), в которой «край махаонов на лесной опушке» описывается как топос воспоминания и искусства (см. об этом подробнее в: С. Сенедрович, Е. Шварц. В краю махаонов: К теме «Набоков и Блок» // Новый журнал. 1998. Кн. 211. С. 243–252).

С. 221. Боулдер — Bowlder and Dam, ГЭС на реке Колорадо на границе штатов Аризона и Невада, ее плотина находится в ущелье Black Canyon.

...цветная бабочка в шелку... — из стихотворения И. А. Бунина «Настанет день — исчезну я...» (1916).

...кроме Фета, «видевшего» бабочек. — Имеется в виду стихотворение Фета «Бабочка» (1884).

С. 222. «Живописное Обозрение» — первый в России научно-популярный богато иллюстрированный журнал энциклопедического характера, выходивший в Москве (1835–1844).

Шимкевич Владимир Михайлович (1858–1923) — профессор зоологии Санкт-Петербургского университета, специалист по беспозвоночным, пропагандист эволюционной теории Ч. Дарвина.

...произведения Альбертуса Себа («Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...»)... — «Точное описание богатейшего собрания природных объектов» *(лат.)* голландского натуралиста-любителя А. Себа (1665–1736).

...прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647–1717)... — Maria Sybilla Merian, художница, специалист по изображению цветов, насекомых и в особенности бабочек, в 1699 г. совершила двухгодичное путешествие в Суринам для изучения местных насекомых, результатом которого стала ее самая знаменитая книга с 60 иллюстрациями «Metamorphosis insectorum Surinamensium» (Amsterdam, 1705).

«Die Schmetterling» (Эрланген, 1777) гениального Эспера — монументальный труд (в 5 частях, 6 томах с дополнением, Эрланген, 1777–1805) «Die Schmetterling in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen» Юджина Иоанна Кристофа Эспера (Esper, 1742–1810), профессора университета в Эрлангене (Бавария).

Буадювалевы «Icones Historiques de Lepidoptères Nouveaux ou Peu Connus» (Париж, 1832 года и позже) — труд французского врача,

ботаника и энтомолога Жана Альфонса Буадюваля (Boisduval, 1799—1879), в котором описаны виды американских (главным образом калифорнийских) бабочек, привезенных во Францию на военных кораблях.

С. 223. «Natural History of British Butterflies and Moths» Ньюмана — контаминация названий двух книг английского натуралиста Эдварда Ньюмена (Newman, 1801—1876): «An Illustrated Natural History of British Moths» (London, 1869) и «An Illustrated Natural History of British Butterflies» (London, 1871).

...«Die Gross-Schmetterling Europas» Гофмана... — Эрнст Гофман (Hofman, 1837—1892) — куратор королевской естественнонаучной коллекции в Штутгарте, вторая его классическая книга, «Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas», как и упоминаемая Набоковым, вышла в Штутгарте в 1887 г.

...«Mémoires» вел. кн. Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русскоазиатским бабочкам... — Великий князь Николай Михайлович Романов (1859—1919) — внук Николая I, русский историк, географ и энтомолог-любитель, редактор «Mémoires sur les lepidopteres» (в 9 т. СПб., 1884—1901, на фр., англ. и нем. яз.); спонсировал экспедиции Г. Е. Грум-Гржимайло в Центральную Азию и сам в одной из них участвовал (К. К. Годунов-Чердынцев в «Даре» назван одним из его сотрудников (т. III наст. изд. С. 285)).

...классический труд великого американца Скуддера, «Buttreflies of New England». — Сэмюэль Скуддер (Scudder, 1837—1911) — виднейший американский энтомолог, один из основателей и редактор энтомологического журнала «Psyche» (в котором впоследствии печатался Набоков), автор множества популяризаторских работ о бабочках и трехтомного magnum opus, кото-рый, очевидно, и имеет в виду Набоков, «The Butterflies of the Eastern United States and Canada» (Кембридж, Массачусетс, 1889). Его коллекция в гарвардском Музее сравнительной зоологии находилась в ведении Набокова, когда он там служил (см.: *SL89.* P. 103).

...Штаудингер, стоял во главе крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми... — Отто Штаудингер (Staudinger, 1830—1900) — известный немецкий энтомолог, собрал огромную коллекцию насекомых, рассылая собирателей по всему свету и сам участвуя в экспедициях (был знатоком палеарктических бабочек); основал фирму «Staudinger & Bang-Haas» в Дрездене для торговли бабочками (в то время коллекционирование бабочек было хобби многих обеспеченных людей). Многие его статьи напечатаны в Трудах Русского энтомологического общества, почетным членом которого он состоял; автор знаменитого «Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebeits» (Берлин, 1901), бывшего популярным в свое время, но спорного с таксономической точки зрения.

С. 224. ларвы — гусеницы (бабочек).

Как объяснить, что... гусеница буковой ночницы... принимается «играть» двойную роль ⟨...⟩ *Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением... совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики)...* — Театральная лексика указывает, очевидно, на диалог с книгой Н. Н. Евреинова «Театр у животных (О смысле театральности с биологической точки зрения)» (Л.; М.: Книга, 1924), в которой автор также приводит множество примеров удивительной мимикрии во флоре и фауне и объясняет ее как частный случай свойственного природе «инстинкта театральности», но связывает с теорией Дарвина: «Театр у животных убедительнейшим образом заставляет нас еще раз осмыслить театральность как естественный, могучий метод борьбы в природе, приводящий между прочим к отбору наисмышленнейших лицедеев в жизни» (с. 53), о Набокове и Евреинове см. также: V. E. Alexandrov. Nabokov and Evreinov// *A95.* P. 402–405. Ср. антидарвинистскую позицию К. К. Годунова-Чердынцева в «Даре» (т. III наст. изд. С. 294) и неопубликованном Приложении к нему (см.: Д. Грейсон. Метаморфозы «Дара» // *H97.* С. 621–622).

С. 225. ...редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилью за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы, и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. — Набоков описал 22 бабочки (например, *Lysandra cormion* Nabokov), другими исследователями в его честь названо 8 (например, *Eupithecia nabokovi* Mc Dunnough) (см.: *Nabokov's Butterflies.* P. 751–756).

С. 226. ...был у меня в Тенишевском училище трогательный товарищ... — Николай Шустов.

Аксаков... в бездарнейшем «Собирании Бабочек»... — В очерке «Собирание бабочек (рассказ из студентской жизни)» (1859) Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) описывает свою страсть к собиранию бабочек, которая «доходила до излишеств, до крайностей, до смешного», и дает им подробные «научные» описания.

...был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей... — Имеются в виду «Записки об уженье рыбы» (1847) С. Т. Аксакова.

С. 226–227. ...милейший доктор Розанов... обманщик... — По наблюдению С. Сендеровича и Е. Шварц (Аурелиан и Элеонора, или Где Набоков ловил своих бабочек // Новый журнал. 1998. Кн. 213. С. 205–212), возможно, реальный случай соединяется

с отсылкой к нелепому с энтомологической точки зрения описанию метаморфоз бабочки в «Апокалипсисе наших дней» В. В. Розанова: «Гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а именно — космогоническое. ⟨...⟩ В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница: — “мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы”. — “Куколка” — это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. — Мотылек — это “душа”, погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар, и — никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек. Христос же сказал: “*В будущей жизни* уже не посягают, не женятся”. Но “мотылек” и есть “будущая жизнь” гусеницы, и в ней не только “женятся”, но — наоборот Евангелию... бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе... странным образом она имеет отношение *единственно к половым органам* “чуждых себе существ”, приблизительно — именно Древа Жизни: растений, непонятных, загадочных. ⟨...⟩ Гусеница и бабочка показывают, что на земле мы только “жрем”, а что “там” будет все — полет, движение, камедь, мирра, фимиам. *Загробная* жизнь вся будет состоять из цвета и пахучести» (В. В. Розанов. Собр. соч. Мимолетное / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1994. С. 432–433. Курсив везде авторский).

С. 227. каш-каш — (*фр.* cache-cache) прятки.

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — политический деятель, один из основателей партии кадетов, публицист. В 1906 г. избран председателем 1-й Государственной думы, после ее роспуска председательствовал на совещании ее фракций в Выборге.

...каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они жены Лота. — По ветхозаветному преданию, жена Лота, праведника, спасенного Богом из обреченного Содома, нарушила запрет и обернулась, за что была обращена в соляной столп.

С. 228. ...со стороны единодушной природы... — полемическая аллюзия на пушкинское «равнодушная природа» («Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 1829).

С. 229. ...молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. — По набоковской цветовой азбуке латуневого (желтого) цвета луна висела в небе розовато-телесного цвета.

С. 232. шметтерлингсбух — (*нем.* Schmetterlingbuch) каталог бабочек.

мочажка — болотце.

...над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками... — Точное описание реального цветка («болотной орхидеи») соединяется с литературной аллюзией

(в «Память, говори» здесь «ночная фиалка русских поэтов») главным образом на поэму Блока «Ночная Фиалка» (1906), а также «Северную симфонию» (1900) Андрея Белого.

С. 233. «Именем моим названа —» нет, не река... — цитата из стихотворения Н. С. Гумилева «У камина» (1911). В «Память, говори» Набоков утверждает, что именем его прадеда Николая Александровича Набокова была названа река Набокова на Новой Земле (см.: *Память, говори.* С. 354, 663). Это утверждение не совсем верно.

...Eupithecia nabokovi McDunnough, которая таинственно завершает тематическую линию, начавшуюся в петербургском лесу. — Бабочка названа в честь Набокова известным энтомологом из Оттавы Джеймсом МакДанну (1877–1962) в 1945 г. Это и есть тот «новый вид эвпитеции», который Набоков мечтал открыть в детстве (с. 211). Реальную бабочку он поймал 30 лет спустя на подоконнике дома Д. Лафлина в Алте (Юта) (*B91.* P. 65) и послал, вместе с другими поимками, МакДанну (Les Papillons de Nabokov. Red. Michael Sartori. Lausanne: Musee cantonal de Zoologie, 1993. P. 61).

Олбани (Albany), *Скенектеди* (Schenectady) — города на северо-востоке США, штат Нью-Йорк.

...один из любимейших моих крестников, мой голубой samuelis... — *Licaedis melissa samuelis* Nabokov, 1943, или Karner Blue — северовосточный подвид Melissa Blue, упоминается также в «Пнине». Набоков не открыл ее, но первым дал таксономическое описание и назвал в честь Самуэля Скаддера, который представил в Музей сравнительной зоологии образец этой бабочки (см.: Les Papillons. P. 57–58).

С. 234. ...модель коричневого спального вагона... — Эта модель описывается в «Подвиге» (гл. 2).

С. 235. ...сестры... Ольга и... Елена... — Родные сестры писателя Ольга Владимировна (в первом браке княгиня Шаховская, во втором Петкевич, 1903–1978) и Елена Владимировна (в первом браке Сколиари, во втором — Сикорская).

брат Сергей — младший брат писателя Сергей Владимирович Набоков (1900–1945).

В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. — Американский полярный исследователь Роберт Эдвин Пири (1856–1920) 6 апреля 1909 г. одним из первых достиг района Северного полюса.

В мае пел в Париже Шаляпин. — Ф. И. Шаляпин (1873–1938) в мае—июне 1909 г. пел в Париже в театре Шатле в операх «Псковитянка», «Борис Годунов».

В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр... — Французский авиаконструктор и летчик Луи Блерио

(1872–1936) 25 июля 1909 г. первым перелетел через Ла-Манш (из Кале в Дувр) на моноплане собственной конструкции.

С. 238. вестингхаузовские тормоза — изобретение (1869 г.) американского изобретателя и промышленника Джорджа Вестингауза (1846–1914), тормоз действовал посредством сжатого воздуха, стал широко применяться после 1872 г.

кафе-о-ле — (*фр.* cafe au lait) кофе с молоком.

С. 239. Сюд-Экспресс — от *фр.* sud (юг).

Биарриц — горд на юго-западе Франции на побережье Бискайского залива Атлантического океана.

...медиум Daniel Home... гладил... императрицу Евгению... — Хоум Даниэль Данглас (1833–1886) — шотландский спирит и медиум, в 1857–1858 гг. выступал в Биаррице перед Наполеоном III и его женой императрицей Евгенией, автор мемуаров «Случаи из моей жизни» (1863), знаменит тем, что никогда не был пойман. Его опыты левитации и проч. были подтверждены, среди многих других, известным русским химиком и популяризатором медиумизма А. М. Бутлеровым (1828–1886).

...потентату в штатском... — то есть гражданскому чиновнику (от *ср.-век. лат.* potentatus — «облеченный властью»).

подбрюдок — второй подбородок, отвислая часть подбородка.

...бланжевые и гри-перлевые... — то есть телесного и серебристо-серого цвета.

С. 240. парасоль — (от *фр. устар.* parasol) зонтик (солнечный).

беньер — (от *фр.* baigneur) тот, кто присматривает за купающимися.

...бабочка на языке басков «мизериколетея». — Точнее, «misirikote» (отмечено в: *B96.* P. 703). Набоков, очевидно, искажает название, чтобы «зарифмовать» его с именем своей детской возлюбленной Колетт, появляющейся в следующей подглавке.

С. 241. Колетт — Клод Депре.

С. 242. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «Là-bas, là-bas dans la montagne»... — «Туда, туда, в горы» *(фр.)* — из второго акта оперы «Кармен» (1875) Жоржа Бизе (1838–1875), эти же мотивы используются в «Лолите».

С. 243. Флосс, Флосс, Флосс! — В этой реплике сцены «мадлен» из «В поисках утраченного времени» Пруста Набоков акцентирует волевой художественный характер воспоминания: он вспоминает имя фокстерьера, когда видит те же образы, что и на рисунке на синем ведерке, из которого собачка лакала воду: «парус, закат и маяк» (с. 242) — «цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. 〈...〉 след... заполняется... закатом» (с. 243). Также floss — прошедшее время от немецкого fliessen (течь).

Она явилась с обручем... — реплика прощальной встречи Жильберты и Марселя на Елисейских полях в «По направлению

к Свану» Пруста (отмечено в: R. Alter. Nabokov and Memory // Partisan Review. 1991. Vol. 58. № 4. P. 620).

С. 245. ...«типографический» портрет Льва Толстого... составленный из печатного текста... «Хозяина и Работника»... — Ср. в рассказе «Круг» (1934) портрет Толстого, составленный из текста «Холстомера» (т. III наст. изд. С. 643).

леденцы-бульдегомы — (от *фр.* boule de gomme) круглые леденцы. Они связаны для Лужина с неприятным воспоминанием о болезни матери («Защита Лужина», см. т. II наст. изд. С. 336–337).

С. 247. ...воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного желтого шара. — «Перевод» фамилии вымышленного воздухоплавателя — «Зигмунд Фрейд» (*фр.* joyeux — *нем.* Freude — «радостный, радость»). Это очередная нападка на отца психоанализа, занимавшегося, по мнению Набокова, надуванием воздушных шаров своих «желтых» идей.

Следующим нашим гувернером... был украинец... — по фамилии Педенко.

С. 248. ...поляк. — Борислав Околокулак.

Макс Линдер (наст. имя Габриель Лёвьель, 1883–1925) — французский комик немого кино.

кикать — (от *англ. спорт.* to kick) бить по мячу (в футболе).

С. 249. спирея — невысокий кустарник, растение семейства разноцветных.

карбид — химическое вещество, светящееся на воздухе.

...священный Лурд... — Жительнице французского г. Лурд, 14-летней девочке Бернадетте Субиру в 1858 г. явилась Богородица. В 1862 г. Папа подтвердил истинность этих видений, и с тех пор источник в Лурде, около которого произошло чудо, стал местом паломничества.

...а брат — в Первую гимназию... — По разысканиям О. Сконечной в архиве Тенишевского училища, Сергей Набоков также поступил в Тенишевское училище на год позже брата, в 1911 (*Сконечная 91.* С. 109).

Ленский — Филипп Зеленский.

Гуревич Яков Григорьевич (1843–1906) — известный педагог, издатель журнала «Русская школа», автор учебников и хрестоматий по истории.

С. 250. Киссинген — немецкий курортный город Бад Киссинген.

...два раввина, жарко разговаривая на жаргоне... — на идиш.

...они произносят имя вашего отца! — В. Д. Набоков активно боролся с государственным антисемитизмом в своих корреспонденциях в «Речи» о кишиневском погроме 1903 г.

С. 251. «Адлон» — роскошный отель в Берлине.

шнельцуг — (от *нем.* Schnellzug) скорый поезд.

плерез — обшивка.

...в магазине Александра на Невском... — Популярный магазин смешанной торговли фирмы «Александр» находился на Невском пр., д. 11.

С. 253. Послушник, сбежав из горного монастыря... — Далее пересказывается и цитируется поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1840). Ср. показ слайдов волшебного фонаря в сопровождении чтения «Мцыри» в рассказе «Обида» (1931, т. III наст. изд. С. 547—548), также реминисценция волшебного фонаря из «В поисках утраченного времени» М. Пруста.

С. 254. ...картина соскальзывала с экрана очень даже прытко... Этим ограничивалось волшебство фонаря. — Волшебный фонарь (laterna magica) — то же, что современный диапроектор, был изобретен в XVII в. По наблюдению Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна, «для человека докинематографической эпохи чудом было не столько изображение, сколько способность этого изображения исчезать. 〈...〉 В литературу XIX века образ "волшебного фонаря" вошел как метафора преходящего» (Ю. Лотман, Ю. Цивьян. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994. С. 36—37).

С. 255. Сен-Готардский туннель — 14-километровый туннель под перевалом Сен-Готард в Швейцарии, по которому проходит железнодорожный путь, соединяющий Люцерн с Миланом.

...о, как сквозили в вышине... — По наблюдению С. Ильина и А. Люксембурга, этих строк в «Мцыри» нет (*Память, говори.* С. 677). Возможно, это набоковская стилизация Лермонтова (ср. в поэме: «А надо мною в вышине...» и рифмы «коростель—трель»).

С. 256. ...точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства. — Ср. в книге Себастьяна Найта «Неясный асфодель», соотнесенной с «Другими берегами»: «"И как только смысл всех вещей прошел сквозь их оболочки, множество идей и явлений, казавшихся самыми важными, съежилось — не до утраты значения, ибо теперь ничего не значащего не осталось, — но до тех же размеров, какие обрели другие явления и идеи, коим в важности прежде отказывалось". ...Мир, перестроенный, перетасованный, явил свой смысл душе с простотой обоюдного их дыхания» (гл. 18. Перевод С. Ильина).

С. 257. ...«Принципов Политической Экономии» Charles Gide. — Труд французского экономиста Шарля Жида (1847—1932).

«Cyrano de Bergerac» — пьеса Эдмона Ростана (1868—1918), поставлена в 1897, напечатана в 1898 г.

С. 257. Сервируя в теннисе... — Сервировать — (от *англ. спорт.* to serve) подавать мяч (теннис, волейбол).

С. 258. «Увидя почерк мой, вы, верно, удивитесь» — цитата из стихотворения А. Н. Апухтина «Письмо» (1882).

...«изобретенный» им новый тип мостовой... — Фигура Валентинова в «Защите Лужина» («что-то среднее между воспитателем и антрепренером») создана, видимо, контаминацией черт двух гувернеров — изобретательного Ленского (Валентинов также «изобрел... удивительную металлическую мостовую» (т. II наст. изд. С. 351)) и мерзавца Волгина.

С. 259. «Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей». — Эти же диктанты пишет Лужин (т. II наст. изд. С. 310), а в романе «Bend Sinister» из них появляется мелкий чиновник Конкордий Колокололитейщиков (гл. 17).

С. 260. В январе 1911 года я поступил в третий семестр Тенишевского училища... — По документам архива Тенишевского училища, Набоков поступил не в третий, а, как положено, в первый семестр — был зачислен 7 января 1910 г., сохранились отзывы о его успеваемости за этот год (ЦГИА. ф. 176, оп. 1, д. 181, л. 14 об.): «рисование очень хорошо», «арифметика вполне удовлетворительно», «русский вполне удовлетворительно, языка совсем не знает», «естествознание удовлетворительно (умный, понимающий)», «немецкий слаб, делает ошибки», и резолюция: «Перевести, заниматься языками — русским, немецким» (цит. по: *Сконечная 91.* С. 109).

С. 262. ...с нашим экслибрисом... — На экслибрисе изображен классический портик с надписью по фронтону «Из книг Владимира Дмитриевича Набокова», на фоне едва различимого пейзажа (см. его изображение в: *Набоковский вестник 1*, вклейка).

...экземпляр каталога отцовских книг... — Такой же «Систематический каталог библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова» (СПб.: Товарищество художественной печати, 1904; Первое продолжение каталога — 1911) хранится в Российской Национальной Библиотеке в Петербурге (подробнее см.: Л. Ф. Клименко. Библиотека дома Набоковых // *Набоковский вестник 1.* С. 193–200).

...«Бенц» ⟨...⟩ А. Ф. Керенский просил его... для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба и стара и едва ли годится для исторических поездок... — В. Д. Набоков, рассказывая об этом визите к нему двух офицеров с просьбой об автомобиле для спасения Керенского, так как «дело Вр. Правительства проиграно», коротко замечает, что «был до такой степени поражен этими словами, что в первую минуту подумал, нет ли тут мошеннического покушения с целью получить мотор и увезти его»,

а потом объяснил, что его «старенький ландолэ Бенц» приспособлен только «для городской езды, малосильный и потрепанный, абсолютно не соответствующий предполагаемой цели» (В. Д. Набоков. Временное правительство // Архив русской революции. Под ред. И. В. Гессена. 1921).

С. 263. ...мой сын, гарвардский студент... — Д. В. Набоков (род. 10 мая 1934 г.) — выпускник Гарвардского университета, профессиональный оперный бас, переводчик.

Альберта — провинция Канады.

...дом Огинского (№ 45). — Этот дом с 1870-х гг. и до революции 1917 г. принадлежал княгине В. Ф. Гагариной — непонятно, почему Набоков называет его «домом Огинского» (им принадлежал дом № 20 на ул. Караванной).

итальянское посольство (№ 43) — размещалось в этом доме с 1911 г. до Октябрьской революции.

Немецкое посольство (№ 41). — Дом был куплен для германского посольства в 1873 г., в 1889 г. перестроен архитектором посольства Шлуппом, в 1914 г. манифестанты разгромили здание и сбросили с его крыши скульптуры. С 1920-х гг. в здании снова помещалось представительство германского генерального консульства.

С. 265. В. В. Гиппиус, один из столпов училища... (тайный автор замечательных стихов)... — Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941) — поэт, прозаик, критик, педагог. С 1906 преподаватель словесности (литографированное издание его «Записок по истории русской литературы» (Пг., [б. г.]), которые, очевидно, слушал и В. Набоков, хранится в РНБ) , с мая 1917 директор Тенишевского училища. Писал стихи под псевдонимами Вл. Бестужев, Вл. Нелединский, в молодости был близок к декадентам, дружен с А. М. Добролюбовым, впоследствии проникся религиозно-философскими вопросами круга Мережковских.

С. 267. Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — русский политический деятель, историк, публицист, один из организаторов и председатель ЦК кадетской партии, редактор газеты «Речь», депутат 3-й и 4-й Государственной думы, во Временном правительстве министр иностранных дел, в эмиграции издавал газету «Последние новости».

...двоюродным братом, Юриком Раушем... — Георгий (Юрий) Рауш фон Траубенберг (25 дек. 1897 (6 янв. 1898 ст. ст.) — 1919), см. подробнее о нем в: *Память, говори.* С. 483–487.

Помню одну карикатуру... — Описываемую Набоковым карикатуру обнаружить не удалось, Г. Шапиро приводит другую в том же стиле из «Нового времени» (23 октября 1913) под названием «На весах Фемиды», появившуюся во время дела

Бейлиса, на котором В. Д. Набоков присутствовал как корреспондент от «Речи»: на ней изображены В. Д. Набоков с пачкой бумаг с титулом «Анкета по делу Бейлиса» и И. В. Гессен, сидящие на одной чаше весов, а П. Н. Милюков придерживает другую чашу и оглядывается в сторону нагруженного брильянтами Ротшильда, подпись: «Еще не все! Еще барон Ротшильд несет блестящее доказательство!» (G. Shapiro. Setting his myriad faces in his text: Nabokov's authorial presence revisited // Nabokov and His Fiction. New Perspectives / Ed. by Julian W. Connolly. Cambridge: Cambridge UP, 1999. P. 215–216.)

С. 268. ...«Новое Время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью... ее автор... некто Снесарев... — Н. Снессарев опубликовал в черносотенной газете «Новое время» (16(29) октября 1911), редактировавшейся А. В. Сувориным, статью с инсинуациями в адрес В. Д. Набокова, женившегося якобы «на богатой московской купчихе» и ставшего «содержанцем». В. Д. Набоков, «считая ниже своего достоинства вступать в какие бы то ни было сношения с г. Снессаревым» предложил Суворину напечатать в газете извинение или принять посланный с Н. Н. Колмейцевым вызов на дуэль. В «Письме в редакцию» «Речи» В. Д. Набоков пишет, что «г-н Суворин отказался и от исполнения моего требования, и от принятия моего вызова, отсылая меня к г. Снессареву. Мне остается только подчеркнуть, что редактор "НВ", очевидно, так же мало, как и его сотрудник, заслуживает того, чтобы кто-нибудь ожидал от него естественного проявления личной порядочности» (№ 286. 18(31) октября 1911). Этот случай нашел отражение в рассказе «Лебеда» (1932), см. прим. к нему Ю. Левинга (т. III наст. изд. С. 795–796).

...в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломейцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться с горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рождественского... — Во время решающего сражения русско-японской войны в Корейском проливе у острова Цусима 14–15 (27–28) мая 1905 г. флагманский броненосец «Князь Суворов», на котором находился вице-адмирал З. П. Рождественский, вышел из строя, Рождественский был ранен, эсминец «Бедовый» (на с. 270 Набоков ошибочно именует его «Буйный») снял Рождественского, но позже также сдался японцам.

...силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист... — Набоков вспоминал о Георгии Попове в письме другому тенишевскому соученику С. И. Розову в письме 1937 г.: «Попов! Пушка нашего детства, единственный человек, которого я в жизни боялся. У отца его

было извозное дело, и мальчиком (т. е. он никогда не был мальчиком, а всегда чудовищем) Попов для развлечения катался на ломовой телеге по Большому проспекту. Помнишь, как он ходил, руки до колен, громадные ступни в сандалиях едва отделяются от пола, на низком лбу одна-единственная морщина: непонимания полного и безнадежного, непонимания собственного существования. Весь в черном, черная косоворотка, и тяжелый запах, сопровождающий его всюду, как рок. Даже в зрелом возрасте я иногда вижу в кошмаре, как Попов наваливает на меня. Он бежал на войну — и вдруг появился в гусарском ментике, раненный в зад. Думаю, что он теперь давно сложил где-нибудь глупую и буйную голову» (цит. по публикации Ю. Левинга: Новый журнал. 1999. Кн. 214. С. 119). Набоков также вывел его в рассказах «Лебеда» и «Лик» (см. прим. Ю. Левинга в т. III наст. изд., с. 796).

С. 269. ...огромный, мягко освещенный Перуджино... — Из коллекции западноевропейской живописи дома Набоковых более 40 картин были переданы в Эрмитаж, а впоследствии распроданы, так что теперь известно о местонахождении только 17 из них (см.: П. И. Мягков. Западноевропейская живопись в собрании семьи Набоковых // *Набоковский вестник 1.* 1998. С. 209–216). В частности, неизвестно, о какой картине Перуджино идет речь.

...голландские полотна... — По сообщению П. И. Мягкова (указ. соч., с. 211), картины «малых голландцев» составляли, очевидно, большую часть собрания Набоковых, из них сейчас известно местонахождение семи, одна — «Пейзаж среди скал» Алларта ван Эвердингена (1621–1675)— хранится в Эрмитаже.

...портрет моей матери работы Бакста... — «Портрет Е. И. Набоковой» (1910, цв. кар.) работы Л. С. Бакста (1866–1924) ныне хранится в Русском музее; воспроизводится на вклейке в «Speak, Memory» с сопроводительной подписью Набокова: «Моя мать в возрасте 34 лет, пастель (60 см × 40 см) Леона Бакста, нарисован в 1910, в музыкальной гостиной нашего петербургского дома. ⟨...⟩ Ему стоило огромного труда запечатлеть меняющиеся очертания ее губ, иногда на одну деталь уходил целый сеанс. В результате — необычайное сходство...» (Перевод наш. — *М. М.*)

С. 270. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. ⟨...⟩ силуэты дуэлянтов сходились... на Волковом поле... — Имеются в виду «дуэль четверых» 12 ноября 1817 г., на которой стрелялись дуэлянты (В. В. Шереметев и А. П. Завадовский) и секунданты (А. С. Грибоедов и А. И. Якубович), произошедшая на Волковом поле в Петербурге (район современного Волковского кладбища), в результате которой Шереметев был убит, а Якубович сослан на Кавказ, и повторная дуэль Якубовича с Грибоедовым

23 октября 1818 г. в Тифлисе (послужившая, возможно, прообразом пушкинского «Выстрела»): «...пуля попала ему в левую кисть руки (по ней Пушкин узнал труп Грибоедова («Путешествие в Арзрум»)). Грибоедов поднял окровавленную руку свою, показал ее нам...» (Н. Н. Муравьев-Карский. Записки (1886–1894). Цит. по: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников / Под общ. ред. В. Э. Вацуро. М.: Худ. лит., 1990. С. 43–44).

С. 270. ...ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. — Иллюстрация И. Е. Репина к 4-й главе «Евгения Онегина» для юбилейного трехтомного издания Пушкина (М., 1899). Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — русский певец (лирический тенор), прославился исполнением арии Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

...в рощах старинных поместий... — Имеется в виду дуэль К. Ф. Рылеева и А. С. Пушкина, которая, по не подтверждаемой современными исследованиями гипотезе Набокова, состоялась в парке Батова между 6 и 9 мая 1820 г. (см.: *Память, говори.* С. 363; *К98.* С. 357–358).

С. 273. астериски — звездочки.

С. 275. ...разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом...— Речь идет о семитомном труде английского врача и литератора Генри Хавелока Эллиса (1859–1939) «Этюды половой психологии» (1897–1928).

С. 280. ...воплощая и rus и Русь... — каламбур из эпиграфа ко 2-й главе «Евгения Онегина» (*лат.* rus — «деревня»).

С. 282. ...фуксином окрашенные... — Краситель фуксин назван так из-за сходства цвета с окраской цветов фуксии — темно-фиолетовый, в отраженном свете имеет зеленый свет, его водный раствор ярко-красный.

С. 283. ведряных облаков — то есть предвещающих ведренную — сухую и ясную — погоду.

С. 284. ...Тамару... псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени... — Прототипом Тамары послужила Валентина Евгеньевна (Люся) Шульгина (1900–1967), адресат сборника В. Набокова «Стихи», ряда стихотворений из сборников «Гроздь» и «Горний путь», прототип Машеньки в одноименном романе, ср. в предисловии к его английскому переводу («Mary», 1970): «Читатель моих “Других берегов”... не может не заметить некоторых совпадений между моими и ганинскими воспоминаниями. Его Машенька и моя Тамара — сестры-близнецы; тут те же дедовские парковые аллеи; через обе книги протекает та же Оредежь; и подлинная фотография рождественского дома, каков он теперь... могла бы служить отличной иллюстрацией перрона с колон-

надами в “Воскресенске” из романа» (перевод Г. Барабтарло и В. Набоковой). По «цветной азбуке» Набокова имена Валентина и Тамара имеют черно-пастельно-розоватую окраску, как сопровождающая героиню бабочка-траурница («бархатная... с палевой каймой», с. 286). В «Смотри на арлекинов!» один из романов героя, квази-«Машенька», называется «Тамара».

С. 285. Жадовская Юлия Валериановна (1824–1883) — русская поэтесса и прозаик.

Гофман Виктор Викторович (1884–1911) — русский поэт и беллетрист.

К. Р. — псевдоним великого князя Константина Константиновича Романова (1858–1915), поэта, переводчика, филолога.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — писатель, философ, литературовед, здесь имеются в виду его стихи 1880-х гг.

Мазуркевич Владимир Александрович (1871–1942) — поэт, драматург, актер; многие его стихи положены на музыку (например, «Письмо»).

«Ваш уголок я убрала цветами» — неточная цитата из романса (сл. Мусоргского, муз. С. А. Штемана, М. А. Гутхейль, 1905), фольклорного варианта стихотворения В. А. Мазуркевича «Письмо» (1900) — «Наш уголок я убрала цветами...» (см.: Русский романс на рубеже веков / Сост. В. Мордерер и М. Петровский. Киев: Оранта-Пресс, 1997. С. 71, 316), одного из тех, которые А. Блок переписал в дневник (7 ноября 1920 г.) «в очередном припадке провидения... точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно» («Адмиралтейская Игла»; т. III наст. изд. С. 624).

С. 285–286. ...отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского. — Евгений Константинович Шульгин был управляющим имением под Полтавой (*B90.* P. 113), мать Люси звали Таисия Никаноровна Алексеева.

С. 286. ...гувернер Волгин... — Николай Сахаров.

С. 288. ...телефоном (24–43)... — подлинный телефон в доме Набоковых на Морской, судя по справочнику «Весь Петербург».

...с палеографическими экспонатами... — то есть древними рукописями.

В Музее Александра Третьего... — Так до 1917 г. назывался Государственный Русский музей.

...картины Шишкова и Харламова, — какая-нибудь «Просека в бору» или «Голова цыганенка» (точнее не помню)... — Набоков иронически переиначивает фамилию русского пейзажиста Ивана Николаевича Шишкина (1832–1898) по аналогии с известным архаистом, «уму супостатом»; имеются в виду, очевидно, картины Шишкина «Лесная глушь» (1872) и Алексея Алексеевича Харламова (1840–1922?) «Голова мальчика-цыгана» (1870).

С. 288. Музей Суворова — Мемориальный музей А. В. Суворова открыт в 1904 г. в специально построенном здании с фасадом в русском стиле (1901—1904, арх. А. И. Гогне), украшенном двумя мозаичными картинами (совр. адрес: ул. Кирочная, д. 43), в его собрании представлены личные вещи Суворова, документы, книги, награды, оружие, знамена, портреты полководцев и батальная живопись, а также крупнейшая в России коллекция оловянных солдатиков.

С. 289. Педагогический музей — очевидно, Педагогический музей военно-учебных заведений, находившийся на наб. р. Фонтанки, д. 10.

Музей придворных карет — Придворно-Конюшенный музей (1857—1860, арх. П. С. Садовников) находился на Конюшенной пл., д. 2.

крохотное хранилище старинных географических карт — очевидно, Азиатский музей (в здании Академии Наук), где была коллекция географических карт.

...в вертикально падающий крупный снег «Мира Искусства». — По наблюдению А. М. Конечного, многие мемуаристы-эмигранты, писавшие о Петербурге, видели его через призму картин «мирискуссников» (А. Конечный. Петербург «с того берега» (в мемуарах эмигрантов «первой волны») // Блоковский сборник XIII. Русская культура XX в.: метрополия и диаспора. Тарту, 1996. С. 130).

«Отцвели уж давно хризантемы в саду» — романс на слова В. Д. Шумского, музыка Харито (ценз. разреш. 1913), исполняла Варя Панина.

«Не подходите к ней с вопросами» — из стихотворения А. Блока «На железной дороге» (1910).

С. 290. Мозжухин... устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы... — В дореволюционной России был популярен миф о гипнотической силе взгляда Мозжухина, ср.: «Вдруг, совершенно неожиданно, в мою душу впился этот сверхчеловеческий свинцовый взгляд... И в этом взгляде для меня потонуло все — и пошлый сеанс кинематографа, и грубая публика вокруг, и треск аппарата, и моя маленькая, одинокая жизнь» (Ксения Мар. Его взгляд (отрывок из дневника) // Киногазета. 1918. № 10. С. 6).

...по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда. — Реминисценция общих мест символистского, поэтического и прозаического, «петербургского текста».

...в 1916 году я напечатал сборник... — Первый сборник В. Набокова «Стихи» (Петроград: Худ.-графич. заведение «Унион»,

1916) был напечатан на средства автора в количестве 500 экземпляров. В архиве санкт-петербургской газеты «Речь» (ЦГАЛИ) сохранились гранки этого сборника с не вошедшими в окончательный текст посвящением В. Шульгиной «Тебе видавшей тот же сон / я эту книгу посвящаю. В. Набоков / Апрель, 1916 г. / Петроград» (сообщено Е. Б. Белодубровским) и несколькими стихотворениями (опубл. Е. Белодубровским в: Час Пик. 22 июля 1991. С. 10).

С. 291. ...в его удивительной поэме о сыне... — Среди стихотворений В. В. Гиппиуса нет ни одного о сыне. Возможно, «сыне» должно быть с заглавной буквы, то есть Сыне Божьем, речь идет о поэме В. В. Гиппиуса (под псевд. Вл. Нелединский) «Влюбленность» (Альманах муз. Петроград: Фелана, 1916).

Его... кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом... — Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) — поэтесса, литературный критик. Литературный фонд — «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» — существовал в 1859–1918 гг., В. Д. Набоков состоял его членом.

...почти патологического равнодушия к «рецензиям»... — Набоков не только не был равнодушен к рецензиям, но явил редкие примеры длительной перебранки с рецензентами в связи с его комментированным переводом «Евгения Онегина» и возражений юбиляра на посвященные ему статьи, напечатанные в посвященном ему номере журнала «Russian Literature Triquaterly» (1970. № 17).

С. 292. ...на Вербной неделе... американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в... небоскребах Нью-Йорка... — Эти вербные игрушки Набоков описывает в стихотворении «Верба» (1919, т. I наст. изд. С. 497) и подробнее в эссе в журнале «Карусель» (1923, № 2): «...стеклянные трубки, наполненные подкрашенным спиртом, в которых танцует бутылочно-зеленый чертик, стоит лишь нажать на резиновую грушу, которой заканчивается трубка» (перевод Н. И. Толстой. Цит. по: Звезда. 1996. № 11. С. 43), в «Бледном огне» таких «картезианских чертиков» изготовляет убийца Градус. Эти игрушки упоминаются в «Воспоминаниях» М. В. Добужинского» (М. В. Добужинский. Воспоминания / Изд. подг. Г. И. Чугунов. М.: Наука, 1987. С. 20), в мемуарном эссе М. И. Цветаевой «Черт» (Современные записки. 1935. Кн. LIX).

...кольцовские цветы для венков, которые она, как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать... — аллюзия на стихотворение А. В. Кольцова (1809–1842) «Песнь русалки» (1829).

...санатория в снегах... — Набоков поправлялся после пневмонии в январе 1917 г. в санатории в Иматре (Финляндия), где встретил свою новую возлюбленную, Еву Любржинскую.

С. 293. ...мы расставались навеки... на старом мосту... — Ср. стихотворение Ф. Годунова-Чердынцева из «Дара» (в сб. Набокова «Стихи» 1979 г. под загл. «Ласточка»): «Однажды мы под вечер оба / стояли на старом мосту. 〈...〉 До завтра, навеки, до гроба — / однажды, на старом мосту...»

...как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. — По наблюдению А. А. Долинина, имеется в виду запись в дневнике Блока от 16 июня 1917 г.: «За окнами — деревья и дымный закат», которая, в свою очередь, ассоциируется с предвоенными «дымными закатами» из «Петроградское небо мутилось дождем...» («В этом поезде тысячью жизней цвели / Боль разлуки, тревоги, любви, / Сила, юность, надежда... В закатной дали / Были дымные тучи в крови») и «Возмездия» («Пожары дымные заката / Пророчества о нашем дне») (А. А. Долинин. Набоков и Блок // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 36).

...впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре... — Роман «Машенька» (1926, см. том II наст. изд. С. 101).

С. 294. Мы поехали двумя партиями: брат и я ехали отдельно... — Владимир и Сергей Набоковы выехали из Петербурга 2 (15) ноября 1917 г.

С. 296. ...оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. — Аллюзия на известный юмористический рассказ Тэффи (Н. А. Лохвицкой) «Человекообразные» (1911).

В своей Гаспре графиня Панина... — Панина (урожд. Половцева) София Владимировна, графиня, владелица имения «Гаспра» в Крыму.

С. 297. Иван Ильич Петрункевич (1843—1928) — один из основателей и руководителей партии кадетов, редактор газеты «Речь». См. также прим. к с. 637.

На террасе... сидели Толстой и Чехов. — Л. Н. Толстой жил в Гаспре в сентябре 1901 г., его свидание там с А. П. Чеховым произошло 12 сентября, см. описание встречи, сделанное И. А. Буниным со слов Чехова в: Литературное наследство. Т. 68. С. 656.

...письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. — Ср. первый вариант этого образа в «Машеньке»: «Ганин вспомнил, как получил это письмо... блестел... юный месяц, и рядом с ним, у нижнего края рога, дрожала капля — первая звезда».

С. 298. «Боже, где оно...» — Эти же строки из сохранившихся писем Тамары (Валентины Шульгиной) Набоков процитировал в «Машеньке» (1926, т. II наст. изд. С. 112), а в предисловии к ее английскому переводу («Mary», 1970) отметил, что, когда писал

эту главу автобиографии, «был поражен тем, что, несмотря на выдуманные эпизоды... настойка личной реальности в романтизированном рассказе оказалась крепче, чем в строго правдивом автобиографическом изложении. ⟨...⟩ объясняется это, в сущности, совсем просто: по возрасту Ганин был в три раза ближе к своему прошлому, чем я к своему в “Других берегах”» (перевод Г. Барабтарло и В. Набоковой).

С. 298. ...под фамильей Никербокер. — Дидерих Никербокер, герой известной мистификации Вашингтона Ирвинга (1783–1859), романа «История Нью-Йорка» — хроники этого города, когда он был еще небольшим голландским поселением, написанной от лица вымышленного ученого-педанта Д. Никербокера.

Тема возвращения в Петербург инкогнито использована Набоковым в стихотворении «К кн. С. М. Качурину» и романе «Смотри на арлекинов!». Вариант автобиографии «Убедительное доказательство» (1951) должен был открываться эпиграфом (не включенным в окончательный текст): «Там был дом. Вон там. Я не мог себе представить, что все так изменилось. Как ужасно — я ничего не узнаю. Нет смысла идти дальше. Простите, Хопкинсон [очевидно, фамилию следует переводить «Надеждин». — *М. М.*], что заставил вас проделать такой долгий путь. Я предвкушал настоящую оргию ностальгии и узнавания! Кажется, тот человек что-то подозревает. Поговорите с ним. Turisti. Amerikantsi. Подождите-ка. Скажите ему, что я призрак. Вы ведь знаете, как по-русски «призрак»? Mechta. Prizrak. Metafizicheskiy kapitalist. Бегите, Хопкинсон!» (Цит. по: *В96.* Р. 695; перевод наш. — *М. М.*)

С. 299. ...шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью)... — Ср. шахматы, которыми играет Лужин с отцом в «Защите Лужина»: «Одну из пешек заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с маленькой игральной костью и красной фишкой), оказалась неподходящей ни к одному из них» (т. II наст. изд. С. 339) и в «Смотри на арлекинов!»: «...она [Люба] помнит тысячи чарующих мелочей, разбросанных по моим романам, вроде... шахмат (в “Пешка берет королеву”) с утраченным конем, “замещенным какой-то фишкой, сироткой иной, незнакомой игры...”» (В. Набоков. Смотри на арлекинов! / Перевод С. Ильина // В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах / Сост. С. Ильина и А. Кононова. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 5. С. 171) (эпизоды сопоставлены в: *Т85.* Р. 232).

...Чуковский... на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения... Оскара Уайльда. — К. Д. Набоков в своих воспоминаниях «Испытания

дипломата» (Стокхольм, 1921) сдержанно замечает, что «депутация была разношерстная и не всех можно было счесть подходящими для выполнения цели, т. е. ознакомления с настроениями политических и общественных кругов...» (с. 38). К. И. Чуковский, впрочем, опровергает этот анекдот: «Со слов своего отца Влад. Дмитриевича Набокова романист рассказывает в своих мемуарах, будто в то время, когда я предстал в Букингемском дворце перед очами Георга V, я будто бы обратился к нему с вопросом об Оскаре Уайльде. Вздор! Король прочитал нам по бумажке свой текст и Вл. Д. Набоков — свой. Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца...» (К. И. Чуковский. Дневник 1930–1969 / Сост., подг. текста, комм. Е. Ц. Чуковской. М.: Современный писатель, 1995. С. 299).

С. 300. ...отец рассказал... о том, как он подарил свое вечное перо «Swan» адмиралу Джеллико... — «Само собой понятно, что я не мог отказать себе в удовольствии получить от Джеллико и Стэрди их автографы на карточке меню. Джеллико подписался моей ручкой Swan и с похвалой отозвался о пере, в самом деле, пишущем очень плавно и легко... Перед тем как проститься, я сказал адмиралу, что он доставил бы мне большую радость, если бы согласился принять от меня на память эту ручку. Когда мне придется читать о подвигах британского Grand Fleet, я буду представлять себе, что приказы и отчеты адмирала Джеллико подписаны моей ручкой» (В. Д. Набоков. Из воюющей Англии. Петроград, 1916. С. 39).

Адмирал Джон Джеллико (1859–1935) командовал британским флотом в Ютландском сражении (31 мая — 1 июня 1916 г.), самой крупной морской баталии Первой мировой войны.

С. 301. Гаррисону, моему «тютору»... — Эрнест Гаррисон (1877–1943).

...другого White Russian... — Михаил Калашников, с которым Набоков соседствовал в Кембридже, на самом деле, в течение двух лет дружил и даже был обручен с его кузиной Светланой Зиверт; впоследствии Калашников переехал в Америку, где сделался боксером (см.: О. А. Казнина. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М.: Наследие, 1997. С. 278–280).

«Протоколы сионских мудрецов» — антисемитская подделка, опубликованная С. А. Нилусом (1862–1930) в начале 1900-х гг., не раз переводилась и переиздавалась.

«L'homme qui Assassina» Фаррера — расистский роман французского писателя Клода Фаррера (наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон, 1876–1957).

С. 302. пианола — механическое фортепиано.

С. 303. разымчивый — по Словарю Даля, «возбуждающий, забористый».

...один студент, прошедший через войну и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным эспертом по (скажем) египетской истории. — Речь идет о видном английском политическом деятеле Ричарде Остине Батлере (1902—1982), который, закончив в 1925 г. учебу в Кембридже, до 1929 г. читал в нем французскую историю, а затем, будучи избранным в парламент от партии консерваторов, занимал видные посты во многих министерствах и закончил свою политическую деятельность на посту министра иностранных дел (1963—1964). Он послужил также прототипом Дарвина в «Подвиге» (ср. в предисловии к английскому переводу романа («Glory», 1970): «...Мартына можно еще в какой-то степени считать моим дальним родственником ⟨...⟩ Дарвин полностью выдуман» (перевод наш. — *М. М.*)).

С. 304. ...назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда. — Герой новеллы Ж. Ж. Руссо «Любовные приключения Эдуарда Бомстона», который упоминается также в романе в письмах «Юлия, или Новая Элоиза», — он отдается политической деятельности, отказавшись от брака с любимой девушкой.

князь Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — после Февральской революции 1917 г. возглавлял два первых кабинета Временного правительства.

...о Донне и Хопкинсе... — Джон Донн (1572—1631) — английский поэт-метафизик. Хопкинс Джеральд Манли (1844—1889) — английский поэт.

...в только что появившейся главе об искусе Леопольда Блума... — Очевидно, имеется в виду глава «Навсикая» II части «Улисса» Д. Джойса, в которой Блум видит на пляже Герти Макдауэлл (впервые в: Little Review. July—August 1920), публикация которой вызвала иск Нью-Йоркского общества по искоренению порока, возбудившего против журнала дело по обвинению в порнографии, — суд приговорил издателей к штрафу и запретил дальнейшую публикацию романа.

С. 305. в моей туманной... юности... — из стихотворения А. В. Кольцова «Разлука» (1840): «На заре туманной юности...»

...те червленые щит и синие молнии, которыми началась русская словесность. — Из «Слова о полку Игореве».

С. 306. ...на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый словарь Даля в четырех томах. — Ср. в «Университетской поэме» (1927): «...когда, изгнанника печаля, / шел снег, как в русском городке, — / нашел я Пушкина и Даля / на заколдованном лотке».

С. 306. ...английских поэтов, от Марвелля до Хаусмана... — Эндрю Марвелл (1621–1678), английский поэт, окончил Кембридж в 1639 г., Альфред Эдуард Хаусмен (1859–1936) преподавал в университете латинский язык с 1911 г. почти до самой смерти.

...как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. — Написанные в Кембридже стихи вошли в основном в сборник «Горний путь» (1923).

С. 307. ...поблизости гола... — Гол (от *англ. спорт.* goal) ворота.

...удар «шут»... — (от *англ. спорт.* shoot) сильный удар (по воротам).

С. 307–308. ...все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова... — По наблюдению Г. Амелина и В. Мордерер, здесь, возможно, ироническая аллюзия на стихотворение А. С. Хомякова (1804–1860) «Широка, необозрима...» (1858): «Широка, необозрима, / Чудной радости полна, / Из ворот Ерусалима / Шла народная волна». Ср. у О. Мандельштама ироническую аллюзию на это же стихотворение: «А еще, богохранима, / На гвоздях торчит всегда / У ворот Ерусалима / Хомякова борода» (Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.–СПб.: Языки русской культуры, 2000. С. 22, прим. 20). Незадолго до Набокова в Кембридже, впрочем, действительно учился студент по фамилии Хомяков (сообщено А. А. Долининым).

С. 308. ...как чеховского Тригорина критики донимали ссылками на Тургенева. — «Тригорин: ⟨...⟩ А публика читает: "⟨...⟩ Прекрасная вещь, но 'Отцы и дети' Тургенева лучше". И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: "Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева"» («Чайка», д. 2).

Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом Рыцаре», и шел опять. — Реминисценция сцены II «Скупого рыцаря»: «Шел дождь, и перестал, и вновь пошел...»

С. 309. ...и ленивую руку той или другой Виолетты... — Реминисценция «Университетской поэмы».

С. 309–310. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier. — Ср. в эссе «Кембридж» (1921) этот же образ гобелена: «Плакучие ивы, старые вязы, празднично-пышные каштаны холмятся там и сям, словно вышитые зелеными шелками по канве поблекшего, нежного неба» (т. I наст. изд. С. 728).

С. 310. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими от-

ражениями в воде три волшебных овала... — Ср. в эссе «Кембридж»: «...мостик... образует полный круг со своим отчетливым, очаровательным отражением».

С. 311. quinquennium Neronis — «пятилетие Нерона» *(лат.)*, первые пять лет правления императора Нерона (54–59), которые отличались сравнительным либерализмом.

С. 313. нансенский паспорт — паспорт, который по инициативе полярного путешественника и общественного деятеля Ф. Нансена выдавался Лигой Наций в 1920-х гг. вынужденным эмигрантам.

С. 314. Лабрюйер в шестом издании (1691) своих «Характеров», презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей... — Жан Лабрюйер (1645–1696) в главе «О моде» своего главного произведения «Характеры Теофраста, а также Характеры или нравы нынешнего века» (1691) пишет: «Этот любит насекомых; каждый день покупает он новых; у него есть насекомые всевозможных размеров и цветов. Какое время выбрать для визита к нему? Он погружен в глубокое отчаяние; он в ужасном состоянии духа, так расстроен, что все его семейство страдает: ибо он перенес невосполнимую утрату. Подойдите ближе, посмотрите, что он протягивает вам на пальце — безжизненное создание, только что испустившее последний вздох: это гусеница, и какая гусеница!» (Перевод наш. — *М. М.*).

...англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. — Строки 19–20 из стихотворения Джона Гея (1685–1732) «Даме на ее страсть к старому фарфору» (1725); и из стихотворения Александра Попа (1688–1744) «Фрина» (1709) из цикла «Подражания английским поэтам: Граф Дорсетский, II»: «So have I known those Insects fair, / (Which curious Germans hold so rare,) / Still vary Shapes and Dyes; / Still gain new Titles with new Forms; / First Grubs obscene, then wriggling Worms, / Then painted Butterflies» (строки 19–24) (отмечено в: *B96*. P. 708).

...молодого немца... он коллекционировал фотографические снимки казней. — Ср. в «Истинной жизни Себастьяна Найта» над столом писателя висит фотография китайца, которому лихо срубают голову (гл. 4).

...прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом... — к которой стремится палач м-сье Пьер в «Приглашении на казнь».

С. 315. электрокуция — (от *англ.* electrocution) казнь на электрическом стуле.

С. 316. Много переводил — начиная с «Alice in Wonderland»... — Сиринский перевод сказки Л. Кэрролла называется «Аня в Стране чудес» (1923, см. т. I наст. изд.).

...в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку — шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах... придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход. — По наблюдению Р. Янгирова (Р. Янгиров. Из наблюдений об опытах «ретроградного анализа» и «загадках перекрестных слов» Владимира Набокова // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 438–439, ср. также: *В90.* P. 561, n. 4), впервые слово «крестословица» (вместо традиционных mots croises и «перекрестные слова») было употреблено в заметке, подписанной псевдонимом Bystander (Наш мир (воскр. приложение к «Рулю», Берлин). 22 февраля 1925. № 8. С. 63), а по разысканиям Б. Бойда, первая крестословица Набокова была напечатана в «Руле» 19 апреля 1925 г. (*В90.* P. 241, 561, n. 4). Возможно, справедливо мнение Янгирова, что Bystander — псевдоним Набокова. (Некоторые крестословицы Сирина опубликованы в: Ретро-кроссворд. В. Набоков. Вып. 1. / Сост. В. И. Сотников. М.: Лана, 1997. Р. Янгиров. Из наблюдений... С. 441–445.) «Вопреки возможным ожиданиям, набоковские опыты "крестословиц"... не несут на себе каких-либо следов авторской индивидуальности. Не отмечены они ни особой изощренностью конструкции, ни богатством словаря. Перед нами труды дилетанта, не слишком озабоченного соблюдением жанровых канонов и формальных принципов...» (Р. Янгиров. Из наблюдений... С. 439), например такие: «некрасивый в род. падеже» — «урода»; «обращение к любимой женщине» — «дуся», «фамилия большевика (род. падеж)» — «Каца», «что сделают большевики» — «исчезнут» и проч.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. — Набоков почти дословно повторил этот пассаж в некрологе И. В. Гессену (1943, см. в наст. томе, с. 594).

...я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. — Набоков останавливался в квартире И. И. и А. О. Фондаминских в Париже на rue Chernoviz, 1, начиная с 1932 г., см. некролог Набокова [Памяти А. О. Фондаминской] в т. IV наст. изд. и статью Г. Глушанок в: Наше наследие. 2000. № 53. С. 120–122.

С. 317. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом

плеяды... — Здесь, как и в «Даре» в образе Христофора Мортуса, дан сборный, с поливалентными аллюзиями, портрет «мистагогов» эмигрантской литературы: в первую очередь Г. В. Адамовича (в варианте «Убедительное доказательство» здесь: «...были так называемые адамиты — наименование причудливым образом произведено (кажется, поэтом В. Ходасевичем) от фамилии их вождя, талантливого критика, который стремился сочетать зеленоватый сумрак некоего катакомбного христианства с языческими нравами античного мира» (перевод наш. — *М. М.*), ср. подробнее о «раннехристианском» «вожделении веры» и последующей просталинской эволюции Адамовича в «Память, говори» (с. 562)) и Г. В. Иванова, в частности, его романа «Третий Рим» (см. «Из Калмбрудовой поэмы "Ночное путешествие"» и прим. к ней в т. III наст. изд.), характерные намеки на их гомосексуализм вводятся аллюзией к роману А. Жида «Подземелья Ватикана», эта же «катакомбная» тема отсылает к «соборному» отношению к поэзии и роли литературы в изгнании Н. Бердяева, Ф. Степуна, круга Мережковских.

С. 317. ...хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского... — См. рец. Сирина на сб. Поплавского «Флаги» в т. III наст. изд., с. 695. В «Память, говори» Набоков, как и в рецензии, цитирует строку из стихотворения Поплавского «Морелла I»: «О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни» (в сб. «Флаги» — «огромные жизни») по первой публикации в «Современных записках» (1930. Кн. XLII. С. 212).

...на скучнейших сборищах «Nouvelle Revue Française»... — Во влиятельнейшем французском литературном журнале был опубликован доклад Набокова «Pouchkine, ou le vrai et vraiseblable» («Пушкин, или Правда и правдоподобие», 1937).

...Paulhan зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената... — Жан Полан (1884—1968) — французский писатель, редактор «Nouvelle Revue Française». Речь идет, очевидно, о вилле американского писателя, миллионера Генри Черча, который спонсировал журнал «Mesures», где был опубликован рассказ V. Nabokoff-Sirine «Mademoiselle O» (II: 2. 1936. P. 147—152).

С. 318. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. — Алданов (наст. имя Ландау) Марк Александрович (1886—1957) — химик по образованию, автор множества исторических романов, литературный деятель, близкий друг Набокова с 1920-х гг., благодаря его помощи Набоков смог переехать в Америку — Алданову предложили читать курс лекций по русской литературе в Стэнфордском университете, он отказался и предложил вместо себя Набокова, в Америке Алданов был соредактором «Нового журнала» и одним

из немногих русских писателей, чьи романы часто переводились на английский. (См.: «Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. А. Алданова / Публ. А. Чернышева // Октябрь. 1996. № 1. С. 121—145.)

С. 318. Я хорошо знал Айхенвальда... критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. — Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) — художественный критик импрессионистской школы, переводчик Шопенгауэра — один из первых отметил талант Сирина (рецензии на «Гроздь», «Машеньку»), ему посвящено стихотворение Сирина «Паломник» (1927); погиб, попав под трамвай, возвращаясь от Набоковых. Он точно и резко писал о Брюсове и Горьком в «Силуэтах русских писателей» (вып. 3. М., 1910).

Помнится, он пригласил меня в... ресторан для задушевной беседы. — И. А. Бунин по прочтении «Убедительного доказательства» отозвался в письме к Алданову: «...развратная книжка Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня — будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним "по душам", — очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую» (А. Звеерс. Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым // Новый журнал. 1984. Кн. 155. С. 132, см. также: А. Чернышев. Этому человеку я верю больше всех на земле // Октябрь. 1996. № 3. С. 145—146).

С. 319. ...а теперь поздно... опевают ночь петухи. — Весь абзац построен как интонационный и мотивный центон Бунина, последняя фраза — из короткого рассказа «Петухи» (1930) (у Бунина — «петухи опевают ночь». Впервые отмечено в: Ю. Иваск. В. В. Набоков [некролог] // Новый журнал. 1977. Кн. 128. С. 272—276; также в: M. Shrayer. The World of Nabokov's Stories. Austin: University of Texas Press, 1999. P. 291).

...составлению шахматных задач. — Первые шахматные задачи Сирина были напечатаны в «Руле» 20 и 24 мая 1923 г. (*B90.* P. 205, 558), 18 шахматных задач опубликованы в сборнике «Poems and Problems» (1970), в предисловии к которому Набоков уравнивает качества шахматного композитора и литературного сочинителя: «Шахматные задачи требуют от сочинителя тех же добродетелей, что присущи любому достойному творчеству: оригинальности, изобретательности, меткости, гармонии, сложности и блестящего отсутствия искренности» (р. 15, перевод наш. — *М. М.*), ср. также шахматный лейтмотив «Защиты Лужина» и «Трех шахматных сонетов».

С. 321. ...одна определенная задача... — Эта шахматная задача «Белые начинают и дают мат в два хода» открывает раздел

в «Poems and Problems» (p. 182), см. ее специальный шахматный анализ в: Л. Кацнельсон. Шахматная окантовка романа В. Набокова «Другие берега» // Нева. 1998. № 12. С. 203–206; анализ в литературном контексте мемуаров в: О. Костанди. Поэтика шахматной задачи Набокова // Блоковский сборник XIII. Русская культура XX века: метрополия и диаспора. Тарту, 1996. С. 206–213.

С. 321. ...та ночь... — В рукописи она датирована 19 ноября 1939 (*В96.* P. 709).

С. 322. веллингтония (или секвойядендрон, мамонтово дерево) — гигантское вечнозеленое хвойное дерево, достигающее высоты свыше 100 м и живущее до 1500 лет, растет в Калифорнии.

С. 322–323. За такой же доской... сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6 ноября 1904 года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском музее в Москве)... — Речь идет об эскизе Моравова Александра Викторовича (1878–1951) «Л. Н. Толстой и А. Б. Гольденвейзер за шахматами» (1909), хранящемся в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

С. 324. «О, как гаснут — по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» — Парафраз 14-й оды 2-й кн. «Од» Горация «Eheu, fugaces» («О Постум, Постум! Как быстротечные// Мелькают годы! Нам благочестие // Отсрочить старости не может, // Нас не избавит от смерти лютой» (перевод З. Морозкиной)), контаминированный с интонацией русского цыганского романса («по степи, по степи»).

...что знаем ты да я. — Крайне редкое в жанре автобиографии обращение к конкретному адресату (в традиционном образце — «Исповеди» Блаженного Августина — автор обращается к Богу) — меняет код чтения на лирический и свидетельствует, что генеалогия «Других берегов» восходит не только и не столько к русской классической традиции автобиографической прозы Аксакова-Толстого и даже не к Прусту, а к русской элегии с ее обостренным вниманием к теме смерти, заявленным в экспозиции, и созданием идиллического хронотопа прошлого.

...розы Пестума... — Пестум, город к югу от современного Неаполя, был основан греками около 600 г. до н. э. и завоеван римлянами три века спустя. Его знаменитые розовые сады стали клише в латинской литературе. Ср. у Виргилия в «Георгиках» (IV, 119): «Пышные... сады и розарии Пестума, дважды / В год цветущие...» (перевод С. Шервинского).

С. 325. Гиндебург Пауль фон (1847–1934) — германский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1914), в 1925 и 1932 президент Веймарской республики, 30 января 1933 поручил Гитлеру формирование правительства.

С. 325. ...тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка... вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели... — Ср. в «Машеньке» (1926) аналогичное описание непривычного расположения знакомых вечерних теней на рассвете: «Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале» (т. II наст. изд. С. 126), — знаменующее переход героя из жизни воспоминаний в «трезвую» реальность настоящего.

С. 326. кувада — (от *фр.* couver — «вынашивать, заботиться о ком-либо») существующий у многих народов обряд: во время родов или перед рождением ребенка отец имитирует поведение роженицы, обряд подчеркивает кровную связь отца с ребенком.

С. 327. Мажино Андре (1877—1932) — французский государственный деятель, в 1922—1931 гг. (с перерывами) военный министр Франции, инициатор создания линии укреплений вдоль франко-германской границы («линия Мажино»), которая должна была защитить Францию от вторжения Германии во Второй мировой войне.

С. 329. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. — «Сотрясение при катании в экипаже и при поездке по железной дороге оказывает такое захватывающее действие на... детей, что по крайней мере все мальчики хоть раз в жизни хотят стать кучерами или кондукторами. Тому, что происходит на железной дороге, они обыкновенно уделяют загадочно большой интерес, и все происходящее становится у них... ядром чисто сексуальной символики...» (З. Фрейд. Инфантильная сексуальность // З. Фрейд. Психология бессознательного. М., 1990. С. 170—171.)

С. 330. ...той кучи голов, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. — Очевидно, имеется в виду брошюра, которую Калиостро (наст. имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) написал в Лондоне и где, в частности, предсказывал разрушение Бастилии, или предсказание, сделанное им будущей императрице Марии-Антуанетте (см.: А. Дюма. Джузеппе Бальзамо (Записки врача). Ч. 1, гл. XV).

С. 332. ...этой хмурой Титании... — В пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» в свите сказочной королевы Титании есть Мотылек.

С. 333. пергола — веранда.

С. 334. иверень — черепок, осколок.

...такой кусочек, на котором узорный бордюр... продолжал... узор третьего... сложилась бы... чаша... теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок. — Ср. стихотворение К. Перова из рассказа «A Forgotten Poet» («Забытый поэт», 1944): «Коль правда, что металл не знает тленья, / То, значит, где-нибудь должна ле-

жать / Та пуговица, что мне в день рожденья, / В семь лет случилось в парке потерять. / Сыщите мне ее — тогда она / Залогом будет, что вот так любая / Душа отыщется, не погибая, / Сохранена, сочтена, и спасена» (перевод Г. Барабтарло). «Бронзовые скрепки» — метонимия горацианского «памятника крепче меди».

С. 334. Сен-Назер (Saint-Nazaire) — город на западе Франции, на берегу реки Луары.

С. 335. «Найдите, что спрятал матрос» — по наблюдению А. А. Долинина, это, возможно, аллюзия на пассаж из «Мудрости Пушкина» М. О. Гершензона (М., 1919. С. 122) о «Повестях Белкина»: «Иное произведение Пушкина похоже на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним напечатано: "Где тигр?" Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды разглядев ее, потом видишь ее уже сразу и дивишься, как другие не видят» (А. А. Долинин. «Двойное время» у Набокова (От «Дара» к «Лолите») // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 322, прим. 50; ср.: Б. В. Аверин. Набоков и Гершензон // А. С. Пушкин и В. В. Набоков. Сборник докладов международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 359–360). Она закрывает рамку текста в традициях русской повествовательной прозы, открытую в предисловии (см. прим. к с. 144). Ср. автометаописание этого сравнения, поясняющее, что «значение принадлежит не отдельным частям, но их сочетаниям», в «Истинной жизни Себастьяна Найта»: «...так... замысловатый рисунок человеческой жизни оборачивается монограммой, теперь совершенно понятной для внутреннего ока, распутавшего переплетенные буквы. И появляется слово, смысл, изумляющий своей простотой» (гл. 18. Перевод С. Ильина). Ср. также в «Воспоминаниях» М. В. Добужинского: «В журналах помещались тогда "загадочные картинки" — среди кустов или в лесу надо было найти силуэт охотника или собаки и прочее ⟨...⟩ Эта способность видеть двойные образы ("конрапункт", "криптограмма" — как угодно) была у меня как бы природной, и если бы это, так сказать, "двойное зренье" я в себе развивал, оно в дальнейшем могло бы дать результаты непредвиденные» [этот прием использован в иллюстрациях Добужинского к рассказу А. М. Ремизова «Крепость» (Адская почта. 1906. № 2) и сказке «Морщинка» (СПб., 1907)] (М. В. Добужинский. Воспоминания. С. 30–31).

...однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда. — Возможно, реминисценция начала «Жизни Арсеньева» Бунина: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии...»

М. Маликова

РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ»

Третья книга рассказов, запланированная в парижском издательстве «Русские записки» на 1939 г., вышла лишь в 1956 г. в Издательстве имени Чехова (Нью-Йорк). Ее составили четырнадцать произведений, написанных в период с 1931-го по 1939 г. В 1978 г. сборник был переиздан издательством «Ардис» (Анн Арбор). Рассказы печатаются по тексту сборника, но располагаются в порядке первых публикаций в периодической печати. В английском переводе рассказы из «Весны в Фиальте» были включены в сборники «Nabokov's Dozen» (Doubleday & Company, Garden City, New York; 1958), «A Russian Beauty and Other Stories» (McGraw-Hill, New York, 1973), «Tyrants Destroyed and Other Stories» (McGraw-Hill, New York, 1975).

Уста к устам. По свидетельству Б. Бойда, Набоков работал над этим рассказом в Берлине в ноябре — начале декабря 1931 г. (*B90.* P. 373). (В сборнике указана дата написания: 1929.) Рассказ должен был выйти в газете «Последние новости», однако увидел свет лишь много лет спустя. В предисловии к английской версии Набоков пишет: «Марк Алданов, состоявший в более коротком, чем я, знакомстве с "Последними новостями" (с которыми я вел веселую войну в 30-е годы), сообщил мне то ли в 1931-м, то ли в 1932-м, что в последний момент рассказ "Уста к устам", окончательно принятый к публикации, в итоге не напечатан. "Разбили набор", — хмуро пробормотал мой друг. Он был опубликован только в 1956 году издательством Чехова в Нью-Йорке в моем сборнике "Весна в Фиальте". К тому времени все, в ком можно было заподозрить отдаленное сходство с действующими лицами, благополучно и бесследно умерли» (Vladimir Nabokov. «A Russian Beauty and Other Stories». New York; Toronto: McGraw-Hill, 1973. P. 46. Здесь и далее перевод наш. — *О. С.*)

Причиной того, что «Последние новости» отказались от публикации «Уста к устам», оказался острый, злободневный подтекст рассказа, обнаруженный кем-то из сотрудников. Автор намекал на бесславный эпизод эмигрантской жизни, одним из участников которого был сам Георгий Адамович, литературный обозреватель «Последних новостей». В незадачливом литераторе Илье Борисовиче угадывался прозаик Александр Буров, в журнале «Арион» — парижское издание «Числа» (1930—1934), главным редактором которых был Н. Оцуп, а ведущими авторами — набоковские недруги: тот же Адамович, а также Г. Иванов, З. Гиппиус и другие.

В. Ходасевич описал Бурова следующим образом: «Он невежествен, некультурен, пошл. Навязчивый и безвкусный "патриотизм", с которым он любит писать о России, совершенно несносен, особенно если принять во внимание, что он русского языка не знает. Но хуже всего — буровский надсадный лиризм, порой готовый перейти в какие-то причитания и завывания». Затем он коснулся ситуации с «Числами»:

«Было объявлено, что "Числа" собираются искать новых путей в искусстве. Для такой декларации внутренних оснований не было. Это уже был блеф, который затем и вообще стал характерной чертой журнала 〈...〉 Как раз в ту пору на парижском горизонте появился г. Буров. Мне не случалось встречаться с ним, но... не раз я слышал, как писатели старшего поколения говорили друг другу: "Ты завтра будешь у Бурова?" 〈...〉 Или: "Бурову эта вещь очень нравится". И вообще: "Буров считает", "Буров находит", "Буров думает" 〈...〉 Наконец я спросил, кто это. Подумав, мне отвечали: "Гм... Как сказать? Писатель". Да что же он написал? "Гм... Он пишет". Хорошо пишет? "Гм... Не без способностей". Да почему же вы все о нем беспокоитесь? "А он... гм... собирается издавать журнал".

Журнал г. Буров не стал издавать, но его произведения начали появляться в "Числах" и появлялись подряд во всех книжках, начиная с пятой и кончая десятой, на которой журнал прекратил свое существование. Что ж получилось? Журнал был предназначен для "свежих сил" эмигрантской словесности. Но Сирина, который как раз в ту пору развернулся и заставил о себе говорить, в "Числах" не печатали. Зато печатали г. Бурова из номера в номер. Того же Сирина в самом настоящем смысле слова травили — а о писаниях г. Бурова помещали весьма благосклонные отзывы 〈...〉 Правда, независимая часть литературы не замечала его присутствия, но г. Бурову ничего не оставалось, как объяснять это незамечание какими-нибудь "булгаринскими мотивами"» (Возрождение. 10 марта 1939).

Набоковский рассказ разоблачал и дутую значительность писателя Бурова, и недостойную суету вокруг него «Чисел», вызванную финансовыми интересами создателей журнала. Разоблачал он и чуждый Набокову жеманно-декадентский тон нового издания, неубедительность его претензий на особую отзывчивость к новому искусству, на широту и свободу суждений. Как заметил Сергей Давыдов, этой сатирической цели автор достиг, пародийно перелицевав сам материал «Чисел», из которого он ловко «скроил» детали собственного произведения (*Д82.* С. 37–51).

С. 339. Долинин. — В английской версии Илья Борисович каламбурно связан со своим персонажем: он носит фамилию Tal, что по-немецки означает «долина».

С. 339. «Плавающие и путешествующие» — характерный пример неосознанного цитирования набоковских персонажей. Илья Борисович не подозревает о существовании романа М. Кузмина «Плавающие путешествующие» (1915), название которого, в свою очередь, восходит к литургии св. Иоанна Златоуста: «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся». С аллюзией на Кузмина иронически завязывается в рассказе тема декадентских традиций, которые исподволь находят продолжение в творчестве героя. Ср.: «Любил ли Илья Борисович подтрунить над декадентами?» (О Набокове и Кузмине: О. Сконечная. Люди лунного света в русской прозе Набокова. К вопросу о пародировании писателем мотивов Серебряного века // Звезда. 1996. № 11. С. 208–209; 211).

С. 341. «Уста к устам» — По наблюдению С. Давыдова (*Д82.* С. 41), это название Набоков взял из стихотворения Раисы Блох, опубликованного во 2/3 номере «Чисел»: «И чайки носятся, и даль чиста / И так и просятся к устам уста».

Мимо, читатель, мимо... — В английском варианте: «превратно истолковывая Тургенева». Как замечает Давыдов (*Д82.* С. 215), автор здесь «деликатно перекривливает» кокетливое тургеневское «мимо», которым пользуется Г. Адамович в рассказе «Рамон Ортис», напечатанном в 5-м номере «Чисел» (1931. С. 37): «...не было жалости в его глазах, было только какое-то усталое, чуть-чуть насмешливое, сухое, равнодушное высокомерие — ...которое вдалеке, иссякая и теряясь, могло бы соприкоснуться с жалостью... Мимо».

Евфратский. — Фамилия вырастает из романа Г. Иванова «Третий Рим», герой которого, чтобы рассеять мысли о самоубийстве, произносит первые пришедшие на ум слова: «Тра ла ла ла... Ла дона мобиле. Тигр и Евфрат. Тигр и Евфрат» (Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 32; *Д82.* С. 47). Следует подчеркнуть, что Набоков таким образом возвращает Иванову обвинения в журнализме («тип способного, хлесткого пошляка-журналиста») и плебейском пере, которые тот бросает ему в рецензии, помещенной в 1-м номере «Чисел». Слова Иванова как бы материализуются в Евфратском — «журналисте с именем — вернее, с дюжиной псевдонимов», имеющем стиль «известно какой: злободневный».

С. 342. Пушкина он... находил... «олимпически спокойным и не способным волновать». — Скептическое отношение к Пушкину — характерная черта культурных идеологов «Чисел». (Подробно об этом: А. Долинин. Три заметки о романе «Дар» // *Н97.* С. 704–707.) Ср. у Адамовича: «Пушкина точил червь простоты» (Числа. 1930. Кн. 1. С. 142). «Пушкину удалось еще спасти “грацию” от уже закрадывавшейся в нее глупости» (Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 168). Или у Б. Поплавского: «Пушкин — дитя Екатерининской

эпохи, максимального совершенства он достиг в ироническом жанре... Для русской же души все серьезно, комического нет, нет неважного, все смеющиеся будут в аду» (Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 309–310).

С. 342. ...наизусть помнил только «Море» Вейнберга... — Стихотворение Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908) «Бесконечной пеленою...» (1881) в 30-е гг. в тех же «Числах» воспринималось как пример «старого гражданского стиха» с его «антихудожественными приемами», «некогда гремевшего на студенческих вечерах», а теперь «давно похороненного». Характерно, что упоминающая это стихотворение Ю. Сазонова, как и Илья Борисович, придумывает ему несуществующее название. Причем если в сознании Ильи Борисовича запечатлелось просто «Море», то Сазонова пользуется пушкинским: «...В памяти читателя... встает стихотворение П. И. Вейнберга "К морю"» (Числа. 1930. Кн. 1. С. 238–239).

...и одно стихотворение Скитальца, где рифмуется «повешен» и «замешан». — Здесь Илья Борисович еще более неточен. По-видимому, слово «замешан» навевается герою приверженностью Скитальца (наст. имя Степан Гаврилович Петров, 1831–1908), писателя горьковской складки, теме революционных кружков, восстаний и тюрем. В стихотворении «В кабачке» (1921) «повешен» последовательно рифмуется с «утешен», «черешен», «безгрешен» и, наконец, «помешан»: «Я выпью за тех, кто любил / И не лгал, / Кто не был на злобе помешан! / За тех, кто не крови — / А счастья хотел, / Кто вечно душой был свободен и смел / И только за это — повешен!»

Луговой (наст. имя Алексей Алексеевич Тихонов, 1853–1914) — прозаик, поэт, драматург. В английской версии автор характеризует его как «областную посредственность 1900-х годов». В конце XIX в. оставил столицу и поселился в городе Луге, где и написал свои основные прозаические произведения. Подобно Илье Борисовичу, сочетал стилистическую добропорядочную старомодность с чувственными мотивами.

...находил, что Арцыбашев развращает молодежь... — Имеется в виду громкий, полускандальный успех романа М. П. Арцыбашева (1878–1927) «Санин» (1907). Откликом на него явились диспуты у публики, особенно среди учащейся молодежи, на тему «прав ли Санин», подпольные «лиги свободной любви», «кружки санинистов» и т. п. (М. П. Лепехин, А. В. Чанцев. Русские писатели. Биографический словарь. 1800–1917. Т. 1. М., 1989. С. 114).

С. 343. «Арион». — Название журнала намекает на отмечаемое современниками сходство «Чисел» с петербургским «Аполлоном», издаваемым Сергеем Маковским. Так, Г. Федотов писал, что по выходе первой книжки «в широких кругах читателей смотрели на новый журнал как на воскресший "Аполлон". В этом убеждали

и имена многих авторов, связанных с петербургским акмеизмом, и внимание, уделяемое вопросам искусства, и прекрасные иллюстрации, и совершенство типографской техники» (О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930–1931. Кн. 4. С. 144). Вместе с тем уже 2/3 номер журнала наводит Федотова на мысль о невозможности такого соотнесения: внешнее изящество «Чисел» сочеталось с противным «Аполлону» разрушительным аскетизмом, духом отречения от искусства и культуры в целом. Название «Арион» отсылает также к одноименному стихотворению А. С. Пушкина. С. Давыдов полагает, что через это стихотворение Набоков хотел передать своим собратьям по перу «собственное сиринское послание: из "плавающих и путешествующих..." на корабле русской литературы в изгнании погибнут все, кроме одного, "таинственного певца" с именем райской птицы Сирин» (*Д82.* С. 50–51).

С. 343. ...беллетрист, новые формы, мастерство, сложная конструкция, русский Джойс... — В 30-е гг. с Джойсом неоднократно сравнивали Андрея Белого. Евгений Замятин в статье 1934 г. говорит об этом как о некой очевидности: «...он [Белый] до конца остался "русским Джойсом"» (Е. Замятин. Мы. Роман. Повести. Рассказы. Пьесы. Статьи и воспоминания. Кишинев, 1989. С. 612).

С. 344. Тигрин. — Вероятно, эта фамилия, наряду с Евфратским, произведена из бессмысленного бормотанья героя «Третьего Рима» (см. прим. к с. 341).

С. 345. Редко доводилось нам читать страницы, на которых был бы так явственен отпечаток «человеческой души». — Аллюзия на исповедальный пафос авторов «Чисел», на характерное для Г. Адамовича словосочетание «человеческий документ», которым, по представлению критика, должно в первую очередь являться произведение искусства. Адамовича выдает здесь и интонация, и любовь к кавычкам. Любопытно, что в помещенной в последнем номере «Чисел» рецензии на книгу Александра Бурова «Земля в алмазах» Адамович хвалит ее именно за «человеческие» качества, пусть идущие, по его же признанию, вразрез с литературными: «В этой книге есть одно большое достоинство: она написана страстно ⟨...⟩ Под напором страсти, в пылу одушевления автор нарушает литературные традиции, насилует язык, сбивается с вымысла на исповедь, нередко попадает даже в смешное положение ⟨...⟩ Но применять мерки добрых литературных нравов и доброго вкуса к странной, многоречивой, какой-то неистовой книге Бурова невозможно. Она от таких мерок ускользает...» (Числа. 1934. Кн. 10. С. 282–283).

Ваш роман волнует своим лица не общим выражением. — В английской версии: «перефразируя Баратынского, певца финских

скал». Имеется в виду стихотворение Е. А. Баратынского «Муза» (1929): «...ее лица необщим выраженьем, / ее речей спокойной простотой...». Баратынский — поэт, чтимый «Числами». Б. Поплавский, например, отмечает его «добросовестную серьезность», которая «предпочтительнее Пушкину, ибо трагичнее» (Числа. 1930. Кн. 1. С. 310). По словам О. Ронена, «среди поэтов “парижской ноты” и котерии Адамовича существовал культ Баратынского». Его выделял и превозносил Н. Оцуп, «ставя себе косвснной целью нравственную и художественную апологию творческой немочи и духовной вялости, свойственной эмигрантским поэтам... школы Адамовича» (Омри Ронен. Серебряный век как умысел и вымысел. Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 4. М., 2000. С. 132; 81). Интересно отметить, что фраза Галатова иронически предрекает оценку творчества самого Набокова, прозвучавшую в последнем номере «Чисел» из уст Ю. Терапиано. С характерным для «Чисел» горьким пафосом неприятия литературного благополучия автор восклицает: «Есть эпохи, когда передовая линия искусства должна быть замещена второстепенными боевыми единицами (Шолохов, Сирин). “Необщее выраженье” — сейчас особо неблагодарная задача, воля быть личностью — непосильное бремя» (Числа. 1934. Кн. 10. С. 210).

С. 346. «Позвольте нам подписать роман не И. Анненский, как Вы предлагаете, а Илья Анненский». — В английской версии: «иначе могли бы спутать с “последним царскосельским лебедем”, как называет его Гумилев». (Имеется в виду строчка из стихотворения Н. Гумилева «Памяти Анненского»: «Был Иннокентий Анненский последним / из царскосельских лебедей».) Имя Анненского, воспринятого эмиграцией как поэт «растерянного шепота», отказавшийся от «надежд» (Адамович), было магическим для представителей «парижской ноты». Адамович на страницах «Чисел» (1930–1931. Кн. 4) описывает свою воображаемую встречу с Анненским в Царском Селе, куда привозит его Гумилев. Анненскому посвящен первый литературный вечер «Чисел».

С. 347. Литературные неудачники... измывались над ним с диким сладострастием. ⟨...⟩ Глумились, разумеется, за его спиной, но громко, развязно, совершенно не опасаясь превосходной акустики в местах сплетен. Вероятно, до тетеревиного слуха Ильи Борисовича не доходило ничего. — Ср. также далее (с. 351): «— *Оставьте, пожалуйста, — крикнул Илья Борисович и... все еще надевая пальто, вышел*». — Отсылка к герою гоголевской «Шинели» и теме неудачливых пишущих людей русской литературы. У Гоголя: «Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории ⟨...⟩ Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто никого и не было

перед ним ⟨...⟩ Только если уж слишком была невыносима шутка... он произносил: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?”» (Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 6 т. Т. 3. М., 1952. С. 131) (Приводится Давыдовым: *Д82.* С. 32.)

С. 347. Schriftsteller — писатель *(нем.).* Немецкий колорит Ильи Борисовича указывает на еще одно произведение Бурова — «Под небом Германии» (1931), который, как сообщалось в 5-м номере «Чисел» (1931), должен был переводиться на немецкий язык. М. Орехов отмечал его особую жизненность и теплоту, искупающую известные литературные промахи (с. 338—339).

С. 349. Озаглавлено было «Пролог к роману» ⟨...⟩ Маленький кусок, три с половиной странички... — В 5-м номере «Чисел» была опубликована первая глава повести А. Бурова «Была земля», то есть три страницы с пометой «Продолжение следует». Отмечая это, Давыдов приводит одно из удивительных совпадений, которое трудно объяснить, если не принять версии исследователя о том, что Набоков работал над рассказом после 1931 г.: в 6-м номере, вышедшем уже в 1932-м, редакция почему-то называет эту первую главу «Прологом» (Числа. 1931. С. 27; *Д82.* С. 38).

«Произведение Ильина подкупает своей искренностью. Автор отображает зарождение любви на фоне музыки». — Рецензент, по-видимому, путает сочинение Бурова с «Любовью Свана» М. Пруста (второй частью романа «По направлению к Свану»), где скрупулезно исследуется, как на фоне некой музыкальной фразы возникает и развивается чувство героя. Пруст — еще один кумир «Чисел», представлявшийся их авторам гением «честности» и «скромности» (Ю. Фельзен), «безошибочно правдивым писателем» (Адамович). Над этим прустовским мифом, созданным «Числами», и смеется Набоков, сравнивая своего «искреннего» и незатейливого Илью Борисовича с тем, кого сам он считал не добросовестным производителем «человеческого документа», а одним из величайших выдумщиков XX в. (См.: О. Сконечная. «Я» и «он». О присутствии Марселя Пруста в русской прозе Набокова // «Владимир Набоков в конце столетия». Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 46—47.)

С. 350. Спектакль еще не начинался... — В английском тексте вводится фамилия актрисы «Гарина», и за этим предложением следует: «Любительский плакат изображал Гарину полулежащей на шкуре пантеры, застреленной ее любовником, который впоследствии должен был застрелить ее саму». Давыдов связывает мотив «черной пантеры» и актрисы Гариной с женой Г. Иванова Ириной Одоевцевой и ее кокетливой «Балладой о Гумилеве» (Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 32): « — Я вам посвящу поэму, / Я вам расскажу про Нил, / Я вам подарю леопарда, / Которого сам убил. // Колыхнулся розовый веер — / Гумилев не нравился ей. / — Я стихов не люблю. На что мне / Шкуры диких зверей?»

С. 350—351. Илья Борисович сдал старухе в черном трость, котелок, пальто, заплатил, опустил жетон в жилетный карманчик ⟨...⟩ *очутившись опять у гардероба, протянул свой жетон. Старуха в черном, — 79, вон там...* — Сцена у гардероба с ее бытовыми деталями вначале не дается писателю Илье Борисовичу и затем трагически откликается в его жизни. Автор, однако, заимствует ее не только у собственного героя, но у Г. Иванова и Г. Адамовича. Так, в «Третьем Риме» описывается, как швейцар снимает с Вельтского *«пальто»*, берет его *«палку»* и *«котелок»* и, признав в нем «“настоящего” барина», объявляет: «Без *номерка* будет» (Числа. 1930. Кн. 2/3. С. 33). В рассказе «Рамон Ортис» Адамовича (Числа. 1931. Кн. 5), где речь идет о проигравшемся игроке, сцена у гардероба повторяется дважды — до проигрыша и после. Причем герой связывает с номерком «19» романтичный возраст обслуживающей его барышни. Если гардеробщице у Иванова 19, то набоковской «старухе в черном» — 79 (*Д82.* С. 44—45).

Истребление тиранов. Впервые: Русские записки. 1938. № 8/9. С. 3—29. Написан в Ментоне в мае—июне 1938 г. (*B90.* P. 486). (В сборнике указана дата написания: 1936.) Г. Адамович, по обыкновению, отметил «на диво отточенное, на диво скользящее» перо автора, однако тут же заговорил о несоответствии между словесной и психологической остротой исповеди сиринского героя и «довольно банальным выводом ее, будто все на свете можно убить смехом». При этом он все же признал, что «если оставить в стороне заключение насчет смеха», произведение «с большой силой передает чувства, более или менее знакомые тысячам наших соотечественников. Есть в нем кое-что от “Записок из подполья”, кое-что от “Зависти” Юрия Олеши , а по существу это, пожалуй, новейший вид дневника новейшего “лишнего человека”, в бессильном отчаянии протестующего против оглупления и опошления мира» (Последние новости. 15 сентября 1938). В дальнейшем, в книге «Одиночество и свобода» (1955), Адамович возвращается к рассмотрению набоковского рассказа, и отзыв его становится резче, упреки — безапелляционнее. «К тирану, Набоковым изображенному, едва ли кто-нибудь почувствует хоть какую-нибудь симпатию. Но и то вызывающе-индивидуалистическое, демонстративно-аристократическое, тот безмятежно-заносчивый душок, которым рассказ проникнут, смущает и коробит. Если именно *это,* только *это* тиранству должно быть противопоставлено, стоит ли вести борьбу? ⟨...⟩ Что он ему противопоставляет? Свободу? Свободу для чего? ⟨...⟩ Думает ли он вообще? Благоволит ли думать?» (Г. Адамович. Одиночество и свобода. М., 1996. С. 81, 82.)

С. 353. ...толстая морщина через весь лоб — жировое отложение мысли, а не шрам мысли... — Эта отличительная деталь соединяет

набоковского тирана с убийцей Германом из «Отчаяния», который говорит о себе: «У меня на лбу надувается жила, как недочерченная “мысль”», искажая при этом церковнославянское название буквы «М» — «мыслете». (В английском варианте романа вместо «недочерченной мысли» — «недочерченная прописная буква “М”».) Если Герман только грезит о мире, «где все люди будут друг на друга похожи», то безымянному правителю «Истребления тиранов» удается воплотить мечту в жизнь. Государство «Истребления тиранов» — мир растиражированного образа вождя, который отражается в гражданах-двойниках. В дальнейшем тема некоего сообщества, члены которого повязаны между собой узами сходства, будет реализована в метафоре масонства: между людьми, окружающими тирана, заметно «сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами». (В «Отчаянии» же Герман отмечает «масонскую связь» его с Феликсом сходства.) Таким образом, «шрам мысли» на челе правителя, перекликаясь с недочерченной литерой «М» у Германа, является, по-видимому, намеком на масонский знак «М», изображаемый на перевязи мастера и других атрибутах.

С. 353. плесницы (церк.) — сандалии, прикрепленные к стопе (плесне) ремешками.

С. 354. ...зоорландских... идей... — Зоорландия — северная страна, придуманная героями «Подвига». (См. прим. А. Долинина и Г. Утгофа к этому роману в т. III наст. изд. С. 736–737.) Образ Зоорландии как тоталитарного государства возникает также в стихотворении Набокова «Ульдаборг» (1930) с подзаголовком «Перевод с зоорландского».

...топор доделать — и применить. — В журнале: «топор доделать — и переменить».

С. 355. ...освежительно мокрой... — В журнале: «освежительно морской».

С. 358. ...до половины бедер... — В журнале: «до бедер».

С. 360. ...тамошняя работа... — В журнале: «его тамошняя работа».

С. 362. ...в неизвестной камере главной столичной тюрьмы, превращенной для него в замок... — вероятно, перевернутая аллюзия на Тампль (*фр.* Le Temple — «замок») — старинное здание в Париже, принадлежащее вначале ордену тамплиеров, а затем после разгрома ордена служившее тюрьмой. После революции 1879 г. Тампль заменил Бастилию, в одной из башен его был заточен Людовик XVI.

С. 364. ...за единицу времени... — В журнале: «за единицу времен».

С. 365. окапи — редкое млекопитающее семейства жирафовых; обитает в Центральной Африке.

С. 365–366. В своих «закатных» письмах великий иностранный художник говорит о том, что... все разлюбил, все — кроме одного.

Это одно — живой романтический трепет, до сих пор его охватывающий при мысли об убогости его молодых лет... Та... безвестность, те потемки поэзии и печали, в которых молодой художник был затерян на равных правах с миллионом малых сих 〈...〉 *изучения... этих чувств хватит ему и на будущий загробный досуг духа.* — Имеется в виду Ф. Р. де Шатобриан и его «Замогильные записки» (опубл. 1848—1850), произведение, предназначенное автором для посмертной публикации, в котором он определяет свою позицию как позицию человека, «лежащего в гробу», и мечтает, что призрак его сможет «править корректуру». В предисловии Шатобриан признается, что наиболее дорог ему период работы над «Записками», связанный с восстановлением его детства — самой тяжелой и безвестной поры его жизни: суровое воспитание, дружба с грязными городскими мальчишками, от которых он ничуть не отличался, — и что в этой начальной поре видит он истоки собственной незаурядности, особого меланхолического строя чувств.

С. 370. ...о, Гамлет, о, лунный олух... — Как указывает Н. И. Толстая, это, по-видимому, аллюзия на слова Гамлета (акт II, сц. 2) «А я, / Тупой и вялодушный олух, мямлю, / Как ротозей, своей же правде чуждый...» (Перевод М. Лозинского.) (Н. И. Толстая. Примечания / Владимир Набоков. Круг. Л.: Худ. лит., 1990. С. 537).

...заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться... — Если в русской версии Набоков использует старославянское неполногласие для получения этого социально-земледельческого каламбура: колос—клас (то есть класс), то в английской он прибегает к латыни, называя колос «arista», то есть ость колоса: «...коснулся равенства людей и равенства колосьев в ниве, для вящей поэзии используя латынь или вульгарную латынь — *ость, остоносный* и даже *оститься* в значении “колоситься”...». Таким образом, в английской версии проступает античный подтекст речи тирана: описание Золотого века из «Метаморфоз» Овидия, где автор, создавая картину процветания и изобилия, употребляет слово «aristis»: «nec renovātus ager gravidis cānebāt aristis...» (I: 110; 112) («не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях...» Перевод С. Шервинского). Характерно, что Овидиев Золотой век откликается и в приведенном ниже «журнальном стихе» о «млечных кравах». У Овидия за строкой о колосьях следует: «реки текли молока...».

С. 372. ..ходьба — любимое его физическое упражнение... — возможно, намек на известную привычку В. И. Ленина, проиллюстрированную, в частности, в поэме В. Маяковского, «Хорошо» (гл. 6) (ср. аллюзию на эту поэму ниже): «А в Смольном... Ильич гримированный мечет шажки».

С. 374. Хорошо-с, — а помните, граждане... — А. А. Долинин и Р. Д. Тименчик отмечают, что «уже первое слово стихотворения прямо указывает на объект пародии, а его форма — на суть претензий Набокова к "покойному тезке"» и прослеживают перекличку мотивов рассказа с набоковским стихотворением «О правителях» (1944): «Покойный мой тезка, / писавший стихи и в полоску, / и в клетку, на самом восходе / всесоюзно-мещанского класса, / кабы дожил до полдня, / нынче бы рифмы натягивал / на "монументален", / на "переперчил" / и так далее». Любопытно, добавляют исследователи, что каламбур «Хорошо-с» использовал и Ю. Н. Тынянов в своей эпиграмме: «Оставил Пушкин оду "Вольность", / А Гоголь натянул нам "Нос", / Тургенев написал "Довольно", / А Маяковский "Хорошо-с"» (А. А. Долинин, Р. Д. Тименчик. Примечания / Владимир Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М.: Книга, 1989. С. 500–501).

С. 375. ...ибо казнь твоя — милость... — парафраза слов Христа: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матфей. 11: 30).

С. 375–376. Смех ⟨...⟩ *в моей яростной тишине* ⟨...⟩ *послужит... тайным средством против будущих тиранов...* — возможно, отзвук концовки пушкинского «Андрея Шенье» (1825): «Мой крик, мой ярый смех преследует тебя! ⟨...⟩ Падешь, тиран!»

Лик. Впервые: Русские записки. 1939. № 14. С. 3–27. Задуман в 1938 г. во время пребывания на Ривьере и закончен в Париже в ноябре этого года (*B90.* P. 493). По словам Набокова, «"Лик" отражает миражи окрестностей Ривьеры, посреди которых [я] сочинил его, и стремится создать ощущение тетрального представления, которое поглощает неврастеничного исполнителя, хотя и не вполне таким образом, каким ожидал этот попавщий в ловушку актер, грезя о подобном опыте» (Vladimir Nabokov. Tyrants Destroyed and Other Stories. New York, Toronto: McGraw-Hill, 1975. P. 70). В сборнике после текста рассказа имеется помета: «Ментона, 1938 г.», тогда как в журнале: «Ноябрь 1938 г., Париж».

Рассказ был сочувственно принят как В. Ходасевичем (Возрождение. 24 марта 1939), так и Г. Адамовичем, который в своей рецензии выражает желание отдать наконец должное «исключительному», «несравненному» таланту автора. Для Адамовича, однако, смысловым центром рассказа, его подлинно трагической нотой оказывается не тема главного героя — актера Лика — «существа ничем не замечательного, трусливого, болезненного и расчетливого», а история его родственника, «опустившегося, озлобленного эмигранта», возмущенного, как герой Леонида Андреева, тем, что «другие хорошие, когда он плохой». «Сирин не моралист,

не проповедник, не наблюдатель, он именно “артист”, и требовать от него чего-то, похожего на программное сочувствие “малым сим”, мы не вправе. Его искусство способно такое сочувствие вызвать — и этого достаточно! Надо сказать, что редко приходилось читать в последние годы вещь столь ужасную по внутренней своей тональности, леденящую и при том правдивую» (Последние новости. 16 февраля 1939. С. 2).

В 1940 г. в газете «Новое русское слово» под рубрикой «Литературные пародии» был напечатан текст под названием «Зуд», обыгрывающий мотивы и мельчайшие детали «Лика» и подписанный «Ridebis Semper». По версии Б. Бойда, «Зуд», по-видимому, был изготовлен самим Набоковым для рукописного журнала «Дни нашей жизни», который летом того же года выпускали обитатели дачи М. М. Карповича: Карпович, Набоков, Н. С. Тимашев и другие (B. Boyd. Vladimir Nabokov: The American Years. London: Vintage, 1993. P. 15).

Зуд

От автора. Слово «Пародия» немедленно вызывает вопрос — «на кого?». Автор предупреждает, что в его намерения не входило пародировать какого-либо определенного автора, но скорее определенную литературную манеру — или манерность — или моду, — общую нескольким авторам... Это пародии не «на кого», а «на что», — алгебраические формулы, под которые можно подставить многие арифметические величины, хотя бы... Но не станем облегчать читателю не слишком мучительную работу распознавания.

Ridebis Semper

Озаглавив свое произведение «Зудом», автор, по обыкновению, схитрил с читателем и заранее предвкушает удовольствие эффекта, зная, что читатель, уже убежденный, что рассказ будет идти о зуде, какой, скажем, человек испытывает под кожей, вдруг, остолбенев, узнает, что на самом деле Зуд — имя героя предстоящего повествования. Да, мой герой, Олег Станиславович Зуд, — родился в среду, в полдень, похожий на полузаснувшую рыжую львицу... — и опять читатель попался впросак, — не львицу, которая бродит по африканскому лесу, а светскую львицу, с волосами цвета «вье бронз». Зуд родился осенью, в тени берез, похожих на гигантские эвкалипты, в окрестностях Архангельской губернии после уборки винограда. Он смутно помнил еще свою мать, она отчетливо рисовалась ему женщиной. Мать Зуда была консьержкой при местной чайной, а отец Зуда был зуав с берегов реки Кубани, в зеленых волнах которой он потонул без вести с самого же

начала, ибо автор совершенно не знал, куда его сунуть. Зуд родился в России, по крайней мере этого страстно хотел автор, но на деле все это было значительно сложнее. При несколько более внимательном рассмотрении обнаруживалось, что Зуд родился не в России, но, как Венера из морской пены, вышел из чтения Пруста и других знатных иностранцев. Рождение его было процессом мучительным, роды были трудные, и в результате родилось не человеческое существо, но род синтетического продукта, гомункулус, — не тип, а, скажем, эрзац-тип. Самое трудное было придать ему какое-нибудь лицо и заставить говорить и двигаться. Несмотря на все утомительные ухищрения и хлопоты, никакого лица не получилось, на его месте зияла пустота, Зуд жил и умер существом безликим. Все, подчас панические, усилия наделить его лицом были бесплодны. Ни кислый вкус во рту, ни мигрени, ни муха, конкретно проглоченная Зудом, когда он зевнул, в пятницу в без пяти минут три, как показывали отстающие на полторы минуты и слегка поцарапанные женские часики, ни все прочие осязательные и конкретные черты делу не помогали. Их обилие свидетельствовало об огромной начитанности, наблюдательности, памяти и настойчивости автора, и все же на месте, где надлежало быть облику Зуда, зияла пустая дыра. «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда», — вяло сказал Зуд и вдруг, потрясенный, схватился за сердце. Оно бешено колотилось. Он схватился за правый бок. Там тоже колотилось сердце, неторопливо уходя в исхудалые пятки Зуда, сомнения не было: Кошмаренко, о котором Зуд не мог подумать без ужаса, снова возник из пустоты и пришел его мучить. Да, это был Кошмаренко. Зуд его безошибочно узнал. Как и в школьные годы, навалившись на Зуда, он кусал его в разные места. Со стоном Зуд перевернулся и лег ничком, но Кошмаренко мгновенно очутился у него на спине и, приговаривая: «Так-то, брат Миша», — продолжал кусать его в разные места. Весь искусанный, Зуд стал катиться в пропасть, в сизом тумане проплыли перед ним образы зуава и консьержки, прошумели раскрытыми веерами пальмы родного севера, улыбнувшись, поманили лозы архангельского винограда, и новые еще не надеванные белые только что купленные Зудом туфли выползли из-под дрогнувшей кровати, тихо поднялись в воздухе и, перелетев через сквер, рядышком аккуратно встали в витрине магазина, у дверей которого стоял толстый француз, странно похожий на Кошмаренко. Француз улыбнулся дьявольской улыбкой и что-то сказал.

Ridebis Semper

(Новое русское слово. 17 октября 1940)

Автопародия усиливает и переводит в металитературный план тему того странного недуга, которым страдает герой наряду с его сердечной болезнью, — тему личностной непроявленности, дефицита собственного «я». Если в рассказе Лику, кажется, сохранена жизнь, то в пародии Зуд погибает под спудом детского кошмара (или Кошмаренко), так и недовоплотившись. Прихотлива траектория движения белых туфель, в которых Лик мечтал выйти на сцену (или выйти из жизни). В финале рассказа они — на ногах его ужасного приятеля Колдунова, в пародии — уходят в витрину потусторонней грезы Зуда.

С. 376. ...пьеса «Бездна» (L'Abîme)... французского писателя Suire. — Очевидно, название пьесы и имя автора, как и имя актера François Coulot, — вымышленные.

шатлен — (*фр.* chatelain) владелец замка.

С. 379. Ему сразу же показалось... — В журнале: «Ему сразу показалось».

С. 381. ...получит все то материальное благо, на которое намекалось... — В журнале: «получит все те материальные блага, на которые намекалось».

...как было с бедным, лающим Мольером... — Мольер умер 17 февраля 1673 г. после четвертого представления своей комедии «Мнимый больной». Он исполнял роль главного героя Аргана, вдохновенного ипохондрика, позволяющего дурачить себя шарлатанам-медикам. Во время игры Мольера мучили не притворные, но подлинные боли, зрители же восторгались его актерским мастерством. Наконец в эпилоге «он так закашлялся, что (как говорили тогда) от усилия у него лопнула вена, его унесли домой, где час спустя он умер» (А. Веселовский. Энциклопедический словарь. СПб.: Издание Брокгауза и Ефрона. 1896. Т. 19/а. С. 687—688).

С. 387. ...по праву летней погоды... — В журнале: «по праву летней свободы».

мэфий-туа — (*фр.* mefie-toi) здесь: не доверяй ему, остерегайся его.

С. 388. ...они шли... — В журнале: «они пошли».

С. 390. ...как самостоятельный зайчик. — В журнале: «как самостоятельный световой зайчик».

С. 393. ...вот эта Катя 〈...〉 Это тебе... не Достоевский! — Сюжетная линия Колдунова и его жены, неожиданно обрывающаяся странной смертью героя, пародирует надрывные судьбы персонажей «Преступления и наказания» Мармеладова и Катерины Ивановны.

С. 395. ...лежащей как мертвая... — В журнале: «лежавшей как мертвая».

Посещение музея. Впервые: Современные записки. 1939. Кн. LXVIII. С. 76–87. Написан осенью 1938 г. Как указывает Б. Бойд, Набоков, живший в начале года в Ментоне, побывал в местном музее, который позабавил его удивительной смесью Франции и России. В письме М. Алданову он рассказывает, что в музее можно было отыскать все: от картин Фердинанда Бака до ветхой коллекции выцветших бабочек. Перед входом же высились две статуи: Пушкину и Петру Великому (*B90.* P. 493).

С. 397. Монтизер — вымышленный топоним. По-видимому, также вымышленными являются исторические лица: художник Леруа, муниципальный советник Луи Прадье.

С. 398. ...сильным дождем... — В журнале: «сильным, толстым дождем».

С. 399. ...две совы: одну звали в буквальном переводе «Великий князь», другую «Князь средний»... — то есть Grand duc, что переводится и как «филин» и как «великий князь», и moyen duc — «ушастая сова» и в буквальном переводе: «князь средний».

С. 400. ...смахивал на Оффенбаха... — Жак Оффенбах (1819–1880), композитор, основатель французской оперетты, упоминается здесь, вероятно, как автор «Орфея в аду» (1858). В дальнейшем в рассказе возникает статуя бронзового Орфея, вводящая важный для осмысления сюжета мотив путешествия в царство мертвых.

пластрон — (от *фр.* plastron — «нагрудник») белая, накрахмаленная грудь мужской рубашки, надеваемой с вечерним туалетом — фраком или смокингом.

С. 402. чаврики — мощи (от чавреть — чахнуть, сохнуть).

С. 405. алембик — колпак перегонного аппарата.

С. 407. ...и еще не замерзший канал... и особенная квадратность темных и желтых окон. — Аллюзия на «петербургский текст» русской литературы — желтые окна Петербурга Блока, «квадратные окошки» Петербурга Мандельштама: «Вы, с квадратными окошками невысокие дома, — / Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима. // И торчат, как щуки ребрами, *незамерзшие* катки, / И еще в прихожих слепеньких валяются коньки. // А давно ли по *каналу* плыл с красным обжигом гончар...» (1925) (Выделено нами. — *О. С.*). Откликаются в рассказе и знаменитые «Квадратные окошки» из «Кипарисового ларца» (изд. 1910) И. Анненского, к которым восходит, в свою очередь, стихотворение О. Мандельштама. Мистическая тема Анненского — тема обморочной встречи с прошлым, обернувшимся потусторонним фантомом, звучит в набоковском «Посещении музея».

...а потом еще обернулся... — В журнале: «да потом еще обернулся».

Василий Шишков. Впервые: Последние новости. 12 сентября 1939. В сборнике ошибочно указана дата написания: 1940. Последний рассказ, написанный Набоковым по-русски. Автор воссоздает в нем загадочного сочинителя «Поэтов», стихотворения, опубликованного в июле того же года в «Современных записках» (Кн. XXXIX) под псевдонимом «Василий Шишков». Г. Адамович, который никогда не хвалил набоковских стихов, в данном случае решил, что открывает публике нового стихотворца, и воспринял «Поэтов» с восторгом: «Кто такой Василий Шишков? Были ли уже где-нибудь стихи за его подписью? ⟨...⟩ В “Поэтах” Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбросаны те находки, — то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которое никаким опытом заменить нельзя» (Последние новости. 17 августа 1939). Впоследствии Набоков признается: «...я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича». (Владимир Набоков. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 319). «...В зависимости от степени проницательности эмигрантского читателя [“Василий Шишков”] мог быть понят как настоящее происшествие, в которое был вовлечен реальный человек по фамилии Шишков, или же как насмешливая история о странном случае растворения одного поэта в другом. Адамович сначала отказывался верить своим нетерпеливым друзьям и недругам, стремившимся доказать ему, что это я выдумал Шишкова; наконец он сдался и в следующем своем эссе объяснил все тем, что я “достаточно искусный пародист, чтобы подражать гению”. Горячо желаю всем критикам быть столь же великодушными, как он. Я видел его только дважды, мельком, но по случаю недавней смерти многие старые литераторы не раз отмечали его доброту и проницательность. В его жизни было лишь две подлинных страсти: русская поэзия и французские матросы» (Vladimir Nabokov. Tyrants Destroyed and Other Stories. P. 206). Адамович в самом деле вынужден был сдаться, хотя и попытался оставить в своем отклике на рассказ ноту двусмысленности: «Каюсь, у меня даже возникло подозрение: не сочинил ли все это Сирин, не выдумал ли он начисто и Василия Шишкова, и его стихи? Правда, стихи самого Сирина — совсем в другом роде. Но если вообще можно сочинить что-либо за иное сознание, на чужие, интуитивно найденные темы, то для Сирина, при его даровании и изобретательности, это допустимо вдвойне. В пародиях и подделках вдохновение иногда разгуливается вовсю и даже забывает об игре, как актер, вошедший в роль» (Последние новости. 22 сентября 1939).

С. 407. Василий Шишков. — Исследователи отмечают, что именем Василий наделяются у Набокова персонажи, пользующиеся особым покровительством автора (Васенька из «Весны в Фиальте», Василий Иванович из рассказа «Облако, озеро, башня», Василий Иванович из «Набора»). Фамилия же «Шишков», также фигурирующая в более ранних рассказах («Обида», «Лебеда»), принадлежала в девичестве прабабке писателя, баронессе Нине фон Корф. Вместе с тем избранный Набоковым псевдоним, воплотившийся затем в персонаже, призван напомнить о другом поэте, старшем современнике Пушкина Василии Травникове, которого придумал Ходасевич. «Василий Шишков» — имя автора «Поэтов», стихотворения, написанного на смерть Ходасевича, и тайный знак продолжения блестящей мистификации, первым актом которой стала созданная в 1936 г. «Жизнь Василия Травникова». Главной жертвой обоих розыгрышей оказался общий недруг Ходасевича и Набокова Г. Адамович, поверивший в реальность Василия Травникова, как впоследствии поверил в реальность Василия Шишкова. (Об имени героя рассказа см.: *B90.* С. 509–511; Nataliia Tolstaia and Mikhail Meilakh. Russian short stories / Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York; London, 1995. P. 659; подробно об имени, а также о восприятии рассказа Адамовичем — *S99,* в главе, посвященной «Василию Шишкову». Я выражаю признательность Вере Полищук, предоставившей мне свой перевод книги Максима Д. Шрайера, готовящийся к публикации в России. — *О. С.*)

...в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. — В английской версии введена точная дата начала действия — весна 1939 г., а дальше говорится: «Это был какой-то “Вечер русской эмигрантской литературы” — одно из тех скучных собраний, которые столь часто происходили в Париже с самого начала тридцатых».

...в гостиницу. — В английской версии: «в мою убогую гостиницу, важно именуемую “Королевский Версаль”». Набоков, который в английском тексте предстает под собственным именем (см. прим. к с. 408), действительно останавливался в этом отеле на улице Ле Маруа, центре бедного русского Парижа, в начале весны 1939 г. (*B90.* P. 504).

С. 408. ...а вам мне приходится предъявить вот это... — В английской версии: «а вам, господин Набоков...».

С. 409. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег... — парафраза известного признания Пушкина: «...я пишу для себя, а печатаю для денег...» (из письма П. А. Вяземскому 8 марта 1924 г.)

С. 410. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... — намек на пуб-

ликацию стихотворения «Поэты» в «Современных записках» и на Адамовича, с энтузиазмом воспринявшего самобытное произведение неизвестного Василия Шишкова. В английской версии вместо расплывчатого «появилось в свет» — «напечатано в эмигрантском журнале».

С. 411. «посоленные щи». — Как замечает Н. И. Толстая (Примечания / Владимир Набоков. Круг. С. 538), имеется в виду стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Щи», где речь идет о том, что, несмотря на свое горе — смерть сына, — баба ест щи — «ведь они посоленные».

тургеневская синель. — Обыгрывается название тургеневского цикла стихотворений в прозе «Senilia» (Толстая. Указ. соч. С. 538).

...в Mad'овских пиджаках... — Mad — художник-карикатурист, сотрудничавший в газете «Руль» в 20-е гг. Многие его персонажи отличались мешковато сидящей на них одеждой (Толстая. Указ. соч. С. 538).

...состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей... — Газетные мелочи интересовали и самого Набокова. Правда, он ограничился публикацией в «Руле» (8 января 1930) комических клише («кулаки смотрят на это сквозь пальцы» и др.), собранных или якобы собранных в советской и эмигрантской периодической печати.

С. 412. Убраться в Африку, в колонии? — Здесь намечается путь Артюра Рембо, внезапно оставившего поэтическое поприще и удалившегося в экзотические страны. И хотя герой этот путь отвергает, Адамович называет Шишкова «русским Рембо» и заявляет, что он сбежал «от литературы в Африку», подтвердив тем самым, по наблюдению М. Шрайера (Указ. соч.), что он принял рассказ за документальное свидетельство — статью или мемуарный фрагмент.

...среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. — Переход от темы бегства Рембо к изгнаннической теме Пушкина: «И средь полуденных зыбей, / под небом Африки моей, / Вздыхать о сумрачной России...» («Евгений Онегин»; 1, L).

С. 413. ...«прозрачность и прочность такой необычной гробницы». — Как полагает М. Шрайер, эта строка, метрически являющаяся пятистопным амфибрахием с цезурой после второй стопы, перекликается с четырехстопным амфибрахием, которым написаны «Поэты». Так создается впечатление, что в конце рассказа автор цитирует еще одно стихотворение из тетради, которую Шишков оставил ему перед тем, как «исчезнуть».

О. Сконечная

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения из сборников печатаются по тексту этих сборников, но располагаются в порядке их первых публикаций. Стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники, печатаются по первым публикациям. Под стихами мы указываем, когда она известна, дату написания, опираясь на авторскую хронологию, данную в *Н79*, с уточнениями М. Джулиара (M. Juliar. Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York and London: Garland, 1986), Б. Бойда (B. Boyd. Nabokov's Russian Poems: A Chronology // The Nabokovian. № 21. Fall 1988. P. 13–28) и Д. Бартона Джонсона (D. Barton Johnson, Wayne C. Wilson. Alphabetic and Chronological Lists of Nabokov's Poetry // Russian Literature Triquarterly. № 24, Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1991. P. 355–415).

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951»

Сборник вышел в Париже (издательство «Рифма») в 1952 г., состоит из 15 русских стихотворений (позже все они были включены в *Н70*), написанных, как отмечает Набоков в предисловии, в Германии, Франции и Америке в 1929–1951 гг. Часть их, представленная в настоящем томе, написана, по словам автора, так, чтобы «каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной "парижской школы" эмигрантской поэзии)» (*Н70.* С. 13–14. Русский перевод цитируется по Предисловию В. Набоковой к *Н79.* С. vii).

С. 417. **Поэты.** Впервые: Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 262–264, подписано Василий Шишков, вкл. также в *Н70* и *Н79.* Авторское прим.: «Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом "Василий Шишков", было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, *Последние новости*), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление "таинственного нового поэта", что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича ["Василий Шишков", 1939, см. в наст. томе]» (*Н70.* С. 95, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 319–320). Адамович написал восторженную рецензию: «В "Поэтах" Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбро-

саны те находки, тот неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя» (Последние новости. 17 августа 1939; см. также Последние новости. 22 сентября 1939). Е. Таубер, впрочем, спустя 13 лет утверждала, что, прочтя это стихотворение в «Современных записках», «перечитала много раз, и чем больше читала, тем больше крепло во мне убеждение, что его мог написать только Набоков, писавший тогда под именем Сирина, а В. Шишков — маска, игра, желание поморочить и позабавиться» (Е. Таубер. «Стихотворения» В. Набокова // Возрождение. 1955. № 37. С. 139–141; см. также *В90.* С. 509–510). Набоков здесь продолжает традицию мистификаций «Жизни Василия Травникова» (1936) В. Ходасевича, что подтверждается нехарактерным для Набокова размером, которым написано стихотворение, — четырехстопным амфибрахием (обычно Набоков использовал неклассические размеры в пародийных, стилизаторских целях — см. «О правителях», «Иосиф Красный — не Иосиф...» и др.). Впрочем, верно и мнение З. Шаховской: «явно не только для мистификации эти стихотворения были написаны. 〈...〉 не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, “трава двух несмежных могил” тому порукой [отец Набокова погиб в 1922 и похоронен в Тегеле, под Берлином, мать умерла в Праге в 1939 и там же похоронена. — *М. М.*]» (В поисках Набокова. Отражения. М. 1991. С. 34). Шишковы — фамилия родственников Набокова, связывающая его с русской литературой (см. прим. к с. 170–171).

...с последним, чуть зримым сияньем России... — В книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955) Адамович снова похвалил эти стихи: «Как удивительно хороши эти “фосфорные рифмы” с “последним чуть зримым сияньем России” на них! Здесь мастерство неотделимо от чувства, одно с другим слилось», ср. также в его письмах А. Бахраху (*Классик без ретуши.* С. 622–623).

...рыданья рекламы на том берегу... — Авторское прим.: в «расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на противовоположном берегу Сены» (*Н70.* С. 95, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320), аллитерация подсказывает название «Bayer».

...иль, может быть, проще... — В журнале: «а, может быть, проще».

С. 418. **«Отвяжись — я тебя умоляю!»** Впервые: Современные записки. 1940. Кн. LXX. С. 128–129 под загл. «Обращение» и псевд. Василий Шишков; в *Н70* и *Н79* под загл. «К России». Автограф стихотворения с подписью «Вас. Шишков» и датой «X. 39» хранится в: *LC.* Z. Shakhovskaj Papers. (см. прим. к стихотворению «Мы с тобою так верили в связь бытия...», с. 432). Авторское прим. к публичному чтению 1949 г.: «Второе стихотворение этого парижского “цикла” (как любят выражаться молодые

поэты) оказалось последним из моих многочисленных обращений к отечеству. Оно было вызвано известным пакостным пактом между двумя тоталитарными чудовищами [пакт Молотова—Риббентропа. — *М. М.*], и уже после этого, если я и обращался к России, то лишь косвенно или через посредников» (цит. по: *Глушанок 2000.* С. 82).

С. 419. **Слава.** Впервые: Новый журнал. 1942. Кн. 3. С. 157–161, с делением на четверостишия; вкл. также в *Н70* и *Н79.* По характеристике Ю. Иваска, «великолепное стихотворение... где певучие, женственные (бальмонтовские) анапесты звучат по-новому — мужественно. Это — поэтическое “пение”; и это — высокая беседа. Такие анапесты я бы назвал набоковскими» (Опыты. 1953. № 1. С. 198).

...как зловещий друг детства... — Этот мотив повторяется в рассказе «Лик» (1939, см. в наст. томе), прототип, очевидно, соученик по Тенишевскому училищу Шмурло (см.: Ю. Левинг. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова // Новый журнал. 1999. Кн. 214. С. 120).

...упустив аполлона... — Бабочки Apollo принадлежат к роду *Parnassius* Linnaeus, упоминаются также в рассказе «Пильграм» и «Даре», чаще всего у Набокова из них упоминается *Parnassius mnemosyne*, или «черный аполлон».

Перечтите... — Авторское прим.: «Это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в строках 45–47» (*Н70.* С. 113, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320).

...(дохожденья до глаз, до локтей, до висков) / ⟨...⟩ в захолустии русском, при лампе, в пальто ⟨...⟩ под шум дождевой, набегающий шум заоконной березы... — реминисценция поэтического стиля Пастернака, ср. дальше аллюзия на его судьбу: *И виденье: на родине. Мастер. Надменность.*

...ныне дикий пребудет в неведенье диком, / друг степей для тебя не забудет степей. — Авторское прим.: «Аллюзия на 3-ю строфу пушкинского “Памятника” (1836)...» (*Н70.* С. 113).

...не мелькнет мое имя... — В журнале: «твое имя».

...с именами собратьев по правописанью... — Авторское прим.: «В 1917 году была введена новая орфография, но эмигрантские издания придерживались старой» (*Н70.* С. 113).

...особенный привкус анисовый... — Авторское прим.: «Имеется в виду ложный лисий запах, масло, употребляемое, чтобы сбить с пути собак, преследующих дичь» (*Н70.* С. 113).

Признаюсь, хорошо зашифрована ночь... — автометаописание распыленных в тексте анаграмм имени и псевдонима автора.

С. 422. **Парижская поэма.** Впервые: Новый журнал. 1944. Кн. 7. С. 159–163, вкл. также в *Н70* и *Н79*. Посылая поэму Э. Уилсону, Набоков сопроводил ее так: «Я снова спал со своей русской музой после долгого адюльтера и посылаю тебе поэму, которую она родила» (*N-W79*. P. 121). В заметке к публичному чтению в 1949 г. Набоков ответил на упреки в «туманности» стихотворения: «Оно станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (цит. по: *Глушанок 2000*. С. 82). Современниками, видимо, поэма воспринималась в жанре произведения «с ключом»: Р. Гринберг, рассказывая Набокову о том, как в апреле 1944 г. у него в гостях Ю. Тувим читал Э. Уилсону эту поэму, так описывает реакцию слушателей: «Отдельные места перечитывались по нескольку раз. Спрашивали, допытывались, изумлялись, охали, спорили, не соглашались и опять начинали все сначала. Все сразу помолодели лет на 20» (*BCNA*. — Сообщено Г. Б. Глушанок). О. Ронен сопоставляет эту поэму с «Поэмой без героя» Ахматовой как подведение итогов «серебряного века» (Омри Ронен. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: О. Г. И. 2000. С. 113).

От кочующих, праздно плутающих... — Авторское прим.: «подражание некрасовской строке “От ликующих, праздно болтающих...”» (*Н70*. С. 125, рус. перевод цит. по: *Н79*. С. 320), то есть стихотворению «Рыцарь на час» (1862), далее о Некрасове для американских читателей: «Знаменитый поэт, в нескольких великих стихотворениях успешно преодолевший в себе журналиста, писал тематические джинглы на актуальные темы» (*Н70*. С. 125).

Так он думал... — Авторское прим.: «подражание пушкинским строкам “Так думал молодой повеса...”» (*Н70*. С. 125, рус. перевод цит. по: *Н79*. С. 320), то есть «Евгению Онегину» (1, II).

Стул. На стуле он сам. — Реминисценция «Баллады» («Сижу, освещаемый сверху...», 1921) Вл. Ходасевича (Набоков перевел ее на английский: «Orpheus» // New Directions in Prose and Poetry / Ed. James Laughlin. Norfolk: New Directions. 1941. P. 600).

Бульвар Араго — Авторское прим.: «до совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания» (*Н70*. С. 125, рус. перевод цит. по: *Н79*. С. 320). Возможно, *«переход на подобье арго»* вводит анаграмму псевдонима русского эмигранта, графомана Павла Горгулова «Павел Бред» (*«дебрях Бульвар Араго»*), гильотинированного в 1932 г. на бульваре Араго за убийство президента Франции Дюмера.

О. Ронен отмечает, что «Парижская поэма» является антипародией «Распада Атома» Г. Иванова, который «сам распадается в набоковском стихотворении под бомбардировкой сопоставлений с последней стадией деградации русской поэзии и души — графоманом и преступником Горгуловым...» (Омри Ронен. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 260).

Чуден ночью Париж сухопарый... — Авторское прим.: «подражание описанию Днепра в “Страшной мести” Гоголя — “Чуден Днепр при тихой погоде...” и т. д.» (*Н70.* С. 125, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320), для американских читателей добавлена характеристика повести Гоголя: «отвратительно банальная история» (*Н70.* С. 125).

...как стекло несравненной аптеки — / и оранжевые фонари. — Реминисценция стихотворения А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (1912).

С. 426. **«Каким бы полотном батальным ни являлась...»** Впервые: Социалистический вестник. № 5–6. 17 марта 1944. С. 60 — в составе статьи Г. Аронсона «О “внутренней эволюции” СССР», без подписи и указания авторства («Прекрасную отповедь этим настроениям деморализации дают благородные стихи поэта, — которыми как нельзя лучше можно закончить статью: [цитируется стихотворение без разделения на строфы]»), вкл. в *Н70* и *Н79* под загл. «Каким бы полотном», вошло в антологию Ю. Иваска «На западе» (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1953. С. 291) и Vladimir Markov & Merril Sparks. Modern Russian Poetry (Alva: Mac Gibbon and Kee, 1996. C. 478). В письме к Э. Уилсону (5 апреля 1943) Набоков пишет, что послал это стихотворение в журнал «Новоселье», который характеризует так: «Как известно, по какому-то странному совокуплению разнородных мыслей, военная слава Росиии послужила для некоторых архибуржуазных кругов поводом к примирению с ее режимом. Один литературный журнал, который специализировался на этом патриотическом трепете, обратился ко мне с просьбой сотрудничать и получил от меня следующую довольно неожиданную для него лепту...» (заметка к чтению 1949 г., цит. по: *Глушанок 2000.* С. 86). Автограф этого стихотворения, написанного 2 апреля 1943 г., хранится в архиве издательницы «Новоселья» С. Ю. Прегель (Slavic Collection. University of Illinois. Urbana USA. — Сообщено Г. Б. Глушанок). В «Социалистическом вестнике», официальном органе РСДРП, основанном Л. Мартовым, оно появилось без его ведома: «Мой маленький стихотворный экспромт о “Советская сусальнейшая Русь” “тайно” циркулировал в списках и списках списков среди русских социалистов окружения Керенского, давая им

изысканное, давно утраченное возбуждение от распространения “запрещенных стихов”, как бывало при царизме, — пока наконец один из этих социалистов не опубликовал его анонимно в “Социал. Вестнике”, предварив (в финале антисталинской статьи) особым ритуально-скрытым указанием, как было принято в отношении списков революционных стихов полвека назад. Тут есть два очаровательных пункта: 1) такие благородные гражданственные стихи являются общественной собственностью и 2) имя поэта не открывается, потому что иначе он будет сослан в Сибирь (или на Лабрадор) — президентом Рузвельтом. Если тебе знакомы габитус, среда и стиль русских левых публицистов 1845—1945, ты оценишь тонкий юмор этой истории» (*N-W79.* С. 132). Несмотря на декларированную аполитичность, Набоков, видимо, в середине 1940-х гг. был потрясен просоветской переориентацией его знакомых по европейской эмиграции: В. А. Маклакова, Г. В. Адамовича, Н. А. Бердяева, П. Н. Милюкова (см.: «Дорогой и милый Одиссей...» Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова / Вступ. ст., публ. и комм. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 53. С. 83—87; письмо Э. Уилсону от 23 февраля 1948, рус. перевод в: Звезда. 1996. № 11. С. 120).

С. 426. **О правителях.** Впервые: Новый журнал. 1945. № 10. С. 172—173, с делением на строфы: 4 + 6 + 5 + 3 + 9 + 8 + 8 + 8 + 9; вкл. также в *Н70* и *Н79.* По характеристике Ю. Иваска, «здесь веселая, бодрящая ненависть самой высокой сатиры, которая не нуждается ни в колдовстве, ни в нищенстве поэзии и чужда — безумия и обмана» (Рифма (Новые сборники стихов) // Опыты. 1953. № 1. С. 198).

...глядя в бинокль / на плотного с ежиком в ложе? — Авторское прим.: «туристы, посещавшие советские театры, оставались под глубоким впечатлением от увиденного там диктатора» (*Н70.* С. 133, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320).

...ни лучше, ни веселей. — Авторское прим.: «вспоминается комическое заявление Сталина: “Жить стало лучше, жить стало веселей”» (Там же).

...детина в регалиях... — Авторское прим.: «...здесь на мгновение появляются советский генерал и Адольф Гитлер» (Там же).

...или опять же банкет / с кавказским вином... — Авторское прим.: «...наша последняя остановка — Тегеран» (там же), речь идет о Тегеранской конференции стран-победителей.

Покойный мой тезка... — Авторское прим.: «...мелкокалиберный советский поэт, Владимир Владимирович Маяковский, не лишенный некоторого блеска и хватки, но роковым образом развращенный режимом, которому верно служил» (там же), все стихотворение представляет собой пастиш строфики и рифм Маяковского.

...рифмы натягивал / на «монументален», / на «переперчил»... — Авторское прим.: «“монументален” рифмуется довольно точно со “Сталин”, а “переперчил” забавным образом перекликается с фамилией британского политическкго деятеля в неряшливом русском произношении» (Там же). Последнее, очевидно, также реминисценция предсмерной записки Маяковского («Инцидент, как говорится, исперчен»). Политическую лирику Мяковского Набоков также пародирует в стихотворении из рассказа «Истребление тиранов» (1938, см. в наст. томе).

С. 428. **К кн. С. М. Качурину.** Впервые: Новый журнал. 1947. Кн. 15. С. 81—83, под загл. «Кн. С. М. Качурину»; вкл. в *Н70* и *Н79.* Ю. Иваск вначале восхищается этим стихотворением: «Какие у него там убыстряющие ямб пеаны и какие самые удивительные подробности:

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и край ствола сквозь рябь листвы»,

но потом задает риторический вопрос, характерный для рецепции Набокова-поэта: «Но подробности последних двух строчек — не для прозы ли?» (Опыты. 1953. № 1. С. 198).

Качурин — Авторское примечание мистифицирует читателя: «Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена» (*Н70.* С. 141, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320), ср. в примечании к чтению 1949 г.: «Стихотворение... посвящено моему большому приятелю, известному автомобильному гонщику, князю Сергею Михайловичу Качурину. Года три-четыре тому назад представился случай инкогнито побывать в России, и добрейший Сергей Михайлович очень уговаривал меня этим случаем воспользоваться. Я живо представил себе мое путешествие туда и написал следующие стихи» (цит. по: *Глушанок 2000.* С. 85). Фамилия Качурин фигурирует в списке, который прислал Набокову в ответ на просьбу сообщить фамилии вымерших русских дворянских родов для героя «Дара» (вместе с Барбашин, Чердынцев, Рёвшин, Синеусов и др.) его друг, учитель и эрудит Н. Яковлев в 1926 г. (см.: *В90.* С. 255). В аннотированном прозаическом переводе стихотворения в письме к Э. Уилсону (около 1947 г.) Набоков дает другой комментарий к адресату стихотворения: «...который не существует,

но которого читатель должен принять за моего старого друга — с подобием звучного апострофирования, которое Пушкин придает именам друзей в своих стихотворениях» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 264, перевод здесь и далее наш. — *М. М.*). Впервые эта фамилия появилась в романе «Дар» («Новый... роман генерала Качурина...» (см. т. IV наст. изд. С. 347—348). Существует ряд прецедентов перехода русскими эмигрантами советской границы: соредактор пражского журнала «Воля России» В. И. Лебедев в 1929 г. нелегально посетил СССР с чужим паспортом и, вернувшись, опубликовал в журнале цикл очерков (1929, № 9—12; 1930, № 1—6); дважды, в 1924 и 1926 гг., нелегально переходил советскую границу и ездил по стране П. Д. Долгоруков (1866—1927), член ЦК партии КД, депутат 2-й Государственной думы. Эти истории отражены также в пьесе «Человек из СССР» (1927).

...и всем долинам дагестанским... — Авторское прим.: «ссылка на известное стихотворение Лермонтова (“В полдневный жар в долине Дагестана...”)» (*Н70.* С. 141, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320), то есть стихотворение «Сон» (1841), которое Набоков перевел на английский с подробным анализом его повествовательной структуры (The Triple Dream // The Russian Review (New York). Vol. 1. № 1. November 1941).

...я шлю завистливый привет. — Авторское прим.: «завистливый, потому что экзотический и летальный, как те романтические долины — они менее экзотичны и менее ужасны, чем то место, которое я описываю» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 265).

От холода, от перебоев... — Авторское прим.: «Инструментовка этой строфы приготовляет вибрирующий фон для постепенного развития птичьей темы» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 265).

...мог встать и до окна дойти... — Авторское прим.: «Обрати внимание на влажную и щебечущую под сурдинку инструментовку, которая связывает цветочный узор, упомянутый выше, с темой просыпающихся птиц, возникающей дальше» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 265).

...в шестидесяти девяти / верстах от города... — На таком расстоянии от Петербурга находится набоковское имение в Выре.

...где запинаюсь взаперти... — Авторское прим.: «Эта строфа содержит обещанный птичий взрыв, переданный в “щебетанье в шестидесяти девяти верстах”» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 267).

техасы. — В *Н70*: «тексасы».

...чтоб в Матагордовом Ущелье... — Авторское прим.: «Иными словами, позволь проложить прямой путь в Америку из моего детства и романов о Диком Западе, которые я любил когда-то» (цит. по: *Barabtarlo 93.* С. 268); аллюзия на роман Т. Майн Рида «Всадник без головы» (1866), действие в котором происходит в штате Техас на берегу залива Матагорда.

С. 431. **«На закате, у той же скамьи...».** Впервые в этом сб.; в *Н70* и *Н79* под загл. «На закате». Автограф в архиве К. Солнцева с дарственной надписью: «Переписано для дорогого Владимира Михайловича Зензинова 12-го февраля 1936, в Париже» (K. Soltsev Papers. Amherst College Center for Russian Culture. Указано в: «Дорогой и милый Одисеей...» Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова / Публ. и комм. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 53. С. 89).

С. 431. **«Что за ночь с памятью случилось?»** Впервые в этом сб., вкл. также в *Н70* и *Н79* под загл. «Что за-ночь».

С. 432. **«Мы с тобою так верили в связь бытия...»** Впервые в этом сб., вкл. также в *Н70* и *Н79* под загл. «Мы с тобою так верили». Автограф с посвящением «Иосифу Владимировичу Гессену» датирован «I-39» и подписан «Василий Шишков» (см.: В. Старк. Неизвестный автограф Набокова, или История одной мистификации // Звезда. 1999. № 4. С. 40—41); также автограф в архиве З. Шаховской, датированный «X. 39» в подборке из двух стихотворений (вместе с «Отвяжись... я тебя умоляю!») под общим заглавием «Обращения» (*LC.* Z. Shakhovskaj Papers. — Сообщено Г. Б. Глушанок) и подписью «В. Шишков» (ср.: З. Шаховская. В поисках Набокова. Отражения. М. 1991. С. 254). В примечании к публичному чтению стихотворения в 1949 г. Набоков отмечает, что оно из тех, что «все еще отвечают моим сегодняшним требованиям» и что оно «пришлось по вкусу покойному Иосифу Владимировичу Гессену, человеку, чье художественное чутье и свобода суждений были мне так ценны» (цит. по: *Глушанок 2000.* С. 80).

С. 432. **«Был день как день. Дремала память. Длилась...»** — Впервые в этом сб., вкл. в *Н70* и *Н79* под загл. «Был день как день».

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»

Сборник «Poems and Problems» («Стихи и задачи») вышел в издательстве McGraw-Hill (New York, Toronto) в 1970 г., включает 39 русских стихотворений с параллельными авторскими переводами на английский язык, 14 английских стихотворений (все ранее были включены в сб. «Poems». Garden City, New York: Doubleday, 1959) и 18 шахматных задач с решениями. В предисловии Набоков «отказывается извиняться» за включение шахматных задач, «поэзии шахмат», мотивируя это тем, что «шахмат-

ные задачи требуют от сочинителя тех же достоинств, что любое стоящее творчество: оригинальности, изобретательности и блестящего отсутствия искренности» (*Н70.* С. 15. Перевод наш. — *М. М.*).

С. 433. **Герб.** Впервые: Русское эхо. 1 марта 1925 (указ. по: *J86.* Р. 194), вкл. также в *Н79.*

С. 433. **Люблю я гору.** Впервые: Руль. 19 сентября 1925, под загл. «Вершина»; в *Н70* в оглавлении и тексте под загл. «Люблю я гору», а в библиографической справке (с. 214) под загл. «Вершина»; под этим же загл. в *Н79*[1].

С. 434. **Неправильные ямбы.** Впервые: Опыты. 1953. № 1. С. 41, без разбивки на строфы, вкл. также в *Н79.* В прим. в *Н70* (С. 216) Набоков отмечает опечатку в публикации «Опытов» — в четвертой строке «от зелени уж назойливой» — нарушающую размер. Авторское прим.: «Заглавие "Неправильные ямбы" основано на том, что, по правилам русской просодии, поллударение никогда не падает на *если*, меж тем как на слове *между* полуударение разрешается по старой традиции. Нет, однако, причины не обращаться с первым из этих двух легких, плавных двусложных слов так же, как и со вторым, особенно в начале ямбической строки» (*Н70.* С. 145, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 320).

С. 434. **Какое сделал я дурное дело.** Впервые: Воздушные пути. 1961. № 2. С. 185, без заглавия, как второе стихотворение цикла «Два стихотворения» (вместе с «Минуты есть: "Не может быть", — бормочешь...»), вкл. также в *Н79.* Г. Струве в письме В. Маркову заметил, что если бы ему пришлось писать отзыв, он бы «очень резко, не стесняясь, отозвался о стихотворении Набокова, пародирующем Пастернака: я считаю его гнусным и пишу об этом направо и налево своим корреспондентам» («Ваш Глеб Струве». Письма Г. П. Струве к В. Ф. Маркову / Публ. Дж. Шерона // Новый журнал. 1995. Кн. 12. С. 133).

Какое сделал я дурное дело... — Авторское прим.: «...первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, в которой он указывает, что его печально знаменитый роман "весь мир заставил плакать над красой земли моей"» (*Н70.* С. 147), в *Н79* ошибка подчеркнута: «первая строка [стихотворения Пастернака] заимствована полностью» (с. 320) — Набоков, несомненно, помнил, что пародировал не первые, а заключительные третью и четвертую строфы стихотворения Б. Пастернака «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне...»,

---

[1] Стихотворения «Герб» и «Люблю я гору» не были вкючены в т. I наст. изд. вследствие трудностей в поисках первой публикации.

1959): «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать/ Над красой земли моей. / Но я так, почти у гроба / Верю я, придет пора — / Силу подлости и злобы / Одолеет дух добра». Речь идет о романах Набокова «Лолита» и Б. Пастернака «Доктор Живаго», о котором Набоков всегда отзывался отрицательно (см.: Robert P. Hughes. Nabokov Reading Pasternak // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. Ed. Lazar Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1989. P. 153—170) — так, в интервью 1961 г. он назвал «Доктора Живаго» «среднего качества мелодрамой с троцкистской тенденцией. (Гершон Свет. Встреча с автором «Лолиты», см. в наст. томе, с. 647).

О, знаю я... — О державинских и пушкинских традициях exegi monumentum в этом стихотворении см.: Б. Кац. «Exegi monumentum» Владимира Набокова: к прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 72—77.

...и, как от яда в полом изумруде, / мрут от искусства моего. — Аллюзия на реплику Сальери из «Моцарта и Сальери» Пушкина: «Вот яд, последний дар моей Изоры»; ср. также аллюзию к «Дару» (gift — «яд» (*нем.*), «дар» (*англ.*)) в: Б. Кац. Указ. соч. С. 73, 76.

Но как забавно... — В последней строфе Б. Кац находит анаграмму фамилии и псевдонима Набокова-Сирина (Б. Кац. Указ. соч. С. 76—77).

...корректору и веку вопреки... — По предположению О. Ронена, образ корректора здесь восходит к последней строфе стихотворения Ф. Тютчева «Михаилу Петровичу Погодину»:

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд.

(Указано в: Б. Кац. Указ. соч. С. 73).

С. 435. **С серого севера.** Впервые: Новое русское слово. 21 января 1968 как факсимиле рукописи, вкл. также в *Н79.* Деревня *Батово* и село Рождествено (*Рожествено*) расположены в теперешнем Гатчинском р-не Ленинградской области, в Батово жила бабка Набокова по отцу Мария Фердинандовна Набокова, урожд. фон Корф, Рождествено принадлежало его предкам по матери Рукавишниковым, в 1916 г. было унаследовано писателем.

С. 436. **К свободе.** Впервые в этом сб., также вкл. в *Н79.* Написано 3(16) декабря 1917 г. в Гаспре, Крым, — в этот день из Петрограда с последними политическими новостями приехал

В. Д. Набоков, чудом избежавший ареста. Авторское прим.: «Главный — и в сущности единственный — интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полустолетия, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворениею юного поэта. Возможно, оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло» (*Н70.* С. 21, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 319).

С. 436. **Номер в гостинице.** Впервые в этом сб., вкл. также в *Н79.* В библиографическом примечании в *Н70* Набоков уточняет место написания: «Отель “Метрополь”, номер 7... за несколько дней до прощания с Россией» (С. 213).

С. 436. **Лилит.** Впервые в этом сб., вкл. в *Н79.* Авторское прим.: «Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворение не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой» (*Н70.* С. 55, рус. перевод цит. по: *Н79.* С. 319). *Лилит* в каббалистике первая жена Адама, бежавшая от него и ставшая демоном.

С. 438. **Неоконченный черновик.** Впервые в этом сб., вкл. в *Н79.*

Зоил — оратор, философ IV—III вв. до н. э., прославился насмешками над Гомером, его имя стало нарицательным для обозначения завистливого и язвительного критика.

С. 439. **Око.** Впервые в этом сб., вкл. в *Н79.*

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

С. 440. **Русалка (заключительная сцена к пушкинской «Русалке»).** Впервые: Новый журнал. 1942. № 2. С. 181—184. Об истории продолжений неоконченной драмы Пушкина, получившей заглавие при посмертной публикации (1837) см.: В. Рецептер, М. Шемякин. Возвращение пушкинской русалки. СПб., 1998;

о месте в ней набоковского варинта — С. А. Фомичев. Набоков — соавтор Пушкина (Заключительная сцена «Русалки») // А.С.Пушкин и В. В. Набоков. Материалы международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 211–223. К подражанию Набокова, видимо, подтолкнул поиск Ходасевичем автобиографического подтекста «Русалки» (В. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924), который Набоков не поддерживал, считая «человеческий документ», основанный на жизни поэта, пародией его творчества, которое одно есть его истинная биография (см. его эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», 1937) — не случайно в черновиках продолжения «Дара» Ф. К. Годунов-Чердынцев читает Кончееву в Париже во время войны свое продолжение «Русалки» и упоминает Ходасевича (см.: Д. Грейсон. Метаморфозы «Дара» // *Н97*. С. 595–598; А. А. Долинин. Загадка недописанного романа // Звезда. 1997. № 12. С. 218). Возражая на гипотезу Э. Уилсона, что Пушкин намеревался сделать князя, после свидания с подводной царицей, безумным, как мельник-ворон, Набоков отвечает, что экономный Пушкин никогда не сделал бы *двух* персонажей безумными: «окончание, которое я приделал, идеально соответствует традиционным концовкам всех русских сказок о русалках и феях — см., например, «Русалку» Лермонтова или поэму А. К. Толстого «Русалка» [«Князь Ростислав»] и проч.» (*N-W79*. P. 65, 67). О «русалочьей» теме у Набокова см.: D. Barton Johnson. «L'Inconnue de la Seine» and Nabokov's Naiads // Comparative Literature. 1992. Vol. 44. № 3. P. 225–248; J. Grayson. Rusalka and the Person from Porlock // Symbolism and After: Essays on Russian Poetry in Honor of Georgette Donchin / Ed. Arnold McMillin. London: Bristol Classical Press, 1992. P. 162–185.

•

С. 443. **Семь стихотворений.**

1. «*Как над стихами силы средней...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 43, вкл. в *Н79*.

...comme un dernier rayon... — Первая строка «Ямба IV» А. Шенье (наблюдение О. Сконечной в т. IV наст. изд., с. 614).

2. «*Целиком в мастерскую высокую...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 43, вкл. в *Н79*.

3. «*Всё, от чего оно сжимается...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 44, вкл. в *Н79*.

4. «*Вечер дымчат и долог...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 44–45, вкл. в *Н79*.

5. «*Какое б счастье или горе...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 45, вкл. в *Н79*.

6. «*Есть сон. Он повторяется, как томный...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 45, вкл. в *Н79* под загл. «Сон».

7. «*Зимы ли серые смыли...*» Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 46, вкл. в *Н79*.

С. 447. **«Минуты есть: “Не может быть”, — бормочешь...»** Впервые: Воздушные пути. 1961. № 2. С. 184, под общим заглавием «Два стихотворения» со стихотворением «Какое сделал я дурное дело...» (вкл. в *Н70*).

С. 447. **«Сорок три или четыре года...»** Впервые: Воздушные пути. 1967. № 5. С. 84, вкл. в *Н79*.

М. Маликова

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ко времени переезда Набокова из Германии во Францию в 1937 г. театральными центрами русской эмиграции в Париже были «Театр русской драмы» и «Русский драматический театр в Париже» (П. Е. Ковалевский. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920–1970). Paris, 1973). Поводом к написанию Набоковым «События» и затем «Изобретения Вальса», после более чем десятилетнего перерыва в драматургии, послужило создание в 1936 г. в Париже «Русского театра», для которого И. Фондаминский, активно поддерживавший новое начинание, предложил Набокову сочинить пьесу (*В90.* Р. 446). За «Событием», с успехом поставленным на сцене «Русского театра», последовало «Изобретение Вальса», в котором наиболее отчетливо отразились взгляды Набокова на драматургию, нашедшие затем свое теоретическое выражение в лекциях «Playwriting» («Творчество драматурга», 1941) и «The Tragedy of Tragedy» («Трагедия трагедии», 1941). «Изобретение Вальса» — последнее произведение, написанное Набоковым для театра. Итогом Набокова как драматурга является сценарий «Лолиты» (Lolita: A Screenplay. New York: McGraw-Hill, 1974).

СОБЫТИЕ
Драматическая комедия
в трех действиях

Пьеса написана в 1938 г. в Ментоне (Франция). Впервые: Русские записки. 1938. № 4. Печатается по этому изданию.

Д. В. Набоков перевел «Событие» на английский язык (в сборнике: Vladimir Nabokov. The Man from the USSR and Other Plays. San Diego, New York, London: Bruccoli Clark / Harcourt Brace Jovanovich, 1984).

Премьера «События» состоялась 4 марта 1938 г. в «Русском театре» (Париж, зал газеты «Журналь», рю де Ришелье, 100). Режиссер-постановщик, автор костюмов и декораций Ю. П. Анненков. Прошло четыре представления в исполнении труппы «Русского театра». Согласно премьерной программе, роли исполняли: А. Богданов (Алексей Максимович Трощейкин), М. Бахарева (Любовь Ивановна Трощейкина), В. Мотылева (Антонина Павловна Опаяшина), Елиз. Кедрова (Вера), Н. Петрункин (Ревшин), М. Крыжановская (Вагабундова), В. Чернявский (Мешаев I, Мешаев II), Евг. Скокан (Элеонора Шнап), Н. Токарская (Тетя Женя), А. Телегин (Дядя Поль), С. Бартенев (Писатель), В. Бологовской (Куприков), Ю. Загребельский (Иван Иванович Щель), В. Субботин (Сыщик), М. Токарская (Марфа).

В мае 1938 г. «Событие» было поставлено в Праге, в 1941 г. — в Варшаве и Белграде. В том же году 4 апреля состоялась премьера «События» в Театре Хэкшер, Нью-Йорк (режиссер и исполнитель главной роли Г. С. Ермолов, декорации М. Добужинского). По финскому телевидению был показан телеспектакль (*Н73.* Р. 162). Постановка «События» в СССР состоялась в 1988 г. в ленинградском театре-студии «Народный дом» (см. рецензии: Литературная газета. 14 декабря 1988; Звезда. 1989. № 7).

При публикации пьесы в «Русских записках» Набоков опустил список действующих лиц; Д. В. Набоков восстановил его в английском издании пьесы:

«Алексей (Алеша) Максимович Трощейкин, портретист.
Любовь (Люба) Ивановна Трощейкина, его жена.
Антонина Павловна Опаяшина, ее мать.
Рёвшин.
Вера, сестра Любови.
Марфа, служанка.
Элеонора Карловна Шнап, акушерка.
Г-жа Вагабундова.
Евгения Васильевна (тетя Женя), тетка Любови и Веры.
Дядя Поль, ее муж.
Знаменитый писатель (Петр Николаевич).
Старуха Николадзе.
Игорь Олегович Куприков, художник.
Репортер.
Мешаев Первый (Осип Михеевич Мешаев).
Иван Иванович Щель, торговец оружием.
Альфред Афанасьевич Барбошин, частный детектив.
Мешаев Второй (Михей Михеевич Мешаев), близнец Мешаева Первого.
Леонид (Леня) Викторович Барбашин (не появляется).
Аршинский (не появляется)».

Постановка «События» вызвала широкое обсуждение в среде русских эмигрантов в Париже. С одной стороны, рецензенты писали о невыполнимости задачи, поставленной Сириным перед «Русским театром», о перегруженности языка пьесы образами и сравнениями, неудачном распределении напряжения в действиях, многочисленности заимствований, резких переходах от реальности к вымыслу и гротеску. С другой стороны, отмечали остроумие, живость действия, попытку преодоления сценической условности, мастерство диалогов. К. П. [К. Парчевский] отмечал, что, несмотря на соблюдение архаичного правила трех единств, Сирин вышел за «рамки сценического творчества» в силу особенности своего писательского дарования и что «соединение различных стилей, разных настроений и сценических рисунков не проходит безнаказанно ⟨...⟩ Пьеса не могла поэтому дать того эффекта, на который имел право рассчитывать наш театр» (Русский театр: «Событие» В. Сирина // Последние новости. 6 марта 1938). Лоллий Львов писал о «фантасмагорической трудности» постановки и исполнения пьесы, о том, что «такой пьесе трудно дойти “до нутра” нашего рядового зрителя — обывателя, приходящего в театр за совсем другого рода переживаниями, чем те парадоксы, которые преподносит автор “События”» («Событие». Первая пьеса В. Сирина на сцене Русского театра в Париже // Иллюстрированная Россия. 12 марта 1938. № 12). На «Событие» распространилось также общее место эмигрантской критики о бессодержательности произведений Набокова при блестящей искусности стиля: «“Событие” — упражнение на случайную тему, фокус, очень ловкий и по-своему, может быть, занятный. Невозможно, однако, представить себе, чтобы он мог кого-нибудь взволновать или просто задеть: все в этой пьесе так вылощено, так сглажено, что ее эластически-бесшумный ход не вызывает в сознании никаких отзвуков» (Г. Адамович. Рец.: «Русские записки». 1938. № 4 // Последние новости. 21 апреля 1938). К разряду положительных высказываний относилось авторитетное мнение Ю. П. Анненкова, утверждавшего, что «за последние годы в русской литературе “Событие” является первой пьесой, написанной в плане большого искусства ⟨...⟩ Русские писатели разучились писать незлободневно для театра. Сирин пробил брешь. Его пьеса, при замене собственных имен, может быть играна в любой стране и на любом языке с равным успехом» («Событие» — пьеса В. Сирина (беседа Н. П. В. ⟨Н. П. Вакар⟩ с Ю. П. Анненковым) // Последние новости. 12 марта 1938). Ю. Сазонова оценила «Событие» как «попытку создания нового сценического жанра ⟨...⟩ Попытки в таком роде уже делались на французской сцене молодыми авторами... стремившимися передать в сценическом плане не внешние, а внутренние события; но до сих пор полностью осуществить

такой замысел не удавалось» (В русском театре // Последние новости. 19 марта 1938).

В. Ф. Ходасевич проанализировал пьесу в двух различных по оценке отзывах на ее постановку. В первом отклике «Событие» рассматривалось с литературной и сценической точек зрения: «“Событие” В. Сирина ⟨...⟩ не принадлежит к лучшим вещам этого автора. Его исключительное дарование блещет и в “Событии”, но мне кажется, что Сирину не удалось найти равновесие между очень мрачным смыслом пьесы и ее подчеркнуто комедийным стилем»[1]. В связи с особенностями стиля пьесы Ходасевич заметил, что не ясно, «чем мотивирована рифмованная речь Вагабундовой». В сценическом плане Ходасевич отметил как драматургический недостаток то обстоятельство, что в пьесе «кульминация приурочена к концу второго действия, а третье, заключительное, совершенно лишено движения и до тех пор тянется в разговорах, пока автор получает наконец возможность вывести на сцену Мешаева 2-го, своего deux ex machina, который и разрубает все узлы единым ударом» (Возрождение. 22 июля 1938). Во втором отзыве Ходасевич отметил «несомненный успех пьесы и постановки», основанный «не на беспроигрышном угождении обычным вкусам, а на попытке театра разрешить некую художественную задачу», которая «впервые сделана за все время эмиграции» («Событие» В. Сирина в Русском театре // Современные записки. 1938. Кн. LXVI. С. 423–427).

Едва ли не все рецензенты указывали на «Ревизора» как на главный драматургический источник, переосмысленный в «Событии» (Ю. П. Анненков утверждал: «Если говорить о родственных связях “События”, то здесь яснее всего чувствуется гоголевская линия» (Указ. соч.)). Ходасевич считал, что пьесу «можно рассматривать как вариант к “Ревизору”. Трощейкин с таким же ужасом ждет Барбашина... с каким городничий ждет ревизора» («Событие» В. Сирина в Русском театре). Вместе с тем высказывалось и предостережение: «Постановка и, отчасти, внешняя постройка фабулы на “ошибке” дали “Событию” кажущееся родство с гоголевским театром ⟨...⟩ Боже сохрани удариться в “гоголевщину”, дать “гротеск” или “живую картину” из “Ревизора”: это помешает увидеть подлинный смысл пьесы» (Ю. Сазонова. Указ. соч.). Ю. Сазонова выступила также против возникшего толкования пьесы как разыгранного кошмара: «Еще губительнее

[1] Ср. замечание Ю. П. Анненкова: «“Событие” написано на редкость живым, типичным языком... нашей теперешней, подпорченной, бесстильной, разорванной речью. Эта особенность “События” устраняет обычную условность театральной пьесы и делает ее исключительно жизненной, правдивой» (Указ. соч.).

для пьесы мысль о “сне”, о “кошмаре”, ибо для Сирина все представленное именно и составляет действительность, из которой он пытается взывать об освобождении» (Там же). В связи с этим нужно отметить важность понятия сновидческого в драматической концепции Набокова, выделявшего особо разряд сновидческих пьес, в которых «логика кошмара заменяет элементы драматического детерминизма» (см. The Tragedy of Tragedy в: V. Nabokov. The Man from the USSR and Other Plays. P. 327).

Название пьесы перекликается с подзаголовком «Женитьбы» Гоголя: «Совершенно невероятное событие в двух действиях», тогда как подзаголовок отсылает к знаменитой пьесе Н. Н. Евреинова «Самое главное. Для кого комедия, а для кого и драма» (премьера 1921), а также, возможно, обыгрывает оксюморон названия известной пьесы В. В. Вишневского «Оптимистическая трагедия» (1933). Имена некоторых действующих и упоминаемых лиц носят явные литературно-драматургические ассоциации: Трощейкина зовут как Горького, Опаяшину как Чехова в женском роде, у Барбашина имя Андреева, у жены Трощейкина — Раневской из «Вишневого сада», у Писателя имя и отчество Сорина из «Чайки»; кроме того, упоминаются Вишневские, Станиславские.

В примечаниях использованы работы Б. Бойда, Э. Филда, Г. Димент, С. Карлинского, комментарии Ив. Толстого (в кн.: Владимир Набоков. Пьесы. М.: Искусство. 1990), статья Р. Герра «Об одной забытой пьесе Владимира Набокова» в кн.: Отклики. Нью-Йорк, 1984 и П. Паламарчука «Театр Владимира Набокова» (Дон. 1990. № 7).

Комментатор выражает глубокую признательность А. Долинину, М. Маликовой и О. Сконечной за помощь и советы.

С. 452. ...мальчик мне нравится! Волосы хороши: чуть-чуть с черной курчавинкой. Есть какая-то связь между драгоценными камнями и негритянской кровью. Шекспир это почувствовал в своем «Отелло». — Ср. финал «Отелло»:

«Othello. ...If heaven would make me such another world / Of one entire and perfect chrysolite, / I“ld not have sold her for it». («Отелло. ...создавай / Мне небо мир другой из хризолита, / Чистейшего, без примеси, — ее / И за него я никогда б не отдал». Акт V, сц. 2. Перевод П. Вейнберга).

Как заметил Ю. Левинг, портрет мальчика имеет сходство с изображением юного А. С. Пушкина на известной гравюре Е. Гейтмана (Узор вечности: Пушкин-график — Набоков-художник // А. С. Пушкин и В. В. Набоков. Сб. докладов международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 253). Пушкин устойчиво связывается у Набокова с шекспировским мавром. Ср. в главе второй «Дара» (с тем же намеком на связь негритянской крови

с драгоценными камнями): «седой Пушкин», наслаждаясь в театре «Отелло», «стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями». Ср. также тему ревности, связывающую Пушкина с Отелло, в рассказе «That in Aleppo Once...» (1943).

С. 453. ...умер двух лет... — По предположению С. Карлинского, здесь обозначена параллель к судьбе Раневской из «Вишневого сада», потерявшей семилетнего сына (S. Karlinsky. Illusion, Realiti, and Parody in Nabokov's Plays. В кн.: Nabokov: The Man and His Work. P. 183–194).

костьё — кости со скотобоен либо от падали.

С. 454. Маргарита Гофман — возможно, контаминация Маргариты из «Фауста» Гёте с Э. Т. А. Гофманом (1776–1822), влияние которого в «Событии» отмечалось: «Пьеса со многими ошибками, но интересная. Прежде всего в ней слышится много флейт и фортепиан. Флейты — Гофмана...» («Событие», пьеса В. Сирина // Возрождение. 11 марта 1938. Подписано инициалами «И. С.»).

Пускай будет опять стена. — Ср. в буффонаде Н. Евреинова «Четвертая стена» (1915): «Директор. Ставьте четвертую стену!» Речь идет о стене, отделяющей зрительный зал от сцены и снимающей, таким образом, вопрос о сценической условности. Набоков, напротив, подчеркивает эту условность, представляя сценическое пространство с точки зрения персонажа, Трощейкина, для которого «темного провала», разумеется, нет, а есть стена комнаты. Мысль о двоемирии и способности переходить из одного мира в другой высказана в «Даре» Набокова с тем же сравнением: «О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена» (гл. 3).

С. 456. ...как три сестры. — То есть героини «Трех сестер» А. П. Чехова.

С. 459. ...потрясающее событие! Потрясающе неприятное событие! — Первая из многочисленных отсылок к «Ревизору», ср.:

«Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!» (д. 1, явл. II).

Барбашин... — образовано от «барабошить» — «будоражить, суматошить, тревожить, пугать и возмущать» (Словарь Даля). Фамилия главного закулисного лица отсылает к князю Василию Ивановичу Барбашину-Шуйскому (? — ок. 1571), опричнику, воеводе в походе на Астрахань (1554) и в Ливонской войне. Древнерусский мотив прослеживается и в родословной его антагониста Трощейкина, предком которого был «воевода четырнадцатого века» (см. прим. к с. 469).

С. 460. Что это за гадостные порядки? Что это за ласковые судьи?.. Освободили досрочно... — Возможно, автобиографический

отголосок: отец Набокова, В. Д. Набоков, был застрелен в Берлине террористами, один из которых в 1936 г. был досрочно освобожден из заключения, что ускорило переезд семьи Набоковых из Берлина в Париж в 1937 г. (*B90.* P. 427).

С. 460. «Камера Обскура» — лучшая фильма сезона!.. — «Камера обскура» (1932–1933) — «синематографический» роман Набокова, планы кинопостановки которого пытался осуществить в 1937 г. Фриц Кортнер (фильм был снят только в 1969 г. Тони Ричардсоном).

С. 462. С приятелем на Капри начал уже списываться... — По-видимому, аллюзия на обстоятельство биографии Алексея Максимовича Пешкова (Горького), переехавшего в 1906 г. на Капри.

С. 463. ...молодой Телль. — Сын Вильгельма Телля, героя швейцарской легенды, с головы которого отец сбил стрелой яблоко.

С. 465–466. Тебя задумал Чехов, выполнил Ростан и сыграла Дузе. — Чехов задумал образ Любови Раневской, героини «Вишневого сада» (см. прим. к с. 453). Эдмон Ростан (1868–1918) — французский поэт и драматург, чей стих в героической комедии «Сирано де Бержерак» (1897) считался образцом пластичности и выразительности. Элеонора Дузе (1858–1924) — знаменитая итальянская драматическая актриса, выступавшая с успехом во многих странах, в том числе в России (в 1891–1892, 1898).

С. 467. ...кто-то его запер в платяной шкаф, а когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой... — Ср. мотив потерянного ключа от шкафа в «Трех сестрах» (д. 3).

С. 469. ...был продан наш дом и сад... — аллюзия на «Вишневый сад». Любовь Раневская, кроме имения, продала также дачу в курортной Ментоне, где было написано «Событие».

«Мой предок, воевода четырнадцатого века, писал Трощейкин через "ять"...» — Трощейкин указывает таким образом на древность рода. Ирония Набокова заключается в том, что фамилия Трощейкин образована от презрительной формы Трощейка (от «тростить» — «двоить, сдваивать», по Словарю Даля), с писанием через «е».

С. 475. ...«Господа, к нам в город приехал ревизор». — Совмещаются начальная и заключительная реплики «Ревизора»: «Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». «Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник...».

...о пьесах... должно дать осечку. — Обыгран известный афоризм А. П. Чехова, использованный Набоковым в связи с Гоголем: «Знаменитый драматург как-то заявил... что если в первом действии на стене висит охотничье ружье, в последнем оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют; надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том,

что они никак не материализуются» (В. Набоков. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 60—61. Перевод Е. Голышевой под ред. В. Голышева).

С. 480. ...если действительно я завтра отправлюсь... У меня как раз остались от нашего театра борода и парик. ⟨...⟩ *Только смотрите, не испугайте пассажиров.* — Смысл реплик открывает сравнение двух эпизодов из чеховских пьес, которые здесь совмещаются. В «Чайке»: «Нина. ⟨...⟩ Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. ⟨...⟩ Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе...» (д. 4). В «Трех сестрах»: «Кулыгин. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду ⟨...⟩ Наташа. ⟨...⟩ *(Увидев Кулыгина, вскрикивает: тот смеется и снимает усы и бороду.)* Ну вас совсем, испугали!» (д. 4). Под «нашим театром», следовательно, можно понимать чеховский театр, или МХТ, носивший название Художественного-Общедоступного.

конфидант — (от *фр.* confident) друг.

С. 484. ...профессор Эссер... — Немецкое происхождение Шнап позволяет предположить, что ее профессором «был» Герман Эссер (Esser, 1900—1981), известный своими сексуальными похождениями и ярым антисемитизмом, одна из самых одиозных фигур в окружении Гитлера.

Вагабундова. *Здрасте, здрасте, извиняюсь за вторжение!*
Алексей Максимович, ввиду положенья... —
Рифмованная речь Вагабундовой напоминает раешный стих русского балагана (ср. слова Любови: «Почему нужно из всего этого делать какой-то кошмарный балаган»). С. Сендерович трактует образ Вагабундовой как «персонификацию балагана смерти», она «пришла посмотреть на смерть героя, и смерть — ее главная тема... О ее балаганном происхождении говорит ее фамилия — старинные кукольники-балаганщики были бродягами, вагабондами, или, на немецкий лад, вагабундами...» (С. Сендерович. Балаган смерти: заметки о романе В. В. Набокова «Bend Sinister» // Культура русской диаспоры: Владимир Набоков — 100. Сост. И. З. Белодубровцева, А. А. Данилевский. Таллинн, 2000.

С. 487. ...тетя Женя и дядя Поль... — Имена этой пары намекают на немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825), известного под псевдонимом Жан Поль, создателя теории смешного в русле романтической эстетики.

гага — старик, впавший в детство.

С. 488. ...Известного писателя: он стар, львист, говорит слегка в нос... — Прототипом Известного Писателя является И. А. Бунин. Вероятно, что здесь отразилось впечатление Набокова от встречи с Буниным в Париже в 1936 г., ср.: «появился Бунин, нетрезвый, говорил в нос»; упоминаются также его «непристойные шуточки» (*B90.* P. 423. Перевод наш. — *А. Б.*). Встреча была описана в авто-

биографических произведениях Набокова: «Бунин, подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным словарем» (Память, говори // В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1999. Т. 5. С. 563. Перевод С. Ильина). Ср. с последующими «нецеломудренными» репликами писателя.

С. 489. Мы встречались на рауте у Н. Н. ... — Намек на восьмую главу «Евгения Онегина», в которой описан светский раут у князя N. В X строфе этой главы упоминается «N. N.».

Я — антидульцинист: противник сладкого. — Антидульцинист (от *ит.* dolce — «сладкий») намекает на «Dolce stil nuovo» («Новый сладостный стиль»), итальянскую поэтическую школу XIII в., воспевающую в изящных стихах возвышенную любовь к женщине. Вместе с тем «противник сладкого» отсылает к XXV строфе восьмой главы «Евгения Онегина»:

Тут был на эпиграммы падкий,
На все сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов...

По поводу некоторых из этих предметов проявляет недовольство и Петр Николаевич, приобретающий, таким образом, черты пушкинского «сердитого господина». «Туманному роману» соответствует «сказка» Антонины Павловны, раздражающая писателя, «двум сестрицам» — Люба и Вера.

Знаете, ведь по-русски «рогат» значит «богат»... — «Они рогато живут — в избытке, богато», «Кто богат, тот и рогат» (Словарь Даля).

С. 490. Оставьте, не мешайтесь. — Ср. препирательства Бобчинского с Добчинским в «Ревизоре»: «Бобчинский. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте!» (д. 1, явл. III).

...умирающий Лазарь... — Упоминание евангельского сюжета о воскрешении Лазаря отсылает к одной из ключевых сцен в «Преступлении и наказании», когда Раскольников просит Соню почитать о «воскрешении Лазаря» (часть 4, гл. IV), о чем он затем вспоминает в эпилоге. Другая аллюзия на эту же главу романа Достоевского возникает в третьем действии (см. прим. к с. 508).

...смерть вторая и заключительная... — Возможно, намек на «Чайку», в финале которой Треплев кончает с собой, чему предшествует неудачное покушение на самоубийство.

С. 490—491. ...лебедь. Писатель. ⟨...⟩ Мелькнуло. — Умирающий на озере лебедь связывается с чайкой, убитой Треплевым также на озере («Чайка», д. 2). Ср. слова известного писателя Тригорина:

«**Тригорин**. Красивая птица ⟨...⟩

Нина. Что это вы пишете?

Тригорин. Так, записываю... Сюжет мелькнул ⟨...⟩ Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера...»

С. 491. Игорь Олегович Куприков. — Как не раз отмечалось (см., например: Г. А. Левинтон. The Importance of Being Russian, или Les allusions perdues // *Н97.* С. 326), имена русских князей настойчиво повторяются в произведениях Набокова в связи со «Словом о полку Игореве», где фигурируют Игорь и Олег Святославичи (об этом см.: Пекка Тамми. Поэтика даты у Набокова // Владимир Набоков в конце столетия. Сост. О. Сконечная. Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 28). Таким образом, древнерусские мотивы в пьесе объединяют ряд персонажей.

...от газеты, от «Солнца»... — так по-русски могла бы называться утренняя газета «The Sun» (учреждена в 1837 г. в Балтиморе, США).

С. 492. «...как сказал бы Шекспир, зад из зык вещан». — Передача созвучными древнерусскими словами второй части начального стиха из монолога Гамлета (акт III, сц. 1) — «that is the question» («вот в этом / вопрос» — в переводе Набокова). Выбор лексики характерен для И. Бунина, ср. его вопрос: «— А вы много знаете русских слов для обозначения зада? ⟨...⟩ — А есть прекрасные...» (А. Бахрах. Бунин в халате. М.: Согласие, 2000. С. 152).

С. 493. У вас, между прочим, опять печатают всякую дешевку обо мне. Никакой повести из цыганской жизни я не задумал... — Так выражается недовольство «на ложь журналов». См. прим. к с. 489.

...играя и как будто резвясь... — реминисценция из «Весенней грозы» Ф. Тютчева: «Когда весенний, первый гром, / Как бы резвяся и играя...»

...хроматической гаммой по глади озера, перешли на клавиши камышей... — Среди возможных литературных источников «сказки» следует указать, во-первых, на стихотворения в прозе И. Тургенева «Senilia» (1883), о которых Набоков в «Лекциях по русской литературе» писал: «Здесь фальшивая мелодия переплетается с дешевым великолепием, а философия недостаточно глубока для вылавливания жемчуга. Тем не менее они считаются образцами чистой размеренной русской прозы. Но авторское воображение никогда не поднимается выше избитых символов...» (В. Набоков. Лекции по русской литературе. С. 146. Перевод А. Курт). Во-вторых, псевдосимволистская описательность «сказки» напоминает стиль Треплева, ср.: «...у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе...» («Чайка», д. 4). В-третьих, здесь обнаруживается реминисценция «Исторического вечера» А. Рембо, входящего в цикл стихотворений в прозе «Озарения» (изд. 1886), название,

с которым перекликаются «Озаренные Озера» Опаящиной, ср.: «...руки маэстро заставляют звучать клавесины полей; кто-то в карты играет в глубинах пруда, этого зеркала фавориток и королев; во время заката появляются покрывала монахинь, и святые, и дети гармонии, и хроматизмы легенд» (перевод М. Кудинова). Хроматическая гамма — в музыке звукоряд, включающий все 12 входящих в октаву звуков.

С. 494. Как хороши, как свежи были розы! — Строка из стихотворения И. П. Мятлева «Розы» (1835), ставшая популярной после того, как И. Тургенев использовал ее в сборнике «Senilia» для названия одного из стихотворений в прозе.

...мертвый лебедь. Глаза его были полураскрыты, на длинных ресницах еще сверкали слезы. А между тем восток разгорался... — Пародия на стихотворение К. Д. Бальмонта «Лебедь» (1895), ср.: «Это плачет лебедь умирающий, / Он с своим прошедшим говорит, / А на небе вечер догорающий / И горит, и не горит». Ю. Левинг приводит эти строки в комментарии к рассказу «Адмиралтейская Игла» (1933), в котором повествователь упоминает «сонеты об умирающих лебедях» (см. т. III наст. изд. С. 623 и прим.).

...сидят в застывших полусонных позах 〈...〉 *спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся их группировка была бы нарисована...* — В авторском указании к «немой сцене» обнаруживается знакомство Набокова со знаменитой экспериментальной постановкой «Ревизора» В. Э. Мейерхольда (премьера 1926), в которой «немую сцену» изображали куклы: «Мы сделаем монтаж света, а потихоньку в глубине соберем куклы. 〈...〉 Дается штора. 〈...〉 Потом надо дать сигнал, по которому выедут все фигуры» (Мейерхольд репетирует. М.: «Артист. Режиссер. Театр» Профессиональный фонд «Русский театр», 1993. Т. 1. С. 94–96). Предположение о влиянии постановки Мейерхольда на «Событие» высказала Л. Червинская: «Пьеса очень напоминает гоголевского "Ревизора" (особенно в постановке Мейерхольда), и не только по признакам внешним» (По поводу «События» В. Сирина // Круг. 1938. Кн. 3). Набоков писал об этой постановке: «Русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все искажения и отсебятину, создал сценический вариант "Ревизора", который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя» (Лекции по русской литературе. С. 57. Перевод Е. Голышевой под ред. В. Голышева).

С. 495. Нам нужно бежать 〈...〉 *Бежать, — а мы почему-то медлим под пальмами сонной Вампуки.* — Вампука — ставшее нарицательным название оперы-пародии «Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера» (музыка и либретто В. Г. Эренберга по фельетону А. Манценилова (М. Н. Волконского),

премьера 1909). «Вампукой» называлось все искусственное, ходульное в театральных постановках. Н. Н. Евреинов вспоминал, что «в результате своего ошеломительного успеха "Вампука" стала магическим словом, от которого сразу же зашаталось и рухнуло трафаретное оперное искусство, чтобы дать место противоположному, творчески оригинальному, а главное, елико возможно, естественному и убедительному искусству» (Н. Н. Евреинов. В школе остроумия. М.: Искусство, 1998. С. 76–77). Ср. в его буффонаде «Четвертая стена»: «Д и р е к т о р 〈...〉 Камня на камне не оставлю от нашей прежней постановки! — Это все-таки "Вампука", что там ни говори» (ч. 1). Разговор Трощейкиных на авансцене отсылает к соответствующей сцене «Вампуки», когда влюбленная парочка выходит к рампе, чтобы поделиться своим счастьем с публикой. В этот момент обнаруживается погоня, и Вампука начинает распевать: «Спешим же, бежим же! / Бежим же, спешим же!», не двигаясь при этом с места (В школе остроумия. С. 97–98).

С. 495. Плохо вижу... Все опять начинает мутнеть. — Отсылка к знаменитой реплике Городничего в финале «Ревизора»: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц; а больше ничего...» (д. 5, явл. VIII). См. также прим. к с. 496.

Онегин, я тогда моложе, я лучше... — «...кажется, была, / И я любила вас; и что же?» — слова Татьяны из «Евгения Онегина» (8, XLIII).

С. 496. Входит Щель... — Фамилия персонажа наводит на мысль о персонификации специфического набоковского образа «щели» в потустороннее (ср., например, в гл. XV «Приглашения на казнь» (т. IV наст. изд. С. 148): «...он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, быть может, уснуть, — как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз... и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель, и пахнуло сыростью, плесенью, точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру... — щель пламенисто раздвинулась, и повеяло свежим дыханием вечера, и Цинциннат вылез из трещины в скале на волю»), возникающей в состоянии прозрения, подобного тому, в котором находятся Трощейкины (об этом образе: В. Е. Александров. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. СПб.: Алетейя, 1999. С. 36–37). Ср. персонификацию сна в «Изобретении Вальса». См. также след. прим.

Это так — мираж, фигуранты, ничто. 〈...〉 Скверная картина... — Фигуранты — «в балетах плясуны последнего разряда, для полноты и обстановки прочих» (Словарь Даля). О концовке второго действия в связи с «Ревизором» В. Ходасевич писал:

«Трощейкин... находится в состоянии того ужаса, который поражает городничего в конце. ⟨...⟩ страх, поражающий обоих, имеет общее действие: под его влиянием действительность не то помрачается, не то, напротив, проясняется для Трощейкина и его жены так же точно, как для городничего: помрачается, потому что в их глазах люди утрачивают свой реальный облик, и проясняется — потому что сама эта реальность оказывается мнимой, и из-за нее начинает сквозить другая, еще более реальная ⟨...⟩ И когда Трощейкин говорит, что “родные и знакомые”, собравшиеся вокруг, суть хари, намалеванные его воображением (его страхом), этот момент вполне соответствует воплю ослепшего или прозревшего городничего ⟨...⟩.

В сиринской пьесе мотив “свиных рыл” играет еще более важную роль: он в ней занимает почти центральное место...» («Событие» В. Сирина в Русском театре).

С. 497. Хотела вам дать рекомендацию: годится для роли сварливой служанки... — Параллель к «Самому главному» Н. Евреинова, где актриса, нанятая Фреголи для исполнения роли служанки в «театре жизни», не вполне удачно имитирует простонародную речь. (Благодарю за любезное указание О. Сконечную. — *А. Б.*) Вместе с тем в сцене обыгрывается драматургический шаблон передачи так называемой «народной речи», например в пьесах Л. Н. Толстого («Плоды просвещения» и др.).

С. 500. брандмайор — начальник пожарных частей города.

С. 503. Тебе не кажется, что там кто-то стоит ⟨...⟩ как младенец из «Лесного Царя». — В балладе В. Жуковского «Лесной царь» (1818), являющейся переводом стихотворения И.-В. Гёте «Ольховый король», испуганному ребенку в ночном лесу мерещится лесной царь.

Какая ночь... Ветер как шумит ⟨...⟩ на улице, можно сказать, лист не шелохнется. — Ироническая аллюзия на «Лесного царя» В. Жуковского, ср.: «О нет, мой младенец, ослышался ты, / То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

...у нас лебеди делают батманы... — намек на «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. Батман — (*фр.* battement — «биение, удары») в балете группа движений классического танца, часть ежедневного урока танцовщика.

С. 506. Почему он в средневековом костюме? Что это — Король Лир? — Указание на безумие Барбошина дается посредством аллюзии на сцену появления в Дувре сумасшедшего Лира из «Короля Лира» Шекспира (акт IV, сц. 6): «...But who comes here? / The safer sense will ne'er accommodate / His master thus» («...Это кто? / ...Умалишенный — видно по наряду». Перевод Б. Пастернака).

...нечто среднее между стихотворением в прозе и прозой в стихах. — См. прим. к с. 493.

С. 507. Я ему с няней пошлю французскую записку... — В «Евгении Онегине» Татьяна просит няню послать внука с «запиской» к Онегину (3, XXXIV).

С. 508. Барбошин. — Курьезное сходство фамилий Леонида Барбашина и детектива Барбошина объясняется тем, что вместе с «барабошить» (будоражить) существует отмеченное В. И. Далем значение «барабоша» — бестолковый, суетливый, беспорядочный человек. Барабошь — вздор, пустяки, бестолочь, чушь, дичь. Ср. слова Любови по поводу сыщика: «Что за дичь...»

...но голова трагического актера... — Совмещение в одном лице сыщика и актера возникает в пьесе Н. Н. Евреинова «Самое главное», где актер «на роли любовников» исполняет роль сыщика: «Ведь это мой первый дебют в роли сыщика!» (д. 1).

Не вам, не вам кланяюсь, а всем женам... — реминисценция 4-й главы «Преступления и наказания», в которой Раскольников кланяется Соне Мармеладовой, ср.: «— Я не тебе поклонился, а всему страданию человеческому поклонился...» (Указано С. Сендерович и Е. Шварц. Вербная штучка: Набоков и популярная культура // Новое литературное обозрение. 1997. № 26).

апартэ — (*фр.* aparte, от a part — «в сторону») сценические монологи или реплики, произносимые «в сторону», для публики, «не слышные» партнерам на сцене.

С. 509. Ультраадюльтер ‹...› *блондинка с болонкой.* — Аллюзия на «Даму с собачкой» А. П. Чехова, героиня которой блондинка с белым шпицем. Вместе с тем, как заметил А. Медведев, аллюзия направлена на «Самое главное» Н. Евреинова, персонаж которого, Дама с собачкой, нанимает для розыска мужа актера, исполняющего роль сыщика (А. Медведев. Перехитрить Набокова // Иностранная литература. 1999. № 12. С. 227).

...доктора Рубини. — Рубини Джованни Баттиста (1794—1854) — итальянский тенор, один из лучших исполнителей героических партий в операх Дж. Россини, Г. Доницетти и др. Вместе с тем «доктор» заставляет вспомнить доктора Ватсона, напарника Шерлока Холмса.

С. 510. ...вы так хороши, и ночь такая лунная... — реминисценция стихотворения Аполлона Григорьева «О, говори хоть ты со мной...» (1857). Ср.: «Душа полна такой тоской, / А ночь такая лунная». Указание на известный романс на эти стихи присутствует также в романе Набокова «Подвиг» (см. прим. к с. 217 в т. III наст. изд.).

Леонид Викторович Барбашин... Нет-нет, не путайте — Барбошин, Альфред Афанасьевич. — Ср. пререкания в фольклорных пьесах о Петрушке («Петре Ивановиче Уксусове»), включавших сценку «Петрушка и Филимошка».

«Филимошка. Меня звать Филимошка.

Петрушка. Ах, какое хорошее имя — Барабошка.

Филимошка. Не Барабошка — Филимошка» (Русский фольклор. М.: Олимп, 1999. С. 346).

С. 510. Альфред Афанасьевич. — Квинтэссенция имени романтического поэта: Альфред отсылает сразу к двум французским поэтам-романтикам: Альфреду Виктору де Виньи (1797—1863) и Альфреду де Мюссе (1810—1857), стихи которого Набоков переводил в 1927—1928 гг., и к двум английским поэтам: сентименталисту Альфреду Теннисону (1809—1892) и Альфреду Эдуарду Хаусмену (1859—1936), поэту-«георгианцу», оказавшему некоторое влияние на поэзию Набокова; отчество Афанасьевич отсылает к Афанасию Афанасьевичу Фету.

О, вы увидите! Жизнь будет прекрасна. ⟨...⟩ Птицы будут петь среди клейких листочков, слепцы услышат, прозреют глухонемые. Молодые женщины будут поднимать к солнцу своих малиновых младенцев. Вчерашние враги будут обнимать друг друга. ⟨...⟩ Надо только верить... — Обыгрываются финальные реплики Сони из чеховского «Дяди Вани», ср.: «...увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся ⟨...⟩ Я верую, верую...». Вместе с тем монолог пародирует речи Ивана Карамазова в беседе с Алешей из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского: «клейкие листочки» — символ жизни Ивана, ср.: «Жить хочется, и я живу... Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие распускающиеся весной листочки...»; обнимающиеся враги напоминают: «Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его» (гл. III). Пародируется также стиль «Великого инквизитора», ср.: «О, мы убедим их наконец не гордиться ⟨...⟩ Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. ⟨...⟩ Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин...» (гл. V). См. также след. прим.

Теперь ответьте мне прямо и просто... — Обращение отсылает к знаменитой антитезе «Братьев Карамазовых» о возможности всеобщего счастья ценой жизни одного «ребеночка», о чем Иван Карамазов спрашивает Алешу: «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай...» (книга пятая, гл. IV). Алексей Трощейкин, связывающийся таким образом с Алешей Карамазовым, со свойственной набоковским героям-лжехудожникам невнимательностью пропускает скрытый намек на смерть его двухлетнего сына, о котором он предпочитает не вспоминать.

С. 510—511. ...поэт, студент, мечтатель... Под каштанами Гейдельберга я любил амазонку... — Гейдельберг — город в Германии,

в котором находится старейший германский университет. Подразумеваются гейдельбергские романтики, так называемое второе поколение немецких романтиков, входивших в литературные объединения 1805–1809 гг. в Гейдельберге (Л. А. фон Арним, К. Брентано, братья Гримм, Й. фон Эйхендорф). Вместе с тем упоминание Гейдельберга отсылает к «Рудину» И. Тургенева, герой-романтик которого учился в этом городе.

С. 511. (Поет) «Начнем, пожалуй...» — слова Ленского перед дуэлью («Евгений Онегин», 6, XXVII); здесь имеется в виду опера П. И. Чайковского, о которой Набоков отзывался с неизменным отвращением: «Бесполезно повторять, что создатели либретто, эти зловещие личности, доверившие "Евгения Онегина" посредственной музыке Чайковского, преступным образом уродуют пушкинский текст...» (Пушкин, или Правда и правдоподобие. В кн.: Лекции по русской литературе. С. 414. Перевод с фр. Т. Земцовой). В. Ходасевич посвятил заметку «Пожалуй» ошибочной интерпретации в опере Чайковского этих слов Ленского (в: Мелочи // Возрождение. 23 июля 1933).

...Амур, Морфей и маленький Бром. — Наряду с римским божеством любви и греческим божеством сновидений Барбошин называет одно из прозвищ Диониса — Бромий (*греч.* «шумный»). Маленький Бром намекает на шумного мальчика, разбившего зеркало, — так Барбошин в очередной раз напоминает Трощейкину о его сыне (во втором действии Любовь говорит: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало»).

С. 513. бель-мер — (*фр.* belle-mere) теща.

С. 517. интерцептировать — (от *англ.* intercept — «перехват») перехватить.

По некоторым внешним приметам... и любите музыку. ⟨...⟩ *Все это совершенно не соответствует действительности.* — Пародия на дедуктивный метод Шерлока Холмса.

С. 518. ...вы не боитесь узнать, как умрете? — Ср. сцену гадания в драматической фантазии (ч. II, эпизод 15) «Улисса» (1922) Д. Джойса: «З о я. ⟨...⟩ Про плохое я тебе не скажу. Или все равно хочешь знать?» (Д. Джойс. «Улисс». СПб.: «Симпозиум», 2000. С. 492. Перевод В. Хинкиса и С. Хоружего.)

С. 519. ...я предсказал одному человеку... и теперь уезжает за границу навсегда. — Развязка «События» противопоставлена «Ревизору», в связи с чем В. Ходасевич писал: «Тот факт, что гоголевская комедия кончается грозным известием о прибытии ревизора, у Сирина же, напротив, Трощейкин узнает, что Барбашин навсегда уехал за границу, мне кажется, следует истолковать как признак пронзительного сиринского пессимизма: все в мире пошло и грязно, и так и останется: ревизор не приедет, и можно его не

бояться...» («Событие» В. Сирина в Русском театре)[1]. Вместе с тем финал «События» решен в ключе «Женитьбы» Гоголя, развязка которой построена на неожиданном бегстве Подколесина из дома невесты.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВАЛЬСА
Драма в трех действиях

Пьеса написана в сентябре 1938 г. в Кап д'Антиб. Впервые: Русские записки. 1938. № 11. Печатается по этому изданию. Перевод на английский Д. В. Набокова с предисловием автора в: Vladimir Nabokov. The Waltz Invention. N. Y. Phaedra, 1966.

Постановку пьесы в «Русском театре» осуществлял Ю. Анненков. 13 ноября 1938 г. на квартире у Анненкова Набоков прочел пьесу перед труппой «Русского театра», состоялось распределение ролей (в роли Вальса — Г. Хмара), и начались репетиции. Премьера, объявленная на 10 декабря 1938 г., в результате разногласий режиссера Ю. Анненкова с администрацией «Русского театра» была отменена. Начавшаяся война перечеркнула планы постановки «Изобретения Вальса». Впервые по-русски пьеса была поставлена Русским клубом Оксфордского университета в 1968 г., затем Хартфордской постановочной группой в Нью-Хейвене (1969); по-английски — Истсайдским театром в Сент-Пол (1968). В СССР пьеса впервые была показана в 1988 г. на сцене Рижского ТЮЗа в постановке Адольфа Шапиро (см. рецензии: Московские новости. 15 мая 1988; Правда. 20 декабря 1988).

В первой публикации список действующих лиц был опущен, в издании пьесы на английском языке он приводится с изменениями в именах персонажей[2].

В связи с тем, что постановка пьесы в Париже не состоялась, отклики на публикацию пьесы в эмигрантской печати были немногочисленны. Диктатор Вальс понимался как воплощение Антихриста и «помесь Бэла-Куна с Хлестаковым» («Явление

[1] Ю. П. Анненков, напротив, рассматривал пьесу как оптимистичную: «...следует отметить, что пьеса глубоко оптимистична: она говорит о том, что самая реальная жизненная угроза, опасность, совсем не так страшна...» (Указ. соч.)

[2] Изменения в английском варианте оговорены Набоковым в предисловии к американскому изданию пьесы (1965). Согласно авторскому указанию к пьесе, первый и третий акты проходят в кабинете военного министра. Второй акт — в зале заседаний. Действие совершается в воображаемой стране; время действия — приблизительно 1935 г.

Вальса», подписано инициалами «М. К.» // Современные записки. 1938. Кн. LXIX). Г. Адамович писал о связи пьесы с «Балаганчиком» А. Блока: «К чему близко это водворение здравого смысла в правах, после долгих испытаний его? К “Балаганчику”, конечно. Совсем другой тон, гораздо меньше лиризма, гораздо больше уступок злободневности, но приемы те же. Генералы у министра на совещании — почти слепок с блоковских мистиков» (Рец.: «Русские записки». 1938. № 11 // Последние новости. 24 ноября 1938). Набоков в предисловии к переводу пьесы указывал на трагичность фигуры Вальса, обремененного горькими и таинственными воспоминаниями детства. Признавая пророческое значение некоторых мест, Набоков вместе с тем отрицал наличие в пьесе политического «послания», подчеркивая при этом свое «отвращение к самой природе тоталитарных государств» (Vladimir Nabokov. The Waltz Invention. N. Y. Phaedra, 1966). Р. Тименчик указывал на развитие в образе Вальса пушкинского определения вальса в «Евгении Онегине»: «Однообразный и безумный», и на связь драматургии Набокова с концепцией М. Волошина о трех порядках сновидений, из которых создается театр (Читаем Набокова: «Изобретение Вальса» в постановке Адольфа Шапиро // Родник. 1988. № 10). П. Паламарчук обнаружил в образе Вальса мотив подпольного человека и возводил его «тронную речь» к «Великому инквизитору» Ф. М. Достоевского (Театр Владимира Набокова // Дон. 1990. № 7). С. Сендерович и Е. Шварц указали на возможную ассоциацию между вальсом и ужасом смерти, в основе которой «лежит имя главного героя пушкинского “Пира во время чумы” Вальсингама. В таком случае у Набокова речь идет о вальсе во время чумы» (Вербная штучка: Набоков и популярная культура // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 221). Б. Бойд отметил влияние драматической фантасмагории 15-го эпизода «Улисса» (1922) Д. Джойса, в которой Леопольд Блум возвышается до мирового господства и затем развенчивается, а также указал на пьесу А. Стриндберга «Игра снов» (1902), от которой, возможно, отталкивался Набоков в своем замысле (*В90.* Р. 491). Другим драматургическим источником называлась «Белая болезнъ» (1937 — постановка, экранизация) К. Чапека, в которой доктор Гален требует всеобщего разоружения в обмен на средство от смертельной болезни (см.: Р. Герра. Об одной забытой пьесе Владимира Набокова. — В кн.: Отклики. Нью-Йорк, 1984).

Драматическая концепция и замысел «Изобретения Вальса» восходят к пьесе Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» (1635), в первых двух действиях которой принц Сехизмундо описывает круг, спящим попадая из тюрьмы во дворец и получая власть в государстве и затем во сне водворяясь обратно в тюрьму. Период необузданного властвования расценивается им как сон.

В «Изобретении Вальса», по-видимому прямо ориентированного на Кальдерона, как и в первых двух действиях «Жизнь есть сон», круговая композиция обусловлена сновидческим характером происходящего. «Изобретение Вальса» сближает с пьесой Кальдерона также тема условий и границ власти.

Популярная в литературе межвоенного времени тема диктатуры, возникающей в результате открытия оружия небывалой разрушительной силы, в «Изобретении Вальса» является уже предметом обыгрывания. Набоков оглядывается, в частности, на пьесу Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца. Фантазия в русском стиле на английские темы» (1919), с ее полоумным изобретателем капитаном Шотовером, ищущим некий «психический луч», способный взорвать все взрывчатые вещества мира и уничтожить таким образом оружие на земле; на роман А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927), в котором открытие теплового луча служит средством достижения мирового господства; на романы Андрея Белого «Московский чудак» (1926) и «Москва под ударом» (1927), в которых изобретение русского профессора, дающее возможность использовать в военных целях лучи большой разрушительной силы, становится объектом охоты для немецкого шпиона.

С. 521. Государство... сплоченное, сплошь стальное, стальной еж... — вероятно, намек на «сплоченную» сталинскую державу и, возможно, ее генерального комиссара государственной безопасности (1937) и наркома внутренних дел (1936–1938) Н. И. Ежова.

амикальный — (от *фр.* amical) дружеский.

С. 524. У меня в Каламбурге две фабрики и доходный дом. — Ср. в «Лолите» один из адресов в книге гостиничных постояльцев: «Джеймс Мавор Морелл, Каламбург, Англия» (ч. II, гл. 23). К. Проффер отметил в нем аллюзию на пьесу Б. Шоу «Кандида» (1897), действие которой происходит в районе Лондона Хокстон, намекающем на *англ.* hoax — «обман, розыгрыш» (К. Проффер. Ключи к «Лолите». СПб.: Симпозиум, 2000. С. 37). В обратном переводе можно получить «Каламбург» (см. комм. А. Долинина: В. Набоков. Лолита. М.: Худ. лит., 1992). Следовательно, недвижимость Вальса находится в Лондоне.

телемор — неологизм Набокова, означающий умерщвление на расстоянии (от «теле» — регулирование работ с дальнего расстояния и «мор» — повальная смерть).

С. 525. Она — работа моего старичка... изобретателя... — В научно-фантастическом романе А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» изобретателем лучевого аппарата также был не заботящийся о мировом господстве Гарин, а престарелый ученый Манцев. Набокову был известен этот роман Толстого. В интервью

А. Аппелю он вспоминал: «С Алексеем Толстым я был знаком (...) Он был небесталанным писателем, написавшим два-три запоминающихся научно-фантастических рассказа или романа». (В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 3. С. 615—616. Перевод С. Ильина).

С. 529. Старик Перро. — Имя отсылает к французскому писателю и сказочнику Шарлю Перро (1628—1703), упоминание которого заявляет сказочные мотивы пьесы.

С. 530. Отдаленный взрыв страшной силы. — «Страшный взрыв» динамита изобретателя Шотовера раздается в финале пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца».

С. 531. Какой Сильвио? — Имя, которым Министр упорно называет Вальса, носит герой-сновидец «фантастической драмы в стихах» «Сильвио» (1890) Д. Мережковского. Сильвио обретает полноту власти в некоем сказочном государстве и мечтает провести революционные реформы. Кроме фантастической (или сказочной) основы действия, «Сильвио» сближает с «Изобретением Вальса» прямое обращение к мотивам пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Вместе с тем, как заметил Р. Тименчик, это имя отсылает к повести А. С. Пушкина «Выстрел»: Сильвио — «кавалер сюжетного круга, годами лелеявший мечту о выстреле реванша. Выстрелом оказался поврежден швейцарский ландшафт (то есть, как известно, горный), подобно тому как изобретение Вальса покорежило гору в раме министерского окна» (Указ. соч.).

С. 533. ...взорвать гору? — Уничтожение гор, как гипербола принципа равенства, входит в «свод законов» вымышленной страны Зоорландии в романе Набокова «Подвиг» (ср.: «...пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно», гл. XXXV). Ср. также в «Solus Rex» (1940) столь же фантастическое предложение придворного инженера «поднять центральную часть островной равнины, обратив ее в горный массив, путем подземного накачиванья».

С. 537. ...желаете ли вы еще демонстрации или вам достаточно сегодняшней? Вот в чем вопрос. — Обыгрывается начало монолога Гамлета «Быть или не быть...» (акт III, сц. 1).

С. 540. лунатик. — Намек на состояние Вальса дан через английское значение слова lunatic — «безумный». Русское значение аналогично значению слова «сомнамбула» — человек с расстройством сознания, совершающий во сне привычные действия. Таким образом, за счет различия значений в русском и английском языках совмещаются два основных мотива пьесы — безумия и сна.

С. 541. За длинным столом сидят... одиннадцать старых генералов... (последние трое представлены куклами...). — В авторском указании обнаруживается влияние «Балаганчика» А. Блока в постановке В. Э. Мейерхольда, ср.: «На сцене... длинный стол, за

которым сидят “мистики”» (В. Э. Мейерхольд. О театре. СПб., 1912. С. 198); «...мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук» (Мейерхольд и художники. М.: Галарт, 1995. С. 85). Постановку этого спектакля 1914 г. Набоков мог видеть в зале Тенишевского училища, в котором учился с 1911-го по 1916 г. См. также прим. к с. 494.

С. 542. Нас все-таки тринадцать! — Ср. в «Трех сестрах» А. П. Чехова: «Кулыгин. Тринадцать за столом!» (д. 1). Пекка Тамми заметил, что у Набокова «выбор между двенадцатью и тринадцатью развивается... в самостоятельный повторяющийся мотив» в ряде произведений и что число тринадцать выделяется в его поэтике как «маркированное в авторской нумерологической и мифологической системе» (Поэтика даты у Набокова // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 22. Перевод М. Маликовой).

С. 547. В нынешний момент, ввиду козней наших драчливых соседей... — В 1935 г., к которому в английском переводе относится время действия пьесы, гитлеровская Германия начала вести агрессивную политику против Чехословакии.

С. 548. Как ты, душа, нетерпелива.... — Стихотворение перекликается с «О как ты рвешься в путь крылатый...» (1923) Набокова, не входившим в прижизненные сборники, ср.: «О как ты рвешься в путь крылатый, / безумная душа моя, / из самой солнечной палаты / в больнице светлой бытия! // И, бредя о крутом полете, / как топчешься, как бьешься ты / в горячечной рубашке плоти, / в тоске телесной тесноты!» (См. т. I наст. изд. С. 608.) Ср. также «Искушение» (1921) В. Ходасевича: «Душа! Тебе до боли тесно / Здесь, в опозоренной груди. / Ищи отрады поднебесной, / А вниз, на землю, не гляди». Стихи Турвальского восходят к тютчевскому «О вещая душа моя» (1855). Ср.: «О вещая душа моя! / О, сердце, полное тревоги, / О, как ты бьешся на пороге / Как бы двойного бытия!..»

С. 549. Все куплю, сказал мулат. — Перефразированная строка стихотворения А. С. Пушкина «Золото и булат» (1827—1836): «“Все мое”, — сказало злато; / “Все мое”, — сказал булат. / “Все куплю”, — сказало злато, / “Все возьму”, — сказал булат».

С. 550. Сон, голубчик, сбегайте за ним. ⟨...⟩ *в Зале Зеркал. Вы знаете, как пройти?* ⟨...⟩ *Еще бы не знать.* — По-видимому, аллюзия на «Алису в Зазеркалье» (1872) Льюиса Кэрролла, рассказывающую о сновидческих приключениях Алисы. Связь со сказкой Кэрролла устанавливает сновидческий характер происходящего.

будировать — (от *фр.* buder) выражать неудовольствие.

С. 551. ...меня вы лишаете мелких прав Лепорелло, а сами метите в мировые Дон Жуаны. — Лепорелло — слуга Дон Жуана, например в «Каменном госте» Пушкина, где он наделен правами его ближайшего доверенного лица. Ср. в романе Андрея Белого

«Москва под ударом» фон-Мандро, шпион, в интересах готовящегося мироправления приблизил к себе урода Кавалькаса, который «стал его Лепорелло по части разврата» (гл. II (20)).

С. 553. трансакция — (от *лат.* transactio) сделка.

С. 554. Правильно ли я понял... и за миллион не соглашаетесь продать нам машину? — Ср. в «Москве под ударом» о покупке изобретения у профессора Коробкина: «...не знаю, что вас побудило тогда пренебречь предложеньем моим; я давал пятьсот тысяч; но вы, при желанье, могли бы с меня получить миллион» (гл. III (19)). Ср. также в «Белой болезни» К. Чапека:

«Барон Крюг. 〈...〉 Но если вы возьметесь вылечить меня, то получите в ваше личное распоряжение... сколько? Ну, скажем, миллион.

Гален 〈...〉 Миллион?» (д. 2, карт. IV).

С. 557. Покончено со старым затхлым миром! — Обыгрывается «Интернационал» (слова А. Я. Коца, 1902), ср.: «Отречемся от старого мира, / Отряхнем его прах с наших ног». Вместе с тем аллюзия направлена на «Сильвио» Д. Мережковского, в финале которого Сильвио провозглашает: «Разрушим мир — и силой знанья / Из праха новый создадим!»

В окно времен врывается весна. — Г. Адамович в рецензии на «Изобретение Вальса» (Указ. соч.) приводит строки из «Балаганчика» (1906) А. Блока, аллюзия на которые присутствует в речи Вальса, ср.: «Здравствуй, мир! Ты вновь со мною! / Твоя душа близка мне давно! / Иду дышать твоей весною / В твое золотое окно!» (Ср. также выше «Здравствуй, жизнь!», перефразирующее восклицание Арлекина.) Утверждение Арлекина: «Здесь живут в печальном сне» — относимо к сновидческому характеру пьесы.

С. 558. ...злобы временщика, который наяву за сны свои, за ужас ночи мстит. — Аллюзия на пьесу Кальдерона «Жизнь есть сон», в которой принц Сехизмундо, получив власть в государстве, мстит за то, что его держали в тюрьме.

...как основа царствия, угроза не то, что мрамор мудрости... Но детям полезнее угроза, чем язык увещеваний, и уроки страха — уроки незабвенные... — В программе Вальса обнаруживается влияние платоновской концепции идеального государства, основанного на регламентации воспитания, начиная с младенчества, и детальной системе наказаний («Законы»). Примечательна у Набокова связь платоновского государства с немецким фашизмом: «...я не особенный любитель Платона, и не смог бы я долго протянуть при его германском режиме милитаризма и музыки» (*Н73.* Р. 70). Вместе с тем фигура диктатора-учителя напоминает фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини, который начал свою карьеру с должности преподавателя младших классов.

С. 558. ...строптивый мир в шесть суток изничтожить... — Согласно Библии, Бог сотворил мир в шесть дней.

С. 559. ...приняв мою ограду... внутри пределов, незаметных детям, мир будет счастлив. — Ср. в финале «Трех сестер»: «...счастье и мир настанут на земле». П. Паламарчук (Указ. соч.) рассматривает речь Вальса как пародию на «Великого инквизитора» Ф. М. Достоевского, где инквизитор утверждает необходимость ограждения свободы человека ради его счастья, ср.: «У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга...» («Братья Карамазовы», часть II, кн. V, гл. 5).

С. 559—560. ...и не спасти слепого мира... — На спасительную миссию указывает имя Вальса: Сальватор — (от *лат.* salvo — «спасать») спаситель, избавитель.

С. 560. ...весь порох, все оружье на земле навеки уничтожить... — Повсеместное уничтожение оружия явилось центральным мотивом в двух знаменитых пьесах, предшествовавших «Изобретению Вальса». Это, во-первых, «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу и, во-вторых, «Белая болезнь» К. Чапека, в которой доктор Гален предлагает уничтожить оружие и заставить «правителей дать обет вечного мира... заключить навеки договор о мире между всеми народами...» (д. 1, карт. V).

Старик слезлив. Снег старый грязно тает... — ямбическая строка, представляющая собой реминисценцию «Евгения Онегина»: «Играет солнце; грязно тает / На улицах разрытый снег» (8, XXXIX).

С. 565. ...у статуи Перикла? — Диктатору Вальсу противопоставляется древнегреческий политик и полководец Перикл (около 490—429 до н. э.), проведший демократические реформы в Афинах. Его образ является олицетворением добра в «Перикле» (1609) У. Шекспира, ср.: «Могучий царь пред вами был: / Дитя свое он совратил. / Но лучший царь явился вам: / Хвала Перикловым делам. 〈...〉 И в Тарсе, где герой живет, / Такой от всех ему почет, / Что статую его отлили...» (акт 2. Перевод Т. Гнедич).

С. 566. Санта-Моргана... — вымышленный город, название которого отсылает к Фата-Моргане (*ит.* fata morgana; Моргана — в представлениях европейского средневековья — волшебница, хозяйка островов блаженных, «островов яблок») — редкой форме миража, при которой на горизонте появляются сложные и быстро меняющиеся изображения предметов, находящихся за горизонтом.

...любимый город, Веньямин их страны! — Веньямин (*библ.*) — «сын скорби», младший любимый сын Якова. Это упоминание можно рассматривать как намек на месторасположение Санта-Морганы: земля Веньямина находилась в центре Палестины, севернее Иерусалима.

С. 568. гох-посланник — (от *нем.* Hoch) высший, чрезвычайный посланник.

С. 569. ...острове Пальмора ⟨...⟩ *Такого острова нет.* — Название острова отсылает к древнему сирийскому городу Тадмора, который в античном мире принято было именовать Пальмира. В Пальмире почитался Бел (*семит.* «хозяин, владыка») — владыка мира (ср. ниже слова Вальса: «Кто я... царь мира?..»). Для определения набоковских ассоциаций также имеет значение, что южная Пальмора Вальса связывается с Северной Пальмирой — распространенным названием Санкт-Петербурга в русской литературе XVIII–XIX вв. Кроме того, из названия Пальмора вычленяется фамилия Томаса Мора, с «Утопией» (1516) которого, описывающей фантастический остров с идеальным общественным строем, несуществующий остров Вальса связывают его утопические реформы.

С. 570. На Пальмору, скорей на Пальмору! — Отсылка к безнадежному рефрену из «Трех сестер» А. П. Чехова: «О л ь г а. Да! Скорее в Москву» (д. 1).

С. 572. Да, дворец. ⟨...⟩ *Я люблю громадные, белые, солнечные здания. Вы для меня должны построить нечто сказочное...* — Сказочный мотив дворца на острове (например, «Сказка о царе Салтане» Пушкина) развивается в «Гиперболоиде инженера Гарина», ср.: «Дворец в северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам... Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора» (гл. 100). Для обозначения связи этого мотива «Гиперболоида» с «Изобретением Вальса» важно, что остров и дворец в «Гиперболоиде» первоначально возникают в сновидении героини: «Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, — я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы...» (гл. 119).

...когда жил в душных, шумных, грязных углах... — возможно, намек на биографию Адольфа Гитлера, который в Вене жил в приютах для бездомных, о чем вспоминал в своей автобиографической книге «Моя борьба» («Mein Kampf». Muenchen, 1933). Нищеты и бродяжничества не избежал также и Муссолини.

С. 574. экстракция — (от *лат.* extrahere — «вытягивать; вырывать») извлечение.

С. 576. Пальмин? — Отсылка к русскому поэту и переводчику Пальмину Лиодору Ивановичу (1841–1891), чей «Requiem» (1865) стал популярной революционной песней.

Пальмарий? — Название острова Вальса перекликается с названием острова Пальмария (Palmaria) в Лигурийском море.

С. 577. Она страшноватая. Тьфу! — Судя по традиционному восклицанию против нечистой силы, Вальс выбрал маску черта.

Ср. в рассказе Набокова «Памяти Л. И. Шигаева» (1934): «...рассмеявшись, я вслух произносил “тьфу” (единственное, кстати, слово, заимствованное русским языком из лексикона чертей; смотри также немецкое “Teufel”)...»

С. 578. Вот эта? Что, недурна? В восточном вкусе, правда? 〈...〉 *...почему она такая толстая?* — Реминисценция из «Маскарада» М. Лермонтова в гротескном преломлении, ср.: «Арбенин. 〈...〉 Вот, например, взгляните там — / Как выступает благородно / Высокая турчанка... / Как полна...» (д. 1, сц. 2). Ср. также предшествующее «мой отец был русский князь» и последующее упоминание Венеры с перечислением Арбенина: «Быть может, гордая графиня иль княжна, / Диана в обществе... Венера в маскераде...» (Там же).

«Отойди, не гляди» — начальные слова «Романса» (1858) А. И. Бешенцова, в ссылке на который обнаруживается намек на безумие Вальса: «Нет! с ума я сойду, / Обожая тебя, / Не ручаюсь, убью / И тебя, и себя. / Отойди, отойди!»

С. 579. ...привели двух шлюх и трех уродов... — Эта сцена отсылает к 4-му акту «Перикла» Шекспира, действие которого разворачивается в публичном доме. Ср.: «Сводня. Никогда еще у нас такого не бывало! Только и есть, что три несчастных твари» (перевод Т. Гнедич).

С. 580. бармы — часть парадной одежды московских князей и царей в виде широкого оплечья с нашитыми на него изображениями и драгоценными камнями.

С. 581. Моей девочки вы не увидите никогда. — В сцене травестируется легенда о Дон Жуане, в соответствии с которой Берг играет роль командора, погибшего от рук Дон Жуана, защищая честь дочери от его посягательств. Берг, человек-гора (*нем.* Berg — «гора»), ассоциируется с каменным гостем — явившейся Дон Жуану статуей командора и, по преданию, ввергнувшей его в ад (ср. слова Вальса: «Никаких статуй»).

С. 583. Надеюсь, что вы не начнете с нашей прекрасной горки. — Круговая композиция пьесы отвечает правилам вальса — кругового танца, в соответствии с которым Вальс, завершив тур, возвращается в первоначальное положение (его партнером являлся Сон, которого, согласно авторской ремарке, «может играть женщина»). В связи с этим двусмысленное название пьесы допустимо трактовать как изобретение круговой драматической композиции. Об осуществлении замысла произведения, движущегося по кругу, говорится в главе третьей «Дара» Набокова в связи с книгой героя о Н. Г. Чернышевском.

С. 584. Да поймите же 〈...〉 *машина — не где-нибудь, а здесь... в груди... меня нельзя трогать... я — могу взорваться.* — Мотив тела-бомбы развивается в «Петербурге» (1913) А. Белого во сне

Николая Аблеухова: «Николай Аполлонович понял, что он — только бомба; и, лопнувши, хлопнул...» (гл. 5, «Страшный Суд»). Ср. также: «Просто черт знает что — проглотил; понимаете ли, что значит? То есть стал ходячею на двух ногах бомбою с отвратительным тиканьем в животе» (гл. 6, «Дионис»).

А. Бабиков

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

Все тексты печатаются по первым публикациям.

О Ходасевиче. Впервые: Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 262–264.

Взаимоотношения Набокова и Ходасевича (16 мая 1886, Москва — 14 июня 1939, Париж) прослеживаются по Камер-фурьерскому журналу, хранящемуся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Chronology: daily log of activities, Rabota (daily log of literary work), *BAR*), — дневнику, который Ходасевич вел с 30 июня 1922 г. до самой смерти. Исследования Дж. Мальмстада (Из переписки В. Ф. Ходасевича // Минувшее. Вып. 3. 1987. С. 262–291) подневных записей регистрируют расписание реальных встреч, а их взаимные высказывания и переписка восстанавливают литературный контекст 30-х гг.

За пять лет до их фактического знакомства Набоков дал восторженную оценку поэзии Ходасевича (см. статьи «Владислав Ходасевич. Собрание стихов» и «Современные записки. XXXVII» в т. II наст. изд. С. 649–653, 668–671), поэт в свою очередь благожелательно отозвался о первых романах Сирина. Их встреча произошла 23 октября 1932 г. в Париже, на квартире Ходасевича. 15 ноября Ходасевич присутствовал на вечере Набокова. Их совместный вечер в Париже состоялся 8 февраля 1936 г.: Ходасевич читал историко-литературную мистификацию «Жизнь Василия Травникова», Набоков — три рассказа. Почти год спустя — 24 января 1937 г. — Ходасевич открыл авторский вечер Набокова — вступительное слово позже было оформлено в статью «О Сирине». Когда Набоков с семьей в сентябре 1938 г. переехал из Берлина в Париж, встречи их стали более частыми. 16 июня 1939 г. Набоков присутствовал на похоронах Ходасевича.

Начиная с 1929 г. Ходасевич рецензировал почти всю прозу Набокова (см.: *Классик без ретуши*). Он — один из прототипов поэта Кончеева в романе «Дар». Портрет Ходасевича дан в мему-

арах «Память, говори» и «Другие берега»: «Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов...». Три стихотворения Ходасевича Набоков перевел на английский язык: New Directions in Prose and Poetry. Ed. by J. Laughlin. Norfolk. 1941. P. 596–600. Перевод эссе «О Ходасевиче» Набоков опубликовал в книге «Strong Opinion» (*H73*. P. 710) и повторил в журнале «TriQuarterly: Russian Literature and Culture in the West: 1922–1972» (Spring 1973. № 27. P. 83–87), вместе с переводом трех его стихотворений (P. 67–70).

Некрологическое эссе, написанное Набоковым сразу после смерти Ходасевича, определяет место поэта в русской литературе XX века. И несмотря на, по определению М. Э. Маликовой, «откровенно метафизический и горестный характер», является еще одним произведением (после романа «Дар»), вобравшим отголоски многолетней литературной полемики 20—30-х гг. между двумя ведущими критиками русского зарубежья — Г. В. Адамовичем и В. Ф. Ходасевичем и их сторонниками и последователями. Двадцать три года спустя Набоков повторил свою оценку: «Нет Ходасевича — величайшего русского поэта, которого доселе породил XX век» (Предисловие к английскому переводу романа «Дар». Перевод Р. Левинтона // *H97*. С. 50).

С. 587. Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии... — Приверженность Ходасевича классической традиции русской литературы была особенно ценима Набоковым: «“Адриатические волны! О, Брента!..” Пушкинский певучий вопль (я говорю только о звуке — о лепете первой строки, о вздохе второй) является как бы лейтмотивом многих стихов Ходасевича. ⟨...⟩ В иных же стихах веет тютчевская струя...» («Владислав Ходасевич. Собрание стихов». Т. II наст. изд. С. 649–653). См. также статью Ходасевича «О Тютчеве» (1928) (Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С. 233–237). В статье «Поэзия Ходасевича» В. Вейдле писал: «Как Ходасевич связан с Пушкиным, так он не связан ни с каким другим русским поэтом, и так с Пушкиным не связан никакой другой русский поэт. Если бы существовала пушкинская традиция, Ходасевич был бы для нас ее продолжатель и обновитель... Ходасевич среди современников своих, как и вообще среди русских поэтов, остается единственным, для кого в русской поэзии Пушкин — это все...» (Современные записки. 1928. Кн. XXXIV. С. 454).

О полемике Ходасевича с Адамовичем и его сторонниками — поэтами «парижской ноты», отстаивавшими превосходство поэзии

Лермонтова в серии статей антипушкинской направленности, — см.: А. Долинин. Три заметки о романе Вл. Набокова «Дар» // *Н97.* С. 704–705.

С. 588. ...сквозь холод и мрак наставших дней... — перифраз строки из стихотворения А. Блока «Голос из хора» (1914):

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

Ср.: «Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней...» (Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. М.: Согласие. 1996. С. 165).

Тут нет у меня намерения кого-либо задеть кадилом... — По наблюдению Р. Д. Тименчика, аллюзия на строки из стихотворения Е. Баратынского «Когда твой голос, о поэт...» (1843):

. . . . . Но сложится певцу
Канон намеднишним зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

...отголоском его «Европейской Ночи»... — В последний прижизненный сборник Ходасевича 1927 г. «Собрание стихотворений» был включен новый цикл, состоящий из 26 стихотворений, — «Европейская ночь» (1922–1926).

...ничем не связанное с теми дежурными настроениями, которые замутили стихи многих его полуучеников. — «К поэтам, ориентировавшимся на Ходасевича, исповедовавшим своего рода неоклассицизм, культивировавшим строгие формы, можно отнести всю группу “Перекресток”, возникшую в 1928 году, выпустившую несколько своих сборников и включавшую, кроме парижских поэтов, четырех белградских — И. Голенищева-Кутузова, А. Дуракова, К. Халифова и Е. Таубер. Из парижских поэтов к “Перекрестку” принадлежали Ю. Терапиано, В. Смоленский, Г. Раевский, Д. Кнут, Ю. Мандельштам» (Г. Струве. Русская литература в изгнании. IMCA-Press — Русский Путь. Париж—М., 1996. С. 221). Набоков писал, что «Ходасевич жаловался на то, что молодые эмигрантские поэты заимствуют у него форму, а в модной тоске и душеизлиянии следуют клике Мережковского и Адамовича» (Цит. по: О. А. Коростелев. «Г. Адамович, В. Ходасевич и молодые поэты эмиграции» // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 11. С. 283).

С. 588–589. ...самые [искренние рыдания] все же нуждаются в совершенном знании правил стихосложения... поэт, намекающий

в неряшливых стихах на ничтожество искусства перед человеческим страданием, занимается жеманным притворством... — Адамович считал, что искренний «человеческий документ» — естественное безыскусное выражение чувств в любых проявлениях (дневник-исповедь) — ценнее профессионально «сделанного» стихотворения. «Переживание, описанное с величайшею даже точностью, — отвечал Ходасевич, — но не подчиненное законам литературного замысла, не образует художественного произведения. При наибольшей даже правдивости получаем мы в этом случае не стихотворение, не роман, а всего лишь человеческий документ» (Книги и люди. «Тело» // Возрождение. 11 мая 1933).

Адамович — один из прототипов критика Христофора Мортуса в романе «Дар», в рецензии которого спародирован стиль статей Адамовича: «...И право же, от них [стихов Кончеева] переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что "вычитываешь" у иного советского писателя, пускай и не даровитого, к бесхитростной и горестной проповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением» («Дар», гл. 3).

С. 589. ...ни в каком определении «формы» его стихи не нуждаются, и это относится ко всякой подлинной поэзии. — Согласно исследованию А. Долинина, «Набоков заявил о своем неприятии формального метода именно в связи со смертью Ходасевича. Тем самым он как бы выразил полную солидарность и согласие с той последовательно критической позицией, которую занимал Ходасевич по отношению к формализму, и особенно к Шкловскому» (Указ. соч. С. 728). (См. статью Ходасевича «О формализме и формалистах» // Возрождение. 10 марта 1927).

Слава, признание, все это и само по себе довольно неверный по формам феномен, для которого лишь смерть находит правильную перспективу. — Ср.: стихотворение «Слава» (с. 419. наст. тома).

С. 589—590. ...читая очередную критическую статью в «Возрожденье»... — После отказа редактора газеты «Последние новости» П. Н. Милюкова в 1926 г. в дальнейшем сотрудничестве в феврале 1927 г. Ходасевич перешел в газету «Возрождение», где работал до самой смерти, возглавляя литературный отдел и откликаясь на злободневные политические и литературные темы: полемика о «возвращенчестве», о задачах литературы эмиграции, о назначении поэзии; совместно с Берберовой вел «четверговые обзоры» до лета 1932 г., потом одна Берберова, которые были посвящены советской литературе.

С. 590. ...он последнее время не печатал стихов... — После «Собрания стихотворений» 1927 г. в печати появилось только восемь стихотворений Ходасевича.

Протест против вторжения в Финляндию. Впервые: Последние новости. 31 декабря 1939.

Советско-финская война продолжалась три с половиной месяца: с 30 ноября 1939 г. до 12 марта 1940 г. 30 ноября 1939 г. советские войска без объявления войны перешли финскую границу, г. Гельсингфорс подвергся воздушному нападению. Одновременно открыли огонь советские военные суда в Финском заливе и артиллерия. 1 декабря 1939 г. из Москвы пришел ультиматум: советское правительство предлагало Финляндии капитулировать до трех часов ночи, грозя в противном случае разрушить Гельсингфорс. Весь мир безоговорочно встал на сторону Финляндии. 13 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций. 12 марта 1940 г. был подписан мирный договор, отодвигающий финскую границу на 150 км от Ленинграда.

С ноября 1940 г. Набоков имел дополнительную, неофициальную информацию о событиях войны через своего друга — известного эсера В. М. Зензинова, побывавшего на финском фронте в качестве корреспондента парижских газет. Набоков читал серию очерков, опубликованных Зензиновым: «О совето-финской войне» (Беседы с Зензиновым) (Новое русское слово. 9, 10, 29 марта и 10, 14, 15 ноября 1940). В 1944—1945 гг. в Нью-Йорке Зензиновым на свои средства была издана книга «Встреча с Россией», состоящая из подобранных им на поле боя 277 фронтовых писем советских людей.

Прочитав книгу, Набоков написал Зензинову: «...Страшно благодарю вас за книгу. Я прочел ее от доски до доски и оценил огромный труд и огромную любовь, которые вы положили и проявили в ее составлении. Мрачна и скудна и нестерпимо несчастна Россия, отражаемая в этих патетических каракулях, и, как вы сами правильно отмечаете, ничего, ничего не изменилось — и те же солдатки шалели от того же голода и горя пятьсот лет тому назад, и тот же гнет, и те же голопузые дети в грязи, во тьме — за них одних этих мерзостных "вождей народа" — всю эту холодную погань — следовало бы истребить — навсегда. Я считаю, что эта книга — самое ценное из всего, что появилось о России за эти двадцать пять презренных лет. И эта "грамотность", которая сводится к механическому употреблению казенного блата («международное положение» и т. д.) и к лакейским стишкам из письмовника, — все это мучительно...» (Письмо от февраля 1945 г. «Дорогой и милый Одиссей...» (Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова) // Наше наследие. 2000. № 53. С. 100).

Набоковский отзыв был включен Зензиновым в рекламный листок-аннотацию. По просьбе Зензинова, рассчитывавшего на англоязычное издание книги, Набоков перевел часть писем на английский язык (см. письмо Набокова М. Карповичу [осень 1940 г.] // Там же. С. 80).

Протест подписали: З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяев, И. Бунин, Б. Зайцев, М. Алданов, Д. Мережковский, А. Ремизов, С. Рахманинов, В. Сирин. Степень личного участия Набокова в создании текста не определена. Возможно, что текст был предложен для подписи редакцией газеты «Последние новости». Это был редкий для Набокова, демонстрирующего свою непричастность к политике, поступок: участие в коллективной подписи под политическим документом, тем более что некоторые из подписавшихся не были его литературными союзниками (З. Гиппиус, А. Ремизов).

См., например, в письме к Зензинову от 11 мая 1949 г.: «Простите, что возвращаю ваш список неподписанным: я не общественник, и подпись моя для данного дела не имеет ни цены, ни веса. К тому же у меня принцип: ничего не подписывать, что не сам я писал. Еще раз — простите!..» (Наше наследие. 2000. № 53. С. 111).

Ср. в романе «Bend Sinister»: «За исключением юридических документов, — ответил Круг, — да и то еще не всяких, я никогда не подписывал и впредь не стану подписывать ничего, не мною написанного» (В. В. Набоков. Под знаком незаконнорожденных. Перевод С. Ильина // В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 1. С. 248).

Литературный смотр. Свободный сборник. Париж, 1939.

Впервые: Современные записки. 1940. Кн. LXX. С. 283–285.

Рецензию Набокова можно рассматривать в контексте «литературной войны» писателя с кругом журнала «Числа». Сборник «Литературный смотр» состоял из пространных статей авторов, являвшихся творческими антагонистами Набокова (за исключением Фельзена и Зензинова) и его прямыми противниками: З. Гиппиус, Г. Адамович и упоминаемый в рецензии В. Злобина — Г. Иванов. На титульном листе сборника редакторами значатся З. Н. Гиппиус (1869–1945) и Д. С. Мережковский (1865–1941).

«Редакторша» — как несколько раз уничижительно называет ее Набоков — З. Гиппиус в 1930 г. поддержала непристойный, грубый и несправедливый отзыв Г. Иванова о Набокове (Г. Иванов. «В. Сирин. “Машенька”, “Король, дама, валет”, “Защита Лужина”, “Возвращение Чорба”» // Числа. 1930. Кн. 1. С. 233–236). Она писала: «...и посмотрите: сравнительно мягкая, только прямая, заметка Г. Иванова, да еще о таком посредственном писателе, как Сирин, вызывает... бурю негодования. Самые благожелательные к “Числам” рецензенты не удержались от упоминания о “пятне”...» (Антон Крайний. Литературные размышления // Числа. 1930. Кн. 2–3. С. 148–149). Три года спустя в другой статье Гиппиус писала: «К примеру, назову лишь одного писателя, из

наиболее способных: Сирина. Как великолепно умеет он говорить, чтобы сказать... ничего! потому что сказать ему — нечего...» (Антон Крайний. Современность // Числа. 1933. Кн. 9. С. 143). З. Гиппиус — один из прототипов критика Христофора Мортуса в романе «Дар» (см. об этом: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // *Н97.* С. 719–720; А. Долинин. Примечания к роману «Дар» в т. IV наст. изд. С. 691).

В заметках к стихотворному вечеру 1949 г. Набоков вспоминал: «Я начал писать еще отроком. Однажды, в Петербурге, мой отец на заседании Литературного Фонда показал Зинаиде Гиппиус мои первые опыты. Ознакомившись с ними: «Передайте вашему сыну, — отвечала эта сивилла, — что никогда писателем он не будет» (Наше наследие. 2000. № 55. С. 79). Этот же отзыв почти дословно Набоков повторил в мемуарах «Другие берега»: «Его [В. В. Гиппиуса, преподавателя Тенишевского училища] значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом 〈...〉 сказала ему: “Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет”, — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть» (см. наст. том. С. 291).

С. 591. Если «свобода» сводится к тому, что редакторша (по ее собственному заверению) ничего не меняла в собранном материале... — Во вступительной редакционной статье «Опыт свободы» Гиппиус писала: «Ни о редакторских поправках, ни даже советах, — нет и речи: материал печатается в том виде, в каком дает его автор».

Редакторша... объясняет, что ее сборник есть в некотором роде «салон отверженных». — В этой же статье: «Кстати, данный сборник, “Опыт свободы”, есть, в некотором роде, и “салон отверженных”».

С. 592. Правда, З. Н. Гиппиус намекает на участие писателя... не называет его: загадка для рядового читателя бессмысленно-трудная. — Возможно, что это Д. Мережковский.

Не буду останавливаться на «Самом Важном» Адамовича... — Адамович Георгий Викторович (1894–1972) — один из ведущих критиков литературы русского зарубежья, автор книги «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955). Один из литературных противников Набокова, а также один из прототипов критика Христофора Мортуса в романе «Дар» (см. об этом: А. Долинин. Указ. соч. // *Н97.* С. 710–717).

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — поэт, прозаик, мемуарист. В конце лета 1919 г. вступил в Добровольческую Армию. В 1920 г. из Крыма эмигрировал в Константинополь. С 1922 г. жил в Париже. В 1925 г. — один из учредителей и первый председатель «Союза молодых поэтов и писателей».

Соредактор литературных журналов «Новый дом» (1926–1927), «Новый корабль» (1927–1928). Участник литературных объединений «Зеленая лампа» (1927–1939), «Круг» (1935–1939). Организатор литературной группы «Перекресток» (Париж — Белград, 1928). Автор 12 книг, из них шесть — поэтические сборники. Автор воспоминаний «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (1986).

Набоков в рецензии на сборник стихов «Перекресток-2» (т. III наст. изд. С. 692–695) отметил, что Терапиано «впадает в роковое для поэта заблуждение», сетуя на беспомощность языка. Терапиано прорецензировал один из романов Набокова: Ю. Терапиано. «В. Сирин. Камера обскура» // Числа. 1934. Кн. 10. С. 287–288). (Об отношении Ю. Терапиано к Набокову см.: «...в памяти эта эпоха запечатлелась навсегда». Письма Ю. К. Терапиано к В. Ф. Маркову (1953–1966). Публикация О. А. Коростелева и Ж. Шерона // Минувшее. Вып. 24. С. 354 (письмо от 21 июня 1961 г.)).

С. 592. Кельберин Лазарь Израилевич (1907–1975) — поэт, критик. С начала 20-х гг. жил в Париже. Участник «Союза молодых поэтов и писателей», а также объединений «Зеленая лампа» и «Круг». Выпустил сборник стихов «Идол» (Париж, 1929). Упомянут Набоковым в рецензии на сборник стихов «Перекресток-2» (т. III наст. изд. С. 693).

Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) — поэт, журналист. В 1920 г. из Крыма эмигрировал в Тунис. Один из организаторов «Союза молодых поэтов и писателей». Участник объединений «Зеленая лампа» и «Круг». С 1923 г. жил в Париже, учился на филологическом отделении Сорбонны. Первый сборник стихов — «Тяжелые птицы» (1936, Париж). Издал шесть сборников стихов после Второй мировой войны.

В рецензии на сборник стихов «Перекресток-2» Набоков отнес В. Мамченко к разряду «невнятных поэтов» (т. III наст. изд. С. 692).

Отрывок Фельзена — единственное украшение сборника. — Рассказ «Перемены». Юрий Фельзен (наст. имя Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) — прозаик, критик. В 1916 г. окончил юридический факультет Петроградского университета. В октябре 1918 г. эмигрировал в Ригу. В конце 1921 г. переехал в Берлин, в 1924 г. — в Париж. Участник «Союза молодых поэтов и писателей». Участник объединений «Зеленая лампа» и «Круг». В 1942 г. арестован нацистами. Погиб в концлагере Освенцим. Узнав о гибели Фельзена из письма Р. Н. Гринберга, Набоков ответил, что его «потрясло сообщение насчет бедного Фельзена» (письмо от 6 февраля 1945 г. // *BCNA*). О Фельзене и Набокове см.: В. С. Яновский. Поля Елисейские. Серебряный век. Нью-Йорк, 1983. С. 277–278.

С. 592. Размышления Мандельштама... — Эссе «О любви». Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943) — поэт, критик, переводчик. Эмигрировал с родителями в 1920 г. Жил в Париже. Окончил в 1925 г. русскую гимназию, в 1929 г. — философский факультет Сорбонны. С 1928 г. — участник литературного кружка «Перекресток», участник объединений «Зеленая лампа», «Круг». В 1935 г. принял православие. Помимо четырех сборников стихов написал книгу «Искатели» (1937) — сборник этюдов о литературе и искусстве Европы. Владея свободно четырьмя языками, сотрудничал во французской периодике. В марте 1942 г. арестован нацистами. Погиб в концлагере Явожно, близ Кракова.

Упомянут Набоковым в рецензии на сборник стихов «Перекресток-2» (т. III наст. изд. С. 694).

С. 593. Шардонн Жак (1884–1968) — автор коротких и острых романов на темы семейной жизни, из которых наиболее известен «Романески» (1938).

Монтерлан Анри де (1896–1972) — один из самых знаменитых французских писателей XX в., романист и драматург. Наиболее известны романы: «Жалость к женщинам» (1936), «Благородный демон» (1937). Часто обращался к антифеминистской теме.

«Лошади едят сено», статья Диона... — В существующих библиографических справочниках сведения об авторе отсутствуют. Возможно, это псевдоним.

Новелла В. Зензинова... — «Генриетта» — эпизод из жизни Казановы. Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) — политический деятель (эсер), публицист, писатель. См. о нем: «Дорогой и милый Одиссей...». (Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова) // Наше наследие. 2000. № 53. С. 77–115; «Горячо тебя любящая...» (В. Зензинов и А. Фондаминская) // Там же. С. 120–122.

Отлично устроенной концовкой... — «А на дне сумы у нее, среди кучи медяков и всякой рухляди, тяжелая, потускневшая золотая монета. В тысячный раз разглядываю стертую надпись, одно слово: "верность" или "вечность". Нельзя разобрать — и не все ли равно?» (Л. Червинская. «В последнюю минуту».)

...ряд нарочито бессвязных мыслей Червинской... — Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) — поэт, прозаик, критик. В 1920 г. эмигрировала с родителями в Константинополь. С 1922 г. жила в Париже. Участник «Союза молодых поэтов и писателей», объединений «Зеленая лампа», «Круг». В послевоенные годы жила в Мюнхене, работала на радиостанции «Свобода». Издала три сборника стихов: «Приближения» (Париж, 1934), «Рассветы» (Париж, 1937), «Двенадцать месяцев» (Париж, 1956). В стихах — атмосфера русского Монпарнаса, настроения «незамеченного поколения».

С. 593. ...находим статью В. Злобина о книжице Г. Иванова «Распад Атома». — Статья Злобина «Человек и наши дни». Злобин Владимир Ананьевич (1894—1967) — поэт, критик, публицист, мемуарист. С 1919 г. — литературный секретарь З. Гиппиус и Д. Мережковского. В конце декабря 1919 г. через Минск и Гомель нелегально эмигрировал с Мережковскими в Варшаву. С июля 1920 г. издатель и редактор газеты «Свобода». Осенью этого же года переехал в Париж, к Мережковским. Секретарь собраний «Зеленая лампа» (1927—1939). Соредактор журнала «Новый корабль». Член Союза русских писателей и журналистов (Париж). Участник объединения «Круг». В 1958—1960-х гг. член редколлегии журнала «Возрождение». Весной 1966 г. преподавал в Канзасском университете (США). Выпустил книгу «Тяжелая душа» (о З. Гиппиус) (Париж, 1970), сборник стихов «После ее смерти» (Париж, 1951).

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт, прозаик, критик, публицист, мемуарист. Литературный недруг Набокова. (См. об этом: Н. Мельников. «До последней капли чернил...» Вл. Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73—82. О романе «Распад атома» см.: Г. Струве. «Русская литература в изгнании». Русский путь. Париж — М., 1996. С. 212—213.) В письме к З. Шаховской Набоков писал: «Только что прочел — с запозданием — пошленький, сантиментальный, жеманный “Распад атома”...» (Письмо от апреля 1939 г. из Парижа в Брюссель // *LC*. Z. Shakhovskaj Papers). Об отношении Г. Иванова к Набокову см.: G. Ivanov / I. Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov. 1955—1958. Böhlau Verlag, Köln. Weimar. Wien. 1994. S. 59—60.)

...мистическое отношение к многострадальному сентябрю месяцу... — В очерке Л. Червинской: «Газетные сообщения напоминают сентябрь... почти физическая тревога, оттененная спокойной, какой-то смиренной осенью».

С. 594. ...мало употребляемых ресептаклей для бананных кож и вчерашних газет. — Ресептакль — (от *фр.* rèceptacle) здесь: бак для мусора.

Памяти И. В. Гессена. Впервые: Новое русское слово. 31 марта 1943.

Автограф — авторизованная машинопись — хранится в *BCNA*.

Иосиф Владимирович Гессен (1865—1943) — юрист, публицист, общественный деятель, мемуарист. Основал в Петербурге юридический еженедельник «Право», куда пригласил сотрудничать В. Д. Набокова. С этого времени началась их дружба, продлившаяся до трагической гибели В. Д. Набокова в Берлине в 1922 г. Один из основателей Конституционно-демократической партии (1905), с 1906 — член ее ЦК. Вместе с П. Н. Милюковым

редактировал ежедневную газету «Речь» — орган Конституционно-демократической партии. В 1919 г. эмигрировал в Финляндию, затем в Германию. В Берлине был председателем русского Союза писателей и журналистов, издавал газету «Руль» при ближайшем участии В. Д. Набокова и А. И. Каминки, где начал печататься В. В. Набоков под псевдонимом В. Сирин. Организовал издательство «Слово», где вышли романы Набокова «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», сборник рассказов и стихов «Возвращение Чорба», перевод повести Р. Роллана «Кола Брюньон» — «Николка Персик». Издатель исторических сборников «Архив русской революции», где в 1921 г. опубликовал воспоминания В. Д. Набокова «Временное правительство и большевистский переворот». В 1936 г. уехал из нацистской Германии во Францию; в июне 1940 г. перед вступлением фашистских войск в Париж бежал на юг Франции, в неоккупированную зону; 5 ноября 1942 г. выехал в США.

Автор мемуаров: «В двух веках». Архив русской революции. Берлин, 1937; «Годы скитаний». Нью-Йорк, 1974; «Годы изгнания. Жизненный отчет». Париж, YMCA-Press, 1979. В мемуарах Гессена даны портреты членов семьи Набоковых, а в мемуарах Набокова «Память, говори» и «Другие берега» — портрет Гессена.

«Памяти Гессена» — пятая некрологическая статья, написанная Набоковым для печати.

В 1935 г. в поздравительном слове в день 70-летия Гессена Набоков писал: «Редактор, издатель, советник, друг — вот как, в преломлении моей личной судьбы, постепенно яснеет Ваш образ...» («Годы изгнания». С. 96).

Приезду Гессена в Америку предшествовала переписка семьи Набоковых с А. А. Гольденвейзером (1890–1979), юристом и другом, который вел дела практически всей русской эмиграции, в той или иной степени пострадавшей от нацизма, в том числе — «дело» Гессена (*BAR*. Goldenveyzer Papers. Box 3.). Вторым человеком, хлопотавшим о помощи Гессену уже в Нью-Йорке, был М. М. Карпович (1888–1959), профессор истории Гарвардского университета. Он просил Бахметевский фонд о материальной помощи и устраивал выступление Гессена в Нью-Йорке в Обществе друзей русской культуры (*BAR*. Karpovich Papers. Box 3. Letter to Bakhmetev 2 января 1943; letter to Gessen 28 января 1943).

Получив известие о смерти Гессена, Набоков писал Э. Уилсону: «В то же время я получил очень печальные новости из Нью-Йорка. Я думаю, я говорил тебе о большом моем друге — и об одном из соратников моего отца, который только что как раз смог спастись из Франции, — о И. В. Гессене. Так вот, он умер. Я посылаю тебе небольшую вещь, которую я написал о нем по-рус-

ски — для Н[ового] Р[усского] Слова...» (*N-W79.* P. 97. Letter 29 March 1943). Три дня спустя, 2 апреля Набоков писал Гольденвейзеру: «Да, не судьба мне была повидать Иосифа Владимировича. Должен был приехать повидать его в апреле. Для меня его смерть ужасная утрата...» (*BAR.* Goldenveyzer Papers. Box 3).

С. 594. ...связанное с прошлым моего покойного отца... — Владимир Дмитриевич Набоков (21 июля 1870, Царское Село — 28 марта 1922, Берлин) в 1890 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1895 — профессор уголовного права в Училище правоведения, автор статей по уголовному праву. С 1898 г. редактор и постоянный автор журналов «Право» и «Вестник права». Один из организаторов Конституционно-демократической партии, с октября 1905 г. — член ее ЦК; депутат I-й Государственной думы. В 1905—1907 гг. — редактор-издатель журнала «Вестник партии Народной Свободы». За участие в составлении «Выборгского воззвания» (1905) приговорен к трем месяцам тюремного заключения в «Крестах» (С.-Пб.) и лишен избирательного права. Во время Первой мировой войны — прапорщик на фронте (июль 1914 — сентябрь 1915); участвовал в поездке русских журналистов в Лондон, Париж, по фронтам, впечатления от которой опубликовал в книге «Из воюющей Англии». В 1917 г. — управляющий делами Временного правительства. В ноябре 1917 г. избран депутатом Учредительного собрания от партии кадетов. С 23 по 27 ноября 1917 г. был арестован в Таврическом Дворце вместе с другими членами Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание и препровожден в Смольный. После выхода декрета, ставившего партию к.-д. вне закона и предписывавшего арест ее руководителей, 29 ноября 1917 г. уехал в Гаспру (Крым), присоединившись к семье. В 1919 г. — министр юстиции Крымского краевого правительства. С апреля 1919 г. — в эмиграции. В Лондоне — корреспондент журнала «Новая Россия», издававшегося П. Н. Милюковым. В Берлине вместе с И. В. Гессеном издавал газету «Руль». Автор мемуаров «Временное правительство и большевистский переворот» (1921). Погиб во время лекции П. Н. Милюкова, защитив его от пули черносотенцев.

...с мужественным и чистым миром «Права» и «Речи»... — Юридический еженедельник «Право» (1898—1918) был создан И. В. Гессеном, куда он пригласил сотрудничать В. Д. Набокова. 27 апреля 1903 г. в журнале «Право» (№ 18) Набоков опубликовал статью о кишиневском еврейском погроме — «Кишиневская кровавая баня», за что в 1904 г. был лишен придворного звания камер-юнкера, «после чего прервал всякую связь с царским правительством и решительно погрузился в антидеспотическую политическую деятельность» (В. Набоков. «Память, говори», гл. 9).

Газета «Речь» была основана как орган Конституционно-демократической партии. Издатели: В. Д. Набоков и И. И. Петрункевич, редакторы: И. В. Гессен и П. Н. Милюков. В 1913 г. Набоков за репортажи о деле Бейлиса в газете «Речь» привлечен к суду и оштрафован. В. В. Набоков характеризует газету «Речь» как «яро либеральную» («Память, говори», гл. 9).

С. 594. Он был моим первым читателем. — Эта фраза до слов «подносил лист к лицу» включена впоследствии в мемуары «Другие берега» (гл. 13 (3)).

С. 595. ...я дорожил исключением, которое привык делать для мнения И. В. — В 1949 г. В «Заметках для авторского вечера» стихотворение «Мы с тобою так верили в связь бытия» Набоков охарактеризовал как «очень пришедшееся по вкусу покойному Иосифу Владимировичу Гессену, человеку, чье художественное чутье и свобода суждений были мне так ценны». Отзывы Гессена о произведениях Набокова см. в мемуарах Гессена «Годы изгнания. Жизненный отчет»: стихотворение «Домой» (Указ. соч., с. 97), рассказ «Нежить» (с. 97—98), рассказ «Мадемуазель О.» (с. 100), роман «Подвиг» (с. 98), перевод повести Р. Роллана (с. 103), «Истребление тиранов» (с. 246).

Его могли зараз занимать политический маневр дюжего диктатора и вопрос, был ли симулянтом Гамлет. — Ср.: «И разве не неожиданно, что политик и публицист Гессен был специалистом по "Гамлету" и мог проливать слезы, слушая "Мейстерзингеров"?» (М. М. Карпович. Памяти Гессена // Новый журнал. 1943. № 6. С. 386—388.)

С. 596. ...его навестившей актрисе Полевицкой... — Полевицкая Елена Александровна (1881, Ташкент — 1973, Москва) — актриса, выпускница Александровского института (С.-Пб.), училась на педагогических курсах, в художественном училище Штиглица, на курсах драматического искусства Е. Рапгофа. Играла на профессиональной сцене в Пскове, Гельсингфорсе, в Петербурге (в театре В. Ф. Комиссаржевской), в Харькове, Киеве. Прославилась воплощением женских образов русской классики. В 1920 г. с мужем — режиссером И. Шмитом гастролировала в Болгарии, позднее переехала в Германию, где играла у М. Рейнгардта. Выступала в театрах Австрии, Чехословакии, Прибалтики. В 1923, 1924—1925 гг. гастролировала в СССР. В 1934 г. И. Шмит, заподозренный пришедшими к власти нацистами в «неарийском» происхождении, был изгнан из театра в Берлине, что вынудило его уехать вместе с Полевицкой в Эстонию. После смерти мужа и оккупации в 1941 г. гитлеровскими войсками Прибалтики Полевицкая была арестована и отправлена в концлагерь на Северном море; освобождена благодаря вмешательству друзей. С 1943 г. преподавала в Высшей школе сценического искусства в Вене,

одновременно играла в «Бургтеатре», «Скала», «Народном театре». В 1955 г. получила разрешение вернуться в СССР. С 1961 г. преподавала в Театральном училище им. Б. Щукина. Умерла в Московском доме ветеранов сцены.

С. 596. ...подал ей фотографию певицы Плевицкой. — Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1884, с. Винниково Курской губ. — 1941, Ренн, Франция) прошла стихийный путь от кафешантанной певицы до знаменитой исполнительницы русских народных песен. В 1919 г. Плевицкая вместе с офицерами деникинской армии отплыла в Турцию, жила в Галлиполийском лагере, где обручилась с молодым генералом Н. Скоблиным. В 1922 г. переехала в мужем в Париж. Гастролировала в Берлине, Белграде, Софии, Бухаресте. В 1926 г. — триумфальные гастроли в США. В Париже пела в ресторане «Большой Московский Эрмитаж». В 1930 г. Н. В. Скоблин и Н. В. Плевицкая были завербованы НКВД. 22 сентября 1937 г. они способствовали похищению руководителя Российского Общевоинского Союза (РОВС) генерала Е. К. Миллера, сменившего на этом посту похищенного в 1930 г. генерала Кутепова. В ходе операции Скоблин бесследно исчез, Плевицкая была арестована, предана суду и с весны 1939 г. отбывала наказание в каторжной тюрьме г. Ренна, где умерла 5 октября 1940 г. Эта драматическая история, шокировавшая русскую эмиграцию, стала сюжетом рассказа Набокова «Помощник режиссера» («The Assistant Producer» // Atlantic Monthly. Vol. 171. May 1943. № 5), см.: В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. Т. 3. 1997. Перевод С. Ильина. Фотография Плевицкой введена в рассказ Набокова. Скандальную историю Плевицкой Гессен упоминает в мемуарах (см.: И. В. Гессен. Годы изгнания. Жизненный отчет. С. 198–199).

Когда здесь, в Бостоне, я получил известие, что он чудом прибыл в Нью-Йорк... — 16 декабря 1942 г. М. А. Алданов писал Набокову: «Вчера было получено сообщение, что Иосиф Владимирович выехал в Америку и что он на днях будет здесь! Очевидно, вырвался последний». Набоков, получив письмо, откликнулся сразу: «Дорогой Марк Александрович, вот это чудно! Как я счастлив, что они вырвались. Спасибо за сообщение...» (*BAR.* Aldanov Papers. Box 6).

18 декабря 1942 г. М. Карпович писал Б. Николаевскому: «...только что узнал от Набокова, что будто бы Гессенам удалось выбраться из Франции и что они уже на Кубе. Я за них рад, если это действительно так...» (*BAR.* Karpovich Papers. Box 2).

...жаждущий деятельности... — «Уже в последние дни своей жизни, больной и усталый, но словно все такой же живой и бодрый, И. В. все еще носился с мыслью о написании большой работы о кризисе современного правосознания» (М. Карпович.

Памяти Гессена. С. 388). По свидетельству Карповича, Гессен писал ему: «У меня шевелится дерзкое поползновение добиваться стипендии Карнеги — знаю, что Прокопович таковую получает, — для окончания работы над воспоминаниями...» (M. Karpovich to B. Bakhmetev. Letter January 2 1943 // *BAR.* Karpovich Papers. Box 1).

Н. В. Гоголь. Повести. Предисловие. Впервые: Н. В. Гоголь. Повести. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1952.

Переписка Набокова с В. А. Александровой (1895–1966), главным редактором только что основанного Издательства им. Чехова (Chekhov Publishing House), дает представление о ходе работы: 14 сентября 1951 г. издательство обратилось к Набокову с предложением написать «вводный очерк» к 100-летию со дня смерти Гоголя к февралю 1952 г. (*BAR.* Chekhov Publishing House. Box 2). В начале октября Набоков дал согласие и обещал «уделить внимание этому вступлению во время Рождественских каникул» (письмо от 6 октября 1951 г. В. Е. Набоковой // *BCNA*). 30 ноября, узнав о предстоящем выступлении писателя в Нью-Йорке, Александрова предложила записать «доклад» на диктофон в качестве предисловия к книге и после авторского редактирования отправить «в набор до праздников» (письмо от 30 ноября 1951 г. // *BCNA*). В декабре Набоков, отклонив это неожиданное предложение, спрашивал о содержании сборника, количестве страниц, отведенных на предисловие, и гонораре. 31 декабря Александрова, дав список повестей, писала: «Размер предисловия зависит всецело от Вас — думаю, что шесть-семь страниц достаточно, но если напишется больше — будем только благодарны. Что касается гонорара ⟨...⟩ за это Предисловие Вам будет предложено 250 долларов» (*BCNA*). 13 января 1952 г. Предисловие было отослано в издательство.

До этой публикации Набоков обращался к творчеству Гоголя в следующих работах: «Гоголь» [Доклад к 75-летию Гоголя]. 1926–1927. (Звезда. 1999. № 4. С. 14–19. Публ. А. Долинина), «Николай Гоголь» (Norfolk, Conn.: New Direction. 1944) (см.: В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. Т. 1. 1997. Перевод Е. Голышевой.) См. также письмо к профессору славянской кафедры Калифорнийского университета — G. R. Noyes от 24 октября 1945 г. (*SL 89.* P. 56–57).

Набоков провел Вечер памяти Гоголя в 1927 г. в Берлине и 8 декабря 1951 г. в Нью-Йорке. В первом отделении своего выступления 1951 г. Набоков читал и комментировал отрывки из своей книги о Гоголе. Впоследствии эта же тема была включена в лекцию «Писатели, цензура и читатели в России», прочитанную на Празднике искусств в Корнельском университете 10 апреля 1958 г.

С. 598. От скромной фиалки на дне чичиковской табакерки... — «Он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха...» (Мертвые души», гл. 1).

...до «Ночной Фиалки» Блока... — Поэма А. А. Блока «Ночная Фиалка» с подзаголовком «Сон» («Миновали случайные дни...», 1906).

...по животворной, чмокающей мочежине... — Мочежина — гладкое болото без кочек.

От В. Набокова-Сирина. Поздравительное слово Набокова к 70-летию М. А. Алданова было опубликовано в юбилейном алдановском номере газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк) 4 ноября 1956 г. в разделе «Приветствия». 21 октября 1956 г. Набоков писал другу отца, помогшему семье Набоковых уехать из оккупированной Франции, — Я. Г. Фрумкину (? — 1971), занимавшемуся подготовкой чествования Алданова: «Посылаю Вам для Нового Русского Слова прилагаемую заметку. Не откажите в любезности попросить Вейнбаума [главный редактор газеты. — *Г. Г.*] лично последить за тем, чтобы она появилась целиком и без опечаток». 26 октября 1956 г. Фрумкин отвечал из Нью-Йорка: «...присланную Вами мне заметку в связи с 70-летием Алданова я передал по назначению. Она появится в номере Нового Русского Слова, который появится 4-го ноября с рядом статей и приветствий по этому случаю. Из писем Алданова я знаю, как он Вас ценит. Уверен поэтому, что он будет рад Вашему приветствию...» (*BCNA*).

Алданов (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (26 октября 1886, Киев — 25 февраля 1957, Ницца) — писатель, историк, критик. По образованию — юрист и химик (юридический факультет и химическое отделение физико-математического факультета Киевского университета). Эмигрировал в апреле 1919 г. из Одессы через Константинополь в Париж. Соредактор журнала «Грядущая Россия» (1920). Постоянный автор журнала «Современные записки». Член парижского Союза русских писателей и журналистов. С 1925 — заведующий литературным отделом газеты «Дни», а с 1927 г. вместе с Ходасевичем — литературно-критического отдела газеты «Возрождение». С декабря 1940 г. — в США. С 1942 г. — соредактор (с М. О. Цетлиным) «Нового журнала» (№ 1–4). Член правления Нью-Йоркского литературного фонда помощи писателям и ученым. В 1947 г. переехал в Ниццу (Франция). Автор знаменитых исторических портретов и романов, переведенных на многочисленные языки.

Оба писателя на протяжении тридцати лет дружески, но ревниво следили за творчеством друг друга, обмениваясь печатно

и лично впечатлениями и отзывами о прочитанном. См. рецензию Набокова на роман Алданова «Пещера» в томе IV наст. издания, с. 593. Тонко чувствуя природу Алданова как беллетриста, Набоков озорно упомянул его в романе «Дар» (гл. IV) и выслушал критику друга по поводу «пародий» в той же книге. Несколько лет спустя в письме к Р. Н. Гринбергу Набоков обронил ироничное замечание: «Как всегда, любопытно наблюдать приемы Алданова, герои которого не люди, а промежуточные инстанции» (письмо от 8 мая 1944 г. // *BAR*).

В письме к самому Алданову от 2 февраля 1951 г. Набоков, отказавшись участвовать в бунинском вечере и негативно высказавшись о его творчестве, закончил письмо признанием: «Когда Вам будет 80 лет, я из Африки приеду Вас чествовать» (*BAR*. Aldanov Papers. Box 6).

Три года спустя он восторженно написал об «Ульмской ночи»: «...я прочитал вашу Ульмскую ночь. Я был взволнован этой вашей самой **поэтической** книгой — ее остроумие, изящество и глубина составляют какую-то чудную звездную смесь — именно “ульмскую ночь”» (Письмо от 16 октября 1954 г. // *BAR*. Aldanov Papers. Box 6).

В мемуарах «Другие берега» дан лаконичный портрет писателя и друга: «Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования» (гл. 13 (3)).

С. 602. «Святая Елена, Маленький Остров». — Опубликовано в журнале «Современные записки» (1921. Кн. III. С. 46–48; Кн. IV. С. 41–85). Отдельным изданием вышло в Берлине в 1923-м и 1926 гг. Произведение явилось завершающей частью тетралогии «Мыслитель»: «Девятое термидора» (1923), «Чертов мост» (1925), «Заговор» (1927).

3 мая В. Д. Набоков писал сыну из Берлина в Кембридж: «В четвертой книжке “Современных Записок” конец “Св. Елена, Маленький Остров”. Ты прочтешь, когда приедешь. Там смерть Наполеона, всякие его разговоры, все из подлинных источников, — очень хорошо сделано. Читается приятно...» (*BCNA*).

Заметки переводчика I. Впервые: Новый журнал. 1957. Кн. 49. С. 130–144.

3 мая 1957 г. В. Набоков писал в письме Р. Гринбергу: «Посылаю Карповичу для Н[ового] Ж[урнала] несколько моих комментариев к Е[вгению] О[негину] по-русски — только мое собственное, новое, декуверты. Ce sera très sort...» (*BAR*. Grynberg Papers. Box 1). Последняя фраза по-французски — о значимости этой работы или даже о ее судьбоносности.

«Заметки» возникли в процессе работы над переводом «Евгения Онегина». Это небольшие главки, состоящие из разнородных

примеров: комментирование отдельных строф, поиски синонимичных выражений, источников заимствования, лексический и фонетический анализ стихов. Они демонстрируют новый жанр — открытую, профессиональную лабораторию исследователя. «Заметки» вошли позже в полный комментированный перевод «Евгения Онегина» — Eugene Onegin. A novel in verse by Alexander Pushkin / Transl. with a commentary, by V. Nabokov, in 4 vols. N. Y., 1964.

С. 603. ...Ни словарь времен Мильтона, ни словарь времен Браунинга Пушкину не подходит. ⟨...⟩ *«Онегин»... ближе к общему духу XVIII века (к духу Попа, например, — и его эпигона Байрона), чем, скажем, к лексикону Кольриджа или Китса.* — Джон Мильтон (1608–1674) — один из величайших классических поэтов Англии; Роберт Браунинг (1812–1889) — известнейший английский поэт, знаток средневековья; Александр Поп (1688–1744) — представитель поэзии английского классицизма; Джордж Гордон Байрон (1788–1824) — крупнейший английский романтик; Самуэль Тейлор Кольридж (1772–1834) — английский поэт-романтик; Джон Китс (1795–1821) — английский поэт-романтик.

С. 604. ...упоминаемая Печориным «Юная Франция»... — В главе «Тамань»: «Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. ⟨...⟩ В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. (М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. М.—Л.: АН СССР, 1959. Т. IV. С. 349.)

Эти слова, вероятно, являются перифразом стихов В. Гюго из сб. «Les chants du crépuscule» (1835):

Et ce jeune énervé... qui n'admire à Paris
Que les femmes de race et les chevaux de prix[1].

Слова Печорина явно ироничны, так как Гюго «издерганному поколению» противопоставляет героическую фигуру Канариса (в стихотворении «Канарис»). «Юная Франция» («Jeune France») — так называли себя молодые французские поэты и писатели романтического направления, объединившиеся после революции 1830 г. вокруг В. Гюго (А. де Виньи, Эм. Дешамп, Ш. Нодье и др.). Участники этой группы носили блузы и отпускали длинные волосы. (См.: В. А. Мануйлов. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. Л.: Просвещение, 1975. С. 154.)

...или почему... так «смутился» видавший виды Чекалинский? — В последней главе «Пиковой дамы» — описание внезапного выигрыша Германна: «Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Германн открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский видимо смутился...» (*АСП.* Т. VIII. С. 251).

---

[1] Этот издерганный юноша... который поклоняется в Париже
Только женщинам хорошего рода и призовым лошадям *(фр.).*

С. 604. Я знаю поклонников Толстого, которые думают, что Анна бросилась под паровоз... — В конце 7-й гл. описание гибели Анны Карениной: «...она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона и 〈...〉 упала под вагон на руки...» (Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 12 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 9. С. 368–369).

...и поклонников Пушкина, которые думают (вместе с Достоевским...), что муж Татьяны был «почтенный старец». — В речи на торжествах при открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 г. Достоевский сказал: «Кому же, чему же верна [Татьяна]? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может любить, потому что любит Онегина» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 141. Речь Ф. М. Достоевского в заседании Общества российской словесности 7 июня 1880 г.).

...Я сам когда-то думал, что «лучше, кажется, была» происходит от «хорошая» (на самом деле, конечно, от «хороша»)... — См. более полное примечание Набокова: «По своей сути и грамматической форме "лучше" — это сравнительная степень от "хорош", "хороша" (ж. р.). Но этот предикативный член "хорош", "хороша" имеет и второе значение (галльского происхождения), а именно "красивый" 〈...〉 Другими словами, когда переводчик передает смысл второй строки этой строфы, ему приходится выбирать между "я была более хорошим человеком" и "я была красивее". Я предпочитаю последнее, как и Тургенев с Виардо: ("...plus jolie, peut-être" — "быть может, красивее")». (*К98.* С. 589.)

...(до странности бледны и неправильны его переводы одиннадцати русских песен, из собрания Новикова, сделанные для Loewe de Weimars, летом 1836 г.). — Перевод сделан Пушкиным для французского писателя Ф.-А. Лёве-Веймара (1801–1854), гостившего в Петербурге с середины июня 1836 г. На рукописи у заглавия стоит помета по-французски: 〈Переведены Александром Пушкиным для его друга Л. де Веймара на островах Невы — дача Бровольского [искаж. «Добровольского»] июнь 1836〉. Все песни для перевода взяты из сб. «Новое и полное собрание российских песен, содержащее в себе песни любовные, пастушеские, шутливые, простонародные, хоральные, свадебные, святочные, с присовокуплением песен из разных российских опер и комедий. В Москве в Университетской типографии у Н. Новикова. М., 1780 г.».

В 1885 г. Бартенев опубликовал в «Русском архиве» пушкинский перевод на французский язык нескольких песен.

С. 605. Таким образом, когда говорят «Шекспир», надо понимать Letourneur, «Байрон» и «Мур» — это Pichot, «Скотт» — Dufauconpret, «Стерн» — Frenais, «Гомер» — Bitaubé, «Феокрит» —

Chabanon, «Тассо» — Prince Lebrun, «Апулей» — Compain de Saint-Martin, «Манзони» — Fauriel, — и так далее. — Летурнер Пьер Прим Фелисьен, Пишо Амедей, Дюфаконпрет, Френэ Жозеф Пьер, Битобе Поль Жереми, Шабанон Мишель Поль Гиде, принц Шарль Франсуа Лебрюн, аббат Компен де Сан-Мартен, Форьель Клод.

С. 605. Pétri de vanité — В главе «Главный эпиграф» (*К98.* С. 86) Набоков делает «предположение, что эта цитата вымышленная, по крайней мере в ее окончательном афористическом виде. ⟨...⟩ Слово "pétri" в переносном смысле ("охваченный", "погруженный", "состоящий из") довольно часто употреблялось французскими авторами, которым подражал Пушкин».

О смысле «vanité» в произведениях А. С. Пушкина, с учетом комментария Набокова, см.: Т. Сасаки. Между «пустотой» и «простотой», в кн.: «Концепция и смысл». СПб.: Изд-во СПб. университета, 1996. С. 154—170.

Любопытно сопоставить пушкинский эпиграф со строчкой в третьей песне «Женевской Гражданской войны» Вольтера (1767 г.)... — Речь идет о Жан-Жаке Руссо, о котором Эдмунд Берк говорит, во французском переводе (1811 г.) «Письма к Члену Национальной Ассамблеи», что его «extravagante vanité» заставляла его искать новой славы в оглашении своих недостатков». В главе «Главный эпиграф» (*К98.* С. 86—87) Набоков повторяет строки из «Женевской Гражданской войны», характеризующие Руссо, и добавляет: «Я также полагаю, что главный эпиграф содержит если не прямые аллюзии на Жан Жака Руссо и на оказанное им влияние на воспитание, то, во всяком случае, на возможные отголоски дискуссий тех времен по этому поводу. ⟨...⟩ В памфлете, увидевшем свет в начале 1791 г. ("Письмо члену Национальной Ассамблеи..." ⟨...⟩), Эдмунд Бёрк ⟨...⟩ так говорит о Руссо: "У нас в Англии... был основатель философии тщеславия... [который] исповедовал один-единственный принцип — ...тщеславие. Этим пороком он был одержим почти до сумасшествия... ⟨...⟩ С его [Руссо] помощью они [власти революционной Франции] вселяют в свою молодежь примитивную, грубую, отвратительную, удручающую, дикую смесь педантизма и распущенности". В библиотеке Пушкина хранилось разрезанное издание "Размышлений о Французской революции" Эдмунда Бёрка ("Reflections sur la revolution de France". Paris, 1823), анонимный перевод с английского ("Reflections on the Revolution in France". London, 1790), той самой книги "о положении дел во Франции" из памфлета 1791 г.».

Следующее «pétri» в русской литературе находим через пятьдесят лет после «Онегина» в страшном сне Анны Карениной. — В главе «Главный эпиграф» (*К98.* С. 87) Набоков уточняет: «...еще

одно “pétri” ⟨...⟩ возникает в своем прямом значении в знаменитой фразе, сказанной по-французски омерзительным гомункулусом в роковом сне Анны Карениной (“Анна Каренина”, ч. IV, гл. 3)». В ч. IV гл. 3 Анна с ужасом описывает свой сон Вронскому: «...и в спальне, в углу, стоит что-то. ⟨...⟩ И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик с взъерошенною бородой, маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там ⟨...⟩ Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: “Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...” [надо ковать железо, толочь его, мять... — *фр.*] (Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 12 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 8. С. 398).

С. 605. ...которого Broglie... называл «фанфароном порока»... — В главе «Первый эпиграф» (*К98.* С. 88) Набоков разъясняет: «Надо отметить, что, по свидетельству биографов Байрона, последний любил посылать (из Венеции) порочащие его заметки в парижские и венские газеты в надежде, что британская пресса их перепечатает, и что он получил (от герцога де Брогли) прозвище “un fanfaron du vice” — а это вновь возвращает нас к главному эпиграфу».

С. 606. Уже в мае 1820 г., в коляске с другом, едучи из Екатеринослава на Кавказские Воды... Пушкин мог наслаждаться первыми четырьмя томами первого издания «шестопалого» французского перевода Байрона. — В комментариях в 1-й главе (*К98.* С. 182) Набоков уточняет: «К 1820 г. нетерпеливые русские читатели уже могли получить четыре начальных тома первого издания (1819) сочинений Байрона, переводы которых выполнили Пишо и де Салль; в этих-то прозаических переложениях, жалких и искаженных подобиях оригиналов, Пушкин впервые и прочитал (возможно, по дороге из Петербурга в Пятигорск, и уж наверняка в Пятигорске, летом 1820 г., вместе с братьями Раевскими...) “Корсара”, “Манфреда” и первые две песни “Паломничества Чайльд Гарольда”. ⟨...⟩ В том первом издании сочинений Байрона переводчики, Amédée Pichot и Eusèbe de Salle, сохранили анонимность. Во втором издании они подписались общим псевдонимом A. E. de Chastopalli, что является (неточной) анаграммой их имен и, по нелепой случайности, звучит сходно с русским словом шестипалый».

...(где спустя лет двадцать Печорин читал по-французски Скотта)... — «...С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были “Шотландские Пуритане”. Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом» (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени // Собр. соч. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1959. Т. IV. С. 439).

С. 606. Остальные песни он прочел в декабре 1825 года в Михайловском, получив из Риги седьмой том Пишо через Анну Керн. — 21 июля 1825 г. в письме к Анне Вульф из Михайловского в Ригу Пушкин попросил прислать Байрона: «N'oubliez pas la dernière édition de Byron» («Не забудьте о последнем издании Байрона» — *фр.*) (*АСП.* Т. XIII. С. 190). О дальнейшем А. П. Керн вспоминала: «Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь: Je ne m'attendais guere, enchanteresse, à votre souvenir, c'est du fond de mon âme que je vous en remercie. Byron vient d'acqérir pour moi un nouveau charme — toutes ses héroines vont revêtir dans mon imagination des traits qu'on ne peut oublier. C'est vous que je verrai dans Gulnare et dans Leila — l'idéal de Byron lui même ne pouvait être plus divin...» («Никак не ожидал, волшебница, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Леилы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее...» *(фр.)* Письмо от 8 декабря 1825 г. Из Тригорского в Ригу.) (А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка. М.: Худ. лит., 1974. С. 39—40).

С. 607. Повеса, Зевеса: эта богатая рифма ⟨...⟩ *она попросту занята у Василия Майкова («Елисей», 1771 г., песня 1, 525—526).*

И не подвержен был он гневу от Зевеса;
Болтлива ты весьма, а он прямой повеса...
(В. Майков. Елисей. Песня 1, строфы 513—514).

Невежественный и бездарный Бродский (Е. О. роман А. С. П., пособие для учителей средней школы, УЧПЕДГИЗ, 1950) пытается объяснить слово «педант» в применении к Онегину (1, V) как синоним «революционера», что зря вводит в заблуждение учителей средней школы. — Бродский Николай Леонтьевич (1881—1951) — советский литературовед, автор комментария к роману «Евгений Онегин» и биографии Пушкина (М.—Л.: ГИХЛ, 1936; 1937). В комментарии Бродский писал: «Слово “педант” имело в 20-х годах признаки, впоследствии выветрившиеся в обиходном языке, и применялось в дворянском кругу к людям, которые отличались своим взглядом на жизнь, своими привычками от обычной толпы “большого света” ⟨...⟩. Так, прозвище педанта в 20-х годах несло с собой не только этическую, но и политическую примесь чего-то непокорного, враждебного господствовавшему кругу

в дворянском обществе (...) Припомним еще, что в незаконченном романе "Рославлев" Пушкин отмечал, что в зараженном галломанией дворянском обществе "любовь к отечеству казалась педантством..."» (Н. А. Бродский. Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы. М.: Учпедгиз, 1950. С. 42, 44). В период написания «Заметок» Набоков писал Р. Н. Гринбергу: «...Же ме деманд [Я задаюсь вопросом], приняли ли редактора идиотское толкование Бродским слова "педант" ("революционер") и слова "шалун" ("декабрист")...» (Письмо от 21 апреля 1957 г. // *LC*) На замечание Набокова откликнулся в письме А. А. Гольденвейзер: «...Я, например, никак не мог примириться с характеристикой молодого Онегина как "педанта", потому что в непосредственно следующих за этим словом стихах об Онегине говорится как раз обратное ("имел он счастливый талант... слегка"). Меня это противоречие с детства озадачивало, а вот только теперь, благодаря "Заметкам переводчика", я нахожу душевный покой. Жду с нетерпением самого перевода, который, наверно, научит англосаксов ценить поэзию Пушкина» (письмо от 1 сентября 1957 г. // *BAR*. Goldenveyzer Papers. Box 3). Определение «педанта» у Набокова — *K98*. С. 112–113.

С. 608. ...вечерние схолии... — (от *лат.* scholium) краткое изложение или замечание на полях классического текста; школа, штудии, изучение.

Лагарп в своем «Литературном Курсе»... — Лагарп Жан Франсуа (1739–1803) — французский драматург и теоретик литературы, автор 16-томного учебного пособия, которое Пушкин хорошо знал: «Лицей, или Курс древней и современной литературы» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne», 1799–1805).

С. 609. Кстати о хандре, ждущей Онегина в деревне... — В обширном комментарии к строфе XXXVIII, гл. 1 (*K98*. С. 177) Набоков поясняет: «...к 1820 г. скука уже была испытанным штампом характеристики персонажей, и Пушкин мог вволю с ним играть, в двух шагах от пародии, перенося западноевропейские шаблоны на нетронутую русскую почву. Французская литература XVIII и начала XIX в. изобилует мятущимися, страдающими от сплина молодыми героями. Это был удобный прием, он не давал герою сидеть на месте».

С. 610. ...(см. переписку Карамзина с Дмитриевым)... — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. По поручению отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский (СПб., 1866).

...описание Дельфины д'Альбемар в романе г-жи Сталь, 1802, Письмо XXI... — В Комментарии (*K98*. С. 256) Набоков уточня-

ет: «...описание Дельфины д'Альбемар в пресном романе г-жи де Сталь "Дельфина", 1802, ч. I, письмо XXI, адресованное Леонсом де Мондовилем своему закадычному другу Бартону». Дельфина — одна из любимых героинь Татьяны Лариной:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Клариссой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты...
(«Евгений Онегин»; 3, X).

С. 611. «Alas, poor Yorick! Tout le monde se souvient... du chapitre de Sterne où il cite ce passage d'Hamlet» — «Увы, бедный Йорик! Все помнят... ту главу Стерна, где цитируются эти строки из "Гамлета"» (*англ., фр.*). В комментариях к гл. 2, XXXVII строфа (*К98.* С. 273—274) Набоков добавляет: «...et comment dans le Voyage Sentimental [перевод Френе, 1769], il s'est, à ce propos, donné à lui-même le nom d'Yorick» [и, как в "Сентиментальном путешествии", он в этой связи дал себе самому имя Йорика (*фр.*)]. Упомянутый отрывок из «Тристрама Шенди» Стерна (т. 1, конец гл. 12) таков: «Он [священник Йорик] покоится у себя на погосте, в приходе, под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений, с разрешения душеприказчиков, водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и эпитафией и элегией: "Увы, бедный Йорик!" Десять раз в день дух Йорика получает утешение, слыша, как читают эту надгробную надпись... и каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, бросает на нее взгляд — и вздыхает, продолжая свой путь: "Увы, бедный Йорик!" Знание Пушкиным романа Стерна основывалось на французском переложении "Жизнь и мнения Тристрама Шенди" ("La Vie et les opinions de Tristram Shandy") в четырех томах, первые два из которых были переведены Френэ (Frénais, 1776), а другие два в основном де Боннэ (de Bonnay, 1785)».

Любовник Юлии Вольмар... — Юлия — героиня романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Ее любовником и учителем был Сен-Прё, но после того, как она вышла замуж за Вольмара, любовные отношения с Сен-Прё сменяются дружескими.

...Юлия, Валерия, Шарлотта... — Юлия — см. предыдущее примечание; Валерия — героиня романа Юлианы Крюденер (1764—1824) «Валери, или Письма Гюстава де Линара к Эрнесту де Г.» (1803). Экземпляр романа (Juliane von Krüdener. Valérie. 1803) с пометами Пушкина хранился в его библиотеке. Шарлотта — героиня романа Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

Пушкин читал его во французских переводах, но не исключено и знакомство с оригиналом.

С. 611. ...вся знаменитая строфа XXV третьей главы... оказывается (как устанавливаю я) переложением... того же Эвариста Парни... — О переводах и переложениях из Парни см.: «Эварист Парни» в кн.: Е. Г. Эткинд. Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции. Языки русской культуры. М., 1999. С. 123–153.

С. 612. Стремнины. ⟨...⟩ Речь, конечно, идет об оврагах, обрывах, précipices. — Имеется в виду конец XIII строфы в 5-й главе:

Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

В «Словаре языка Пушкина» (М.: Гос. изд. ин. и нац. словарей, 1961. Т. IV. С. 403): «стремнина — крутой обрыв».

С. 613. В тридцатом примечании к этому дневнику... комментатор делает невероятную ошибку, отождествляя этот «Сон» со сном Святослава в «Слове»! — Запись в дневнике Ф. Малевского: «...По поводу сна, в котором два солнца: "Если б кончили на бутылке шампанского, ничего не было бы удивительного, что у него бы в глазах двоилось"» (Пушкин в дневнике Франтишка Малевского // Литературное наследство. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 58. С. 266.) Тридцатое примечание к этому тексту: «Шутка Дмитриева, может быть, относится ко сну Святослава в «Слове о полку Игореве»: «Темно бо бѣ въ 3 день: два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святославъ, тьмою ся поволокоста...» (Там же. С. 268). Примечания 21–30 принадлежат К. В. Пигареву (Там же. С. 267).

Речь тут, конечно, о довольно замечательном стихотворении Шевырева «Сон» (1827 г.). — Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — поэт московского круга «любомудров». Возглавлял критический отдел журналов «Московский вестник» (20-е гг.) и «Московский наблюдатель» (30-е гг.). Профессор кафедры словесности Московского университета. В 40-е гг. — ярый славянофил, выступавший с апологией «самодержавия, православия, народности». «Сон» (февраль 1827 г.):

Мне Бог послал чудесный сон:
Преобразилася природа,
Гляжу — с заката и с восхода
В единый мир на небосклон
Два солнца всходят лучезарных
В порфирах огненно-янтарных...

С. 614. ...есть редчайшее созвучие двух разных грамматических форм... — В двух приводимых строках (5, XXX) «созвучие» прилагательного «утренняя», имеющего женский род родительного падежа, и наречия «трепетно» в сравнительной степени.

Судьба этого забытого Альбана... — В комментариях к строфе XL, гл. 5 (*К98.* С. 429) Набоков дает более подробную справку: «Франческо Альбани — второстепенный итальянский художник (1578–1660), был чрезвычайно популярен в XVIII в. Приторный и притворный скромник, он набил себе руку на однообразных мифологических сюжетах в псевдоклассическом духе, во вкусе эпохи "Разума"...»

С. 615. Еще Лернер в добродушных своих заметках... — Лернер Николай Осипович (1877–1934) — пушкинист, библиограф, историк литературы. См.: Н. О. Лернер. Пушкинологические этюды // Звенья. 1935. № 5. С. 77.

«капусту садит, как Гораций» 6, VII... — «На самом деле, — поясняет Набоков в Комментарии, — это распространенный галлицизм *planter des (ses) choux*, означающий "жить в деревне"» (*К98.* С. 442).

С. 616. Художник Репин нас заметил... — парафраз пушкинских строк из «Евгения Онегина»:

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Набоков резко отрицательно оценивал творчество И. Е. Репина на пушкинские темы. См.: *К 98.* С. 460–461; «Другие берега».

...с Яворской в роли Орленка. — Яворская (урожд. Гюббенег, по мужу Барятинская) Лидия Борисовна (1871–1921) — актриса, сыграла главные роли в ряде пьес Эдмона Ростана (1868–1918), специально переводившихся для нее Т. Л. Щепкиной-Куперник (подражая при этом манере игры Сары Бернар). В 1906 г. на сцене основанного Яворской петербургского Нового театра она исполнила главную мужскую роль (герцога Рейхштадтского) в пьесе Ростана «Орленок» (1900) (использована справка В. Новикова в *Н97.* С. 889).

Незадолго до того (в марте 1830 г.) появились в «Северной Пчеле» и грубый «Анекдот» Булгарина, и шутовской его разбор главы седьмой. — Литературная ситуация обострилась после выхода в свет в феврале 1830 г. романа Булгарина «Димитрий Самозванец». Пушкин посчитал, что Булгарин использовал не опубликованного к тому времени, но представленного Бенкендорфу «Бориса Годунова», и стал обвинять Булгарина в плагиате. 18 февраля 1830 г., через несколько дней после поступления романа в продажу, Булгарин, защищаясь от обвинений, отправил оправдательное письмо Пушкину. Отрицательную рецензию

Дельвига на роман, помещенную без подписи 7 марта в «Литературной газете», Булгарин приписал Пушкину и напечатал направленный против него памфлетный «Анекдот» (Северная пчела. 12 марта 1830. № 30), а вскоре поместил издевательскую рецензию на 7-ю главу «Евгения Онегина» (Северная пчела. 22 марта, 1 апреля 1830. № 35, 39). Пушкин ответил 6 апреля памфлетной статьей «О записках Видока» (Литературная газета. 1830. № 20) и эпиграммой на Булгарина («Видок Фиглярин». Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделенис. Издание подготовил А. И. Рейтблат. НЛО, 1998. С. 679). См. об этом: *К98.* С. 582–583.

С. 616. птиметр — (от *арх. фр.* petit-maître) фат, вертопрах, франт, щеголь.

Тиссо. — В *К98* (С. 580) Набоков пишет: «Согласно одним источникам — Симон Андре, согласно другим — Самуэль Огюст Андре Тиссо (1728–1797), знаменитый швейцарский врач, автор книги "О здоровье литераторов" (Tissot. "De la santé des gens de lettres", Lausanne et Lyon, 1768)».

С. 617. Это забавно сопоставить с более искристым советом, который пушкинский Бомарше дает пушкинскому Сальери. —

. . . . Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».

(«Моцарт и Сальери» (1830), сцена II,
стихи 31–35 // *АСП.* Т. VII. С. 121).

...мысль, превращенная (кажется, Баратынским) в известные стихи «Мы добрых граждан позабавим»... — четверостишие, приписываемое А. С. Пушкину:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим...

(*АСП.* Т. II. С. 488).

См. об этом также: *К98.* С. 579–580.

Прием «списка авторов», который столь любили и Пушкин, и дядя его Василий, восходит к Луветову «Год из Жизни Кавалера Фобласа», 1787 г., где кавалер на принужденном досуге прочитал сорок авторов... — В *К98* Набоков дает более подробную справку: «Прием перечисления авторов, хотя и характерен для Пушкина (питавшего особое пристрастие к перечням предметов, имен, чувств, действий и т. д.), придуман не им. В самом деле, список этой строфы ничто по сравнению с легендарным каталогом книг, прочитанных Фобласом в период вынужденного затворничества,

из сочинения Луве де Кувре «Один год из жизни шевалье де Фобласа» (с. 577–578). Этот комментарий — к строфе XXXV, гл. 8:

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего...
(*АСП.* T. VI. С. 182–183).

Заметки переводчика II. Впервые: Опыты. 1957. Кн. 8. С. 36–49.

Роман Николаевич Гринберг, друг Набокова и редактор первых трех номеров журнала «Опыты», в 1953 г. писал Набокову: «Ужасно как хочется прочесть твои комментарии к 8-й [главе] Онег[ина]. Там есть что-то, о чем никто никогда не говорил. Что ты открыл? Скажи. Может, скажешь через Оп[ыты]?» (Письмо от 6 мая 1953 г. // *LC*). Четыре года спустя Набоков сообщал сестре — Елене Сикорской: «В продолжение заметок о Евг. Онегине в “Новом журн[але]” будут еще в “Опытах”. Я устал от этого “кабинетного подвига”, как выражался мой пациент...» (Письмо от 14 сентября 1957 г. // Вл. Набоков. Переписка с сестрой. Ardis, Ann Arbor. 1985. С. 90). Эти «Заметки» также вошли в полный комментированный перевод «Евгения Онегина» — Eugene Onegin. A novel in verse by Alexander Pushkin / Transl. with a commentary, by V. Nabokov, in 4 vols. N. Y., 1964.

С. 620. ...собрание автографов Пушкина в Публичной Библиотеке в Москве или в ленинградском Институте Литературы. — В конце 30-х гг. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) на основании Постановления Совнаркома СССР от 4 марта 1938 г. (№ 256) стал единственным в стране хранилищем рукописей А. С. Пушкина.

С. 621. ...в «переводе» Бабетты Дейч. — Бабетта Дейч (Babette Deutsch, 1895–1982) — известная американская переводчица и поэт, жена Абрама Цалевича Ярмолинского, завѐдующего Славянским отделом Публичной .библиотеки в Нью-Йорке. Совместно с мужем была составительницей и переводчицей книги «Два века русской поэзии» (Two Centuries of Russian Verse. N. Y. 1966) и романа «Евгений Онегин» (A. Pushkin. Eugene Onegin: A novel in verse / Translated by B. Deutsch, edited by A. Yarmolinsky. N. Y. Limited Editions Club. 1943. (1-е издание: N. Y.: Random House, 1936). О полемике Дейч и Набокова в прессе по поводу перевода см.: Г. Глушанок. Работа В. В. Набокова над переводом «Евгения

Онегина» в переписке с А. Ц. Ярмолинским — в кн.: А. С. Пушкин и В. В. Набоков. Сб. докладов Международной конференции 15–18 апреля 1999 г. СПб.: Дорн, 1999. С. 321–340.

С. 621. ...безграмотные и вульгарные вирши Эльтона... — Оливер Эльтон (Oliver Elton, 1861–1945) — профессор английской литературы в Оксфорде (Англия), автор учебника «История английской литературы XVIII—XIX вв.»; издал два тома переводов славянской поэзии: «Поэзия Пушкина и других» (1935) и перевод «Евгения Онегина» (London, 1937). Об Эльтоне см.: Интернациональная литература. 1938. № 5. С. 241; 1939. № 11. С. 250; 1940. № 2. С. 184–186; № 7. С. 56.

С. 622. ...он лучше чудовищных по нелепости иллюстраций, приложенных к нему в роскошном издании 1943 г. ... неким Фрицем Эйхенбергом, далеко оставившим позади пресловутого Александра Нотбека. — Нотбек Александр Васильевич (1802–1866) — академик живописи. Серия его иллюстраций из 6 гравюр к отрывкам из 1–6 глав «Евгения Онегина», строфы V–X, была воспроизведена Е. Аладьиным в «Невском альманахе» за 1829 г. «Вся эта серия из шести гравюр напоминает творчество пациентов психиатрической лечебницы», — писал Набоков (*К98.* С. 193). В марте 1829 г. Пушкин написал два «забавных стишка», высмеивающих эти иллюстрации, — «На картинки к “Евгению Онегину” в “Невском альманахе”» («Вот перешед чрез мост Кокушкин» и «Пупок чернеет сквозь рубашку») (*АСП.* Т. III. С. 165). Иллюстрации Фрица Эйхенберга к американскому изданию и иллюстрации А. Нотбека своими «прочтениями» «Евгения Онегина» возвращали читателя к тому, что было преодолено в новаторском произведении Пушкина: они преувеличенно натуралистичны, буквальны и тяжеловесны. В них отсутствует пушкинская ирония, легкость и игра, присущие роману.

В пушкинском посвящении Плетневу... слышны отзывы... из «Пиров» Баратынского... и из «Опытов» Батюшкова... —

Преданья молодости нашей, —
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет...

(«Пиры». 1820; БСБП. Е. А. Баратынский.
Л.: Сов. писатель, 1957. С. 226).

Но дружество найдет мои, в замену, чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья...

(«К друзьям». 1817; К. Н. Батюшков.
«Опыты в стихах и прозе».
М.: Наука, 1977. С. 200).

С. 622. Напомним, что именно Батюшкова нечаянно обидел тот же Плетнев (в скверной элегии, напечатанной в воейковском «Сыне Отечества», № 8, 1821 г.)... — В восьмом номере журнала «Сын Отечества» за 1821 г. П. А. Плетнев опубликовал элегию «Батюшков из Рима» анонимно. Многие приняли поэтическую шутку Плетнева за послание самого Батюшкова, который был обижен стихами, где от его имени были высказаны сожаления о поездке в Рим и о невозможности писать «в отчизне пламенных певцов Петрарки и Торквато!» Плетнева осуждали за невольно причиненную обиду Батюшкову. Осуждал его и Пушкин.

В полном «Комментарии» к роману Набоков описал эту историю: «Плетнев писал очень слабые стихи. В ужасающей небольшой элегии, неуклюжей и смиренной, а впрочем, вполне безобидной, напечатанной в журнале Александра Воейкова "Сын Отечества" (1821, VIII), Плетнев изобразил — от первого лица! — нечто, претендующее на ностальгические переживания в Риме поэта Батюшкова (с которым он лично не был знаком). Тридцатичетырехлетний Константин Батюшков, незадолго до того перенесший первые приступы сумасшествия, которому суждено было продлиться еще тридцать четыре года, вплоть до смерти поэта в 1855 г., был возмущен этой "элегией" намного сильнее, чем если бы пребывал в здравом уме. Это несчастное происшествие, особенно мучительное ввиду восторженного преклонения Плетнева перед Батюшковым, нашло резкий отклик в пушкинской переписке. О "бледном, как мертвец" слоге Плетнева Пушкин безжалостно отозвался к письме брату от 4 сентября 1822 г., а последний "по ошибке" показал его доброму другу Плетневу. В ответ Плетнев тут же обратился к Пушкину с очень слабым, но трогательным стихотворением ("Я не сержусь на едкий твой упрек"). ⟨...⟩ Плетнев послал свое стихотворение из Петербурга в Кишинев примерно осенью 1822 г., а Пушкин в (декабрьском?) ответном письме, от коего до нас дошел лишь черновик, как мог утешал расстроенного любителя муз и приписал свои "легкомысленные строки" о стиле Плетнева "так называемой хандре", которой часто бывает подвержен...» (*К98.* С. 98).

...из-за чего, в свою очередь, Плетнева нечаянно обидел Пушкин (в письме к болтуну-брату от 4 сентября 1822 г.). — В письме от 4 сентября 1822 г. из Кишинева в Петербург Пушкин писал: «Батюшков прав, что сердится на Плетнева; на его месте я бы с ума сошел со злости — "Б[атюшков] из Рима" не имеет человеческого смысла, даром что "Новость на Олимпе" очень мила. Вообще мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи, — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е. Плетневу — а не его слогу) и уверь его, что он наш Гёте...» (*АСП.* Т. XIII. С. 46).

Письмо Пушкина стало известно Плетневу. Он ответил на него стихами «К А. С. Пушкину» («Я не сержусь на едкий твой упрек...», 1822).

С. 623. В единственном виденном мной экземпляре этого редчайшего издания (№ 688 собр. Кильгура, Houghton Library, Гарвард) четвертый ненумерованный лист с бродячей пьеской оказался вплетенным между страницами 204 и 205. Вот к каким злоключениям может привести стремление совместить дружбу с искусством. — Издание, о котором упоминает Набоков, описано в каталоге выставки этой коллекции «Пушкин и его друзья»: «Второе полное издание, опубликованное Ильей Глазуновым в самом конце декабря 1836 г. в количестве 5 тысяч экземпляров, считается очень редким. Оно было распродано немедленно — сразу после смерти Пушкина 29 января. Судя по экземпляру карманного формата [миниатюрное издание] в коллекции Килгур, переплетенного в кожу с муаровыми дублюрами, в некоторых экземплярах, должно быть, существовал четвертый лист с посвящением («Не мысля гордый свет забавить...») Плетневу, ошибочно помещенный между стр. 204 (окончание гл. 7, II, 9) и стр. 205. В 4-м томе набоковского перевода романа воспроизведена фотография этого издания, последнего, издававшегося под наблюдением самого поэта. Оно фактически идентично изданию 1833 года» («Пушкин и его друзья». Литература и миф. Выставка из коллекции Килгур. Статьи и комментарии Дж. Мальмстада, вступительная статья — Вильяма Тодда-III. Хотоновская Библиотека. Кембридж, 1987. — Перевод наш. — *Г. Г.*).

Судя по черновикам, относящимся к зиме 1823 г., эпиграфами к первой главе Пушкин собирался выставить стихи 252—253 из «Пиров»... — Строки Е. А. Баратынского — «Собранье пламенных замет / Богатой жизни юных лет...» написаны Пушкиным на обложке беловой рукописи в виде эпиграфа (АСП. Т. VI. С. 543).

С. 624. Дюпон, выпустивший в 1847 г. довольно удачный по дикции, но совершенно изуродованный разными промахами, прозаический французский перевод Е. О. ... — Речь идет о переводе: Oeuvres choisies de A. S. Pouchkin, poête national de la Russie, traduites pour la première fois en français par H. Dupont, professeur de litérature à l'institut des voies et communication de St. Pétersburg. 2 v. Paris, 1847. Eugene Onegine: v. 1.

Но вот что мило: по-французски «брегет» не мужского рода — как думает Дюпон — а женского: «ma bréguet». — Прочтя «Заметки переводчика» в «Опытах», Р. Гринберг написал Набокову об этой заметке: «Это не совсем так. Говорят La Noël, но это не значит, что существительное Noël женского рода. Оно — мужского. Попросту, la Noël есть сокращенное разговорное выражение от la fete de la Noël. То же с bréguet. “Ma bréguet” равняется в разверну-

том виде ÷ A. L. Bréguet, как существительное — оно рода мужского: Quel hean bréguet; хотя — и это любопытно, — французы не включили это имя в число существительных. Это тебе не “керенки” или сандвич, или еще макинтош. Остальное о Пушкине в “моем” журнале читал с удовольствием...» (Письмо от 9 ноября 1957 г. // *BCNA*). В полном комментарии Набоков дополнительно объяснил происхождение названия: «“брегет” — изящные часы с репетиром, изготовленные знаменитым французским часовщиком Абрахамом Луи Бреге (1747–1823). Стоило в любое время прикоснуться к пружине, и брегет отзванивал час и минуту» (*K98.* С. 128). Мода на часы фирмы «брегет» поддерживалась не только их точностью, но и тем, что А.-Л. Бреге никогда не производил двух одинаковых часов. Каждый образец был уникальным. В музейном собрании Московского Кремля хранится брегет с семью циферблатами, показывающий часы, минуты, месяцы революционного (часы производства 1792 г.) и грегорианского календарей, дни недели и декады (Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980. С. 141).

С. 624. ...комментатор Бродский пишет... что боливар либерала Онегина «указывает на определенные общественные настроения его владельца, сочувствующего борьбе за независимость маленького народа в Южной Америке». — Курсив и фамильярно-метонимическая замена шляпы именем прославившего ее политического деятеля указывают на сознательное использование Пушкиным жаргонизма из диалекта франтов. Боливар Симон (1783–1830) — вождь национально-освободительного движения в Латинской Америке, кумир европейских либералов 1820-х гг. Судя по иконографическим материалам, Пушкин носил шляпу à la Bolivar (Ю. М. Лотман. Указ. соч. С. 140).

С. 625. Фобласа давний ученик. — Фоблас — герой романа Луве де Кувре (1760–1797) «Любовные похождения кавалера Фобласа» (1796). Имя «Фоблас» стало нарицательным именем женского соблазнителя. Об отношении Пушкина к роману см.: «Охота тебе корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщинами», гл. 4 в кн. Л. И. Вольперт «Пушкин в роли Пушкина». Творческая игра по моделям французской литературы. Языки русской культуры. М., 1998. С. 86–116.

С. 626. ...в строфе XXXV главы восьмой Онегин, читая новую поэму приятеля, узнает и себя, и общих друзей (Каверина, Чаадаева, Катенина), и прелестную пантомимную балерину. — Набоков имеет в виду строфы:

Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы...

Эти онегинские чтения приходятся на зиму 1824—1825 гг. Первое отдельное издание первой главы «Евгения Онегина» вышло 16 февраля 1825 г. Таким образом, «в последнюю неделю февраля 1825 г., получив первую главу, он [Онегин] мог с улыбкой прочесть, испытывая смесь ностальгии и удовольствия, о самом себе, Каверине, Чаадаеве, Катенине и Истоминой в снисходительном рассказе своего старого приятеля о жизни молодого повесы в 1819—1820 гг.» (*К98*. С. 582).

С. 626. Не знаю, давали ли когда-либо в Петербурге оперу «Клеопатра и Цезарь», сочиненную моим предком Грауном в 1742 г. ... — Карл Генрих Граун (1701—1759) — немецкий композитор, автор оратории «Смерть Иисуса», предок Набокова по линии бабушки — М. Ф. Набоковой, урожденной Корф.

...но, во всяком случае, никакой «Клеопатры, трагедии Вольтера», упоминаемой Чижевским в его небрежных примечаниях к Е. О. (Гарвардское Университетское Изд-во, 1953 г., стр. 214)... — Alexander Sergeevich Pushkin. Evgenij Onegin. A Novel in Verse. The Russian Text edited with [engl.] Introduction and Commentary by Dmitry Či•evsky. Cambridge. Harward University Press, 1953.

Бездарный Бельмонт в 1902 г. ... — Имеется в виду: Aleksander Puszkin. Eugeniusz Oniegin. Przełozył Leo Belmont. Krakow, 1902 (под ред. д-ра Вацлава Ледницкого, Краков, 1925).

...и талантливый Тувим в 1954 г. ... — Puškin A. S. Eugeniusz Oniegin. Tłumaczył J. Tuwim. Fragment rozdziału pierwszego. (Materiały swietlicowe (Warszawa). 1949. № 5. С. 20—22 (2-е изд. — Варшава, 1954).

С. 627. Доктор Липерт (1840 г.)... — Речь идет о его работе: Dr. Robert Lippert — als 2. Band der Ausgabe «Alexander Puschkin's Dichtungen», Leipzig, 1840.

...невероятный Боденштедт (в 1854 г.)... — Alexander Puschkin's poetische Werke, aus dem Russischen übersetzt von Fridrich Bodenstedt. 3 Bände. E. O.: Band II (Eugen Onägin. Roman in Versen von Alexander Puschkin).

...Вольф-Лупус (1899 г.)... — Подразумевается его труд: Eugén Onégin. Roman in Versen. Nebst Puschkins Vorwort und Anmerkungen. Deutsch von Dr. Alexis Lupus [Wolff]. Nebst Vorwort und Anmerkungen des übersetzers. Erster Gesang. Neue verbesserte Auflage. Изд. К. Л. Риккера. СПб., 1899.

С. 627—628. Мария Раевская, выскочившая 30 мая 1820 г. из дорожной кареты на морской берег... — но ей было тогда не пятнадцать лет, как она замечает в своих до странности банальных и наивных «Mémoires» (СПб., 1904 г., стр. 19), а всего лишь тринадцать (она родилась 25 декабря 1806 г.). — Волконская Мария Николаевна (25 декабря 1805 — 10 августа 1863), дочь генерала

Н. Н. Раевского, жена С. Г. Волконского, приехавшая за ним в Благодатский рудник в феврале 1827 г. Умерла в с. Воронки Черниговской губернии.

В отношении года рождения М. Н. Волконской существуют три версии: 1805 (на основании ее собственноручных «Записок», свидетельства ее внука и стихов князя А. И. Одоевского «Княгине М. Н. Волконской. В день ее рождения»), 1806 (на основании «Записок» сына, князя М. С. Волконского, и приведенного Набоковым указания А. Веневитинова (см.: А. Веневитинов. «Русская старина». 1875. XII. С. 822) (*К98.* С. 158), 1807 — наименее вероятный (Б. Л. Модзалевский. Архив Раевских. СПб., 1908. Т. 1. С. 43). Набоков останавливается на дате, названной сыном княгини (*К98.* С. 681. Прим. научного редактора).

С. 628. ...если уж был Пушкин в кого-либо влюблен во время своего трехнедельного пребывания в Гурзуфе, то в Катерину Раевскую... тезку звезды Kythereia. — Раевская Екатерина Николаевна (1797—1855) — сестра М. Н. Волконской. 15 мая 1821 г. вышла замуж за Михаила Федоровича Орлова (1788—1842), который закончил войну с Наполеоном в чине генерал-майора «в виде награды за участие во взятии Парижа и за донесение о его капитуляции». 3 июля 1823 г. Орлов писал своей жене из Кишинева в Одессу: «...Среди кучи дел, одни докучнее других, я вижу твой образ как образ милой подруги и приближаюсь к тебе или воображаю тебя близкой всякий раз, как вижу достопамятную Звезду, которую ты мне указала. Будь уверена, что едва она восходит над горизонтом, я ловлю ее появление с моего балкона...» (Подлинник на французском языке хранится в ЦГАЛИ, ф. 364. Цит. по кн.: Б. Томашевский. Пушкин. Кн. 1 (1813—1824). М.—Л.: АН СССР, 1956. С. 488). Звезда, с которой отождествляла себя Раевская, — Венера, или Киприда (Kypris), созвучная имени Екатерина, что в переводе с греческого звучит как «катарос» или «кафарос» — «чистая». Стихотворение Пушкина «Редеет облаков летучая гряда...» (1820) заканчивается строками:

И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Около 10 июня 1824 г. ... Пушкин и обе дамы гуляли по берегу... — все это по-французски Вяземская описывает в письме к мужу. — Письмо от 11 июля 1824 г. из Одессы. См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Изд. В. Саитов и В. Шеффер. СПб. (1899—1913). Т. V—2. 1913. С. 119—123 (прим. Набокова. *К98.* С. 163).

Только в октябре 1824 г. в известном письме к Вяземской... — Письмо конца октября 1824 г. из Михайловского в Москву (или Остафьево), черновое, по-французски (*АСП.* Т. XIII. С. 113—114).

С. 630. Прочитав первую главу «Онегина», Вяземский сообщил «на ушко» Александру Тургеневу, в письме от 22 апреля 1825 г., что в «Чернеце» Козлова, третьестепенного стихотворца того времени, «больше чувства, больше мысли», чем у Пушкина... — «...Я восхищаюсь “Чернецом”: в нем красоты глубокия, и скажу тебе на ухо — более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина. С удовольствием написал я о нем журнальную статью для “Телеграфа”, которая выйдет в восьмом номере...» (письмо от 22 апреля 1825 г., Москва // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. III. 1824–1836. СПб., 1899. С. 114).

...и в тот же день... третьестепенный стихотворец Языков писал брату, что, дескать, дай Бог, «Чернец» окажется лучше «Онегина». — «...Чернеца здесь еще никто не получил: его сильно хвалят в С[еверной] П[челе]. Дай Бог, чтоб правда, чтоб он был лучше Онегина...» (Письмо Н. М. Языкова — А. М. Языкову от 22 апреля 1825 г. из Дерпта // Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). Языковский архив. Вып. 1-й. СПб., 1913. С. 176).

Грандисон, герой Кларисы Гарлоу, — преспокойно пишет Чижевский... — Комментируя гл. 2, XXX:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла... —

Набоков пишет: «Благородный сердцем сэр Чарльз Грандисон и негодяй благородного происхождения Ловлас — это, по словам Пушкина (в его 14-м примечании), “герои двух славных романов”» (*К 98.* С. 264). Грандисон — герой романа «История сэра Чарльза Грандисона» (в 7 томах, 1753–1754) Сэмуэля Ричардсона (1689–1761).

...мысль, выраженную тонким философом Григорием Ландау (захваченным и замученным большевиками около 1940 г.) в его книге «Эпиграфы» (Берлин, около 1925 г.): «Пример тавтологии: бедные люди». — Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) — философ, культуролог, публицист, литературный критик. В 1902 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. После революции преподавал теорию права в петроградском Педагогическом институте. В августе 1920 г. из Петрограда нелегально эмигрировал в Финляндию. В начале 1921 г. поселился в Берлине. Член берлинского Союза русских писателей и журналистов. Сотрудник редакции газеты «Руль». Весной 1938 г. переехал в Ригу. Летом 1940 г. после аннексии Латвии оказался на советской территории. В середине июня 1941 г. арестован. Погиб в заключении.

(Справка из кн. Г. Струве «Русская литература в изгнании». YMCA-Press. Русский путь. Париж—М., 1996. С. 327). Книга «Эпиграфы» — Берлин, 1927. Приведенный Набоковым афоризм был опубликован в журнале «Числа» (1930. Кн. 2/3. С. 201). В ответ на опубликованное в 1-м номере «Опытов» стихотворение Г. Иванова, сознательно процитировавшего Г. Ландау, Набоков написал в письме к Р. Гринбергу, редактору журнала: «Другое: Георгий Иванов всегда был и будет шулером, — но есть границы. Прошу тебя, пожалуйста, помести в следующем номере поправку: “Нам пишут: ‘Первое из напечатанных у вас стихотворений Георгия Иванова кончается так: «Бедные люди — пример тавтологии, кем это сказано? Может быть, мной?»’ На самом деле это было сказано лет двадцать тому назад покойным публицистом и философом Григорием Ландау (книжечка афоризмов — озаглавленная, кажется, «Эпиграфы»)”» (письмо от 31 мая 1953 г. // *LC*). Г. Ландау — автор некрологической статьи о В. Д. Набокове (Г. Ландау. Похоронное // Руль. 6 апреля 1922).

С. 631. Но, может быть, и это даже правдоподобнее сто раз... — Магия этой строки заставила Набокова процитировать ее в письме Гринбергу: «...теперь скажу серьезно (ибо не будем слишком мучить любопытство словесника, который когда-нибудь найдет вот **этот** листок; “а может быть, и это даже...”), что мне было у вас очень весело, уютно и хорошо...» (письмо от 1 января 1953 г. // *LC*).

...прием, впервые отмеченный Белым и независимо описанный мной четверть века спустя в довольно поверхностной английской книжке о Гоголе... — А. Белый. Мастерство Гоголя. М.—Л., 1934. V. Nabokov. Nicolay Gogol. Norfolk. Conn.: New Directions. 1944.

«Ит из э фанни бук — перхапс э литтел ту фанни» — It is a funny book — perhaps a little too funny. — Это смешная книга — возможно, немного слишком смешная *(англ.)*.

...монтаж Вересаева... — В. В. Вересаев. Гоголь в жизни: систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1933.

...в двух местах я зашел слишком далеко в стилизации «под Гоголя»... дав Пушкину афоризм и рассказ, которые Пушкин дал Дельвигу. — Начиная со слов «Лет за пятнадцать до того Пушкин, перевесившись через перила лицейской лестницы, дожидался приезда знаменитого поэта Державина...» («Николай Гоголь») Набоков передает отрывок из воспоминаний Пушкина о Державине, в которые был включен рассказ Дельвига, приписываемый Набоковым лицеисту Пушкину. Афоризм «чем ближе к небесам, тем делается холоднее» («Николай Гоголь») принадлежит также Дельвигу.

С. 633. Перекладные просвещения — парафраз афоризма Пушкина: «Переводчики — почтовые лошади просвещения» (Сентябрь 1830. ‹Заметки и афоризмы разных лет› *АСП.* Т. XII. С. 179).

Не знаю, предполагал ли когда-либо Пушкин позволить двоюродному брату своему Буянову... но в Зарецком несомненно есть что-то от Опасного Соседа... — Буянов — герой поэмы «Опасный сосед» (апрель 1811) В. Л. Пушкина (1770—1830), старшего брата отца Пушкина. Родственно-творческие отношения дяди и племянника были предметом их собственных поэтических тем и обсуждений в круге «Арзамаса».

С. 633—634. Дмитриев воспользовался этим уже избитым выражением для плохой басни (ч. 3, кн. 2, VII, изд. 1818 г.)... — Басня «Прохожий» (1803):

Прохожий, в монастырь зашедши по пути,
Просил у братий повеленья
На колокольню их взойти.
Взошел и стал хвалить различные явленья,
Которые ему открыла высота.
«Какие, — он вскричал, — волшебные места!
Вдруг вижу горы, лес, озера и долины!
Великолепные картины!
Не правда ли?» — вопрос он сделал одному
Из братий, с ним стоящих.
«Да, — труженик, вздохнув, ответствовал ему: —
Для проходящих».

(П. П. Дмитриев. Полное собр. стих. БСБП.
Л.: Сов. писатель, 1967. С. 205).

С. 634. ...Вяземский сделал из него каламбур в плохом же стихотворении «Станция» (альманах «Подснежник», 4 апреля 1829 г.)... —

Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: для проходящих!

(См. прим. 42 А. С. Пушкина к роману «Евгений Онегин»).

С. 634—635. ...Пушкину была известна приторная и бесконечно скучная поэма Мура («Lalla Rookh», 1817 г.) по серому французскому переводу в прозе Амедея Пишо... что Жуковский воспел под этим именем свою ученицу, когда в январе 1821 г. в Берлине Александра и «Алирис» (будущий Николай I) участвовали в фестивалях, описанных в особом альбоме... — Поводом для написания Жуковским стихотворения «Лалла Рук» (1821) явился праздник, данный в Берли-

не 15 января 1821 г. прусским королем Фридрихом, по случаю приезда его дочери — великой княгини Александры Федоровны и зятя — будущего императора Николая I. На празднике были разыграны живые картины на сюжеты, заимствованные из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Роль индийской принцессы Лалла Рук исполняла Александра Федоровна, ученица Жуковского. Жуковский, присутствовавший на празднике, написал это стихотворение, где образ Лалла Рук превратился в символ поэтического вдохновения. Второе стихотворение — «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1–6 февраля 1821 г.). Александра Федоровна (1798–1860) — прусская принцесса Шарлотта (дочь короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы). В 1817 г. вышла замуж за великого князя Николая.

С. 635. «Симилар ту э уингед лили, балансинг энтерс Лалла Рух»? — Similar to a winged lili, balancing enters Lalla Roukh —

Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук... *(англ.)* —

строка из черновиков 8-й гл. (XXVII), не вошедшая в основной текст. «Какая жалость, — пишет Набоков, — что Пушкин был вынужден исключить эту на редкость красивую строфу, одну из лучших, когда-либо им сочиненных! Конечно же, она страдает невозможным анахронизмом. Отдаваясь во власть личных воспоминаний в 1827–29 гг., Пушкин описывает бал первых лет правления Николая I (1825–1855), на мгновение забывая о том, что предполагаемые балы и рауты, на которых Онегин встречает Татьяну, должны происходить осенью 1824-го, в правление Александра I (1801–1825). Естественно, никто бы никогда не позволил опубликовать эту строфу, раз Онегин предпочитает Татьяну N. императорской чете» (*К98.* С. 572).

Письмо в Редакцию. Впервые: Русская мысль. 8 октября 1963. № 2057. С. 5.

С. 635. Я с грустью узнал о кончине А. Л. Шаховской. — Набоковы познакомились с княгиней Анной Леонидовной Шаховской (урожд. фон Книна, 1872–1963) летом 1932 г. в местечке Ода в Колбсхейме, недалеко от Страсбурга, где они вместе гостили у старшей дочери Шаховской — Наталии Алексеевны Шаховской (1903–1988), первой жены композитора Николая Дмитриевича Набокова (1903–1978), двоюродного брата В. В. Набокова. Позже, по возвращении А. Л. Шаховской в Брюссель, Набоков обращался к ней с просьбой о помощи в получении бельгийской визы для выступления в Клубе русских евреев в Бельгии по приглашению Якова Моисеевича Кулишера, председателя Клуба (Письмо Набокова — княгине А. Л. Шаховской от 22 ноября 1932 г. // *LC.*

Z. Shakhovskaj Papers. См. также: З. Шаховская. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 13). А. Л. Шаховская была в гостях у Набоковых в Берлине и неоднократно передавала по телефону содержание писем и открыток своей младшей дочери Зинаиды Шаховской (род. в 1906, Москва) (письмо Набокова З. Шаховской от 29 декабря 1935 г. // *LC*).

С. 636. ...статья в «Русской Мысли» (№ 2048)... — некролог «Памяти Анны Леонидовны Шаховской» (Русская мысль. 27 сентября 1963).

Статья содержит навязанную мне... фразу...: «Но что же делать, тетя, если американских читателей интересуют только такие темы?» — В статье: «Она по-отечески бранила Владимира Набокова за “Лолиту”, когда он приезжал в Холливуд в связи с постановкой фильма по роману. “Но что же делать, тетя, если американских читателей интересуют только такие темы?” — оправдывался писатель».

...считаю «Лолиту» лучшей своей книгой. — Набоков неизменно повторял свое мнение о романе в многочисленных интервью и письмах. (См.: Интервью Набокова телевидению Би-Би-Си, 1962 г. // В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 2. С. 572, 574).

...г. Березов... — Статья в газете «Русская мысль» подписана: Родион Березов. Родион Березов — псевдоним. Настоящая фамилия — Акульшин Родион Михайлович (1896—1988). По происхождению — крестьянин, 10 лет был сельским учителем, состоял в Союзе советских писателей с 1925 по 1941 г. Во время войны был мобилизован в московское ополчение, попал в плен, находился в лагере для перемещенных лиц (Mauerkirchen) в Австрии. Из лагеря посылал рассказы и стихи в русскую зарубежную периодику. К 1948 г. газета «Новое русское слово» напечатала 6 очерков Р. Березова. Печатался в «Возрождении», «Русской мысли». См. рец. Ю. К. Терапиано на книгу Березова «Радость» (Новое русское слово. 2 мая 1954). С помощью В. М. Зензинова переехал в США.

По просьбе А. Л. Шаховской выписал для нее несколько номеров газеты «Русская мысль» со статьями о Зинаиде Шаховской, где о ней отзывались как о хорошей французской писательнице.

Письма В. Д. Набокова из Крестов к жене. 1908 г. [Предисловие]. Впервые: Воздушные пути. 1965. Вып. IV. С. 265—266.

Автограф хранится в фонде Романа Николаевича Гринберга (1897—1969) (*LC*. Vozdushnye Puti. Box 3), издателя журнала «Опыты» (№ 1—3, 1953—1954) и альманаха «Воздушные пути» (№ 1—5, 1960—1967). Название публикации напечатано на ма-

шинке, остальной текст написан Набоковым от руки с особой тщательностью. Слева от текста по полю листа рукой Гринберга — помета: «Курсивом». Весь текст предисловия в альманахе набран курсивом, так же как и последние слова в конце публикации: «Сообщил В. В. Набоков-Сирин».

Дружеская переписка Набокова и Р. Гринберга, охватывающая три десятилетия «американского» периода их жизни, позволяет проследить историю появления этого материала в печати. В письме от 13 октября 1963 г. Гринберг спрашивал Набокова: «Скажи мне теперь, могу ли я рассчитывать на твое участие в 4-м номере “Воздушных путей”? Намечен для конца 64-го или начала 65 г. Хотел тебе и о тебе отвести много места...» Получив от Набокова письма его отца, Гринберг немедленно откликнулся: «Читал с интересом и думаю, что другие прочтут так же. ⟨...⟩ Совершенно необходимо, чтоб Володя написал введение о том, как и почему и где писались эти письма, и объяснил, о ком речь. Все это мне нужно к 1 октября...» (Письмо от 5 июля 1964 г.). В начале ноября Набоков получил корректуру, а в январе 1965 г. — только что вышедший альманах. В ответном письме от 30 января 1965 г. Набоков просил послать экземпляр сестре — Е. В. Сикорской и дал краткий отзыв о содержании журнала.

Десять писем В. Д. Набокова, опубликованные в альманахе, были написаны с 17 мая по 8 июля 1908 г. Они обращены к жене, Елене Ивановне, урожд. Рукавишниковой (1876—1939) и сохранялись ею все годы эмиграции. Воспитательница сестер Набокова и друг матери — Евгения Константиновна Гофельд (1886—1957) после смерти Елены Ивановны в Праге передала семейную реликвию сестре Набокова — Елене Владимировне Сикорской (31 марта 1906 — 9 мая 2000), от которой письма и перешли к Набокову. В первом же письме из Праги в Америку после десятилетней разлуки Е. Сикорская писала брату: «Я получила от Е. К. папины дневники и письма из тюрьмы. Боже мой, как мне было грустно. Подумай, он о тебе из тюрьмы пишет маме: “Скажи Laudy, что в тюремном дворе я видел капустницу”» (Письмо от 1 октября 1945 г. В. Набоков. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 8—9). В автобиографии «Память, говори» Набоков упоминает письма отца: «В мае 1908 г. он [В. Д. Набоков] начал отбывать трехмесячный тюремный срок — несколько запоздалое наказание за составленный в Выборге им и его товарищами революционный манифест. «“Поймал ли В. каких-нибудь ‘ederia’ этим летом?” — спрашивает он в одной из своих беззаконных записок из тюрьмы, которые через подкупленного охранника и преданного друга (Каминку) доставлялись моей матери в Выру. “Скажи ему, что я видел в тюремном дворе лимонниц и капустниц”» («Память, говори», гл. 9).

Тема «родового гнезда», дома как «рая», кровной связи с родителями, особого отношения к отцу пронизывает все творчество Набокова: поэзию (см. стихотворения «Пасха», «Гекзаметры», сборник «Горний путь»), художественную прозу (роман «Дар») и мемуары («Память, говори» и «Другие берега»). Предисловие к письмам отца можно рассматривать как историко-документальную справку, дополняющую этот ряд.

С. 636. ...защищая П. Н. Милюкова... — Милюков Павел Николаевич (15 января 1859, Москва — 31 марта 1943, Экс-ле-Бен, Франция) — историк, политик, общественный деятель. Один из основателей (октябрь 1905) Конституционно-демократической партии, с 1907 г. — председатель ее ЦК, депутат 3-й и 4-й Государственной думы; в марте 1917 г. вошел в состав Временного правительства в качестве министра иностранных дел. С 1918 г. — в эмиграции. Редактор газеты «Последние новости». Несмотря на возникшие политические разногласия, Набоков приветствовал Милюкова как редактора в статье «Другу-противнику» (Руль. 4 марта 1921. С. 2). В конце марта 1922 г. Милюков приехал из Парижа в Берлин, где 28 марта в зале Берлинской филармонии выступал с лекцией «Америка и восстановление России».

...от двух черносотенцев... — Монархисты правой ориентации Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий приехали из Мюнхена в Берлин для убийства Милюкова. Родители Шабельского — сотрудники черносотенной газеты «Русское знамя». С. Таборицкий редактировал в Германии монархическую газету «Призыв». Оба редактировали черносотенный журнал «Луч света», выходящий в Берлине с 1919 г., где были перепечатаны «Протоколы сионских мудрецов». До теракта в отношении Милюкова у Таборицкого была попытка нападения на А. Гучкова. Суд над Шабельским-Борком и Таборицким состоялся в июле 1922 г. Шабельский-Борк был приговорен к 14 годам тюрьмы, Таборицкий — к меньшему сроку, но уже в марте 1927 г. Шабельский был освобожден «по поручительству», а когда к власти пришли нацисты, стал получать пенсию от ведомства Альфреда Розенберга. Таборицкий также был освобожден из тюрьмы во время становления гитлеровского режима. Он стал заместителем генерала Бискупского, заведующего комиссией по делам русских беженцев в Германии, назначенного на этот пост Гитлером в мае 1936 г. Это ускорило отъезд Набоковых из Германии. После разгрома фашизма Шабельский-Борк бежал в Аргентину. В двух книгах мемуаров Набоков описывает сцену убийства отца: «Память, говори» (гл. 9), «Другие берега» (гл. 9(4)).

Этот призыв вошел в историю под названием «Выборгского Воззвания». — В обращении «Народу от народных депутатов» (1906) «гражданам России» предлагалось «не давать ни копейки в казну, ни одного солдата в армию» до созыва новой Думы.

С. 637. Петрункевич Иван Ильич (1844–1928) — общественный деятель, политик. Один из основателей Конституционно-демократической партии, председатель ее ЦК (1909–1915). Депутат 1-й Государственной думы. Председатель издательского товарищества газеты «Речь». С 1919 г. — в эмиграции. Автор книги «Из записок общественного деятеля» (Архив русской революции. Под ред. И. В. Гессена. 1934. Т. 21).

Ломшаков Алексей Степанович — профессор, инженер-технолог, директор правления Русско-Балтийского судостроительного и механического акционерного общества, депутат 1-й Государственной думы, кооптирован в ЦК Конституционно-демократической партии.

Кедрин — депутат 1-й Государственной думы от Конституционно-демократической партии.

...при помощи Августа Исаковича Каминки... — В рукописи: «через Августа Исаковича Каминку» — зачеркнуто.

Каминка Август Исаакович (1865–1940) — общественный деятель, редактор. Один из основателей Конституционно-демократической партии, с 30 апреля 1906-го до весны 1907 г. — казначей ЦК партии КД, соредактор вместе с И. В. Гессеном и В. Д. Набоковым газеты «Руль». Организатор (совместно с И. В. Гессеном) издательства «Слово» (Берлин).

Речь, произнесенная при освящении кладбища в Геттисбурге. Впервые: The Gettysburg Address in Other Languages [in translation] composed by Roy Basler. 1972.

В июле 1863 г. у местечка Геттисбург произошло решающее сражение между армиями Севера и Юга во время Гражданской войны США (1861–1865). Здесь в трехдневной битве (1–3 июля) 75 000 ветеранов Роберта Ли (армия Юга) произвели смелую попытку отбросить 88-тысячное войско Джо́рджа Мида — но они не смогли сломить ряды северян и, потерпев огромный урон, отступили к реке Потомак. Более 3000 солдат армии Севера и почти 4000 солдат Юга пали при Геттисбурге, а раненых и пропавших без вести было свыше 20 000 человек. Именно в этом месте 19 ноября 1863 г. состоялось торжественное открытие Национального солдатского кладбища. Речь президента А. Линкольна при освящении кладбища — самое известное в американской истории президентское послание, которое подводило итоги развития американской демократии. Ее заключительные строки были воспроизведены на монете достоинством в 1 доллар.

С. 637. Речь, произнесенная при освящении кладбища в Геттисбурге. — В рукописи после этих слов указана дата: «19 ноября 1863 года».

С. 638. Авраам Линкольн (1809—1865) — избран Президентом США в марте 1861 г. В 1864 г. был переизбран на второй срок. Во внешней политике был благороден, честен и тверд; страстно верил в принципы демократического самоуправления и умел добиться преданности народа. Убийство Линкольна 14 апреля 1865 г. — меньше чем через неделю после капитуляции Юга при Анноматоке — явилось внезапным ударом для всей страны.

В романе «Лолита» Набоков вводит в повествование осмотр американских достопримечательностей, среди которых «вполне современная изба, смело подделывающаяся под былую избу, где родился Линкольн...» (В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 2. С. 192).

В рукописи после слов «Авраам Линкольн» указано:
(перевел Владимир Набоков)
Publ[ic] Libr[ary] of Congress
Washington 1972

Г. Глушанок

ИНТЕРВЬЮ

Встреча с В. Сириным (От парижского корреспондента «Сегодня»). Беседа Набокова с Андреем Седых (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак, 1902—1994 — журналист, прозаик, литературный критик, сотрудник «Последних новостей», в дальнейшем главный редактор «Нового русского слова»), явившаяся первым интервью писателя, опубликована в «Последних новостях» 3 ноября 1932 г. под названием «У В. В. Сирина», перепечатана в «Сегодня» (Рига) 4 ноября 1932 г. Интервью впервые републиковано в журнале «Литературное обозрение» (1999. № 2: «Владимир Набоков в конце столетия». Сост. О. Сконечная). Печатается по этому изданию.

С. 641. ...свой вечер... — Речь идет о первом литературном вечере Набокова в Париже, организованном И. И. Фондаминским и состоявшемся 15 ноября 1932 года в Musee Sociale на улице Las-Cases. «Последние новости» констатировали: «...полный зал, общее оживление 〈...〉 Русский Париж проявил исключительное внимание к писателю, в короткое время составившему себе крупное имя» (17 ноября 1932. С. 3). После открытия Сирин читал стихи, которые к тому времени уже составляли его постоянный репертуар: «К музе», «Воздушный остров», «Окно», «Будущему читателю», «Первая любовь», «Сам треугольный, двукрылый, безногий», «Вечер на пустыре», и затем — рассказ «Музыка». Во втором отделении прозвучали «две начальные главы “Отчаяния”, тридцать четыре страницы в общей сложности» (*В90.* P. 396). Хроникер

«Последних новостей» отметил: «...репутация искусного чтеца, которую имеет Сирин, оказалась оправданной. Если стихи он читает скорее как актер, чем как поэт, то в прозе обнаружил и чувство меры, и умение одной, едва заметной интонацией подчеркнуть нужное слово».

С. 642. ...Лужин повесился... — Эта версия развязки «Защиты Лужина» принадлежит интервьюеру.

С. 643. Тартаковер Савелий Григорьевич (1887–1954) — известный шахматист, поэт. Намек на «гипермодернистов» или «неоромантиков» — шахматную школу 1910–1920 гг., к которой принадлежал Тартаковер, появляется в «Защите Лужина» с введением в текст стратегии лужинского противника Турати. («Это игрок, представитель новейшего течения в шахматах...») При этом автор отмечает, что Турати «по манере игры, по склонности к фантастической дислокации был игрок ему [Лужину] родственного склада, но только пошедший дальше». (Подробно об этом см.: D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985. P. 85–90). Тень Тартаковера, возможно, также возникает в романе при появлении Лужина, которое сопровождается бормотанием Турати: «Тар, тар, третар» (что возводимо и к французскому «tard, tard, tres tard» — «поздно, поздно, очень поздно». См.: В. Полищук. Жизнь приема у Набокова // *Н97.* С. 815). Характерно, что играл с именами и сам Тартаковер, подписав свою, как известно, ставшую объектом набоковской иронии «Антологию лунных поэтов» (1928) «С. Ревокатрат». Что касается А. А. Алехина, то электрическая тема ключевой партии Лужина вторит картине игры русского шахматиста, воссозданной Е. А. Зноско-Боровским в его книге «Капабланка и Алехин», которую Набоков назвал в рецензии «мастерской». Ср. о Лужине: «...движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, — и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу...» («Защита Лужина». См. т. II наст. изд. С. 358); и об Алехине: «...все насыщено электричеством, каждая клетка дрожит в нервном напряжении ⟨...⟩ Кажется, миллиарды электрических волн излучает из себя всякая фигура, которой касается Алехин, каждая клетка, в которую он метит» (Е. А. Зноско-Боровский. Капабланка и Алехин. Борьба за мировое первенство в шахматах. Париж, 1927. С. 83). (Ср. версию Норы Букс, согласно которой электрическая тема Лужина восходит к другому возможному прототипу героя — В. Стейницу. Стейницу, страдавшему нервным расстройством, казалось, «что из него выходит электрический ток, который передвигает фигуры на доске». См.: Н. Букс. Двое игроков за одной доской. Вл. Набоков и Я. Кавабата // *Н97.* С. 531–532).

С. 643. Семен Исидорович Кременецкий — герой трилогии М. Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера». В предислови в первому книжному изданию «Ключа» автор писал: «Добавлю в качестве курьеза, что мне называли п я т ь адвокатов, с которых будто бы писан (и тоже "портретно") Кременецкий. Скажу кратко 〈...〉 в этих указаниях нет ни одного слова правды». (М. Алданов. Ключ. Берлин: Изд. книгоиздательства «Слово» и журнала «Современные записки», 1930. С. 6).

...герои... кажутся людьми, живущими среди нас... — Подобно Кременецкому, имя Лужина в 30-е гг. становится нарицательным. В кругу шахматистов говорят о необходимости «защиты от Лужина», «защиты против Лужина», то есть об опасности безумия, подстерегающей шахматных гениев. (См.: Е. Зноско-Боровский. Магия и безумие шахмат (Сеанс вслепую А. А. Алехина в Париже) // Руль. 14 июня 1931. С. 4.)

[Интервью Николаю Аллу]. Интервью опубликовано в газете «Новое русское слово» 23 июня 1940 г. Николай Алл — псевдоним поэта и журналиста Николая Николаевича Дворжицкого, сотрудничавшего в Харбине с газетами «Русский голос», «Новости жизни», «Заря». Переехал в США в 1923 г. «В начале 1930-х гг. основал и редактировал "Русскую газету". С середины 30-х гг. в течение многих лет сотрудничал в "Новом русском слове"» (Поэты о себе / Содружество. Из современной поэзии русского зарубежья. Вашингтон: Изд. Русского книжного дела в США. Victor Kamkin, Inc., 1966. С. 506).

Интервью, из которого лишь выпущен пересказ биографии писателя, стало первым свидетельством восприятия Набоковым новой американской жизни. Впервые републиковано в журнале «Литературное обозрение» (1999. № 2: «Владимир Набоков в конце столетия». Сост. О. Сконечная). Печатается по этому изданию.

С. 644. ...две книжки стихов... — Вероятно, имеются в виду сборники «Гроздь» (Берлин, 1922) и «Горний путь» (Берлин, 1923).

«На мызу, милые» — впервые под заголовком «Возврат» опубликовано в газете «Руль» 2 октября 1921 г. Затем, озаглавленное «Домой», стихотворение вошло в «Горний путь». Под тем же названием — в *Н79.*

...приехал в Нью-Йорк... — Набоков с женой и сыном приплыли в Нью-Йорк на пароходе «Шамплейн» 28 мая 1940 г.

С. 645. ...работает... над уголовным романом... — О работе над «уголовным романом» на английском языке в 1940 г., насколько мы знаем, ничего не известно.

...помощи любезной гр. А. Л. Толстой. — Гр. Александра Львовна Толстая (1884—1979), глава Толстовского фонда, выхлопотала

в 1939 г. для Набокова необходимое ему для получения американской визы письменное поручительство (аффидевит) С. А. Кусевицкого, дирижера Бостонского симфонического оркестра. (См.: Переписка В. В. Набокова с М. В. Добужинским. Публ., вступ. и прим. В. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 95, 104.)

С. 646. ...встретил Бунина и Мережковских. — Эта встреча, по свидетельству Б. Бойда, произошла в середине мая 1940 г. См. о ней: *B90.* P. 552.

...Руднев говорил мне, что... есть деньги для выпуска двух номеров. — По воспоминаниям М. В. Вишняка, «две последние книги “Современных Записок” стали 〈...〉 делом редакторских рук одного Руднева 〈...〉 Руднев развил совершенно поразительную энергию в борьбе за продление существования “Современных Записок”. Неутомимо выискивал он средства повсюду и отовсюду — не исключая и Америки — для оплаты 〈...〉 только типографии и гонорара авторам» (М. В. Вишняк. «Современные Записки». Воспоминания редактора. Indiana: University Publications Graduate School. P. 330).

О. Сконечная

Встреча с автором «Лолиты». Впервые: Новое русское слово. 6 февраля 1961. Печатается по этой публикации.

Это же интервью с небольшими изменениями Гершон Свет опубликовал 7 февраля 1961 г. в газете «Русская мысль»: Г. Свет. «Встреча с автором “Лолиты”. Беседа о русской литературе в кафе на Французской Ривьере».

С. 647. Фильм выйдет на экран предстоящей весной. — В сентябре 1958 г. компания «Harris-Kubrick Pictures» купила права на постановку фильма по роману «Лолита» за 150 000 долларов. О кинематографической версии «Лолиты» см. интервью Набокова 5 июня 1962 г. в Нью-Йорке перед премьерой фильма «Лолита» (В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 2. С. 581–582, 587).

Оставив кафедру в Корнельском университете... — Набоков преподавал в Корнельском университете 10 лет — с 1948-го по 1958 год. Последняя лекция была им прочитана 19 января 1959 г.

...Набоков прежде всего занялся переводом на английский язык «Евгения Онегина». — Переводом «Евгения Онегина» Набоков занялся, по его собственному признанию, в 1950 г. Первые переводы нескольких строф из романа были опубликованы в журнале «The Russian Review» (vol. 4, № 2. N. Y., 1945).

Не всегда верно переводили пушкинский текст даже такие литературоведы, как известный польский поэт Юлиан Тувим... —

Ю. Тувим (1894—1953): Puškin A. S. Eugeniusz Oniegin. Tłumaczył J. Tuwim. Fragment rozdziału pierwszego (Materiały swietlicowe. Warszawa. 1949. № 5. С. 20—22; переиздание: Варшава, 1954).

С. 647. ...Бабет Дейтш... — Babette Deutsch (1895—1982): Pushkin A. Eugene Onegin. A novel in verse. Translated by B. Deutsch, edited by A. Yarmolinsky. N. Y. Limited Editions Club, 1943 (1-е издание: N. Y. Random House, 1936). В статье «Заметки переводчика» Набоков писал: «Глаже всех перевод Дейч-Ярмолинской... но совершенно непонятно, каким образом изящная и даровитая американская поэтесса могла решиться разбавить Пушкина такой бездарной отсебятиной» (С. 621. наст. тома). Об отношении Набокова к переводам Б. Дейч и о полемике между ними в американской прессе см.: Г. Глушанок. Работа В. В. Набокова над переводом «Евгения Онегина» в переписке с А. Ц. Ярмолинским // А. С. Пушкин и В. В. Набоков. Сборник докладов Международной конференции «Дорн». СПб., 1999. С. 321—340.

...немец Вульф и др. — Wolff — см. Lupus Alexis — псевдоним, образованный от латинской версии фамилии «Wolff». В журнале «St. Petersburger Zeitung» в 1880 г. Dr. Alexis Lupus [Wolff] опубликовал перевод только первой главы. Следующее издание: Eugen Onegin. Roman in Versen von A. S. Puschkin / Deutsch von Dr. Alexis Lupus. Leipzig und St. Petersburg: Commissionsverlag von K. L. Ricker, 1899.

Безукоризнен перевод «Онегина» на французский язык, сделанный Тургеневым сообща со знаменитой певицей Виардо. — И. С. Тургеневым (совместно с П. Виардо) были переведены прозаически 5 и 6 главы романа: Onéguine. Roman en vers par Alexandre Pouchkine. Traduit par Ivan Tourguéneff et Louis Viardot // Revue nationale et étrangere. 1863. Т. 13. С. 293—313.

С. 647—648. Поэт он, конечно, хороший. — Устойчивый интерес Набокова к творчеству Б. Пастернака выражен в неоднократных упоминаниях о нем в рецензиях, интервью, письмах на протяжении нескольких десятилетий. См. оценку Набоковым поэзии Пастернака в рецензиях: «Дмитрий Кобяков. “Горечь” (“Птицелов”. Париж. 1927). “Керамика” (Там же. 1925). Евгений Шах. “Семя на камне” (Париж. 1927)» (Т. II наст. изд. С. 638); «Б. Поплавский. “Флаги”. Изд. “Числа”» (Т. III наст. изд. С. 695). Сравнение поэзии Пастернака с поэзией Бенедиктова в первой рецензии Набоков повторил позднее в эпиграмме 1970 г.:

Его обороты, эпитеты, дикция,
Стереоскопичность его, —
Все в нем выдает со стихом Бенедиктова
Свое роковое родство.

В письме к Уилсону 9 января 1941 г. Набоков назвал Пастернака «первоклассным поэтом» (*N-W79.* P. 37), а месяцем позже в письме 10 февраля 1941 г. к издателю Джеймсу Лафлину писал: «Да, Пастернак настоящий поэт, его стих тяжело переводить, так как он таит в себе одновременно музыку и внушение (и ассоциацию образов), но это может быть сделано. ⟨...⟩ наилучшие поэты своего времени — Пастернак и Ходасевич» (*SL 89.* P. 37).

К вышедшему на Западе в 1957 г. по-итальянски, а в 1958-м и 1959 гг. по-русски роману «Доктор Живаго» Набоков относился неизменно отрицательно. Свое неприязненное отношение он демонстрировал в интервью (см.: Interview, October 1972 // *H73.* C. 205—207) и в письмах к своим корреспондентам. В ответ на письмо Р. Гринберга о чтении «Доктора Живаго» Набоков отвечал: «Ты пишешь о "Докторе Живаго". На мой вкус — это неуклюжая и глупая книга, мелодраматическая дрянь, фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков (совпадения, встречи, одинаковые ладанки). Социологу, м[ожет]б[ыть], это и интересно; мне же тошно и скучно...» (Письмо от 21 сентября 1958 г. // *LC*; с транслитерации). В письме к сестре, Е. Сикорской, Набоков написал пародию, несколько измененную позднее в печатной редакции:

Какое ж совершил я злое дело,
и я ль идейный водолей,
Я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей —

перефразируя блаженного большевика Бориса Пастернака...» (Письмо от 24 мая 1959 г. // В. В. Набоков. Переписка с сестрой. Ardis, Ann Arbor. 1985. C. 97). Современный исследователь отмечает влияние Пастернака на Набокова и заимствования Набокова у Пастернака: «...хотя во многих отношениях расчетливый "сноб и атлет" В. Набоков и "вдохновенно захлебывающийся" Б. Пастернак являются антиподами, первый многим обязан второму. ⟨...⟩ Описательные и "философствующие" фрагменты "Дара" и "Других берегов" несут несомненный отпечаток усвоения ранней прозы и стихов Пастернака (с их "стереоскопичностью", отмеченной Набоковым в поздней эпиграмме), а отдельные фрагменты стихов Набокова (см. особенно "Поэты" и "Слава") являются открытыми заимствованиями из стихов Пастернака. Все это особенно интересно на фоне "антипастернаковских" стихов и прозы Набокова последних лет (послесловие к "Лолите"; эпиграмма; пародия с нарочито искаженной — как бы полученной в результате двойного перевода — строкой "Какое сделал я дурное дело", снабженной вводящим в заблуждение авторским комментарием, — притом пародия именно на "Нобелевскую премию")» (Ю. И. Левин.

Избранные труды. Поэтика. Семиотика. «Языки русской культуры». М., 1998. С. 281). В американских списках самых читаемых книг на 1958 г. набоковская «Лолита» переместилась на второе место, уступив первое — «Доктору Живаго».

С. 648. «Тихий Дон» Шолохова? Третий сорт. — Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) в 1965 г. за роман «Тихий Дон» получил Нобелевскую премию.

Любимцы Набокова в советской литературе Ю. Олеша, Зощенко, Ильф и Петров, в поэзии — Мандельштам и Сельвинский. — См. об этих авторах: Интервью Набокова — А. Аппелю в сентябре 1966 г. (В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. Т. 3. С. 616–617). О Мандельштаме — см. Интервью для телепрограммы «Television 13», 1965 г.: «Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, — это изумительные образчики того, на что способен человеческий разум в его глубочайших и высших проявлениях» (Там же. С. 559).

Советская литература... мещанская литература. Это характерно для литературы всякой страны с крайним государственным режимом. — В статье «Юбилей» (1927) Набоков писал: «И мне невыносим тот приторный привкус мещанства, который я чувствую во всем большевицком. Мещанской скукой веет от серых страниц "Правды", мещанской злобой звучит политический выкрик большевика, мещанской дурью набухла бедная его головушка» (Т. II наст. изд. С. 646). О скрытых пародиях на советских авторов — см.: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // *Н97.* С. 740.

Илья Эренбург?.. Моя... мать... зачитывалась его поэмой «Молитва о России»... — Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967). Поэма вошла в его одноименный сборник «Молитва о России» (М., 1918).

...Набоков высоко ставит Бунина и Ходасевича... — Бунин Иван Алексеевич (1870–1953). См. рецензию Набокова «Ив. Бунин. Избранные стихи. Изд. "Современные записки". Париж, 1929» (т. II наст. изд. С. 672–676), а также статью «На красных лапках» (Там же. С. 681–683). Портрет Бунина дан в мемуарах «Память, говори» (*Память, говори.* С. 563) и «Другие берега». О творческих отношениях Набокова и Бунина см. гл. «Набоков и Бунин: поэтика соперничества» в кн.: М. Шраер. Набоков. Темы и вариации. Академический проект. СПб., 2000. О Ходасевиче см. с. 587 наст. тома.

Алексей Толстой? — Толстой Алексей Николаевич (1883–1945). В интервью А. Аппелю (сентябрь 1966 г.) Набоков назвал Толстого «небесталанным писателем, написавшим два-три запоминаю-

щихся научно-фантастических рассказа или романа» (В. В. Набоков. Американский период. Собр. соч. в 5 томах. 1997. Т. 3. С. 615).

С. 648. Сейчас Набоков, по заказу фильмовой компании, пишет сценарий своего романа «Камера обскура». — «Камера обскура» была напечатана в журнале «Современные записки» (1932–1933. Кн. XLIX, L, LI, LII). «И хотя Набокову удалось продать права на экранизацию “Камеры обскуры” одной из европейских кинокомпаний, долгое время это произведение не было востребовано кинематографом. (Лишь в 1969 г. роман был экранизирован английским режиссером Тони Ричардсоном)» (*Классик без ретуши.* С. 100).

...с женой, урожденной Слоним, дочерью известного когда-то петербургского адвоката... — Слоним Вера Евсеевна (1901–1991), в замужестве (1925 г., Берлин) — Набокова. Ее биографию см. в книге: Stasy Schiff. Vera — missis Vladimir Nabokov. New York. Modern Library. 2000.

...с сыном, одаренным певцом. — Набоков Дмитрий Владимирович (род. в 1934 г.) закончил Гарвардский университет. Переводчик произведений В. В. Набокова. Оперный бас, пел в театре «Ла Скала».

Г. Глушанок

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н 14 Русский период. Собрание сочинений в 5 томах / Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. Ю. Левинга, А. Долинина, М. Маликовой, О. Сконечной, А. Бабикова, Г. Глушанок. — СПб.: «Симпозиум», 2008. — 832 стр. (т. 5).

ISBN 978-5-89091-381-4

ISBN 978-5-89091-382-1 (т. 5)

Настоящий том собрания русскоязычных произведений Владимира Набокова (1899—1977) посвящен периоду 1938—1977 гг., когда были опубликованы его автобиография «Другие берега» (1954), два фрагмента незавершенного романа: «Solus Rex» (1940) и «Ultima Thule» (1942), а также повесть «Волшебник» (1939), драмы «Событие» (1938), «Изобретение Вальса» (1938), стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники, и рассказы из сборника «Весна в Фиальте» (1956). В том включены впервые републикуемые тексты «Протест против вторжения в Финляндию» (1939), «От В. Набокова-Сирина» (1956), «Письмо в Редакцию» (1963) и предисловия к изданиям «Н. В. Гоголь. Повести» (1952), «Письма Д. В. Набокова из Крестов к жене» (1965), а также интервью писателя «Встреча с автором “Лолиты”» (1961).

Во всех возможных случаях тексты сверены с первоизданиями, сопровождаются подробными примечаниями.

Владимир Набоков
Русский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том V

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Отв. редакторы *А. К. Кононов, М. В. Козикова*
Редактор *М. В. Козикова*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Д. Шнитникова*

Издательство «СИМПОЗИУМ».
190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 47.
Тел./факс +7 (812) 571-45-02.
E-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 20.11.07.
Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 43,68.
Тираж 1200 экз. Заказ № 8020.

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

